Валерий
Язвицкий
ИВАН III
ГОСУДАРЬ ВСЕЯ
РУСИ

ИВАН III
ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Валерий Язвицкий

ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Исторический роман в пяти книгах

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ» 1988

Валерий Язвицкий

ИВАН III ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

книга первая, вторая, третья

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1988

ББК 84Р7—44
Я 40

Текст печатается по изданию:
Валерий Язвицкий. **ИВАН III— ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ.**
Государственное издательство художественной литературы.
Москва, 1955 г.

Язвицкий Валерий.

Я 40 Иван III— государь всея Руси: Исторический роман в пяти книгах.— Алма-Ата: Жазушы, 1988.— Кн. 1, 2 и 3.— Алма-Ата: Жазушы, 1988.—656 с., ил.

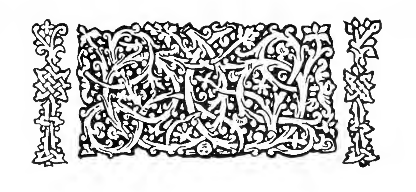
Исторический ромви В. Язвицкого воссоздвет эпоху прввления Иввив III (1440—1505 гг.), при котором сложилось территоривльное ядро едниого Российского государства. Это промзошло в результате внутреней политикн воссоеднненяя древнерусских кияжеских городов Ярославля, Новгорода, Твери, Вятки н др. Одиовременно с укреплеиием Руси изнутри возрастал ее междунвродный вcase авторитет иа Запвде и Востоке.

Я $\frac{4702010200—164}{402(05)—88}$ без объявл.

ISBN 5—605—00227—9 (Кн. 1, 2 и 3)

ISBN 5—605—00471—9

книга первая



ПОСВЯЩАЮ ЭТОТ ТРУД ЖЕНЕ МОЕЙ
ВАРВАРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ ЯЗВИЦКОЙ

Глава 1

В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Вскричала жалобно во сне и сразу же проснулась княгиня Марья Ярославна. Страшно ей, а что привиделось, не помнит. Тоской, духотой томит ее, а кругом-то тьма еще темная. Словно шапкой, накрыла Москву знойная летняя ночь, будто придушила. Тишина мертвая, а по всему Кремлю то ближе, то дальше как-то нехорошо петухи перекликаются, особым ночным криком. Хочет княгиня соскочить со скамьи, пробежать скорее в сенцы, разбудить девку Дуняху, да ноги нейдут — ослабли с испугу...

Вдруг где-то близко как взвоет по-волчьи собака, словно, окаянная, смерть почуяла. Спрыгнула с постели княгиня, откуда и силы взялись, спешит все сделать, как полагается.

— На свою голову вой, на свою, не на княжие хоромы,— быстро шепчет она заговор и торопливо переставляет свои башмаки к самому порогу, пятками к двери.

Собака завела еще протяжней и враз смолкла, а со двора все так же страшно глядит глухая июльская ночь, и четырехугольные листочки слюды, как злые глаза, чернеют в косящатых окнах. Темно еще в душных покоях, лишь в переднем углу, у кивота с иконами, разливается тихий свет и дрожит кроткое сиянье. Алые и синие лампады, мигая огоньками и чадя деревянным маслом, бросают разноцветные пятна на гладкие стены из дубовых тесаных бревен, обитые сукном-багрецом, завешанные

всяким узорочьем, и на пестрые ковры, застилающие весь пол опочивальни. Перебегая от огоньков лампад, играют райки на самоцветных камнях золотых венцов и окладов, и всё тут спокойно, тихо и дивно...

Вдруг полыхнуло в окна огнем и, четко обозначив на миг свинцовые переплеты рам, совсем ослепило. Грянул гром, тяжело прокатившись по небу. Марья Ярославна вздрогнула и поспешно закрестилась, шурша шелком сорочки.

— Пресвятая богородица, заступница наша, спаси и помилуй,— привычно зашептали губы, и вдруг ей припомнилось, о чем днем и ночью молилась с тех пор, как великий князь пошел к Суздалю на Улу-Махмета.

Пала княгиня ниц пред иконами.

— Побей, боже,— молит Ярославна в слезах,— побей Махмета-царя, защити от злого татаровья. Помилуй князя Василья и все христианство. Ради младенцев моих Ивана да Юрья спаси, господи, раба твоего Василья...

Долго билась и плакала она на полу пред кивотом, и легче ей стало после слез и молитвы. Да и быстро летняя ночь побелела, побелели и в окнах слюдяные листочки. Встала с колен княгиня и со слезами еще на больших темных глазах побрела босая тихонько через крытые сенцы в хоромы княжичей. Прислушалась, отворила дверь осторожно в покои, чтоб не скрипнуть, и в щелочку у косяка подглядела: спят ее оба сыночка под храп мамки Ульяны, ни заботы, ни горя не ведают.

— Да и что им знать-то? Ивану шестой, а Юрью и четырех еще годиков нету...

Перекрестила их через дверь и, сразу сомлев ото сна, еле дошла до своей опочивальни. Позевывая и крестя рот частым крестом, чтоб не влетела нечистая сила, оправила она постель на скамье и легла. Слышит — у Спаса-на-бору, что рядом на великокняжьем дворе стоит, сторож Илейка часы бьет, но тяжелые веки сами смыкаются, путается все в голове у княгини, и, не досчитав часов, заснула она на третьем ударе.

Второй раз проснулась княгиня от громкого воркованья голубей над окнами — гнезда у них там за резными наличниками. День уже занялся, совсем рассвело. Раннее солнышко червоннозолотыми стрелами бьет сквозь слюду в самый потолок, и словно все смеется кругом от радости. Вот и коровы замычали, пастух в рожок заиграл.

— Ой, заспалась!— вскрикнула княгиня испуганно.

Наскоро перекрестясь на образа, выскочила она в сенцы, разбудила Дуняху и заплескалась у рукомойника. Не успела умыться, а Дуняха уже тут с шитым шелками утиральником.

— Чтой-то, государыня, ныне ты так ранехонько встала?—

говорила курносая толстогубая девка, лениво почесываясь и потягиваясь.

— Суббота сегодня, Дуняха, али забыла? В подклетях Федотовна с Варюхой мыльню, поди, уж топят, да и в крестовую[1] поспевать надо. Осердится Софья Витовтовна...

— Верно, государыня, строга у тобя свекровь-то. Грозно блюдет молебные, да только зря ты всполошилась — солнце-то у самого края земли еще. Успеешь. Охо-хо! Рот-то мне от зевоты свернуло. Спозаранку ты поднялась, али что худое привиделось? Ведь и гребта у тобя на душе великая.

— Тому не гребтится, кто бога не боится. Ночесь сон страшный видела, да с испугу забыла какой, а тут еще пес так жалобно взвыл...

— Ой, страсти! Покойников чует пес-то, бьются наши с погаными...[2]

— Только успела яз вовремя заклятье наложить — башмаки к порогу переставить.

— Ну, слава богу! Отвела ты горюшко, а то, как ведаешь, и мои братья с великокняжьим двором под Суждалем...

Утираясь полотенцем, прошла в опочивальню княгиня и начала обряжаться к молитве.

— Ну, Дуняха, убирай голову мне поскорее,— приказала она по-хозяйски и сбросила ночную повязку.

Глаза у княгини стали строгими, как пишут на иконах, и сурово, почти неподвижно смотрели из-под крутых бровей куда-то вдаль, будто за стены хоро́м. Заробев от этого взгляда, Дуняха молча расчесала ей густые русые волосы, заплела на две косы, туго стянув их, чтобы плотней улеглись под шелковым волосником с жемчужной поднизью, чтобы к сраму и к греху великому ни одна прядь из-под него случайно не выбилась.

Тщательно ощупав края волосника, Марья Ярославна осталась довольна Дуняхой.

— Ладнушко!— ласково усмехнулась она.— Не дай бог бабе опростоволоситься!

— Каку рубаху-то давать?— сразу повеселев, спросила Дуняха.— Белу, алу ин изволишь желту?

— Алую хочу сегодня.

Дуняха достала из сундука шелковую рубаху с пристегнутыми к рукавам запястьями, развертывая, как всегда дивовалась:

---

[1] *Крестовая* — домовая церковь.

[2] *Поганые* — церковное слово, вошедшее в быт и означавшее в старину: неверные, нечестивые, безбожные, некрещеные, а также христиане-иноверцы, еретики.

— Запястья-то — одно загляденье! Шитье золотое так узорно, а жемчуг крупной да краснó[1] так насажен!

Усадив княгиню на резной столец[2], Дуняха надела ей желтые сафьяновые чулки-ноговицы с золотым и жемчужным шитьем, обула в такие же нарядные алые башмаки на серебряных подковах.

Поверх рубахи Марья Ярославна велела накинуть цветистый шелковый лéтник[3] с длинными, до пят, рукавами, расшитыми золотом, с жемчужной обнизью. Широкая парчовая лента с золотой тесьмой обегала вокруг всего летника у подола и спереди взбиралась вдоль застежек каждой полы к самому горлу.

Дуняха застегнула летник на все кованные из серебра пуговицы и повязала княгиню поверх волосника белым головным убрусом с золотым шитьем на концах.

— Ну и баскá же ты, государыня Марья Ярославна!— всплеснула руками Дуняха.— Токмо вот ожерелье надеть да серьги самоцветные...

Княгиня весело рассмеялась и, выставив рукава летника, а из-под них запястья алой рубахи в прорези позади рукавов опашня, воскликнула:

— Ах, люблю яз алый цвет, Дуняха! И как нарядно выходит: опáшень весь рудожелтый, а сверху рукава, а снизу башмаки — алые!..

Затопали легко и часто в сенцах детские ноги, распахнулась дверь опочивальни, и оба сына княгини Марьи Ярославны вбежали к ней уже умытые и одетые, в желтых вышитых рубахах с серебряными поясами и в синих порточках, заправленных в сафьяновые сапожки.

Мамка Ульяна в парчовой шубейке и в парчовом волоснике, еле поспевая за княжичами, крикнула им с порога:

— Перекреститесь раньше на образа-то!

Мальчики послушно закрестились, но тотчас же, смеясь и подпрыгивая, подбежали от кивота к матери. Мамка Ульяна насупила брови. Не нравились ей эти вольности, все же круглое и морщинистое лицо ее улыбалось, а серые, совсем прозрачные глаза лукаво смеялись, поглядывая на княжичей.

— Мáтунька,— ласкался Иван к матери,— дай щечки твои поцелую, пока не набелила их Ульянушка...

---

[1] *Краснó* — красиво.
[2] *Столец* — табурет.
[3] *Летник* — женская одежда.

— А и то, Ульянушка, начинай,— заторопилась Марья Ярославна, обнимая и целуя детей,— хлопот-то тобе со мной надолго...

— Ну, свет мой Ярославна, у меня всё скоричко! На язык я — скороговорка, на руку — скороделка: лысый не успеет кудри расчесать, а я уж все снарядила..

Дуняха, завязывая на затылке свой девичий венец, прыснула со смеху. Засмеялась и княгиня, а за ней и дети.

— Щеки набелю, нарумяню,— продолжала Ульяна, доставая горшочки с притираньями,— брови сурьмой подведу, сурьмой подведу да потом...

Визг поросят и громкое гоготанье гусей на дворе заглушили ее голос. Внизу, у самых подклетей княгининых хоро́м, где хлебенный, сытный, кормовый и житный дворы, а также скотный, птичий, поднялся сплошной шум и говор, как на торге. Иногда только можно разобрать сквозь гом и гул, как, отворяясь, скрипят ворота, звякает цепью ведро у колодца, заливчато ржут лошади, кричат и ругаются люди...

Княжич Иван подбежал к окну и, отвернув суконный нала́вочник, вскочил на пристенную лавку. Быстро, со стуком поднял он окно, спугнув наверху голубей, громко захлопавших крыльями, и просунул голову наружу.

Солнце поднялось уже до самых крыш, прямо в глаза светит, блестит на крестах у Михаила-архангела, Успенья-богородицы, Ивана-лествичника и Чудова монастыря, золотит каменные кремлевские стены с бойницами и с башнями-стрельнями. Ярко сверкает слюда в окнах горниц и светлиц второго яруса боярских хоро́м, и еще ярче горят окна на третьем ярусе у теремов, вышек и светлиц, окруженных расписными гульбищами[1] с перилами и решетками. У иных хором на самых кровлях построены башенки-смотрильни с вертящимися по ветру золочеными петушками и рыбками, жаром пылающими теперь на восходе солнца.

Румяное утро начинает тихий и жаркий день. Розовый дым медленно выползает из деревянных дымниц над тесовыми крышами и прямыми столбами подымается в небо. Хоромы стоят среди садов и огородов то кучами, образуя узенькие улички и переулочки, то в одиночку, словно крепости, огороженные деревянным тыном из бревен. Около них и среди пустырей и оврагов кое-где разбросаны как попало курные избы княжой и боярской челяди: холопов и вольных слуг всякого рода. Избы топятся по-черному, и густой дым, клубящийся тучами, окутывает их крыши, выбиваясь со всех сторон через волоковые окна, черный и багряный от зари.

---

[1] *Гульбище* — балконы и проходы между ними.

Знает Иван, что не пожар это, а все же боязно ему. Переводит поскорей он взгляд за кремлевские стены, где сквозь легкий туман над Москвой-рекой, Яузой с болотистой Чечеркой видно Загородье, посады и слободы, все Заречье и подмосковные села и деревни. Всюду между озер и болот бегут, сверкая, ручьи и речонки, а на их берегах множество больших и малых мельниц, особенно по Яузе. Ярко желтеют глиной овраги, зеленеют рощи на пригорках и среди просторов зреющей ржи.

Засмотрелся княжич на знакомые места — любит он из окон на дали далекие любоваться, особенно из княжой башни-смотрильни. Иной раз подолгу глядит так в окна, пока не отзовут или пока тоскливо не станет. Видит он и дороги,— тонкими ниточками тянутся они от Москвы в разные стороны: в Орду через Серпухов, в Нижний Новгород, левей, через Яузу, к Владимиру и Суздалю, а еще левей — к Юрьеву и в Кострому. Все их показывал княжичу Алексей Андреич, наставник его по чтенью часовника и псалтыря.

Других дорог не видно княжичу, но знает он,— памятлив очень,— что есть еще дороги: и в Ярославль, и в Новгород Великий, и в Литву, откуда бабка Софья Витовтовна приехала, и в Смоленск, и в Тверь. Смутные думы сами идут к Ивану со всех сторон, и тяжко ему на душе стало, когда ясней разглядел он дорогу на Юрьев и Кострому. Вспомнил, как отец постом еще по этой вот самой дороге уезжал с войском, а над ними высоко подымалась желтая пыль. О войне вспоминает княжич, о татарах, и страшно ему за отца, забыл совсем о дворе, где на возах масло, муку, мед, крупу привезли, уток, гусей и кур. Шарахаясь по двору, пылят там ногами и блеют бараны, громче и громче кричат и ругаются люди...

— Что ж, сыночек, там деется? — услышал он голос матери.— Пошто крик такой и лаянье с сиротами и холопами?

Иван побольше высунулся из окна и увидел среди обозов, пришедших из княжих подмосковных, дворецкого Константина Иваныча. Тряся бородой, кричит он во весь голос на какого-то старика, а тот, поддерживая холщовые порты и нахлобучивая поярковый колпак то на лоб, то на затылок, тоже кричит на дворецкого, а что они кричат, непонятно. Тут же шумят и оба ключника дворовые, Лавёр Колесо и Федор Пупок со своими подключниками,— уток, кур, гусей, яйца да масло принимают...

Ничего разобрать нельзя.

— Костянтин Иваныч осерчал, на старика кричит,— не сразу ответил Иван матери,— а за что — не знаю...

В это время ясно в окно донеслось:

— Да ты бога побойся, Костянтин Иваныч. Людишек мало!

Не токмо что мужиков, но и парубков нетути! Все с князем на рати против безбожных татар... Эко-ста дело-то!

— Вот пожалует тобя батогами государыня Софья Витовтовна, вот те и дело!— прикрикнул дворецкий.

Дуняха вдруг встрепенулась и тоже к окну бросилась.

— Так и есть, государыня, из Капустина наши обозы пришли,— крикнула она княгине Марье Ярославне,— отца мово лает дворянин-то! Ох, государыня, и ведомо мне за что: к Петрову дни не снарядил обозу, а сроку молил — не дал дворецкой... Заступись, свет мой ясной, перед старой государыней...

— Попрошу, Дуняха, а ты поди после молебной в подклеть, вызнай от отца все. Может, и сам Костянтин Иваныч простит по моему заступничеству, не доведет до матушки-государыни...

— Ножки твои поцелую...

— Ох, как бы и мне срок не пропустить,— засмеялась княгиня,— шевелись, Ульянушка! В крестовой, чаю, матушка-свекровь уж все свечи и лампады затеплила...

— А который час, матунька?— спросил княжич Иван, соскочив с лавки и укрыв ее снова шитым налавочником.

Стройный и высокий не по годам, он в задумчивости гладил рукой угол изразцовой печки с голубой росписью и, хмуря брови, о чем-то усиленно думал. На вид ему было лет восемь, но большие, темные и строгие, как у матери, глаза смотрели так умно и остро, что казался он еще старше.

— Который час?— подхватила мамка Ульяна, желая развеселить княжича.— Ячневой квас!— А которая четверть?— Изволь, хоть и черпать...

Но Иван даже не улыбнулся.

— Вот и не ведаешь,— сказал он.— Илейка-звонарь тоже неверно бьет. А Костянтин-то Иваныч мне сказывал, что есть за морем часы самозвонные...

— И у нас, Иванушка, на дворе такие есть, и в колокол кажный час ране они отбивали. Деду, великому князю Василь Димитричу, заезжий сербин ставил, да сломались они в тоё еще лето, когда я овдовела, а сербин-то и ране того в Царьград отъехал. Чаю, помер там давным-давно, ведь и мне-то за шестой десяток идет...

Княжич оживился, суровые глаза его засияли.

— Во фряжской земле[1], Ульянушка,— ласково перебил он мамку,—часы иные. Месяцы, дни и числа они показывают, а бьют в два колокола: в большой — токмо часы, а в малой — токмо ча́совцы дробны...

---

[1] *Фряжская земля* — Италия.

— А что, голубёнок мой, за часовцы такие?— спросила мамка.

— А то вот. В кажном часу шесть дробных часовцев, а в одном часовце десять часцо́в, а часец — токмо вот скажи «раз», и часец прошел. Насчитала ты десять часцов, вот тобе и дробной часовец прошел...

— Ну и скорометлив же ты, Иванушка!— дивилась Ульяна.— Вразумил тобя господь и к хитрости книжной и во младенчестве разуму наставил...

— Пора нам в крестовую,— строго сказала княгиня, приняв от Дуняхи шелковый платочек белый с золотой каймой, и пошла к дверям.

— Матунька,— засопел носом и, готовясь заплакать, залепетал Юрий,— дай мне оладуська с медом...

— Дам, дам, мой басенькой,— стала утешать его Ульянушка,— вот придем из крестовой на трапезу, я те два дам! Мы ведь с тобой так: где оладьи, тут и ладно, где блины, тут и мы! А вечером в мыльню пойдем, медов да квасов наберем. Будем пить-попивать да коврижками заедать... Не плачь, не плачь, а то бабка заругает...

— Не забудь, Ульянушка,— сказала, выходя уже в сенцы, Марья Ярославна,— возьми в мыльню березового соку студеного. Чтой-то сердце у меня опять после поста разболелось. Ежели поем жирного, во рту горечь, и все мне нутро жжет, словно огнем палит...

Когда Марья Ярославна с чадами и домочадцами входила в крестовую, государыня Софья Витовтовна, покурив своеручно ладаном, приблизилась к аналою и, шурша шитой золотом при́волокой[1] из узорчатого шелка, опустилась на колени. Творя крестное знамение и поклоны, она суровыми глазами следила из-под густых седых бровей за всем, что делается в крестовой. Увидев сноху со внуками, старая княгиня приветливо улыбнулась. Марья Ярославна подтолкнула незаметно Ивана и взглядом показала на свекровь. Княжич понял и, поднявшись с колен, подошел с младшим братом к руке бабки.

Следом за великокняжьей семьей пришли к молебну княжии слуги, не взятые с прочими дворовыми в поход, и вся домашняя челядь, крестясь и земно кланяясь.

Софья Витовтовна, отпустив внуков к матери, оправила аналой, передвинула удобнее евангелие в серебряном окладе с изображеним Христа посередине и ликами апостолов, писанных на

[1] *При́волока* — безрукавка.

эмали, по углам оклада. Раскрыв потом часовник и положив на псалтырь между евангельем и напрестольным крестом, она молча оглянулась на священника и кивнула ему головой, чтобы начинал он служение. Отец Александр, духовник великого князя, протоиерей кремлевского собора Михаила-архангела, седой величавый старик в шелковой темно-багровой рясе с наперсным крестом, быстро подошел к аналою вместе с дьячком Пафнутием и стал креститься. Потом взял с аналоя положенную дьячком епитрахиль, развернул и благословил ее, произнеся звучным голосом:

— Во имя отца и сына и святого духа-а!

— А-аминь!— протяжно закончил его слова дьячок.

Отец Александр благоговейно поцеловал вышитый золотом крест на епитрахили и через голову надел ее на шею, спустив сшитые концы на грудь. Княжич Иван с любопытством смотрел, как привычно и ловко отец Александр высвободил наперсный крест из-под епитрахили и из-под курчавой седой бороды.

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков,— провозгласил священник.

— Аминь!— снова ответил Пафнутий.

Внимание Ивана рассеялось, когда началось чтение часов, которые он знал наизусть с тех пор, как выучился читать по часовнику. Ему вспомнились опять рассказы учителя, дьяка Алексея Андреевича о Царьграде, стоящем у моря, о фряжских землях, но особенно занимали часы во великокняжьем дворе, о которых он не знал раньше.

«Может, Ульянушка обманывает меня,— думал он,— любит мамка сказки сказывать и небылицы...»

Он решил, как только придет Алексей Андреевич, просить его, чтоб показал дедовские часы на дворе. Никогда он никаких часов не видал, а они вот тут на дворе...

Нестерпимо долгими казались ему на этот раз утренние часы. Переминаясь с ноги на ногу, но крестясь и кланяясь, когда нужно, он поглядывал исподтишка на бабку. Глаза у нее острые, и сейчас она усмотрит, что он молитвы не слушает, но она не глядит на него. Зато мать заметила и чуть слышно шепчет около самого уха:

— Не верти головой! Молись, как подобает!..

Он усерднее кладет поклоны, но замечания матери не страшат его, и о молитве он мало думает...

— «Достойно есть яко воистину блажи́ти тя богородицу...— услышал он слова молитвы и обрадовался, что утренние часы уже кончаются, а дьячок тоже будто заторопился и скороговоркой закончил:— без истления бога слова родшую, сущую богородицу тя величаем...»

Потом, переменив голос, громко и протяжно обратился к отцу Александру:

— Именем господним благослови, отце!

— Благословен бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков,— провозгласил священник так же громко и протяжно.

— А-аминь,— радостно протянул Пафнутий, закрывая часовник и отходя от аналоя.

Государыня Софья Витовтовна первая подошла к аналою и, приложившись к евангелию и кресту, приняла благословение духовного отца. Потом подошли Марья Ярославна и княжичи, а за ними все прочие.

Когда княжич Иван приложился к холодному золотому кресту, а потом к теплой, пахнущей ладаном руке отца Александра, тот ласково погладил его по голове и спросил:

— Как господь вразумляет тобя грамоте, княже? Лексей Андреич мне сказывал, что зело сподобил тобя господь благодати, во еже внимати учению.

— Мы, отче, «Деяния» читаем...

— Похвально, вельми похвально. На шестом году токмо азбуку учат, а ты и часовник и псалтырь прошел. Да просветит тобя господь и от всякого зла сохранит...

Он снова благословил княжича, а стоявшая рядом Софья Витовтовна прослезилась и ласково молвила, целуя в лоб внука:

— Любимик ты мой! Умная моя головушка...

Этот раз в субботу обедали, как на праздники, у Софьи Витовтовны — бабка захотела полакомить внуков. Старая государыня очень смеялась, узнав от мамки Ульяны, что меньшой об оладушках плакал, и приказала, пока еще стол не обряжен, пока скатерти стлали браные да сосуды ставили, принести внукам оладьев с медом. Юрий заскакал от радости и заплескал в ладоши.

— Ты что,— строго остановила его бабка,— ты у скоморохов да у гудошников скаканию и плесканию научился? Не подобает так княжичу...

Иван, хотя вел себя в гостях чинно, как взрослый, но ел сладкие оладьи с не меньшим смаком, чем его братец, облизывая пальцы.

Сегодня у Софьи Витовтовны, кроме невестки и внуков, обедал и духовный отец, и на стол были поставлены серебряные ендовы́ и бра́тины с медами и серебряные сулеи с водками всякими: простой, доброй, боярской, двойной и сладкой на патоке — для княгинь. В ведерках и ендовах были квасы хлебные и ягодные, а для Марьи Ярославны особая серебряная братина — с берёзовицей.

Стояли серебряные блюда со студнем из свиных голов под чесноком и хреном, с колбасами, с копчеными сигами и провесной рыбой, а в малых ведерках была икра осетровая и стерляжья. Среди белого серебра сияли золотые и золоченые солоницы, перечницы и горчичницы.

Княжич Иван любил рассматривать всю эту посуду, особенно ту, что стояла на полках больших поставцов. Полки эти внизу широкие, для крупной серебряной посуды, а кверху все у́же и у́же для того, что помельче: кубков, стоп и чарок разных — и серебряных, и золотых, и хрустальных, и даже каменных, резанных из агата и сердолика.

На всех этих сосудах — узоры, позолота, чернь и эмаль или сделаны цветы, звери, люди, птицы и листья то литьем, то чеканом, то резьбой, и везде надписи. Иван не все надписи эти мог прочесть: по-итальянски многие писаны. Это из Литвы прислано Софье Витовтовне в приданое, когда она еще замуж за деда в Москву выходила.

Еще больше любил Иван рассматривать на бабкиных поставцах серебряные яблоки, зверей, птиц и рыб серебряных, золотых и костяных, а особливо город, точенный из кости, с башнями и церквами, а на костяных стенах его стрельни с воротами и подъемными мостами.

Садясь за стол, Иван видел и здесь затейливые фряжские, литовские и русские сосуды, лишь не такие нарядные, как в поставцах, но тоже узорные и с надписями. Против него мать поставила чарку с медвяным квасом. Он прочел на ней: «Чарка добра человеку, пить из нея на здравие»— и улыбнулся, довольный, что легко узнал, о чем писано.

Все это занимало его, и не заметил он, как подали жирные шти с бараниной, а к ним полбенную кашу на блюдах и блюдцах. Ест он шти с Юрием из одной мисы, заедая кашей, а дума у него опять о фряжских землях, где всё не по-нашему и всякие есть занятные хитрости.

— За здравие московского князя великого,— услышал Иван голос отца Александра.— Ниспошли, господи, благоверному князю нашему победу на сопротивные агаря́ны. Охрани его крестом твоим, господи.

Протоиерей поднял высоко серебряный кубок, перекрестился и выпил, низко поклонившись княгиням.

Снова стало Ивану страшно за отца, и забыл он о заморских землях — хочется знать только, как там под Суздалем. Ждет теперь, не дождется, что скажут старшие.

— А что, отче, слышно?— спросила, наконец, Софья Витовтовна, и сухое лицо ее дрогнуло, а под легкими морщинами

на лбу и под глазами прошла тень и застыла скорбно в уголках губ.

— Нету вестей, государыня,— печально ответил отец Александр,— но ведомо, что Димитрий Шемяка ни сам ко князю не пришел, ни воевод своих не послал...

— Ох, скороверен сынок мой,— вздохнула Софья Витовтовна,— сызнова поверил ворогу своему Димитрию Юрьевичу. Димитрий же все время за ним, как волк за конем. Ждет, ежели спотыкнется, он ему в горло и вцепится...

— Истинно, государыня,— подтвердил духовник,— есть грех такой, скороверен наш князь. Сколько раз дядя, князь Юрий галицкий, а потом и сынок-то его, Василей Косой, обманом да нечаянностью вредили ему и даже Москву отымали...

— Помню, отче,— с горечью продолжала княгиня,— разграбил тогда на Москве князь Юрий и княжое и мое именье, а нас, княгинь, в Звенигород заслал, яко полонянок каких. Помнишь, чай, Марьюшка? Никому того не дай, господи... Помер князь Юрий-то, слава богу, а сынок его в тесном заключенье слепой сидит крепко. С Шемякой же у нас мир, вишь. Забыто, что шесть лет всего как безбожный Улу-Махмет к Москве подходил, а Шемяка ни одного воя и тогда не прислал, а крест целовал. Ныне вот сызнова поверил мой сынок ворогу, а где от Шемяки по́мочь?

— Истинно, государыня! Ни один полк от князя Димитрия, слышно, не послан, а царевич Бердедат, чаю, не поспеет к Суздалю на помо́чь — отстали вельми от нашего князя. Токмо еще от града Юрьева отошел царевич-то...

Священник замолчал, опустив голову. Долго молчали все за столом, в печали продолжая свою трапезу. Взглянув на мать, увидел Иван, что склонилась она над своим кубком с берёзовицей, а из глаз у нее бегут двумя дорожками слезы по щекам, размывая румяна и белила.

Сердце княжича сжалось, и, боясь заплакать, он торопливо стал обгрызать поданное ему Ульянушкой стегнушко жареного гуся. Отирая жирные руки и губы столовым полотенцем, он торопливо утирал незаметно и слезы. Но Софья Витовтовна все видела и, обратившись к любимому внуку, сказала с нарочитой веселостью:

— А ну-ка, Иванушка, скажи, какое ныне лето?

Княжич, пересиливая себя, чуть помолчал и голосом спокойным, но с едва заметной дрожью, ответил ясно и раздельно, как будто отвечал своему наставнику:

— Шесть тыщ девятьсот пятьдесят третье лето от сотворения мира...[1]

[1] 1445 год.

Старая княгиня гордо улыбнулась, увндев изумление на лнце отца Александра, н добавнла:

— Знай, любнмик мой, что ху́да всегда ждут в высокосныя леты, а прошлое лето было высокосное, а н тогда худого нам не было...

— Ничего худого по воле божней и ныне не будет,— добавил Александр, поняв, что старая княгиня хочет утешить и сноху и внука.

— Марьюшка,— продолжала Софья Витовтовна,— врагн-то наши того не ведают, что они — токмо краешки, а середка-то всему — Москва, все под Москву само придет. Всех их Москва съест, а без Москвы н Руси не стоять. Вот н моего сыночка скороверного сама Москва, божией милостью, с десяти годочков бережет...

— Да и советы твои берегут, государыня,— добавил отец Александр.— Из детства ты его государствованню вразумляла...

Иван не слушал дальше, затосковав опять по отце. Так вот и стоит он перед ним в золотых доспехах, каким он уезжал на рать, а глаза у него веселые, веселые — смеются...

Когда же подалн нзюм, редьку, варенную в меду, рожки, финики, сушеную смокву, обед пришел к концу. Маленький Юрнй устал, захотел спать, не ел даже лакомства, зевал и потягивался.

— Ульянушка,— сказала Марья Ярославна,— уложи-ка его спать...

Мамка Ульяна засуетилась около Юрня, взяла его на рукн н понесла в спальню княжичей, нараспев приговарнвая:

— Потягота на Федота, а с Федота на Якова, а с Якова на всякого...

Вышел вслед за Ульяной нз-за стола и княжич Иван, захватив кусок сухой смоквы. Сам он уж больше не хотел сладкого, но брал смокву для друга своего Данилки, сына дворецкого Константина Ивановнча.

Отстав от Ульянушки, Иван задумчиво н медленно, а не скачкамн, как всегда, сошел во двор по широкой лестнице с резными решетками по бокам. Он только сегодня за трапезой вполне осмыслил всю беду, которая может постигнуть отца, бабку, мать н его самого с Юрнем. Улу-Махмет казался ему теперь страшным, вроде Змея Горыныча, о котором ему с Юрием Ульянушка сказывала, н досадно было за отца, что он не умеет делать так, как следовало, как бы Добрыня Ннкнтнч сделал нлн, еще лучше, как сам Илья Муромец...

Зажимая в кулаке кусок сушеной смоквы, он обошел княжие хоромы и направился к черному крыльцу бабкиных хором, к жнлым подклетям, где всегда его поджндал Данилка. После обеда

им было самое свободное время, когда все ложились отдыхать, а они вдвоем, без нянек и мамок, бродили по всему княжому двору, где хотели, только за ворота не смели выйти.

Но на этот раз в бабкиных подклетях Данилки не оказалось, а сидели за столом у самой переборки у солныша, у бабьего стряпного угла, Дуняха с отцом да сторож-звонарь с ними, старый Илейка. Перед ним была сулея с водкой да ендова с крепким медом: у ключника для гостя Дуняха вымолила. Свой он, ключник-то, из капустинских.

— А, княжич!— весело крикнул тот самый старик, что утром бранился с дворецким.— Милости просим, здравствуй, голубок! Садись с нами за стол, чем богати, тем и ради. А я, вишь, ежели на дворе, то на солнышке, а ежели в избе, то поближе к солнышу! Садись к нам, соколик...

Иван перекрестился на образ в красном углу, поздоровался и присел на скамью возле Дуняхи.

— Вот я тобе и скажу,— продолжал Дуняхин отец,— дворянин-то утресь кричал, что я-де, староста из села Капустина, опять поруху учинил государеву делу! А тивун-то[1] капустинской где?! Ты все, Дуняха, молодой княгине обскажи. Тивун-то все на меня, а мужиков нет, парубков нет — нет мне ни от кого помочи...

Он замолчал, выливая в деревянную чарку Илейки остатки водки.

— Будя, Кузьмич, а то шумен стану,— улыбаясь, отнекивался Илейка, а сам тянул к себе чарку.

— Пей, Петрович, за здравие нашего князя,— продолжал, пьянея уже, Кузьмич,— а я еще медку пососу. Эх, хорош едреной, крепкой медок, не хуже водки. Эко-ста дело-то! А тивун-то у нас — не дай боже! Такой нечунай[2]— никакой от него ни ласки, ни помочи не жди...

— Сие, как татары говорят, «ни сана, ни мана!»[3]— промолвил Илейка, ставя на стол пустую чарку.— Есть такие. Ни сиротам, ни князю от их добра нет. Ну, да как бог. Небось, Кузьмич, правда сама себя очистит. Правды и Мамай не съел...

Илейка замолчал, опустив захмелевшую голову, но тотчас же встрепенулся и заговорил горестно:

— Отец еще мне при смерти приказывал: держись Москвы, как вошь кожуха. В тепле и в сыте будешь, и татарин тебя не

---

[1] *Тивун*, тиун — управитель княжой (дворцовой) волостью, сельский староста и судья.
[2] *Нечунай* — неучтивец, грубый.
[3] «Ни тебе, ни себе!»

тронет! Ан Улу-Махмет Москву один раз ограбил, теперь опять идет...

— Князи виновати,— мрачно выговорил Кузьмич.— Сказано: за княжое согрешение бог всю землю казнит! Князи-то наши волками грызутся, ладу у них нет, а без ладов и кадки не соберешь...

— Как подумаешь умом — и головушка кругом,— поддержал Илейка.— Поганым же того и надобно — прут на Москву, убивают, грабят, христианство в полон берут...

Кузьмич оперся на руки и залился пьяной слезой.

— Не горюй, братаня!— тронул его за плечо Илейка.— Не тужи, голова. Давай песни играть.

— Эх, ты! Какие мне песни!— всхлипнул староста и, ложась головой на стол, добавил:— Двое сынов у меня под Суждалем-то...

Густой храп показал Дуняхе, что отец наугощался досыта. Осторожно уложила она его на лавке и побежала в хоромы к Марье Ярославне.

Княжич, досадуя на Данилку, что до сих пор не приходит, смотрел на дремавшего Илейку. Опять ему обидно и тяжело от всего, что услышал, хоть плачь, да про часы вдруг вспомнил, дернул за рукав Илейку.

— Покажи часы самозвонные, что на дворе! Покажи!

Оживился старик и дрему забыл.

— Экую старину ты вызнал,— говорит Илейка, посмеиваясь,— айда на двор. При мне их ставили, я еще парубком молодым был — сербину колеса подгонять пособлял...

Повел старик Ивана в самый конец княжого двора. Видит княжич, стоит здесь башенка ветхая, деревянная, а на ней круг большой медный и прозеленел весь. Стрелка на нем одна толстая, на резных знаках неподвижно стоит: на двух крестах с палочкой и уголком — XXIV.

— Сие, княжич, часы и есть,— указывает рукой Илейка.— Стрелка вон та ране кругом ходила, и, как подойдет к какому знаку, так колокол бьет. Знаки те — латыньские, как сербин-то говорил, а я неграмотен. Знаю, вот одна палка — один раз били, две — два, три — так три раза, а там уж токмо по бою помнил.

Княжич долго смотрел на медный круг, на стрелку и знаки.

— А кто же стрелку двигал?— спросил он наконец.

— Сама, княжич, шла. Колеса в башне вертелись...

Иван удивленно и недоверчиво глянул на Илейку, потом быстро подбежал к башне, заглянул в щель полуотвалившейся дверки и замер. Сам в полутьме он увидел огромные зубчатые колеса, круглые железные брусья, цепи и гири.

— Верно, Илейка,— крикнул Иван,— есть там колеса! Колеса, ты говоришь, стрелку вертели, а колеса кто?

— Гири вот те, что на цепях, а я их каждое утро подымал, а они к другому утру опять спускались. Так они целый день и ночь колеса и стрелку вертели и вот тем кулаком железным в край колокола били...

— А если теперь гири поднять?

— Ржой, княжич, всё переело, а ране что-то унутри их сломалось — не то зубья у колеса, не то ось. А били-то они зрятну всякую: и тринадцать, и пятнадцать, а то и двадцать четыре...

— А вот Костянтин Иваныч говорит, за морем такие часы есть, что всё показывают: и год, и месяцы, и дни, и числа.

— На море, на окияне,— смеясь, перебил его Илейка.— на острове на Буяне стоит бык печеный, в заду чеснок толченый: спереди режь, а в зад макай да ешь! Помело — твой Костянтин-то Иваныч...

Княжич рассердился и крикнул:

— Ничего ты не разумеешь и сам-то часы звонишь неверно.

— Ай нет! Я всегда по петухам и по солнцу. Право слово. Исстари так,— заспорил Илейка и вдруг крикнул:— Эй, гляди, княжич, Данилка-то бежит сюды, что угорелый. Слышь, на дворе гом какой поднялся.

Иван оглянулся.

Данилка, мальчик лет десяти, всегда резвый такой и веселый, подбежал теперь к княжичу испуганный и бледный.

— Где ты был, Иванушка?— запыхавшись, бормотал он срывающимся голосом.— В подклетях искал, по двору... Тут вот увидал...

Иван сунул ему с маху кусок смоквы в руку, а спросить от испуга ничего не может, будто онемел совсем. Данилка замолчал, пучит глаза на княжича и наскоро, целым куском, жует смокву, давится...

— Да сказывай, пострел, что там такое случилось?— не своим голосом закричал Илейка и, не дождавшись ответа, бегом бросился к хоромам.

— От Суждаля прибежали,— глотая с трудом смокву, выговорил, наконец, Данилка.— Двое холопов прибежали: Яшка Ростопча и Федорец. В сенях княжих хором ждут, когда бабка и матерь твоя к ним выйдут...

Затрясло Ивана мелкой дрожью, и, не помня себя, побежал он тоже к хоромам, а за ним и Данилка.

Сироты, холопы и вся челядь с княжих и боярских дворов шумела и галдела у хором великого князя, а бабы голосили и причитали. Княжичу Ивану дворня давала дорогу, кланяясь и сни-

мая шапки, когда протискивался он к красному крыльцу. Не переводя духа вбежал он с Данилкой по крутой лестнице наверх, к горницам, но, заскочив в сени, остановился.

Бабка Софья Витовтовна с посохом в руках стоит на пороге в дверях передней. Сзади выглядывает мать, бледная, заплаканная. Иван хотел было кинуться к матери, но, взглянув на бабку, не посмел и, встретив ее суровый, словно чужой, взгляд, замер весь.

Никогда он еще бабку такой не видел и понял, почему все, даже отец с матунькой боятся ее. Тихо в сенях, как в церкви, а против старой государыни стоит с завязанной головой истопник великой княгини Марьи — Яшка Ростопча да еще Федорец Клин из княжой стражи, а рука у него почти по локоть отсечена. Ужаснулся княжич, разглядывая окровавленные тряпки на ранах воинов, рванулся было опять к матери, но, вспомнив бабку, остался на месте. Оглянулся пугливо по сторонам: видит, стоят тут и бояре, и боярские дети, и дворяне, и слуги дворские всякого чина.

— Ну, сказывайте,— повелительно и строго приказала Софья Витовтовна.

— Государыня великая,— заговорил Ростопча,— в тоё время были мы во граде Юрьеве. Ничего не слыхать было о сыновьях улу-махметовых, Мангутеке да Якубе, царевичах, а прискакали к нам воеводы из Новагорода из Нижнего старого: князь Федор Долголядов да Юшка Драница, они, град свой ночью сжегши, к нам от татар прибежали. Тогда князь великий, Петров день отмолясь в Юрьеве, пошел к Суждалю на татар... От воевод-то нижегородских нам ведомо стало, что пошли туда царевичи...

— Ну, а братья великого князя?— резко перебила Ростопчу Софья Витовтовна.

— По дороге к Суждалю подошли братья-то. Пришли от отчин своих князь можайский, Иван Андреич, да брат его князь верейский, Михайла Андреич, да шурин великого князя князь Василь Ярославич с полками...

— А Шемяка?

— Князь-то Митрий Юрьич ни сам ни шел, ни полков не слал, а мы немало коней загнали, помочи его прося, ибо христиан мало было...

— А было то, государыня,— вмешался Федорец Клин,— когда мы на реке Каменке, близ Суждаля, станом стояли, июля в шестой день, во вторник. А как стали на Каменке, вдруг всполох великий начался в войске. Надели доспехи, знамена подняли, пошли в поле, а татар нигде нет. Видом не видать, слыхом не слыхать поганых. Пришел тут к нам вечером с полком своим Лексей Игнатыч, а потом и иные воеводы, которые отстали было от нас. Один токмо царевич Бердедат не подоспел —

токмо к ночи к Юрьеву подошел. Ну, мыслим,— татар нет, успеет завтра к вечеру и царевич, да и воеводы некоторые на помочь нам тоже соберутся, пока войска улу-махметова еще нет. Возвеселились все...

— Пировать начали!— стукнув посохом в пол, с досадой молвила старая княгиня.

— Верно, государыня...— печально подтвердил Федорец,— князь великий ужинал у собя со всею братией и боярами, пировали до полуночи. Проснулся наутро князь поздно — солнце давно взошло. Повелел он заутреню петь, а потом похмелья поел и, опохмелясь, захотел отдохнуть, а тут стража наша прибегла с вестью, что татары через Нерль-реку бро́дятся[1]... Начали мы тут все спешно доспехи, щиты, мечи и копья хватать и, снарядившись и знамена подняв, изгоном[2] пошли на татар в поле и близ Ефимьева монастыря, по левую сторону, поганых увидели множество. Откуда и взялось их столь, конца-края им нет...

Замолк Федорец, словно духу ему не хватило, побелел, как снег, и голову опустил. И Ростопча молчит. А в княжих сенях замерло все от страху; тишина, будто в могиле. Обмер почти Иван, но смотрит на Софью Витовтовну, ждет, что скажет, а руки у него оледенели совсем. Лицо у бабки стало каменным, неживое будто.

— Дальше сказывай,— услышал Иван ровный, но глухой голос, словно из другого покоя говорила теперь старая государыня.— Все, как было, сказывай...

Воины молчали, а Софья Витовтовна нетерпеливо стукнула посохом в пол, глядя в упор на Ростопчу.

Собираясь с мыслями, Ростопча оправил повязку на голове и заговорил тихо:

— Сперва мы, государыня, стрелы пущать зачали. Потом, распалясь гневом, ударили на татар и с лютостью били их. Побежали полки поганых. Наши погнались, а иные из христиан сами убегли, иные же начали убитых татар грабить. Татарове же, видя безрядье такое, повернули опять на нас. Рубят, копьями колют, стрелами бьют, в полон имают...

— А где князь наш? — слабо вскрикнула Марья Ярославна и упала без чувств у порога.

Ульянушка подняла ее и посадила на лавку, а Иван, забыв все, подскочил к матери, обнимал, целовал ее, но не плакал, а только дрожал весь.

Иногда он поглядывал на бабку — та все еще стояла непод-

---

[1] *Бро́диться* — переходить вброд.

[2] *Изгоном* — стремительно, поспешно, неожиданно для противника.

вижно на пороге передней и слушала, что говорят воины. Он вздрогнул, когда бабка закричала громко и гневно:

— Что ж вы, холопы, князя своего не уберегли? Слуги князя можайского, говоришь, с земли сбитого подняли, на другого коня посадили, из плена умчали. А вы своего князя что ж?

— Государыня великая,— горестно отвечал Ростопча,— мне секирой через шапку голову до кости прорубили, а копьем правое плечо сквозь тягиляй[1] пронзили. Отогнали поганые меня от князя, а князь-то зло бился, много безбожных убил...

— А я, государыня, до конца был, пока князя с коня не сбили. Тут мне руку отсекли...— сказал Федорец.

Замутилось в голове у Ивана, припал он к плечу матери и обмер, а когда очнулся, видит, словно через туман, что вместо воинов стоит перед бабкой Константин Иванович, бледный. Борода у дворецкого дрожит, ртом он воздух хватает, как рыба, из воды вынутая, и тонко, по-бабьи выкрикивает:

— Государыня, сотник татарский Ачисан прискакал!.. Не один, а с конниками... Хорошо разумеет по-русски... Тобя, государыня, спрашивает...

Вдруг двери широко распахнулись. Вломился в княжии сени молодой татарин со щитом и с саблей, а на голове шишак. Сзади него еще пятеро татар со щитами и копьями. Оцепенели все со страху, только Софья Витовтовна по-прежнему на пороге стоит с посохом и прямо глядит на татарина, а он на нее дерзко смотрит. Да не выдержал Ачисан, опустил глаза и поклонился, а она повернулась к зятю своему, боярину князю Юрию Патрикееву, что военной заставой в Москве ведал в отсутствие князя, и повелела:

— Прикажи, боярин, враз затворить все ворота во граде, а сторожам и воям вели стоять на всех стрельнях и пушкарям вели, что знаешь...

Боярин вышел. Стоит Софья Витовтовна, опираясь на посох, и ждет. Лицо у нее опять каменным стало. Молчит и татарин, только суму свою развязывает, достает золотые кресты-тельники, подает их старой княгине.

Ахнули все как один, узнав кресты великого князя, а Софья Витовтовна молча перекрестилась, поцеловала тельники и зажала их в руке. Вскрикнула, заголосила Марья Ярославна, но смолкла, когда свекровь обернулась к ней с гневным лицом. Опять, как в могиле, стало тихо в княжих сенях.

Ачисан же, собираясь уйти, поклонился и сказал порусски:

---

[1] *Тягиляй* — толстый стеганый кафтан, употреблялся вместо панциря для защиты от ранений.

— Плеиен ваш князь полками царя Улу-Махмета. В Ефимьевом моиастыре он, в руках у царевичей. По их воле я, сотник Ачисан, отдал тобе его тельиики, а князь, хотя и раиеи, а здрав будет...

— А ты, сотник, скажи царевичам, пусть царю Улу-Махмету доведут, что дадим, какой можем, окуп за князя. Пусть царь Улу-Махмет отпустит его на Москву. Пусть царевичей и князей своих с киязем великим пришлет, дабы из рук моих окуп за иего взяли. На том царю челом бью. А об окупе царю договориться с сыиом моим, как оба пожелают.

Задрожали губы у Софьи Витовтовиы, помолчала оиа и добавила:

— Пусть еще скажут царевичи царю Улу-Махмету, что за великого киязя вся Москва и все христианство. А теперь прости, вкуси от иашей трапезы и отъезжай к царевичам с моей челобитиой...

Обернувшись к дворецкому, оиа приказала:

— Угости с честью сотиика и воев и коией их иакорми...

Потом обратилась к боярам:

— А вы, бояре, как покличу, в передиюю иа думу придите...

Оиа поклоиилась и пошла в свои покои, а из сеней все выходить стали.

Широко открытыми заплаканными глазами следил Иваи за бабкой, идя вслед за ией. У себя в покое Софья Витовтовиа вдруг будто переломилась сразу, стала старой-старой старушкой, упала иа скамью, зарыдала и забилась в тоске. Марья Ярославиа прибежала, заголосила, обняла свекровь, причитает, руки ей целует. Тут Иваи вдруг почуял, как страх у иего прошел и сила какая-то в нем появилась.

Подошел ои к бабке, тронул ее за руку и, когда она посмотрела иа иего мокрыми от слез глазами, суровым, хотя и детским голосом сказал твердо:

— Бабунька! Вот вырасту и всех татар побью. Не дам им никого обижать.

Улыбнулась Софья Витовтовна, поцеловала внука и снова стала, какой была всегда, строгой и важиой.

— Перестаиь, Марьюшка,— сказала оиа, обращаясь к сиохе,— сей часец бояр позову думу думать. Буду яз тобе и деткам охраиой вместо князя великого, пока ои из полоиа ие выйдет.

Глава 2

ПОЖАР И СМУТА МОСКОВСКАЯ

Весть о пленении великого князя в тот же день обошла все посады, слободы и подмосковные села и деревни. Уже с ночи потянулись к Москве оттуда возы со всяким добром, что поценнее, а также с запасами разными: мукой, зерном, крупой всякой, маслом и салом. На телегах сидели дети, дряхлые старики и старухи с курами и гусями в плетенках, а за телегами гнали овец и вели коров.

Все обозы с шумом, криком, сгруживаясь в кучи, теснились и ворошились под стенами Кремля, медленно и с трудом проходя в ворота. Одни подводы затирали другие, а задние напирали на них, путались, цепляясь одна за другую. Телеги, скотина и люди комом сбивались в общей безрядице. Страх мутил людей и гнал их, не давая одуматься: с часу на час ждали передовых полков Улу-Махмета, уже раз осаждавшего Москву шесть лет назад, пожегшего тогда все посады и слободы. Всяк спешил затвориться за кремлевскими каменными стенами и спастись от полона и смерти.

Полны-полнехоньки стали улицы и переулки кремлевские от многолюдства великого — словно торг шел у всех хоро́м, у каждой самой бедной избы курной и даже у хлевов и закутов. Только не весело от этого торга шумливого — страх и тревога повсюду,— дети и те плакать не смеют.

Негде уже вместиться людям — нигде в Кремле никакого жилья свободного больше уж нет,— и вот на площадях и пустырях ютятся: одни на телегах и под телегами, другие наскоро понаделали себе балаганов из досок, жердей и кольев, обтянутых дерюгой, сермяжиной или холстом дубленым; жгут костры, как кочевники в степи, варят в котлах баранину, кур, гусей, лапшу татарскую или пшено с салом,— кому что бог послал.

Так вот и ночь прошла. Утро заалело над Москвой, а обозы все еще шли со всех сторон; словно извивающиеся черви, впивались они в кремлевские ворота и всё вползали и вползали в улицы, тесня уже осевших там ранее.

Княжич Иван, пробудившись с рассветом, бросился к окну и застыл от изумления и испуга.

— Татары, татары!— громко закричал он, но крик его еле был слышен из-за гула голосов на улицах и почти около самых хоро́м княжого двора.

Мамка Ульяна, дремавшая около крепко спящего Юрия, вскочила с лавки, когда Иван пробежал мимо нее.

— Куда ты, Иванушка?— крикнула она.

— К матуньке.

— Она у бабки!— схватив Ивана за руку, шептала ему мамка.— Татар ждем, Иванушка! В осаде будем у поганых. Наказал господь!

Слезы навернулись на глазах Ульянушки, но Иван, вспомнив о бабке, успокоился и уже не бегом, а степенно вышел из покоя в сенцы, направляясь к Софье Витовтовне.

Покои старой государыни были заставлены раскрытыми сундуками, погребцами и ларцами, большими и малыми. Челядь обеих княгинь спешно приносила из подклетей и укладывала, как в дорогу, шубы князя и княгинь русского, польского и турского покроя, на редкостных мехах, головные уборы, сапоги и башмаки с золотым шитьем, унизаные камнями самоцветными и жемчугом. Клали в сундуки золотые шейные цепи, перстни, кольца, серьги и золотые обручи, осыпанные камнями драгоценными, сосуды и блюда золотые, венцы, оклады икон и кресты в камнях самоцветных и много тканей ценных — византийских и ирландских.

Всем управляла, руководя слугами, Марь Ярославна, а Софья Витовтовна только приказывала, что брать, а что оставить.

— Всего, Марьюшка, не увезешь,— говорила она ласково и печально,— а сохранить бы токмо святыни свои и от казны нашей то, чем неверным угодить было бы при окупе...

Увидев Ивана, бабка кивнула ему головой.

— Подойди-ка, любимик мой,— продолжала она с той же лаской, тихой и горькой,— чтой-то ты до солнца поднялся?..

Иван подошел к руке бабки и только теперь заметил, что в ее покоях тихо и никакого шума и гомона со двора не слыхать. В опочивальне княжичей все окна отворены, а тут все опущены, и говор людской чуть слышно, словно там, за окнами, ветер в деревьях шумит листьями...

— Яз, бабунька, от крика проснулся. В окно поглядел, а там везде люди шумят, и у нас тоже, у самого порога, а наши слуги их гонят...

Вбежавший Константин Иваныч перебил его и, склонясь к Софье Витовтовне, зашептал:

— Великая государыня, изволь скорее слуг выбрать для своего поезда и в стражу для пути. К ночи надоть тобе с семейством выехать, пока поганые не подступили...

Оглядевшись кругом, он еще тише добавил:

— На Москве, государыня, неспокойно. Черные люди ропщут. Откуда-то вызнали они, будто все богатые да сильные из Кремля хотят выбежать в разные грады, и зло против богатых мыслят...

Софья Витовтовна нахмурила седые брови, посмотрела на дворецкого и молвила:

— Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где богу молятся.

Мало ль бреху по граду ходит. Дозоры наши не видали татарского войска. Мыслю яз сперва княгиню с княжичами отослать, а куда, о том после речь будет. Великой же княгине ране, чем на Кирика и Улиту, не снарядиться, на сборы дня три будет надобно...

— Шумит народ-то, государыня, от страха и зла. Особливо посадские, что еще с ночи в осаду сели. Есть и такие, что хотят все в свои руки взять, государыня...

— Чего бог не даст,— усмехнулась Софья Витовтовна,— того никто не возьмет. Иди, Иваныч, готовь обозы, а слуг для поезда яз тобе потом укажу.

Обернувшись к Марье Ярославне, она сказала:

— А ты, Марьюшка, святое евангелие, кресты и оклады в большой резной ларец положить прикажи да окутать, не бились бы в телеге-то на бревнах да выбоинах...

В покой вошла мамка Ульяна.

— Иванушка,— тихо окрикнула она княжича,— подь умыться. Скоро звонить будут к заутрене, не замешкаться бы нам. Ведь первый-то звон — чертям разгон, другой звон — перекрестись, а третий-то — оболокись да в церкву поторопись...

Накануне дня Кирика и Улиты появился неведомо откуда юродивый странник во власянице и веригах, а в руке у него толстый посох дубовый с медным голубем на верхнем конце. Все лицо у юродивого бородой заросло, копной на голове волосья, а глаза горят и бегают. Быстро так ходит он все меж возов, звеня железами, иногда останавливается, стучит посохом в землю и кричит:

— Ох, смертушка, смертушка — геенна огненная... Все камни сгорят на земле, потекут ручьями железо и медь, сребро и злато!

С гневом отталкивает он всякие подаяния и, запрокинув голову к небесам, с рыданием взывает:

— Господи, боже наш! Вскую еси оставил ны?!

Никто не понимает его, но все боятся, а многие женщины плачут от страха. Говорят в толпе о конце мира и о знаменьях.

Встретив возле Успенского собора Дуняху, юродивый погнался за ней, грозя посохом, а у княжого двора завопил во весь голос:

— Кошки грызутся — мышам покой! В ню же меру мерите, возмерится и вам! Старый ворон мимо не каркнет!..

Насилу отогнали его холопы. Княжич Иван видел с красного крыльца, как прыгал у ворот юродивый, гремя цепями и выкрикивая страшные, непонятные слова. Сбежав с крыльца, Иван боязливо подошел к воротам. Там стоял старый Васюк, ходивший за кня-

жичами вместо Ульяны, когда отец возил их с собою на богомолье или на охоту.

Широкоплечий Васюк, с курчавой седеющей бородой, был любимым слугой великого князя. Иван, схватив старика за большую, крепкую руку и робко поглядывая за ворота, торопливо выспрашивал:

— Чтой-то шумят все, Васюк? Что юродивый кричал? Дуняхе за что грозил он посохом?..

— Не бойся, Иванушка,— ласково и спокойно сказал Васюк, чуть усмехаясь в бороду,— юрод сей не от бога, а от лукавого, не истинный он — облыжно говорит. Чернецы из Чудова его науськивают, вот он и лает, как пес из подворотни. И в святых обителях подзойники есть, Иванушка, вороги государя. На шемякино кормленье они живут...

Васюк положил руку на плечо княжича и, склонив к нему кудлатую голову, тихо добавил:

— Не бойся, говорю, Иванушка! Есть тобе и без государя защита и от бабуньки и от нас, верных слуг. Мы спозаранку, до татар еще, из Москвы выбежим. К Ростову поедем или в Тверь — про то одна Софья Витовтовна знает. Уйдем и от поганых и от Шемяки. Найдет бабка, где нам схорониться...

Мимо ворот, выбиваясь из сил, пробежал купец — богатый гость[1], в изорванном кафтане, без шапки, с окровавленным лицом, а в улицах и переулках следом за ним гудел топот толпы, и в гомоне и гуле можно было разобрать среди грозного рева отдельные выкрики:

— Ло-о-ви-и!.. Бе-е-й окая-янны-их! Не-е пу-у-ска-ай! Ло-о-ов-вии!..

Иван увидел, как изо всех улиц и переулков валом повалили на площадь посадские черные люди с кольями и палками, окружая связанных бояр, купцов и даже дьяков, и гнали их впереди пустых разграбленных подвод. Семьи задержанных с чадами и домочадцами сидели на телегах. Женщины вопили и причитали, плакали и громко взвизгивали испуганные дети...

У самых княжих ворот, размахивая колом, прошел ражий детина, по всему видать было, что кузнец, и зычно кричал в толпу:

— Нашим трудом мошну набивали, добро наживали! Теперь животы свои спасают, а нас головой татарам выдают! Гони их, христиане, по дворам, лошадей да подводы от их отымай!..

— Айда, ребята, к воротам градным!— выкликали разные голоса из гущи толпы.— У ворот стражу свою, посадскую поставим!.. Айда ворота запирать...

---

[1] Гостями в старину называли богатых именитых купцов, торговавших не только на русских рынках, но и в чужих землях.

Васюк нахмурил брови и, поправив кончар[1] за поясом, сказал стоявшему рядом воину:

— Отведи-ка княжича в хоромы да обскажи все Костянтин Иванычу про смуту и подзой в народе... Да скажи, прибежали сироты с Клязьмы-реки. В трех местах, бают, перешли ту реку поганые. Одни идут к Володимеру, а иные и на Муром. Не ровен час на Москву придут...

Весь этот день княжич Иван ходил в тревоге по своим хоромам, откуда слуги торопливо выносили всякое добро в сундуках, грузили на дворе в телеги с сеном, покрывая сверху дерюгами и увязывая веревками. Все говорили вполголоса, словно боясь, что услышит кто-то, делали всё, будто хоронясь от чужого глаза.

Ульянушка, отведя княжича в сторонку, шепотком на самое ухо рассказала:

— Мы, Иванушка, завтречка, до рассвета пойдем с подводами, а куда, не знаю. Бабка о том токмо Костянтин Иванычу приказала. Татары, бают, совсем уж близко, а под Москвой Шемяка кружит коршуном...

— Где ж мы пройдем? — глухим голосом спросил Иван, и губы у него задрожали. Шемяки боялся он еще больше, чем Улу-Махмета.

— Худая та мышь, что один лаз знает! — затараторила Ульянушка, увидав, что напугала княжича. — Старая государыня найдет дорогу...

Всхлипывая и зажимая рот платком, вбежала Дуняха. Уткнувшись в угол за изразцовой печкой, она что-то жалобно причитала сквозь слезы.

— Ты что, дура, нюни распустила?! — крикнула на нее Ульянушка. — Работы тобе нет?..

— Ульяна Федотовна, матушка, — заголосила Дуняха, — истопнику-то нашему, Ростопче, приказала государыня Софья Витовтовна на княжом дворе остаться хоромы стеречь да ее двор блюсти на Ваганькове...

— Уймись! Утри глаза-то, — княгиня Марья Ярославна тобя кликала!..

Дуняха сразу смолкла и уныло побрела в покои великой княгини.

— Пошто она плачет? Юродивый напугал? — спросил Иван.

— Дура, вот и плачет, — сердито ответила Ульянушка, — просватали ее за Ростопчу, свадьбу играть уж думали, а тут вот те и на: кому «Христос воскресе», а нам — «Не рыдай

[1] *Кончар* — длинный кинжал.

мене, мати...» Идем, Иванушка,— бабунька нас кличет. Юрьюшка уж там ужинает,— солнышко низко стало, а вставать нам до свету...

За столом сидела Софья Витовтовна одна со внуками. Марья Ярославна с Константином Иванычем в хлопотах были, им не до ужина. Иван ел молча, взглядывая изредка на хмурое, суровое лицо бабки. О многом хотел он спросить ее, но не решался. Наконец она заметила это и сама спросила:

— Ты что, Иванушка?

— Видал яз, баба, юродивый, в цепях весь, за Дуняхой бежал, палкой грозил, а что кричал, не знаю...

Бабка усмехнулась.

— Боле не токмо кричать, а и встать седьмицу после батогов не сможет,— сказала она жестко.— Не юрод он, Иванушка, а вор-изменник, шемякин слуга, из чернецов чудовских подослан. Учись на людях, Иванушка, и век помни: богу молись, а чернецам не верь. На всякое они воровство ради кормленья, ради стяжанья пойдут...

— А за что посадские бояр да купцов били?

— А сие, любимик мой, особо запомни. Когда княжить зачнешь, сам поймешь. Токмо не забывай: рыба с головы гниет. Когда князь слаб — ослабленье и в народ идет, смуты рождает... Справная, в меру сытая лошадка вожжей слушается, изрядно воз везет, а закормишь — с жиру бесится, не докормишь — со злобы... Ну, голубики, спать вам пора — с ночи поедем...

Внуки пошли к руке Софьи Витовтовны, та перекрестила их и поцеловала на прощанье:

— Храни вас господь!..

Заря вечерняя потухала уж и багровыми полосами сквозь слюдяные окна тянулась через всю опочивальню княжичей к изразцовой лежанке. Темнело в покоях, но все багряней становились полосы от окон, подымаясь к самому потолку. Княжич Иван лежал с открытыми глазами, то ворочаясь, то слушая ровное дыханье спавшего рядом Юрия, шепот молитвы и шуршанье на лежанке, где примостилась Ульянушка.

Не спится Ивану. Не болит ничего, и страху нет, а только думы разные, и что-то недоброе, грозное чудится, тоской гнетет...

— Ты что, соколик, не спишь-то?— зевая и крестясь, сонно говорит Ульянушка.— Вставать-то ведь до свету...

Услышал Иван знакомый голос, и стало все обычным, а думы и тревоги, как мыши, разбежались и спрятались. Легко ему, и говорить не о чем. Так только, чтоб голос подать, спросил он мамку:

— А Костянтин Иваныч поедет с нами?

— Поедет, соколик, поедет. Со всем семейством поедет: с Матреной Лукинишной и детьми — с Данилкой и с Дарьюшкой. Твой Васюк тоже поедет, а ты спи, сыночек, спи, андел тобя твой охранит. Он, андел-то твой, на правом плече у тобя. Как глазки закроешь, он крылом тобя осенит, и сон сразу придет. Что яблочко на яблоньке, то и ты у нас всех. Спи, соколик, спи...

Слушает Иван, и покой на сердце ложится, путается все в голове. Слышит он уж только голос Ульянушки, словно ручей: лепечет он, а слов разобрать нельзя. Да и впрямь это ручей. Вот бежит ручеек по лугам среди цветов лазоревых, а на бережку он, княжич Иван, на пуховой мураве лежит, и сон его клонит. Только заснул он, долго ли, коротко ли спал, не знает, а видит: жар-птицы летят, а из ручья зверь страшный вылез, в чугунную доску бьет, как сторож, на него прямо наступает, хватает его лапами...

Вскочил Иван в испуге — огнем в окна полыхает, а Ульянушка, трясясь вся, кричит и его за плечи дергает. Набат во всех церквах бьют, со всех улиц слышен крик и вопль человечий и рев испуганного скота. Бросился Иван, стуча зубами, к окну, а у Чудова, против княжих хором, полнеба в дыму и огне, искры и галки по ветру во все стороны несет, а пламя словно пляшет кругом, шарахаясь их стороны в сторону над тесовыми крышами.

Буря вдруг сорвалась — загудело кругом все, завыло. Словно молнии, огненными полосами заметались по черному небу пылающие головни и летят по всему Кремлю и за кремлевские стены. Занялись почти все посады Заградья. Душно становится от дыма и гари, жаром издали пышет в лицо, и светло, как днем. Гул, шум и набат. Хруст и треск идет от горящих изб и хором, а человеческие вопли сливаются с шумом и грохотом бури.

Дрожит всем телом Иван, а оторваться от окна не может. Видит, целые крыши срывает ветром с теремов и башен, подымает, как огненных змеев, и бросает в улицы и переулки, а там начинает пылать и бушевать новый пожар.

Вдруг запылало совсем близко, дым густой повалил тучей, и на скотном дворе дико заржали и завизжали лошади, громко заревели коровы. Васюк вбежал в опочивальню, схватил Ивана на руки, а Ульянушка Юрия и так понесли неодетыми. На дворе уж одели среди груженых подвод, согнанных ближе к саду и воротам, где не было никаких строений. Тут стояли обе княгини и Константин Иваныч, посылая то туда, то сюда ключников и подключников. Слуги, как муравьи, бегали по двору, таская добро из хором и подклетей, сгоняя в сад лошадей и рогатый скот.

Светает уж, но зари от огня не видно, да и черный дым, клубясь от бури, заволакивает небо.

— Погребы земляные,— задыхаясь от дыма, налетавшего с ветром, кричит Константин Иваныч ключникам,— погребы пóлните всем наилучшим! Крыши деревянные ломайте, а творила землей от огня сверху засыпьте.

— Заливай, заливай головню,— доносится по ветру из глубины двора,— сюды вот пала!

— Воды скорей! Давай ведро-то!..

Но ветер меняется, и крики сразу обрываются и глохнут. Рвет бурей одежду, ест дымом глаза, спирает дыхание, и жаром жжет, как от раскаленных углей...

Софья Витовтовна поманила рукой к себе дворецкого.

— Сказывай слугам,— заговорила она поспешно,— княгиня великая, убоясь-де пожара, едет с детьми ко мне на Ваганьково. Если же, не дай бог, хоромы княжии загорятся, то пусть добро и скот туда, ко мне переводят...

— Государыня,— всполошился Константин Иваныч,— ехать ты приказываешь, а где проезд-то есть? Знаешь, что народ деет? А в пожар наипаче все сбились — ни пройти, ни проехать! Из конца в конец мечутся, а старых и малых кони и люди топчут...

— Вели, Иваныч, частокол разобрать у нашего двора, чтоб нам в Спасской-на-бору монастырь проехать. Аль забыл, что у чернецов ворота в стене есть?..

— Истинно, истинно говоришь, государыня,— не сдавался Константин Иваныч,— а дальше как? Куда побежим? У Володимера, у Мурома татары, а может, и к Москве подходют...

— А мы,— хмуря брови, твердо приказала Софья Витовтовна,— мы в другую сторону лесами пройдем. Татары к нам с восходу, а мы от них на заход!

Старая княгиня нагнулась к уху дворецкого и прошептала:

— К Дмитрову пойдем, а оттуда к Ростову побежим. Владыке и боярам нашим о том ведомо. Многи вчера уж из града вышли со стражей. Ждут нас за Ваганьковым.

До Тушина от Москвы княжой обоз двенадцать верст в три часа прошел — дорога тут добрая, старый тележник, наезженный. Когда же свернули к Дмитрову на лесные дороги, в чащобы дремучие, трудней стало — ехать пришлось нога за ногу. На каждом шагу болота да топи и хоть гати из бревен и сучьев настланы, а к полудню и пятнадцати верст не проехали. И лошади из сил совсем выбились, и люди, возы вытаскивая, измаялись. Велел Константин Иваныч, не распрягая, лошадей из торб кормить, а людям обедать. Выбрали полянку посуше и станом стали.

Княжич Иван слышал сквозь сон, как обоз остановился, как затихли крики и понуканья, перестали скрипеть колеса. Сразу прекратились толчки, и стало вдруг тихо, и, хотя люди говорили громко, звякали ведрами, а где-то рубили топором дерево для костров, в лесу все это было как-то отдельно и не мешало лесной тишине. Слышно вот даже, как птичка где-то тихонько посвистывает: тюр-люр-лю, тюр-люр-лю!

Иван с трудом открыл сонные глаза и в окно колымаги увидел меж лохматых лап желтых сосен и темных елей знойное синее небо. У самых вершин деревьев, то прячась, то выглядывая из-за ветвей, пробегали черноглазые рыжие белочки с пушистыми хвостами. Иван хотел разглядеть их получше, но непослушные веки снова крепко сомкнулись, словно склеились.

— Иванушка, поешь куричка,— словно из-под одеяла, услышал он невнятный голос Ульянушки и сразу заснул, будто ко дну пошел.

Разбудили его толчки колымаги на бревнах, когда обоз опять переезжал гать.

— Проснулся, княжич?— окликнул его Васюк, сидевший с ним в колымаге.— Сне, друг, тобе не тележник. На такой дороге не токмо живой, а и мертвый пробудится.

Он вдруг дернулся от неожиданного толчка и поспешно выскочил из остановившейся колымаги на дорогу.

— Ах ты, леший тя задери!— ворчал он, подпирая плечом передок колымаги и помогая вознице вытаскивать колесо, завязшее между бревен.

Сев опять на свое место в колымаге, он подвинул к княжичу мелко сплетенный короб и ласково сказал:

— С испугу-то да устали сколь время ты проспал! Мы и лошадей накормили и сами все пообедали, да и выспались. Возьми вот в коробе-то, там тобе мамка Ульяна и курника, и колобков, и баранины с хлебом, да и сулею с медовым квасом принесла...

Иван быстро поднялся, сел, скрестив ноги калачиком, по-татарски, и набросился на еду. Выглянув в окно своей колымаги, он увидел у самой конной стражи колымагу княгини, в которой ехал Юрий с Ульянушкой и Дуняхой. Позади же его колымаги по-прежнему ехал перед боярским поездом Константин Иваныч с семейством.

Данилка, привстав на колени, выглянул из-за лошади и, увидев Ивана, слегка свистнул и подмигнул ему. Потом мигом соскочил со своей телеги и зашагал рядом с колымагой Ивана.

— Боярские холопы сказывают,— говорил он, торопясь и волнуясь,— малиннику тут страсть! Кругом малина, по всей дороге!

— Верно, верно, Иванушка,— подтвердил Васюк,— кустами пройдешь, бают, и рубаху и порты ягодой очервленишь.

— Отпросись у княгинь-то, Иванушка,— нетерпеливо продолжал Данилка,— мы с тобой ведра два наберем за один мах!

Побежали к княгиням.

Софья Витовтовна позволила, а Марья Ярославна даже улыбнулась впервой, как из Москвы выехали, и сказала нерешительно:

— Аль и мне с вами пойти по малину?

— Сходи, сходи, Марьюшка,— ласково одобрила старая государыня,— разомнись, возьми Васюка, что ли, токмо от поезда нашего не отходи в чащобы и глушь — лес-то незнаемой, всякое может случиться...

— Яз Дуняху да Васюка возьму, да...

— Ай и яз пойду, государыня,— вызвался Илейка-звонарь.— Края сии добре знаю. Недаром Костянтин Иваныч из звонарей меня в кологривы приказал, у лошади ныне поставил. Версты две вот проедем, будет справа Клязьма-река. Проедем вдоль нее верст десять — и озеро Круглое, а за ним через три версты и Нерское озеро. На нем село Озерецкое, где и ночлег наш, государыни...

— Ну, идите с богом,— перебила его Софья Витовтовна.— Вперед обозу зайдите по дороге, к конной страже поближе, а как мы догоним, опять вперед идите. Глядите, токмо бы позади не быть...

Когда Иван с матерью и прочими сошел с проезжей дороги, из бора пахнуло на него со всех сторон сырым лесным духом. И сосной здесь пахнет, и бузиной, и мятой, и всякими травами, а над головой дятлы пестрые и черные с дерева на дерево перелетают, кору долбят, только стук идет — червяков да жуков ищут. Поползни то вверх, то вниз головой по гладким стволам, словно по ровной земле, бегают. Мелькают в чащах золотые иволги и кричат по-кошачьи...

— Ох, и дух-то легкой какой!— дивуется Дуняха и, всплеснув руками, взвизгивает:— Малинник-то, малинник! Стеной стоит непролазной!

— Сюды, Иванушка, сюды,— кричит Данилка из самой гущи,— страсть ее здесь, малины-то!

С ведром в руках Иван влез в самую гущу кустов, направляясь на голос Данилки. Но скоро остановился, окруженный таким изобилием ягод, что глаза разбегались.

Раздвигая высокие стволы, усаженные тонкими шипами, как щетинками, он непрестанно срывал сочные, душистые ягоды, жадно поедал их одну за другой без разбора, но потом стал выбирать поспелее, а раз, не заметив лесного клопа, взял большущую ягоду-двойняшку, но тотчас же выплюнул ее от вони, наполнившей

весь рот. Скоро и совсем перестал есть, а только набирал в ведерко, медленно отворачивая белые снизу листья малины, в гуще которых прятались крупные и сочные ягоды.

Его стали теперь больше занимать медленно ползающие по листьям зелено-золотые жуки и большие желто-золотые коромысла, что кружились, мечась по сторонам, или, трепеща крыльями, висели в воздухе на одном месте. Иван забылся, как в сказке, ни о чем не думая среди неясного шороха в бору и в малиннике.

Вдруг впереди себя он услышал очень уж громкое чавканье. Сначала Иван подумал, что это Данилка ест ягоды, но удивился, что тот очень уж гулко чавкает, даже не похоже, что человек ест. Княжич заробел и в нерешительности остановился. В это время позади него зашуршали кусты, и из них вынырнула Дуняха с полным ведром малины. Оглянувшись на нее, Иван ободрился и смелее шагнул вперед, но, раздвинув кусты, замер от страха: перед ним невдалеке сидел на корточках огромный бурый медведь и, обняв лапами, как сноп, несколько кустов малины, жадно хватал пастью ягоды и обсасывал их. Не успел княжич понять, что происходит, как зазвенело у него в ушах от визга Дуняхи.

— Ме-едве-е-едь!— визжала она не своим голосом на весь бор.— Ме-е-едве-едь!..

Иван видел, как страшный зверь вздрогнул, взмахнув лапами, вскочил и, с шумом ломая кусты, скрылся в малиннике, а Дуняха завизжала еще громче. На крик прибежал Васюк, а за ним Илейка с Данилкой и Марьей Ярославной. Иван все еще стоял неподвижно, крепко вцепившись одной рукой в ведерко, а другой — в кусты малины.

— Какой медведь?— кричал Васюк, тряся за плечи Дуняху.— Где медведь?

Девка перестала неистово визжать, но не могла с испуга и слова выговорить. Иван же, все еще держась за куст, медленно поставил ведерко на землю и сказал, указывая дрожащей рукой на притоптаный рядом малинник:

— Здесь малину ел...

— Мати пресвятая богородица!— вскрикнула, испугавшись, Марья Ярославна, бросилась к сыну, обняла и заплакала.

— Матунька, матунька,— бормотал Иван сквозь слезы,— да убег медведь! Убег уж, матунька!..

Когда все успокоились, Илейка, сдвинув колпак на затылок, сказал весело:

— Шибко испугался сам-то лесной хозяин. Крику истошного испугался. Чай, его и посейчас несет...

Старый звонарь подошел к измятым кустам и, смеясь, добавил:

— Ну, так и есть! Тут, где сидел, перву свою печать и положил!..

— К матушке надо скорей,— засуетилась Марья Ярославна,— всполошилась, верно, матушка-то от крику. Не знай, что подумает! Берите ведра и айда скорей к поезду...

На другой день из Озерецкого княжой и боярский поезды с первыми петухами тронулись к широкому тележнику, что идет от Москвы прямо к Дмитрову. Круто свернув на восток, поспели они к обеду в Выселки, где было положено ждать вестей от отца Александра из Москвы с нарочным, с дьячком его Пафнутием.

— Верст на пятьдесят Москву мы обошли,— говорил княгиням Константин Иваныч, идя рядом с их колымагой.

— А что там, господи, деется!— сокрушенно вздохнул Илейка, правивший лошадью.— Погорела вся Москва-матушка, окружили ее поганые со всех сторон...

— В Выселках всё узнаем, если отца Пафнутия господь до нас допустит,— сказала Софья Витовтовна,— отец Александр, коли жив и здоров, отписать обо всем обещался.

— А пошто дьячка отцом зовут?— спросил Иван, сидевший рядом с матерью,— сану ведь у него никакого нет...

— Из монахов он, мой любимик,— отозвалась старая государыня,— пострижение принял, а потому и отец...

— Приедет Пафнутий-то, приедет,— с уверенностью молвил Константин Иваныч,— что ему! Один, без поклажи, верхом проскачет. Коня ему я доброго дал. Чай, ждет уж нас в Выселках-то...

Дворецкий не ошибся. Когда княгини въехали на двор выселковского попа, то у красного крыльца их вместе с поповским семейством встретил и отец Пафнутий.

Пока накрывали столы к обеду, Софья Витовтовна и близкие все собрались в горнице. Дьячок достал из-за пазухи грамоту отца Александра и протянул ее Софье Витовтовне.

— А ты прочти сам,— сказала та, отодвигая бумагу,— пусть все слушают. Стань к окну ближе, светлей будет.

Отец Пафнутий развернул грамоту и, расправив, положил на край стола, куда сверху от высокого открытого оконца широким снопом падал свет, клубясь от пылинок.

— «Государыни и княгини великие, да буде благословение божие на вас,— начал читать отец Пафнутий, водя толстым волосатым пальцем по строкам.— Толика моя печаль и скорбенье душевное, что и словес не имею. Благо вам, прежде сего

горького часа отъехавшим, а нам горше видеть печаль на людях, стенания и скорбь неутешимую. Покарал господь нас за грехи наши и в один день весь град, посады, казну и товары огнем истребил. И не токмо все в граде, что от древес, сгорело, но и церкви каменные распались и стены градные каменные во многих местах упали. А людей многое множество огнем пожгло: и священников, и иноков, и инокинь, и прочих мужей и жен, и детей, понеже бо отселе из града огонь губителен, а из заградия страх от татар; никто не смел за стену выбежать страха ради пред татарами.

Когда же огонь пожрал все и стало ведомо всем, что вы, княгини великие, с детьми и боярами своими ушли, гражáне в великой скорби и волнении были, видя, что и остальные богатые все да знатные из града сгоревшего бежать хотят. Чернь же, совокупившись в силу единую, начала стены ставить упавшие, врата градные из бревен рубить новые, а хотящих бежать начали бить и ковать в цепи. Так сразу волнение и остановили, и все гражане стали град крепить, а собе пристрои домовные строить, дабы в осаде жить где было. Поганых же агаряи с часу на час ждем.

Болью и скорбью душа моя истязаема, слезы ми очи застилают, как помыслю о вас и княжичах, о князе великом, о граде и всей земле Московской. Спаси, господи, и помилуй люди твоя! Ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Раб божий Александр челом бьет».

Голос отца Пафнутия, медленно разбиравшего слова, дрожал и не раз пресекался от волнения, а княгини и прочие плакали.

Вдруг Софья Витовтовна в гневе великом топнула об пол ногой и воскликнула:

— А все зло от Шемяки идет окаянного! Тогда бы на свадьбе Василья не отымать надо было у Васьки Косого великокняжий пояс-то, а удавить их поясом этим обоих с Шемякой!..

Глава 3

У ТАТАР

Василий Васильевич проснулся от нестерпимой боли. Жгло ему затылок и шею, а в пальцах правой руки, как ножами, резало. Открыв глаза, увидел он, что лежит на полу монастырской кельи. Серый еще рассвет, словно в щель, мутной полосой врывается в длинное узенькое окошечко, пробитое в толстой

каменной стене. В углу, против князя, висит темный образ и теплится синяя лампадка.

Василий Васильевич хотел перекреститься, но не мог поднять руку. С трудом повернул он завязанную тряпицами голову и, терпя лютую муку, все же осмотрел свои раны. Правая рука была обмотана куском окровавленного холста выше локтя, такая же завязка корой засохла на пальцах. Здоровой левой рукой он пощупал эту завязку и, с усилием прогнув ее, нащупал, что двух пальцев не хватает. Вдруг от нажиманья поднялась в руке сразу такая боль, что все помутилось в глазах великого князя, и он без памяти упал головой на жесткое изголовье.

Очнулся он, когда седобородый монах с молодым послушником обмывали и перевязывали ему раны. Боли от обмывания и мазей почти совсем стихли.

— Княже,— ласково говорил монах, обертывая раны,— зело крепок ты еси и млад, и раны твои скоро исцелятся. Верь мне — старый я воин, еще отцу твому служил в ратях и от юности научился добре врачеванию ран...

Великий князь слегка улыбнулся и промолвил слабым голосом:

— Отец Паисий, да благословит тобя господь. Узнал тобя, отче. Где же яз и где брат мой, князь Михайла Андреич?

— В Ефимьевом, княже, монастыре,— ответил печально отец Паисий,— и царевичи тут обое: Мангутек и Якуб, а Касим к отцу поехал с сотником Ачисаном. Сотник-то на Москву ездил, твои тельники княгиням отвозил, а государыня Софья Витовтовна, слышь, окуп вельми щедрый обещала за тобя, княже...

Василий Васильевич закрыл глаза.

— Дам потом монастырю кормы многие, земли и льготы,— сказал он тихо,— молите бога обо мне, а сейчас хочу князя Михайлу видеть...

— Еще спит он тут же в келье, княже.

Монахи вышли, а князь неподвижными, широко открытыми глазами, словно потеряв все мысли и чувства, смотрел на порозовевшую полосу света и слушал, как, просыпаясь, шумит монастырь. Вдруг из-за дверей, где стража стоит, до него ясно донеслась громкая татарская речь.

— Царевичи говорят,— услышал он,— что Москва богаче всей Золотой Орды и князя своего любит, а князь храбр и бьется, как барс. Они согласны на окуп.

— А что вот Улу-Махмет скажет,— ответил другой голос,— сердит он на князя московского...

Звон колоколов к ранней обедне заглушил слова говоривших. Василий Васильевич, чувствуя себя лучше после перевязки, медленно поднялся и встал на колени.

Помогая себе здоровой левой рукой, он поднял правую и перекрестился на икону, висевшую в углу кельи. Потом, обливаясь слезами, распростерся ниц и в скорби великой, с рыданием, воззвал:

— Милосердия двери отверзи нам, благословенная богородице, надеющиеся на тя да не погибнем, но да избавимся тобою от бед: ты еси спасение рода христианского!

Успокаиваясь, услышал князь великие рыдания рядом с собой и, подняв голову, увидел распростертого князя верейского, Михаила Андреевича, брата своего двоюродного.

— Брате любезный,— сказал Василий Васильевич с тоскою,— оба мы с тобой пьем теперь от горькой желчи, от плена татарского! Будем же настоящими братьями да николи зла друг против друга не помыслим!

— Истинно, брате мой старшой,— ответил князь Михаил,— как крест тобе и сыну твоему целовал, так и буду верен до конца живота своего. Ведь отец Шемяки-то, царство ему небесное, когда Москву взял, силой меня за собя крест целовать принудил! Шемяки же ты бойся...

— Знаю,— перебил его Василий Васильевич и продолжал властно:— Дам татарам, какой хотят, окуп и за собя и за тобя... Матерь моя опустила уж мне в яму сию конец веревки. Вылезем, брате. Будешь верен мне, многие льготы получишь от дани татарской, и добавлю тобе волостей в Заозерье...

— Вышгород бы мне, брате,— нерешительно попросил князь Михаил, но великий князь продолжал сурово, будто и не слышал его просьбы:

— Ныне нам ина гребта-забота. В Золотой Орде яз, еще малолетний, видел, как верный тогда слуга нам Всеволожский Иван Митрич подарками да посулами, поклонами да прелестью всякой утвердил за мной великокняжий стол...[1]

— Уласкал он тогда покорностью царя Улу-Махмета, яко коня норовистого,— подтвердил Михаил Андреевич,— а Юрий Митрич-то ничего не сумел, напрямки ломясь, требуя свое по старине да по духовной грамоте.

Василий Васильевич нахмурился и, вздохнув, заметил с досадой:

— Тогда Всеволожский-то на приказы да ярлыки царские ссылался, Москву татарским улусом[2] называл, великое княжение мое — царским жалованьем! Вспомнит царь теперь о том, когда брат его, вызнав, что яз пóмочи не дал, на него же ратью пошел...

— Вини в том Юрьевичей: они вышли из твоей воли и само-

[1] *Стол* — престол.
[2] *Улус* — вассальное владение, зависимое от хана.

чинно много зла деяли, а когда дурак кашу заварит, и умный не расхлебает...

— Хитростью да посулами вызнать теперь же надо,— перебил его Василий Васильевич,— есть ли мир и согласие у царя с царевичами, али есть в чем у них пререкания и спор...

— Татары не посулы, а бакшиш[1] любят,— вздохнув, возразил Михаил Андреевич,— не с пустыми руками в Орду ездят...

Оба князя сокрушенно замолчали, но великий князь усмехнулся вдруг и почти весело промолвил:

— А мы через попов да чернецов втайне серебреца да золотца наберем. Хватит татарам и на рушвéт[2] и на бакшиш! Давать-то будем не всем, а малому числу, сильным токмо, ибо мал квас, а все тесто квасит...

Через три дня царевичи, получив приказ Улу-Махмета, пошли с войском из Суздаля ко Владимиру. Сам царь, поручив начальствование старшему сыну Мангутеку, пошел прямо к Мурому.

С пленными князьями царевичи были милостивы — везли их на скрипучей арбе под плетеным шатром, покрытым белым войлоком. Арбу их тащил огромный нар — верблюд двугорбый с длинной черной гривой.

Оба князя лежали рядом и молча смотрели через отверстие шатра в безоблачную синеву неба или дремали. Говорить было трудно из-за шума великого от криков людей, ржанья коней, скрипа колес, блеянья баранов, рева быков и верблюдов.

Хотя войско татарское двигалось шагом, а высокие колеса арбы легко перекатывались через бревна гатей и выбоины, Василий Васильевич все же терпел боли от толчков и с завистью смотрел, как спит рядом с ним Михаил Андреевич. Порой, когда дверной войлок у шатра приоткрывался, Василий Васильевич чувствовал запах дыма, подгорелых лепешек и вареной баранины. Голод мучил его — приближался полдень, время молитвы «зухр» и обеда. С нетерпением он ждал, когда азанчá[3] прокричит свой «азáн» из походной мечети.

Не выдержав, великий князь приподнялся с ложа и, слегка отогнув дверной войлок, чтобы не привлекать внимания конной стражи, стал смотреть на идущее войско. Далеко впереди, за тучей пыли, шли сначала на рысях конники, но теперь они

Бакшиш — подарок.

Рушвéт — взятка.

Азанчá — духовное лицо, выкрикивающее с минарета мечети «азáн» — призыв к молитве.

замедляют движенье, видимо поджидая обозы. Арба русских князей идет в первом обозе, и Василий Васильевич хорошо видит поблизости многие арбы с нарядными шатрами из ослепительно белого или черного, как сажа, войлока, расшитого всякими цветными узорами. Из разных пестрых тканей и войлока на черном и белом поле шатровых полотнищ изображены и деревья, и цветы, и виноградные лозы, и птицы, и звери. Это — шатры царевичей и жен их. Вокруг них теснятся, сопровождаемые пешими и конными рабами, вооруженными мечами и палками, арбы с кибитками из прутьев с плотной покрышкой из черного войлока, пропитанного насквозь овечьим молоком или салом, чтобы не промокало от дождя. В этих кибитках возят татары всю утварь, одежды и всякие свои драгоценности. Около царских шатров идут пешком и едут верхом молодые и старые женщины — служанки цариц. Дальше, за походной мечетью, которую на огромной повозке везут десять быков, двигаются шатры и кибитки начальников войска и их жен, походные поварни, пекарни, кузницы и прочие заведения, нужные войску.

Все это, замедляя ход, громоздко тянется по дороге и по полям рядом с дорогой и походит на движущийся со всеми жителями татарский улус, и даже, для вящего сходства, дым от очагов медленно ползет из многих шатров, извиваясь в неподвижном знойном воздухе.

Жарко и душно. Тени стали уж совсем короткими и прячутся у самых колес повозок и под ногами коней. Солнце стоит прямо над головой, а на закраях полей воздух дрожит, будто переливается над землей водяными струйками.

Вдруг, покрывая уже затихающий шум войска и обозов, где-то вблизи звонко и отчетливо запел резкий гортанный голос:

— Ля-илляхе иль алла Мухаммед Расул Улла[1].

Всадники и повозки сразу остановились, где застал их азан, люди стали привязывать и путать коней, опускать на колени верблюдов, поручая их рабам-иноверцам и женщинам.

Остановилась и арба пленных князей. Старый татарин, желая скорее освободиться от заартачившегося верблюда, рванул его с досады за веревку, вдетую в носовое кольцо.

Огромный нар яростно заревел от боли и в бешенстве заплевал своего вожатого.

— Кукуч итэ![2] — злобно закричал татарин и отбежал прочь, ругаясь и обтирая полами халата лицо и шею.

Нар остался гордо стоять, встряхивая головой и свирепо следя

---

[1] Нет бога, кроме бога, а Магомет пророк его.

[2] Собачье мясо!

за своим погонщиком, пока тот не скрылся в толпе, спешившей на молитву...

Все правоверные уже готовились к омовеньям, и каждый выбирал себе такое место, чтобы обратить лицо во время намаза[1] на Восток, к священному городу Мекке.

Постепенно стихло все становище, и Василий Васильевич услышал позади себя густой храп. Разбудив князя Михаила, он сказал ему:

— Сей часец намаз у них полуденный — зухр. Потом обедать будут. Нам тоже пришлют ествушки, а по ней мы узнаем, как они нас чтут. Токмо не забывай, брате, одного — скрыть пока надо, что яз добре разумею татарскую речь. Будем, как и ране, через толмача говорить с татарами, дабы они, говоря меж собой, меня не остерегались...

На этот раз татары торопились к граду Владимиру, и пища у них была приготовлена еще в пути, на арбах. Шатров же не снимали на землю, кроме царских. После обеда войско должно было выступить в поход без замедления. Так понял Василий Васильевич из приказаний десятников, кричавших с коней своим людям, охранявшим обозы.

— Торопятся татары-то,— сказал он Михаилу Андреевичу,— уж не к Москве ли хотят? Вызнать бы все поскорее! Бакшиш опять нужно дать...

— А много ль осталось у нас от даров-то Ефимьева монастыря?— печально заметил князь Михаил.— Зря мы Ачисану кубок серебряный дали да чарку...

— А яз ему еще и золоченую чарку дам,— строго и сердито проговорил Василий Васильевич.— Время мне дороже серебра и золота! Ежели царевичи али Шемяка казну мою на Москве захватят, кто нас с тобой у татар выкупит? Надо матери весть скорей послать...

— Ну, за старую-то государыню,— возразил князь Михаил,— страху у меня нет. Ни Шемяка, ни татары ее не обманут. Она, поди, со всем семейством твоим и казной давно из Москвы выбежала.

— Дай-то бог,— уже спокойнее отозвался Василий Васильевич.

Свершив полуденный намаз, снова зашумели татары по всему стану — поили коней, обедали, пили кумыс. Шумели, однако, недолго. Солнце пекло и, размаривая, манило к привычному послеобеденному сну. Постепенно стихало кочевое становище,

---

[1] *Намаз* — молитва.

и только кое-где еще тянулись лениво в знойном воздухе однообразные, как степи, бесконечные татарские песни и сонно жужжали, вторя им, маленькие кобызы, крепко зажатые в зубах степных музыкантов.

Коршуны и ястребы кружили над стоянкой, высматривая отбросы. Иногда тень птицы стремительно проносилась над станом, словно чертила углем по сухой траве и белой кошме шатров.

Вдруг совсем близко зазвучал тихий, молодой голос, и полилась, как ленивый ручеек, степная печальная песня. Защемило сердце Василию Васильевичу, слезы навернулись на глаза, а в мыслях повторялись простые слова:

Желтый-желтый, изжелта-желтый, желтый цветок на стебельке;
Так и я от тоски пожелтею, да и как не желтеть, когда нет вести с приветом...

Вспомнилась великому князю его Марьюшка с большими темными глазами, и сыночки любимые, и старая матушка, и Кремль, и храмы божии...

Замирает сердце от боли и тоски, но держит себя князь — не годится все плакать, надо из беды выпутываться.

— Не мыслю, что пришлют сегодня нам поесть,— печально говорит князь Михаил.— Хоть бы краюху сухого хлеба...

— Не доброе знаменье,— добавляет Василий Васильевич.— Боюсь за Москву и за семейство...

Затопали кони около арбы князей, прискакал сотник Ачисан с тремя нýкерами[1]. Перелез с коня Ачисан на арбу, поднял войлок у дверей шатра и приветливо крикнул по-русски:

— Князь великий, «салям»[2] тобе от царевича Мангутека и угощенье от стола его...

— Да живет хазрет[3] Мангутек два девяноста лет!— воскликнул Василий Васильевич.— Друзья его — наши друзья, враги его — наши враги!

— И вы, князья, живите сто лет,— ответил Ачисан и, вползая в шатер, весело крикнул своим нукерам по-татарски:— Давайте сюда жалованное ханом!

Он поставил на кошму перед русскими пленниками дымящийся котел с вареной бараниной, несколько испеченных в золе пшеничных лепешек и большой кувшин с кумысом. Василий Васильевич в знак вежливости и благодарности приложил руку ко лбу, к устам и к груди, поклонившись Ачисану. Потом он достал из-за пазухи

---

[1] *Нýкеры* — телохранители хана и его конная стража.
[2] *Салям* — привет.
[3] *Хазрет* — почетный титул.

серебряную золоченую чарку и поставил ее перед молодым сотником. Михаил Андреевич достал из-под кошмы две простые деревянные чарки — себе и великому князю.

Василий Васильевич вынул из котла лучший кусок мяса и, положив его на лепешку, передал Ачисану. Делая все это, великий князь думает, за чье здоровье пить с Ачисаном — за царя Улу-Махмета или царевича Мангутека? Пока ели баранину, он несколько раз переглядывался с Михаилом Андреевичем. Руки у него дрожат, а в груди холодок бегает. «Ошибиться нельзя, потом не поправишь»,— вертится у него в мыслях, а выбора никак он сделать не может.

Давно он уже почуял, что у царевича старшего нелады с отцом, а кто вот сильней из них окажется? Да и кому Ачисан по-настоящему служит? Василий Васильевич с тревогой смотрит, как быстро съедает сотник баранину, приближая время здравицы. Задержать нельзя ему трапезу, а решенья все еще нет.

Выбросив объеденные кости из шатра прямо на землю, Ачисан уже трижды отрыгнул из вежливости и обтер жирные пальцы о голенища сапог. Доели и князья свою долю. Тряхнув головой, зажмурил на миг глаза великий князь и схватился за кувшин с кумысом, а когда налил всем в чарки, то вдруг сорвалось у него с языка само собой:

— Да будет удача хану Мангутеку в делах его! Да не отступит никогда от него счастье!

Великий князь вдруг помертвел весь, когда увидел засверкавшие от смеха глаза и белые зубы Ачисана, но сейчас же оживился, услышав ответ молодого сотника:

— Да будет так! Потерпим. Терпение — ключ счастья, а без счастья и в лес по грибы не ходи!..

— Что будет, то будет, как бог даст,— сказал Василий Васильевич и добавил:— Ежели царевичи верят в дружбу нашу, то пусть соединятся с нами — сие для всех нас будет добро...

Ачисан нагнулся к великому князю и тихо сказал:

— Бойся царя Улу-Махмета, но помни — кусаются комары до поры. Придет пора и Улу-Махмету.

Когда выпили кумыс, Василий Васильевич спросил Ачисана:

— Где так хорошо научился ты говорить по-русски?

— Отец мой от Золотой Орды много лет торговал конями в Твери,— ответил Ачисан, подымаясь с кошмы.

— Чарку свою забыл ты, Ачисан, возьми ее на память. Сие — подарок.

Приняв золоченую чарку и приложив ее к сердцу, Ачисан поклонился и сказал:

— Бик кюб ряхмет[1], государь, за дорогой подарок. Жди через

[1] Очень благодарен.

меня добрых вестей, да поможет тобе аллах и святой Хызр. Царевичи любят тобя...

Он помолчал, улыбнулся и, глядя прямо в глаза великому князю, добавил совсем тихо:

— Надейся, княже, на хана Мангутека. Улу-Махмет — да живет он сто лет — голова, а молодой хан Мангутек — да будет бехмет[1] во всех делах его — шея! Шея же, государь, может повернуть к тобе голову лицом, а не затылком...

Василий Васильевич понял намек и, чтобы крепче в том утвердиться, сказал усмехнувшись:

— А яз вот сам собе и голова и шея, да только не знаю, что раньше случится: можно или голову, или шею свернуть. Все в руках божиих.

Говоря это, смотрел Василий Васильевич пытливо в застывшее сразу, словно окаменевшее лицо ханского сотника. Тот молчал, но в глазах его вспыхивали искорки, и вдруг лицо татарина заулыбалось, а косые глаза совсем спрятались в узеньких щелках.

— Умен ты, княже,— воскликнул Ачисан,— и видишь многое, что и в Орде не все видят! Знай токмо, если шея молода да крепка, ее не свернешь, а если голова, хоть и не стара, но худа, то легко ее потерять.

Василий Васильевич утвердительно кивнул головой, потом снял с пальца золотой перстень с дорогим яхонтом и, подавая его Ачисану, сказал:

— Бью челом брату моему, хану Мангутеку.

Татары, разбив под Суздалем московское войско и пленив великого князя, все же действовали весьма осторожно. Перейдя реку Клязьму у Владимира, царевич Мангутек стал станом у самых стен его, но на приступ идти не решался. Узнав же от лазутчиков, что владимирцы биться готовы насмерть, в эту же ночь повернул Мангутек коней к Мурому, пошел к царю Улу-Махмету.

Русские князья уразуметь не могли, что происходит в Казанской Орде.

— Не берет сила поганых,— говорил князь Михаил,— а награбили у Суждаля много да по пути сколько сел полонили. Боятся награбленное растерять. На нас вымещать будут...

Василий Васильевич молчал. Четвертые сутки, катаясь по войлочному полу шатра, тщательно вспоминал он под скрип арбы, влекомой злобным наром, все, что слышал из разговоров татар, что понял из намеков Ачисана. Многое из умыслов и дел

[1] Счастье.

татарских казалось ему знакомым, таким, как на Руси бывает, где все враждуют друг с другом: отцы с детьми, дяди с племянниками, братья с братьями.

— А может,— заговорил он раздумчиво,— Мангутек, идя на отца, полки свои против него готовит, силы свои бережет...

— А нам-то что,— отмахнулся князь Михаил.— Свои собаки грызутся, чужая не приставай. Будет нам в чужом пиру похмелье: и слева будут бить, и справа будут бить!..

Василий Васильевич усмехнулся.

— Вспомнил яз матерь свою, Софью Витовтовну. Она бы тобя за вихры отодрала за «чужих» собак да за «чужой» пир! Что бы у чужих ни случилось: война или мир, добро или худо — все должно идти Москве на пользу. Для Москвы везде все свое. «Сумей,— говорил мне один отцовский боярин,— во всяком чужом деле свое найти».

При этих словах дверной войлок отодвинулся, и в шатер просунулась голова сотника Ачисана.

— Слышал я твои, княже, слова,— сказал он, усмехаясь,— верно это. Наш любимый хан Мангутек, да живет он сто лет, так же говорит о своем и чужом. В Муроме, вон уж видать его, отведут тобе, княже, чистую горницу, и хан пришлет к тобе брата своего Касима. Царь Улу-Махмет там уж с войском стоит, но ты не беспокойся. Если что нужно тобе наместнику твоему и воеводе передать либо попам, скажи мне...

Князья переглянулись, и Василий Васильевич весело ответил:

— Пришли мне дьякона из церкви Кузьмы-Демьяна, отца Ферапонта.

Ачисан слез с арбы и ускакал со своими нукерами догонять хана Мангутека, ехавшего впереди войска с лучшей своей тысячью[1].

Выглянув из шатра, Василий Васильевич увидел на высоком левом берегу Оки хорошо знакомый ему деревянный муромский кремль за крепкими дубовыми стенами с проезжими и глухими башнями. Ниже кремля видно было муромский посад и слободы ремесленников, а кругом шатры татарские и обозы.

Ранняя июльская заря румянила речную гладь, весело играла на тесовых кровлях и багровила дым печной — христиане уже проснулись, готовили пищу,— а солнце еще и не показывалось.

У татар — это самое время для утренней молитвы. Звонко вот в свежем воздухе уже разносится азан, и войсковой обоз царевичей постепенно затихает и останавливается, останавливаются один за другим и отряды конников...

---

[1] *Тысяча* — так называлось воинское подразделение у татар, состоявшее из десяти «сотен».

После намаза вдоль всего берега реки запылали и задымили костры. Войска присоединились к войскам, окружавшим муромский кремль, а царевичи и начальники войска разместились в лучших хоромах муромского посада.

Великого князя с князем Михаилом поместили у богатого, еще молодого, муромского купца Сергея Петровича Шубина, торговавшего с булгарами на Каме и с Золотой Ордой на Волге. В его хоромах все было богаче и лучше, чем у многих подручных князей Василия Васильевича.

Умывшись и обрядившись, князья прошли с хозяином в крестовую, куда татарская стража не входила, оставаясь у дверей. Помолившись с земными поклонами, князья и хозяин приложились ко кресту и иконам. Потом Сергей Петрович поклонился до земли великому князю.

— Господин и государь мой,— сказал он, откидывая после поклона упавшие на лоб кудри,— благодарения ради отпоем мы господу богу в сей часец молебен о твоем здравии и спасении из полона. До обеда мы тут побеседуем о делах твоих. Муром татары не трогают, но наместник твой и воевода в кремль их не допущают...

— Подождем здесь, в крестовой, отца Ферапонта,— молвил Василий Васильевич.— Ачисан хотел его сам позвать...

— Ведомо мне о сем от Ачисана, государь мой, а посему и повел тобя в крестовую, дабы от татар быть подальше.

Василий Васильевич задумался и, крутя свою курчавую бороду, молча сел на подставленный ему стóлец. Против него почтительно стоял высокий и статный Сергей Петрович в нарядном кафтане со тканными по нему золотом львами. Василий Васильевич взглянул на него и улыбнулся: густая пушистая бородка у Шубина точь-в-точь, как у князя Михаила Андреевича, и такая же, как лисья шерсть, рыжая.

— Что ж, Петрович,— ласково промолвил великий князь,— сказывай, о чем твои мысли.

— Государь мой,— заговорил Шубин,— вороги твои в вину тобе ставят не токмо твою дружбу с татарскими князьями, а даже твое разумение татарской речи...

— Ну, а ты?— резко спросил Василий Васильевич.

— Я разумею твои умыслы, государь, а потому стою за дружбу не токмо с князьями, а и с царевичами казанскими. Нам надобно, как в старинах поется про Илью Муромца: «Стал ён бить татар татарином...»

Василий Васильевич весело рассмеялся и громко сказал Шубину:

— Верно, Петрович! Вся суть в сем. Отец мой, Василий

Митрич, литовских князей ласкал да вынашивал на Литву, как соколов на лов, а яз татар хочу...

В сенцах перед крестовой гулом прокатилось могучее откашливанье и кряканье.

— Отец Ферапонт! — обрадовался великий князь.

В горницу вошел богатырь с длинной черной бородой, с густыми усами и такими же густыми бровями. Он снова громко крякнул, и в ответ ему что-то зазвенело в покоях. Истово помолившись на иконы, поклонился он князьям и хозяину.

— Будь здрав, государь Василь Василич, — прогудел он, словно в большую трубу, — и ты, князь Михайла Андреич, и ты, Сергей Петрович...

Из-за огромной спины дородного отца Ферапонта вытянулось на длинной шее морщинистое бородатое личико маленького, сухонького попика.

— Не реви ты, медведь, — ласково попенял попик отцу дьякону, — оглушил ты всех, яко Соловей-разбойник!

Отец Ферапонт смутился и виновато улыбнулся, пропуская попика. Тот скромно выступил вперед и быстро поклонился князьям, мелькнув перед глазами белой пушистой, как одуванчик, головкой.

— Аз есмь раб божий Иоиль, — сказал он, — иерей и настоятель храма святых отец наших Космы и Дамиана.

Князья подошли к нему под благословенье, а потом и хозяин хоро́м, поклонившийся отцу Иоилю с особым почтением.

Василий Васильевич впервой видел маленького попика, и голос отца Иоиля умилил его.

— Княже, — с ласковой грустью говорил попик, глядя в лицо Василию Васильевичу большими, по-детски ясными глазами, — князь наш великой московской, не сокрушайся. Бог нам всем поможет. Сын мой духовной Сергий многое откроет тобе, государь, а такожде спасения ради и на благо всего христианства русского и аз, раб божий...

Отец Иоиль низко поклонился Василию Васильевичу, коснувшись правой рукой самого пола крестовой, и продолжал:

— Коли угодно тобе, государь, совет держать, то почнем беседу до молебной, пока царевич Касим не пришел... И скажи, государь, как раны твои и как здравие?

— Раны мои по милости божией затянулись, — сказал Василий Васильевич, — здравие слава богу, — хожу, видишь. Ноги-то у меня целы были, а на темени и шее хотя болит, но уж совсем заросло. Токмо вот пальцы обрубленные кровоточат еще. Правду предрек мне отец Паисий в Ефимьевом монастыре, и мази его вельми добры. Ими токмо и облегчение знаю...

Великий князь помолчал и, оглядев суровыми глазами обоих духовных и Шубина, вдруг гневно спросил:

— А как же сие случилось, что татары Муром наш не воевали, и вам всем ни зла, ни полона не содеяли? Ни посада, ни слобод не жгли, а князя великого в полоне доржат?

Великий князь ярый, но отходчивый. Порой он вдруг распалялся и все более ярился, готовый убить даже, но чаще стихал нежданно, и гнев враз отходил от его сердца.

Зная об этом, отец Иоиль спокойно и молча стоял, не спеша с ответом. Шубин же, оробев, поклонился до земли и заговорил:

— Государь великий! Воевода твой, ведая о полоне твоем, с благословенья отцов духовных челом бил царю Улу-Махмету об окупе, дабы он ни граду, ни посадам, ни слободам зла не чинил. Сам же наш воевода ворот татарам не отворял. У воеводы твоего и войско, и пушки на стенах стоят, и стража денно и нощно смотрит...

Тут совсем оробел купец и смолк. Потом, снова кланяясь земно и обращаясь к седовласому попику и к дьякону, молвил:

— Отцы, скажите все князю великому, что думой нашей удумано и что у татар деется! Вы же люди ученые, книгами начитаны...

Отец Иоиль поправил спокойно крест на груди и, обратясь к Василию Васильевичу, начал голосом ровным и тихим, якобы продолжая свои, а не купцовы речи:

— Царь же Улу-Махмет, хотяще три тысящи рублей, отступился потом и токмо едину тыщу взял. Сведав о том, что уразумели, что царю нужны и деньги и вои, а сведая еще и о том, что Улу-Махмет отделился от сыновей своих...

— Старшего, Мангутека, боится он,— вставил Василий Васильевич, усмехаясь.— Мангутек же на отца идет, силы копит.

— То же и нам ведомо, государь. Посему решили и мы свои силы хранить и дали окуп за Муром...

Отец Иоиль помолчал и, строго посмотрев на великого князя, добавил:

— А тобе, государь, зело много нужно хитрости и разума, дабы из полона тобя отпустили. Изгони из собя ярость и скороверность всякую, чтобы татары умыслы твои не вызнали. А мы же тобе, княже, две тысящи рублей да сосуды златые собрали на бакшиш и рушвет. Разумно твори все. Семь раз отмерь — один раз отрежь. Ачисану верь, а об Улу-Махмете помни. Царь тоже не без ушей и не без глаз...

— Ачисан-то и меня сюда позвал,— не выдержав, загудел отец Ферапонт,— а я без отца Иоиля не пошел, княже. Деньги же и сосуды у меня, вот они...

Шубин в испуге замахал руками на отца Ферапонта, пока-

зывая на двери. Дьякон зажал рукой себе рот и робко оглянулся на отца Иоиля, а купец, оправившись от волнения, тихо сказал великому князю:

— Пусть, княже, татары грызутся, а мы будем...

— Бить татар татарином,— весело усмехнулся Василий Васильевич, пряча за пазуху и по карманам все, что, оглядываясь на двери, украдкой передавал ему дьякон.

Подходил уже к концу молебен о здравии великого князя и освобождении его из полона.

Густой голос отца Ферапонта зычно гудел, рыканьем львиным громыхая по всем хоромам.

— Бугай, настоящий бугай,— дивовались нукеры из стражи, теснясь к дверям крестовой.

— Да и у бугая горла на такой рев не станет,— говорил десятник, причмокивая от удовольствия.— Ишь, ишь, как ревет! Он и самого голосистого азанчу заглушит...

Василий Васильевич с умилением слушал своего любимца, которого за голос хотел давно уж у владыки в Москву просить, да за недосугами и бранями не успел. Стоя на коленях, усердно молился он о своем спасении, а когда пошел приложиться к кресту, услышал шум в сенцах и говор татар. Шубин последним принял благословение отца Иоиля и, быстро выйдя в сенцы, тотчас же вернулся. Кланяясь низко, пригласил он князей к трапезе и, обратясь к великому князю, тихо добавил скороговоркой:

— Царевич Касим дошел к нам. Тобя, государь, хочет... В покое моем у стола, увидишь, поставцы стоят — возьми там, не обидь, кубок фряжский с каменьями. Дай его от собя царевичу Касиму...

— Спаси бог тобя на добром деле,— промолвил великий князь,— послугу твою не забуду...

— Не гости хозяину, а хозяин гостям челом бьет,— поклонившись, сказал Шубин и повел всех в трапезную.

В трапезной царевич Касим сидел за столом на скамье, а у ног его на блеклом персидском ковре сидел Ачисан. При входе великого князя Ачисан быстро вскочил на ноги. Царевич Касим, еще молодой человек со светлыми подстриженными усами и маленькой бородкой, тоже поднялся со скамьи и поклонился Василию Васильевичу.

— Ассалям галяйкюм[1],— проговорил он почтительно.

— Вагаляйкюм ассалям[2],— ответил великий князь и пригласил царевича к столу хлеба-соли откушать.

---

[1] Мир с тобой.
[2] С тобой мир.

Отец Иоиль, благословив князей и Сергея Петровича, удалился вместе с отцом Ферапонтом, а сотник Ачисан встал позади царевича — он оставался при трапезе толмачом. Сам хозяин тоже не сел за стол, а вместе с дворецким своим услуживал князьям и царевичу.

Когда выпили из кубков заздравных заморского доброго вина за здоровье царя казанского и великого князя московского, за царевичей, за князя Михаила, царевич Касим сказал, улыбаясь:

— В конце твоей, княже, молитвы,— переводил его слова Ачисан,— услышал я здесь такой великий и грозный голос, какого никогда я не слыхал.

— Хочу яз его,— смеясь, ответил Василий Васильевич,— если бог даст, в Москву к собе взять. Многих из дьяконов слушал, поскольку к пенью церковному задор великий имею, а такого голоса, как у отца Ферапонта, даже и яз не слыхивал...

Великий князь за столом развеселился, царевич Касим ему нравился, а кроме того, мерещилось ему, что Касим хочет сказать многое, да Ачисан мешает. Раненый и в полон взятый, Василий Васильевич шутил и смеялся, как дома у себя на пиру. Всегда такой был он открытый: и в гневе, и в радости, и в печали. Любили его за это.

— Люб ты мне, княже,— сказал царевич,— радостно с тобой хлеб-соль делить...

Василий Васильевич ласково улыбнулся и, прежде чем Ачисан успел перевести его слова, неожиданно заговорил по-татарски, как настоящий татарин:

— Люб и ты мне, царевич! Ты видишь меня в несчастье, а в счастье я буду еще веселей и гостеприимней. Жизнь наша изменчива. Бугэ́н миндэ́, иртэгэ́ синдэ́ [1]. Судьба каждого в книге Фальнаме́[2], да не каждый толкователь гаданий может угадать судьбу.

Касим и Ачисан переглянулись с изумлением. Великий же князь, видя это, усмехнулся и продолжал по-татарски:

— Я же и не люблю гадать, ибо сказано еще: «Мы привязали к шее каждого человека птицу...»[3]

— Ты говоришь так хорошо и красиво,— воскликнул царевич Касим,— словно долгие годы сидел у ног улемов[4].

---

[1] Сегодня это — со мной, завтра — с тобой!

[2] Книга гаданий.

[3] Изречение Магомета, смысл которого таков: «Мы дали каждому человеку определенную судьбу».

[4] «Сидеть у ног улемов (учителей)» — получать мусульманское богословское образование.

— Памятлив я очень,— смеясь, сказал Василий Васильевич,— и помню все, что слышу и вижу...

Встав из-за стола и подойдя к поставцу, он достал оттуда кубок итальянской работы с каменьями и подал его, поклонившись, царевичу.

— Бью челом тебе, а будешь гостем у меня на Москве — встречу, как друга...

Царевич поблагодарил, потом, улыбаясь, обратился к великому князю:

— Брат Мангутек будет рад поговорить с тобой без толмачей. Он любит говорить быстро, а хуже нет, когда о твоих мыслях говорит чужой рот. Мы с тобой сей же час поедем к брату. Ачисан опередит нас, скажет хану Мангутеку, что мы придем следом...

Ачисан молча поклонился и вышел. Царевич Касим проводил его взглядом и, выждав некоторое время, сказал тихо Василию Васильевичу:

— Знаю я, что тебе ведомо о спорах брата с отцом. Любя тебя, скажу: берегись ты и Улу-Махмета и Мангутека. Мы с Якубом стоим в стороне. Нам обоим лучше уйти от них, и мы хотим твоей дружбы и помощи и сами поможем тебе...

Царевич быстро выхватил кинжал из-за пояса своего турского кафтана и взял его одной рукой за конец клинка, а другой — за конец рукоятки.

— Клянусь на том аллахом!— воскликнул он и приложил ко лбу клинок кинжала и потом поцеловал его.— Только смерть моя и твоя воля могут нарушить эту клятву!..

Спрятав кинжал, он встал из-за стола и добавил:

— Нас не должен долго ждать хан Мангутек. Я проведу тебя, князь, в братнин шатер, что стоит в поле среди шатров его тысячи.

У ханского шатра царевича Касима и Василия Васильевича встретил Ачисан. Откинув белый дверной войлок, расшитый цветными узорами — зверями и птицами,— ханский сотник пригласил войти великого князя московского. Следом за ним вошел и царевич Касим. Молодой хан встретил их, сидя на пушистом ковре среди шелковых подушек.

Князь и царевич низко поклонились ему, и Василий Васильевич сказал:

— Ассалям галяйкюм, хазрет Мангутек, брат мой...

— Вагаляйкюм ассалям,— милостиво ответил Мангутек и пригласил вошедших сесть.

Василий Васильевич последовал примеру Касима и сел слева от входа на кошму перед ковром хана. Несколько мгновений дли-

лось молчание, и великий князь внимательно рассматривал острое хищное лицо Мангутека, мало схожее с лицом Касима. Молодой хан щурил злые рысьи глаза и ласково улыбался.

— Спасибо, князь,— сказал он наконец,— за подарки, особенно за перстень с этим красивым кровавым яхонтом. Думаю, камень этот из Индии.

— Говорят,— ответил Василий Васильевич,— что яхонт этот, горячий и влажный, как звезда Муштарй[1], приносит счастье и все благое...

— Слушаю тебя,— перебил его Мангутек,— и дивуюсь, где ты так научился хорошо говорить по-татарски!

— Отец мой, Василий Димитрич, сын Димитрия Донского, хорошо разумел по-татарски. Когда же весной шесть тысяч восемьсот девяносто первого[2] года поехал он по воле отца заложником в Золотую Орду к хану Тохтамышу, то пробыл там два года... Не всякий татарин так умел говорить, как отец мой. У него и я научился в детстве еще. После же смерти отца я тоже был в Золотой Орде, где от отца твоего, царя Улу-Махмета, получил тогда ярлык на великое княжение...

— Отец зол на тебя,— опять перебил Мангутек великого князя,— за то, что ты пошел войной на него, а он ведь помог тебе против дяди Юрья Димитрича! Теперь же хочет он помочь сыну его, Димитрию Шемяке...

— Его воля!— воскликнул Василий Васильевич.— Москва все равно не примет Шемяку и прогонит его, как и отца его Юрья Димитрича. Если царь хочет выгоды и богатства, пусть мир и дружбу со мной ведет — Москва за меня и все города княжества Московского. Москва богаче Золотой Орды, да и сильней, а Москва да Казань и того больше. Никакая орда Казань не тронет, если дружба и союз будет у нее с Москвой!..

По знаку Мангутека слуги поставили на ковер перед ханом серебряные блюда с пловом, подносы с лепешками, малые блюдца с халвой и с желтыми кусками ноздристого сдобного сладкого кулича, пахнущего шафраном. Налили потом кумыса в золоченые чаши и крепкого меда в золотые чарки.

Хан гостеприимно пригласил сесть около себя на ковер Василия Васильевича и своего брата Касима. Они выпили заздравные кубки за царя и царевичей и за великого князя. Потом молча поели они плова и всяких сладостей.

— Повар мой,— весело проговорил Мангутек, заедая пышным куличом сладкий изюм и урюк,— долго жил в Хорезме, там всему научился...

---

[1] Планета Юпитер.
[2] 1383 год.

— Плов хорош,— рыгая по обычаю татарскому, хвалил Василий Васильевич,— а с халвой и куличом язык проглотишь!..

Омыв руки после еды, царевич Касим попросил разрешенья уйти. Василий Васильевич остался с глазу на глаз с Мангутеком. Снова прищурился по-рысьи молодой хан и ласково заулыбался.

— Хазрет Васил,— начал он мягко и вкрадчиво, будто шел по-кошачьи,— от Ачисана все мне известно. Мне кажется — ты понял меня.

— Понял, хазрет Мангутек, да будет бехмет в делах твоих. Что мне надобно, ты знаешь тоже. Мать говорила об окупе, а я скажу совсем точно: сколько дам царю, столько и тебе. Если ж случится неудача у тебя, то путь в Москву тебе всегда открыт, как брату! Будут тебе и братьям твоим вотчины и кормленья...

— «Кто уповает на аллаха, тому он — довольство. Аллах свершит свое дело...»[1] Неудач не будет у нас...

Мангутек хотел еще что-то добавить, но сдержался и замолчал. Василий Васильевич допил свою чарку и поклонился хану. Потом достал из-за пазухи золотой обруч, осыпанный каменьями самоцветными, и, подавая хану, сказал:

— Прими в знак дружбы и верности этот подарок для своей ханши.

Хан милостиво принял подарок и воскликнул, прикоснувшись рукой к своей бороде:

— Аллах свидетель, что я обещаю тебе дружбу и сделаю все, чтобы отец принял твой окуп!

Отпуская великого князя с Ачисаном, Мангутек сказал ему, что завтра с утра выступают татары и пойдут к Нижнему Новгороду старому...

Когда Василий Васильевич возвращался в сопровождении Ачисана и его нукеров в хоромы купца Шубина, в посаде встретил его маленький попик.

— Отец Иоиль,— крикнул ему великий князь,— благослови меня в путь! Завтра уходят татары.

Священник поспешил к нему и, благословляя, сказал:

— Когда милостию божией вернешься в свой стольный град, вспомни слова мои, что самый верный тобе доброхот и покровитель отец Иона, владыка рязанский...

---

[1] Изречение Магомета.

Глава 4

В ГАЛИЧЕ МЕРЬСКОМ[1]

У себя в хоромах, в передней своей, сидел князь Димитрий Юрьевич запросто с князем можайским Иваном Андреевичем и дьяком своим Федором Дубенским. Пили водки разные и меды — любит Шемяка гульнуть, попить-поесть и гостей угостить.

— Хоть не богат,— смеется Димитрий Юрьевич,— а гостям рад! У меня кубок на кубок, а ковш вверх дном! Гуляй душа нараспашку.

Выпил князь. Весел как будто, но красивые глаза его злы и не ласковы, бегают, ищут что-то и никому не верят, и сам он как-то весь суетлив и беспокоен. Росту хоть малого, но ловок и поворотлив, только вот черен весь: и кудрями, и бородой курчавой, и даже лицом темен. На галку похож, как бы и не русский.

Князь Иван Андреевич весело чокнулся с хозяином и промолвил:

— Не дорога́ гостьба, дорога́ дружба! Будь здрав, Митрий Юрьич.

Он выпил чарку, заел хлебом с тертым хреном, хитро подмигнул дьяку Федору и с ним тоже чокнулся.

Грузный и рыхлый, как брат его Михаил, что с великим князем в полон к Улу-Махмету попал, Иван Андреевич не был, как тот, прямодушен, а всегда и всюду лукавил.

— Вот на Москве,— добавил он,— не столь нас потчуют, сколь неволят...

— Тамо, господине,— ухмыляясь в седеющую бороду, живо откликнулся дьяк Федор Александрович,— тамо и не рада курочка ча пир, да за хохолок тащат...

— Ха-ха!— резко и зло рассмеялся Шемяка.— Там оглянуться не успеешь, как ощиплют и съедят! Вот и князь Василий меня все потчевал тем, чего яз не ем!..

— У Москвы,— продолжал дьяк, усмехаясь,— брюхо в семь овчин шито. Гостей угощат да и самих с угощеньем жрет. Поди ж ты, сколь собе в брюхо князья московские навалили. Данил Лександрыч Переяслав заглотнул, как щука. Юрий Данилыч захватил Можайск да Коломну; Калита — Белозерск, Углич да Галич наш; Донской — Верею, Калугу, Димитров да Володимерь; Василь Митрич — еще того боле: Муром, Мещеру, Нов-

---

[1] *Мерьский* — по имени коренного населения галицкого княжества — мерь.

город-Нижиий, Городец, Тарусу, Боровск, Вологду, а Василь Василич и своих всех удельиых заглонуть хочет...

— Да на мне подавится!— стукнул кулаком по столу Шемяка и иалил всем водки по большой чарке.— Пейте да дело разумейте. Если мы, удельиы, ие задавим Василья, то он нас, как волк ягнят, перережет, с костями и кишками сожрет!..

— Не прн на рожон, государь мой,— начал вкрадчиво дьяк,— лучше ползком, где низко, да тишком, где склизко. Сильна Москва-то...

У Шемяки иоздри раздулись, побагровел он весь и, сверкнув злыми глазами, крикнул резко на дьяка:

— Не учи сороку вприсядку плясать!..

Но Федор Александрович ие испугался, зиал князя своего, недаром любимцем был.

— Ии по-твоему быть, государь, а о пляске ты ко времю напомиил. Поедем ко мие, вдовцу веселому, хлеба-соли покушать, лебедя порушить...

Ои иагнулся к Шемяке и громким шепотом добавил:

— А там поплясать да белых лебедушек поимать. Новая плясовая есть! Вдосталь попляшем. Да и гость наш, хошь жеиатой, а иа чужой сторотне — все равио, что вдовой, а девок да молодиц всем хватит...

Он обвел молодых киязей смеющимися, такими разгульиыми глазами, что захотелось им сразу горе веревочкой завить. Дьяк подождал, ухмыльнулся и поднял свою чарку:

— За лебедушку белую, за любу твою Акулинушку выпьем!

Шемяка улыбиулся, чаще задышал и вялый Иваи Андреевич — зиал, по греху, и ои про хоромы Дубеиского, что тот себе построил, а от других про это таили. От княгини своей Акулииушку прячет там Шемяка. Совестио князю — сыну Ивану уже восьмой год пошел...

— Змей-искуситель,— шутит, развеселившись, Димитрий Юрьевич,— во ад тропку мие пролагаешь...

— И-и, государь мой,— усмехнулся Федор Александрович,— обоим вам по двадцать пять, а мие без малое одиому столь, сколько вам вместе, а и то ие тужу. Мне и здесь с Грушенькой рай, а там-то кто еще зиай!..

В усадьбу к Федору Александровичу приехали засветло — солнце еще высоко стояло, только тучки чуть по краям розоветь начали. Грушенька с Акулинушкой гостей у красного крыльца встречали и сразу пошли все в столовую, хоть и малую, да нарядную, как девичий убор. Не для гостей она строилась, а только для князя да хозяина, да для люб их.

Тут и плясали, тут и игры водили, и песни пели, и шутки вольные шутили.

Как князья ни отказывались, а хозяин за стол их сесть приневолил. Выпили снова и журавля жареного с мочеными яблоками съели. Вместе с ними пили и ели разные снеди молодые хозяйки Грушенька, да Акулинушка, да еще Настасьюшка, что прошлый раз приглянулась тучному Ивану Андреевичу. Все три молодицы-хозяйки сами и стол накрывали и сами гостям за столом служили.

Димитрий Юрьевич расправил морщины на лбу, и глаза его повеселели, но только без злобы тусклыми стали — заменилась злоба тоской. Поглядел он на Акулинушку и, усмехнувшись с печалью, тихо промолвил:

— Спой-ка, любушка, песню, а какую — сама выбери.

Акулинушка вскинула на него свои русалочьи прозрачные глаза, поглядела пристально, помедлила и вдруг ласковый низкий голос тихо пролился и потек по всей горнице тяжкой истомой:

> Эко сердце, эко бедно... бедное мое,
> Ах, да полно, сердце, во мне ныти, изнываты!..

Словно замерло все в хоромах, и, гуще багровея, заря огнем в слюдяных окнах переливает, играет на чарках и блюдах, на серьгах и камнях самоцветных и на жемчужных поднизях уборов, а песня льется в душу, словно слеза прозрачная да горючая, жгучая. Опустили все головы, а у Грушеньки да Настасьюшки слезы в глазах...

Вдруг смолкла, не допев, Акулинушка. Взглянула в посеревшее лицо Димитрия Юрьевича и, словно лед разбив, засмеялась. Очнулись все, еще сло́ва вымолвить не успели, как Акулинушка, словно душная знойная ночь, ожгла всех хоровой песней:

> — Уж вы, но... уж вы, ноче-ни-ки, вы но-чи-те!

— Ух!— будто враз опьянев, воскликнул Федор Александрович, и все хо́ром подхватили горячую, хмельную песню.

Затопали под столом ногами, зашевелили плечами, и первый пошел плясать Федор Александрович, лукаво поманивая перстом свою Грушеньку. Серой утицей поплыла к нему Грушенька, помахивая белым шитым платочком. Не утерпел и князь Иван Андреевич, пошел на ма́нку Настасьюшки, словно голубь за голубкою, зачастил ногами, застучал в пол каблуками на серебряных подковах. Только Шемяка сидел на скамье, широко раздувая ноздри и крепко обняв Акулинушку. Но вот и он улыбнулся, закрыл глаза и опустил свою черную кудрявую голову на высокую

грудь Акулинушки. Ни о чем он теперь не думает, а слушает, как под его ухом девичье сердце стучит, да звенит и гудит в груди сладостный голос, пьянит и баюкает, тоску его усыпляя.

Кончились песни и пляски, опять зазвенели чарки, и Федор Александрович, румяный от вина и быстрых движений, увидев, что князь его развеселился, снова вскочил из-за стола.

— Гости дорогие,— громко приглашал он,— напоследочек в «колобок» поиграем с пéнями!..[1]

Поставили пять стóльцев среди горницы. Пятеро сели, а шестая, Акулинушка, протянув правую руку, пошла вдоль стольцев и запела медленно:

Клубок — тóне, тóне,
Нитка тянется...

Первым, встав, взял ее за руку Шемяка, потом Грушенька, за ней — Федор Александрович, за ним Настасьюшка и князь Иван Андреевич. Образовался хоровод и быстро закружился, а Акулинушка запела:

Клубóк — тóне, тóне,
Нитка — дóле, дóле!..

Хоровод закружился еще быстрей и вдруг, разорвавшись в одном месте, стал извиваться змеей, будто и в самом деле нитка с клубка разматывалась...

Снова запела Акулинушка:

Я за ниточку взялась,
Моя нитка порвалась!..

При последних словах она дотронулась рукой до князя Ивана Андреевича, догнав другой конец хоровода, который мгновенно рассыпался. Все сели на стóльцы, только Настасьюшка не поспела и осталась среди горницы.

— Пеню, пеню!— закричала Грушенька.

— Пусть поцелует кого захочет,— крикнул, смеясь, дьяк.

— Меня поцелуй, Настасьюшка,— при общем смехе быстро отозвался князь Иван Андреевич.

Снова игра продолжалась, а оставшиеся и через скамьи скакали, и чарки осушали, как Иван Андреевич, совсем осовевший от крепкого меда. Последнему Федору Александровичу пеню платить пришлось.

— Медведем ему быть!— весело крикнул Шемяка, перескочивший перед тем через скамью.

— Ладно,— проревел дьяк, становясь на четвереньки.

---

[1] Игра с пенями, то есть со взысканием, с «фантами».

Грузный, но все еще могучий, пошел он с медвежьими ухватками, ну точно вот зверь лесной. Грушенька даже взвизгнула, когда он с ревом напал на нее, встав на задние лапы и нарочно подогнув колени. Схватив ее передними лапами, поднял, как перышко, и понес к себе в опочивальню.

В дверях он остановился, засмеялся и проговорил, кланяясь:

— Гости дорогие, на покой пора, и медведь с медведицей в берлогу свою уходят...— Потом, подмигнув, добавил:— А ты, Настасьюшка, укажи князю Иван Андреевичу опочивальню его. Не найдет он один-то дороженьки...

Когда ушли все, Акулинушка с тоской и лаской закинула руки, обняла Димитрия Юрьевича за шею, впилась устами в уста, не отрывая русалочьих глаз, задохнулась совсем. Сжал ее в объятьях Шемяка, сам целуя ей щеки, шею и плечи, и снова сливая уста с устами.

— Люба ты, люба моя,— шептал он страстно,— свет мой Акулинушка...

Вдруг она отстранилась:

— А вот опостылю тобе, как княгиния твоя...

Он промолчал, прижимая крепче ее к своей груди. Акулинушка вздохнула и пропела ему вполголоса:

Буде лучше меня найдешь — позабудешь,
Буде хуже меня найдешь — воспомянешь...

На восходе солнца прискакал из Галича в усадьбу дьяка Дубенского гонец от боярина Никиты Константиновича Добрынского. Разбудили Димитрия Юрьевича, и всполошились все в хоромах, по всем углам суета началась. Сразу всем стало известно, что в Галич приехал из ханского яртаула[1] Бегич, посол Улу-Махмета.

Князьям подали коней. Торопливо позавтракав, чем бог послал, Димитрий Юрьевич и Иван Андреевич поскакали вместе с дьяком Дубенским к Галичу, стольному граду Мерьской земли.

— Ты, господине, покоен будь,— говорил Шемяке дьяк, идя на рысях бок о бок с княжим конем.— Боярин Никита знает, как посла приветить, на Москве ведь жил, а посол-то нам, словно божий дар, с самого неба упал...

Шемяка злорадно усмехнулся и глухо выкрикнул:

— Теперь Василей-то трясет, как гнида под ногтем!..

Когда князья и дьяк, прискакав в Галич, вошли в переднюю княжих хоро́м, застали там они уже стол да скатерть, а чарочки уже по столику похаживали — боярин Никита Константинович

[1] *Ярта́ул* — передовой отряд конников, разведка.

угощал посла Улу-Махметова с почетом великим и лаской. Бегич был стар и тучен, с рыхлым лицом, обросшим жидкой бородкой, но глаза его смотрели остро и бойко, все замечали и видели. Много на своем веку встречал он людей и везде был как дома. Знал изрядно по-русски, умел и на чужом языке уколоть словом, умел и приласкать и уважить. Самый нужный слуга у царя для хитрых переговоров и договоров.

Увидев Шемяку со спутниками, Бегич и Добрынский почтительно встали.

— Ассалям галяйкюм,— сказал Бегич, прикладывая руку к сердцу и низко кланяясь,— с сеунчем[1] к тобе я, княже, от царя Улу-Махмета, да живет он сто лет...

— Вагаляйкюм ассалям,— радостно ответил Шемяка,— победа Улу-Махмета — моя победа, да здравствует царь многая лета...

Своеручно налил Димитрий Юрьевич водки боярской в кубки испить за царя, потом за царевичей, а по третьему разу налил всем за здоровье Бегича. Пили потом за Шемяку, и Бегич сказал ему по-русски, подымая свой кубок:

— Живи сто лет отныне, великий князь московский! Вольный царь казанский Улу-Махмет жалует тобя великим княжением, а ворога твоего князя Василья до смерти в полоне держать будет. С этим жалованьем послал меня царь из Новагорода из Нижнего, а тобе быть во всей его воле и на том шерть[2] свою дать царю...

— Напишу яз царю шертную грамоту крепкую,— поспешно воскликнул Шемяка,— пусть токмо Василья задавит!..

— Царь казанский, да живет он сто лет,— продолжал Бегич,— послал меня к тобе августа двадцать пятого дня, а сам с войском пошел к Курмышу с несметными богатствами и полоном...

Шемяка поклонами и знаками пригласил всех садиться за стол, а Никита Константинович наполнил чарки дорогим заморским вином, что редко подавалось к столу у галицких князей. Цену заморскому вину отлично знал и Бегич и, судя по приему и угощению, ясно понимал, какое значение придают здесь его приезду.

Он покровительственно улыбнулся, когда услышал, как Шемяка винился, что не успел приготовить всего, чтобы с почестью встретить дорогого гостя, и обещал к вечеру и на завтра обильные пиры-столованья. Бегич знал достатки удельных князей и ответил грубоватой шутливой пословицей:

---

[1] *Сеунч* — радостное известие, посылаемое с вестником.
[2] *Шерть* — присяга на подданство.

— Айда байрам бит ача, кюи байрам кыт ача[1].

Все рассмеялись, а Шемяка поморщился от обиды, ио стерпел и ласково ответил:

— Такой русский обычай. Недаром по стариие говорится о гостях: «Напой, накорми, а после и вестей поспроси!..» Попируем, чем бог послал, а потом побеседуем...

— Ну, ничего,— сиисходительио заметил татарии,— сядешь на московский стол, поправишься иа великокияжьих прибытках...

С каждым днем больией и несносней были Шемяке обиды от Улу-Махметова посла, ио злоба и зависть к великому князю Василию заставляла его терпеть все своеволья татарииа.

— Поклаияемся агаряиам поганым,— говорил ои иаедине кязю Ивану Андреевичу,— да зато Василья сгонить легче будет, а там и с царем иным языком говорить можио! Стаиу князем великим, укреплю всех удельиых. Бегич верио о прибытках молвил. При московском богатстве и татары иам ниже поклонятся.

— Дай-то бог!— проговорил Иваи Андреевич и, усмехиувшись, добавил:— Дай бог нашему теляти да волка поймати!..

Шемяка вспыхнул, сверкнул гневио глазами, ио взял себя в руки и громко засмеялся.

— Василий-то волк?!— воскликнул ои презрительно.— Коли он волк, то ты самого льва страшней...

— Не о Василье речь,— досадливо отмахиулся князь можайский,— о том, что Москва за него. Василий-то и так в яме. Москва страшиа, а ие Василий...

Вошли, кланяясь, Никита Добрынский и Федор Дубенский.

— Государь,— сказал Никита,— составили мы с Федором Лександрычем грамоту к царю. Как прикажешь царя иазывать и собя? Вторую иеделю с Бегичем спорим, а он от своего не отступается. Хитер и ловок, собака. Хоть скуп ои и жадеи, а деньгами и подарками не купишь.

Никита Констаитииович развернул бумагу и продолжал:

— Вот так он требует писать-то: «Казанскому великому и вольному царю Улу-Махмету. Твой посажеиник и присяжениик, князь Галицкой, много тя молит...»

Шемяка прервал чтенье боярина крепкой площадиой браиью и, вскочив из-за стола, заходил взад и вперед по горнице. Потом, переярившись, опять подошел к столу и за единый дух выпил полиый ковш крепкого меда. Постоял иемного и тихо промолвил:

[1] «Празднуй раз в месяц — будешь веселым, запразднуешь каждый день — будешь голым».

— Ладно! Пиши так. Лучше поганым, лучше самому дьяволу покориться, чем Василью. Как ты мыслишь, Иван Андреич?

Снова замолчал, тяжело переводя дух, а князь можайский усмехнулся.

— По мне, все едино,— сказал он,— лишь бы нам и детям нашим добро было.

— Да ведь татары-то,— закричал Шемяка,— остригут нас, словно овец! Ведь и все удельные-то захотят тоже куски оторвать, а там еще и Тверь и Рязань!..

Иван Андреевич опять усмехнулся своей вялой усмешкой и сказал, прищурив лукаво глаза:

— А ты мыслишь, все за тобя зря ума будут стараться, токмо для-ради красиых слов.

— Верно, верно,— злобно согласился Шемяка,— к собаке сзади подходи, а к лошади — спереди...

Обернувшись к боярину Добрынскому, он сказал с истомой и изнеможеньем:

— Ну так и быть! Пиши с Федором Лександрычем, как оба разумеете, но помните токмо: и мое и ваше горе на одном полозу едут! Зови Бегича, да потом так наряди дело, чтобы ехал скорей к царю. Запировался у нас, а уж и бабье лето минуло и спасов день прошел. Гусиный отлет начался. А ехать-то ему кружными путями больше недели и к покрову не вернется. Да скажи, слух, мол, есть, что князь Оболенский, воевода Васильев, полки собирает, по всем дорогам конников шлет и дозоры держит в разных местах...

Боярин Добрынский вышел, а Шемяка, отвернувшись от всех, стал у отворенного окна, заглядевшись на белое облачко, что плывет в сини небесной над темными лесами дремучими. Гложет тоска Шемяку. Эх, забыть бы все, запамятовать тревоги и горести, а губы сами чуть слышно шепчут:

— Акулинушка свет, лебедушка моя нежная...

Только отпировали у князя галицкого отъезд князя Ивана можайского, как опять пир, опять угощает Шемяка ненасытного Бегича, но теперь уж на прощанье. Знает татарин толк и в питье и в еде и чужой стол да чужих поваров уважает. Видя скупость и жадность посла, подарил Шемяка ему кафтан бархатный, серебром шитый, да кубок серебряный, а царю послал шубу на соболях, золотой парчой крытую, да золотую чарку, а царевичам — кубки золоченого серебра с камнями самоцветными.

Разорился совсем князь, а у Бегича под усами подстриженными губы от улыбки скривились — все мало ему, змею подколодному.

— Знаешь, княже,— говорнт он учтиво,— что Василий-то Василич сотнику Ачисану золоченый кубок с каменьями да чарку золоченую подарил. Хану Мангутеку — перстень с дорогим яхонтом да золотой обруч с самоцветами, а царевичам — кубки и чарки золотые, а царю и того больше подарки готовит...

— Буду иа московском столе, озолочу всех! Земли и вотчины раздам иа кормление татарам. Пусть царь убьет киязя Василья, а мы Москву захватим, и всю казну его возьмем, и все именье у княгиинь его и у бояр...

— А пошто ты время ведешь, нейдешь скорей иа Москву?

— Чернь там да купцы, а теперь и бояре купио все Москву обороняют. Град укрепили зело против вас. Ни вам, ни мне града того силой не взять. Пусть царь казнит смертью великого князя, а яз проведаю, где семья его хоронится, велю сыновей его убить. Тогда не будет у Москвы своих князей, тогда Москва меня примет,— одиого яз с ними роду-племени. Димитрию Донскому внук, как и Василий. А пока жив Василий-то и дети его, Москву не взять!

— Сие и царь говорил, а потому велел тобе: собери удельиых, сговорись с великими князьями тверским и рязанским...

— Князья-то удельные тоже захотят от великого князя оторвать, а тверской да рязанской и того боле.

— Ну н давай, слабей нх не будешь, а сильней, чем теперь, станешь. Нам же токмо Нижний Новгород надобен...

— Попы-то все за Василия.

— А ты и попов купи. Обещай льготы, землн, деревни, угодья лесиые и рыбные...

Шемяка порывисто схватил большую чарку с двойной водкой н враз осушил. Крякнул и с трудом вымолвил:

— Попробую...

На том беседа и окончилась, начались прощанья — прощальные и подорожные здравицы. Проводили гостя с почетом и, кроме всех подарков, дали на дорогу подорожников разных из сиеди, а вместо хлеба — курников да лепешек сдобных, чтобы в пути не черствели.

Добрынскнй повел гостя в его покои, чтобы успел тот отдохнуть там перед отъездом. Остался с Шемякой только его дьяк Федор Александрович.

— Иван-то Андреич тоже собе на уме,— сказал вслух думы свои Димитрий Юьевич.

— Истинно,— горячо отозвался Дубенский,— истинно, государь. Чаю, можайский улучил время, перешепнулся с Бегичем-то. Ишь, татарнн все разделил и, кому что давать, указывает! Да не бойся нх. Слышали н мы, как дубровушка шумнт.

— Сразу догадался яз, что сей губошлеп и тут лисьим хвостом завертел, да смолчал,— добавил Шемяка.

— Сие и лучше, государь. В наших делах слово — серебро, а молчанье — золото.

— Яз и Добрынскому, Федор Лександрыч, меньше чем в половину верю. У Василия он служил, перешел к можайскому, а теперь вот у меня. А завтра кому служить будет?..

— И-и, Митрей Юрьич, чужие-то все таковы. Корня у них нет в нашей земле, а без корня и полынь не растет.

— Эх, Лександрыч, токмо тобе да Акулинушке и верю. Поедем-ка мы с тобой на остатнюю ночь в усадьбу твою, а завтра с утра ты с Бегичем к царю поедешь, а яз пошлю Иваныча в Вятку. Вятичи зело Москву не любят.

Выходя из трапезной, они столкнулись с Добрынским и с сухим седобородым чернецом.

— Господине мой,— сказал боярин Никита с довольной усмешкой,— се чернец из Сергиева монастыря. Через Москву проехал, Ивана Старкова видал. Вести добрые, княже...

— Земно кланяюсь, княже,— сказал чернец, касаясь рукой пола трапезной,— аз есмь раб божий Поликарп, из Троице-Сергиева монастыря. Отец Христофор челом тобе бьет. Был у него из Москвы Старков и много доброго для тобя сказывал. Есть-де на Москве и бояре, и гости, и из духовных многие, особливо из Чудова монастыря, всё твои доброхоты...

Монах долго и подробно рассказывал, и Шемяка, прервав его, пригласил за стол. Отец Поликарп с жадностью пил и ел, как и все чернецы, когда пьют и едят в миру.

— Что же Старков-то деет?— спросил Димитрий Юрьевич, испытующе глядя на монаха.— И куда ваш игумен Геннадий клонит?..

— Отец Геннадий неведомо что на уме имеет, но ежели все в твоих руцех будет, сможешь его ублажить и на волю свою поставить, ибо его преподобие зело об обители печется, о приумножении ее прибытков.

— Добре, добре,— скрывая презрительную улыбку, промолвил Шемяка,— а пока, значит, яз Москву не захватил, он помогать не будет?

— Господине, мы и без него тобе поможем против Василья, а Иван Старков и содруженики его уже все съединились крепко в граде и многие от слобод из Заречья, особенно из гостей и купцов, окупа великого страшатся...

Отец Поликарп опрокинул чарку с боярской водкой и, нисколько не пьянея от всего выпитого за столом, добавил вполголоса:

— Иван-то Старков сказывал, что и ворота тобе кремлевские

может отворить, ежели с нечаянностью к Москве придешь. Было бы лишь ведомо ему о том и твое изволение...

Шемяка остался доволен и, встав из-за стола, весело сказал боярнну Никите:

— Весьма добрая сия весть! Ты, Никита Костянтиныч, уважь гостя дорогого. Меня же, отче, простн, отдохнуть иду. Расскажи тут боярину все, как на духу, как бы мне все едино...

Выходя вместе с Федором Александровичем, Шемяка через спину чернеца подмигнул Добрынскому, чтобы тот допросил гонца с хитростью, проверил бы его слова его же словами. Ловок был боярин на это.

Добрынский понял и, вставая почтнтельно, сказал с улыбкой:

— Отдыхай, государь, спокойно. Завтра, как уедет Бегич, на беседу прнду к тобе. Есть у меня еще вести н умыслы многие...

Глава 5

ОКУП

Гадают оба князя в плену татарском о судьбе своей, словно в лесу темном бродят. Нет им и от царевича Касима никакой помощи — сам он ничего не ведает. Вот и до покрова уж всего пять дней осталось. Идет время, а дела к пользе их ни на черту, ни на йоту не двинулись.

Темно на душе, да и погодка хмурая. Время такое, что ни колеса, ни полоза не любит. Куда ни глянь, грязь кругом, и ступить негде. Беспутье, не дай бог какое,— только верхом и ездить, да и то трудно. Дожди то с крупой, то с мокрым снегом, мгла да туманы. От сырости да ветров кости в теле все ноют, а где там в шатрах согреешься — с дымом и тепло все из них выходит. Недовольны и татарские воины — трудно им здесь в Курмыше стоять, хотят к себе поскорей, в Казань, а царь все медлит, посла своего ждет. Бегича же нет как нет, и даже вестей о нем нет.

Истомились князья, а Василий Васильевич пал духом совсем.

— Ошибся тогда Ачисан-то с делами татарскими. Старая-то голова, верно, крепче молодой шеи,— сказал он как-то Михаилу Андреевичу,— может, Шемяка-то не токмо с Бегичем, а и со всем своим войском сюда идет...

— Не дай, господи,— всполошился Михаил Андреевич и с горечью добавил:— Выдаст царь-то, закует нас Шемяка в железы...

— Наказует нас бог,— прошептал Василий Васильевич,— прогневили мы святых угодников, заступников наших...

Замолкли оба, кутаясь в бараньи тулупы от холодного ветра, который рвал дверную кошму, шумел и свистел в соседнем бору.

Трещали, ломаясь, там сучья, с глухим стоном опрокидывались высокие ели и сосны на опушке, а вывороченные корни их торчали, как застывшие змеи.

С самой ночи и все утро бушевала непогода, а к полудню словно оборвался и сразу стих ветер, а сквозь темные тучи засияло солнышко, дрожа и играя на мокрых ветвях и в лужах. Повеселел вдруг день, и на сердце князей веселей стало, а когда нежданно приехал со своими нукерами царевич Касим и привез «селям» от самого царя Улу-Махмета, Василий Васильевич в радости обнял и поцеловал татарского царевича, а видя это, засмеялся и Михаил Андреевич...

— Отец,— говорил Касим по-татарски,— захотел тебя видеть. Он назвал тебя не братом, а сыном, но ты не принимай это за обиду. Такой мой совет тебе. Отец стар, зови его отцом не за старшинство по власти, а по возрасту.

— А зачем я царю? Ведь послал он Бегича к Шемяке...

— Сам знаешь, князь,— перебил царевич,— нет у нас вестей о Бегиче. Слухи только разные, а хан Мангутек через карачиев[1], детей Минь-Булата, свой слух до царя довел. Шемяка-де, узнав о плене твоем, бил челом в Золотой Орде брату отца, царю Кичиму, а в Литве Свидригайле, и что из Орды посол раньше Бегича в Галич приехал.

Василий Васильевич перекрестился и, обращаясь к Михаилу Андреевичу, не разумевшему по-татарски, воскликнул:

— Внял господь-бог молитвам нашим, княже! Зовет Улу-Махмет меня. Милует господь нас, грешных...

— Отец наш одряхлел. Недаром дядя из Орды его выгнал,— продолжал Касим по-татарски,— не может править он ни царством, ни войском, а к старости весьма жаден стал. Мангутек прельстил его твоим окупом, и сам царь теперь говорит, что убил Шемяка посла его в угоду ордынцам! Так вот, соглашайся на все, не пропусти случая. Может, Бегич и жив и скоро вернется...

Когда вышли они из шатра и садились на коней, Касим сказал великому князю вполголоса:

— Смотри не обмолвись, что про все ты знаешь. Говори только о союзе с Казанью против Золотой Орды да об окупе и кормленьях.

Вскочив на коней, поехали они по вязкой красной глине вдоль берега Курмышки, к ее устью у реки Суры, где град Курмыш стоит. Еще в досельные времена нижегородский князь из крепкого дуба сложил его здесь, меж двух рек, в защиту от набегов язычников из дикой мордвы и черемисы. Не только реки, но и болота, холмы да овраги обороняют тут крепость со всех сторон,

---

[1] *Карачии* — самые знатные и влиятельные из татарских князей Казанского царства.

а дальше, за лугами поемными да пашней, леса идут сплошные, дремучие. Ни прохода, ни проезда по ним нет.

Жадно дышит Василий Васильевич влагой от реки и духом лесным. Осеннее солнышко хоть и не греет, а все кругом золотит и светлит, и сверху синь небесная ласково сквозь тучи проглядывает. С берез листья золотые роями летят, осинки стоят все багровые, дрожат их листья, словно кровью обрызганы, а в затихшем бору синицы кричат да сороки стрекочут.

Осень настоящая, а Василию Васильевичу словно соловьи поют. Улыбнулся он весело, сделал знак царевичу и придержал своего коня. Подъехал Касим, приветливо тоже глядит на великого князя.

— Слушай,— говорит Василий Васильевич по-татарски,— чую сердцем — буду опять на Москве. Тебя же, Касим, полюбил я и хочу к себе на службу! Братом меньшим моим ты будешь...

Засиял царевич и дрогнувшим голосом ответил:

— Помни клятву мою. Как позовешь, так и поеду. Весь я на воле твоей, и Якуб о том же челом тебе бьет...

Войдя в горницу, великий князь и царевич Касим поклонились царю до земли и сказали селям. Улу-Махмет, окруженный карачиями, би́ками и му́рзами[1] в это время, полулежа на персидском ковре, играл в шахматы с биком Едигеем, начальником своих уланов. Он благосклонно приветствовал великого князя и, продолжая игру, знаком пригласил сесть.

— Подождем, князь,— сказал Касим по-татарски, посмотрев на шахматную доску,— они скоро кончат.

Василий Васильевич впервые видел шахматы и с любопытством разглядывал людей, колесницы, коней и слонов, белых и красных, вырезанных из кости.

— Это два войска,— пояснил ему игру царевич Касим,— с двумя царями. В игре их «шахами» зовут. Вон они оба сидят на столах своих в коронах. Один белый, другой красный, и того же цвету вон и воеводы их. Они бьются друг с другом.

Василий Васильевич увидел на доске одну белую колесницу и две красных. В каждой из них стояло по одному воину с копьем и щитом того же цвета, что и колесницы их.

— Это,— сказал Касим,— воевода в игре, они «рук»[2] называются. Всего четыре их, одного белого нет на доске, значит —

[1] *Би́ки* — князья, *му́рзы* — знатные сановники и богачи купцы.

[2] *Рук* — шахматная фигура, изображала воина на боевой колеснице, теперь называется турой.

убит он. Эти же конники — темники царей. Из них один красный убит.

— А это что за звери,— спросил Василий Васильевич,— горбатые, головастые, а ноги, как бревна? Вишь, клыки торчат какие, а нос кишкой повис?

— Слоны,— продолжал царевич,— боевые звери с кожей такой толстой, что ни стрелой, ни копьем не пробьешь, ни мечом не прорубишь. На спине у них башни привязаны, там стрелки́ сидят.

В это время Улу-Махмет передвинул свою красную колесницу и сказал громко:

— Шах!

— Это он нападенье на самого царя сделал,— пояснял Касим.— Теперь би́к Едигей должен своего царя спасать. Вот он белого слона около него поставил, закрыл его от красного «рука». Только не поможет это — скоро его царю ступить будет некуда...

Улу-Махмет переставил через головы пеших воинов своего темника на красном коне и опять сказал:

— Шах!

Бик Едигей передвинул своего царя с белого четырехугольника на черный, но не отнимал руки и все думал: не лучше ли его в другое место поставить,— но, видимо, такого места не нашел и оставил там, куда передвинул. Улу-Махмет, засмеявшись и поставив своего пешего воина около белого царя, радостно воскликнул:

— Твой шах ма́та!

Василий Васильевич не понял его слов, и царевич наскоро шепнул ему в ухо:

— Это не татарская речь, а в игре это значит: «Твой царь погиб». Игра на этом кончается, отец обыграл бика Едигея, разбил его войско.

Великий князь слушает Касима, а сам зорко следит за Улу-Махметом, желая угадать, в каком царь духе и чего от него ждать — добра или худа. Видит он сбоку дряблые морщинистые щеки, дрожащие от смеха, и ждет, когда царь обратит к нему лицо. Вот застыло лицо Улу-Махмета и со сдвинутыми седыми бровями повернулось к московскому князю. Косые глаза его щурятся по-рысьи, как щурились и глаза сына его Мангутека при первом свиданье с Василием Васильевичем.

Помолчав, царь, сидевший на ковре, поднял руку над полом на уровень своей головы и сказал:

— Вот таким ты приходил ко мне в Золотую Орду, и я посадил тебя на московский стол еще малым ребенком. А теперь ты крепкий мужчина, моя же голова стала серебряной...

— Что ж, отец мой,— почтительно сказал по-татарски Васнлнй Васильевич,— недаром сказано: «В серебряной голове золотые мысли...»

Улу-Махмет милостиво улыбнулся и ласково молвил:

— Люблю я слушать, когда хорошо говорят по-татарски...

Ои сделал зиак, и слуги стали прииосить угощеиья на серебряных блюдах и золочеиые кувшиины с кумысом и красным виином.

Получив от царя жирный кусок барании́ы н съев его, как требовала вежливость при такой чести, Василий Васильевич после здравицы за счастье царя и царевичей сказал:

— Отец мой, верю я, бог поможет мне. Я дам тебе окуп, какой ты захочешь, а сыновьям твоим, моим братьям, уделы, и бикам твоим и мурзам — воеводства и кормлеиья...

— Сказано,— важно прервал его Улу-Махмет,—«Солице течет к назначенному месту: таково повеление сильного, знающего». Думали мы раиьше иначе, но аллах все по воле своей измеиил. Ныне согласны мы иа твой окуп.

— Буду тебе, отец, я верным пособииком в борьбе с моим н твоим врагом в Золотой Орде. Не ищи себе миогих друзей, нбо сказано: «Один верный спутник дороже тысячи иеверных»...

— Пусть будет так, великий царь,— сказал седобородый сейд[1] в зеленой чалме и, коснувшись бороды своей, прочел нз Корана на память: «Аллах поможет тому, кто полагает на него упованне; аллах ведет свон определения к доброму коицу».

Понял тут Васнлий Васильевич, что у царя собрался весь его совет, что все уже о выкупе решено у татар, и стал ждать, что еще скажет хан Мангутек, соправитель отца своего. Молодой хан сидел молча, пока ие сказалн своего миеиия все карачии.

— Царь иаш, да живет ои сто двадцать лет, и советники его,— начал хаи,— решили все мудро и справедливо. Я только добавлю, что московский князь богат н силеи, за него стоят все города московские н все духовенство Руси. С Москвой будет у нас ежегодиый большой торг у Казани на речке Булаке. При князе Василин ие пойдут московские товары к Золотой Орде. От других же князей нам не будет такой выгоды...

Мангутек оборвал свою речь, но все бнки и мурзы заговорили разом, загудели снова со всех сторон, как пчелы в улье. Торговля — главная статья для Казани. Умеют торговать татары: русские меха, хлеб, скот, мед н воск скупают в великом количестве, а сами продают ковры, обувь, камни самоцветные, тканн персидские н

---

[1] *Сейды* считаются потомками пророка, во всех мусульманских странах принадлежат к высшей духовной знати и пользуются большим почетом.

китайские, перец, корицу, изюм и всякие сушеные и вялеиые плоды.

Василий Васнльевич радостио слушал поднявшийся шум и гомои. Поиял он, что сговора у царя с Шемякой быть не может, и вздохнул всей грудью, благодаря бога за милость. Вдруг все смолкли, и Улу-Махмет сказал громко и повелительно:

— Хаи Мангутек, завтра с советниками моими будь здесь после зухра, и пусть будет поп христиаиский нз города — в Курмыше церковь есть. Утвердим мы крестным целованием князя московского в том, что указанный ему окуп он даст, а царевичам даст вотчины, биков и мурз иа службу возьмет, н мир у Москвы с Казаиью будет крепкий...

Торопится князь с отъездом в Москву, все возвращенья Бегича бонтся, хотя и утвержден им договор крестным целованием, а царь дал ему клятву и ярлык со своей алой тамгой[1] и записи все составлены, где подробно все перечислено, что дает Василий Васильевич за свой выкуп.

— Медлят татары-то,— твердит постояино в беспокойстве и Михаил Аидреевич,— как бы что ие передумали!

Но Василий Васильевич, хотя и сам терпеиья ие имеет, верит Касиму,— обманывать татарам нет выгоды, да и глаза-то у биков на московское добро сильно разгорелись. Губа не дура у них.

— Раздразиил яз татар,— ободряет Василий Васильевич с довольной усмешкой князя Михаила Андреевнча,— забыли мурзы и бики про Шемяку, одна Москва на уме, сами торопятся, да, видать, сговоры у них есть какие-то тайиые и с Улу-Махметом и с Мангутеком. Медлит царь-то токмо на царство свое возвращаться. Говорил мне Касим, что боится Улу-Махмет Казани, своих же карачиев да биков боится, а пуще всего Мангутека...

— Что ж ты, государь, в окуп даешь иеверным? — спросил Михаил Андреевич.

Великий князь запечалился и, помедлив, ответил:

— Много, кияже, ох, миого! Ну, да бог не выдаст, свииья не съест. А может, и не дадим обещаниого-то, коли у татар распря начнется...

Василий Васильевич замолчал, но Михаил Андреевич выжидательио глядел ему в глаза. Хотел зиать он точно и подробио — на всех ведь выкуп этот падет. Удельиым тоже иа плечи ляжет.

— Какой же окуп царь-то берет?

Великий князь иахмурился и заговорил строго и сурово:

— Посулил яз на собя, и на тобя, и иа прочих, в полои взятых,

[1] *Тамга* — знак, печать, клеймо.

многая от злата и сребра, и от портища всякого, и от коней, и от доспехов. Полтриста тысяч рублев будет, а то и боле...

Михаил Андреевич побледнел и, заикаясь от горести, воскликнул:

— Да ведь татары-то нас на щипо́к подберут! Оставят от золотца токмо пуговку оловца!.. Семерых в один кафтан сого́нят!..

Великий князь поморщился и крикнул:

— Не голоси бабой! А не хошь, у татар оставлю, сам торгуйся с ними!

Князь Михаил покорился и, опустив голову, печально промолвил:

— А что яз сам? Алтыном воюют, без алтына горюют. Справил бы однорядку с корольки[1], да животики коротки...

— Так уж и молчи лучше,— сердито сказал Василий Васильевич, но потом добавил спокойнее:— Бики и мурзы с нами поедут, царевичей двое, а с ними пятьсот конников и слуги...

— Ох, зря ты без опасу столько татар на Москву ведешь. От поганых, опричь худого, ничего не жди...

— Ну, а мне боле зла от христианства, нежели от басурманства!— закричал Василий Васильевич.— Вкруг меня сколь переметчиков-то! И Шемяка, и брат твой Иван, и бояре Добрынские почти все, и Бунка, и Старковы, да из купцов и чернецов немало! А сколько их отъехало и к брату твоему в Можайск, и в Галич к Шемяке, а многие на Москве затаились: часу своего ждут, иуды! Из князей яз токмо шурину Василью Ярославичу да тобе верю, на родных сестрах вить с тобой мы оженены. Мыслей своих от тобя ни в чем не таю. И знай, не об одной своей пользе стараюсь, обо всем христианстве гребта моя...

— Бог нас простит,— тихо промолвил Михаил Андреевич,— верю тобе, брат мой. Скорей бы токмо домой вернуться привелось.

— А приведется,— подхватил горячо Василий Васильевич,— все обернем мы собе на пользу. Уразумей, княже, что и татары не столь Москву разорят, как свои вороги. Простят мне христиане мой окуп великий и все ви́ны мои и тяготы, ибо Димитрий-то Шемяка горше татар им станет.

Склоняется солнце к закату, светлым янтарем полнеба покрыло, золотит обрывистые берега полноводной Суры и золотые дорожки стелет в потемневшем лесу, пробиваясь лучами сквозь бурелом и просеки. Непогоды как не было. Воздух не дрогнет, словно хрустальный. Ясно да тихо, хоть мак сей. Будто и не осень

---

[1] *Однорядка* — мужская верхняя одежда, однобортная; *корольки* — бусы или пуговицы из кораллов, самоцветов или из золотых и серебряных шариков.

совсем. Если б не листья желтые, и не поверить, что ныне третий день после покрова, а не бабье лето погожее.

Едет шагом Василий Васильевич на коне своем вдоль берега в доспехах и с мечом у пояса. Весел и радостен — снова великий князь он московский! Шутит, смеется, громко перекликаясь то с Касимом-царевичем, то с князем верейским Михаилом Андреевичем, то с боярами своими и воеводами. Все они вместе с ним в полоне были. Тут же и беки и мурзы казанские едут с ним рядом, а стража у них общая — из татарских и русских конников.

Впереди их дозор рысит — по дороге к Новгороду-Нижнему старому путь разведывает, а сзади — обозы скрипят. Тянутся там со всяким добром на арбах, а в шатрах и в кибитках семьи и слуги татарские. Следом за ними гонят рабы стадо баранов, а огромные мохнатые нары волокут телеги тяжелые с котлами медными, с мукой и просом для воинов и слуг. В самом же конце опять сторожевой отряд едет из русских и татарских конников.

— Слушай, Михайла Андреич,— радостно крикнул великий князь,— надо бы нам кого в Москву вестью отпустить, семейство мое да и твое обрадовать...

— Что ж, государь,— весело отозвался князь Михаил,— отпусти молодого Плещеева Михайлу, сына боярина Андрея Михайлыча...

— И то, княже! Хитер и ловок Михайла-то. Дам ему двадцать конников добрых — они нас с обозами-то недели на две вперед обскачут. Мы же вот два дни от Курмыша едем, а до Волги еще и не доехали.

— Воевод и бояр своих верных упредишь,— заметил князь Михаил Андреевич,— чай, Шемяка ныне там наветы да смуты сеет...

— Верно,— подхватил Василий Васильевич,— а Плещеев-то нам все его лжи и ласкательства борзо порушит!

Василий Васильевич нахмурился, но, опять повеселев, повелел позвать к себе из передового отряда молодого Плещеева. Князь Михаил Андреевич, приблизясь к страже, послал конника. Тот, лихо гикнув, помчался вперед.

— Что, государь, случилось?— подъехав к великому князю, тревожно спросил по-татарски царевич Касим.— Может, мордва или черемиса в засаде сидит? Прикажи, я поскачу вперед со своими нукерами...

Василий Васильевич весело рассмеялся.

— Нет, царевич, никакого зла в лесу я не чаю,— сказал он с ласковой шуткой,— опричь того, что завтра там беситься леший почнет...

Касим с недоуменьем глянул на великого князя, а тот рассмеялся еще веселей и добавил:

— Завтра, в четвертый день октября, святого Ерофея у нас празднуют, а наши православные весь этот день в лес не ходят, говорят — леший бесится, со злости и вред причинить может...

— А зачем от тебя конник к яртаулу поскакал?

— Хочу молодого Плещеева с сеунчем в Москву послать. А насчет мордвы да черемисы ты верно сказал. Надо ухо востро держать...

Они поехали рядом, дружно беседуя, а вскоре и Плещеев примчал. Станом и лицом красивый, Михаил на всем скаку ловко сделал крутой поворот к великому князю.

— Изволил звать меня, государь? — спросил он, осаживая коня.

Царевичу Касиму понравилась ездовая выправка Плещеева, и, причмокнув губами, сказал он Василию Васильевичу:

— Якши! Бик якши![1]

Великий князь ответил ему улыбкой, но, обратившись к Михаилу, сказал строго:

— Отбери собе двадцать лучших конников, каких сам знаешь. Возьми что надо в дорогу. Поедешь в Москву с вестью о нашем освобождении. Разумей то, что нам козни шемякины порушить надо.

— Разумею, государь. Оповещу все христианство.

— Первую весть моему семейству, княгиням моим и сыновьям, потом всем прочим, как установлено. Завтра выезжай на рассвете. Да благословит тобя господь бог и помогут святые угодники...

Ближе к Новгороду-Нижнему к старому, где Ока шире становится, бежит гребная ладейка о две пары весел и под парусом. Спешит из Мурома, ходко идет вниз по течению к матушке-Волге, да и ветер попутный. Над ладьей же у кормы — навесец тесовый, и сидят там на кошме Бегич да Федор Александрович Дубенский, едят снеди дорожные, а рядом в кошелке куры кудахчут, своего череду ждут. На шеях у них камешки разноцветные нитками привязаны — «куриные боги», от падежа они сохраняют.

Смеется Бегич и говорит в шутку:

— От падежа их боги спасают — для ножа берегут!

Но Федор Александрович хмурится. Думы у него о князе Оболенском. Хитер воевода Василий Иванович и великому князю предан. Разбросал он везде заставы, и конники его по всем дорогам рыскают. Беспокоится Федор Александрович и зорко по берегам

---

[1] Хорошо! Очень хорошо!

смотрит, где дороги проезжие, а за ними стенами стоят на обрывах крутых огромные сосны, ели, дубы и березы.

— Скорей бы Дудин монастырь проехать,— говорит он Бегичу,— там и до Нижнего недалеко.

— Должны быть к вечеру.

Впереди на закрае реки лодка показалась. Когда поровнялись, подняли весла, Федор Александрович крикнул:

— Далеко ль до Дудина?

— В монастырь к ночи будете, на жилых еще приплывете. А чьи вы?

— Княжие. А у вас что тут деется?— сурово спросил Дубенский.

— Что наяву деется,— со смехом ответили с лодки, берясь за весла,— то и во сне грезится...

Федор Александрович осерчал.

— Ты им к делу, а они про козу белу!— крикнул он, но лодки уж далеко разминулись.

Не понравилась такая встреча Дубенскому.

— Лукавы люди, вельми увертливы,— сказал он Бегичу,— может, и лазутчики воеводы Оболенского.

Более часа они проплыли молча, когда вдруг Федор Александрович увидел, как конники с лошадьми на поводу, праздными и со вьюками, к самой реке подскакали, руками им машут и в голос кричат.

— Фе-о-до-ор Ли-икса-андрыч!— услышал он голос Плишки Образцова, что с их конями берегом ехал.— Сто-ой! Ве-есте-ей до-обыли!..

Переглянулся Дубенский с Бегичем, без слов друг друга поняли, и велел Федор скорей выгребать к берегу и парус свернуть. Вышел с татарским послом он на каменистый пологий берег, а ноги и руки у него от тревоги словно размякли.

— Какие вести?— глухо спросил Федор Александрович, а сам глядит, как у Плишки губы подрагивают.

— Худые вести,— громко и торопливо заговорил Образцов.— Седни о полудни встрел нас боярин Михайла Плещеев с конниками и в доспехах. Было то противу Иванова, села Киселева. На покров, говорит, пожаловали князя великого царь Улу-Махмет и сын его Мангутек и, взявши окуп, отпустили на великое княжение со всем полоном, а в подмогу, говорит, против Шемяки свои полки дали с Касимом-царевичем...

— Врешь ты!— крикнул Бегич.— Не может то быти...

— Михайла Плещеев с сеунчем отпущен ко княгиням,— добавил Образцов,— я Плещеева-то давно знаю. В Москве, когда с нашим князем были, видал я там Плещеевых-то, и старого и молодого.

— Верно,— сказал Бегичу Дубенский,— ведомо и иам и тобе, что Плещеевы в полоне были вместе с великим киязем.

— Сказывал он,— продолжал Плишка Образцов,— что князь Василий-то с царевичем в Нижнем Новегороде теперь, а то, может, и вдоль Оки уж идут...

Молчит татарии, позеленел от злости, и щеки ему дергает. Посмотрел на него Федор Александрович и сам ему с досадой молвил:

— А тобе что бояться? Царевич Касим тобя примет, не даст в обиду...

— Царевич Касим!— вырвалось у Бегича.— Хуже Мангутека он. Тот против отца, а Касим против всех и татар на русских сменить может!..

— Ты — не знаю как,— мрачно перебил его Федор Александрович,— а яз назад в Муром, потом в Галич побегу через Суждаль или Кострому, как уж бог приведет.

— Мие деваться некуда,— тихо сказал Бегич,— с тобой поеду. Мне токмо от Костромы путь будет: Волгой я прямо в Казань спущусь...

Пошли, побежали по всем городам и селам слухи: великий киязь московский из плеиа отпущен, с войском идет в свою вотчину и дедиму. Покатилась весть о том и вверх по Волге, дошла и до Костромы и до Галича. Испугался Шемяка, побежал в Углич, ближе к великому князю тверскому Борису Александровичу. Людям же московской земли от того радость из радостей. Со звоном церковиым встречают везде Василия Васильевича, молебны поют, а бояре, воеводы и дети боярские с воииами своими и слугами отовсюду спешат к войску княжому присоедиииться.

В Муром, будучи в разъезде окружиом, как раз в ту пору для владычного суда прибыл Иона, владыка рязанский и муромский. Встретил он киязя московского крестиым ходом ото всех церквей, и Василий Васильевич остался дня иа два в граде этом. Вспомнил ои слова отца Иоиля и захотел с владыкой беседу иметь, благословенье приият от иего. К тому же устал великий князь и решил отдохнуть с дороги у купца Шубина, у Сергея Петровича, да отца Ферапоита послушать — хорошо дьякои стихиры из псалмов Давыдовых с запевом поет.

Мог бы великий князь у своего иаместника муромского остаиовиться, да расположения у иего ие было к этому, отдохнуть хотел от ратиых и государевых дел.

— У наместника-то,— сказал он Михаилу Андреевичу,— дел ие миновать, а у купца от всякой гребты схорониться можио.

Шубии встретил киязей с великой честью и радостью и тотчас, чтобы киязю угодиое сотворить, послал холопа своего за отцом

Иоилем и отцом Ферапонтом, а про гонца и забыл среди хлопот, да дворецкий в ухо шепнул ему вовремя.

— Княже и господине мой, прости, что запамятовал,— сказал, кланяясь низко, Сергей Петрович,— с утра еще ждет у меня конник от воеводы твоего князя Оболенского, Василья Иваныча. Князь-то под Муромом тут стан свой раскинул. Повидать тобя хочет, когда ты укажешь...

Поморщился Василий Васильевич, но, вспомнив услуги своего знатного и искуснейшего воеводы, живо сказал:

— Проси на обед его сегодня же, а стол надо роскошен и обилен нарядить. Позвать надо и владыку. Пусь отец Иоиль поедет звать его, а ты, Михайла Андреич, поезжай с попиком-то. Почет оказать надо владыке. Ты же, Петрович, узнай от отца Иоиля, что вкушает святитель, дабы в огрешку и срам нам не впасть. Для воеводы ж фряжеского вина добудь — любит старик духовитое вино от гроздей виноградных...

К великому князю маленький попик явился один и, благословив князя и поздравив с освобождением, поспешил тут же объяснить ему, почему нету с ним отца Ферапонта.

— Не сетуй, княже,— говорил он ласково,— негоже нам, не подобает на сей раз за твоим столом беседу вести, а отец-то дакон и совсем не к месту, может и не умное что молвить. Тобе ж, княже, со владыкой и воеводой совет держать...

Василий Васильевич приветливо улыбнулся, и светлые глаза его засияли теплом и добротой. Нравился ему маленький попик, и хотелось говорить с ним не о больших делах земных, а о малых, но душевных.

— А какова семья твоя, отец Иоиль?— спросил великий князь.

Попик потупил свою белую пушистую головку и грустно молвил:

— Един аз, княже, яко перст. Ни детей, ни родни нету. Да и жену свою лет десять, как схоронил...

Василий Васильевич помолчал немного. Хотел он от сердца сказать что-нибудь отцу Иоилю, но спросил совсем другое.

— Как же ты, вдовой и сана иноческого не приявший,— спросил он тихо,— служение и требы совершать можешь?

Попик печально улыбнулся, посмотрел на князя и так же, как тот, тихо ответил:

— Епитрахильну грамоту[1] на то получил от владыки рязанского, дозволение его рукописное.

Но вот враз отряхнул с себя печаль отец Иоиль и заговорил

[1] *Епитрахильная грамота* — письменное дозволенье вдовому священнику служить и совершать требы.

с умилением об освобождении Василия Васильевича от полона:

— Вымолили мы тя у господа! От Плещеева мы слышали — Улу-Махмет мысли свои переменил для всех нечаянио, а в тот день, когда он отпустил тобя, в Москве было трясение земли. Божье в том произволение. Бог за тобя заступился, а крамолу в Москве кующим в тот же день знамение дал в предупреждение...

Высокий и дородный князь Василий Оболенский сидел за столом, попивая по глоточку любимое заморское вино, глядел на великого князя веселыми, смеющимися глазами и беседовал с ним зычным густым голосом, поглаживая длинную и пышную, словно бобровую, бороду с проседью. Смелое и открытое лицо его было некрасиво, но весьма привлекательно, хотя черты его изобличали суровость и властность.

— Государь мой,— говорил воевода,— еще до того, как Плещеев пригнал, стража моя схватила Бегича. Был с ним дьяк Федор Дубенский, да ушел. Бегича одного оставил. Оковал яз татарина ране того в железы, узнал от него о всех умыслах шемякиных. Отпустил он Бегича к царю со всем лихом на тобя...

— Ведомо сие мне,— заметил Василий Васильевич,— не чаял яз тогда, что господь молитвы наши услышит.

— Вот,— продолжал Оболенский,— яз и держал в мыслях: Плещеева не в Переяславль посылать с вестью, а в Москву, ко княгиням же послал своих конников, ждать им тобя указал в Переяславле, дабы из Ростова они ране времени навстречу тобе не отъехали...

— Добре, добре, княже,— согласился Василий Васильевич,— туда яз с малым войском пойду и сам в Москву привезу семейство...

— Поставлены мной, государь, заставы и дозоры в Волоке Ламском и Димитрове, чтобы Москву от Твери закрыть, а еще боле того воев, пеших и конных, собрал яз против Углича. Переяславль надобно от Шемяки оградить, дабы нечаянно зла от него какого не было...

Встал Василий Васильевич, обнял и облобызал воеводу.

— Спаси тобя бог, Василь Иваныч,— сказал он,— спас ты нас от царевича Мустафы у речки Листани, спасешь и от Шемяки!..

Взглянув в окно, великий князь подошел ближе и увидел уличку небольшую, всю, как ковром, застланную желтыми и багряными листьями ближних садов. Народ у заборов по краям улички стоит без шапок.

Вгляделся великий князь, прикрывшись ладонью от солнышка, и видит: въезжает в уличку на санях[1] своих по листьям цветным, словно в вербное воскресенье, сам владыка Иона.

[1] Высшее духовенство круглый год ездило на санях. *(Прим. автора)*.

Впереди саней идет кологрив у лошади, а перед лошадью служка несет посох святительский. Владыка, сидя в саиях, благословляет народ иа обе стороны. За санями попик, отец Иоиль, а за ним на коне и в доспехах князь Михаил Андреевич.

— Владыка едет,— сказал Василий Васильевич и вместе с воеводой и хозяином пошел встречать почетного гостя.

Выйдя из саией, под руки с отцом Иоилем и Шубииым, владыка поднялся на красное крыльцо и благословил здесь ставших на колени великого князя и киязя Оболеиского. Потом, оборотясь, еще раз благословил весь иарод.

В конце трапезы великий князь сделал знак, чтобы оставили его одного с владыкой Ионой. Когда все вышли, Василий Васильевич сказал:

— Благоволи, отец мой духовиый, совет свой мне дать. Как быть мне среди зол, смуты и безрядья? Окуп яз дал тяжкий, татар привел много...

Князь посмотрел на владыку, но величавый, седовласый старик молчал, сдвинув густые черные брови, и остро смотрел в лицо князя.

— Может, и яз виноват в чем,— начал Василий Васильевич,— да на то воля божия; сказано: «Ни едии волос не спадет с главы без воли божией...»

— В ересь латыньскую впадаешь,— сурово прервал его владыка.— Верно, все от бога, все по воле его деется, но уразуметь надо волю божью и самому творить жизнь свою по ней, и будет тобе счастье на земле и в жизни будущей блаженство вечное...

— Яз не о душе своей говорю, владыка, а о государствовании и ратях...

— Наипаче того,— возвысил голос владыка,— в разумении государствования нужно творить дела по смыслу, ибо бог наш есть разум и смысл мира, а нам подобает жить по воле божией и творить дела вольно, по смыслу, воле божией согласно. Смотри, как трудно было отцу твоему Василию Димитричу, а, поняв волю божию о том, что нужно быти князю московскому единодержавным; он боле всех преуспел. И благословил бог труды его и дал ему и Муром, и Мещеру, и Новгород-Нижний, и Город ц и Тарусу, и Боровск, и Вологду. Тоже и матерь твоя к Софья Витовтовна, деяла. То же деет тобе теперь и матерь твоя духовная, церковь православная...

Владыка смолк, а Василий Васильевич, потупив лицо, думал о словах его, но не все в глубине их постигал.

— Ну а как с Шемякой мне быть?— спросил он.— Измены много он деял и зло на меня мыслит.

Владыка сурово нахмурился.

— Шемяку хоть убей, а приведи в полную покорность. Не должно быть на Руси государя, кроме князя единодержавного московского. Сорные травы дергают и в огонь бросают...

Владыка помолчал и добавил:

— Благо вы сотворили два лета назад — избрали меня митрополитом московским, да патриарх не уразумел воли божией, утвердил Герасима, еже по воле господа сожжен Свидригайлом литовским...

Василий Васильевич не знал, что сказать. Долго молчал и владыка, что-то обдумывая. Потом встал Иона, посмотрел ласково на князя и молвил:

— Скажу тобе, княже, проще и ясней. Единодержавным надлежит тобе быть. В том воля божья, как открыл мне господь. Сему следуй, сокрушай врагов своих беспощадно, а церковь православная — твой покров, аз же — советник твой и доброхот. Матерь свою слушай — она к государствованию богом сподоблена, да помни, что отец твой деял. По отцу, по путям его следуй...

Он благословил князя, ставшего на колени, и, подымая его, поцеловал в лоб.

— И в окупе церковь тобе поможет, а наиглавно Строгановы, гости богатые,— вел аз с ними беседу. Церковь же и Шемяку, как главу змия, сотрет, а татар ты не бойся. Божию милостию они сами ся сокрушат...

Радостно поднялся с колен великий князь и воскликнул:

— Как укреплюсь на Москве, добью челом у патриарха, дабы утвердил тобя, нареченника нашего, митрополитом всея Руси.

Провожая владыку к саням, Василий Васильевич выбрал время и, склонясь к нему, попросил виновато, как малый ребенок:

— Прости, отец мой, слабость мою: переведи ко мне на Москву диакона Ферапонта, велигласен вельми...

Владыка улыбнулся и сказал весело:

— Ужо благословлю к тобе диакона-то.

Глава 6

В ПЕРЕЯСЛАВЛЕ ЗАЛЕССКОМ

В лесах дремучих, в гуще дебрей непроходимых, у самого озера Клещина стоит на речке Трубеже старый Переяславль Залесский. Поблескивают в глуши лесной золотые маковки его древнего Спасо-Преображенского монастыря. Кругом всего города сплошной земляной вал идет, высотой от пяти до восьми сажен, а

на нем град деревянный рубленый с двойной стеной и с двенадцатью башнями-стрельнями. В трех только башнях ворота есть: Спасские, Никольские, они ж и Кузнецкие, да Преображенские, что против собора Преображенья господня.

Силен и крепок град Переяславльский, и еще более укрепляет его с одной стороны Трубеж, а с других — широкий и глубокий ров, воды полный. И тайник есть в Переяславле, идет под землей он, от всякого глаза сокрытый, к самому Трубежу. Выйдя здесь ночью из города, на ладьи неприметно сесть можно, уплыть в чащобы густые и схорониться от недругов. Надежное это убежище у князей московских, и при набегах иноплеменных и при княжих междоусобицах. Недаром в град этот приказала переехать старая государыня Софья Витовтовна. Знала она и то, что Переяславль поновил и весьма укрепил свекор ее, Димитрий Иванович, по прозвищу Донской. Старая государыня, совет держа с боярами своими, с наместником и воеводой переяславльскими, сама ведала обороной града и полками, а полки княжие росли с каждым днем. Со всех сторон шли сюда дворские и ратные люди изо всех городов и сел московской земли. Радовалась Софья Витовтовна, а иной раз и плакала, молясь по ночам перед иконами.

— Спасет Москва сыночка мово,— говорила она ближним боярам,— токмо бы из полону уйти ему целому и невредимому.

Успокоилась и Марья Ярославна. Доходили в Переяславль, хоть и медленно, вести из далекого Мурома, с Оки, из Нижнего Новгорода, с Волги, и даже из Курмыша, с реки Суры. Известно ей было, что великий князь жив и никакой обиды от татар не терпит. Княжичи же, Иван и Юрий, нигде и никогда на таком приволье не живали, как в Переяславле.

Иван промеж ученья, молитв и трапез цельные дни ходил с Васюком, а иногда и с дьяком Алексеем Андреевичем по городу или играл с Данилкой и Дарьюшкой на дворе и в саду, позади глухой стены княжих хором. Дни стояли тихие, теплые, и терпко пахло прелым, давно уж опавшим листом. Все же в хрустальном воздухе чаще и чаще чуялись студеные струйки, а по утрам выпадали холодные росы, и с вечера уж вся трава становилась мокрой.

Дети играли в бабки, свайку и ямки. Илейка-звонарь делал им свистульки из ветловой коры, гнул луки из черемуховых ветвей и тростниковых стрелок нарезал множество, а тростников да камышей здесь страсть сколько в поймах у Трубежа и вокруг озера Клещина. Из орешника Илейка гибкие, хлесткие удилища вырезал, а из камыша поплавки очень легкие да чуткие делал.

— Снежок-то ноне запаздывает,— весело бормотал Илейка, крутя для удочек лески из конского волоса,— зима будет с морозом

великим. Зато осень-то краше лета стоит. Успеем мы, княжич, рыбки наловить вдосталь... Эй, Данилка, подай мне оттеда вон того волоса, долгого...

Данилка с великой охотой учился у старика рыболовному делу. Прилипал прямо к нему, когда тот наряжал что-либо для рыбной ловли. Иван же, по спокойствию своему и ровности нрава, ни к чему не припадал с большой жадностью.

На этот раз Илейка-звонарь для показа княжичу скрутил две лески в два волоса, а одну в шесть.

— На такие вот, в два волоса,— сказал он княжичу,— ловится ерш, плотички, караси и другая мелочь. А такую толстую леску, из шести волос, ни сазан ловкий зазубринами спинного пера не подрежет и с разбега не оборвет, ни зубастая щука не перекусит...

Уразумев на этом все искусство Илейки, княжич Иван заскучал и пошел в сад на чижей и щеглов поглядеть, что висели там под тесовым навесцем в большой клетке. Дарьюшка холила птичек, воду меняла им и корм засыпала в кормушки.

Тихо шел он к саду, думая о Дарьюшке. Почему-то маленькая девочка с черными волосами и печальными глазами стала нравиться ему. Часто у нее бывала в руках кукла из тряпок в алом сарафанчике, с крошечным парчовым убором на голове. Дарьюшка ласково всегда улыбалась Ивану и, подойдя, робко останавливалась около него и внимательно следила за тем, что он делает. Иногда он разговаривал с ней, а один раз даже починил ей трещотку, переставшую трещать и вертеться.

Опустив низко голову и смотря себе под ноги, шел Иван по дорожкам сада и не заметил, как у кустов колючего боярышника, вся засияв, радостно улыбнулась ему Дарьюшка и что-то тихо сказала. Молча прошел он мимо нее и остановился у клетки с птицами. Чижики и щеглята звонко попискивали, словно переговаривались друг с другом. Слушая их, княжич забылся и не сразу разобрал, что кто-то недалеко от него тихонько плачет. Он оглянулся и увидел у куста боярышника Дарьюшку, крепко зажавшую руками глаза. Сердце его сжалось, он быстро подбежал к ней.

— Что ты, Дарьюшка, что?— спросил он ласково.

Девочка стала всхлипывать громче, а Иван, почувствовав жалость и тревогу, обнял ее и сказал нежно:

— Пошто плачешь-то, Дарьюшка?

— У-у-кколо-л-лась я,— прерывающимся голосом выговорила она, наконец, и вдруг приникла к нему и поцеловала его в щеку.

Сердце Ивана забилось, потом сладко замерло, чего с ним ни разу не бывало, когда целовала и ласкала его матунька. Не помня себя, в каком-то порыве он крепко обвил руками Дарьюшку, поцеловал ее и, вдруг смутившись, убежал из сада.

Примчавшись на пустырь за конюшней, он спрятался тут среди рослых лопухов и татарника с почерневшими от морозных утренников вялыми листьями. Здесь только вчера с Данилкой ловили они силками прилетевших недавно чижей и щеглов.

Долго лежал княжич на зеленой еще траве, глядел в синее небо сквозь узорные сорняки и думал, сам не зная о чем. Словно во сне, видел он бегущие тучки, сверкающие в солнечном свете, и было все кругом так приятно и радостно.

Он очнулся от неясных и непривычных дум, услышав голос Данилки.

— Ванюша,— кричал тот,— Васюк опять к Кузнецким воротам идет! Нас с собой берет!..

Иван быстро вскочил и бегом помчался на зов своего приятеля. Любил он бывать у Кузнецких ворот, где работали кузнецы и котельники, что ковали и лили нужное все на потребу людям из железа, меди, олова, свинца, серебра и золота.

Пробегая мимо сада, ускорил бег свой Иван — было ему почему-то стыдно и боязно. Казалось, что все вот узнают вдруг, догадаются сразу, что целовал он здесь Дарьюшку...

У Кузнецких ворот по приезде великокняжьей семьи с двором и боярства московского с чадами и домочадцами стало теперь много оживленней. Вместо одной кузницы-плавильни с лавкой для торговли ныне тут целых три работают. В третьей же кузнец Полтинка делает все только из олова, серебра и золота. Хороши у него колечки, серьги, кресты, чарки и другие изделия: вольячные — литьем деланы, резные — рытьею и обронно[1], ба́семные — чеканом на плющеных листах и сканые — из крученых проволочек.

Княжич Иван уже видел тут, как мечи, серпы, гвозди и топоры ковали, как из меди крестики тельные, кольца, бубенчики и колокольчики лили в гнездах, лепленных из глины. Не знал он только, как из серебра и золота льют, но по дороге Васюк его обрадовал.

— Седни,— сказал старик,— Полтинка крест золотой сольет на престол в монастырь Спас-Преображенья да бить будет басемный оклад к образу богородицы...

Кузнец встретил княжича с радостью.

— Ждал тобя, Иванушка, и все нарядил: вот льяк железной, а там в глиняных ступках горна золото уж плавится.

Полтинка указал княжичу на изложницу, двойной железный брусок, потом сдвинул верхнюю половину. Иван увидел в нижней

[1] Резьбой вглубь и рельефом.

половине вырезанный вглубь крест восьмнконечный. С любопытством стал он ощупывать углубление в бруске — дно его было неровно, в ямках и выступах.

— Вот сюда и лнть буду,— сказал Ивану Полтннка и, обратясь внутрь кузнницы, крнкнул:— Эй ты, Сенька, деревянна рогатнна, не наставляй ушн-то, качай, раздувай угли!..

Снова запыхтелн мехи у горна, где попеременно дергал за веревкн деревянных ручек высокнй белобрысый парень.

— Сын мой,— пояснил Полтинка,— на тобя, княжич, загляделся...

— Да нет же, тятенька, веревки я поправлял. Ей-богу, я...

— Не божись,— прервал его отец строго,— внапрасне побожи́ться — черта лизнуть!..

Тщательно сложив обе половины изложннцы, кузнец крепко обвязал двойной брусок веревкой и поставнл его ребром у наковальни на край дубовой колоды, отверстнем кверху.

— Вот н льяк готов,— промолвил он и, обратясь к сыну, добавил:— А ты посматривай, как золото плавнтся. Кликни, когда в готовностн будет...

Чтобы не терять времени, Полтинка достал серебряный, тонко сплющенный лист, с одной стороны позолоченный.

— Вот купец наш, Голубев Митрофан, приказал оклад изделать. Обещался он монастырю образом пречнстые матери. В Ростове великом писан образ-то и зело красен...

Полтинка достал с божницы образ, писанный на кипарнсовой доске, и повернул его лицом к свету. Радугой заиграли краски на доске. Одежды богоматери н младенца ее были и синие, и зеленые, и алые, и рудо-желтые, а у во́рота, на груди, на рукавах и запястьях блестели узоры позолотой, то в виде цветов и листочков, то золотнлись тонкнми нитямн, завитками и решеткамн. Засмотрелся на образ Иван, никогда образов без золотых и серебряных рнз он не видел и дивился.

— Подобно крыльям бабочек,— задумчиво сказал он н с недоуменнем добавнл:— Пошто же под окладом красу такую хоронят?

— Так святыми отцами указано,— сурово молвнл Полтннка и, взяв в руки железный чекан, резанный вроде печати, добавнл:— Вот такнмн чеканками я н бью басму.

Он укрепнл на дубовой доске позолоченный листик плющеного серебра, уже заранее размеченный, где нужно будет вырезать отверстия для ликов н рук, а где обозначнть одежды н складкн на них.

— Вот сейчас почну я поле вокруг лнков и одежд обнвать. Будет оно ровное, якобы стена расписная, а на сем поле, когда

лист тыльиой стороиой вверх положу, телеса и одежды вдавлю, чтобы тулово, руки и иоги виделись...

Наставив чекан, Полтинка начал бить по нему осторожно иебольшим молотком. Работал ои споро, быстро передвигая чекан по листу. Все поле, как прозрачной решеткой, покрылось на глазах Иваиа однообразиым рисунком, а среди иего остались гладкими лишь очертания тела богоматери и младенца.

— Готово, тятенька,— крикнул Сенька,— делай пробу...

Бросив чекан и молоток, Полтиика подбежал к гориу. Повозился там иемного и приказал Сеиьке:

— Вороику поставь иа льяк-то!

Когда Сенька поставил воронку, схватил кузиец большие круглые, как ухват, щипцы, охватил ими толстостеиный плавильный горшок, ступкой сделанный, и поиес к изложнице. Белоогненный сплав плескался в открытом горшке, и от сияиья его резало в глазах.

Иван жадно следил, как ловко иакренил плавильиую ступку Полтинка, а через край ее тонкой струей побежал огненный ручеек в вороику, булькая, как вода.

— Будя!— крикнул Сенька отцу.

Тот, повернув плавильиый горшок, отиес его к горну. Сенька же стоял иеподвижио, придерживая вороику.

— Э, да ты здесь, сиз голубчик дорогой,— входя в кузницу и уж навеселе, крикнул радостно Илейка-звоиарь, кланяясь Ивану.— А я с вестями, други мои. Пригонил из Мурома ключник иаш, Лавёр Колесо. В Москве, говорит, в самой покров, в шесть часов нощи, трясение земли было. Кремль и посад весь и храмы все поколебались.

— Господи, помилуй и сохрани,— перекрестился Васюк.

Перекрестился и Полтинка.

— Зиамеиие божие,— сказал ои,— а что предвещает, неведомо: наказание али милость божию...

— Предупреждеиье,— промолвил строго Васюк,— иароду зиаменье за смуту московскую!

— А може, князям?— с усмешкой возразил Илейка.— Смуты-то киязи сколь промеж собя деют? Християи иа християи ведут, а поганые радуются. За княжие грехи сие...

Иваи удивленными глазами смотрел иа собеседииков и ничего не понимал.

— Како же трясение земли бывает?— спросил ои.— Пошто трясется оиа?..

— Колебание, княже,— важио ответил Илейка,— словно ты ие иа тверди стоишь, а в челиоке утлом и волиой тя шатает. Страх велик оттого в сердце бывает, а людие во многой скорби и безумии кричат и стеиают... Потому опоры под иогами своими ие чуют...

Илейка, видя, что речи его любопытны для княжича, тряхнул охмелевшей головой и продолжал:

— А трясенье оттого, что земля-то иа трех китах стоит. Прогиевят господа людие, и прилетит архангел с золотым копием и ткнет кита, как медведя рогатииой, а тот и поворотится да так, инда вся земля восколеблется, моря-окияны заплещутся, люди и звери все попадают, окорачь поползут...

Илейка внезапно оборвал свое красноречие, вспомиив, что сегодня моиахи с сиротами своими осенний ез[1] закоичили и теперь вот к вечеру пробовать будут, ловлю иачнут.

— Иванушка, снз голубчик,— заговорил он весело,— да вот в сей часец Данилка сюда прибежит. Ез сторожить я его поставил, а сам сюды, сказывали дворские, к Кузнецким-де воротам ты пошел...

— А когда же крест выиимать?— перебивая звонаря, спросил княжич Иваи у Полтинки.

— Не скоро, Иваиушка, долго стыть золоту иадобно, а горячето и помять и погнуть можио.

Княжичу Иваиу стало досадно, но делать нечего — приходилось ждать до завтра. Проходя мимо лотков для торговли готовыми изделиями, увидел ои там серебряиые серьги, кольца и кресты тельиые. Внимательио осмотрел ои все эти дешевые предметы для рыика и выбрал две пары серег одинаковых покрупиее, в виде круглых кольчиков с четырьмя подвесками золочеиыми, а одну пару помеиьше — каждая серьга из трех шариков с позолотой решетчатой.

— Купи их мие, Васюк,— сказал ои и, помедлив иемиого, добавил:— Хочу Ульяиушке и Дуияхе подарить, а вот малые — Дарьюшке, а то оиа в медных ходит...

Данилка подбежал к ним со всех ног.

— Иванушка,— торопился ои,— в сей вот часец кошель потоплять будут! Готов ез-то! Рыбы — сила! Лещ, бают, в озеро пошел, когда еще ез ставили...

— Ои, лещ-то,— вмешался Илейка,— к зиме глубииу ищет, а пока еще жирует. Потом же всей силой в омутах спать заляжет...

— Идем, дядя Илья,— прервал его Данилка,— чернецы скорей иттить велели! Сила тамо леща-то, сила!..

---

[1] *Ез*, или кол — этим названнем в старнну обозначалн сплошную перегородку из кольев и прутьев через реку с однмм отверстнем посередине для прохода рыбы, через которое она попадала в вершу или кошель.

Пыл Данилки захватил всех. Побежал с княжичем и Сенька Полтинкин.

— И я прибегу,— крикнул им вслед сам Полтинка,— токмо лавку да кузницу на замки замкну!

На реке уж народ толпился против самого еза. Посредине же еза, что реку всю поперек перерезал, отверстие сделано аршина в два ширины, а за ним, против течения, тоже аршина на два отступя, опять ограждение из кольев и хвороста. Около ограждения этого рыбаки сидят в лодках и на веревках держат большое решето, из ивовых ветвей сплетенное, глубокое, и камни в него положены, чтобы на дно потонуть могло.

— Княжич, княжич!— закричали на берегу, снимая шапки и кланяясь.

Иван вместе с Васюком и Илейкой прошел к лодке и выехал на середину реки, к загороди, где был решетчатый кошель на веревках.

— Здорово, княжич!— встретил его монах и крикнул рыбакам:— Потопляй кошель!..

Рыбаки отпустили веревки, и кошель, сразу наполняясь водой, скрылся в глубине.

— Теперь слушай, Иванушка,— сказал Илейка княжичу,— когда зазвонит вон тот колокольчик. Как зазвонит, ну и тащи решето!

— А кто зазвонит-то?

— Рыба сама зазвонит,— хитро подмигивая, ответил Илейка.

Иван подумал, что старик смеется над ним, и брови нахмурил.

— Да ты не серчай, а пойми,— продолжал Илейка.— Рыба-то в загон, к решету пойдет, а через прорезь-то в езу толстые нити протянуты и с веревкой у колокольчика связаны. Пойдет рыба и задевать почнет нити, дергать их и веревку трясти у колокольчика. Оттого и звон будет...

Иван улыбнулся. Это было хитро придумано, любил он такие выдумки.

— Токмо тут уж скорей надобно кошель наверх тащить,— продолжал Илейка,— а то назад рыба вся выскочит; тут, княжич, надобно...

Звон колокольчика словно заткнул рот Илейке. Он застыл на месте, подавшись вперед всем телом, и впился глазами в ограждение, где рыбаки, рассекая воду, быстро выбирали веревки. Вот уже показались и высокие края решета, меж которых вода так и кипела, словно в котле.

— Знатно, знатно,— громко бормотал Илейка,— ишь, ишь уйма какая!

Иван, опираясь на плечо Илейки, встал на ноги и глядя через

край кошеля, видел, как там метались и, выгибаясь, прыгали широкие серебристые лещи. Рыбаки быстро глушили их палками и бросали в лодки...

Раз за разом выхватывали они из воды кошель, полный рыбы, а рыба все валом валила, коица-края ей ие было. Рыбаки уж устали и смеиившие их уставать стали, когда княжич Иваи попросился домой.

На берегу Трубежа пылали костры — уху варили, а братия моиастырская с сиротами и рыбаками пререкалась, самоуправством корила. В одиом месте, где проходил княжич Иваи, шумели пуще, чем в прочих.

Седобородый моиах кричал и грозился среди сирот моиастырских. Не успел Иваи разобрать толком, что тут делается, как обступили его со всех сторои.

— Вот, кияже,— кричал рослый мужик,— весь я тут: шапка волосяиая, рукавицы своекожаиы. А хоть шкура овечья, да душа человечья!.. Где же правда-то?

— Стой, ие реви,— остаиовил его другой.— Ты вот что разумей, княже. Мы моиастырю-то засо́в[1] в лесу высекли и сюда вывезли, а зато иам токмо по хлебу да по осьмиие толокна иа душу. Забили кол и засов засовали, по хлебу же дали. Да за у́жища за езовые[2] по хлебу иа выть[3] да по осьмине толокиа...

— Что ж иам, и ухи ие похлебать,— сиова зашумел рослый мужик,— всю рыбу ие съедим, хватит и братии, а иам еще к зиме кол и засов для иих вымать иадобно будет...

Моиах подошел к кияжичу и сказал со злобой:

— Не верь им, кияже, ибо пияиицы и леиивицы велии. Богу послужити усердия ие имеют. Иди с богом, княже, спаси тя Христос...

Княжич посмотрел иа моиаха и вспомиил слова старой государыни, в Москве еще ему, во время смуты, сказаииые: «Богу молись, а чернецам ие верь». Молча поклонился он моиаху и быстро пошел прочь.

В хоромах княжичей в своем покое прииимал Алексей Аидреевич гостя, дворецкого Коистаитииа Иваиовича, между делом к иему заглянувшего. Пили мед стоялый, заедая коврижками. Коврижки местные были, переяславльские, Коистантин Иваиович иа торге купил и другу своему прииес.

---

[1] *Засо́в* — в данном случае колья н хворост для еза.
[2] *Ужище — веревка; у́жища езовые* — рыболовные снасти для еза.
[3] *Выть* — в древностн нмело несколько значенний: 1) мера землн, 2) тягловый участок для определення размера подати, 3) время работы, «урок», 4) роспись налогов, а в данном случае — рабочее время от еды до еды, почему н день делилн на три-четыре выти.

— Когда же государь-то будет?— спросил дьяк.— Ведь уж дня три, как коиник-то с сеуичем пригиал. А ежели киязь из Мурома в тот же день выехал, то и ему время здесь быти...

— А може, киязь два дня, а то и три в Муроме простоит? Да и скакать-то ие станет, как конник воеводы Оболенского. Може, и раиы еще у него болят. Чаю, все же дня через два будет. Так и государыня Софья Витовтовна ожидает.

— Великое разумеиие во всем у государыни,— заметил почтительно Алексей Аидреевич.— В нее да в деда своего, Василь Митрича, и иаш Иваиушка.

— Истинно, Лексей Андреевич. Не видал я и слыхом не слыхал, чтобы дитя было так мудро. Дивятся ему люди.

— Не токмо с разумом да борзостью все он ведать может, но и всем естеством своим и станом не дитя он, а отроку подобен. За миогих ему от бога столь миого дано...

— Истинно, истинно, Лексей Андреич, а еще и другое скажу тобе. Ныие время у всех разум вострит. Время наше вельми трудное и злое. Как вран хищный, оно прямо в темя клюет всякому! Данилка вот мой, всего по двенадцатому году, а баит и о смутах, и о ратях, и о делах государевых...

— Да, время,— согласился задумчиво дьяк,— время грубое, жестокое, как рожон железный на всякого прет. И старые и молодые от бед всяких разумиее стали, а те, которых бог одарил, и того иаипаче.

Дьяк случайио взгляиул в окио и, увидев Ивана на крыльце хорóм, быстро промолвил:

— А вот и княжич пришел!

Коистантии Иваиович встал, а Алексей Андреевич поспешно поставил в поставец сулею с медом, оставив на столе только свою иедопитую чарку и блюдце с коврижками.

— Мы ныне,— продолжал дьяк, убирая и пустую чарку Константина Ивановича,— будем числа учити. Учение сие тяжко, а надо же ведать человеку числа недель, месяцев, лет и пасхалий[1], ведать, как числить выти и деньги, как земли мерять и прочее.

— Худая голова моя для дел мыслеиных, Лексей Андреич,— прервал его Константии Иванович и, поклонясь вошедшему Иваиу, сказал:— Здравствуй, Иванушка, отягчил наставник-то твой мысли мои убогие.

Иван улыбнулся и молча сел за стол подле Алексея Андреевича, а дворецкий вышел.

— Хочешь, Иванушка?— предложил ласково дьяк, указывая

[1] *Пасхалия* — таблица для вычисления месяцев и чисел времеии пасхи, вперед иа миогие годы.

на коврижки, принесенные дворецким.— Вкуси от переяславльских снедей.

Иван, о чем-то думая, молча взял коврижку и, откусывая понемногу, стал есть. Дьяк, поглядывая на него, допил мед из своей чарки и спросил:

— Ну, княже, что смущает тя? Вижу по лику твому, что хочешь нешто неведомое мыслию объять...

— Отчего трясение земли, Лексей Андреич? — начал Иван медленно.— Сказывал мне Илейка, да не верю яз. Говорит он, будто земля на трех китах держится. Когда же ангел золотым копием прободет кита...

— Хе-хе!— весело засмеялся дьяк.— Умница ты, Иванушка. Не верь ты невеждам глупым. Токмо омрачением мысленным так сказывать можно. Разумно ли допустить, чтоб земля, и храмы божии, и святые угодники, и сам святой Иерусалим-град на тварях покоились?

— На чем же земля держится?— спросил нетерпеливо Иван, не спуская глаз со своего наставника.

— Стоит земля сама на собе,— медленно и вразумительно ответил Алексей Андреевич,— ибо в святом писании сказано: «Ты утвердил, господи, землю на ее основании!»

— Как же на самой собе?— не понимая и разводя руками, спросил опять Иван.— Вот чарка — на столе стоит, стол — на полу хоро́м, хоромы — на земле, а земля как же? Не разумею...

Дьяк наморщил лоб, собираясь с мыслями, и вдруг, весело усмехнувшись, сказал быстро:

— Земля в окияне, яко доска плавает, основание же ее о четырех углах. По краям земли горы высокие. Полнощные северные высоты выше всех прочих — всю ночь за ними солнце скрывается. Заходит оно за горы на западе и, обойдя северные, выходит опять из-за восточной высоты, подобной во всем западной. Отселе течет солнце над землей ввысь к полудню, а с полудня вниз к западу и там за гору уходит и в ночи по окияну низко летит, но не омочась нигде...

Иван смотрел прямо в рот Алексею Андреевичу, жадно ловя каждое слово, а когда тот окончил, долго еще сидел неподвижно. Странно ему было и дивно, как у часовой ветхой башенки, когда он часы самозвонные впервые увидел. Он чувствовал, как все кружится в голове его и будто глазами он видит и горы земные и как солнце течет, снижаясь к заходу, а потом мчится над океаном. Много раз проходит оно вокруг земли, как видение...

— Иванушка!— окликнул его дьяк, видя, что княжич как бы не в себе.— Что ты недвижим, словно каменный?

Княжич вздрогнул и улыбнулся.

— Видел яз все, Лексей Андреич, все что ты сказывал мне,—

произнес он, будто просыпаясь, и, совсем ожнвившись, добавил:— Скажи мне теперь, пошто же бывает землн трясенне?

— Разумен ты, княже, вельми разумен,— радостно заговорил дьяк,— и есть хотение у меня все, что мне ведомо, тобе преподать. Внимай же, Иванушка. В земле суть скважины н щелн глубокие. Когда же ветры внндут в подземные щелн и скважнны, а оттуда исходить не могут, не могут прорваться вон, тогда от напора нх дрожит земля, как дрожит мачта, когда парус полон ветру.

Ликующий звон-перезвон во все колокола, как на пасху, загудел над Переяславлем Залесскнм. Вскочнл с лавки княжнч Иван, а дьяк закрнчал весело н зычно:

— Государь наш, князь велнкий прнехал!..

Через крытые сенцы перебежал княжнч Иван в княжне хоромы, но покои там все пусты былн. Выскочил он в переднюю, а потом н на красное крыльцо. Видит, конный отряд подъезжает, а матунька бегом вниз спешнт. Вот н отец подъехал в своих золотых доспехах. Помчался Иван по ступеням лестннцы н сам не помнил, как очутнлся около отца. Видит, обннмает отец матуньку, целует ее, плачут онн оба от радостн. У отца голос дрожит, и все он одно и то же повторяет с нежностью и лаской:

— Сугревушка ты моя теплая. Сердца моего радость...

Успоконлась Марья Ярославна. Обернувшнсь, заметил отец Ивана. Благословил его, поцеловал и, обнимая жену и сына, стал подыматься на красное крыльцо. Ждет нх там старая государыня Софья Витовтовна, н Ульянушка с Юрием тут же.

Строгая стоит старая государыня, но глаза ее оторваться от сына не могут. Взглянул на нее великий князь и, оставив жену н сына, бросился к ногам ее, обнимает коленн ей, руки целует. Неподвнжно стоит Софья Внтовтовна, только губы у нее дергаются да глаза самоцветамн сняют. Такие же лучнстые, ясные глаза н у сына ее Васнлня н у внука Юрия.

— Не чаял увндеть тобя, государыня-матушка,— говорит Василий Васильевнч, подымаясь с колен.

Дрогнула старая государыня, охватила порывнсто голову сына, прижала к груди своей и замерла совсем, глаза закрыла, а у ресннц крупнымн каплямн слезы стоят. Отодвннула опять от себя сына, не насмотрнтся.

— Рожоное мое,— шепчет ласково и добавляет с упреком:— Для Руси ты князь великий, а для меня малый... Мала́й[1], как татары говорят, совсем малай!

Нежные слова говорнт Софья Внтовтовна, а Ивану почему-то больно и обидно за отца. Никак он понять не может, отчего это он не умеет все сказать н сделать, как бабунька. У всех слова

[1] *Мала́й* — мальчик.

какие-то неверные, ничего от них не происходит, а у нее каждое слово, как топором вырублено. Скажет она, и другим больше говорить нечего.

Смотрит княжич на бабушку и на отца, и кажется ему, будто бы тот такой же мальчик перед Софьей Витовтовной, как и он сам. Горько это и непонятно Ивану, но некогда все уразуметь — опять чьи-то кони к хоромам скачут.

Взглянув на улицу, увидела старая государыня подъезжавшего к крыльцу Касима-царевича со своими нукерами. Отстранила она сына и сказала:

— Благослови Юрья, а потом гостей принимай своих. А яз прикажу к обеду накрывать в столовой избе[1].

— Матушка, сей вот — царевич Касим,— поясняет Василий Васильевич,— через его помочь великую имею, и клялся он мне на кинжале...

— Шемяка на кресте тобе клялся,— сурово перебила его Софья Витовтовна.

— Он у меня в передовом отряде. С Улу-Махметом в распре и боле того с братом своим, ханом Мангутеком...

— Встреть его, сынок, на крыльце, проведи к завтраку, проси, чем бог послал. Не гадали мы, что на два дня ты раньше приедешь...

— Яз вперед погнал, а то обоз-то наш долго идет.

— Ладно, сынок,— сказала Софья Витовтовна,— после обеда, как гостя на покой отведешь, приходи ко мне. Все скажешь, и обо всем мы с тобой подумаем, что и как деять нужно...

Кивнула она Константину Ивановичу, который тут же стоял, на случай.

— Слышал яз речи твои, государыня,— быстро заговорил тот,— все приготовлю, как водится. Токмо вот государю поклонюсь...

Земно кланяясь, поцеловал он руку Василию Васильевичу и заторопился в хоромы слугами княжими распоряжаться в столовой избе: для князя, бояр и гостей обед приготовить.

— Не забудь, Иваныч,— крикнула вслед ему Софья Витовтовна,— молебную нарядить в крестовой. Спосылай к Спас-Преображенью...

Василий Васильевич радостно улыбнулся и сказал матери:

— Знаешь, мати, владыка Иона дал мне диакона Ферапонта в Москву из Мурома. Глас же у Ферапонта такой густой, словно рев у тура лесного!..

---

[1] *Столовая изба* — строилась у князей перед жилыми хоромами, специально для торжественных обедов и приемов.

Глава 7

О ЗЛОМ СОВЕТЕ ШЕМЯКИНОМ

Заслоняя глаза от заходящего солнца, толстый, длиннобородый тивун Евстратыч важно идет в богатой однорядке по мельничной плотине скудоводной речки Можайки.

— Эй, Юшка, дуй тя горой! — зычно кричит он. — Куды ты заткнулся, старый клин?

Только подходя к мельничному колесу, увидел он старого плотника, проверяющего вновь забитые колья, оплетенные хворостом.

— И что ты деешь, лихой дьявол?! — с гневом крикнул ему тивун.

Плотник Юшка, досадливо нахмурясь, обернулся. Это был складный жилистый старик, знавший себе цену.

— А ты что орешь-то, как скаженный? — сказал он спокойно. — Кой бес тя укусил?

— Ах ты, старый пес, — пуще закричал Евстратыч, — ужо улью те штей на ложку! Гляди-ка, солнце-то где, а у тобя ништо не готово. Воевода-то что повелел? Все заслоны плотин вборзе спущать! Ах, ежова твоя башка...

— Ахал бы ты, дядя, на собя глядя, — сердито оборвал старый Юшка тивуна и презрительно пробормотал: — Ишь тоже, свиное узорочье!..

Евстратыч совсем взбесился:

— Как же ты, холщовы порты, тивуна дворского можешь так лаять?..

— Сам из холщовых портов, из сирот в тивуны вылез. Мы и без тобя знаем, что делать. Спеси-то много, а токмо собака-то и в собольей шубе блох искать будет! — отрезал старик и, не глядя на тивуна, стал указывать сиротам, где подсыпать надо на хворост глины да щебня.

— Мотри, Юшка, — пригрозил ему вслед тивун, — до князя доведу!..

Озорной старик в ответ выгнул зад свой к тивуну и, похлопав себя по мягким частям, крикнул с вызывающей дерзкой веселостью:

— Накося!..

Тивун плюнул со злости и пошел прочь с плотины, а Юшка громко крикнул своему помощнику, чтобы и Евстратыч слышал:

— Тивун тоже! По бороде-то блажен муж, а по уму — вскую шаташеся! Ну, да пропади он, а ты, Степан, спущай все затворы. Потешим воеводу. К ночи наводним до краев все рвы и у града и у посада!

Третий день сироты — мужики и женки — с рассвета до темноты на четыре выти работают вокруг града Можайска и перед посадом его. Как только ведомо стало, что великий князь из Курмыша Улу-Махметом отпущен, а Шемяка из Галича в Углич побежал, приказал князь Иван Андреевич за́секи делать и мосты на Москве-реке подрубить.

В лесах вокруг Можайска уже все дороги, прямоезжие и окольные, завалены за́секами из цельных дерев. Лежат дерева там сучьями и вершинами навстречу ворогам князя Можайского, и мосты везде уж подрублены. Молится князь с духовенством в соборе пред чудотворной иконой богоматери, что явилась при отце его, князе Андрее Димитриевиче.

Воевода же его смотрит, чтобы вокруг града, на одну версту от стен отступя, крепче и выше засеки валили, чтобы, укрепив плотины на Можайке и Петровке, что в Москву-реку у Можайска впадают, наводнить все рвы градные, предстенные. Нет теперь ни проезду, ни проходу к Можайску, кроме тайной дорожки окружной, чужим неведомой. Скачут по той дорожке день и ночь гонцы — с Иваном Старковым и прочими в Москве князь Иван Андреевич через Звенигород ссылается, да с Сергиевым монастырем, да через Рузу и Тверь и с самим Шемякой, что в далеком Угличе втайне рать собирает...

Но у князей одно, а у сирот свое на уме, свои дела.

— Пошто, Семеныч, тивун-то на тобя ярился? — спросил Степан у Юшки.

— С жиру бесится. Вишь, какой ходит боярин брюхатый.

— А ему горе в чем? Жнет не сеет, ест не веет! Не то что у нас: хлеб с солью да водица голью...

— От нас же, сирот, урежет,— заговорил со злобой ражий парень, опускавший заслон,— с каждого сощипнет, ирод! Вон посулил овса на конь по два лукна[1]. А где наши кони овес-то ели?

— А нам где пшено да заспо́й овсяной?! — голосисто выкликнула женка, притащившая хворост.

— Что ты, Марфуша, не гневи бога,— ответил ей парень, передразнивая голос тивуна,— рад бы и кашки сварить, да, вишь, куры крупу расклевали!..

— Тать он! — резко отчеканил старый плотник.— Потому и не боюсь его, что он князем грозится, а сам князя боится...

— Борода у его апостольская, да усок дьявольский.

— Что ж поделашь. Кому кнут да вожжи в руки, а кому хомут на шею.

— Бают, матка его женка была мужелюбица лютая. Согрешила не то с боярином, не то из духовных с кем. По то и

[1] *Лукно* — деревянная посудина с обручами, мера емкости.

рука у его есть. Наверх-то, бают, маткин любленник его вытащил...

— А ляд с ним! — отмахнулся Юшка. — Не до его ныне. Вот пойдет на нас великой князь московской, лихо нам будет: и сечи, и пожар, и глад, и полон.

— Эх, беда горькая, — вздохнул Степан, — пошто токмо князь наш с Шемякой спутался? Были бы мы в стороне — сидели бы смирно и ели бы жирно.

— Верно, — одобрил Юшка. — В землю бы лег да укрылся, токмо бы глаза того не видели, как наши христиане, словно поганые, у христиан же полон берут! Нас, сирот, жен и детей наших холопами деют, продают басурманам в неволю...

Не так все стало, как думал князь Иван Андреевич. Прошло вот уже недели три, а укрепленья в Можайске, слава богу, и ныне ему совсем не надобны. Крепко засел в Москве великий князь с татарами — не до Шемяки ему теперь. Шемяка же втайне ушел из Углича и стал с войском в Рузе, во граде своем удельном. Сюда же по вызову спешному прискакал сегодня из Можайска и князь Иван Андреевич со своей стражей.

Князь Димитрий Юрьевич самолично встретил дорогого гостя на красном крыльце и, накормив его обедом, прямо повел в свою переднюю, где уже сидели за медами и водками все их друзья и доброхоты. Были тут бояре, воеводы, дьяки, гости и купцы галицкие, можайские, тверские и московские, попы и чернецы из Чудова и Сергиева монастырей, и сам богатый гость Иван Федорович Старков, что ночью еще из Москвы пригнал. Спешили все, чтобы в два дня совет закончить да поспеть куда надо.

В дверях передней князь Иван Андреевич склонился к Шемяке и спросил вполголоса:

— Какие из Москвы вести?

— Боится Василий-то! За стенами хоронится, — громко, со злой усмешкой ответил Шемяка и добавил еще громче: — Да ничего, уследим птичку, когда из гнезда выпорхнет. На то у нас и ястребы есть!..

Он громко расхохотался, а кругом подхватили злорадно и угодливо:

— Нет, теперь не сорвется с когтя.

— Ощиплем все перышки, а то не в меру властен стал! Не токмо купцам, а и боярам обиды чинит...

Когда все затихли, Шемяка сел за стол, отпил водки и заговорил снова:

— Все ныне мы вкупе, и все купно напряжем мышцы своя

на борьбу с ворогом нашим лютым. Кланяюсь яз тобе, князь Иван Андреич, боярам и гостям великого князя тверского Бориса Лександрыча, и московским боярам и гостям, и тобе, Иван Федорыч, в особину, и отцам духовным, ибо они за правое дело наше молельщики и наши способники.

Димитрий Юрьевич поклонился всем в пояс и, приняв ответные поклоны, продолжал, снова садясь за стол:

— Злодей и душегубец князь Василий, брата моего ослепивший, ныне с татарами погаными всех нас именья, казны и вотчин лишить хочет. Яко волк ненасытный, жаждет крови испить нашей и все от нас отъяти! Двести тысящ рублей окупа посулил по собе он царю казанскому да еще много от злата и серебра и от одежды...

— Доживем с ним до клюки́, что ни хлеба, ни муки́!— яростно выкрикнул боярин Никита Константинович Добрынский.

— Истинно, истинно! Многие и великие тяготы на нас, окаянный, кладет!— зашумели кругом.— А где возьмем?! Через силу и конь не тянет.

— Все может Каин-братоубийца,— вскакивая со скамьи, еще яростней заговорил Шемяка.— В железы и меня он ковал, и кого хошь закует, ослепит и убьет из корысти и лютой злобы! Всю старину, отчину и дедину порушил! А вы, бояре тверские, и то доведите князю своему Борису Лександрычу, что Василий-то крест целовал царю Улу-Махмету отдать ему все княжение московское и все города и волости других князей! Сам же хочет он сесть на тверском княжении, князя вашего согнать, из Твери его выбить!..

Шемяка, позеленев весь от гнева, тяжело сел на свое место и жадно припал губами к стопе с медом.

— А татары?— спросил среди наставшей тишины молодой тверской купец Кузьма Аверьянов.— Не захотят они окуп из рук выпущать...

Насторожил всех этот разумный вопрос и смутил многих.

— Что с Василья берут, из того с нас вполовину возьмут,— ответил Никита Константинович,— а ежели и столько ж, за то не дадим мы поганым ни городов, ни волостей, наипаче княжеств своих!

Твердо и дерзко сказал это боярин Добрынский, а все сидят тихо, решенья в уме не имеют, смотрят на Шемяку, ждут, что скажет, но Димитрий Юрьевич не мог уж говорить более, и слово взял Иван Андреевич.

— Нам, князьям,— заговорил он, как всегда, вяло и лениво, но глаза его хитро выглядывали из-под одутловатых тяжелых век и бегали, как мыши,— всем нам, говорю, кто тут есть, надобно разумом добре все обмерить. Нас Москва давно уж

слугами сделала, а ныне хочет и в рабство погаиым отдать. Вот в чем беда иаша, а не окуп! Пошто иам окуп давать за Василья? Пусть в полоне будет! Вы же помыслите о собе, бояре, и гости, и купцы, и вы, отцы духовиые! Всех нас, жен и детей наших, все имеиье, казну и все вотчины наши дает князь Василь Василич в руки агаряи поганых на веки веков.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его!— воскликнул, вскакивая, сухой седобородый чернец, приезжавший иедавно в Галич к Шемяке.— Братие и сынове! Се час наступи и в горести соедиии сердца иаши. Аз есмь раб божий Поликарп из Сергиева моиастыря. Молю вас, братие и сынове, помыслите токмо о поругании святынь и храмов божиих! Оскверият агаряне сосуды и ризы церковные, захватят кресты и оклады златые, наложут иа всех дани и выходы. Поставят над нами, как при дедах наших было, баскаков, сборщиков, своих поганых мытарей! Ополчимся же на агаряны, прекратим свои распри, братоубийства и разорение, яко же...

Монах неожиданно смолк, так как боярин Никита Коистантиiович, ущипнув его, дернул за рясу. Отец Поликарп понял, что говорит ие то, что надо, и, переменив мысль, заговорил с новым пылом:

— Смирим мышцей своей братоубийцу Каина, князя Василья, Иуду, предающего церковь Христову!..

— В железы Василья окаянного!— перебил монаха неистовым криком Иван Федорович Старков.— В заточенье навеки, а перед тем ослепить, как ослепил ои князя Василья Косого!

Дрогнули все от всполошного крика, гулом и гомоном загудела передняя Шемяки, словно осиное гнездо разворошили, и жужжит все вокруг злом, наливается ядом.

Иваи Старков стоит молча и всех зорко острым взглядом осматривает. Потом, когда все понемногу стихли, выйдя из-за стола, обернулся ои к Шемяке и поклонился ему до земли.

— Челом бью тобе, князь Димитрий Юрьевич, от всей Москвы. Приходи и садись на великокняжий стол, а мы тобе ворота в Кремль со звоном церковным отворим! Спаси нас от горестей и поношений, от живота подъяремного, от ига поганых татар и от слуги их Василья!..

— Поспешим же в крестовую,— тоже встав из-за стола, громко и властно молвил князь Иван Андреевич.— Крест поцелуем великому князю московскому Димитрию Юрьевичу на рать идти под его рукой против безбожных татар и Василья. Боярин же Никита Костянтиныч подробно расскажет потом кажному, что и как надлежит деяти к пользе нашей...

После утверждения целованием крестным на согласье и помощь друг другу развели слуги дворские на покой до завтра бояр, воевод, гостей и купцов по княжим и боярским хоромам, а духовные у попа, у дьякона и у дьячка разместились по чину своему и по знакомству.

Хотел было и Бунко уйти вместе с другом своим тверским купцом Аверьяновым, да князь Иван Андреевич задержал его.

— Повремени малость, Семен Архипыч,— сказал он,— нужен ты будешь государю Димитрию Юрьичу.

Бунко стал у дверей передней, шепнув Аверьянову:

— Обожди, Михайлыч, на княжом дворе, я вборзе управлюсь.

— Приходи лучше к вечерне,— ответил Аверьянов,— буду я у правого крылоса, помолимся вместе, а почивать к Федорцу пойдем. Моим гостем будешь...

Племянник родной Кузьме Михайловичу Федорец-то. Кузницу свою в Рузе держит — для дяди из серебра работает со своими подручными по мелочи всякой: кольца, серьги, крестики тельные, а главное — блюда, чарки да ложки серебряные и оловянные льет и кует для простого звания. Идет это все на ладьях Аверьяновых из Твери и вверх и вниз по Волге и по притокам ее во все стороны. У мордвы, у черемисов, у чувашей да у булгар и югорцев с большой выгодой приказчики Аверьяновы меняют эти товары кузнецкие на меха всякие: лисьи, собольи, бобровые, горностаевые, куньи, беличьи, пардусовые и прочие...

Вспоминает обо всем этом почему-то Бунко, словно отогнать мысли хочет о том, что видел и слышал. Думает, что Шемяка ему делать прикажет, путается все в голове, и сомненья берут — лихим и неправедным многое теперь ему кажется. Службу свою в Москве у великого князя вспомнил.

— Душу хочу тобе открыть, Михайлыч,— шепчет он на ухо Аверьянову.

— Жду тобя, друже,— отвечал тот уныло,— болит и у меня сердце...

Остались в княжой передней только оба князя, боярин Никита Константинович да гость богатый московский Иван Федорович Старков.

— Все ли верно, что ты сказываешь, Иван Федорыч?— услышал Бунко слова Шемяки.

— Верно и неверно,— с усмешкой ответил Старков,— а мы по-купецки: не обманешь — не продашь!

— Не бойся, государь,— воскликнул Никита Константинович,— задавим Василья, не вырвется!..

— Вот вызнать бы токмо, как Борис Лександрыч тверской

мыслит?— медленно молвил князь Иван Андреевнч.— Захочет ли он с Васильем напрямки в лоб биться?

— Помогать-то будет,— уверенно сказал Шемяка.— Пособит втайне, как ране брату моему пособлял, н коней он ему давал протнв Василья н доспехов на триста конников. Не менее нас, чай, разумеет, что податься нам некуда. Коли не ослабим князей московских, они не токмо нас, но н его сожрут...

Оглянувшнсь, увндел Шемяка Бунко н весело спросил князя Можайского:

— А сей человек н есть Бунко, который у тобя гонцамн твонми ведает?

— Он самый, государь,— оживился Иван Андреевнч,— через него яз с тобой ссылался. Добре нарядил он вестовую гоньбу, особлнво в Москву. От Можайска до первого стана скакал мой гонец тридцать верст за един гон в два часа, а потом другого коня брал н в сей же часец скакал до Звенигорода. А там встречал его гонец нз Москвы. Мой гонец ко мне скакал с вестями от Ивана Федорыча, а московский-то, вести от моего узнавшн, обратно в Москву гнал. Так яз из Москвы, а Старков от меня всё в един день ведали.

— А ныне нам, государь,— вмешался Старков,— и того нужней борзость в вестях. Прнкажи Бунко н у нас гоньбу добре нарядить. Понмать надо Василья нечаянно, дабы ни народ, ни бояре того не ведали.

— А Москву н того ране захватнть надобно,— резко крикнул Шемяка,— казну Василья поимать, его именья, княгинь...

— Обмыслено все, государь мой,— сказал Никита Константиновнч, кланяясь,— не гребтись о сем, государь. Ведомо мне от чернецов сергиевских, что Василий-то хочет ко гробу преподобного ехать...

Боярнн смолк, поймав предостерегающий взгляд Старкова, н, откашлявшнсь, продолжал:

— Наряжено все у меня для Бунко — и кони и гонцы. Надобно нам ныне же, государь, от Рузы до Звенигорода...

— Завтра к тобе, Ннкита Костянтиныч, Бунко придет после обеда,— перебил боярнна Шемяка,— а ныне нам много еще делов обсудить надобно: и что удельным, н что монастырям дать, и, особлнво, что великому князю тверскому дать — захочет ведь он кусок пожнрней всех...

— Ин, Архнпыч, иди,— быстро обернулся к Бунко князь Иван Андреевнч,— послужишь нам верой и правдой, будут у тобя угодья разные н казной тобя пожалуем, детям и внукам хватит...

Поклонился Бунко н вышел.

Сидя за ужином в покоях у племянника Аверьянова, говорил Бунко другу своему Кузьме Михайловичу с печалью:

— Все у них купля и продажа, а о Руси и христианстве забыли...

— Князи наши будто и не государи,— отвечал ему Кузьма Михайлович,— а попы да монахи будто и не отцы духовные, а как мы — купцы, торговцы грешные, для-ради поживы.

Задумался горько Бунко и молвил тихо:

— Ныне я, как просо меж двух жерновов. Мелют и мелют жернова-то, кожу с меня сдирают, а кому я на кашу попаду, о том и не ведаю. Отъехал я от Василья, от лютости нрава его ушел. Убил бы меня насмерть, ежели бы государыня Софья Витовтовна тут не случилась. Ярый зело князь-то Василий, да Москва-то о всей Руси печется, а эти два о собе токмо...

— Ты за кем же теперя? За можайским князем аль за Шемякой?— спросил у Бунко Федорец, здоровый рыжебородый мужик лет тридцати.

— Был за великим князем Васильем,— ответил Бунко,— да за обиды его отъехал к можайскому, а ныне вместе с можайским к Шемяке перешел...

— Все едино,— махнув рукой, молвил Федорец,— за всеми удельными жить беспокойно, а в Москве да в Твери, как за щитом живут.

Оглядев стол, он обратился к жене ласково:

— Что ж, хозяюшка, стол-то пустой? И так у нас гостьба худая — приехали к нам дорогие гости в Филиппов пост! Все ж откушайте рыбки соленой, капусты вот квашеной, репы пареной, и еще уха есть...

— Кушайте, дорогие гости,— кляняясь, просила хозяйка,— ушицы сейчас подам, а в печи у меня и каша пшенная с маслицем конопляным,— уж не взыщите...

— Все, что есть в печи, на стол мечи!— весело крикнул хозяин, разливая по чаркам крепкий мед.— А я еще сулею достану с водкой боярской!

— Гостьба гостьбой,— заговорил Кузьма Михайлович, отпивая житного кваса,— а ты скажи мне, Федорец, что людие-то здесь, в Рузе, бают? Что они о Шемяке мыслят и что о Василье? Князь наш Борис Лександрович, может, и спросит меня.

Федорец тряхнул густыми кудрями и сказал резко:

— Народ за того, кто ему покой даст от ратей, от набегов татарских, от полона и неволи в холопах. Не хочет он и брани междоусобной, ибо разоренье от обид княжих горше татарского. За Москву стоят людие!

— Ну, и слава те, господи,— весело отозвался купец Аверьянов.— Будет Москва сильной, будет и Тверь торговать по всей

Волге до самой Астрахани, что у моря Хвалынского! Выпьем теперь и водки за князей великих московского и тверского. Борису-то Лександрычу не в обиду сие, сам он разумеет, что без Москвы и Твери худо...

Выпил Бунко за Василия Васильевича и, заедая чарку боярской овсяным киселем с сытой, сказал Кузьме Даниловичу:

— Хоша неведомо, кому я на кашу попаду, да за Русь и христианство живот свой отдам. Не в князе дело, а в людях. Что христианам на пользу, то и содею...

Глава 8

В МОСКВЕ

Заговев Филиппово заговенье, выехал великий князь в Москву со своим семейством по снегу. Санный путь установился этот год задолго до Екатерины-санницы. К Михайлову дню уж все реки замерзли, и даже Ока стала. Зима пришла дружная, совсем без оттепелей, а на Федора-студита ночью такой студ был, что в лесу деревья трещали, кора лопалась.

Княжич Иван всю дорогу с жадностью разглядывал из колымаги те самые леса и чащобы, где малину собирали и медведя встретили, когда из Москвы бежали. В серебре стояли теперь леса, и мохнатые лапы елей и сосен так набухли от снега, что даже игол не видно. Как бы и не настоящий лес, а словно из белого рыбьего зуба выточен, дух же смолистый в нем и в мороз, как и в жару, чуется, и воздух тут легкий и чистый, сам в грудь льется, будто пьешь его.

На полозья теперь колымаги поставлены, нет ни толчков, ни шума. Скользит колымага, чуть черкая иногда боками по сугробам. Васюк дремлет, сидя против княжича Ивана, а в глубине бора стрекочут сороки, да, пролетая над дорогой, звонко каркает в морозном воздухе черный ворон. Бойко бегут лошадки по снегу, а впереди и сзади скачет стража. Конные дозоры верст на десять впереди гонят, а за ними под особой охраной обозы идут, отстав от поезда почти на полдня.

Зябнет княжич Иван, прячется в колымагу, кутается в шубу и дремлет, думая о курнике и о штях, что в обед на остановке подавали.

— Васюк, спроси Ульянушку про курник,— начал он сквозь дрему вполголоса, но, чувствуя теплоту во всем теле, заснул, не договорив того, что хотел.

Проснулся Иван, когда лошади гулко застучали ногами по крепко сбитому снегу, покрывшему бревна моста. Выглянув

из колымаги, княжич неожиданно увидел огромное багровое солнце, подымающееся из огнистой мглы, увидел и Москву, ее стены, башни, церкви, пылающие утренним заревом. Колокола гудят над городом и его окрестностями.

— Васюк,— радостно вскрикнул он,— мы домой приехали!

Все случившееся и пережитое до этого показалось вдруг Ивану далеким и давним, как бы страшным сном. Все же смутная тревога где-то затаилась в нем, и еще пытливее и острее, чем раньше, смотрел он на мир и людей своими большими черными, как у матери, глазами. Странен теперь стал его взгляд, а порой и нестерпим. Это сам Василий Васильевич заметил, когда все семейство, разместившись на первое время у бабки, в Ваганькове, село за стол.

— Что-то тяжел стал взгляд у Ивана,— сказал он вполголоса матери,— будто старик глядит...

Софья Витовтовна присмотрелась ко внуку и молвила в ответ:

— Не старик, сынок, а будущий государь.

Княжич слышал этот разговор, и что-то в нем шевельнулось новое, такое же непонятное, как и там, в Переяславле, от поцелуя Дарьюшки, но не такое радостное и нежное. Он понимал, что бабушка хвалит его, но от слов отца почему-то стало ему грустно.

Это случилось в ноябре, в семнадцатый день, и с этого дня Иван как-то замкнулся в себе и даже внешне несколько изменился. За год он еще вырос, но похудел и казался старше Данилки, особенно оттого, что при высоком росте, как это бывает с преждевременными переростками, стал сильно сутулиться. Сам же Иван не замечал этого. Внутри себя он к чему-то все прислушивался. Как-то мимо него прошел и переезд в Москву и переезд на двор воеводы московского, князя Юрия Патрикеевича, женатого на родной его тетке, Марье Васильевне. Великокняжьи хоромы сгорели дотла, а новых пока строить и не начинали. Много еще пустырей и пожарищ увидел Иван за кремлевскими стенами, когда просиживал подолгу на открытых гульбищах патрикеевых хором, у самой башенки-смотрильни. Задумчивым взглядом скользил он по белым снегам, застлавшим все просторы вокруг Москвы вплоть до темных далеких лесов. Мысли у него путались, катались клубком спутанным, и ничего не мог он распутать.

Вокруг же княжого двора суетились татары, бояре, гости, духовные, дьяки и воеводы. Все кипело, а Софья Витовтовна иногда сердилась и попрекала великого князя и сама решала дела. Из разговоров матери, отца и бабушки между собой Иван знал, что все теперь в Москве заняты сбором окупа и раздачей уделов

татарским князьям и мурзам на кормление, заняты заключением договоров со своими князьями удельными и с монастырями.

Все же это ничем не нарушало ни распорядка жизни великокняжьей семьи, ни чина государствования великого князя,— все шло тихо и мирно, как и до войны с Улу-Махметом.

Только раз один слышал Иван, как отец с горестью жаловался жене своей:

— Наказал нас господь, Марьюшка,— говорил он,— всяк ныне на беде моей хочет прибыток иметь...

— И-и, бог милостив!— весело отвечала ему княгиня.— Не крушись, услышал господь молитвы мои повсенощные, вернул тя из полона и жи́ва и здра́ва.

— Вот мне ко гробу преподобного Сергия надобно бы ехать. Обет ведь яз в полоне-то ему дал, Марьюшка. Ну, да как с окупом свершим все, тогда и поеду...

Беседы их до конца Иван не дослушал. Увидел в окно он, что Васюк катит большое колесо от арбы к середине княжого двора, а Илейка стоит у кола, вбитого в мерзлую землю, где жердь длинная лежит с верёвками и санки стоят. Данилка уж там с Дарьюшкой и Ульянушка с Юрием.

В легком беличьем тулупчике и в меховых сапогах выскочил он на двор.

— Скорей, скорей, Иванушка,— закричал ему Данилка,— сей вот часец готово все будет!

Не первый год катанье такое устраивалось. Вот Васюк поднял с Илейкой колесо и надел на кол. Потом привязали к нему один конец жерди.

— Как стрелка у часов самозвонных,— сказал Илейка, подмигивая княжичу Ивану,— гляй-ка, Иванушка.

Другой конец жерди Васюк крепко-накрепко привязал к санкам, пропустив его снизу над полозьями под санное днище.

— Пусть сначала снег обомнут,— сказал Илейка и, вставив другой кол в колесо между спицами, стал вертеть его.

Санки помчались по кругу, взметывая снежную пыль.

— Стой!— не выдержав, крикнул Иван.— Хочу кататься!

Он нерешительно взглянул на Дарьюшку и тихо добавил:
— Садись...

Княжич сел верхом впереди, уцепившись руками за передок санок, а за ним села Дарьюшка, тоже верхо́м, упираясь ногами в полозья. Когда санки понеслись опять по кругу, и все перед глазами княжича слилось в непрерывную полосу, он почувствовал, как маленькие ручки туго охватили его сзади.

Васюк с Илейкой еще налегли на колесо, ветер засвистел в лицо Ивану, а Дарьюшка вскрикнула с испугу и еще крепче прижалась к нему. Ее теплое дыхание чуялось ему у самой шеи

и было приятно. Он быстро обернулся, неожиданно коснулся губами ее щеки и невольно поцеловал. Отвертываясь назад, он увидел ее улыбку и сияющие глаза. Но это все длилось один миг. Он крепче схватился за сани и закрыл глаза. Кажется ему, что летит он на крыльях, и радость сладким комком дрожит у самого горла...

Но вот сани замедляют и замедляют свой бег и, наконец, остановились...

— Меня, меня покатайте!— громко кричит Юрий.

Ульянушка усадила его на санки вместе с Данилкой.

— Мотри, Данилка, держись за передок саней. Охвати заодно и княжича, чтоб с саней-то не сбросило,— говорит она строго и добавляет, обращаясь к Илейке и Васюку:— А вы уже не вертите шибко-то!..

Вышла на двор и княгиня Марья Ярославна с Дуняхой, потянулись сюда же к колесу со всех сторон и дворские. Шум и смех пошли по двору. Прокатили Марью Ярославну с Ульянушкой, а с Дуняхой нарочно так устроили, что слетела девка с саней в самый сугроб, а может, и нарочно сама сорвалась для потехи — благо снегу-то много.

Под общий хохот вскочила она и, отряхаясь и смеясь, крикнула:

— Прокатилась я, словно по пуху лебяжьему!

Хотел было Иван опять сесть в санки вместе с Дарьюшкой, да при матери почему-то побоялся, заробел совсем, а тут как раз и позвал его дьяк Алексей Андреевич в хоромы на учение грамоте.

После рождества недели через две, когда уже хоромы начали рубить для великого князя, зашел утром к Ивану Васюк.

— Ну, княже,— сказал он, помолившись на образа и поздоровавшись.— великий князь из коней своих из ездовых повелел дать одного тобе...

— Коня?— радостно воскликнул Иван.

— Коня,— усмехнулся Васюк,— а я тобя учить стану и на конях ездить, и стрелять, и всем ратным хитростям, что вою и князю надобны...

— А доспехи надену?— с трепетом спросил княжич.

— Наденем потом и доспехи,— спокойно ответил Васюк,— а пока без доспехов. К им тоже привыкать надо...

Иван огорчился на миг, но радость, что у него свой конь теперь, заставила забыть и про доспехи. Он бросился скорей одеваться и из дверей крикнул Васюку:

— Пойдем на конюшенный двор!

Когда вернулся княжич, Васюк, поглаживая бороду, сказал важно:

— А знаешь ты, сколь за коня твоего плочено было? Шесть сороков белки, пятнадцать рублев московских! Дорогой конь! Ну, идем, сам увидишь...

Когда сошли они с крыльца, Иван чуть не побежал к конюшенному двору, но Васюк шел степенно и тихо. С этого дня он стал не нянькой княжича, а учителем ратному делу. Это понял княжич и невольно стал послушней Васюку, чем раньше. Он пошел медленней, но молчать не мог.

— Какой же конь-то?— допрашивал он Васюка.— Скажи, молю тобя!

Васюк улыбнулся.

— Настоящий фарь угорской[1],— сказал он,— иноходец. Цены ему нет на походах. Хороши и баски, горячие скакуны для ратного дела, да не угнаться за иноходцем и скакуну. Ехать же на ем все едино, что в люльке,— спать можно, совсем не трясет, вперевалку бежит...

— А какой он,— нетерпеливо перебил Иван своего нового наставника,— белый, вороной?

— Угорской-то!— возмутился Васюк.— Соловой, а нáвис[2] седой. Ничего еще в конях ты не разумеешь.

Княжич Иван смутился и больше не спрашивал, хотя не понимал, что значит «нáвис».

На конюшенном дворе Васюк тоже, как учитель княжича, стал важнее и крикнул подвернувшемуся на пути младшему конюху:

— Эй, Фомушка! А ну-ка, покажи княжичу его Соловка угорского, он под государем ходил...

Конюх распахнул дверь конюшни, откуда овеяло Ивана запахом конского пота и навоза. Стоя рядом с Васюком, впился он глазами в темную пасть двери, из которой у притолоки слегка белел теплый парок, клубясь в морозном воздухе. Княжичу казалось, что время идет очень медленно.

— Но, но!— услышал он окрик Фомушки.— Ногу, ногу! Ишь, запутался...

Следом за этими словами четко застучали конские копыта по деревянному полу конюшни, и Фомушка вывел из тьмы на свет коня средней величины, изжелта-серой масти, с белесой челкой, гривой и хвостом. Застоявшаяся лошадка «играла» и, широко раздувая ноздри, жадно нюхала свежий воздух. Иван залюбовался небольшой красивой головой коня с веселыми глазами.

---

[1] *Фарь угорской* — венгерский конь.

[2] *Нáвис* — грива, челка и хвост.

Соловко косился на Васюка, разводя уши, и подрагивал мышцами стройных сухих ног.

— Мотри, Иванушка,— не выдержал Васюк,— постав-то какой! Ишь, как ноги стоят ладно и баско́! Холка и поясница хороши, а шея — одно загляденье! А репица и хвост как лежит! Конь, княжич, редкой! И не злой, ласковый! Ишь, разбойник, глазами косит — разумеет, что о нем речь. Выезжан был добре́ для родителя твоего...

Васюк, взяв узду у Фомушки, похлопал Соловка по крутой шее и погладил ему белесоватую морду.

— Накось узду-то, Иванушка,— сказал Васюк,— поводи коня. Коню к тобе, а тобе к коню привыкать надобно. Погладь рукой его по ноздрям, чтобы дух твой запомнил. Не бойсь, не укусит. Смирный конь, а ты вот коврижки дай с руки...

Васюк отломил кусок медовой коврижки и положил на ладонь княжичу Ивану. Соловко сразу наставил уши и потянулся к руке.

— Ишь? Что-что, а где сладкое, враз уразумеет!— рассмеялся Васюк.— Скорометлив на коврижки-то...

Соловко будто понял и обиделся,— прижав уши, он сверкнувшим глазом покосился на Васюка. Иван протянул руку к морде коня, тот опустил голову и, ласково шевеля нежными теплыми губами, коснулся ладони княжича. Подобрав коврижку, он снова ткнулся в пустую ладонь, перебирая губами, как пальцами, но, ничего не найдя, наставил уши, взглянул на Ивана и слегка всхрапнул, потом тихо и коротко проржал.

— Еще просит,— весело молвил Васюк и за спиной передал Ивану в другую руку обломок коврижки.— Токмо ты, Иванушка, враз все не давай. Разломи надвое...

Фомушка принес в охапке седло, чепрак, потник и прочую сбрую и начал обряжать коня. В это время с другого конца конюшенного двора послышался конский топот — гнал рысью Данилка на чалой лошадке с черным на́висом.

— Вот обоих и буду учить. И тобе веселей и Костянтину Иванычу уважение. Данилка-то уж один ездит,— сказал Васюк и вдруг сердито крикнул на Данилку:— Ты что, как повод-то держишь? У тобя что в руках! Конем ты правишь аль рыбу на леску ловишь?!

— Василь Егорыч,— спросил Фомушка, затягивая подпруги,— путлища-то у стремян скоротить, что ли?

— А ну-ка, Иванушка, садись!— вместо ответа конюху, обратился Васюк к Ивану.— Эй, Фомушка, поддержи княжичу стремя...

Княжич, стараясь быть ловким, кое-как взобрался на седло и сел довольно неуклюже. Усмешка Васюка уколола его, и он

напряг все внимание, чтобы делать так, как нужно хорошему коннику. Приняв то положение, как указал Васюк, он оперся на стремена не всей ногой, а только носками.

— Ну, путлища в самый раз!— воскликнул Фомушка.— У тобя, княжич, ноги долги, как у большого. Ишь, господь тобя как взрастил, чуть пониже меня будешь, а я по собе путлища-то ладил.

Через два часа Иван, усталый и голодный от работы и холода, уже ездил один по конюшенному двору на своем Соловке, гордо и радостно озираясь кругом.

— Ну, теперь поезжай один к хоромам, сам государь тобя посмотрит,— сказал Васюк после того, как услал куда-то Фомушку.

У красного крыльца, куда Иван подъехал, его встретили отец с матерью и бабкой. Василий Васильевич радостно сбежал с крыльца, сам помог сыну сойти с коня, обнял его и со слезами воскликнул дрогнувшим голосом:

— Сыне мой, в стремя ты сел![1] Свершил ты днесь по милости божией свой младенческий круг. Отрок отныне ты, Иванушка, надежа моя...

После сретенья снежные дни пошли вперемешку с ясными, и радостней солнце играет на высоких сугробах и на длинных сосульках под крышами, откуда к полудню в погожие дни уж падают блестящие капельки.

— Вот, матушка, и зима к концу идет,— радостно проговорила Марья Ярославна, обшивая золотом шелковый платочек в подарок для свекрови.— Солнышку божию душа радуется, тепла хочет.

Софья Витовтовна ласково улыбнулась.

— Ну, Марьюшка, далеко еще до тепла-то.

— Истинно,— подхватила Ульянушка, сидевшая тут же с Юрием на лавке пристенной,— будет еще семь крутых утренников. Три до Власия Кесарийского да три после, а один на Власия Севастийского — сшиби рог зимы!..

— Вот доживем до Василья-капельника,— промолвила Софья Витовтовна, откладывая вязанье,— тогда и тепло почуем. А яз и теперь рада. Тишина настала в Москве. И наши воеводы и князья татарские получили во владение свои волости и, слава те, господи, разъехались кто куда с послушными грамотами.

— Что ж им ждать-то,— затараторила Ульянушка,— на жирное кормленье спешат, жир-то блазнит: как мухи полетели,

[1] *«Сесть в стремя»*— выйти из младенческого возраста.

был бы хлеб, а зубы сыщутся. Заживут теперь — одна рука в меду, а другая в сахаре!

Иван, следивший из окна в ожидании трапезы, как срывались с сосулек сверкающие капли, внимательно слушал разговоры старших.

— А пошто,— обратился он к Софье Витовтовне,— воеводы и князья татарские ездят кормиться, а не в Москве едят?

Обе великие княгини засмеялись, а Иван покраснел от смущенья.

— Не так разумеешь ты, любимик мой,— сказала бабка,— кормленье не трапеза, а государево жалованье. Отец твой за службу их пожаловал волостями и дал им послушные грамоты, дабы все людие в тех волостях послушны им были, как наместникам князя великого. Зовутся они кормленщиками и в волостях своих ведают всеми делами: и суды судят и тивунов своих посылают, куда надобно. Доход же берут по наказному списку, а сверх того, идут им доходы и с мыта[1], и с перевозов, и со всякой пошлины государевой. Государю же своему собирают в казну они подати и налоги, а когда нужда будет, и ратных людей набирают.

— Не разумею,— немного с обидой перебил ее Иван.— Тата вот в монастыри ездил кормить братию, и обозы туда посылали с хлебом да медом...

— То, любимик мой,— улыбаясь, продолжала Софья Витовтовна,— иное дело. В монастырях кормление совсем не жалованье, а жертва для братии...

Вошел в покой сам великий князь и, слыша последние слова матери, весело сказал:

— Напомнила ты мне, матушка. Хочу на Федора Стратилата али на Никифора Сирского в Озерецкое ехать по обету.

— Съезди, съезди, сыночек,— одобрила старая государыня,— отдохни от суетных дел земных. И внуков моих возьми поклониться гробу святого чудотворца. Яз же нарядила, что нужно, для братии: муки, пшена, меду, холстов и полотна.

— Ну вот и прикажи, матушка, завтра все сие обозом везти, дабы все к приезду нашему уж в монастыре было.

— Прикажу, сыночек,— продолжала старая государыня,— а жертвы для храмов божиих ты уж сам отвези. Собрали мы с Марьюшкой все, что есть у нас из церковного узорочья. Особливо же из того, что в Ростове великом по шелку шито золотом и жемчугом. Херувимы и серафимы как дивно изделаны! Ризу еще с самоцветами и златом шитую для игумна... Марьюшка своими ру-

---

[1] *Мыт* — пошлина.

ками шила се и в дар собору Святыя живоначальныя троицы обещала за твое отпущение из полона...

Когда Софья Витовтовна окончила речь, Марья Ярославна отложила свою работу и, встав, с легким поклоном молвила свекрови:

— Откушай, государыня-матушка, с нами.

— Спасибо, Марьюшка,— ответила Софья Витовтовна,— токмо пошли ко мне Ульянушку, пусть возьмет там сласти, что на столе стоят в трапезной — смоквы, рожки и финики. От греков вчера наши купцы привезли. Тобе ж, сыночек, завтра ладану отложу для монастыря. Его мне купцы привезли тоже из Цареграда. Все сие послал с ними патриарх, который у покойной доченьки Аннушки духовником был. Пишет он, что в Цареграде ладану от арапов много сей год получено. Ты бы вот патриарху-то куниц да мех горностая послал...

Февраля в девятый день, в среду, слушал великий князь с семейством заутреню и часы в крестовой. Служил протоиерей Александр, духовник Василия Васильевича, диакон Ферапонт и дьячок Пафнутий.

День стоял холодный и ясный, но солнце, словно янтарем, золотило слюдяные окна, и отсветы от них золотыми же решетками ложились на пол и на стены крестовой. Весело было на душе Ивана. С удовольствием слушал он могучий голос диакона Ферапонта и думал о поездке в монастырь. Весел был и великий князь и, встречаясь глазами с сыном, ласково ему всякий раз улыбался.

После заутрени завтракали все в хоромах у старой государыни, и перед тем, как всем помолиться перед дорогой, Софья Витовтовна спросила великого князя:

— Много ль дружины с собой берешь?

— Нет, немного. Игумен и келарь мне верны. Посулил им угодья и вклады.

— Ну, вклады-то все берут без отказа,— прервала его с усмешкой Софья Витовтовна.— Не верь монахам-то, своекорыстны чернецы...

— Ведаю, государыня-матушка,— весело промолвил Василий Васильевич,— да не боюсь! Сама знаешь, не собой сильны мы, а Москвой!

— Право разумеешь, сыночек, а все ж помни: не один едешь, с сыновьями. Шемякину миру не верь. Стражи больше бери — береженого бог бережет.

— Теперь никакого зла сотворить не посмеет Шемяка-то. Татар побоится: царевичи Касим да Якуб со своими нукерами дороги стерегут и от Галича и от Углича. Смирился князь Димитрий Юрьич. Крест мне целовал вместе с князем можайским...

— Смирен волк, пока пастухи не ушли,— спокойнее уж ответила старая государыня и, вставая, добавила:— Ну а теперь помолимся перед дорогой-то и посидим.

Все встали и, земно кланяясь, помолились, а потом вслед за Софьей Витовтовной сели на скамьи в молчании. Первым поднялся Василий Васильевич и молча поклонился матери.

— Благослови тобя господь,— проговорила она, крестя сына, и трижды поцеловала его.

Порывисто обняла Василия Васильевича Марья Ярославна и, целуя его, с тоской прошептала:

— Ох, не езди... Тошнехонько мне, свет мой. Болит душа моя...

Ивана и Юрия благословили мать и бабка.

Грустно стало Ивану, будто на ясный день черная тучка нашла, но ненадолго это было. Весело все сошли с красного крыльца к саням и кибиткам, разлеглись на сене и укрылись полстями войлочными.

В самый последний срок, как саням трогаться, Софья Витовтовна, стоя около княжичей, подозвала к себе Васюка и вполголоса, но твердо ему молвила:

— Пуще очей своих береги княжичей. Перед всей Русью в ответе за них будешь. Поклянись мне правым сердцем и мыслью...

— Обещаюсь перед тобой, государыня,— снимая шапку и крестясь, сказал Васюк,— как перед истинным богом!..

Василий Васильевич дал знак, и поезд княжой, окруженный конной охраной, двинулся к Неглименским воротам. Переехав по льду речку Неглинную, повернули направо и погнали мимо Никольского монастыря прямо к селу Та́нинскому. Было то во втором часу дня, а уж в третьем часу гонец Ивана Старкова поскакал из посада через Заречье к Звенигороду, где ждут давно его нарочные гонцы Шемяки, чтобы в Рузу желанную весть передать.

Глава 9

У ЖИВОНАЧАЛЬНЫЯ ТРОИЦЫ

Только выехал княжой поезд из саней и кибиток на дорогу, что бежит по гладкому льду Яузы, как густыми хлопьями замелькал со всех сторон снег, чуть розоватый от угасавшей зари. Потом вдруг все потемнело, замельтешило и заметалось кругом. Никогда Иван такого снега не видел. Словно белые стены встали вокруг кибитки княжичей, а через них, как пух из распоротых подушек, так и сыплет снег, так и валит валом без перемежки.

— На таких снегах далеко не уедем,— сказал белый, как мельник, Васюк, поровняв коня с санями княжичей.— Засветло уж в Танинское-то не поспеем. Хорошо, что стража впереди снег вытаптывает, а то и кибитки не сдвинешь, вишь погода...

Налетевший ветер унес куда-то в снега конец его речи, и Васюк, махнув рукой, словно растаял в белой стене.

— Ложись в кибитку!— крикнул Ивану Илейка, сидевший на облучке, ставший похожим на снежного деда.

Иван лег рядом с Юрием.

В кибитке было темно, ветра совсем не чуялось, только слышно было, как он взвывает в полях, как ударяет с налета снегом в бока кибитки да как шуршат внизу под Иваном полозья, будто у самых ушей. В темноте в глазах, если их крепко зажать, мелькают красно-зеленые решеточки,— словно соты шестигранные, они бегут то вправо, то влево, едва глаза поспевают за ними. Ни о чем не думает Иван, следя за цветными решеточками, чувствуя, как тепло постепенно охватывает все его тело, а сам он опускается в мягкие зыбкие волны...

Вдруг он очнулся, вздрогнул от неожиданности,— разбудил его плач Юрия, хватавшего его в страхе руками. Иван, впервые оставшись один с маленьким братом, растерялся и не знал, что сказать ему. Он обнял его одной рукой, а другой стал ласково гладить по лицу, мокрому от слез.

— Боюсь, Иванушка,— услышал он прерывающийся голос и сразу понял, что делать.

— А ты не бойся,— смеясь, говорит от малому братику,— возьми и не бойся. Яз не боюсь вот. А Васюк с Илейкой наруже, и то не боятся...

Юрий смолк, но, внимательно слушая, он все же спросил с беспокойством:

— А тата с нами едет?

— С нами. Когда яз выглядывал, сам его кибитку видел. Впереди нас едет...

Юрий радостно засмеялся и совсем неожиданно добавил:

— Есть хочу!

— Яз тоже,— живо откликнулся Иван, принимаясь шарить в сене вокруг себя и Юрия.

Подымаясь на колени, он запутался в своем долгополом тулупчике и упал, ударившись головой о какой-то сундучок.

— Нашел!— весело крикнул он, нащупав у себя под головой знакомый ему мелкоплетенный коробок для всякой дорожной снеди, и добавил со смехом:— Не руками, Юрьюшка, а головой нащупал!..

В темноте в этом коробке княжичи, как слепые, отыскивали

ощупью изюм, колобки, копченую рыбу, шаиежки, коврижки, ели всё вместе и одно за другим безо всякого разбору.

— Ты что ешь?— спросил Иван Юрия.

— Изюм. А ты?

— Рыбу с коврижкой...

Братья дружно хохотали, когда Юрий ронял что-нибудь, и они при поисках, не видя друг друга, как козлята, стукались лбами.

— Да ты в руках-то не доржи,— смеясь, кричал Иван братишке,— а клади скорей в рот, оттуда не выпадет!..

Навеселившись и наевшись досыта, княжичи одии за другим незаметно заснули. Раза два Илейка подымал войлочную полсть и окликал Ивана и Юрия, но ответа не добился. Просунувшись иаполовину в кибитку, он оправил на мальчиках тулупы и прикрыл их сверху мягкой толстой кошмой.

— Ишь, разоспались,— бормотал он, усмехаясь в обмерзшую бороду,— и гром не разбудит.

Хорошо спится в дороге, а на холоде и того лучше, когда сквозь щели теплой кибитки пробегают свежие струйки морозного душистого воздуха!..

Из-за метели и снежных заносов приехали в Танинское поздней ночью, уж к третьим петухам. Полупроснувшихся княжичей Илейка и Васюк вытащили из кибитки и за руки повели куда-то по глубоким сугробам. Иваи смутио помиил какую-то лестницу, темные сеии, где пахло хлевом, но не зиал, как очутился он вместе с Юрием в жаркой избе за широким столом, и вот ест он деревяниою ложкой горячие шти с пóлбеииой кашей.

Глаза же его постоянно смыкаются, и видит ои среди мельканий ресниц, как в тумаие, Юрия, положившего голову на стол рядом с блюдцем каши. Вот и его щека сама собой прижалась к дубовой доске, от которой пахиет луком и рыбой. Разопрев в тепле и духоте, ие хочет ои и шевельнуться, а шум и гул чьих-то разговоров слышиы все глуше и глуше, и вот уж будто опять у самых ушей его шуршат полозья кибитки, а в глазах мелькают и расплываются зелено-красные решеточки, словио мелкие, мелкие соты...

На другой день после заутрени у великого киязя были гости. Приехал на охоту в Таниское с гончими и борзыми любимец Василия Васильевича бояриі Владимир Григорьевич Ховрии. Обед, вопреки обычаю, прошел быстро, иаспех,— уговорил Владимир Григорьевич великого князя иа охоту с иим ехать. Недалеко совсем, в березовом острове, ловчий его Тереитьич стаю волков заприметил третьеводни.

— Слушай меия, Василь Василич,— с пылом восклицал

боярин Ховрин,— снег-то ныне вязкой, глыбокой! Терентьич же бают, молодых волков-то в стае много. Мы их на второй аль на третьей версте загоним! Добрые у меня кони и собаки — затравим не мало!

Василий Васильевич знал, что в Тайнинском у Ховрина свое подворье для наездов с охотой, а при подворье и все ухожи: изба для псарей, псарня, конюшня, погреба, медуша и поварня — хоть месяц живи, всего тут в изобилии. Вспомнил Василий Васильевич ховринских борзых и выжловков и не устоял, поехал в подворье и сыновей с собой взял. Юрий в кибитке с Илейкой поехал, а Иван с Васюком верхом поскакали.

На дворе у Ховрина все уж для охоты было готово. В ожидании хозяина стояли и проезжали псари с высокими поджарыми борзыми на сворах и с головастыми лопоухими гончими на смычках. Шум стоял такой, что, разговаривая, кричать нужно. Ржут лошади, собаки грызутся, ворчат, лают, перекликаются охотники, ласково кличут собак по именам или ругают их, громко хлопая в воздухе арапниками, трубят рога...

Хозяин, не давая горячиться своему аргамаку и указывая Василию Васильевичу на пару короткошерстых черных борзых в своре у своего ловчего, рыжебородого Терентьича, кричит весело и радостно:

— Гляди, государь, оба эти хорта — угорские! Уж и хватливы же они! Тобе подвести их велю, а других сам, каких изволишь, выбирай: хортов ли, из наших ли псовых, или угорских. Какая твоя воля. Терентьич подведет тобе каких прикажешь.

— Вот тех, псовых, возьму, серых с подпалинами[1],— говорит Василий Васильевич, указывая арапником на свору другого псаря с особенно длинномордыми собаками.— Примета у меня есть: не столь прави́ло, сколь длинной щипец[2] важен...

— Бери, бери, господине,— зычно кричит Владимир Григорьевич, тряся светлой пушистой бородкой,— да не откажись и от других, от этих вот польских хортиц. Ух, горячи да хватливы! Лучше кобелей. Гляди, у которой щипец длинней, от ее борзят жду. Уж яз те лучшего щеня оставлю...

Князь заговорил с подъехавшими к нему стремянными, ловчим и доезжачим, совещаясь насчет порядка охоты.

— А какие сии вот большеголовые собаки?— спросил Иван у Васюка.

— Вы́жловки, княже,— ответил тот,— на смычке они, как и борзые на своре, па́рой ходят. Борзые хватают зверя, а выж-

---

[1] *Подпалины* — рыжие пятна у черных и серых собак на бровях, на щеках, на груди и на ногах.

[2] *Щипец* — морда, *прави́ло* — хвост борзой.

ловки гнать приучены по зверю и лаять. Сам доезжачий с выжлятниками обучает их. Видал я ховринских-то выжловков на следу — зело гонки! Никакого зверя не упустят, так по пятам и гонят, будь то медведь, лиса, волк или заяц. Да сам вот увидишь, покажу я — стремянным твоим буду...

Отъехав верст на пять от Танинского, охотничий поезд свернул на обширную снежную поляну, окаймленную лесами, тянущимися зубчатым гребнем по всему кругозору. Вблизи же, версты за полторы, виднелся небольшой отдельный лесок, остров из желтоствольных сосен с зелеными лапами хвои и белоствольных березок с голыми темно-коричневыми сучьями. Опушка его из густых кустов орешника, калины, бузины и боярышника казалась издали мягким меховым околышем огромной лесной шапки, брошенной на снег.

Охотники остановились, разбирая своры борзых и смычки выжловков, спутавшиеся в пути. Стремянные подвели своры к князьям. Подъехавший ловчий указал Василию Васильевичу и боярину Ховрину их места у опушки, по краям поляны, указал и княжичу Ивану, где стоять ему с Васюком, а также и всем своим борзовщикам. Доезжачий стал отдельно с выжлятниками.

Когда все разместились, Терентьич оглядел внимательно все поле и, оборотясь к доезжачему, приложил руку ко рту и громко закричал через поле:

— Закинь выжловков на остров-то!..

По знаку доезжачего выжлятники подтянули смычки гончих и поскакали, огибая остров с двух сторон. Они должны были, оцепив лесок, начать гон с другой его стороны, гнать зверя на чистое поле.

Княжич Иван остался один с Васюком и, щурясь, смотрел на синее, еще по-зимнему сияющее небо и на сверкающий от солнца крупнозернистый снег. Он ни о чем не думал и только жадно прислушивался в звонкой тишине полей к далеким, чуть слышным выкрикам, доносившимся с острова. Так же напряженно прислушивался и Васюк.

— Со смычков спущают,— сказал он Ивану, и как раз в это время далекий звонкий лай зазвенел с острова.

С каждой минутой лай становится громче и громче. Вот уже слышны отдельные голоса, нетерпеливое повизгиванье и подвыванье наиболее горячих псов. Вот вовсю заливаются справа, вот еще сильнее тявкают, лают и визжат слева.

— Гонят!— с прерывистым вздохом не сказал, а выдохнул Васюк.

Иван почувствовал, как сердце задрожало у него под самым

горлом, а губы сразу пересохли. Собачий лай приближается, крепнет, сливается в спутанный хор, и, как взмахи хлыста, прорезает его иногда тонкий сверлящий визг. Вот слышно уж и псарей.

— Ату́! Атата́!— раздаются их вопли и выкрики.— Ату! Атата!

Борзые нетерпеливо завозились иа сворах, скуля и порываясь вперед, но Иван и Васюк не обращают на них внимания. Словно застыв, сидят они на конях, всем телом подавшись вперед и жадно впиваясь в опушку острова.

Вот справа, за четверть версты от них, стрелой из острова вылетел зверь и, взметывая снег, помчался по полю. За ним другой, третий, потом сразу три и еще четыре волка!

Тотчас же из всего полукруга опушки вырвались из кустов высокие поджарые борзые, а следом за ними поскакали на конях охотники.

— Спускать свору?— крикнул Иван, дрожащими пальцами перебирая сыромятный ремеиь, ио Васюк только отмахнулся от него рукой.

Охотники вместе с собаками врезались в стаю волков, и стая сразу распалась. То парой, то в одиночку волки помчались в разные стороны. Каждый охотник отдельно погнался со своими борзыми за одним, только им облюбованным, волком.

Иван начинал понимать, что́ и как происходит перед его глазами. Вот и выжловки выскочили из острова, но псари ловко и быстро привычным приемом снова берут их на смычки.

— Что ж мне-то деять?— шепчет Иван в недоуменье и оглядывается на Васюка.

Тот резким движением арапника указывает на поле. Иван взглядывает вперед и видит: два серых волка бегут вперевалку прямо на него. Внезапно его охватил страх. Много сказок и рассказов с детства слыхал ои о волках, и вот эти широколобые, страшные, зубастые звери мчатся иа него...

— Свору спускай!— слышит он крик Васюка, ио по спине у него бегут мурашки, а руки плохо слушаются.

Вот уже четыре борзых, спущенные Васюком, несутся наперерез волкам.

— Спускай, не зевай!— кричит Васюк, и Иван, наконец овладев собой, быстро спускает свою свору.

Его пара муру́гих[1] псов опередила борзых Васюка. Волки остановились на мгновенье и, поворачиваясь всем телом то в одну, то в другую сторону, оглядели поле. Одии из них, что крупней и серей, неожиданио бросился назад к острову, подмяв

---

[1] *Муру́гий* — рыжевато-желтый или темно-серый мех в темных или черных волнистых полосах и пятнах.

борзую. Другой рванулся за ним, но муругие Ивана оттеснили его назад. Матерой же крупными скачками подбежал к самой опушке и скрылся в кустах.

— Будем загонять молодого!— крикнул Васюк.— Скачи за ним, Иванушка!

Они поскакали оба за волком. Тот все чаще и чаще при быстром беге тяжело проваливался в снег, выпрыгивал из образовавшейся ямы, но так же быстро бежал дальше, хотя и увязал выше брюха. Поджарые длинноногие борзые вязли меньше волка и, нагнав его, бежали за ним сзади и по сторонам. Время от времени волк поворачивался на бегу к собакам и щелкал зубами. Собаки отскакивали. Волк, выигрывая время, несколько уходил вперед, но, уж заметно уставая, замедлял бег. Иван и Васюк легко нагнали на конях и волка и борзых. Иван видел зверя совсем близко. Вдруг Васюк, ударяя коня в бока острыми шпорами и яростно взмахивая нагайкой с куском свинца на конце, погнался за волком и закричал во весь голос Ивану:

— Сей часец нос ему перебью! С единого удара насмерть!..

Мимо собак Васюк поскакал прямо на зверя, но волк будто понял угрозу и, напрягая все силы, быстрей замелькал ногами, затиснув хвост меж задних ног и прижав со страха уши, словно ожидая удара. Делая отчаянные скачки, он, прыжок за прыжком, снова опередил собак и пробежал далеко от Васюка.

— Улю-лю! Атата!— закричал тот неистово и снова погнал коня.

Волк же, то выпрыгивая, то зарываясь в снег, скакал все дальше и дальше. Так же, словно ныряя в снегу, гнались за ним борзые, но заметно отставали.

— Уйдет!— громко вскрикнул Иван и, не жалея плети, погнал коня.

Опять волк и собаки стали приближаться к нему, будто снежное поле вместе с ними само передвигалось назад. Иван опять близко видел ощетинившегося зверя с неповорачивающейся шеей и прижатыми ушами.

Догнав Васюка, Иван хотел что-то крикнуть ему, но сразу забыл все. Внезапно повернувшись всем телом к наседавшему на него кобелю, волк рванул его зубами. Собака взвизгнула и кубарем завертелась на месте, густо кровеня снег, но борзая из своры Ивана прянула на зверя с другой стороны и вцепилась в загривок. Как пиявки, сразу впились в волка остальные собаки и растянули зверя. Васюк пал на него камнем с коня и схватил его левой рукой за дрожащие уши, а в правой блеснул у него нож. Зверь захрипел и упал на бок. Кровь захлестала у него из горла, язык вывалился, но большой, еще живой глаз, постепенно угасая, дико глядел, казалось, прямо на подъехавшего Ивана.

Княжич был возбуждеи и радостен, ио взгляд умиравшего зверя отяжелил его сердце. Стало жаль молодого красивого волка с густой сероватой шерстью.

— Добрая полсть из такой шкуры выйдет!— весело крикнул Васюк, обтирая окровавленный иож об шерсть волка.

После охоты выехали в Братошино почти затемно, а в иочь стало тепло и опять пошел сиег. Боярии Ховрии с иебольшим отрядом из псарей своих поехал провожать Василия Васильевича.

За поздним ужином в Братошиие Владимир Григорьевич сидел рядом с великим князем. Они пили водку и мед. Василий Васильевич шутил и смеялся над советами своего любимца.

— Зря ты страшишься, словио конь темного куста,— говорил ои громко,— по вотчиие ведь своей еду, ие в чужой земле!

Но боярин Ховрин морщил лоб, крепко сдвигая брови.

— Смотри, государь,— промолвил он озабочеино,— в такое время можио ли оплошным быть? Воля твоя, а яз буду со своим отрядом в деревеньке Горелой, что у реки Вори, к Радонежу поближе. Ты же от своей стражи хоть малое число воев оставь иа дороге, не доезжая монастыря, а коль будет случай какой злой, ты загодя и борзо о том узиаешь.

Василий Васильевич согласился в угоду любимцу своему и добавил:

— Ныие никакой пакости мне не сотворят ии Шемяка, ни Можайский. Стали сии звери ручными. Токмо для-ради покоя твоего содею по твоему совету: поставлю своих воев на Пажереке.

Иван, глядя на смеющиеся, веселые глаза отца, тоже улыбался. Ои считал его правым, а страхи Ховрина казались ему такими же детскими, как страх Юрия в темной кибитке. Теперь Иваи гордился отцом и верил в его силу, вспомииая, как раиеиый Ростопча рассказывал бабке об удалом бое великого князя с татарами Улу-Махмета. Все же коица разговора ои не дослушал — разморил его сои, и еле-еле дошел ои до скамьи, где ему постель постелили.

На другой день, в первом часу после обеда, поезд князя выехал из Братошииа к иебольшому граду удельиому, к Радоиежу, срублеиному иа высоком мысу у слияиия рек Вори и Пажи, в двух верстах от села Воздвижеиского, что стоит на самой дороге из Москвы, в четырнадцати верстах от Сергиевой обители.

Здесь Владимир Григорьевич Ховрин свернул с большой дороги влево, поехав со своей стражей по льду вдоль Вори к Радоиежу, а Василий Васильевич оставил малое число воиив справа от Радонежа, у села Воздвижеиского, на крутом берегу

Пажи, и двинулся со всем своим поездом к монастырю в четвертом часу дня. А день был вёдрен и ветрен, с оттепелью. К заходу же солнца, когда поезд на рысях подъехал к Клементьевой горе, стали набегать тучки.

У оврага, промытого речкой Кончурой, великий князь приказал остановиться и вместе с Иваном пошел пешком к Никольским воротам, у северной стены монастыря. Княжич впервые увидел прославленный монастырь, такой простой и суровый. Весь деревянный, с деревянными стенами и башнями, он словно врос в голое темя лесного холма. Только один белокаменный собор Святыя живоначальныя троицы с золочеными маковками и крестом величественно возвышается среди обступивших его тесным четырехугольником маленьких деревянных келий братии. Крупнее этих избушек только хрaмина братской трапезной, построенной на юг от собора; позади келий, у восточной стены, келарские палаты для угощенья и ночлега почетных гостей и высокая деревянная звонница с тремя колоколами, недалеко от собора, к западу от него. Но всего не мог хорошо разглядеть Иван. Когда он спускался с горы, идя вслед за отцом, стены монастыря как будто росли, подымаясь все выше и выше, а все постройки словно проваливались между ними.

В Никольских воротах великого князя при звоне колоколов встретил с крестом и святой водой сам игумен со священниками и диаконами, все в шитых золотом ризах.

Великий князь умилился от радости и воскликнул, обращаясь ко всей братии монастырской:

— Удостоил мя господь снова святыни сии видети! Молитвами святых отец и всех христиан спас мя Христос от мучений и смерти, извел из полона!..

После краткой молитвы Василий Васильевич, благословясь у игумна и поцеловав крест, вступил с сыновьями во двор прославленной обители. Поднявшись от Никольских ворот к собору, вошли все в храм через главные западные врата.

Княжич Иван с изумлением остановился посередине церкви, дивясь обилию в ней света, казалось втекающего широкими волнами через легкий купол и окна в стенах. В этом свете сияли, играли и переливались всеми цветами на стенах яркие краски росписи, словно освещенные горячими лучами солнца. Даже внизу у стен и в углах, где все уже тускнело, наступающая тьма не могла еще загасить радостных красок.

Никогда и нигде Иван не видал такой росписи и красок на стенах, на иконах алтаря и в глубине купола. Даже икона, виденная им без оклада в Переяславле у кузнеца Полтинки, не могла по краскам равняться по красоте этой церковной росписи.

Засмотрелся Иван, забыл все и не слышал, что отец зовет его. Очнулся, когда Васюк взял его за руку и зашептал:

— Пошто нейдешь-то? Государь тя кличет ко гробу преподобного. Иди ýторопь, а то осерчает государь-то! Гневлив он...

Княжич поспешил к правому приделу, где у южной стены, между клиросом и входными дверями, возвышается деревянная сень над гробом Сергия Радонежского. Здесь на дубовом гробе, покрытом парчой, стоят в головах святого его келейные иконы,— а сбоку висит на стене образ самого Сергия, шитый во весь рост на шелковой пелене. Пелена эта дивно изготовлена монастырскими вышивальщиками по иконе инока Рублева, лик же Сергия на ней самим знаменитым иконописцем шит. От лика преподобного почему-то стало страшно Ивану. Особенно пугали глаза. Ясные и не строгие, они как-то холодили грудь и сердце княжичу. Казалось, Сергий глядит прямо в душу всякому, кто взглянет на него...

Заметив подошедшего сына, Василий Васильевич ласково улыбнулся ему.

— Велика святыня сия,— сказал он Ивану,— и яз упования свои на сию святую стражу возлагаю более, чем на дружины свои. Знай, Иванушка, мы здесь крест целовали с братьями моими, князьями Шемякой и Можайским, идучи на царя Улу-Махмета. Боясь проклятий, не дерзнут они, при всем зле своем, на измену пойти и клятвы свои порушить...

Он замолчал от волнения, пал на колени и, обратясь к Ивану, сказал:

— Помолимся же, сыне, преподобному Сергию у его гроба, да ниспошлет он нам силы и оградит нас от бед...

На другой день, тринадцатого февраля, княжичей не будили к утренним часам — они встали позже, только к самой литургии.

Войдя в собор с Васюком, княжичи прошли мимо иноков к правому клиросу, где недалеко от гроба преподобного Сергия стоял великий князь. Иван и Юрий встали рядом с отцом. День был погожий, и солнце сквозь голубую дымку ладана, клубившегося от кадил, пронизывало храм со всех сторон широкими полосами света. Радостно играли краски стенной росписи и горели яркими цветами на иконах иконостаса, блестело золото и сверкали камни самоцветные на окладах и крестах. Вспыхивали нежданно ризы священников и диаконов, когда входили они в полосу света.

Радость и покой охватили душу Ивана, и, слушая духовное пение, поглядывал он на отца, молившегося рядом с ним с умилением и кротостью. Пропели херувимскую, и тихо стало

совсем, слышно лишь невнятно молитвы из алтаря да звяканье цепей о крышку кадила у диакона, кадившего перед образами. Загрезилось Ивану, как в сказке, и вдруг шум, говор в дверях, суета и волнение нарушили благочиние и благолепие церковного служения.

Оглянувшись назад, княжич увидел в дверях Семена Архипыча Бунко, что недавно отъехал от них к Шемяке. Переводя с недоумением глаза на отца, заметил Иван, как потемнел и иахмурился он, а ноздри его широко раздулись. Бунко же шел быстро, торопясь скорей подойти к великому князю.

Сразу все замерло в храме, тревога охватила всех, а некоторые из бояр великого князя, что вместе с ним приехали, сменились с лица. Бунко тоже был бледен, и губы его дрожали.

— Великий государь,— заговорил Бунко, голос у него срывался,— великий государь, прости слугу своего... Токмо для-ради тобя и чад твоих, для-ради Москвы нашей...

— Ну?— резко перебил его Василий Васильевич.— Что тобе надобно, раб лукавый?

— Прости, государь,— продолжал Бунко.— Вести худые и грозные принес, прости за то...

— Какие вести?

— Идет на тобя князь Димитрий Шемяка да князь Можайский ратию, идет со всем злом на тобя! Изгоном из Рузы на Москву идут...

Бунко смолк, опустив голову, а Василий Васильевич зло рассмеялся и, обратясь ко всем своим людям и к духовным отцам, громко воскликнул:

— Сии слуги неверные, они смущают нас, а яз со своей братией в крестном целовании! Не может так быти, лжа то на братьев моих!

И, гневом распалясь, приказал великий князь выгнать изменника своего из монастыря вон. Бунко же, устрашась гнева его, выбежал из храма к коню своему, а люди из княжой стражи погнались за ним.

Все это испугало Ивана. Вспомнил он предупреждения бабки, и казалось ему, что отец не так сделал, как нужно; а что нужно, Иван и сам не знал.

— Не гневись на меня, государь,— сказал в это время один боярин,— может, Бунко и зря баил, воровства ради, а может, и правду. Пошлю-ка яз к Радонежу еще воев десяток на всяк случай...

Иван обрадовался такому совету, но с тревогой смотрел на отца, ожидая, что скажет он. Василий Васильевич больше уж не гневался, а сразу стих, как всегда, и успокоился. Обратясь с улыбкой к боярину, сказал он весело:

— Посылай, Семен Иваныч! Ты, вижу, как и боярин Ховрин, страшлив вельми...

Среди густых лесов, зимой совсем непроезжих, вьются дороги только по речным руслам да по недлинным просекам между замерзших рек, там, где летом волоки были или гати настланы. Растянувшись в ниточку, скачет десяток воинов к Радонежу, где меж этим градцем и селом Воздвиженским, на самом угоре крутого берега Пажи, оставлен был Василием Васильевичем дозор.

За час проскакали конники из Сергиевой обители все четырнадцать верст до реки Пажи. Еще издали видят дымок от костра, и коновязи с конями, и воинов у самого костра.

— Ну и дозор! Чтоб им пропасть!— кричит передовой Митрич.— Как на ладони сидят!

— И костер еще развели! Чай, пшено варят,— смеясь отозвался ближний конник.— А вон, гляди! Заметались, нас приметили...

— Ну и бараны!— крикнул опять Митрич.— Всполошились, а разуму нет, что мы с монастыря, а не из Москвы гоним. Вон, Андреяныч шапкой машет, узнал...

Конники съехали с дороги, и сразу снег стал коням по брюхо. Шагом пошли, будто вброд по воде.

— Здорово, Андреяныч,— крикнул Митрич весело.— Не утонем мы тут?

— Не бойсь,— ответил, смеясь, Андреяныч,— глыбже девяти пядей[1] нигде нет!

— У нас один Гришуха утонул было,— крикнул рослый парень,— зашел вброд по самый рот! Ладно не вода, а то захлебнулся бы!..

Все захохотали, хорошо зная, что ростом Гришуха в обрез восемь пядей.

— Что? Сменять нас приехали?— спросил Андреяныч.— Иззябли мы тут, студено в сырости да на ветру...

— Где сменять!— злобно буркнул Митрич.— Шемяка, бают, окаянный, сюды идет, а может, и врут, на ветер лают. Пока же грейся вот, православные! Князь водки с нами прислал — у кажного по две сулеи. Нас десять, и вас десять — всем по одной...

— Го-го!— радостно зашумели кругом.— Да будет здрав государь наш!

— Садись к огню, у нас каша поспела!

— Попьем-поедим во славу государеву!..

---

[1] *Пядь* — старинная мера длины.

— Пить-то пей,— сурово заметил Митрич,— а на дорогу гляди!

— Что глядеть-то!— усмехнулся Андреяныч.— Вон она вся на виду, отсюда ее до самого бора видать.

— А вас и еще лучше видать, за целую версту мы вас узрили... Эй, гляди, едут из бора-то...

На дороге показались многие сани-роспуски с кладью, закрытой рогожами, а на иных полстями из войлока. Позади же каждого воза один человек идет.

— То сироты монастырские,— засмеялся Андреяныч,— поди, рыбу под рогожами в обитель на возах везут, а мы и водку пьем, да страшимся...

— Бери ложки-то,— крикнул веселый рослый парень,— не кажный день пшено с водкой едим! Выпьем по полной, век наш недолгой!..

Он выпил и, крякнув, добавил со смаком:

— Нет питья лучше воды, коли перегонишь ее на хлебе!..

— Что и баить,— отозвался Митрич,— слеза хлебная...

— А обоз-то все идет,— удивлялся Андреяныч,— ишь, сколь добра чернецам везут!..

Возов двадцать выехало из бора и, растянувшись по дороге, подымаются в гору уже позади дозора. Вдруг всполошился малорослый Гришуха.

— Смотри, смотри, Андреяныч,— закричал он,— из леса воины скачут!..

Схватились все с мест, к коновязям бросились, чтобы на коней пасть, а позади них, видят, весь обоз остановился. Взметываются на возах рогожи и полсти, а из-под них воины в доспехах с каждых саней по двое вылазят, да и те, что по одному за возами шли, тоже в доспехах. Окружили мигом отряд Митрича со всех сторон, а тут и конники пригнали, к самому костру подъехали.

— Вяжи их,— кричит боярин шемякин, Никита Константинович,— бери у них коней, имай снаряжение!

Переглянулся Митрич с Андреянычем и рукой безнадежно махнул, указав на дорогу, где еще человек сто конников неслись вскачь.

— Гляди, не зевай!— грозит своим воинам боярин.— Все в ответе! Правых не будет! Не упущай ни единого, чтоб никто упредить Василья не мог!..

Отзвонили церковные звоны, и великий князь с сыновьями своими, придя в келарские хоромы, сел за трапезу. Весело за столом, «седьмица сплошная», всеядная, и на столе стоят всякие

снеди в изобилии, и пиво, и меды монастырские стоялые. Пар идет от больших мис с жирной ухой, а на блюдах кругом хлеб монастырский пшеничный, рыба провесная, икра паюсная, огурцы соленые, яблоки моченые, оладьи с медом, кисели сыченые, и морошка, и клюква, и брусника, с медом варенная.

В слюдяных же окнах горит блестками ясное солнышко, рассыпается искрами на золотых и серебряных чашах и блюдах, светит прямо в глаза Ивану, смотреть мешает. Хмурится княжич, на отца поглядывая, а тот смеется, шутит с монахами, пьет чарку за чаркой с прибаутками.

— Кушай, господине,— ласково говорит келарь,— не обессудь: по простоте мы живем, без хитрости! Чем богати, тем и ради...

— Яз тобе по душе сказываю,— отвечает Василий Васильевич,— все добро у вас — уха сладка, варея гладка, будто ягодка. Благослови, отче, водки стопку единую... Говорят люди книжные: «Аз есмь хмель, высокая голова, боле всех плодов земных!»

— Княже, княже!— закричал Васюк, вбегая в трапезную.— Пригнал Илейка с Клементьевой горы, баит, шемякины вои изгоном пригнали...

Побелел Василий Васильевич как снег, вскочил из-за стола и к окну. Видит, от села Клементьевского воины в доспехах скачут. Помутилось в глазах его, и, тряхнув головой, вскричал он:

— Измена! Пошто не послушал яз Бунко!

Подбежал потом к Васюку и сказал ему на ухо:

— Живота не щади, а сыновей моих упаси! О собе же яз сам, как бог даст, промыслю...

Выскочил он в сени, бегом на конюшенный двор спешит коня взять, к князьям Ряполовским скакать или к Ховрину, к реке Вори...

Застыл будто весь сразу Иван, встал и стоит недвижно. Кажется ему, сон видит он страшный, а кругом все разбежались и попрятались, кто куда. Вдруг Юрий заплакал таково жалобно, что оторвалось сердце Ивана, обернулся он к братику малому, обнял его крепко.

Утер слезы Васюк и, схватив за руки обоих княжичей, побежал с ними вниз по лестнице, а в нижних сенях в боковую дверь втащил, в келию пивного старца[1], отца Мисаила. Тут и старик Илейка был. Не узнал его сразу Иван — в рясу старик одет и ворох ряс на полу разбирает.

— Одевай детей-то,— сурово сказал отец Мисаил.— Длинны будут, можно подол-то обрезать...

---

[1] *Пивной старец* — помощник келаря, ведает всем, что относится к варению пива.

Взглянув на Ивана, он добавил:

— Ишь ты, господь взрастил: тобе и с мужика впору будет.

Васюк одел Ивана монахом и сам нарядился в рясу. Юрию не нашлось ничего подходящего — мал был, шапку чернецкую только надели.

— Князь-то — у гроба Сергия,— вздохнув, молвил пивной старец,— пономарь Никифор замкнул его во храме на ключ. Не был князю конь готов, ибо сам великий князь упреждение буиково лжой охулил...

Васюк досадливо дернул головой и сказал сердито:

— Поверил государь ворогам своим во лжи, а правды узнать не восхотел из-за гнева своего...

— Что ж,— вмешался Илейка,— надыть к Пивной башне идти, а то прискачут злодеи, весь двор займут. Сюды тоже нагрянут.

— И то,— засуетился отец Мисаил,— идем сей же часец. В ночи пришлет нам туда конюшенный старец двое саней об одни конь, аз же снеди дорожной вам соберу...

Вышли все из келарских хором черным крыльцом прямо к собору Святой троицы. Илейка, держа на руках Юрия, шел рядом с отцом Мисаилом впереди, а следом за ними Васюк с Иваном.

Вдруг отец Мисаил сделал знак остановиться и прижался за углом к стене храма, маня всех к себе. Прижался к стене и княжич Иван, глядя вниз к Никольским воротам, куда молча показал всем пивной старец.

Снизу, взметывая снег, мчались во весь дух шемякины конники, а впереди их Никита Константинович с криком скачет, словно сбесил его кто. Подскакал он вплотную к собору да у передних дверей, где конь его запнулся, пал прямо с размаху на камни, что при входе в помост вделаны. Бросились конники на помощь боярину, подняли с земли, а он лицом бледен, едва дышит, шатается, будто пьяный...

— Наказует господь за измену,— прошептал отец Мисаил и, перекрестившись, добавил:— Исусе Христе, сыне божий, заступи и спаси государя нашего...

Конский топот и крики внизу заглушили молитву старца — сам князь Иван Андреевич со всем своим воинством в монастырь прибыл. Завидя боярина Добрынского, закричал он ему еще издали во весь голос:

— Где великий князь?

Но Никита Константинович еще не пришел в себя, и трудно ему было отвечать.

— Где великий князь?— уже сердясь, воскликнул Иван Андреевич снова, подъезжая к боярину.— Тобя, Никита Костянтиныч, спрашиваю: где князь?

Вдруг Иван услышал такой знакомый и словно чужой голос, вопиявший из храма:

— Брате, помилуй мя!..

Страшен голос от нестерпимой тоски и отчаянья, и сразу задрожали руки у Ивана, и словно разорвалось в груди от тоски и боли.

— Тата! Та...— не помня себя, вскрикнул он, но крик сразу пресекся под широкой ладонью Васюка, зажавшего княжичу рот.

А из храма все еще слышался громкий истошный вопль.

— Братие!— выкликал Василий Васильевич не своим голосом.— Не лишите мя зрети образа божия, и пречистыя матери его, и всех святых! Яз не изыду из обители сей и власы главы своея урежу здесь!..

Иван медленно отвел руку Васюка и, не слушая больше и ничего не видя кругом, покорно пошел за ним. Немного в стороне от них, держа Юрия на руках, шел Илейка возле отца Мисаила.

Медленно, словно в бездну, спускались они к Пивной башне, что стоит у самых Никольских ворот. Понял Иван все, что происходит, и враз заледенел весь.

Услышав голос великого князя, усмехнулся князь Иван Андреевич, слез с коня и подошел к дверям храма. И тихо кругом стало, ждут все, что будет. Вот загремели железные двери южных врат — отворил их сам великий князь и стал на пороге. В руках у него икона, что лежит всегда на гробе Сергия. Бледен Василий Васильевич, но глаза его огнем жгут, и вдруг тихо так сказал он Ивану Андреевичу, а будто копьем пронзил каждого:

— Братья, целовали мы сей животворящий крест и сию икону здесь, в церкви Живоначальныя троицы, у сего гроба Сергия: не мыслити нам зла друг другу, не хотети ни которому из братьев лиха...

Он вздохнул глубоко и с силой особой вопросил:

— Ныне ж не ведаю, что будет со мной...

Смутился князь можайский и, пряча глаза свои от великого князя, завилял лисьим хвостом, заговорил ласково:

— Господине! Государь наш! Ежели захотим тобе лиха какого, то будет лихо и над нами! Но творим мы сие христианства ради и твоего окупа. Увидят сие татары, с тобою пришедшие, и облегчат нам окуп, который ты отдать обещал...

Враз умысел весь — и Шемяки и можайского князя — ясен стал Василию Васильевичу. Ничего не сказал он, молча вошел в церковь, положил икону на место и пал ниц пред гробом чудотворца.

— Нет мне, кроме тобя, господи, ниоткуда помочи!— прошептал он и сильно зарыдал.

Трясясь и всхлипывая, стал он громко читать молитвы, и так это было тяжело и жалостно видеть, что все, даже князь можайский и Никита Констаитинович прослезились. Когда же великий князь затихать стал, Иваи Андреевич отер слезы и, выходя из церкви, сказал боярину Никите вполголоса:

— Возьми его!

Смолк в это время совсем Василий Васильевич и встал с каменных плит, будто и ие житель мира сего, чужой всему, что кругом него есть. Обвел он окрест пустыми глазами и тихо и горестно воскликнул:

— Где же брат мой, князь Иван?

Вместо ответа подскочил к нему боярин Никита Константиiнович и, грубо схватив за плечо, молвил с торжеством и злобой:

— Пойман еси великим князем московским Димитрием Юрьичем!

— Воля божия да будет,— глухо сказал Василий Васильевич и перекрестился.

Как вошел княжич Иван в жилой покой Пивной башни, так и приник к окну, выходившему к собору Святыя троицы. Слюда в окне была закоптелая и поцарапанная — мутно через нее видать, и княжич, приподняв немного нижнюю половину, стал смотреть в щелочку.

У собора стояли конники и пешие воины, оцепив храм со всех сторон. Из южных врат вышел князь Иван Андреевич и пошел к хоромам келаря.

«Хорошо, что ушли мы оттуда,— подумал Иван,— а то бы...»

Мысли его оборвались сразу, и сердце упало, оторвалось словно. Видит он, как воины кучей вышли из южных же врат, а среди них его отец в одном теплом кафтане, без шапки. Низко склонил голову Василий Васильевич, словно хочет скрыть лицо. Вот и боярин Никита Константинович вышел веселый, кричит воинам своим:

— Щупай карманы боярские! Да и рухлядь бери — все за окуп пойдет! Их в полон брать не будем. Пусть в одних портах тут за грехи свои богу помолятся!..

С криком и хохотом рассыпались воины шемякины по двору монастырскому. Окружившая Василия Васильевича стража шемякина ведет его прямо к Пивной башне, к голым саням, в которых чернец сидит вместо возницы. Жадно, неотрывно глядит на отца Иван.

— Тата, матунька...— шепчет он и добавляет:— Помоги нам, господи, сотвори, господи, чудо! Разрази громом Шемяку и всех слуг его, господи...

Подвели Василия Васильевича к саням, и, когда садился он, чернец накинул ему на плечи нагольный грязный тулуп и надел на голову овчинную шапку, какую сироты носят. Василий Васильевич даже не поправил шапки, надетой криво, и сел в сани, как мешок опустившись в них. Ничего будто не видит и не слышит он, а вдруг вот забеспокоился, по́днял голову, словно взгляд сына почуял. Посмотрел он на Пивную башню, и увидел Иван глаза отца. Широко и горестно открыты они, тусклым взглядом осматривают окна башни, словно ищут; вот глядят прямо на Ивана, но ничего не видят и погасают совсем, как погас там, на охоте в Танинском, волчий глаз...

Уронил княжич голову на подоконник и горько заплакал. Вдруг дрогнул весь: кто-то за плечо его легонько взял.

— Не бойсь,— услышал он голос Илейки,— я с Васюком тутось. Не бойсь, сохранит господь государя-то, не выдаст злодеям...

— В Москву повезут,— добавил с печалью пивной старец Мисаил,— заточат, но рукѝ поднять на государя законного не посмеют. Верь, отроче, перед церковью святой не посмеют изменники, ибо все отцы духовные за князя московского грозно голос возвысят!..

Глава 10

БЕГСТВО

После ужина княжичам прямо на полу постелили овсяной соломы, накрыв ее сверху толстой кошмой, чтобы не сбивалась. В середине легли Иван с Юрием, а по краям — Васюк, Илейка да пономарь Никифор, что Василия Васильевича тайно в соборе замкнул, спасая его от изменников. Отец Мисаил оставил Никифора в Пивной башне при детях на послуги разные.

Спать повалились, не раздеваясь. Выезжать надо затемно, пока еще монастырь спит, да и начеку следует быть. Кто знает, вороги могут вернуться в обитель, если вздумают искать княжичей. О просыпе же и речи быть не может — Илейка, старый звонарь, привык часы чутьем угадывать.

Юрий как лег, так и засопел носом, но Иван не мог заснуть. В завываньях ветра ему голос отца раза два померещился, будто он там, за слюдяным окном, жалобно так прокричал среди шума метели. Защипало в глазах у Ивана, и страшно стало, хоть кричи, но княжич сжался и, отогнав все думы, словно окаменел весь. Крепко зажмурив глаза и не двигаясь, лежал он под тулупом, и оттого, что вдруг он перестал думать, перед глазами его пошли видения. Путались видения, мешались одно с другим, но ясней

всего пожар московский увиделся — огонь кругом полыхает, шум, крик, суета.

Вдруг все это исчезло, и опять Иван мысли собирает и ясно уж слышит близко около себя тихие голоса и шепот.

— Они у Москвы, как у берлоги медвежьей, стояли,— говорит Илейка вполголоса,— ждали, когда хозяин уйдет...

— Нечего им и стоять у Москвы было,— перебил его Васюк,— когда в самой Москве вóры государевы прячутся. Помнишь юрода, в цепях-то? Эвот вон когда ходил еще! Старая государыня тогда вызнала, подослан был юрод из Чудова.

— У нас в обители,— прерывающимся шепотом заговорил пономарь,— некии от иноков да и от старцев есть, они воздаяния от Шемяки ждут...

— Что ж они о княжичах не доказали?

— Господь оградил,— с убеждением сказал Никифор,— заступился за их преподобный Сергий по молитвам великого князя.

Опять видения пошли перед глазами Ивана, только понять их он совсем уж не может,— закружились, заметались, как снег в метель, и все сразу исчезло.

Проснулся Иван, когда совсем еще темно было. Свет в слюдяные окна Пивной башни словно не смеет еще войти, стоит серой мутью у самой слюды, а на ней только и видно, что переплеты оконных рам. Все уж в Пивной башне, кроме Юрия, встали. Иван вылез из-под теплого тулупа, и его сразу охватил холод, зубы застучали, и дрожь по всему телу забегала.

В темноте полной стали спускаться все по лестнице во двор монастыря. Шли молча, словно подкрадывались. Юрия несли на руках, а Ивана кто-то вел в темноте, слегка подталкивая то вправо, то влево. Вот тихо скрипнула и стала отходить от косяка наружная дверь. Ветром и холодом пахнуло в лицо Ивану, и в белесой тьме он разглядел на снегу неясные пятна саней и лошадей. Видно было, что это поезд подвод в десять.

Спросонья еще больше зяб теперь Иван, позевывал и сильней стучал зубами. Илейка положил в сани спящего Юрья, запахнул полы надетого на него тулупчика и, зарыв в сено, укутал кошмой. Это уж ясно видел Иван — с каждым мигом становилось светлей, и всё кругом: и стены, и башни, и подводы, и кони, и люди — будто выходило наружу, выплывая из рассветных сумерек.

Васюк шепнул Ивану на ухо:

— А мы с тобой в сии вот сани.

Он указал на розвальни с сеном.

— Запахни тулуп-то и ложись в сено. Я тя полстью укутаю.

Вишь, народу сколь набралось? Наши все: из слуг, из стражи, и бояре есть. Удалось им тоже схорониться от злодеев...

Когда Иван был окутан со всех сторон, Васюк сел на облучок и, сняв шапку, перекрестился.

— Ну, теперь с богом!— сказал он и, нагнувшись к Ивану, добавил шепотом:— В Боярово ко князьям Ряполовским поедем...

Передние подводы тронулись, а за ними и их сани, и опять Иван услышал, как знакомо скрипит и шуршит снег под полозьями, будто у самых его ушей.

День и ночь шел поезд — шагом по просекам, на рысях по речным руслам. Как во сне, княжичи проезжали глухие леса, где огромные, прямые, как стрелы, высились сосны, березы и ели. Густыми стенами стояли деревья по берегам рек, еще отягченные снегом, словно вспухшие белыми наростами. По насту, запушенному сверху недавними метелями, пересекаясь и путаясь, тянулись во все стороны звериные следы — и волчьи, и заячьи, и лисьи, и куньи, и соболиные — и широкие выбоины от лосиных копыт, а в одном месте видели княжичи круглые отпечатки рысьих лап.

— Тут она с дерева прыгала,— объяснил Васюк,— на зайца, на птицу ли какую, да промахнулась. Вишь, ни мятева на снегу нет, ни пера, ни шерсти, ни крови...

Днем Юрий переходил в сани к Ивану, и княжичи были до вечера вместе. Третий день уж так ехали, а погода была вёдреная, тихая, совсем без ветра. Солнце пригревало даже в лесу, и с тихим ропотом падали повсюду с ветвей капельки, а снег стал совсем зернистым и блестел на солнце, играя ра́йками, как радуга.

Проехал поезд по реке Шерне, выехал потом волоком на реку Киржач, где монастырь основан преподобным Сергием, а там по льду вверх по Киржачу, до истоков его. Отсюда круто на восток повернули, по мелколесью погнали ко граду Юрьеву Полскому.

Когда из лесов выезжать стали, подошел к княжичам боярин Семен Иваныч, что послал воинов из обители на помощь страже великого князя. Взглянул на него Иван и вспомнил, как Бунко в собор зашел, как отец на него гневался, и молвил тихо боярину:

— Не послушал тата Бунко...

— Так господь судил,— печально сказал боярин. Отвернув полы старого тулупа и показав княжичам рваную рясу, добавил с горечью:— Донага всех злодеи ограбили. Да благо и то, что живота не лишили...

— А где боярин Ховрин?— спросил Иван.

— А бог его ведает,— вздохнув, ответил Семен Иванович.— Вон, видишь, пятно на снегу? Там, у речки Колокши, Боярово

князей Ряполовских. От их вести будут. Старшой-то, князь Иван Иваныч, братьев, как сыновей, держит. Грозен...

— Са-адись, на-а са-ани-и! — раздались крики спереди и, передаваясь с подводы на подводу, покатились по всему поезду.

— На рысях пойдем, — крикнул, убегая вперед, Семен Иванович. — Слава богу, опять дорога накатана!

Поезд обогнул овражек и начал спускаться по пологому скату к руслу Колокши. С каждой пядью вперед ясней и ясней выделялось в снегах село Боярово среди ветел, берез и густого ивняка.

Четко видно Ивану деревянную церковь с погостом, а за ней, перед кучками изб с огороженными дворами, высятся большие хоромы за крепкой бревенчатой стеной. Со двора хорóм тянется змеей отряд конников человек в полтораста. Верхушки шлемов их горят и сверкают на солнце.

— Вои! — закричали кругом, не зная, что делать от испуга и неожиданности. — Вои шемякины!..

Передовые быстро скакали к поезду. Княжичи, сидевшие рядом, переглянулись со страхом и словно оцепенели. Юрий уж не плакал на этот раз, но, побледнев весь, с тревогой спросил старшего брата:

— Схватят они нас?

— Не знаю, — тихо ответил Иван, — а может, то и не шемякины вои, а Ряполовских...

Он сразу оборвал свою речь, узнав среди конников боярина Ховрина.

— Васюк, — радостно закричал он, — вон боярин Ховрин!..

— Ховрин, Ховрин! — пошло по всему поезду, и подводы остановились.

Ховрин тоже узнал некоторых бояр и слуг Василия Васильевича и, подскакав ближе, громко и тревожно закричал:

— Где же князь великий?

Семен Иванович, не слезая с подводы, горестно ответил:

— Пойман князем можайским у гроба Сергиева. К Шемяке его в Москву увезли злодеи! На голых санях...

— К Шемяке?! — с отчаянием вскрикнул Ховрин. — А княжичи где?

— Здесь мы оба, — поспешно ответил Иван, подымаясь из саней в своей монашеской одежде.

— Слава богу, — глубоко вздохнув, молвил боярин Ховрин и, перекрестившись, добавил: — Пощадил еще господь нас в гневе своем...

Опустив голову, он помолчал малое время и, обернувшись к своим конникам, приказал возвращаться ко двору князей Ряполовских вместе с поездом.

Князь Иван Иванович Ряполовский заплакал, когда боярин Ховрин, войдя к нему с княжичами, рассказал, как был схвачен великий князь.

Княжич Иван с истомой душевной смотрел на могучего человека с курчавой седеющей бородой, так похожего на Васюка, и видел, как нет-нет да и вздрогнут широкие плечи князя, а слезы одна за другой катятся по его суровому, неподвижному лицу.

Наконец покривив губы, Иван Иванович глубоко и прерывисто вздохнул, словно глотая рыданья. Отер глаза рукавом кафтана и, приказав своему дворецкому переодеть княжичей, тяжело опустился на скамью у стола, собранного к обеду.

Княжичи в сопровождении Илейки и Васюка пошли с дворецким.

За спиной княжич Иван услышал голос Ховрина.

— Семен Иваныч,— говорил он боярину Василия Васильевича,— пойдем со мной, обряжу тя, чем бог послал...

— Не чем бог послал,— перебил его густой голос Ивана Ряполовского,— а всем, что понадобится. От моего портища обряди...

Дворецкий Ряполовских, старичок небольшого роста, ожидая, пока слуги принесут одежду для княжичей, сбегал куда-то в подклети, принес княжичам медовых коврижек на блюдце, достал потом из-за пазухи барашка из черной обожженной глины со свистулькой вместо хвостика и с ладами на боках.

Юрий с удовольствием взял занятную игрушку и начал насвистывать, перебирая лады. Дворецкий весело закивал головой, по-стариковски засеменил к Ивану и уж запустил снова руку к себе за пазуху, чтобы достать глиняного коня, тоже со свистулькой, но вдруг смущенно остановился. Перед ним был мальчик на вид лет двенадцати, почти одного с ним роста, но глядел на него большими карими глазами, совсем как взрослый.

Взгляд его, суровый и печальный, словно пронизывал дворецкого, и старик оробел, молчал, растерянно улыбаясь.

— А пошто и как сюда Ховрин пригнал?— спросил тихо княжич Иван.— Пошто не упредил нас никто из его охраны?

Не сразу ответил дворецкий, так необычно было ему из уст мальчика слышать такие речи. Васюк, видя это, довольно усмехнулся и подмигнул Илейке, а у того сами губы расплылись от улыбки. Оправился дворецкий и заговорил с Иваном степенно, как со взрослым.

— По то боярин Ховрин пригнал сюды,— начал он,— чтобы моих государей, князей Ряполовских, на рать поднять за князя великого. От стражи своей ловчего Терентьича отпустил он к

обители для-ради упрежденья, а лиходеи шемякины, баит он, схватить уж князя успели...

— Истинно так и было!— вмешался Васюк.— Истинно, Иванушка. От нашей-то стражи, что иа Паже-реке оставлена была, тоже никто не вериулся.

— Токмо я,— воскликнул Илейка,— един я с Клементьевой горы злодеев узрил!

— «Токмо, токмо...»— сердито забормотал Васюк.— Токмо князь наш не готов был да на Буико распалился зря.

— Во-во!— оживился дворецкий.— Вот от Бунко-то князь Ховрин и узнал все. Били его вои великого князя, а Ховрин-то и попытай их, пошто Буико бьют. Ну, тут и уразумел все Ховрин, да сам и погнал к нам.

Княжич Иван замолчал и больше ни о чем ие спрашивал. Одевшись в турский кафтаи с кривым ножом у пояса, пошел ои угрюмый в трапезную. Тяжело ему было и досадно иа отца, а думы бегут разные и тут же разбегаются, и ничего в мыслях собрать он не может.

В сенцах неожиданно приник к иему Юрий и тихо зашептал в ухо:

— Тата прогнал Бунко, а ты бы что сделал?

Иван весьма удивился: брат казался ему все еще маленьким, он только ведь часовник читает с Алексеем Андреевичем. А тут вот смутил его.

— Яз бы поимать велел,— ответил вполголоса Иван, подумав,— распытал бы точно, где Шемяка, да обходными дорогами поскакал в Москву али сюда, к Ряполовским, людей собирать для рати...

Красивые, как у отца, лучистые глаза Юрия вспыхнули и заблестели от восторга.

— Яз бы тоже так сделал,— быстро зашептал он,— сел бы потом иа коня и повел бы полки на злого Шемяку...

В трапезной, где княжичей посадили за стол, иачался уже совет. Говорил старший из Ряполовских, князь Иваи Иванович. Около него сидели братья Семен и Димитрий Иваиовичи, оба такие же могучие, как и хозяин, оба с такими же курчавыми бородами, как и у старшего брата.

Тут же были и боярии Ховрин и Семен Иванович, уже не в рваной рясе, а в цветистом боярском кафтане; были и бояре Ряполовских, и воевода их. Микула Степанович...

— Разумеют бояре московские,— говорил князь Иван Иванович,— чем Шемяка им пакостен. Чужой он нам князь, и бояре московские чужие ему. Своих наведет он и бояр, и детей боярских, и отцов духовных, и гостей богатых...

— Отымет наши села с деревнями,— вставил боярин Хов-

рин,— своим отдаст, а нам хоть отъезжай из своих вотчин в чужие земли, отъезжай из гнезда своего и от могил родительских.

— Своим-то первые места будут,— яростно крикнул боярин Семен Иванович,— из доброго лучшие, а нам — из худого худшие!

Илейка, стоявший у стола рядом с Юрием, не вытерпел и, прожевав кусок баранины, сказал громко и убежденно:

— Сиротам тоже не сладко придется. Чужие-то совсем разграбят животы их и всякое имениишко! Чужие-то не навек придут — жадовать будут: что ни на есть — комком да в кучку, да под левую ручку...

— Вот,— возвысил свой густой голос князь Иван Иванович,— не захочет Москва Шемяку! Не на столе ему там сидеть придется, а на шиле! Не усидит.

Иван Иванович помолчал и стал говорить о сборе ратной силы, о том, как великого князя от Шемяки отбить, о том, как с отцами духовными вместе о неправдах, об изменах шемякиных всему христианству поведать.

Княжич Иван впервые был на княжом совете, и сердце его сильней трепетало, чем на охоте. Словно на коне, гнался он за мыслями разными, то вот догонял, понимал все, то опять терял, но скоро все ясно ему стало, будто трудное письмо он с многими титлами прочел. Только вот, что делать дальше, не знал. Да не он один, а и другие тоже не знали — ждали все, что воевода Микула Степанович скажет. Дело это уж ратное. Микула же Степанович молчал, только лоб его бороздили морщины, да рука седую бороду вокруг пальцев крутила.

Замолкли и другие все, и княжич Иван впился в сухощавого старика с горбатым носом и с длинными седыми бровями, нависшими над быстрыми сверкающими глазами.

— Иного не ведаю,— начал воевода,— окромя как собрать что есть ратных людей и коней, да борзо вместе с княжичами в Муром отъехать, и в граде Муромском сесть за стены. Дородён град-то Муромский и татарами не троиут был. Токмо туда ехать тайно, а оттуда потом вести слать во все стороны. Придут к нам и бояре и ратные люди...

— Все пойдут за великого князя!— крикнул Васюк.— Как в Коломну шли при Юрье Митриче, так и в Муром пойдут! Упас господь бог нам княжичей...

Зашумели все кругом, начались опять разговоры, намечать стали подробно и ратных людей, и припасы, и коней, и кого к чему приставить, и брать ли подводы, или ехать с вьюками только.

— Скорей бы, скорей ехать, Иванушка,— шептал Юрий брату на ухо,— а то настигнет опять нас Шемяка, как тогда в монастыре.

Опять загудел густой голос князя Ивана Ивановича:

— Завтра с благословения божия, после утрени, без подвод, со всеми конниками в Муром пойдем. Поведет нас Микула Степаныч по Колокше вниз до Клязьмы-реки, мимо города Володимера, а там Судогдой до самого верха, а волоком до Ушны, а по Ушне вниз до Оки, от устья-то Ушны всего двадцать верст до Мурома...

Тут стали другие указывать иные пути и дороги, но князь Иван Иванович прекратил разговор.

— В пути Микула Степаныч сам прикажет, где лучше ехать. На поле воевода хозяин. Сей же часец в дорогу снаряжаться надобно,— сказал он и, обратясь к своему дворецкому, закончил:— Гребты тобе, старик, много сегодня будет с нашими сборами...

Глава 11

ПРЕДЕЛ СКОРБИ

В ночь на первый день масленицы, февраля четырнадцатого, привезли в Москву великого князя Василия. Посадили его в нежилую подклеть при хоромах шемякиных, а сам князь Димитрий Шемяка в те поры стоял на дворе Поповкине. Было в подклети той одно лишь окошечко малое, у самого почти потолка — без рамы и задвижки, совсем открытое. В железы закованный, лежал князь недвижимо на лавке и даже пищи не брал. Тоска его давила, словно домовой насел на него, во всю грудь упираясь коленами. Не спал Василий Васильевич, и горше ему было, чем в полоне татарском у сыновей Улу-Махметовых.

Глядел неотрывно он в потемневшее перед рассветом небо, будто в окошечко малое оно вместо слюды вставлено. Видел князь семизвездный ковш, а рукоятка ковша уже круто к земле повернулась — так только под утро бывает. Невольно обо всем этом думается, а перед глазами в то же время, как сны, видения проходят. От самого детства до последнего нынешнего дня все прошло через память, а сердце слезами незримыми набухло, стало тяжести непомерной.

— Зла беда лютая,— шепчет Василий Васильевич,— вскую ты оставил мя, господи?

Плакать, как у гроба Сергия, он больше не мог, и вздохнуть от боли душевной нет сил. Вот встали пред ним, как живые, и княгиня его, и мать, и Иван с Юрием. Захлебнулся от тоски он совсем, как в предсмертный час, и простонал:

— Боже милостивый, упаси их...

Два дня и две ночи в муках провел Василий Васильевич, не зная, что его ждет. Еще больше муки терпел он от обидных речей

Никиты Константнновича, злого недруга, переметчика окаянного.

На третий день, в среду, пришел к нему в подклеть сам князь Днмитрий Юрьевич Шемяка с боярами своими, со слугами и холопами. Сзади же, за боярами хоронясь, был и князь можайский Иван Андреевич. Да и Шемяка не прямо глядел, а только исподтишка на Василия Васнльевича взглядывал.

Гремя цепями, встал с лавкн великий князь, впился глазами в Шемяку, пронизал насквозь. Потемнело лнцо у Димитрия Юрьича, пятна пошли по нему, а глаза его всё книзу смотрят, только ресницы дрожат, словно хотят, да не могут подняться.

Вдруг взгляды их сами встретились, н побледнели оба князя, как мел. Сжал кулаки Василий Васильевич, а у Шемяки, как у коня, ноздри раздулись...

— Вор, вор ты предо мной!— закричал Василий Васильевич.— Проклят от бога, Иуда! Крест целовал лобзаньем Иудиным. Не примет тя Москва, не примет!

Смутился Шемяка, чуя всю неправду свою, но злоба оттого снльней разгоралась. Задрожали у него губы, запрыгали.

— Не яз, а ты — Иуда!— взвизгнул он в бешенстве.— Пошто татар привел на Русскую землю! Города с волостями отдал в кормленье поганым? Татар любишь, а христиан томишь без милости! Совсем отатарился и речь татарскую боле русской любишь!

— Ложь слово твое, окаянный!— вскричал снова Василий Васильевич.— Что есь зла сего злее, как в обете крест целовати и целованье преступати! Оба вы с Можайским лживо пред богом ходите. Волци в одеждах овчих!..

Ворвался в подклеть Никита Константинович, боярин шемякин, а за ним слуги с горящей жаровней, а в ней — прут железный.

— Злодей!— распаляясь и топая ногами, неистово вопил Шемяка.— Ты брата моего ослепил, Василья Юрьича!

Зашумели, закрнчали кругом холопы, сбили с ног великого князя, вцепились в него, как борзые, растянув на полу. Понял все Василий Васильевич, обмер, да не успел и мыслей собрать, как жаром пахнуло в лицо ему — и вдруг зашипел глаз его. Пронзительный крик оглушил всех в подклети, а Василий Васильевич сразу сомлел, словно умер, и не чуял уж, как и другой его глаз с шипеньем вытек...

В Москве Софья Витовтовна вместе с Марьей Ярославной стояла все еще на дворе зятя своего, князя Юрия Патрикеевича. Сам же князь Юрий, воевода московскнй, схвачен был Шемякой и заслан куда-то вместе с княгиней его Марьей Васильевной.

Была на дворе стража шемякина с приставами, но княгинь держали в уважении, хотя разграбил у них Шемяка всю казну и именье. Занимали обе княгини лишь малые хоромы Софьи Витовтовны, а слуг имели тех только, что у старой государыни были, да еще был при них Константин Иванович с семейством и слугами, теснился он внизу хоро́м, в жилых подклетях. Тесно всем было, да в тесноте — не в обиде, все ж на людях своих и сердце не так болело. Вести всякие приходили со всех сторон через верных слуг, не умирала в душе надежда.

Мамка Ульяна да Дуняха, ранее девка, а ныне женка Ростопчи законная, за Марьей Ярославной ходили, как за малым ребенком. Глаза все княгиня проплакала о муже и детях своих, а кроме того, тяжела была уж четвертый месяц.

Днем княгини держались мужественно, а по ночам в опочивальне Софьи Витовтовны обе пред кивотом уж без слез и рыданий, а только со стонами, на полу лежа, взывали они в тоске к богу, ища утешения.

Утром Марья Ярославна, когда Дуняха убирала ей волосы, сидела на стольце резном неподвижно, с опухшими веками, и словно ничего не видела своими большими глазами.

— Свет мой, государыня,— тихо говорила ей Дуняха, надевая волосник,— пожалей собя, княгинюшка, для-ради младенца. Обе с тобой мы брюхаты.

Дуняха вдруг застыдилась, а толстые губы ее расплылись в блаженную улыбку.

— Седни,— зашептала она виновато,— впервой седни, государыня, шевельнулся во мне он. Ручками, ножками толкат... А в тобе, государыня?..

Марья Ярославна печально улыбнулась и тихо промолвила:

— Рано моему-то, Дуняха. Четвертый месяц еще токмо.

Блеснули у нее темные глаза, и скупые слезинки повисли на ресницах. Помолчала она и, сцепив судорожно пальцы, простонала:

— Государя-то, баишь ты, сюда привезли в заточенье. А детки где? Иванушка, Юрьюшка, милые! Ох, тошно, Дуняха, сердцу моему...

Опустила она в тоске голову, забыла все и не слышала, как вошла свекровь вместе с мамкой Ульяной. Осунулась, сморщилась вся Софья Витовтовна, да не сломилась и на этот раз, властно глядела кругом, глаза только глубоко запали.

— Бог милостив, Марьюшка,— сказала она.— Опять испытует господь нас за грехи наши. Говорят, беда вымучит, беда и выучит...

Старая княгиня нахмурилась и добавила с досадой и горечью:

— Токмо не нашего Василья! Скороверен был и есть. Ты ж, до-

чёнька, не плачь на людях. Не наполним моря слезами, да не утешим злодеев и ворогов печалью своей...

— Не нас, сирот, Шемяка, а собя, злодей, в сердце поразит,— сурово сказала Ульянушка.— Животом пред богом, Иуда, поплатится. Ад-то по ём, окаянном, давно плачет, ждет к собе не дождется.

— Истинно,— строго сказала Софья Витовтовна, желая прекратить разговор.— Димитрий-то сам на собя нож точит. Ну, пора нам. Пойдем на молебную. Господь лучше нас рассудит, чему и как быти...

После обеденной трапезы пришел ко княгиням Константин Иванович. Совсем поседела бородка его козлиная, ходит он пришибленный, озираясь со страхом. Всполошилась, глядя на него, старая государыня.

— Что, Иваныч? — скрывая свою тревогу, спросила она.

— Приведут государя сюды,— глухим, дрожащим голосом молвил дворецкий и не посмел больше прибавить из того, что знал.

— Пошто ж к нам приведут? — снова спросила Софья Витовтовна, не спуская глаз с дворецкого.

Замерла совсем Марья Ярославна, и все в покоях затихли, а дворецкий смотрел в землю и молчал.

— Не томи, Костянтин Иваныч,— чуть слышно взмолила Марья Ярославна.

Задрожала бородка у дворецкого, но все же не сказал он, что хотел бы крикнуть во весь голос от боли, а начал совсем о другом.

— Баили мне,— заговорил он наконец,— пошлют государя вместе с княгиней на заточение в Углич, в темницу, а тобя, Софья Витовтовна, в Чухлому зашлют...

Софья Витовтовна перекрестилась широким крестом и сказала громко:

— Милостив еще к нам господь бог: не разлучил мужа и жену. Может, и деток к вам пришлет...

Смолкла вдруг. Увидела в отворенную дверь, что по сенцам люди идут. Солнце в трапезной по стенам и по полу играет, и кажется, в сенцах темно, но сразу по походке узнала сына своего Софья Витовтовна и замерла. Видит, не сам он идет, а ведут его. Вот до дверей довели,— и вошел в трапезную великий князь, простирая руки вперед, как слепец. Кафтан изорван на нем и в крови, а шапка ушастая, малахай татарский, глаза закрывает.

Тишина в трапезной — дыханье слышно людское, но Василий

Васильевич в безмолвии ясно людей чует. Понял, куда привели его, и, сняв шапку, стал креститься.

Окаменели все, как увидели, что у великого князя вместо глаз кроваво-багровая кора спеклась и лицо все опухло. Слышно было, как застучали громко зубы у Марьи Ярославны, и вскрикнула вдруг она, будто ножом ей в грудь ударили:

— Ва-асинька, Василька-а мой!..

Бросилась к мужу, но упала без памяти у его ног, как мертвая. Ощупью нашел ее Василий Васильевич, поднял на руки и с подбежавшей Софьей Витовтовной и с дворецким отнес на скамью пристенную и сел рядом. Обнимал, целовал он княгиню свою и плакал молча, немой словно. А рядом с ним, схватившись за его плечи, забыв всю гордость и силу свою, билась в рыданьях старая государыня, причитая, как женка посадская:

— Сы-ы-но-очек, свет ты мой, сыно-о-очек. Что-о злодеи с то-обой соде-еяли-и...

И непонятное Василию Васильевичу творилось с ним. Затихали его боли душевные, и тоска его запросила слов. Ни жены, ни матери, ни даже солнца, что в глаза ему прямо светило, не видел он, но сердцу все теплей и теплей становилось, будто и сердце ему, как и лицо, ласкало незримое солнце. Удержал он слезы и, обняв свою мать, сказал громко:

— Наказуя, наказа мя господь, но смерти не предаде. Да буди, господи, воля твоя...

После ужина ушли шемякины приставы спать в хоромы княжичей, а на дворе и у входных дверей в хоромы Софьи Витовтовны стражу поставили. Ушли и все слуги в подклети, осталось одно великокняжье семейство.

Обе княгини молчали, говорил только Василий Васильевич, о сестре Марье спрашивал, о воеводах и боярах своих. Отвечала Софья Витовтовна, а Марья Ярославна лежала беспомощно на пристенной лавке, положив голову на колени мужа. Он тихо и нежно гладил руку ее, а она, сомкнув крепко ресницы, боялась на него взглянуть.

— Сестра твоя с мужем засланы злодеем, куда — неведомо,— ровным глухим голосом рассказывала Софья Витовтовна.— Одни бояре твои разбежались, другие пойманы, а разграблены все до единого. Слуги наши доводят, что прочие дети боярские и люди всякие челом били Шемяке, и привел он их к крестному целованию.

Старая княгиня помолчала, шевеля сухими тонкими губами, словно шептала про себя о чем-то, и продолжала вслух.

— Сам знаешь, что люди малодушны и живота ради да

имеиья своего кому хошь крест поцелуют. Токмо едии воевода твой, Басёиок, не восхотел ворогу твому челом бить. Повелел возложнть иа иего Димитрий железы тяжкие н за стражей держать.

— Зиаю сего слугу своего — не предаст государя ои, а н железы не в страх ему. Храбр вельмн н хнтер в ратном деле Басёиок.

— Истинио, сыиочек,— ожнвнвшнсь иемного, отозвалась Софья Витовтовиа.— Костяитин Иваныч довел мне вчера, что с приставом своим бежал Басёиок-то в Коломну и лежнт там по приятелям своим скрыто, сиосясь со многимн людьми втайне для-ради твоего спасеиия...

Задрожалн руки у Василия Васильевнча, и ие мог он от радости слово вымолвить.

— Виноват яз пред господом,— сказал ои иакоиец,— ио ие оставляет он меня своей милостью.

Помолчал он и воскликнул в горести великой:

— Матушка моя родимая! Неразумен яз, гневлив н скороверен! Но в муке сей, очи мон телесны загуби, отверз мне господь очи духовные... Мати моя! Коли угодно будет богу, пакн спасен буду... Отклонн же мя, господи, от ярости скорой н скороверия моего...

Слезы побежали из его пустых глаз, нз-под струпьев багровых, и сказал ои еще горестней:

— Сыне мой Иваие! Надежа моя! Государствованьем клянусь своим и твоим и христианством всем, что, буде воля божия, все содею яз для Руси христианской! Сильиым, могучим передам сыну княжество, как отец мой, Василий Димитрич, и ты, мати моя, его мне дали...

Он тихо сполз со скамьи, опустился иа колеии пред матерью н зарыдал. Гладила голову ему Софья Внтовтовна, а слезы у нее ие шли уж, засохли в глазах.

— Благословн мя, мати моя,— дрожащим голосом продолжал Васнлий Васнльевич.— Увезут тя далече. Яз же одии, без тобя н совета твоего останусь. Но соберу весь разум свой в беде злой...

Всхлипнула вдруг старая княгиня, благословила сыиа н, обняв, зарыдала над ним. Склоиясь к самому уху его, сказала:

— Мыслн деиио н иощно, как ворогов своих избыть, как заступу найти у христиан, а яз о том же помыслю с владыкой...

Перекрестила опять сыиа и добавила:

— Марьюшку слушай. Оиа — глаза твои теперь, а там, коли господь судит, глаза Иванушки твоими глазами будут...

Зашумела в сенцах стража, забелел уж в окнах рассвет, и приставы пришли. Встал с колеи князь великий и молвил с тоской:

— Токмо бы господь упас Ивана да Юрья, и не для нас ради, а для-ради всего христиаиства...

Вошли в покои приставы с воинами и приказали собираться. Указали, к кому какие из слуг княжих определены. Засуетился в хоромах дворецкий Константин Иванович со своими ключниками, но пусто было в подклетях. По-бедному, по-простому собралось княжое семейство и разместилось со слугами в двух поездах: один в Углич, другой — в Чухлому.

Не видит Василий Васильевич ни бела дня, ни близких своих, чует только дрожащую руку княгини своей, что держит его, указуя путь к саням. Опять тоска смертная затомила великого князя, и кликнул он, как малый ребенок:

— Матушка!..

Трясущиеся руки порывисто охватили его голову. Прижимает сына к груди старая государыня, и шепчет он матери:

— В заточенье везут, в темницу, мати моя. Молись с попами по монастырям о спасении моем и об Иване с Юрьем, дабы не пресеклось с ними дело отцов и дедов наших...

— Пошли тобе господь крепости и силы!— перебила его Софья Витовтовна.— Народ-то и церковь святая помогут нам.

Отошла. Зашумели, закричали кругом люди, понукая лошадей и перекликаясь меж собой по делам дорожным. Тронулись вот поезды, а из саней великого князя зарыдал женский голос, зазвенел жалобно:

— Государыня-матушка! На кого покидаешь нас, родимая! На куски мое сердце раскололося, во слезах оно захлебнулося...

Глава 12

ВО ГРАДЕ МУРОМСКОМ

Февраля двадцатого прискакали князья Ряполовские с княжичами Иваном и Юрием в Борисоглебский монастырь, что на реке Ушне. Отсюда в Муром рукой подать — всего верст семьвосемь, не более. В монастыре, отслушав литургию, обедали у отца игумна вместе с воеводой князем Васильем Ивановичем Оболенским, который Бегича, посла Улу-Махметова, захватил, когда тот к царю казанскому назад от Шемяки ехал. Теперь же Василий Иванович в Москву собирался и весьма опечален был новой бедой великого князя.

Стучал он кулаком по столу и зычным, густым голосом проклятья Шемяке выкликал, как приказы на боевом поле перед воинами. Излив досаду свою, сказал он потом спокойнее, но с горечью великой, обращаясь ко княжичу Ивану:

— Запомни, Иване, плохо скороверным да ярным быть! Государю же на государстве, все едино как воеводе на рати,—

что ни делай, а на свой хвост оглядывайся! Не зря бают: берегись бед, пока их нет...

Крякнул старик сердито, осушил стопку крепкого меда стоялого монастырского и добавил:

— Ну, да что! Долги речи — лишняя скорбь. Вынять надо из заточенья князя великого. Да благословит бог почин наш!

— Аминь,— сказал игумен.— Почнем с упованием на господа...

— Обо всем, княже, мы, как подобает, помыслим во граде Муромском,— сурово и многозначительно молвил князь Иван Иванович Ряполовский, обращаясь к воеводе.— Дело-то ратно, а наипаче всего — тайное...

Все встали от трапезы и, благословясь после молитвы у отца игумна, пошли к коням своим, стоявшим уже у крыльца келарских хоро́м.

Садясь верхом, княжич Иван посмотрел, как Юрий ловко в седло вскочил, и подивился меньшому брату. Быстрее его привык Юрий ездить и, хотя ростом еще невелик, а сидит на коне не хуже других. Васюк его хвалит, говорит, что добрый воин будет из Юрия. Доволен Иван, любит он брата, любуется им, а тот, круто повернувшись, подъехал к нему и стал конь о конь. Переглянулись оба ласково, подружились они крепко за тяжелые дни.

Поехали рядом, невдалеке от Ряполовских, а сзади них — Васюк с Илейкой, дядьки их верные. Вместе с Ряполовскими и Оболенский едет, а конников стало теперь вдвое больше.

— Гляди-ка, Иванушка,— радостно сказал Юрий брату,— сколько воев у нас!

— Васюк богом клянется,— откликнулся Иван,— что со всей Руси народ к нам придет. Побьем мы Шемяку.

Дал знак князь Василий Оболенский, и поскакали все разом. Гулкий топот пошел по звонкому речному льду, но скоро стих: вынесли кони всадников на пологий берег и рысью пошли по талой дороге — оттепели начались,— Василий-капельник уж не за горами.

Не успели и пяти верст от монастыря отъехать, как стало видать слободы ремесленников. Илейка не выдержал и, подскакав ближе к княжичам, закричал им:

— В слободах-то мережники тут более живут! Ох, и добрые мережи плетут! Какие у их ставные сети, какие вятеры! А и рыбы в Оке,— что в самой Волге-матушке!..

Вот и Муром весь, как на ладони, на левом берегу стоит. Видно кремль, из дуба рубленный, с проезжими и глухими башнями, а рядом — посад с его концами и улицами.

Снял шапку князь Иван Иванович Ряполовский и перекрестился истово широким крестом, а за ним и все прочие.

Воевода князь Оболенский оглядел знакомые места и сказал уверенно зычным, густым голосом:

— Тут отсидимся. Не токмо Шемяка, а и татары о сии стены зубы сломают.

Недели через две в кремле муромском вечером как-то, когда все уже при свечах и лучинах сидели, зашел в покои княжичей отец Иоиль.

Удивились ему княжичи. С любопытством смотрели они на маленького попика с седой пушистой головкой и с такими густыми бровями, словно усы у него на лбу. Смешной немного попик, чудной какой-то малышка. Но когда Илейка и Васюк с благоговением приняли от него благословение, Иван, толкнув слегка Юрия, тоже подошел к руке отца Иоиля. Попик ласково улыбнулся и, благословив обоих княжичей, сел на пристенную скамью. Усадил потом против себя княжичей, помолчал, и лицо его запечалилось на малое время, но скоро он снова заулыбался и сказал тихо и задушевно:

— Князи Ряполовские теперь вот о вас с воеводами совет держат, аз же вот с вами, дети мои, побеседую. Немало, чай, натерпелись. Все пройдет, не крушитесь, детки. Мы вот тут и князя великого, отца вашего, в плену у нечестивых видели, а когда господь дал, и из полона встречали. Много тогда святые обители и храмы божии на окуп за князя сребра и злата собрали да не менее того дал за него богатый гость Строгонов, а людие божие и того больше дали, особенно сироты и слуги княжии...

— Чем же слуги да сироты церквей богаче и гостей богатых? — спросил Иван в недоумении.

Отец Иоиль заморгал густыми бровями и радостно ответил:

— Разумно, Иване, вопрошаешь, ибо не прошло мимо ушей твоих мое нарочитое слово. Потому, княжич, сироты и слуги более дают, что они кровью своей и самим животом для князя жертвуют! Не забудь сего, Иванушка...

— Истинно, истинно! — разом воскликнули Илейка и Васюк. — Так оно, верно, отец наш! Кто именье и злато, а мы за государя своего живот отдаем...

— Благослови вас господь, чада мои, — молвил отец Иоиль и, обращаясь к Ивану, продолжал: — Отцу своему ныне ты по́мочь, Иванушка, власти его государевой наследник. Мал еще ты, но вельми, не по летам своим, разумен, а посему, чаю, постигнешь мысли мои. Слушайте же оба, и ты, Юрий, — с великим прилежанием и вниманием слушайте, ибо в жребии вашем опять перемена по воле божией. Сюда вскорости за вами приедет владыка рязанский Иона от Шемяки...

Отец Иоиль оборвал свою речь и смолк, увидев, как побледнели оба княжича, а у Юрия задрожали губы. Хотел было попик что-то сказать успокоительное, но большие черные глаза Ивана не по-детски вдруг вспыхнули, стали страшными, и суровое лицо его застыло. Обнял он за плечо брата Юрия и молвил твердо:

— Не обманет нас владыка! Не отдадут нас Шемяке, Ряполовские и Оболенский заступятся...

Вскочил с лавки отец Иоиль, обнял княжича дрожащими руками.

— Что ты, Иванушка, окстись!— воскликнул он.— Владыко-то за вас, детки!

Переглянулись дядьки княжичей, и, нагнувшись, Илейка шепнул Васюку об Иване:

— В бабку пошел, ишь, как строг-то!

Молча стоял княжич Иван и, казалось, спокойно. Сердце же его билось тревожно и гневно: старался он уразуметь слова и поступки отца Иоиля. На целую голову выше был он обнимавшего его попика и, глядя на него сверху вниз, вспоминал слова: «Богу молись, а монахам не верь».

Успокоился отец Иоиль, опустился опять на лавку пристенную и, мрачно сдвинув густые брови, сказал:

— Верь, Иванушка, владыке во всем. Духом ты и разумом не отрок, а яко юноша зело мудрый. Ведай же истину: сел ныне Шемяка злодей на московский стол. Отца и матерь твоих в темницу заточил он в Угличе, а бабку в Чухлому заслал. Мыслит зло и на вас он, на княжичей, да боится отцов духовных, а наипаче владыки Ионы. Не таись от святителя.

— Не отдадут нас князья Ряполовские,— молвил, нахмурясь, Иван.

— Воевода говорит,— вмешался Юрий,— не достанет нас Шемяка в Муроме!..

Отстранив брата рукой, Иван продолжал сурово и твердо:

— Кому же нам верить? Богом клялся ты, Васюк, что со всей Руси помочь нам будет. Ты, отец Иоиль, тоже с нами. Владыка же с Шемякой, а отец, матунька и бабка...

Всхлипнул вдруг громко Иван и, зажав лицо руками, горестно простонал:

— Тата мой! Матунька милая...

Бросился к брату Юрий и, обнимая его, громко заплакал.

Прошло уже много дней. Давным-давно сбежали снега с гор и пригорков, отыграли, отшумели по оврагам ручьями, и Ока уже вся от льда у Мурома очистилась.

Суетится Илейка и радуется рыбацкой радостью.

— Княжичи мои милые,— говорит он, сияя,— лед-то весь на Никиту прошел! Рыбаки тутошни бают, знатный лов рыбы весь апрель и май будет!.. А вот с Василья-парийского совсем весна начнет землю парить, и медведь тогда встает, и заяц лежать бросит, на слуху́ жить будет...

Закружил старик княжичей, и на реку водил, и в поле, и в лес, а Васюк обещал показать, как лисицы из старых нор в новые переселяются. Не раз ходил с ними и маленький попик, что немного повыше Юрия.

Апреля на девятнадцатый день ходили они все вместе по огородам. Теплей стало, сильней пригревает уж солнышко, шумят воробьи, грачи каркают, а на дворах петухи поют. Береза уж вся опушилась, только дуб еще тепла ждет.

Женки цельны дни на огородах, одни морковь и свеклу сеют, другие холсты расстилают, приговаривая весело:

— Вот тобе, матушка весна, но́ва новина́!

Забылись совсем сегодня княжичи, нежась в тепле солнечном, вдыхая прелый земляной дух от вскопанных гряд, но маленький попик почему-то все время в тревоге и все домой зовет их.

— Расскажу аз вам, дети мои, про Царьград,— говорит он ласково.

Не хотелось домой княжичам, но послушались попика. Полюбился им отец Иоиль. Много он занятного знает, и в Царьграде был, и храм святой Софии видел, и ристанья коней, в колесницы впряженных, дважды смотрел.

Когда же вернулись все в хоромы княжичей, запечалился попик и не сразу рассказывать стал.

— Все службы патриаршие, дети мои, удостоился аз зрети,— заговорил он наконец,— а за обедней как диакон допущен был рипиду держать и вместе с грецким диаконом и рипидой своей помавал над святыми дарами.

Жадно слушают его княжичи. Обо всем ведать хотят подробно.

— Пошто же ты в Царьград ездил,— спросил Иван,— и где там коней видел?

— С боярами ездил туда, с вельможами грецкими и отцами духовными, а сам еще млад был, во диаконы токмо был рукоположен. Тетку твою родную, княжну Анну Васильевну, в Царьград мы провожали. Дед твой, покойный государь Василь Димитрич, и бабка, государыня Софья Витовтовна, выдали ее за царевича цареградского Ивана Мануилыча Палеолога. Оный царевич по отречении отца сам царем стал, а тетка твоя — царицей...

Опустил седую пушистую голову отец Иоиль и задумался. Молодость вспомнил и женку-молодку, ныне уж покойную

старушку свою Сосипатру. Только женился тогда он, а владыка пркказал с княжной Анной в Грецию ехать.

— Ох н плакала Сосипатрушка,— невольно вымолвил вслух он и, смутившись, пояснил торопливо:— Жена моя, мать диаконица. Деток вот господь нам не дал!..

— А где они в Царьграде на конях скачут?— нетерпеливо перебил его Иван.— Какие у них колесннцы?

Отец Иоиль вздохнул, медленно перекрестился н прошептал:

— Царство тобе небесное, раба божня Соснпатра...

Опять спокойно н ласково стало лицо его, н, обратясь ко княжичам, продолжал рассказ свой.

— Есть в Царьграде поприще великое, деревами обсажено,— говорил попик негромко,— как бы подковой в длину растянуто. Вокруг поприща изрыты ступени нз земли и камнем выложены. Тут сиденья народу нзготовлены, чтобы глядеть на ристания. У концов подковы — стойла для коней н колесниц, н протянута веревка. Народ-то как обсядет кругом поприще, шум и плеск пойдет, и крики, и ругани, н смех. Рнстателн же на колесницах своих у веревки ждут. Одни все в белом, другие в красном, а более всего ристателей в зеленом н голубом. Сие н есть рнсталище конское, а по-грецки — гипподромосом нменуемо.

— А чего ждут-то рнстатели,— спросил Иван,— н пошто веревка протянута?

— Знака ждут,— продолжал отец Иоиль,— а знак-то с еллинской хитростью содеют. Перед стойлами там каменной столб врыт, а на столбе орел медный. И как орел сей кверху подымется сам...

— Как сам?— с удивлением вскрнкнул Иван.

— Сам, Иване,— строго повторнл попик,— хитростью велней так в столбе все изделано, что на рожне тонком сам орел подымается. Когда же подымется орел, сразу все тьмы народа стихнут, а стражи враз веревку отдернут, и трубы затрубят, а кони с колесницами, пыль подняв, поскачут все враз. Стук от копыт, ржание, а от колес грохот великий. Рнстателн же, стоя на колесницах, сами четверкамн правят. Тут кто за кого кричит: тот за белых, тот за алых, но более всего за голубых н зеленых крнчат...

Конн же с колесницами мимо сндящих скачут к полукружью подковы. Обогнут другой столб там н сызнова мчат к стойлам, а от стойл пакн к полукружью. Так двенадцать раз проскачут, всячески тщась одни других обогнать, и тот из них победит, кто первее всех в двенадцатый раз к столбу с орлом достигнет...

— Ишь ты!— воскликнул Илейка.— Все едино, как у татар в праздник байрам бывает!

— Токмо у татар,— поправнл его Васюк,— верхами скачут.

Далеко в степь гонят, из очей скроются, а потом назад! Они, татары-то...

Васюк смолк и почтительно поклонился князю Димитрию Ивановичу, младшему из Ряполовских. Князь был тревожен и молча принял поклоны и благословение отца Иоиля. Потом, оглядев всех, сказал угрюмо:

— Идите в трапезную, владыка Иона приехал.

Княжичи как будто не испугались, но побледнели оба и крепко взялись за руки. Дядьки их встревожились, а отец Иоиль быстро подошел к княжичам и, крестя их частым крестом, зашептал горячо:

— Благослови вас господь, укрепи своей крепостью, спаси и помилуй!

Иван взглянул на попика и, увидев мелкие слезинки на глазах его, смотревших с любовною жалостью из-под белых бровей, крепко поцеловал благословлявшую его руку.

В трапезной были все в сборе, и на почетном месте спокойно и величаво сидел владыка Иона в епископском облачении и в клобуке. Высокий посох его держал служка, стоявший позади владыки.

Ряполовские, Оболенский, не смея сесть, почтительно, в великом смятении и тревоге, окружили Иону. Старший из князей, горячо говоривший о чем-то владыке, быстро обернулся при входе княжичей и воскликнул:

— Вот они, дети государя нашего! Ты же — отец наш духовный! Рассуди и обмысли. Будь жив митрополит Фотий, не посмели бы злодеи с государем сие учинить. Где же ныне десница церкви святой?!

Владыка Иона ничего не ответил. Большие светлые глаза его остановились на княжичах. Боязно стало Ивану от ясного лучистого взгляда. Благословив отца Иоиля, сказал владыка тихо, все еще не отрывая глаз от княжичей:

— Подойдите ко мне, дети мои.

Юрий, заробев, спрятался за брата, но Иван медленно подошел к святителю, не опуская глаз перед ним, хотя и испытывал какой-то страх. Хотел видеть он, нет ли зла и неправды в лице владыки. Иона улыбнулся и, благословив Ивана, сказал:

— Боле, чем отец твой, подобен ты, Иване, деду Василью Димитричу, и с бабкой схож ты. Ни в горе, ни в страхе разума не теряешь, а все уразуметь хочешь и сам испытать.

Иван смутился, вспомнив слова отца Иоиля, что владыка Иона в мыслях читает, и молчал. Благословив Юрия, потом Илейку и Васюка, владыка опять обратил на Ивана глаза, прозрачные, как у мамки Ульяны.

— Отче,— робко вполголоса сказал Иван,— боюсь Шемяки...

— Сам ли так мыслишь, или от старших слышал?— спросил владыка.

Вспомнил Иван Сергиев монастырь, когда прискакали туда шемякины воины с князем можайским, вспомнил о бабке и матери. Захотелось ему снова кричать и плакать, но, овладев собой, молвил он с трудом:

— Видел, отче, сам, как тату из собора тащили... Ныне ж, мне сказывали, в темнице он с матунькой, а ты от Шемяки за нами приехал... Нет ниоткуда нам помочи, зло лишь одно...

— Сие так и есть, Иване,— перебил его владыка,— сие так, к прискорбию нашему, а может быти и горше, ежели господь не помилует. Но, опричь милости божией, надобно самим нам все с разумом деяти, ибо как душа бессмертная, так и разум от бога нам дадены...

Владыка помолчал и, обратясь к князю Ивану Ряполовскому, добавил с горечью:

— Прав ты. Нет у нас митрополита, и без главы церковь русская. Аз же есмь токмо нареченный, но не рукоположенный митрополит. Посему вот и дитя сердцем своим чует токмо зло на Руси. Вы же, мужи брадатые, того не разумеете, что когда одно злодеяние без препоны свершилось, то и новое паки может совершиться. Войска у вас мало, где же вы силы возьмете, ежели князь Димитрей полки свои пришлет к Мурому?

Переглянулись в смущенье князья Ряполовские и воеводы, понимали они, что за одними стенами без силы человеческой не спасешься. Известно им было, что приверженцы великого князя — шурин его, князь Василий Ярославич, и воевода московский, князь Семен Иванович Оболенский,— бежали в Литву, а к ним потом прибежал и другой воевода Василия Васильевича — Федор Басёнок, а царевичи татарские, Касим и Якуб, были неведомо где...

— Благослови нас, владыко, думу думать,— сказал главный воевода, Василий Оболенский,— а сего ради повтори нам еще раз, что Шемяка сулит и в чем крепость слов его?

Иона, помедлив немного, ответствовал:

— Вникните в речи мои, ибо добра и блага хочу великому князю Василь Василичу и семейству его. Митрополит Фотий за великого князя с отрочества его радел и в борьбе за московской стол был за Василья Василича и против его дяди, Юрья Димитрича Галицкого. Так и аз ныне со всей святой церковью выступлю против Шемяки, сына князя Юрья. Ведомо сие Шемяке, и, думая лихо на княжичей сих, страх он имеет пред народом и отцами духовными. Посему призвал меня он на Москву, обещал мне митрополию, дабы помочь ему противу гнева народного и дабы

крепче ему на Москве сидеть. Призвав же мя, так начал глаголити мие: «Отце, плыви иа ладьях, благо реки оттаяли, в епископию свою, до града Мурома, и возьми тамо детей великого князя на свою епитрахаль[1], привези их ко мне, а яз рад их жаловать. Отца же их, великого князя Василья, выпущу и вотчину дам ему достаточную, дабы можно ему с семейством жить, ни в чем нужды ие ведая». В том пред богом мне клятвы дал.

Поклонились молча владыке Оболеиский и все Ряполовские и молча же пошли к дверям. Грустио смотрел им во след владыка Иоиа. Видя и слыша все это, снова стали тревожны княжичи. Опустив головы, стояли они, не двигаясь, около дядек своих, позади маленького попика Иоиля...

Когда ушли все, владыка взглянул светлыми своими глазами на княжичей и на отца Иоиля, и ласков был взгляд его.

— Сядьте,— тихо молвил он и, закрыв глаза рукой, оперся на стол, будто в дреме от дорожной усталости.

Затаились все в трапезной, а пред очами владыки, словно сон и видения, понеслось все, что видел он на Руси и о чем думал со скорбью и мукой.

— Как святитель Фотий в завещании пишет,— без слов шептали его губы,— так и мне от святительства непрестанно горечь едина от слез и рыданий, от трудов и тягостей...

Вспомнилось, сколько Фотий муки принял, утверждая на престоле московском малолетнего князя Василия. Побороли тогда дядю его, Юрия Димитриевича, а ныне вот Юрьичи растерзали всю Русь усобицами, а кругом татары еще крепки. У самого края земли русской засели ливонские рыцари, и далее враги есть — шведы, а тут литовцы и поляки, еретики-униаты, из-под руки папы все время православью грозят.

Вздохнув, владыка о великом князе вспомнил и опять зашептал безгласно, одними губами:

— Добр, ласков и чадолюбив, а в злобе яр иепомерно. Очи Косому вынул, ныне вот самого господь наказал. Как дитя малое, токмо то ведает, что круг иего, а вдаль и смотреть ие хочет — и не от скудости разума, а из прихоти своей...

Губы владыки перестали шевелиться и дрогнули мимолетной улыбкой.

«В одном господь укрепил его разум,— подумал он с умилением.— Тверд в вере православной, не то что цари и патриархи цареградские. Не склонил его ни папа Евгений, ни папист богомерзкий Исидор...»

---

[1] «Взять на епитрахаль»— значило взять под покровительство церкви.

И вот опять словно сны и видения пошли пред очами владыки. Видит он себя после избрания в митрополиты всея Руси в самом Цареграде. Вот в роскошном дворце он каменном, где иконы и картины святые и красками по стенам и потолку писаны и из малых разноцветных камешков дивно составлены, а очи у всех святых, как живые, глядят и, когда идешь, вслед тебе смотрят неотрывно.

Царя грецкого видит в багрянице пышной, в короне и золоте, и царицу, княжну бывшую, сестру князя Василия, Анну Васильевну. Ласковы они, и патриарх цареградский тут во всем облачении, и тоже ласков, как греки умеют, когда им надобно это.

— Верил им,— шепчет Иона,— а не ведал тогда, что в латыньство поганое они уж склонялись и веру свою предать готовы уж были...

Помнит владыка всю горечь свою, когда царь и патриарх, отпуская его с честью, говорили с лицемерием великим:

— Жалеем, что, ускорив поставить митрополитом русским грека Исидора, тебя, русского, не утвердили. Но пред богом тебе обещаем митрополию русскую, как токмо она опразнится...

Знал теперь Иона, что царь и патриарх к восьмому еретическому собору тогда готовились, к папе Евгению склонялись, помощи его искали против турок...

«Но не помог им господь,— думает владыка,— не постигли они разумом своим человеческим разума божия; не постигли, что волею божию кругом их творится...»

Владыка отнял руку от глаз и оглядел трапезную.

— Подремли, владыко,— сказал ему отец Иоиль,— подремли еще, а то и очей сомкнуть не успел, как сызнова бодрствуешь. Устал ты от пути трудного...

Улыбнулся владыка и молвил приветливо попику:

— Не дремал аз, отец Иоиль, а Царьград нечаянно вспомнил. И ты бывал там, знаешь град сей. Не нужны нам неверные греки, яко папист Исидор. Нужны нам свои епископы, русские, дабы отечество их тут, у нас, на Руси было, а не в Царьграде, дабы русским, а не грецким государям помочь от них была.

Умилился попик и громко воскликнул:

— Истинно, владыко! Токмо не одни епископы русские надобны, но и патриарх московской и всея Руси!

Улыбнулся владыка радостно, когда братья Ряполовские с Оболенским Василием Ивановичем входили в трапезную. Поклонясь земно, стали они строго и чинно, важное дело творя и ответ свой перед отечеством помня. Встал и владыка, встали княжичи и все прочие.

Выступил вперед князь Иван Иванович, как старший брат, и, владыке опять поклонясь, сказал:

— Верим тобе, нареченному митрополиту нашему. Как попам и епископам глава ты единая, так и князь московской у нас на Руси единая глава над всеми князьями. Знай посему, хотим мы злодея Шемяку, вора пред государем своим, согнать со стола московского. Верим тобе, владыко. Завтра после заутрени возьми на епитрахиль княжичей. За них твой ответ пред нами и господом. Мы же поедем с тобой, одних княжичей не отпустим...

Помолчал князь Иван Иванович и продолжал с горечью:

— Сам ты ведаешь, смуты кругом, междоусобия великие, а в церкви православной — еретичество. Думу думая, мыслили мы, ежели тобя не послушаем, пойдет Шемяка на нас войной, град возьмет, а княжичей захватив, что хочет, то и сотворит с ними, как и с отцом их и всеми нами. Верим тобе мы, владыко, токмо не дерзнем без крепости отпустить детей князя великого.

— Завтра же,— сказал владыка Иона,— буду аз с вами в соборной церкви Рождества пресвятыя богородицы и с пелены богородичной на свою епитрахиль возьму их. Бог нам свидетель, все мы за правое дело. Да поможет нам господь!

Владыка, обернувшись к иконам, перекрестился широким крестом.

— Аминь,— ответили все, вслед за отцом Иоилем, и тоже закрестились на образа.

— Верите вы мне,— продолжал владыка,— верю и аз вам, благочестивые и верные чада мои! Первее всего надобно нам на Москве государя всея Руси, вольного, а не по ярлыку царя ордынского. Будет у нас свой царь; будет свой, ежели не патриарх, как отец Иоиль хощет, то митрополит свой, не от греков, а от собора своих святителей русских рукоположенный. Ныне же патриарх цареградский склонился к ереси латыньской, а митрополит наш, как ведаете, осьмой собор принял и веру отцов наших еретикам предал!

Обратясь к княжичам, он добавил:

— Для сего ради за отца вашего и церковь православная и все людие подымутся и глас свой возвысят. Чует сие Шемяка, оттого и слабость его. Запомните все, что было с вами. Подрастете когда, уразумеете, чего теперь осмыслить не можете...

На другой день, еще до звона к заутрене, потянулся народ толпами из кремля и со всех концов посадских к соборному храму Рождества богородицы. Никому ни о чем объявлено не было, а все знали, что происходить будет в соборе муромском.

День начался солнечный, и скворцы у всех скворечниц так из себя и выходили, и стоял над городом непрерывный птичий гам, пока колокола не загудели, заглушив благовестом и пение

птиц, и говор людской, и топот конский, и даже грохот и скрип телег.

Битком набито было народа в соборе, когда княжичи Иван и Юрий, в сопровождении Ряполовских, Оболенского, бояр и детей боярских, вошли в храм. Илейка и Васюк неотлучно были при княжичах и шли позади них, впереди князей и бояр — боялись они даже на миг краткий отойти от питомцев своих, особенно на многолюдстве таком.

— Богу и государыне Софье Витовтовне клялся я за них,— сурово и твердо сказал Васюк Ряполовским,— а посему ни я, ни Илейка шагу от них не отступим...

Навстречу княжичам вышел отец Иоиль, подвел их к левому клиросу и поставил перед образом богородицы, у самой пелены подиконной, золотом шитой и жемчугом низанной. Тут же и сам стал он позади княжичей, рядом с Илейкой и Васюком.

— На колени станьте,— сказал отец Иоиль княжичам и, когда те стали, накрыл им головы пеленою подиконной от образа богородицы.

Опять беспокойство и тревога затомили княжичей. Горестно переглянулись они под пеленой, и Юрий, крепко схватив Ивана за руку, шепнул ему с трепетом:

— Страшно, Иване! Одни мы тут брошены...

Сжалось сердце у Ивана, и почуял он всю правду слов Юрия и в тоске своей еще больше пожалел и себя и брата. Понимал он теперь: что хотят с ними, то и сделают, но, брата жалея, сказал твердо:

— Ничего, Юрьюшка, не одни мы, Илейка да Васюк с нами, Ряполовские да и сам владыка...

— Боюсь яз владыки,— торопливо зашептал опять Юрий,— а вот отец Иоиль любит нас...

— Молись, Юрьюшка, бог нам поможет,— прервал его Иван,— а та́мо и тату и матуньку увидим, а с ними и бабку найдем...

Он смолк сразу и закрестился порывисто и страстно.

— Господи, Исусе Христе, богородица пречистая, ангелы святые и угодники,— шептал он громко, не так, как учили его молиться, а как мамка Ульяна молится,— спасите тату и матуньку, бабку и нас с Юрьем! Господи, спаси и помилуй нас, грешных...

Он сам не сознавал, что говорит, но весь стремился к неведомому всемогущему богу, который может все чудеса творить, будь только воля его. Юрий тоже крестился и шептал что-то, как и брат его.

Вдруг пелена, скользнув по головам княжичей, открылась, и попик Иоиль, взяв их за руки, повел к амвону, где в полном святительском облачении, в золотой митре с камнями само-

цветными, с золотым иаперсиым крестом иа груди стоял владыка Иоиа.

Лицо у иего было просветлениое, ио все же строгое, как у святых иа икоиах. Вплотную подвел к иему княжичей попик Иоиль и шепнул:

— На колени, дети мои...

Княжичи враз опустились иа колени, очутившись у самых иог Ионы. Ои иакрыл их обоих своей епитрахилью. Стихло все в церкви и замерло, и почувствовал Иваи, что руки дрожат у иего и холод бежит по спиие.

— Господь и бог мой!— вдруг громко и четко прокатился под сводами церкви голос владыки.

Вздрогнул Иваи, и почудилось ему, что вместе с ним вздрогнул и Юрий, вздрогнули, казалось, и все Ряполовские, и Оболеиский, Васюк, Илейка, отец Иоиль, и воииы, и сироты княжие, и все люди посадские. Волиение пошло иезримое и иеслышимое во всем храме, да и самый голос Ионы пресекся вдруг.

Но вот опять звучат слова его громко и страстио:

— Пред лицом твоим, господи, беру отроков сих иа епитрахиль свою епископскую, под защиту церкви святой твоей! Иисусе Христе и пречистая мати, заступница иаша, заступите и спасите иевиииых сих, дабы с отцом своим, князем великим Василием, и с великими княгинями во здравии и благополучии соедииились. Изведите из темницы злой государя нашего...

Сиова пресекся голос владыки, а в храме стоиы пошли и рыдания жеиские, и с ними заплакали вдруг княжичи, колебля епитрахиль своими рыданьями.

Пришел в себя Иваи, когда владыка, сияв епитрахиль, благословлял их. Попик Иоиль отвел княжичей опять иа клирос. Народ же стоял в храме и ие расходился, и выступил вперед князь Иваи Ряполовский и сказал, чтобы все слышали, обратясь к владыке Иоие:

— Отче святой! Отдали мы тобе детей великого князя, иа патрахиль твою. Ты и церковь ныие за иих пред богом в ответе. Мы же здесь, в храме, пред тобой и пред богом кляиемся, живота ие щадя, князю великому и детям его служить. Ежели ты не упасешь их, то мы и все люди ратью пойдем иа Шемяку, за государя и княжичей сих свои головы сложим!..

— Будем биться со злодеем!— загудели голоса в церкви.— Со всей Руси пойдем иа Шемяку!

— Вы, отцы духовиые,— крикнул нз толпы какой-то могучий старик в лаптях,— против злодеев с крестами, а мы, сироты,— со стрелами да кольями,— смуту бы они ие сеяли! Христиаискую бы кровь ие лили, иас бы не зорили ни грабежом, ии полоиом...

Глава 13

У ЗЛОГО ВОРОГА

Плыли от Мурома на трех ладьях больших: на одной — владыка Иона с княжичами, на другой — Ряполовские и воевода их, Микула Степанович, а на третьей, самой большой,— стража, да везли еще пшено и всякую кладь дорожную для конников — их сотни две было. Ехали конные берегом, поотстав немного от лодок, а впереди, дорогу разведывая, дозор скакал из десяти воинов. До устья Ушны по Оке на веслах шли, а от устья, вверх по течению, бечевой кони тянули ладьи до самого вóлока у верховьев правого притока Ушны. Тут, выгрузив из лодок все, волокли ладьи конской запряжкой на слéгах и ветлýгах верст десять до первого правого притока Судогды, а потом опять на веслах шли до самого Владимира, что на Клязьме. Здесь остановки не делали, а поплыли вверх по малой Нерли и дальше по Каменке, прямо к Суздалю.

Утром ранним мая в первый день, когда сироты в поле зябь боронить начинают, сошли все с лодок недалеко от Суздаля и пошли пеши к Спасо-Ефимьеву монастырю. Владыка же Иона и княжичи на ладье своей остались со стражей, а конники, вброд перейдя Нерль выше Каменки, придвинулись к лодкам поближе. С ними был и Микула Степанович, а дозорные, по его приказу, вперед поскакали в обитель с вестью о владыке.

Княжич Иван стоял вместе с Юрием на корме лодки и жадно глядел окрест, следя за указаньями Васюка.

— Тут вот, Иване,— говорит тот,— полагать надобно, к монастырю ближе и бои были. Помнишь, как бабке твоей Ростопча да Фёдорец Клин сказывали. Тамо вон, где мы плыли, ниже Каменки, поганые, видать, через Нерль плавились...

Вдруг сжалось сердце Ивана от боли, и ясно так, словно снова увиделось все, что в Москве тогда было. И сотник Ачисан ему представился, и бабка, что кресты тельные в руке крепко зажала, и тихий, но страшный вскрик матуньки, и тату он вспомнил, каким в последний раз видел его в голых санях, в полушубке старом, когда он ехал к Пивной башне, в окна глядел и словно ничего не видел...

— Шемяка проклятый!— резко и громко сказал он.— Хуже и злей ты Улу-Махмета!..

— Иване, Иване,— послышался голос из-под лодочного навеса,— держи сердце свое. Не гневи ты Шемяку, когда предстанешь пред ним. Ежели любишь отца и матерь, не гневи их ворога злого, дабы горшего зла не сотворил он им...

Вышел владыка Иона из-под навеса и, положив руку на плечо княжича, продолжал:

— Претерпи, отроче мой, и господь нам поможет. Имей разумение о том, что постигать надо умом волю божию. И среди наитяжких бедствий и горестей разумом и крепостию духа зло преодолеть можно и пути ко спасению обрести. Гневливость же токмо разум темнит.

Сразу тепло и спокойно стало Ивану от слов владыки, вера в душе затеплилась. Так всегда дома у него бывало от бесед с бабкой. Улыбнулся он по-детски доверчиво и, посмотрев прямо в светлые глаза владыки, тихо сказал:

— Отче, помоги татуньке...

Гул колоколов от обители покатился по всему полю, а из монастырских ворот вышли священники и монахи с хоругвями, иконами и крестами, а сзади них ехали сани для Ионы, нареченного митрополита московского и всея Руси. Ризы, кресты и оклады икон сверкали на солнце, пение же церковное, сливаясь со звоном, шло к самому сердцу княжича Ивана. Все поснимали шапки и закрестились, а конники спешились. Владыка Иона вышел с княжичами на берег. Попы и диаконы окружили их и, держа в руках своих древнюю икону Корсунской божьей матери, запели благодарственный молебен о благополучном прибытии.

Путники, не заезжая в Суздаль, остановились всем поездом на один день ради отдыха в Спасо-Ефимьевом монастыре. Отслушав литургию, владыка Иона, княжичи и Ряполовские с Миколой Степановичем обедали у игумна в келарских покоях для почетных гостей. После же обеда владыка захотел отдохнуть, а княжичам разрешил с дядьками их ходить свободно по всей обители и по всем стенам пройти монастырским, осмотреть башни-стрельни и мосты подъемные.

Стены у монастыря широкие — телега проедет свободно вдоль бойниц и стражу не зацепит. Это не удивило княжичей — московские стены куда шире! Любопытнее им было на поле посмотреть, что тянется возле речки Каменки. Остановились они над главными воротами у бойниц самой большой стрельни.

— Видать ли отсюда, Васюк,— обратился Иван к своему дядьке,— где отец бился с татарами?

Васюк стал приглядываться и, говоря неуверенно, показывал всей рукой:

— Может, вон тамо, ближе к Суждалю, а может, вот тут, к нам поближе. Не было меня тут, как же я тобе могу истину поведать?

— Тут вот, тут, к нам ближе,— быстро заговорил старый монах, выходя из соседней бойницы,— меж Нерлью и Каменкой...

Монах поклонился и, обратясь к Васюку, спросил:

— Дети великого князя?

Васюк утвердительно кивнул головой, а монах снова поклонился княжичам и сказал:

— Здравствуйте, дети мои, да сохранит вас господь. Не подходите ко мне под благословение, ибо не имею на то благодати. Лекарь аз в обители, инок Паисий, а был воем у деда вашего. Великого князя Василь Василича с издетства знаю, здесь же ему раны врачевал, когда в полоне у татар он был. Вас же, внуков Василь Димитрича, увидеть мне сладостно...

Старик ребром приложил ладонь к глазам от солнца и внимательно разглядывал княжичей.

— А ты видел,— спросил его Иван,— как бились они?

— Вот с сей самой башни видел,— оживляясь, заговорил отец Паисий.— Побегли вдруг поганы да бегут-то, порядок не руша. Наши же, словно куры в огороде, разбрелись во все стороны — кто за татарами гонится, кто убитых да раненых грабит, а кто ни туда, ни сюда, сам не знает, что деять...

Старик досадливо пожевал беззубым ртом и строго добавил:

— Вижу, дело недоброе! Понимаю хитрость неверных, хочу наших упредить, а бежать не могу — стар. Ищу кликнуть кого, дабы великому князю весть скорей дать, и вижу — поздно уж! Татарские конники кругом заворачивают и сбоку на наших ударили. Нарочито наших заманили, поганые! Смяли пеших, а конников окружили со всех сторон. Закрыл аз глаза, молитвы господу о спасении читаю, гляжу опять, а уж князь великой вместе со своими тремя конниками окружен. Рубятся крепко, а потом двое с конем наземь сбиты и токмо один ускакал прочь с рукой отсеченной.

— Федорец Клин,— вставил Васюк.— Правду он баил, когда ответ держал перед старой княгиней...

Иван и Юрий жадно слушали Паисия и ждали, что дальше он скажет о битве. Но старик опять медленно пожевал губами и строго проговорил:

— За грехи наказал нас тогда господь. Из-за усобиц все. Ладу нет у князей, а зависть и зло на великого князя. Из удельных же да из бояр тоже всяк токмо своей пользы ищет, а о сиротах заботы нет. Мутят князи да бояре,— всяк своего князя хочет, дабы от своего-то прибыток ему был. Токмо сироты одни за великого князя, ибо не хотят разоренья и полона...

— Потому,— вмешался Илейка,— что сиротам все одно от кого идет разоренье: от татар ли, от удельных ли. Потому, пока сильна Москва, и сиротам покой и жир!

— Истинно, истинно,— отозвался Паисий,— а удельные-то зорят хуже татар. Помните, княжичи: дед ваш, Василь Ди-

митрич, крепко в кулаке удельных держал! Грозный был государь. А отец-то ваш вон в какую беду попал...

Отец Паисий что-то еще хотел добавить, но Васюк знаком остановил его и, отведя в сторону, сказал на ухо:

— Про ослепленье-то не ведают княжичи. Не велено им сказывать.

Паисий, не подходя уже больше к княжичам, поклонился им издали и сказал:

— Помоги вам господь, дети мои, сохрани и помилуй вас.

Из Суздаля нареченный митрополит Иона и княжичи в монастырских колымагах поехали, а князья Ряполовские на телегах. Ладьи же в Рязань назад отослали, ибо оттуда, из своей епископии, владыка их взял, отъезжая к Мурому.

Хотя весна была ранняя, и соловьи запели, но земля в лесах не провяла — вязли кони и колеса на лесных дорогах. Двигался владычный поезд медленно — пешие и те его обогнать могли. От обеда до темна всего-навсего двадцать пять верст проехали и в селе Иванове ночь ночевали. С рассветом потом выехав, к обедне лишь прибыли в Юрьев Полской, а из Юрьева до Переяславля Залесского, верст шестьдесят, опять с ночевкой в деревне Выселки, ехали и мая шестого в полдень у самого уж града были.

Увидали снова княжичи золотые маковки Спасо-Преображенского монастыря в гуще лесной и ясную гладь озера Клещина. На полях же, к посадам ближе, женки и девки, горох сея, пели, крестясь, слова заклинания:

Сею, сею бел горох,
Уродись крупен и бел,
Сам-тридесят!
Старым бабам на потеху,
Молодым ребятам на веселие!

День стоял солнечный и лазурь небесная вся сияла хрустальным синим блеском, чистая вся, без единого облачка. Темнея точками в сини небесной, трепетали жаворонки, звенели, как рассыпанные бубенчики, подымались ввысь и снова к земле спускались. Светло, тепло и радостно кругом, а Ивана охватила тоска. Вспомнил он, как жили они тут с матунькой и бабкой, ожидая отца из полона. Почудился ему ясно так осенний сад с облетевшими листьями и багровыми кистями рябины, словно наяву привиделся бурьян за конюшнями, где он с Данилкой щеглов и чижей ловил. Вспомнились клетки, что вносили в саду с их крылатыми пленниками. Дарьюшка...

Опять гулко, как у Ефимьева монастыря, зазвонили колокола, но теперь встречал владыку Спасо-Преображенский монастырь у самого града Переяславля Залесского.

Переглянулись княжичи украдкой, меняясь в лице. Прижался Юрий к брату и прошептал чуть слышно:

— Шемяки боюсь...

Иван не ответил и тревожно взглянул в глаза владыки Ионы. У того дрогнули губы, но ничего не сказал он, а только перекрестил обоих княжичей и сам перекрестился молча.

Встречали Иону и княжичей многолюдно и торжественно, в облачениях праздничных и с хоругвями, ибо извещены были гонцами за час до приезда колымаг. Однако видел Иван, что нерадостны были лица у клира церковного, да и сам Иона был сумрачен. Друзья тут всё были, знакомые — многих из них узнали княжичи, ибо монастырские бывали много раз в хоромах великокняжеских, а игумен не раз у них в крестовой и утреню и молебны служил.

С горестью и тревогой все на княжичей смотрят, и нехорошо от этого на сердце у Ивана, да и Юрий чего-то боится и жмется все к брату. Едва вошли гости приезжие в келарские палаты, как туда гонцы прибежали от князя Димитрия, а с ними на коне приехал и любимец шемякин, дьяк его Федор Александрович Дубенский, и челом бил владыке и княжичам с просьбой на обед пожаловать к его государю.

— Тобя, владыко, и княжичей, узнав о благополучном прибытии вашем, молит к столу своему государь мой, великий князь Димитрей Юрьич,— ласково и почтительно сказал дьяк, подходя к благословению святителя.

Острым взглядом владыка Иона пронзил его, и смутился дьяк и поклонился низко.

— Тобе все ведомо,— сказал он строго,— и если есть вокруг князя Димитрия его доброхоты и умные советники, то пусть разумеют, что дозволено богом и что не дозволено. Есть суд божий за гробом, но ранее того есть рука казнящего за зло и на земле...

Ряполовские стояли в глубине хорóм и, не подходя близко, глядели исподлобья на дьяка, но Дубенский не знал их в лицо и не полагал, что приехать сюда, в Переяславль, посмеют. Владыка же, по сговору с ними, слова о них не молвил и, собравшись, вышел с княжичами на монастырский двор, где ждала их колымага князя Димитрия Юрьевича.

Дорогой, видя смятение отроков, владыка сказал им:

— Дети мои, не бойтесь, ибо вы на епитрахили моей. Верьте, что обещал пред богом, то я сотворю. Соединю вас с родителями, а там уж воля божия.

— Увидим мы тату н матуньку? — твердо и требовательно вопросил Иван, не спуская глаз с владыки...

— Как ни решит князь Димитрий, — ответил вполголоса Иона, склонясь к детям, — а все же у родителей своих вы будете. Не бойтесь, уповайте на бога. Вот мы уже в хоромах шемякиных, будьте добронравны и вежливы, как княжичам надлежит. Не гневнте князя Димитрия, нбо, паки реку, гнев княжой — горшее зло для роднтелей ваших н для вас всех...

Колымага остановилась у хорóм, а князь Димитрий Шемяка, сойдя с красного крыльца, сам помог выйти владыке н с торжествующей, радостной улыбкой оглянулся на княжичей, которым Илейка и Васюк помогали сойти на землю с высокого кузова колымаги.

«Как волк на агнцев облизывается, — подумал владыка Иона, заметив взгляд Шемяки. — Помоги мне, господи».

— Не чаял, что дождусь тобя, — весело заговорил Шемяка, прнняв благословение, и, обернувшись к княжичам, добавил: — Радуюсь приезду вашему, племянники милые, отроки безгрешные, в делах наших и распрях ничем вы не повинные!..

Он обнял и облобызал детей с притворной нежностью, — рад был весьма, что они теперь в руках его. Шемяка был добр в душе к княжичам, как птицелов к пичужкам, которые уже трепещут в сетях у него.

Видя эти ласки ворога злого к детям великого князя, Илейка н Васюк стоялн, опустив головы, и мрачно переглядывались. Когда же все стали подыматься на красное крыльцо, Илейка тихо сказал Васюку:

— Тут надо ухо востро држать, во все глаза глядеть.

— Истинно, — ответил Васюк, — с медведем дружись, а за топор держись.

Они вошли за княжичами в трапезную и у дверей в уголке стали, глаз не спуская с Ивана и Юрия. Не менее зорко следил владыка Иона за Шемякой н главным советником его, боярином Никитой Добрынским, стараясь угадать их скрытые мысли.

Сев за стол после благословения владыки, стали все есть горячие штн, и вдруг Иван, следуя за взглядом Ионы, увидел направо от Шемяки знакомое лицо, где-то им виденное, почему-то страшное н неприятное. Это был боярнн Никита, старавшийся не встречаться глазами с владыкой. Отвертываясь от него, он неожиданно н дерзко поглядел на Ивана. Сердце княжича задрожало от страха и гнева. Он узнал в этом боярине того самого, что прискакал на коне в Сергиеву обитель с дружиной Шемяки. Это он тащил из храма его отца! Побледнев, Иван взглянул на владыку Иону н понял, что тот все заметил, как, бывало, бабка все за столом замечала, и улыбается ему спокойно

и ласково. Ободрило это и успокоило мальчика, но пальцы его, сжимавшие оловянную ложку, долго еще дрожали, а гнев и ненависть кипели в сердце.

Князья Ряполовские после обеда у келаря отдохнуть захотели. Постелили им в двух келейках: в одной — старшему, Ивану Ивановичу, а в другой — двум младшим: Семену и Димитрию. Разошлись и монахи по своим кельям, и заснул весь монастырь по чину иноческому. Так уж искони на Руси повелось. Никто чина сего не нарушает, кроме людей, когда заботы их мучают: боли телесные или душевные. Не спали в обители только князья Ряполовские, и вскорости перешли меньшие братья в келейку Ивана Ивановича думу думать у постели его.

— Кто знает,— заговорил Димитрий,— что в сей часец у владыки с Шемякой деется? Может, владыка и так рассудил: «И митрополитом буду, а и великого князя с семейством навек в дальнем уделе схороню...» Может, и князь-то можайский Иван Андреич право разумеет — синицу поймал, а журавля в небе и не ищет...

— Лопата твой можайский,— гневно перебил его старший брат,— помело поганое!.. Хитер он, да мелок. Жадность великая у него. Он, словно окунь голодный, и голую уду хватает.

— Зато Иона всех нас умней,— заметил осторожно Семен,— у него все обсуждено, а как? То нам не ведомо.

Князь Иван Иванович вскочил с лавки и заходил по келье, не глядя на братьев. Заронили они ему в душу сомнения.

— Нет, нет,— начал он, вдруг остановившись посередине кельи,— не может того быть! Владыка Иона разумней всех нас. Все, что говорил он,— истина. Ум у него велик и прямота велика. Обман ежели и будет, то токмо от Шемяки, ибо и смел он и дерзок, а силы духовной и разума мало у него. Все же и Шемяка не посмеет идти против отцов духовных и против народа...

— А ежели посмеет, не послушает владыки? — снова заметил Семен Ряполовский.

— Будем биться! — крикнул Иван Иванович.— Бог нам поможет.

— А по мне,— добавил Димитрий,— нечего нам в кости играть, вот и владыка митрополию от Шемяки берет. Что ж мы-то одни против рожна прать будем, как медведи. Токмо брюхо собе больше распорем. Она, синица-то, в руках.

— Не будет так! — вспылил Иван Иванович, перебивая младшего брата.— Не пойду аз за ветром. Москва за Василья. Москва и Юрья Димитрича выгнала, а сына его и подавно выбьет вон. То вы уразумейте: князь Василий на Москве в дому у собя, а

Шемяке всякого князя покупать надобно, как купил он можайского. Опять будет государство на уделы дробить, а гости-то богатые, особливо же простые купцы, да всякие люди торговые, и умельцы рукоделия всякого, наипаче не примут того. «Дешевле нам,— говорил мне Шубин во граде Муромском,— прибыльней один сильный московский князь, чем сотня нищих князьков... Всякий ведь князек-то с тобя сколупнуть захочет, что сможет...»

Князь Иван замолчал, продолжая ходить из угла в угол по келье. Успокоясь, он твердо добавил:

— Как отцы духовные мыслят, мы из уст самого митрополита нареченного ведаем...

Братья молчали, потом опять осторожно заговорил Семен, своего мнения опять не высказывая:

— Истинно все, Иване, что ты баишь, токмо трудно слепому Василью с Шемякой бороться. Истинно и то, что Шемяка купит московский стол. Отрезать начнет кажному князю куски от московских земель. Разорит он Москву, на ветер, на дым все труды князей московских пустит. А потом что? А потом князь тверской Борис все в свои руки захватит и ярлык в Золотой Орде на московский стол купит. Он и теперь уже «великий князь тверской»...

Наступило молчанье, но младший Димитрий не вытерпел.

— Тогда как?— крикнул он.— К Борису лучше ныне ж отъехать, чем Шемяке потом челом бить!

— Молчи, лопата!— рассердился снова князь Иван.— Нужны мы тверскому! А нам какая честь и какая сладость на конце стола сидеть у чужого князя, пить-есть опивки да объедки? Нет уж, братья мои, никому не служить нам, опричь московских князей, будет то Василий али дети его. Победим мы Шемяку, наипервыми на Москве будем у своего князя. Так и владыка мыслит. Шемяке же нет у меня веры, не обойти ему нас своей лестью...

— Иване,— перебил его Семен,— не забудь о полку нашем. Не побудить ли Микулу Степаныча?

— Верно, верно!— встрепенулся Иван.— Забыли мы про шемякины когти. Микула Степаныч баит, что мало здесь воев у Шемяки, но все же, мыслю яз, отъехать нам вместе с владыкой, а то и поране его. За князя великого рать подымать надобно... Ну, иди побуди Микулу Степаныча.

После утрени в день Николы весеннего, выехал владыка Иона с княжичами в колымагах к Ростову Великому, откуда лежал им путь к Волге, в древний Углич-град.

Ряполовские с воеводой своим и конниками провожали

их до самого Ростова, где владыка решил отдохнуть несколько дней и дать отдых княжичам. Но главное, нужно было ему встретиться со всем духовенством, дабы из Ростова, из древнего места святительского, разослать через верных людей вести своим епископам, игуменам и архимандритам.

Тут же, на обратном пути из Углича в Москву, в митрополию свою, хотел владыка уж подсчет иметь сил духовных на Севере, где среди бояр и городов, особливо Вятки и Углича, много было доброхотов шемякиных, где удельные князья и города вольные не любили Москвы.

Ряполовские же, не веря больше Шемяке, о Литве думали, где князь Василий Боровский, брат княгини великой Марии Ярославны, уже собирал полки. У Ростова Микула Степанович наметил повернуть к Юрьеву Полскому, который ближе к вотчине Ряполовских, а там снарядить полки для рати — и конные и пешие — из своих людей и из пришлых, кто за князя великого биться придет.

До посадов еще не доехав, вдали от стен городских прощались князья Ряполовские с княжичами и владыкой пред всеми своими конниками. Рядом стоял Иван с братом Юрием и видел, как конники утирали иногда рукавом слезы, слушая слово владыки Ионы:

— Дети мои!— говорил он.— Церковь наша за правое дело, но людие многие на земле, по злобе бесовской, кривду выше правды ставят. Правда победит зло. Богу нашему все доступно: и живот и смерть наши в руке его. Ратуйте за правду-истину, и будет на вас мое пастырское благословение! Воззрите на отроков сих, детей нашего государя великого, злобой людской поверженных... Пусть невинные страдальцы сии, в защите нуждаясь, укрепят сердца ваши.

— Аминь!— громко закончил Иван Ряполовский.— Живота не пощадим за государя нашего. Не таков Шемяка, чтоб совесть знать да бога бояться! Мечом с ним говорить надо. Его токмо силой да страхом согнуть можно.

Поклонившись Ионе и княжичам, он обернулся к своим конникам и воскликнул:

— Покляемся владыке живот положить за правду, за истину! Будем биться за князя великого, за Василья Васильевича!

Глава 14

ВО ГРАДЕ, ИССТАРИ СЛАВНОМ

Хорошо круг града Ростова Великого. Посады под стенами его и слободы многолюдны, хитрецы и умельцы живут в них раз-

ные: одии пишут икоиы вапами иа стенах и по куполу в церквах; другие темперой иа досках липовых лики святых изображают, по греческому обычаю; третьи — режут по дереву икоиостасы, врата царские, золотят и серебрят их; четвертые — всякое златокузиечное и литейиое дело ведают. Живут в Ростове и зодчие, камиерезцы, камеищики, плотники и прочие. Немало искусников всяких здесь и среди моиастырской братии и среди людей слободских и посадских.

— Тут иа святого Леонтия знатый торг ведут,— сказал владыка Иоиа княжичам,— епископия же всех миряи пивом бездеиежио потчует. Купцов тогда и торговцев тут видимо-иевидимо, а богомольцев и страиников того боле, ибо велик и чтим чудотворец Леоитий. Исцелеиия и чудеса творит многие.

Светел и радостеи Иона, как младеиец с младенцами, а кияжичи и забыли совсем о Шемяке, ии разу о ием ие вспомиили, как из Переяславля отъехали. Да и дни-то стоят иа диво радостные — от восхода до захода солнце в безоблачном иебе сияет, птички поют непрерывио. Люди тоже о песие вспомиили: и в полях и в посадах — повсюду звеиит человеческий голос. Теплое время, и черемуха цветет, как невеста под белой фатой. Сверкают иа солнце воды огромиого озера Ростовского, и конца-края ему ие видать: в семь верст шириiой, пробиваясь сквозь чащи лесные, тяиется оио иа двеиадцать верст в глубину леса, а с берегов обступают его могучие сосиы и ели, березы и дубовые чащи, а где и липы и клеиы столетиие. Пушатся кругом кустарники разные.

— Жила в старину тут токмо меря да чудь,— продолжает владыка,— а ныне вот русские всюду живут. Окрест места тут зело красны. Миогие тут ловы в дебрях лесных и во озере. Обильны здесь пажити, иеисчислимы борти пчелиные и гоиы бобровые... Вельми удобно селиться тут, а жить добро и жирио...

Владыка умолк, а Илейка, шагавший с Васюком около колымаги, ие выдержал.

— Отче святой,— воскликнул ои,— истиiио баишь ты о промыслах тутоших, а я про рыбу скажу — век ею промышлял: рыбы здесь тьма в озере тьмущая. О том рыбаки и в песнях поют!

Илейка громко откашлялся и, молодцевато сдвинув свой колпак на затылок, запел сиплым, но приятиым голосом:

— Ой ты гой еси, море тинное,
Море тинное ты, чужское,
И пошто тобя зовут озером?
— Потому меня зовут озером,
Што песку во мне нет на донышке
И што нет во мне рыб заморских,
А живут во мне ерш со щукою,

Мелка плотичка со карасиком,
Краснoперый окунь с налимами.
Еще сом-рыба, когда жалует
Из тое ль реки Волги быстрыя
Со язём-рыбой и со лёщиком...

Княжичам песня очень понравилась, а Иона, тихо улыбаясь, промолвил:

— Добрые песни знаешь. А тут вот, дети мои,— обратился он к княжичам,— старца Агапия в обители Аврамиева монастыря ведаю: много он старин вельми красно сказывает. Вот отдохнете тут и послушаете старца-то вместе с дядьками своими, а вборзе и тату с матунькой мы увидим. Пока же походите в народе, поглядите, послушайте — надобно и князьям знать, как люди живут.

Владыко помолчал и добавил:

— Тут, в граде сем, исстари славном, погостим, к мощам святого Леонтия приложимся, память ему мая двадцать третьего празднуют. Ныне же, тринадцатого мая,— день святых равноапостольных отец наших Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. Их же радением, Иване, вся грамота наша и все книги священные.

Когда же посады проехали, Иона, обратясь к Илейке и Васюку, приказал:

— Повелите вести нас прямо к древнему собору Успенскому,— и продолжал, опять обращаясь к княжичам:— Поклонимся там святым мощам Леонтия...

Звоном всех церквей встречал Ростов Великий владыку Иону, нареченного митрополита московского и всея Руси. В древнем же Успенском соборе владыку и княжичей принимали с тремя настроями колокольными: когда подъезжали, звонили громким, могучим «иониским» звоном, когда во храм вошли — тихим и радостным «акимовским», а когда выходили — торжественным «егорьевским»...

Иван словно другим стал в Ростове — повеселел и забыл о всех горестях. В соборе ни его, ни Юрия ничто особенно не трогало, но было там хорошо, как дома, а у мощей чудотворцев, как всегда, и приятно и боязно, будто от страшной сказки. Заметил Иван на белокаменных стенах собора дивную роспись, но все же не такую радостную и светлую, как у Троицкого собора Сергиевой обители, где инок Рублев писал.

Пол в храме Успения устлан весь каменными плитами, а двери везде железные, кованые, и на них по два лица звериных, из железа же кованных, а в зубах у зверей кольца большие железные, чтобы, берясь за них, те двери легко отворять было

можно. Кровля собора вся из свинцовых досок, только кресты золоченые.

Из собора после молебствия о благополучном прибытии, о здравии великого князя Василия Васильевича и семейства его поехали все обедать и отдыхать в покой архиепископа Ефрема, владыки ростовского.

Княжичи в хоромах у владыки Ефрема обедали отдельно от взрослых с дядьками своими. Святитель же Иона вел тайную беседу с архиепископом и другими духовными за отдельной трапезой. После обеда Иона зашел к княжичам на краткое время с молодым диаконом Алексием и, благословляя княжичей, сказал:

— Отвезут вас, дети мои, тайно в Аврамиев монастырь, поживите там. Потом сам к вам приеду и повезу вас к родителям в Углич. Тут же, дабы в тоску вам не впасть, возвеселит вам сердце старец Агапий многими старинами, притчами и баснями. В монастыре живите скрытно, дабы не опознали в вас княжичей: так для пользы вашей надобно. Когда же в град или посад захотите, то выходите токмо с благословения игумна. Он же к вам, опричь дядек, слуг своих даст, а слуги те водителями вам будут...

Совсем уж дряхл старец Агапий, но памятлив, мыслями светел, сладкоречив и душой радостен. Давным-давно за сто лет считает ему братия, а он все еще ходит с посошком по монастырскому двору, хотя не спешно, но твердо, и долгие службы церковные с легкостью выстаивает.

Голос у старца мягкий, ласковый, западающий в сердце — век бы его слушал. Глаза его серые, с солнечной искрой, всегда словно посмеиваются, под седыми лохматыми бровями смотрят то мудро и чуть печально, то по-детски радостно.

Каждый день ходят к нему княжичи с Илейкой и Васюком слушать сказки, басни забавные, бывальщины разные да старины грозные и страшные. Страшней же всех сказов о стародавних временах сказ был о боге Велёсе[1], о жреце его Радуге и о девке слепой.

— Соколики милаи,— начал свой сказ старец, сидя с княжичами на лавочке под цветущей вишенкой, что у самых дверей его келейки,— слушайте, милаи. Туточка вот, в самом граде Ростове, старики мне, еще отроку, баили, дуб стоял. Велик дуб был,

[1] *Велёс* — один из богов древних славян-язычников, олицетворяет производящие силы природы и считается покровителем домашнего скота.

один за семь дубов сошел бы, а рядом с ним — капище[1]. Туточко есть две деревни: одна —«Поклоны», и в ней такой же дуб рос, а дубам тем поклонялись и дары приносили; другая деревня — «Анделово», а ране того там «Велесово дворище» было. На дворище ж том еще Володимерь, великой князь киевский, повелел воздвигнуть бога Велеса, из многих дубов резанного, с позлащенной главой. Идол сей вдвое выше был капища. Когда же солнце ввечеру садилось, глава Велеса позлащенная как в огне горела, и видно было ее из града Ростовского...

— Как же могло так быть? — заговорил вдруг Илейка.— Как же мог Володимерь святой идолов ставить? Запамятовал ты, отче...

— Ан не запамятовал! Володимерь-то тогда во язычестве еще был, свету христианского не узрил...

Илейка что-то еще сказать хотел, да княжичи оба руками на него замахали, а старец Агапий продолжал:

— И князь ростовский во язычестве был, и вот что от бога бесовского случилось в Ростове. Нача вдруг озеро выть, и так выло, что и в ночи не давало людям спати две седьмицы. Как ночь, так и почнет шумети: вначале как бы шестеро абы семеро молотят на нем, а после протяжно так застучит, застучит и голосно завоет. До самого до света воет, а над капищем Велеса звезда хвостатая стоит, и оттого страху еще более. За сим извергло озеро рыбину, большенную, аки кит, который пророка Иону поглотил, и была та рыбина мертвой. Полтора сорока народу, опутав ее веревкой, приволокли на княжой двор. Потом целую седьмицу старец совсем нагой посередине озера каждый день на ладье ездил, а ночью в глубь водную с ладьей уходил до утра...

Старец Агапий замолчал вдруг, словно увидел сам что-то страшное и непонятное. Дрожь пробежала по спине княжича Ивана, а Юрий, Илейка и Васюк замерли.

— Остров потом показался на озере,— заговорил вполголоса старец,— а на острове-то терем, а в терему девка слепая. Из терему днем она выходит, садится на косматого льва и по острову ездит, а от сего тишина кругом тихая, листочек — и тот не прошумит, ветерок — и тот дохнуть не смеет. Люди же на все глядят, словно каменные, шевельнуться не могут от страху,— шепотом закончил отец Агапий и вдруг вскрикнул так, что испугались все.— Тут как загремит враз, загрохочет в небе, и стрела громовая, огненная, прямо в капище Велесово угодила! — продолжал старец громко и взволнованно.— Запылало, занялось все капище, а из него идол Велеса, самоцветами многими украшенный, сам, как живой, вышел, идет на восток вдоль берега озера,

---

[1] *Капище* — языческий храм.

а вода пред ним, как в котле кипнт, н рыба в нем варится, а волной ее вверх выкидывает, а по берегу-то все жилье человечье горнт в пламенн: и хоромы, н хлевы, н закуты, и все, что от дерева нзделано. Все горнт, скот ревом ревет, а люди всё еще шевельнуться не могут.

Смолк старец Агапий, словно засмотрелся на страшное зрелнще, молчали нспуганно княжичи н дядькн их.

— Жрец-то Велесов, Радуга,— тихо добавил старец,— пал тут пред ндолом н молит его: «Нейди дальше!» Велес же нсполнися гнева н опали жрецу все власы, н вдруг глава у Радуги стала песьей...

Смолк опять старец, только губы сухие его меж усов н бороды шевелятся, шепчут что-то неслышно, а сам он глядnт куда-то в даль неведомую. Боязней оттого Ивану н непонятно все...

— Сильны беси-то были,— задумчиво сказал Васюк и перекрестился.— Слава богу, от святого креста да от ладана совсем ослабли, а от молитвы во прах расточаются. Все же снлен еще бес-то: н горы качает, а людьми, что веннкамн, трясет.

— Над погаными беснн токмо властвуют,— возразил Илейка,— хрнстнанам же токмо нскушения н прелести деют, а взять крещеную душу не могут, потому у всякого после крещения свой андел-хранитель есть...

Княжичи осмелели, и вдруг вся нечнстая сила стала нестрашной, и смеются опять вот глаза у старца Агапия под густымн бровями.

— Нетутн, нетути боле, нетутн боле силы бесовской,— говорнт старец весело,— наш чудотворец Леонтнй, первоапостол земли ростовской, разогнал всю нечисть поганую! Снла нх токмо в лесах дремучих, да болотах бездонных, н речных омутах. А туточка, где кресты сияют над храмами да почнют мощи угоднnка божия, нетути, детушки, силы у бесов, нет у них смелости. Тишком ныне беси тут да шепотком все деют, а боле прелестью да хитростью хрнстиан на грехн наводят.

Закрестился вдруг частым крестом старец Агапнй, встал поспешно и побрел с посошком на монастырскую пасеку.

— Ох, запамятовал с вами,— ласково ворчал он на ходу,— запамятовал про пчелок божинх! Поглядеть нх надоть.

Накануне святого Леонтня, с ночи еще, начались службы церковные в соборе Успенском н прочих храмах ростовских. Гул колокольный разливается окрест, н вдаль н вшнрь, затопляет сверху гудом своим площади, концы н улицы града, где потоки людские шумят н гудят, растекаясь по всем углам и закоулкам. У гостнного же двора лавкн, словно ульи, стоят круг церквн святой Екатерины, толкотня н теснота такая, будто

сотни роев тут роятся: мирские и духовные люди разного чина и звания, мужики и женки, старые и молодые, и калики перехожие — нищая братия.

Княжичи с дядьками своими и со слугами монастырскими, утреню отслушав в Успенском соборе и к мощам Леонтия приложившись, пошли прямо к торгу, где гостиный двор у соборной площади с лавками купцов, блинными, харчевнями и питейными. Но пока совершалось торжественное служение у мощей угодника, на площади было пристойно, тихо и благочинно и торга еще нигде не происходило, только нищие пели стихиры, прося подаяния.

Княжич Иван впервые видел такое многолюдное празднество. В Москве, из-за малых лет до объявления его народу, он из Кремля не выходил, и теперь здесь все весьма занимало его.

Вот показались лавки гостиного двора и навесы блинных, запахло печеным тестом и пригорелым маслом. Подле ветхого деревянного навеса одной блинной увидели княжичи слепого нищего с гуслями. Распустив седую бороду до пояса, сидел он без шапки на своем зипуне почти под самым прилавком, перебирая пальцами струны.

У прилавка толпился народ. Покупатели брали горячие блины и, свертывая их трубкой, макали в плошку с топленым маслом, целиком запихивали в рот, обтирая жирные пальцы о свои волосы.

— Блины масленые, блины горячие!— кричал бородатый мужик, принимая от рябой и грудастой женки блины стопку за стопкой на деревянном блюде.

Две же молодайки пекли их и, ставя одну за другой сковороды на горячие уголья, почти непрерывно сбрасывали готовые блины в огромную деревянную чашку, прикрывая их толстым холстом, чтоб не остыли.

— Эх, тетеха,— крикнул уже подгулявший рыжебородый мужик, обращаясь к рябой,— почем блины-то?

— Стопка с маслицем, басенок мой,— озорным голосом нараспев отвечала рябая женка,— стопка с маслицем да бражки ковшичек всего-то четверть денежки[1]!

— Ишь, дороговизна какая!— проворчал Илейка, хотевший уж развязать свой кошель.— Сразу охоту отбило, поедим ужо в обители.

Но рыжебородый уже набивал себе рот блинами, запивая брагой.

Княжичи пошли было дальше, да слепец в это время зазвенел струнами гуслей и запел вдруг звучным голосом:

---

[1] *Деньга, денежка* — четыре копейки серебром.

Вы, люди ученые,
Книгами начитаны,
Нас учить поставлены,
Извествуйте, что есть раз?

Порокотав немного струнами, он, кратко, нараспев ответил себе:

Един бог без греха.

Княжичи невольно остановились и стали слушать, а слепец продолжал повторять вопрос за вопросом до двенадцати и, давая ответ, повторял все прежние ответы вместе с новым. Дойдя до вопроса: «Что есть двенадцать?» — он ответил:

Един бог без греха,
Два в Исусе естества,
В триех лицах един бог,
Четыре ваянгелья,
Пять язвий у Христа,
Шостокрылый серафим,
Семь собор святых отец[1],
Восемь кончий у хреста[2],
Девять чинов андельских,
Такожде архандельских,
Десять словес божиих,
Одиннадесятый час,
Двенадцать апостолов.

Проведя рукой по всем струнам, положил слепец гусли себе на колени и, ощупав рукой вокруг себя, нашел глубокую деревянную миску и протянул ее вперед. Горячие жирные блины, капая маслом, повалились с разных сторон, наполнив миску доверху.

— Спаси Христос! — бормотал слепой. — Царство небесное вашим родителям, а вам дай бог здравия...

Но в этот миг все кругом зашумело вдруг, загоготало, загикало, и толпа, кружась и толкаясь, понеслась к соборной площади, ближе к подворью архиепископа. Кончилась служба у гроба Леонтия, и митрополит нареченный Иона, и владыка ростовский Ефрем, и все архимандриты, игумны, иереи ростовские и приезжие, с иноками и служками, и почетные гости пошли в хоромы архиепископские на почестен пир и трапезу. Из погребов же епископских и монастырских служки владычные и монастырские сотни бочек пива пьяного вывезли на телегах пароконных,

---

[1] Семь вселенских соборов признавала православная церковь, отвергая как еретический восьмой собор во Флоренции, на котором была утверждена уния — объединение римско-католической и греко-православной церквей.

[2] Православные признавали только восьмиконечный крест, в противоположность римско-католической церкви, признававшей только четырехконечный крест («крыж»).

а со двора владыки по земле покатили бочищи великие. Вышибали тут из бочек затычки дубовые, подставляли все ковши и ведра, миски и чашки под струи хмельные и пенные, и пир пошел по всей площади.

— Не добро тут отрокам,— сказал Васюк, обращаясь к монастырским слугам,— пьянство и глум почнутся, сквернословие всяко, дерзости.

— Пойдем,— сказали служки монастырские,— на второй владычен двор, что к гостиному ближе. Там токмо гости приезжие да свои сироты домовые. Кормленье им там в сей день, гостьба. Там и нам угощение будет...

На владычном дворе столы были простые тесовые, во много рядов расставлены, а круг них теснота на скамьях. Людьми скатерти белые, как мухами, со всех четырех сторон облеплены. Шум, гам, разговоры, смех, крики, а слуги владычные с ног сбились, подавая шти, кашу, пироги с капустой, пиво и квас. Почетным же гостям в правом углу двора и блины и мед стоялый в сулеях на столы ставили.

По двору шатались любопытные или очереди ждущие, да нищие в разных местах то «Лазаря», то стихиры пели. Жаркий день, душный, а солнце прямо над головой стоит, печет темя и плечи, и в поте лица все вкушают угощенье.

Слышно иногда сквозь шум и говор, как под окнами владычных покоев воркуют голуби, а потом, стаями снимаясь с навесов и крыш, носятся над подворьем, громко хлопая крыльями, сверкающими на солнце. Неизвестно откуда камнем срываются воробьи, падают на землю, у самых столов дерзко подхватывают крошки и с чиликаньем исчезают куда-то. Дворовые собаки, поджав хвосты, шныряют, как тени, под столами и скамейками, подбирают объедки и взвизгивают иногда под хохот охмелевших гостей от пинка сапогом в бок.

Пошептались служки монастырские со служкой архиепископским, с Никитой Хухаревым, что кормлением всем распоряжался, и посадили княжичей со слугами и провожатыми за почетные столы. Подали им пирогов и блинов горячих, пива, и меда, и кваса сыченого.

— Вот и мы, как бояре,— с довольной улыбкой сказал Илейка,— блины нам масленые и меды крепкие...

Васюк только крякнул в ответ, осушив добрую чарку меда и запихивая себе в рот жирный блин.

Княжичи весело переглядывались, поедая с жадностью пышные ноздристые блины, из которых под зубами текло горячее масло, мазало губы, щеки и пальцы.

Никнта Хухарев около них стоял и, подавая ручннк, чтобы руки обтирать, ласково приговарнвал:

— Кушайте, милан, кушайте собе во здравие.

В это время пьяный рыжебородый мужнк, которого княжнч Иван у блинной видел, шел прямо на них, мотаясь нз стороны в сторону.

— Гришка Севастьянов идет!— кричал он зычно.— Каменщик посадской...

— Ишь, рыжнй бес,— злобно буркнул Илейка,— жрал, жрал блины, да н сюды залез, пес!

Увндев Хухарева, Грншка заорал еще громче:

— Ннкншка! Угощай, жнво!

— Держн карман,— насмешливо крнкнул Ннкита,— много вас тут! Аль не ведаешь, что прнезжих токмо да домовых кормнм...

— Ах ты, кобылья задница!— нзругался Грншка.— Корми бедных людей! Захребетннки мнрскне! Мы все вам, а нам н блнна жаль, долгогрнвые жеребцы...

— Идн, ндн,— крнкнул Ннкнта Хухарев, знаком подзывая слуг владычных,— ндн, баю, добром!

Хухарев с другимн слугамн пошел навстречу Грншке Севастьянову н стал гнать его, а потом не утерпел, крнкнул насмешлнво:

— Ты что, Грншка, нищнм прнтворяешься? У тобя, бают, жемчуга одного с осьмнну будет да с деньгамн не одна кадь!..

— Да я те за поносные речи твои, я те, кобель старой,— закрнчал в яростн Грншка н, рванувшнсь к Никнте, вцепился ему в бороду.

Тотчас же около ннх образовался клубок тел, н покатнлось все к воротам двора владычного, а за воротамн сразу забушевало.

— Посадских бьют!— кричалн там.— Выручай наших! Посадских бьют!..

Посадские валом валилн на владычный двор, но слугн владычные, сироты домóвые да нз гостей многне, у коих кулаки зачесалнсь, крепко приняли посадских. Княжнч Иван, бледный, но с виду спокойный, стоял у своего стола н грозными глазами смотрел на драку. В памяти его проходили, как бы повторяясь здесь заново, пожар н смута московская. Дрожащей рукой он крепко держал Юрня, стоявшего рядом. Он вндел, как слугн владычные, окружив Грншку Севастьянова, беспощадно совали в бока ему кулаки н били по шее, но тот, с налнтыми кровью глазамн, рычал по-зверьн н, что есть снлы, рвал бороду у Никиты. Вдруг отлетел от него Ннкита н упал навзничь, н Гришка вместе с ним повалнлся наземь, зажав в руке большой клок бороды хухаревой. Тут бросилнсь все Грншку топтать, бнть прочнх посадскнх и выбили вон со двора, погналн нх к торговым рядам н к блнннным.

— Ну, княжичи,— тихо сказал Васюк,— в монастырь нам возвращаться скорей от греха! Кто их знает, что они тут понатворят!..

Быстро перешли они опустевший владычный двор и вышли на соборную площадь. В конце ее, у гостиного двора, толпа бушевала, как море, теснясь меж лавок и блинных. Крики сплошным воем гудели там, трещали какие-то доски, доносились глухие удары и топот.

Княжичи и дядьки их невольно остановились. Вдруг, заскрипев и затрещав, словно скрежеща зубами, закачались и стали падать навесы у блинных. Женский визг просверлил воздух, и почти тотчас же во многих местах среди толпы показался огонь и дым. Верхние навесы блинных рухнули на очаги с горячими углями и запылали, как сухая солома. Сразу поднялся ветер, а пламя перекинулось на лавки торговых рядов, и казалось, занялся весь гостиный двор. На звоннице святой Екатерины забили в набат, в других церквах подхватили, и страшный звон всполошил весь град и посады. В ужасе забегали кругом люди в бестолковой суете, крестясь и призывая бога на помощь. И вот в это время, когда и Васюк, и Илейка, и слуги монастырские, и Юрий стояли бледные и растерянные, Иван почуял, будто весь страх его проходит, а мысли ясней и ясней становятся.

Видел он, как пробежали через площадь приставы княжии со стражей и приставники церковные со служками. Видел, как покой в толпе сразу устанавливается там, где появляется стража. Видел потом, как стража вела Гришку Севастьянова и Никиту Хухарева в срубы тюремные сажать, и усмехнулся.

— Видишь,— сказал он Юрию,— когда много разных людей, много и беспорядку. Придет же хоть и мало людей, но таких, как стража с при́ставами,— и враз все тихо...

— Так и в ратном деле,— радостно подтвердил Васюк,— едино мнение и едино деяние во всем надобны Ишь, вон и бочки с водой везут и с ведрами бегут!

— Истинно,— согласился Илейка,— без головы и большое тело немощно, словно без рук, без ног оно. Токмо такой пожар из бочек водой не залить...

— Воля божия,— сказал один из монастырских служек,— а вон туча какая, черным-черна...

Внезапно оглушительно грянул гром, покрыл гул и шум толпы, и пожара, и даже набата во всех церквах. Служки в страхе закрестились. Сразу кругом потемнело, словно наступили сумерки, сразу день захолодал.

— К собору бежим,— крикнул Илейка,— на паперти от грозы схоронимся!..

Все побежали, и Иван с ними. Молния почти непрестанно

слепила глаза, и без конца грохотал гром, пока бежали они к собору, и только укрылись на паперти, полил дождь как из ведра.

Люди бежали со всех концов, прятались, где попало, плотней и плотней теснились на паперти собора. Все говорили и кричали о чуде. Иван услышал недалеко от себя громкий женский голос и, оглянувшись, признал рябую женку, что торговала блинами.

— Как токмо заполыхало кругом,— кричала она,— отец Варсонофий, настоятель у Екатерины-то, побег в алтарь, облачился в ризы и со крестом пред церковью стал и возопил святому Левонтию: «Чудотворче, спаси нас!» И как грянет тут, инда земля задрожала, и захлестал дожж, и весь пожар, как бы малый костер, враз залил...

— Чудо! Чудо!— восклицали кругом и крестились, слушая, как шумит и плещет дождь, как завывает яростный ветер.

Вдруг стихло все разом, засверкало солнце, и гроза так же внезапно умчалась, как внезапно и налетела. Княжичи просунулись через ограду паперти и с жадностью вдыхали освеженный грозою воздух. Пахло влажной землей и душистым тополем, раскинувшим свои ветви над самой папертью. Только издали наносило иногда ветерком дымную горечь погасших головней. Юрий тихо и робко сказал:

— Страшно от сего, Иване.

Ночью княжичу Ивану думалось многое и не спалось. Темно и душно ему в большой келии, хотя все окна отворены настежь. Розовая лампадка едва озаряет угол с иконами, словно кисеей прозрачной покрывает стены около кивота, но дальше ее отблески меркнут в двух ярких серебристо-белых потоках лунного света, что жестко врывается в окна и, переломившись на стене, ложится на пол, освещая спящего на лавке Юрия. На полу, ближе к дверям, в черно-синем мраке можно различить кошму и спящих на ней Илейку и Васюка.

Не спится Ивану, как это было более года назад в Москве, в день смуты московской, накануне пожара и бегства в Переяславль. Снова, как и тогда, тоска и гнет на сердце Ивана, но теперь еще тяжелей и горше. Восьмой год ему пошел, а будто с того времени десяток лет он прожил. Мелькает в мыслях у него и Шемяка, и бабка, и тата с матунькой, и владыка Иона, и Ряполовские, и передача их, княжичей, на епитрахиль владыки...

Кажется это Ивану все страшной сказкой, как старина о Велесе ростовском, чудится порой, что он с Юрием, братом своим милым, да с Илейкой и Васюком одни-одинешеньки среди пучины какой-то темной, мутной и страшной. Будто на островке малом они, а кругом волны плещут и вот-вот захлестнут их совсем. Страшно Ивану, дрожь бежит по рукам и ногам, холодными мурашками

ползет по спине, и смотрит он с отчаянием на розовую лампадку, а она от слез в глазах троится и четверится, и чудится, что и лик спасителя движется и чуть улыбаются губы его.

— Господи, господи,— с легким стоном шепчет Иван,— помоги нам, господи, спаси и помилуй...

Вдруг хлынули слезы и полились неудержимо по щекам, наливаясь в уши и скатываясь на подушку, но дрожь прошла, сердце же замерло снова, но не от тоски и боли, а от смутной надежды. Вспомнились ему слова бабки, когда отец в плену у татар был, что «сама Москва хранит и бережет сыночка ее скороверного...» От этих слов словно на светлую дорожку он вышел... Понял Иван, что сейчас вот Москва на страже и все еще бережет своего великого князя. Понял он, что и Ряполовские, и владыка Иона, и купцы, и посадские, и сироты, и воины — все против Шемяки. Понял, что все хотят тишины и покоя, а это дает только Москва. Шемяка же и все, кто с ним, нарушают покой.

— Одного князя на Руси нужно,— тихо прошептал он,— и смуты не будет!

Замелькали в памяти его слова попика Иоиля о царе и патриархе московских, о единовластии и единоначалии, почувствовал он в себе силу и мощь и решил неотступно просить, чтобы стал отец царем московским, а если будет трудно ему, то бабка и владыка Иона помогут.

— Сильные они,— сказал он вслух,— оба сильные: и владыка и бабка...

— Ты что, касатик?— окликнул его проснувшийся Васюк.

Иван обрадовался пробуждению верного своего дядьки и заговорил, хотя еще взволнованно, но весело:

— Слушай, Васюк, Москва-то Шемяку прогонит в Галич...

— Не в Галич, а удушить его надо,— поправил Васюк.

— Потом тата в Москву приедет,— продолжал Иван с увлечением, не обращая внимания на замечание Васюка,— соберет всех князей и пойдет на царя ордынского, потом на казанского. Всех царей покорит, и сам станет царем московским! Так отец Иоиль говорил в Муроме...

— Истинно, истинно, касатик,— радостно соглашался Васюк.— Москва-то за нашего князя великого. Москва-то его, касатик, никому не выдаст! Народ-то за него: и сироты, и бояре, и попы, и купцы, поелику мирно и жирно жить хотят, а потом и басурманов с шеи стряхнуть!.. Все так будет, касатик! Спи с богом. Бог-то за нас, касатик, за правду...

Последние слова Иван слышит уже сквозь дрему, глаза его смыкаются, и видит он снова соборную площадь, блинные и мятущуюся толпу. Снова вот звон колокольный, набат, крики, огонь и дым, но ему уже не страшно. Он высоко стоит на паперти

древнего собора, а на площадь выезжает отец в золотых доспехах, и все ему кланяются, и всюду говор идет:

— Царь московский! Царь московский!

Вот скачут конники, окружая телегу, а в телеге сидит пленный царь казанский. Вот еще скачут конники с другой телегой, а в ней — пленный царь Золотой Орды. Кричит народ, радуется, шапки к небу бросает. Тата же весело поглядывает на паперть, где Иван стоит с матунькой, бабкой и Юрием. Вот выходит из собора и владыка Иона со всем клиром, и поют они радостный молебен, и пение их сладостно, но все тише и тише становится оно, потом затихает, и все исчезает из глаз Ивана, и сразу погружается он в спокойный и глубокий сон...

Этой же ночью в покоях владыки ростовского до первых петухов затянулся тайный совет у Ионы, нареченного митрополита московского и всея Руси...

Много сначала говорили о разных делах духовных: о латинской ереси, о неустройствах церкви русской, о зависимости ее от униатского патриарха, о невежестве попов деревенских, которые неграмотны, а, с голосу на память все службы помня, смысла их вовсе не разумеют. Потом речи пошли о князе Василии московском и о Шемяке, и владыка ростовский, приятель Ионы, в заключение сказал:

— Аз, многогрешный, мыслю, справедлив глас митрополита нареченного нашего. Не ждать нам добра от церкви цареградской, унию поганую признавшей на осьмом соборе нечестивом. Мы же низвергли вот еретика богомерзкого Исидора, иже патриархом цареградским и царем грецким утвержден он был на Руси митрополитом. Как же нам, православным, после сего в церкви русской жить, кого слушать?

Вопросил так владыка ростовский и смолк в печали, и все с тревогой возвели очи свои к Ионе. Тот сидел грустный и казался усталым.

— Чада мои,— заговорил он, наконец, тихо,— чада мои! Померкло солнце благочестия. Где же опора православия? Где же духовенству благодать получать, где ныне для веры православной убежище?

Иона помолчал и, возгорев душой, продолжал твердо:

— В Москве все сие ныне! Токмо в Москве соборная апостольская церковь без осквернения. Москва, третий Рим, глава всему христианству православному. В Москве лишь светильник веры истинной, который возжег там святой митрополит Петр.

— Где же столп веры-то, где?..— горестно возопил игумен Аврамиева монастыря.— Где опора, когда князя великого в

Угличе в темнице держат за приставы, а дети его, яко тати в нощи, в монастыре нашем скрываются!..

— Слушай, отче,— сурово прервал его владыка Иона,— не во́пли, а дела ныне надобны. Ежели ныне смута среди князей мира сего, значит нужна сила и власть князей церкви. Греция и патриарх грецкий — нам не закон. Есть у нас свой святой собор русских духовных отцов, а вера наша не токмо от греков пришла. Ране того святый Андрей, брат апостола Петра, идучи в Рим, в земле нашей проповедовал веру Христову. Силой благодати церкви своей можем мы руки простереть на защиту истинной государевой власти! Ведомо мне: и бояре, и купцы, и сироты за Василь Василича и за детей его биться будут! Мы же должны, яко зеницу ока своего, уберечь князя великого. Ежели господь иначе решит, то княжичей сохранит от злодейства шемякина. Никому не усидеть на московском столе, опричь нынешних князей, ибо сильны и крепки они, и с ними вместе Москва растет. Будет могучим русское государство — будет могуча и русская церковь...

— Приказывай же, отче,— воскликнул владыка ростовский,— содеем все государству и церкви на пользу!

— Приказывай, отче, приказывай!— заговорили кругом.

— Княжичей хранить надобно,— твердо сказал Иона и, обратясь к молодому диакону Алексию, добавил:— Поедешь в Углич со мной, и поставлю аз тобя у иерея Софрония, который при темнице там иерействует. Оба следите, дабы вовремя княжичей от всякого удара злодейского упасти.

— А мы в Ростове,— заметил владыка Ефрем,— будет надобно, в монастырях ближних укроем младенцев. Ты же, отче, да поможет тобе господь, храни самого государя от злых козней шемякиных.

— Петухи уж поют,— усмехнувшись, сказал владыка Иона,— пора опочить. Завтра повезу княжичей в Углич. Помните же, чада мои, все, что богу мы тут обещали деять ради церкви православной.

Владыка встал, высокий и еще могучий старик, и громко и привычно молвил:

— Да благословит вас господь ныне и присно и во веки веков.

— Аминь,— ответили все, вставая и низко кланяясь нареченному митрополиту московскому и всея Руси.

Глава 15

В УГЛИЧЕ

До Углича из Ростова Великого княжичи с владыкой Ионой и молодым диаконом Алексием ехали в тяжелой монастырской колымаге сквозь дремучие чащи сырыми лесными дорогами. Колеса то и дело вязли в ямах и выбоинах, тонули в жидкой грязи гатей, разъезженных и не просохших после стоявшего зимника. Ведая все эти трудности вешнего пути, игумен Аврамиева монастыря дал в поезд митрополита вместо одного кологрива двух да, кроме них, еще пятерых рослых служек с топорами и рогатинами. Служки ехали на двух телегах: одни — спереди, другие — позади колымаги.

— Неровен час, медведь подвернется,— говорил игумен на прощанье,— много их у нас тут, али люди лихие встретятся, и то бывает...

Ехали долго среди темного леса, а небо лишь над дорогой да над просеками узкой полоской видели, но было тепло, цвело все кругом, и птицы шумели и звенели со всех сторон. Щебетали и посвистывали овсянки, мухоловки, трясогузки, славки, кричали дятлы, куковали кукушки, рассыпались в трелях дрозды, а порой в глубине бора, словно леший, хохотала серая совушка. Целый день порхали бабочки и мотыльки всякие, проносились, трепеща прозрачными крыльями, красные, желтые и синие коромысла, мелькали зелено-золотые бронзо́вки и разноцветные мухи, а на закате гулко жужжали майские жуки, и уже тонко звенели и толклись в воздухе комариные стаи...

Но Иван и Юрий только вполглаза и краем уха следили за лесной жизнью — с каждым днем их сильней и сильней томило нетерпение, жажда видеть отца и мать.

— А долго ли ехать-то? Скоро ли Углич?— спрашивал то один, то другой из княжичей.

— Экое испытание горькое,— молвил владыка вполголоса диакону Алексию, указывая глазами на княжичей,— сколь тревог вместо ласки и неги...

Усталые кони с трудом тащили тяжелую колымагу, хлюпая ногами в жидкой грязи, вылезающей между прелыми сучьями гати.

— Не провяли еще дороги-то,— сказал дьякон Алексий сочным молодым голосом и вдруг, радостно улыбнувшись, добавил:— И благодать же кругом господня, благорастворение воздухов!

Владыка одобрительно кивнул головой, всей грудью вдохнул весеннюю лесную свежесть и о чем-то задумался. Колымага в это время вдруг подпрыгнула слегка на бревнах гати и сразу встала, накренившись набок.

Княжич Иван, взглянув вниз, увидел, что оба левые колеса, соскользнув с гати, глубоко увязли в глиинстой топи. Подбежавшие кологривы, багровея от иапряжеиия, с трудом втащили переднее колесо снова на гать, ио заднее не могли и сдвинуть,— так глубоко, выше ступицы, оно утонуло в липкой грязи.

— Ты, Микитка, поздоровей меня,— сказал старший кологрив,— тащи колесо-то, как тобе крикну, а я коней подгоню. Норови токмо на гать прямо! Мы его конской силой вызволим...

Старик рысцой побежал к лошадям. Княжич Иван, взглянув ему вслед, неожиданно увидел на дороге за гатью мужиков с рогатинами и топорами. Обогнув передовую телегу со служками, оии приближались к колымаге. Иван испугался и крикиул:

— Лихие люди идут!

Диакон побледнел и, быстро высунувшись из колымаги, тревожно взглядывал вперед через лошадей.

— Всего четверо,— сказал он, успокоившись,— а нас боле десяти. Не бойся, Иване. Может, просто бортники аль медвежатники. Вишь, у одного две рогатины на плече.

Мужики, поровнявшись с колымагой, молча поклонились, а один из них, чернобородый богатырь, наклонился к пыхтевшему Микитке и, ухватясь за колесо, разом выволок колымагу на бревна.

— Ишь ты, Илья Муромец,— сказал Иона,— благословил тя господь дородностью. Бортничаете, чада мои, али медведя промышляете?

Прохожие, взглянув в колымагу и увидев духовных лиц, почтительно сняли шапки.

— Нетути,— ответил чериобородый,— мы из деревни своей, вот тут недалечко, к князьям Ряполовским идем...

Владыка метиул острый взгляд на прохожих, прервал чернобородого быстрым вопросом:

— Не на рать ли, чада мои, за князя великого?

Чернобородый замялся и оглянулся на своих, словно ожидая их указаний.

— Давно мы, отче, о том прослышали,— ответил за чернобородого старший из мужиков, испытующе поглядывая на владыку, и, выступив вперед, сам спросил в упор:— А ты, отче, благословишь ли на такую рать-то?

Владыка Иона улыбнулся и произнес громко и отчетливо:

— Да благословит вас господь на святое дело, на рать за великого князя нашего Василия Васильевича. Да спасет и помилует его господь!

— Аминь,— заключил диакон Алексий и, обратясь к прохожим, добавил:— Подходите к руке владыки.

Приняв благословение, мужики радостные двинулись

дальше. Тронулась и колымага. Иона долго смотрел перед собой задумчивым, невидящим взглядом, но тихо улыбался. Потом, обратясь к диакону Алексию, молвил:

— Ежели сироты идут за князя великого, не усидеть Шемяке на Москве.

— Дай того, господи!— воскликнул диакон.

Владыка помолчал немного и, обратясь к княжичам, заговорил шутливо:

— Примечайте, дети мои, какие речи сироты доржат. Старик-то, что меня пытал, мужик умной! Вишь, как он речь обернул, дабы нас к ответу принудить да вызнать, как мы о князе мыслим. У вас, на миру, говорят: «Не наша гребта попа каять — на то другой поп есть», а вот тут сироты самого митрополита покаяли...

Владыка тихо рассмеялся и добавил:

— Вельми хитрый народ!

Только на пятые сутки, к обеду, расступились вдруг глухие леса сосновые, словно в сказке какой, по щучьему велению. Блеснув широкой полосой, более чем в двести саженей, заиграла легкой рябью на солнышке Волга-матушка. В глубине ж ее, у правого крутого берега, белыми пятнами дрожат отраженья высоких углицких церквей и звонниц, градских и монастырских, белокаменных стен и башен, а меж них сверкающими змейками скользят отблески золотых крестов и маковок.

— Дивен и красен град Углич!— воскликнул Иона, но, заметив монастырских работников, идущих от берега, где ладьи и плоты причалены, сказал строго всем своим спутникам:— Се идут перевозчики углицкие. Ни им, ни иным людям в граде никто из вас, чада мои, ни единым словом не обмолвитесь, кто аз и кто сии отроки. Говорите токмо, из Ростова едем ко святыням углицким. Мы ж из колымаги не выйдем,— пусть на плотах перевезут нас.

Потом, обратясь к диакону, добавил:

— Ты, отец Алексий, руководи всем, а во град въехав, вели везти нас к собору Успения пречистыя богородицы, к настоятелю отцу Софронию, а телеги в Кириллов монастырь пусть едут. Ты сам сопроводи их...

Зашуршал сырой песок под колесами колымаги, запахло сильней речной сыростью. Княжичи с любопытством смотрели на реку, над которой с криками носились белые чайки с темными головками. Красивые птицы, то одна, то другая, словно замирали в воздухе на распластанных крыльях и,

повертывая головками в разные стороны, зорко высматривали что-то в воде.

Загремел настил под колымагой, колеса, слегка подпрыгивая, вкатились, как на гать, на большой бревенчатый плот с длинным огромным веслом вместо руля.

Княжичи напугались, когда от тяжести коней и колымаги плот несколько погруз вглубь и вода заплескала у его обочин и меж бревен. Владыка же Иона и диакон, истово перекрестясь, сидели без всякой тревоги. Это успокоило княжичей. Иван высунулся из колымаги и смотрел, как правили два здоровых перевозчика, крепко держа руль сбоку плота. Иногда они далеко заносили отходящее под напором течения весло и, ставя на прежнее место, что есть силы упирались в него, чтобы оно точно стояло сбоку. Плот от этого шел наискось течению реки и подвигался медленно к противоположному берегу.

— Страшно,— тихо сказал брату Юрий,— лошади тоже боятся...

Иван взглянул на коней — те тревожно водили ушами и беспокойно переступали на бревнах с ноги на ногу, кося глазами на бурлящую воду вдоль обочин плота.

— Ничего, скоро вот берег,— не сразу ответил Иван, мысли его были совсем другим теперь заняты.

Непонятно ему многое, и думает он о сиротах, нищих и лихих людях. Сев на свое место, он нерешительно поглядывает на владыку, но не выдерживает и спрашивает:

— Отче, отколь люди лихие берутся? Пошто их лихими зовут?

Иона поднял удивленно брови и ответил резко:

— Сии люди — ленивцы, пияницы, дерзкие и буйные. Не труда они ищут, а, бесом прельщаемы, токмо о татьбе и разбое мыслят. Одно лихо людям творят, по то и лихими зовутся.

Иван помолчал, хмуря брови, и снова спросил:

— Бабка мне сказывала, нищие тоже ленивцы да пияницы, а вот они стихиры да «Лазаря» поют, и люди их поят и кормят...

— Ну, и нищие всякие бывают,— усмехнувшись, молвил диакон Алексий.— Иные днем-то стихиры да «Лазаря» поют, а ночь придет — чужие кафтаны сымают да чужие сундуки проверяют!.. И нищие, и лихие люди, и скоморохи разные — все они из сирот да из беглых холопов, и все они тати и разбойники!..

— Пошто ж из дьяков, бояр и духовных нет татей и разбойников?— упрямо допрашивал Иван.

Иона горько усмехнулся и, к смущению молодого диакона, печально произнес:

— Есть тати, Иване, повсюду: и у духовных, и у бояр, и у купцов, и у служилых людей, и у всех прочих. Даже из князей есть такие разбойники и насильники, как лиходеи Шемяка и князь можайский, что бесов тешат и сатане служат...

— Прости, отче,— вмешался диакон Алексий,— от сих, про кого ты сказываешь, токмо самая малая толика лиходеев. Все же иные люди от нищих, холопов и сирот...

— Пошто ж ты, отче, мне говорил,— продолжал княжич Иван,— что князи без сирот ничего доброго не творят? А отец Алексий баил мне, что все лихие люди из сирот и холопов. Пошто же все они за тату на Шемяку идут?

Еще более подивился про себя княжичу Иона и, улыбнувшись радостно, ответил ему:

— Да благословит тя господь, отроче милой! Верь ты, Иване, сиротам, ибо много их больше, чем всех прочих, и сиротами государство стоит! Всех они трудом своим кормят и воев дают против татар, ливонцев и немцев. Ведай, ежели от их и больше татей и разбойников, то сие от разоренья. Токмо глад и неволя на лихо ведут их.

Ткнулся плот в берег и так тряхнул колымагу, что Юрий упал со скамьи.

— Вот, благодаренье богу, и прибыли,— произнес Иона, крестясь.

Глядя на него, перекрестились и княжичи.

Когда княжичи с владыкой Ионой, диаконом Алексием и протоиереем Софронием, в сопровождении Васюка и Илейки, вошли в темничную келью, в окна ее радостно врывалось яркими полосами весеннее солнышко. Словно золоченые, тускло поблескивали матовым отблеском каменные стены, а всякое узорочье на лавках, на столе и скамьях, куда доходил солнечный луч, пестрело и синими, и желтыми, и алыми, и зелеными вышивками с золотой бахромой.

Успели Ульянушка с Дуняхой кое-что захватить для обихода княжеского, да и после Константин Иванович сам и через отца Софрония государям доставил...

Увидев детей своих, княгиня Марья Ярославна уронила работу из рук и, побледнев, замерла вся, а слезы в глазах блестят. Потом вскочила на ноги, работу свою затоптав от поспешности, и приметил Иван, что живот у матушки боль-

шой такой стал. Испугался он, но и подумать не успел, как вскрикнет тут матунька:

— Детоньки, детоньки милаи! Привел господь, мои...

Зарыдала она, засмеялась, обнимая Ивана и Юрия. Вдруг звонкий, знакомый всем голос зазвенел в келье, дрожа и тоже прерываясь от слез и радости:

— Благодарю тя, Христе боже мой!.. Господи!.. О Иване, Иване!.. Где ты, надёжа моя?!.

Иван бросился было к отцу, но тут же застыл на месте. Протягивая руки вперед, шаря ими кругом, шел к нему ощупью худой старик с седой головой, а вместо глаз у него — ямы, прикрытые впавшими внутрь веками с густыми пушистыми ресницами. Затрясся всем телом Юрий с испугу, бросившись к матери, а Иван понял все сразу.

— Тату мой, тату! — вскрикнул он хрипло, и поплыли мимо него стены кельи, пол заколебался под ногами, потемнел, угасая, солнечный свет.

Очнулся он на коленях отца. Тот обнимал его и целовал, всхлипывая и повторяя:

— Сыночек мой, надежа моя...

Горячие слезы падали Ивану на лицо и бежали, скатываясь за воротник. Долго не решался Иван взглянуть на отца, но, отодвинувшись от него, весь содрогнулся от нестерпимого ужаса. Из глазных ям, меж крепко сомкнутых век, непрерывно выдавливались крупные слезы.

— Тату, тату, — срывающимся голосом, дрожа весь, закричал Иван, — где твои очи?..

Отец ответил не сразу. Медленно отер он лицо свое белым платком, достав его из-за пазухи.

— Наказал мя господь, Иване, — молвил он тихо, — отдал врагу на ослепление, но живота по милости своей меня не лишил и наследника мне сохранил...

Василий Васильевич помолчал и, совсем успокоившись, спросил:

— Кто же тобя, сыночек, привез ко мне? И где Юрий?

Но Иван еще не мог овладеть собой и молчал. Вместо него ответил владыка:

— Аз, сыне мой, митрополит ваш нареченный, раб божий Иона...

— Благослови мя наперво, отче, благослови, — радостно перебил его Василий Васильевич, — а потом сказывай все.

Приняв благословение, обнял владыку великий князь и воскликнул:

— Рад тобе, отче, как свету во тьме моей духовной, а ныне и во тьме телесных очей. Грешен, зело грешен яз. Не

внимал словам твоим. Мало о государстве мыслил, власть свою расточил скороверием, пирами да забавами. Не своей заботой, чужим попечением жил, издетства так приучен был. То дед Витовт оберегал меня, то бояре отца моего, то митрополит Фотий, то матерь моя... Ныне ж, отче, на тобя токмо уповаю!

Отошел князь от Ионы, а отец Софроний и дьякон Алексий отвели его к скамье пристенной, где сидел он обычно. Иона же благословил княгиню Марью Ярославну и ласково сказал ей:

— Благослови тя господь и плод чрева твоего!..

Тяжело бухнула на колени пред владыкой Дуняха и, протягивая спеленанное дитя свое, умиленно просила:

— Благослови, владыко, младенца моего, Христа ради...

Тем же временем Васюк с Илейкой подошли к князю великому и, припав на колени и целуя руки его, говорили один за другим:

— Государь наш, упасли мы детей твоих от Шемяки! В ту же нощь у пивного старца Мисаила укрылись с сынами твоими, а наутро с обозом монастырским к князьям Ряполовским, в Боярово к ним, погнали...

— А где ж Юрий?— снова с тоской и тревогой вопросил Василий Васильевич.

— Тут он, Васенька!— радостно отозвалась Марья Ярославна и, обратясь к Юрию, сказала:— Иди, иди, сынок, к татуньке!

Василий Васильевич обнял сына, поцеловал его, но тотчас же отпустил. Чуя замешательство и страх его, молвил он ему, смеясь:

— Ну, иди, иди уж к матуньке, сосунок! Она тобе пряник медовый даст...

Юрий, услышав такой знакомый и ласковый смех, живо обернулся и обнял отца, поцеловал его в щеки и воскликнул:

— Тату, мы с Ива́ном все время вместе были. Яз и верхом с ним ездил! Скажи, Иване, как езжу яз. Васюк учил...

— Добре, государь,— не удержался Васюк,— добре оба княжича ездят!..

— Княже,— возвысил голос Иона,— еду аз на Москву вборзе и хощу с тобой совет держать о многом и тайном...

— Марьюшка,— сказал Василий Васильевич,— подит-ка в свою половину со всеми, оставь нас токмо с отцами духовными.

Все тронулись в келью княгини Марьи Ярославны, что через сенцы напротив княжой кельи. Встал было со скамьи пристенной и княжич Иван, но отец, схватив его за руку, молвил громко и радостно:

— Останься, Иване. Ныне ты, как мати моя сказала,— очи мои, а вборзе и помочь...

— Истинно, княже,— согласился Иона,— истинно так. Вельми отрок разумен и скорометлив. Научен уж многому и разуметь уж многое может.

— А что не уразумеешь, сыне мой, на совете сем,— ласково добавил Василий Васильевич, держа Ивана за руку,— потом у меня спросишь...

Совет начался не сразу. Владыка Иона в задумчивости был, а по губам его скользила время от времени печальная улыбка.

— Ты, княже,— наконец молвил он тихо и душевно,— о митрополите Фотии ныне упомянул. Чту и аз память его всей душой и сердцем своим. Когда еще млад был аз, простым иноком хлебы пек на Москве в Чудовом монастыре, познал тогда Фотия, и просветил он меня светом познания в беседах своих. Много и во младости еще испытал аз совместно с ним горькой и тяжкой муки о Руси нашей, много зла от агарян, золотоордынцев поганых, от усобиц княжих злых и богопротивных...

Владыка вздохнул и голосом твердым продолжал:

— И вложил тогда мне в душу митрополит Фотий мечту о великой державе, вольной от царя татарского! И ныне, вот, княже, живота и сил не щадя, аз, грешный и слабый раб господень, и вся церковь, и отцы за то же ратуем...

— Господи,— воскликнул, широко крестясь, Василий Васильвич,— благодарю тя, господи!

— Токмо с сынами твоими не так содеял, как мыслил...

— Отче,— перебил его князь,— дозволь мне на совет княгиню мою кликнуть, коль о детях речь твоя...

— Истинно, истинно,— горячо подхватил протоиерей Софроний,— княгиня яко орлица на гнезде своем! Благослови, владыко, покличу ее...

Все, ожидая княгиню, были в молчании, когда вошла она с отцом Софронием, тяжелая и грузная от нового бремени, и села возле князя.

Молчали еще все, но вот встал владыка Иона и, поклонившись князю и княгине низко, тронул рукой пол, молвил с горестью:

— Простите мя! Не уберег детей ваших на епитрахиле своей, а привел в заточение к вам...

— Отче,— воскликнула Марья Ярославна,— не винися в том! Бог уж так судил, что детки наши вместе с нами. Где бы

нам силы взять, ежели без них-то еще в заточенье быть? Ради них и за Москву ратися будем...

Смолкла княгиня, а князь, слезы сдержав, добавил:

— Все надежды яз возлагаю на тя, отец мой, и на церковь православную. Нет вины твоей, ибо изолгал тя Шемяка и слово и клятвы свои рушил. Все люди сей обман увидят и пойдут за нас на злодея...

Василий Васильевич смолк на малое время и заговорил потом спокойно и степенно:

— Ныне, владыко, свет божий утратив, о многом яз мыслю, и наипаче об укреплении вотчины своей, Московского княжества, дабы во главе ему быть всея Руси, дабы татар с выи своей сбросить...

— Благослови тя господь,— ответил владыка Иона.— Выслушай, княже, все, что реку тобе, как все было, и в чем и в ком чаю аз опору имети для дел наших.

— Слушаю тя, отче,— тихо молвил Василий Васильевич.

Рассказал Иона подробно и о побеге княжией, и о князьях Ряполовских, и о церквах и монастырях, и о том, как весь народ за князя стоит: сироты, воины и люди посадские. Рассказал, как бояре, князья и гости богатые разумеют о делах московских, и в заключение молвил:

— Нету, княже, страху у меня за Москву и за род твой, ибо бог хранит его для-ради славы христианской. Будет Москва главой, будет царь московский вольным, будет и церковь православная русская главой всего христианства православного. Разумей же, что единая цель у нас, единое и деянье...

— Истинно, истинно,— задумчиво отозвался Василий.— Приказывай же, отче, что деять...

— Ведомо тобе, княже,— продолжал владыка Иона,— что брат княгини твоей князь Василий Ярославич, и князь Оболенский Семен Иваныч, и воевода твой Федор Басёнок со многими людьми в Литву ушли и города там имеют от великого князя литовского. Мыслят они там так же, как мыслят тут князья Ряполовские, а с ними и князь Иван Василич Стрига, Иван Ощера с братом Бобром, Юшка Драница, Семен Филимонов с детьми, Русалка, Руно и многие другие боярские дети и прочие людие. Все они, княже, а с ними и церковь православная, хотят тобя и семейство твое, ежели не уговором и страхом от Шемяки выняти, то силою ратною взять...

Молча перекрестился Василий Васильевич, а княжич Иван увидел опять, как слезы потекли по щекам отца.

— Но ранее того,— строго продолжал Иона,— церковь наша святая и аз, грешный, будем челом бить об отпущении твоем

в дальний удел какой, а там, как отпустит Шемяка тобя, и о другом мы помыслим. Ты же, сыне мой, иди на примирение всякое и клятвы и целованье давай без страху. Господь за тобя. Ежели будет так, что клятвы неволей дашь, надежу имей на церковь. Разрешит она тя от невольной клятвы!

Иона встал, и все встали за ним.

— Княже,— молвил владыка,— завтра на рассвете отъеду из Углича к Переяславлю, а там и на Москву. Тобе же тут отцы Софроний и Алексий служить будут. Буду аз знать все во благовремении и тобя упреждать обо всем.

Взглянув на иконы в углу кельи, он добавил:

— А сей вот час, княгинюшка, созови всех чад своих и домочадцев. Отслужим молебную о даровании сына тобе и князю, помолимся о здравии великого князя и о победах ему над супостатами...

Глава 16

ОТПУЩЕНИЕ

В тысяча четыреста сорок шестом году князю Димитрию стало ведомо через доброхотов своих, что по всему княжеству, да и в самой Москве люди всех званий зло на него мыслят, а князья Ряполовские и многие бояре, воеводы и дети боярские, которые были в думе с ними, полки собрав, срок наметили. Порешили они на Петров день к полдню сойтись с воинами своими возле Углича всем вместе и нечаянно для стражи и заставы углицкой напасть и великого князя с семейством из заточения освободить.

Всполошившись, Димитрий Шемяка спешно послал на Ряполовских из Углича Василия Вепрева с большой ратью, а в помощь ему Федора Михайловича со многими полками, повелев им соединиться на Усть-Шексне, у Всех святых. Узнав о том, Ряполовские враз повернули на Вепрева и, разбив его на Усть-Мологе, бросились к Усть-Шексне на Федора Михайловича, и побежал тот от них назад, за Волгу. Сами же Ряполовские, видя, что умысел их открыт Шемякой, пошли по новгородской земле к Литве и пришли во Мстиславль, ко князю Василию Ярославичу.

Известясь о бегстве полков своих, князь Димитрий впал в смятенье великое. Смуты страшась на Москве, разослал он грамоты с нарочными ко всем владыкам, прося их на совет приехать с архимандритами, игумнами и протоиереями. Князь можайский Иван Андреевич сам в Москву пригнал, гостит вот уж вторую неделю, а помощи от него нет никакой,—

ослаб духом совсем, да и веры в него нет у Шемяки. Смотрит всегда князь Можайский, как пес, в те руки, в чьих кусок пожирней. Смотрит он и на него, Шемяку, и на зятя своего, великого князя тверского Бориса Александрыча: ждет, куда тот повернет. Знает Иван Андреевич, что Тверь боится Москвы, но знает и то, что не любит Борис Шемяку.

Злыми глазами князь Димитрий поглядел на князя можайского, хотел накричать, изругать его, лицемера, но смолчал, тоже ждал, как дела повернутся. Может быть, и этот друг кровососный еще пригодится.

Вошел боярин Никита Константинович Добрынский, поклонился с кривой улыбкой — тоже и ему не весело. Стал он рядом у окна с князем Димитрием и молчит, ожидая, что тот ему скажет.

— Какие вести?— тихо спросил Шемяка, не глядя на боярина.

— Многие люди отступают от нас,— ответил Никита вполголоса,— и на Москве, и на деревнях, и в селах...

— А как владыки?— резко перебил его Шемяка.

— Из владык, государь,— сказал Добрынский,— приехали токмо: Варлам коломенской да Авраамий суждальской, Ефрем же ростовской гонца прислал, что во всем единогласен с митрополитом Ионой, а Питирим...

— Хватит,— снова прервал боярина Шемяка,— собери их завтра, изготовь все для совета и дворецкому трапезу прикажи для святителей особую, и яз с ними вкушу, и дары и прочее, как сам ведаешь...

Поклонился боярин и вышел, а Шемяка остался один у окна и долго смотрел на вечернее небо. Края тучек отливали багровыми и золотыми отблесками, несметные стаи ворон и галок черными сетками свивались и развивались в воздухе, с неистовым криком кружась у кремлевских церковных звонниц и над кровлями высоких боярских хором.

Долго стоял так Шемяка, не оглядываясь, и казался он теперь старше своих лет.

— Чуть споткнись,— неслышно шевельнул он губами,— и затопчут...

Измучился он от забот и дум, от опасения и от неверия ко всем и только у Акулинушки своей, тайно бывая, на малое время покой находил, но и Акулинушка внедавне укорила еще больней, чем митрополит Иона. Тот поученьем божьим томит его душу, а Акулинушка только раз молвила, но таково печально, словно сердце разрезала:

— И пошто слепца томишь с женой и младенцами! Грех-то какой, Митенька...

Вспомнил слова эти Шемяка и, взглянув на князя Ивана

Андреевича, скрипнул зубами, выпил крепкого меда и сказал сухо:

— Хочу завтра звать бояр и владык думу думать. Будь и ты с нами.

— Добре,— вяло согласился Иван Андреевич и, медленно испив меду, подумал, что если Борис будет в дружбе с Василием, то через сестру свою Настасью добьется он у могучего зятя заступничества пред князем великим.

После обедни ждали гостей в столовой избе, что стоит супротив жилых хором великого князя. Владыки еще не прибыли с митрополичьего двора, и слуги стояли в дозоре, чтобы князю весть подать, как только завидят их. На дворе у столовой избы толпился народ, ожидали бояре в праздничных нарядах и отцы духовные в облачении, слуги и воины, дворецкий и дети боярские. На звонницах кремлевских звонари сидели, дабы поезд митрополита звоном колокольным достойно встретить...

В покоях же столовой избы были только сам князь Димитрий да любимый дьяк его, Федор Александрович Дубенский.

Грустен и весь как-то встревожен был князь, не сидел на месте, а ходил все возле столов и поставцов с золотой, серебряной и хрустальной посудой, русской и итальянской, и даже индийской и персидской работы. Федор Александрович стоял у дверей трапезной, следя глазами за государем своим.

Неожиданно князь Димитрий остановился против дьяка и спросил:

— Как княгиня с сыном моим в Галиче?

Федор Александрович понял, о чем его спрашивают.

— Собиралась было княгиня в Москву, да, размыслив, осталась со странницами своими и богомолками,— ответил он и, нахмурясь, добавил:— Нет в твоей княгине, государь, естества женского, хоть и сына родила тобе...

Шемяка судорожно вздохнул.

— Рыба снулая!— сказал он резко.— Пусть там вздыхает да с бабами старыми ахает да охает. Постыла мне постница...

Он быстро зашагал по трапезной, но вскоре опять подошел к Федору. Глаза его вспыхнули, и ноздри расширились.

— Сегодня к тобе ночевать приеду. Токмо бы все тайно было — упреди Акулинушку и свою Грушеньку. В Москве-то ведь не в Галиче: все тут вельми длинноухи да глазасты...

— Не тревожься, государь. Все добре и тайно изделано будет. Акулинушка же твоя по тобе истосковалась, истомилась истомой...

Радостно улыбнулся Шемяка и хотел спросить еще об Акулинушке, да загудели колокола на звонницах, и слуга вбежал, крикнув:

— Княже, святители едут!

Шемяка вместе с дьяком своим пошел к красному крыльцу.

— Как ты мыслишь, Федор Лександрыч,— на ходу спросил он Дубенского,— не любят меня попы?

— Не любят,— ответил дьяк,— а ты купи их. Одних угодьями, других — деньгами, а Иону — почетом и власть ему дай. Хочет он князем церкви быть...

— Надо скорей его утвердить в Цареграде. Обдумай, Лександрыч, с боярином Никитой, как бы патриарха на то умолить и посольство снарядить в греки с дарами.

— Истинно, государь,— живо откликнулся Федор Александрович,— они, попы-то, на бога поглядывают, а по земле пошаривают! И попы христианские и муллы татарские токмо бога приемлют по-разному, а дары одинаково.

Шемяка усмехнулся и сказал:

— А даров в казне Василья да в казне княгинь его нам хватит!

— Токмо ты, княже, за можайскими гляди. По рукам их бей. Паки они когти вострят на московскую казну...

За столом князь Димитрий сидел по правую руку от владыки Ионы и был к нему весьма ласков и почтителен.

Иона слушал всех внимательно, но лицо его было неподвижно, как у слепого, не отражая ни мыслей его, ни чувств. Только глаза его пронзали всех говоривших с ним, вызывая смущение.

Уже за трапезой начались старанья Шемяки привлечь на свою сторону нареченного митрополита.

— Государь великий,— неожиданно сказал боярин Никита, обращаясь к Шемяке,— мы с дьяком Федором Лександрычем наряжаем посольство с дарами великими в Царьград и грамоту для патриарха составили...

— Добре́, добре́,— важно сказал Шемяка и ничего больше не добавил, видимо ожидая вопроса от духовных отцов.

Иона понял, что это посольство и грамота его поставления касаются, но промолчал, намазывая себе на разрезанный пополам колобок тертую редьку, любимое свое кушанье. Прочие же духовные начали переглядываться, а Варлам, епископ коломенский, не выдержал и спросил:

— Пошто, княже, челом бьешь патриарху-то?

— Молити хочу его, да поставит нам наиборзо митрополита,— ответил Шемяка,— льзя ли Москве и всей Руси без главы духовного быти?..

Иона чуть усмехнулся,— догадка его оказалась верной. Он уколол острым взглядом Шемяку и молвил:

— Да благословит тя господь за гребту о душах християнских. Токмо каков ныне патриарх-то? Не униат ли, яко Исидор? Не в латыньстве ли поганом обрящут его послы твои?

Он помолчал и, доев кусочек колобка с редькой, продолжал среди общей тишины:

— Не пора ли нашей церкви православной самой стать во главе всего православия и по чину апостольскому самой рукоположить, волей владык своих, митрополита всея Руси...

Шемяка смешался было, но быстро нашелся и, почтительно улыбаясь, ответил:

— Как мыслят отцы духовные, так и содею. Хочу токмо, отче Иона, тобя во главе православия поставить...

Иона нахмурил брови и, обратясь к Шемяке, возопил гневно и горестно:

— Княже! Двоедушен ты. Меня хочешь в митрополиты всея Руси, а что содеял со мной? Неправду ты учинил сам, а меня ввел в грех и сором. Обещал ты князя великого выпустить, а сам и детей его с ним посадил за приставы! Давал ты мне в сем слово свое. Поверил аз слову твоему, они же мне поверили, и остался един аз ныне во лжи! Выпусти великого князя, сними грех с моей и со своей души! Что может тобе злого содеять слепец беспомощный! Дети ж его малые, младенцы еще.

Владыка Иона медленно поднялся со скамьи и, обратясь к вставшему тоже Шемяке, добавил уже спокойно, но твердо:

— Ежели все же страх имеешь, то свяжи душу князя Василья еще и целованьем честного креста, да проклятыми грамотами[1], да и нашею братией, владыками!..

— Истинно, истинно,— заговорили все отцы духовные,— укрепим и мы его клятвой на верность тобе, княже. Что учинить можно слепцу болящему с двумя младенцами...

— Ныне с тремя,— поправил боярин Никита,— в лето сие, августа в тринадцатый день, родился у князя Василья в Угличе сын Андрей...

---

[1] *Проклятые грамоты* — письменные клятвы с призывом на себя проклятий в случае нарушения их.

— Тем наипаче,— обращаясь к Шемяке, громко сказал Иона.— Прикажи, сын мой, не в Царьград послов слати, а купно с нами, владыками, и прочими отцами церкви поезжай сам со двора в град Углич отпущения для-ради великого князя, а церковь благословит тобя на княжение.

Многое еще говорил владыка Иона и другие владыки и бояре. Долго слушал их князь Димитрий молча, размышляя. Видел он, что если не отпустит князя Василия, начнется смута, а церковь отойдет от него.

— Злее того зла, что уже есть, не будет,— зашептал князю Димитрию дьяк Федор.— Помни, Борис-то тверской за Василья. Посылает, бают, воеводу, князя Андрея Димитрича, веля распознать все. Силен Борис-то казной да пушками...

— Порешим с Васильем, почнем с Борисом,— злобно прошипел Шемяка и, обратясь к князю можайскому, громко сказал:— А ты как, Иван Андреич?

— Яз со владыкой не спорю,— ответил князь Иван.— Много ль брат твой без очей-то может? Так и князь Василей: жив еще, а уж без веку!..

Князь Димитрий Юрьевич глубоко вздохнул и сказал нетвердым голосом:

— Ин согласен и яз. Купно поедем все в Углич. Выпущу князя Василья, дам ему и детям его некую вотчину, на чем бы можно им быть...

Княгиня Марья Ярославна сидела в своей келье и кормила грудью новорожденного Андрея. Ни о чем не думая и вся отдаваясь сладостному чувству, она смотрела, как жадно чмокал и сосал маленький ротик, щекоча и слегка покусывая беззубым ртом ее сосок. Крохотные тоненькие пальчики шарили по ее пышной белой груди, и все это вместе с сосаньем было невыразимо приятно. Марья Ярославна не удержалась и стала целовать теплый атласный лобик ребенка, стараясь не мешать ему насыщаться.

— Хорош у тя Андрейка-то,— проговорила Дуняха, откормив своего Никишку и укладывая его в зыбку, подвешенную тут же, в углу княгининой кельи.

— И твой не плох,— улыбнулась княгиня и, засмеявшись, добавила:— А мой-то в колени мне пустил, всю залил...

Она подняла на руки отвалившегося от груди Андрейку, сытого и улыбающегося. Княжичи Иван и Юрий подошли к новому братцу и, радостно улыбаясь, подставили ему свои руки.

Андрейка пухлыми ручонками, словно перетянутыми у кистей ниточками, с ямочками над каждым суставом, цеплялся за выставленные вперед пальцы и тянул их к себе в рот.

Дуняха, уложив Никишку, подошла к княгине с сухими пеленками, но Марья Ярославна не допустила ее перепеленывать и занялась этим сама.

— Золотко мое,— восторженно говорила она, переворачивая теплое розовое тельце,— андельчик мой светлый, басенький ты мой...

Когда княгиня обрядила Андрейку и положила в резную колыбельку-качалку, стоявшую рядом на закругленных полозьях, к ней подбежала Дарьюшка.

— Государыня,— молвила она,— дай его мне покачать, дай, Христа ради...

Дочка Константина Ивановича за два года заметно подросла и теперь с охотой и радостью нянчилась с маленьким княжичем, как с живой, занятной куколкой. Данилка же, пришедший к Ивану звать его на рыбную ловлю, стоял в сторонке и исподлобья глядел на всю суету около Андрейки.

— Бабье дело,— сказал он сурово Ивану, когда тот подошел к нему.— Карасей-то ловить пойдешь? Я место нашел, прудок туточка есть. Сенька просвирнин мне сказывал...

Дверь в келью отворилась, и вошел великий князь Василий Васильевич — его вел под руку Васюк,— а следом шел Илейка. Старый звонарь, проходя мимо Ивана и Данилки, лукаво подмигнул им — о пруде с карасями он тоже знал и давно уж навастривал Данилку соблазнять княжичей на ловлю.

— Марьюшка,— сказал глухо Василий Васильевич, садясь на скамью,— был сей часец у меня отец Софроний. С Костянтин Иванычем приходил.

Марья Ярославна насторожилась.

— Али вести какие есть?

— Шемяка, баит отец Софроний, сюда с владыками и боярами едет. Иона передать велел, якобы отпущения нашего ради...— Голос Василия Васильевича прервался.

— Неужто, Васенька?!— всплеснула руками княгиня и, перекрестившись, добавила:— Спаси и помилуй нас, Христе боже наш...

— Будет в капкане Шемяка,— сказал тихо великий князь, но так жестко и беспощадно, что княжич Иван оглянулся на отца со страхом и недоумением.

Никогда он не слыхал, чтобы так говорил его отец, даже в гневе и злобе он не бывал страшней, чем теперь.

Сентября пятнадцатого, в день Никиты-гусепролета, Шемяка был уже в Угличе с двором и советом своим, а на другой день призвал к себе Василия Васильевича и с утра ждал его в своих углицких хоромах. Стояли все тут в обширной передней, впереди трапезного покоя, где уж и столы были накрыты. Был с Шемякой и нареченный митрополит Иона, архимандриты, игумен, бояре и дети боярские — московские, галицкие и углицкие. Вялый и дебелый князь Иван Андреевич стоял у окна, словно дремал. Шемяка же ходил по горнице, потирая руки, улыбаясь, и трудно понять было — весел он, зол или тревожен только.

Ждут все прибытия Василия Васильевича с семейством. Вдруг — шум на красном крыльце, а потом и в самых сенях. Зашумели и заговорили все и в передней, но враз стихли и замерли, когда растворились из сеней двери. Замер и Шемяка, остановясь среди передней и впиваясь взором во врага своего.

Василий Васильевич шел впереди семейства, держась за руку княжича Ивана. Багровые ямы на лице вместо глаз, седые волосы и трясущаяся голова его были страшны. Ахнули все, будто вздохнули единым вздохом, а княжич Иван, сразу узнав Шемяку, ясно увидел, как тот взволновался и побледнел. Потом лицо его задергалось, черные большие глаза заморгали, как у ребенка, собравшегося плакать, и он быстро и порывисто бросился к великому князю.

— Брат мой, брат мой,— заговорил он прерывающимся голосом,— прости меня, окаянного! Согрешили мы оба пред господом, а яз и пред тобой и детьми твоими...

Но Василий Васильевич перебил его и своим ясным и звонким голосом заговорил печально и жалобно, словно душа лилась из уст его:

— Не ты, брате, повинен предо мной, а яз, многогрешный, токмо яз! От бога мне пострадати было грех моих ради и беззаконий многих и в преступлении крестного целования пред вами, пред всей старейшей братией и пред всем православным христианством, которое губил и еще губить до конца хотел. Достоин яз был головные смертные казни, но ты, государь мой, показал на мне милосердие свое, не погубил меня в грехах и беззаконии, но дал покаяться, очистить душу от зол моих...

Княжич Иван отодвинулся с недоумением и испугом от отца, но с жадным любопытством следил за всем происходящим, ничего не пропуская. Он услышал, как громко заплакала матунька, видел, как слезы обильно текут по щекам отца и Шемяки, видел, как утирают глаза бояре и отцы духовные. Только один владыка Иона стоит прямо, словно с окаменевшим лицом. Брови его сдвинуты, взгляд затемнел, а губы иногда чуть-чуть усмехают-

ся и нельзя узнать — грустит или радуется владыка, доволен или сердит.

Не может Иван оторваться от этого лица, вспоминает он лицо бабки своей. Так вот и бабка, Софья Витовтовна, глядела строго и неподвижно, а иногда чуть улыбалась, когда тату чем-либо корила или наместников и тивунов из своих уделов слушала, что говорят они об именьях ее, городах и селах, что сказывают о судах своих и работах, о доходах и убытках, о сиротах и прочих людях.

Но вот говор и шум кругом услышал княжич Иван и, отведя взор от владыки, прислушался. Все дивились смиренью великого князя, а он все еще говорил своим звонким голосом, и слезы бежали по лицу его.

— Чада мои,— вдруг громко и повелительно молвил владыка Иона,— пора уже укрепити крестным целованием сии сердечные покаяния. Время, опричь спасения души своей, подумать о спасении и благоденствии земли нашей и всего христианства православного. Скрепите, чада мои, слова свои крестным целованием и проклятыми грамотами.

Дьякон Алексий тотчас же выдвинул вперед аналой с напрестольным крестом и со свернутой епитрахилью. Духовник Василия Васильевича, протопоп Софроний, облачился, взял крест, прочитал надлежащие молитвы и, выслушав обоюдные клятвы князей, связал их крестным целованием.

Тут же, подписав заготовленные грамоты,— проклятые и договорные,— князья обнялись на радостях, и Шемяка пригласил всех в трапезную на пир великий ради князя Василия, княгини и их детей.

Когда сели за столы с золотой, серебряной и хрустальной посудой со многими яствами и питиями, слезы навернулись на глаза Марьи Ярославны. Признала она многое в серебре и золоте из именья великого князя и свекрови, но сдержала себя и снова стала приветливой и якобы веселой.

Слезы ее заметил сидевший рядом княжич Иван и задумался. Непонятно ему было все, что совершалось пред ним. Помнил он, какое зло у отца с Шемякой. Отец вынул очи брату Шемяки — Василью Косому, а Шемяка ослепил его самого, и вот они обнимаются, целуются и пируют вместе. Взглядывал Иван недоуменно и пытливо на владыку Иону, но тот чуть усмехался ему, и нельзя понять, чему он улыбается. Вот и теперь: все радуются, пируют, а у матуньки слезы на глазах.

За столами же все веселее становилось и радостнее. Вот и Марья Ярославна совсем успокоилась. Смеются кругом, пьют за здоровье обоих князей, говорят о мире и тишине в Московской

земле. Легче стало и княжичу Ивану, верит и он, что все переменилось, и на усмешку владыки Ионы ответил искренней детской улыбкой. Радовался он дарам, которые Шемяка дарил отцу, матери, ему, Юрию и даже крохотному Андрейке. Были среди даров многих и кафтаны, и шубы, и меха дорогие, и чаши, и кубки, и чарки золотые и серебряные.

Оживился Иван, шепчется с Юрием о подарках, смеются оба, когда все смеются кругом какой-либо шутке. Светло на душе Ивана, только черные глаза Шемяки, когда он случайно встречается с ними, холодят ему сердце. Все же и не заметил он, как прошло время, как закончился пир и начали все вставать из-за столов.

Князь Димитрий, прощаясь, опять обнялся с князем Василием и сказал ему:

— Брат мой, даю тобе в вотчину Вологду со всем, как в докончанье [1] на тобя и на детей твоих отписал. Утре же и отъезжай с семейством, владей сей вотчиной и княжи там с миром.

— Благослови тя, господи,— растроганно благодарил его Василий Васильевич.— Утре отъеду. Тобе же дай бог благополучно, на благо всем, Москвой правити...

Тут подошел к ним владыка Иона и, благословив Василия Васильевича, сказал ему:

— Да направит господь путь твой. Помни обеты твои и совершай так, как совесть твоя и господь велят, как надо для пользы христианства. Отъезжай с миром, сыне мой...

Благословил он и княгиню и княжичей, но отошел от них, не сказав им ни слова. Было это горько Ивану: привык он к ласке и привету владыки и понять не мог, почему ныне Иона забыл о нем. Слезы обиды блеснули у Ивана в глазах, и еще обидней стало ему, что отец его уж не великий князь и не видать им больше Москвы своей и родных кремлевских хором...

Конец первой книги

---

[1] *Докончанье* — договор.

книга вторая

Глава 1

СЛОВО САМОДЕРЖЦА ТВЕРСКОГО

Зима этот год ранняя. За месяц до Екатерины-санницы зимник почти уж наладился, а люди надели полушубки и валенки. Волга близ Твери и Кашина тоже стала уж в октябре.

По дворам давно уж сороки скачут и стрекочут, в садах звенят синицы, возле околиц щебечут в бурьяне чижи и щеглы, а в бузине и рябине, склевывая ягоды, мелькают красногрудые снегири и нарядные свиристели.

Хотя настоящих морозов и нет еще и дни погожие и ласковые, все же снег крепко лежит и не тает. На снегу же вот и братчины в Волоке Ламском собираются. Празднуют мужики посадские свой храмовый праздник — именины своей церковки в день Параскевы Пятницы.

Пир уже с утра пошел и был везде уж в полпира, как произошло замешательство. Прискакал из Твери боярский сын Бунко, Семен Архипыч, с дружиной своей из десяти конников, а из Москвы прибежал сам-пят с товарищами Ермила-кузнец.

Еще до войны с Шемякой, вскоре после пленения князя великого, когда Улу-Махмета на Москву ждали, верховодил этот Ермила в смуту московскую, бояр да гостей богатых, что бежать тогда вздумали, в железы ковал. Теперь же он к Бунко пристал,— знал он Семена Архипыча, когда тот еще князю служил великому.

Пошли они оба со всеми своими воинами по Волоку мужиков посадских корить и стали у самой большой братчины в овражке возле речки Городенки, что в Ламу впадает. Врыты здесь в землю столы и скамьи тесовые, а чаны великие с пивом стоят близ родника быстрого и незамерзающего. Тут, у воды, и пиво

варят, и яичницы на всю братию стряпают, а чуть поодаль пляшут.

Подошли к столам приезжие, шапки сняли, на восток помолились, поклонились всем в пояс.

— Хлеб-соль да мирная беседушка,— сказал Бунко.

— Ехали в домок,— добавил кузнец,— да свернули на дымок.

Из-за стола встал выборный староста братчины и, поклонясь, молвил ласково:

— Просим к нашему хлебу-соли, на столе все братское.

— Честь и место,— поддержали старосту другие, потеснившись на лавках,— а за пивом и посылать нечего — рядышком...

Но гости не садились.

— Нету, други,— громко сказал Ермила-кузнец,— спасибо за ласку, не до пиров нонечко! Не время пирам-то. Нет ведь ни масленой, ни Кузьминок, ни Михайловщины, ни Никольщины, а у вас везде пьяным-пьяно на братчинах...

Дерзко Гриша, Горшени сын, запьянцовский парень, посмеялся ему:

— Нам бы токмо братчину да пиво с брагой пить! А ежели и праздника божьего нету, то и свой праздник — перенесенье порток с гвоздка на гвоздок — отпразднуем!

— Слух есть,— продолжал кузнец, хмуря брови,— Мангутек, казанской царь, рать на нас готовит...

— Не трепли языком-то, рыжий черт!— с досадой перебил его Гриша.— Знай свою ссыпь плати, всего-то с кажного по четыре деньги, а там и ешь, и пей, и веселись, сколь хошь! Братчина наша веселая, хоша староста грозной да строгой...

— Помолчи сам-то,— рассердился кузнец,— дай дело баить! Насосался, яко грецкая губка!..

Гриша вскочил и, бросившись на Ермилу, закричал гневно:

— Ах ты, рвань кабацкая! Я те покажу губку, рыжий черт!

Кузнец усмехнулся, схватил его одной рукой поперек стана за кушак, поднял вверх и швырнул прочь, словно котенка. Упал Гриша на землю, встать не может, еле на карачках ползет, охает.

— Ну, Гришуха, четверней поехал!— крикнул кто-то, смеясь, и все захохотали.

Знак сделал староста, тихо стало.

— Ну, дорогие гости!— заговорил он.— Какое дело вам до нас, сказывайте.

— Говори, Ермила,— молвил Бунко,— потом я скажу.

— Вот, други,— начал кузнец,— князи Митрей Шемяка да

можайский, змеи сии, гады подколодные, распрю затеяли, а поганые того и ждут! Бают, татары казанские уши давно навострили, а ныне зубы да когти точат, дабы в Русь вцепиться. Ждут не дождутся, когда будет им можно нас зорить да в полон брать, продавать навек христиан в рабство странам неверным!..

— А что ж мы-то содеем,— сказал, хмурясь, староста,— ежели Шемяка вот князя великого ослепил, потом в Угличе заточил. Теперь же, вишь, когда сам владыка Иона о нем печаловался, опять заслал его с семейством, почитай, к самому Студеному морю...

— Все же,— воскликнул Бунко,— смогли попы да бояре князя нашего из темницы вынуть, а мы, ратные люди, сироты да мужики посадские, вернем князя великого в его вотчину и дедину. Князь великий тверской нам подмога. Сам я в Твери был, когда князь Борис наместника своего кашинского, князя Федора Шуйского, отпустил в Вологду, как токмо реки стали, по брата своего, по князя Василья. Послал ему наместника-то со словом своим, а слово рек вслух всем людям: «Оже нам бог даст, хощем быти за един Борис и Василий, за Василий и Борис!»

— Вот оно как!— загудели кругом.— Тверской-то, вишь, против Шемяки!

— Ежели два такие воеводы полки свои соединят,— живо отозвался староста,— то кто ж против них может?

— Верно, верно!— опять зашумели кругом.— Свернут они шею Шемяке!..

— Гнать надо, други, Шемяку проклятого!— вскричал кузнец во все горло.— Ему бы самому сладко пить и есть, а до нас и дела нет. Гнать воевод его и наместников! В Суждале ноне вот смута идет, народ там за старых князей, за внуков Кирдяпиных. Был там посажен наместник можайским князем, да прогнили его уж оттуда! Еле жив ушел, а именье его все разграбили! В Димитрове шемякин наместник похитрей был. Вызнал он, что народ зло на него мыслит, да ночью с заставой своей собрал все грабленое да тайком на возах и увез. Пришли наутре мужики к хоромам, а его и след простыл!..

Зашумели все, повскакали со скамей, из поленницы колья берут да оглобли от саней отвязывают. Совсем народ осатанел.

— Гляди, и наш-то со всем добром сбежит!— ревут.— У нас ведь тоже наместник-то шемякин! До грабежа горазд, окаянный!..

А Гриша Горшенин совсем уж оправился, вперед бежит, криком кричит:

— Айда, братцы, к нему на широкий двор всей братчиной святую пятницу в погребах его праздновать.

Бежит народ, валом валит со всего Волока Ламского ко двору наместника шемякина. Шумят, кричат все, а в церковке Параскевы Пятницы набат в пожарный колокол бьют, по новгородскому обычаю всех граждан созывают.

— Ворота займай,— ревет Ермила-кузнец,— ворота займай, други!

Окружили наместничий двор, да не со всех сторон и не тесно. Велик двор на другую улицу выходит, а с боков за один забор с соседями. С одной стороны большой гостиный двор, где товары хранятся, что Москвой-рекой и Рузой идут к Волоку, а дальше плывут к Ильмень-озеру и к Новгороду Великому. Нельзя тут, с этого двора гостиного, наместника взять, иельзя трогать двор этот,— от него одинаково и купцы и посадские кормятся! С другой стороны церковный двор, где весь причт посадских церквей живет, и этот двор трогать нельзя,— не возьмет никто греха на душу. На наместничьем дворе хорошо про все это знают, и только против ворот стоит там с полсотни конников шемякиных с луками и стрелами, копьями и саблями, да позади хором, у забора, конников десятка два. Настороже был наместник и вести из других городов имел, три дня уж, как всю заставу на дворе у себя собрал и гонцов послал на Москву о подмоге просить князя Димитрия.

Осенний день короткий да темный, вот и заря на закате разгорается, а злоба у всех множится. Кричит, грозит народ иаместнику, пуще всех крнчит Грнша Горшенин. Влез он на ограду бревенчатую. Снизу ему камни подают, он же из пращи их в конников мечет.

— Вот вам, кобелн шемякины!— завопил он радостно, когда одному коннику в голову попал и с коня сбил.— Примай гостинцы!

Возъярились конники, запела вдруг стрела острая, пробила гортань у Гриши, острием под затылком вылезла. Хлынула у Гришн кровь изо рта, покатился со стены он на землю, и померк белый свет в глазах его.

Ревом заревели посадские, задолбили кольями и ослопами в ворота, а Бунко, боярский сын, кричит повелительно:

— В топоры ворота рубите!

Задрожали ворота, полетели щепки кругом. Долбят, звенят топоры, рубят в воротах толстые доски дубовые, а Ермила-кузнец со своей братией бревном ворота в самую середину бьют — с петель срывают. Закачались ворота и грохнули наземь, а через них Бунко с десятком своим на двор ворвался, и народ за ним, словно запруду прорвав, закипел, забурлил, рекой полился...

Отхлынули враз шемякины конники от ворот ближе к хоромам, а оттоль, пыхнув огнем и дымом, пищали ударили, и пали с коня Бунко и двое, что рядом с ним скакали. Смешался

народ, побежал назад, а стрелы вслед людям тучей летят. Падает пеших еще больше, чем конных. Бегут мужики посадские, а сзади на них мчат конники шемякины, копьями разят, саблями секут, конями топчут. Разбежались посадские по уличкам да переулочкам, попрятались. Все ж и застава наместничья опять на двор возвратилась. Стемнело совсем, а тут еще и тучки нашли, снег посыпал хлопьями, и заря совсем затухла. Ночь пришла сразу. Где там уж биться, когда кругом зги не видать. Затаились обе стороны, ждут. Слышны во тьме только стоны раненых да осторожный стук топоров на дворе у наместника в разных местах.

— Ворота чинят,— прогудел в темноте голос кузнеца,— идем, ребята, на стражу, поближе к воротам. Раненых переймем, коли со двора выползут, а утре с рассветом работе их мешать будем. Все едино не уйти никуда им, в западне сидят...

Когда светать начало, поползли раненые к воротам, человек пять их было. Бунко же и еще два мужика посадских лежали среди двора окоченелые, и давно снежком их присыпало. Тут же конник лежал с пробитым виском, куда угодил ему камнем Гриша Горшенин, и другой конник, зарубленый дружинниками Бунко...

Вскочил на ноги Ермила, глядит на пустой двор, на ворота, что так же, как вчера, на земле валяются, а кругом все светлей и светлей, золотит уж солнышко крыши.

— Где же они, вороги наши?!— закричал он в бешенстве.— Обманули, проклятые! Вали сюда, ребята, вали сюда!..

Посадских же мало было, и боятся они новой хитрости.

— Стой, Ермила,— кричат,— не ходи на двор, опять они из пищалей ударят!..

Но кузнец никого не слушал, мчался к хоромам, размахивая грозно ослопом, и вдруг, словно на стену наткнулся, стал как вкопанный.

— Други!— кричит он неистово.— Гостиным двором ушли они! Гляди, вон там забор прорубили!

Крик поднялся, бегут на двор посадские, что у двора сторожили, а за ними другие, что опять к утру сюда прибежали. Откуда — неведомо, будто мухи на мед, спешат люди со всех сторон. Гомон, рев и ругательства. Трещат двери в подклетях, тащат оттуда добро всякое: и из посуды, из одежи, и из конской сбруи. В горницах тоже народ бушует, а из медуш да погребов бочки выкатывают.

Махнул на все рукой Ермила-кузнец, медленно подошел к убитому Бунко, перекрестился и заплакал.

— Царство тобе небесное, Семен Архипыч,— с трудом выговорил он.— Пострадал за правду народную...

Выехав из Кашина, князь Федор Шуйский скакал днем и ночью с отрядом конников по окрепшему льду рек, останавливаясь кое-где в деревнях для краткого отдыха и кормежки лошадей. Повинуясь грозному государю своему, великому князю тверскому, спешил он тайно прибыть в Вологду.

Объезжая города, проехали они по Волге, миновали Калязин, Углич и возле устья Шексны с большой опаской объехали Рыбинск, но по Шексне ехали уже спокойно и радостно. Знал князь Шуйский, что волю державца и великого князя тверского он почти выполнил.

В Череповецкой же слободе были они уже как дома, и два дня отдыхали, а потом, поднявшись верст на пятьдесят по Шексне, прискакали к волоку, что идет на восток, к верховьям реки Вологды. Верст на пятнадцать здесь, в лесу непроходимом, прорублена прямая просека, а на концах ее по три избы со дворами стоят. Тут вот и ночь застала Шуйского с конниками, а ехать-то еще верст около ста. Ну, да заночевать здесь всякому лестно. Знал это место князь Федор — не раз тут отменную стерлядь шекснинскую едал и в ухе и на противнях жаренную и медвежьи окорока здесь пробовал. Брага же у волочан этих — нигде такой не сыскать! Живут сироты здесь богато — проезжих принимают, поят, кормят и ночлег дают. Зимой сани, а летом лодки чинят. Дела все прибыльные, и на людях тут весело. Скучно только весной, когда реки вскрываются, да осенью, пока еще реки не стали. Лето же и зиму то лодки, то обозы — одни за другими, а торговые люди с товарами возят и вести всякие.

Сироты тут и хозяйство ведут — хлеб сеют на лесных вырубках, скот держат, бортничают и рыбу ловят. Птицы же здесь множество: и куропатки белые, и рябчики, и тетерева, и глухари, а водяной птицы при пролетах — видимо-невидимо, речки и озера лесные словно кипят тогда под несметными стаями! Одна досада горькая — комары да мошки заедают, все теплое время в сетках ходить приходится. Разместил князь Шуйский дружину свою на всех трех дворах, а сам у знакомого своего, у Егорыча, в горнице остановился.

Угощаясь стерлядкой жареной да брагой запивая, беседовал гость с хозяином, а хозяюшка у стола хлопотала.

— Государь Федор Юрьич,— говорил старик Егорыч, вертя пальцами свою черную, без единой сединки бороду,— истинно, темней у нас, чем на Волге-то. А в ноябре-то и того хуже будет, сивой кобылы днем под кустом не сыщешь. Зато летом у нас заря с зарей сходится, а у Студеного моря, промышленники бают, с мая по июль солнце-то с неба не сходит. Нет ночи совсем...

— Ну а как, Егорыч, медведи?

— Ходил надысь я с рогатиной. Матерого промыслил — только залечь успел. Жирен уж очень, окороки выйдут добрые!

— Ну, а обозы!

— Плохо что-то идут. Реки-то стали много ране ноне. Видно, купцы-то не чаяли так скоро, не изготовились. Все же снизу два обоза прошли. Бают, кругом Москвы неспокойно, смута везде идет, а народ зло на Шемяку мыслит, наместников его по городам бьют да гонят. Да вот теперь разный народ в Вологду потянул к великому князю Василью. А ты, княже, не к нему ли?

— К нему. Послан от государя нашего со словом. Братом своим Василья-то Васильевича государь наш признал, двое за един...

— Ишь ты!— воскликнул Егорыч.— Коли государь Борис Лександрыч за великого князя — худо Шемяке!.. Вот они, святые слова, и сбываются: «Не в силе бог, а в правде». Там, где кривда да воровство, там и сила не поможет, а где правда, туда и сила придет. Народ всегда за правду, без правды да совести и живота нет...

Встал из-за стола князь Федор, помолился на образа и, поклонясь хозяевам, молвил:

— Спасибо за хлеб-соль. Теперь опочить пора, а завтра, Егорыч, изготовь все в дорогу к рассвету. Поспеем, чай, к вечеру-то в Вологду!

— Как не поспеть! Оно хошь и к вечеру, но все едино уж затемно. У нас теперь к трем часам ночь. Ну, а на жилых-то приедете, до ужина...

На другой день точно, как и сказывал Егорыч, князь Шуйский затемно въехал с дружиной своей во двор великого князя. Дворецкий Константин Иванович по приказу Василия Васильевича провел князя Федора прямо в трапезную, где готово все было к ужину.

Шуйский увидел великого князя сидящим на пристенной лавке, а рядом с ним высокого мальчика с большими черными глазами, как на иконах грецкого письма. Мальчик острым, не детским взглядом окинул вошедшего незнакомца, пока тот крестился на образа, потом взглянул на дворецкого и, крепко сжав руку отца, стал ожидать, что будет дальше.

В трапезной никого больше, кроме Константина Ивановича, не было. Марья Ярославна, взяв с собой Юрия, укладывала спать Андрейку в детской, где жила и Дуняха со своим Никишкой.

Помолившись, Шуйский низко поклонился Василию Васильевичу и сказал:

— Челом бью тобе, государь! Яз князь Федор Юрьич Шуйский, наместник кашинский государя и самодержавца тверского, великого князя Борис Лександрыча, брата твоего.

Василий Васильевич быстро встал и радостно воскликнул:

— Будь здрав, брат мой Борис Лександрыч, да живет он многие лета! Яко елей на раны, мне весть от него.

— Послал тобе, государь, князь Борис Лександрыч слово свое.

— Повремени, князь Федор Юрьич,— перебил Шуйского великий князь,— ране мы с тобой за стол сядем, а там яз бояр своих созову, дабы слово брата своего купно со всеми слышать. Тобя ж прошу к хлебу-соли, чем бог послал. Прости, княже, гостей не ждали.

Обратясь к дворецкому, он добавил:

— Княгиню уведомь наперво, а бояре пусть будут после трапезы нашей с гостем, нам дорогим, от любимого брата.

Подали слуги меды, и водки, и всякие закуски холодные, усадил гостя за стол Василий Васильевич, и только успели выпить за здравие гостя, как вошла княгиня Марья Ярославна.

Наспех одела ее Дуняха в любимую алую рубаху с жемчужными запястьями, а поверх надела ей шелковый цветистый летник, волосы же ей все, до единого, спрятала под волосником парчовым с жемчужной подизнью. Второпях Марья Ярославна меньше, чем всегда, набелилась и нарумянилась и была оттого красивее.

Загляделся на нее, подивился красоте ее князь Шуйский, но испугали его глаза княгини, большие, черные и строгие. Поздоровался, смутившись, князь Федор и подумал, где видел он такие глаза? Обернувшись же к великому князю, даже вздрогнул. Такими же точь-в-точь глазами, но более суровыми, смотрел на него княжич Иван.

Весело прошел ужин. Василий Васильевич с лаской и любовью расспрашивал Федора Юрьевича о князе великом Борисе Александровиче, о супруге его, о чадах и домочадцах.

— Здрав государь мой,— отвечал Шуйский,— здравы и все ближние его. Благодать божия в хоромах князя тверского. Вельми радостно ныне в Твери после слова самодержца тверского о братстве с тобой и единомыслии. Дошло слово сие до всех, и все людие от великих до простых радуются. От всех стран люди спешат в Тверь, дабы у дома святого Спаса [1] под стяги стать на Шемяку.

Веселы и радостны были все за столом, и к той же радости приобщались и бояре Василия Васильевича, приходя один за другим в княжую трапезную. Знали они уж суть дела от

---

[1] *Дом святого Спаса* — соборная церковь в тверском кремле, главная святыня всего княжества.

дворецкого Константина Ивановича. Когда все собрались, подали кубки. Встал Василий Васильевич и сказал:

— В сей радостный часец, когда нам слово брата нашего, великого князя Бориса Лександрыча тверского, князь Шуйский речет, помолим господа бога о здравии и многолетии брату моему!

Осушил он кубок до дна и поставил на стол, не садясь, пока все не выпили за князя тверского. Потом, когда все стояли еще, он, обратясь к Шуйскому, молвил:

— Слово ждем, княже.

Князь Шуйский выпрямился и, поклонясь всем торжественно, горячо произнес заученные слова государя своего:

— Брат твой, князь великий и самодержец Борис Лександрыч, повестует: «Брате, князь великий Василий! Состалося в нашей земле такое, но паче над тобою, чего и от начала века и доныне не бывало. И ныне, милостию божией и за твою любовь ко мне, послал яз к тобе посла своего, дабы шел ты в дом мой и в мою вотчину, и мы же с помощью божьей, поскольку сия будет, потщимся за тобя поборствовать».

Княжич Иван почувствовал, как задрожала рука отца в его руке.

— Господи, благодарю тя!— воскликнул Василий Васильевич и заплакал, и все кругом плакали от радости.

Васюк же, бывший теперь всегда при князе, не утерпел и крикнул:

— Да ежели два государя таких за един ныне, то полетят они, яко орлы, на воронье и галочье черное!..

Когда же все успокоились и сели за столы, князь Шуйский речи повел о ратных делах, о возвращении великому князю московскому его вотчины и дедины. Но и в радости такой заметил княжич Иван смущенье среди бояр, да и отец его стал задумчив, потом говорить перестал вовсе. Смолкли постепенно и у других разговоры, а Марья Ярославна встревожилась вдруг и часто взглядывает на мужа своего, словно ожидая чего-то.

Вздохнул Василий Васильевич и сказал задумчиво:

— Кузьминки отпразднуем, а к Михайлову дню, княже Федор Юрьич, все, что со мной тут есть,— и семейство мое, и двор весь до единого слуги,— поедем купно с тобой в Кирилло-Белозерской монастырь. Хочу с игумном и братией беседу о душе иметь, о целованье креста и проклятых грамотах. Боюсь яз греха пред господом богом...

На другой день после Кузьминок выехал Василий Васильевич со двором всем в Кириллов монастырь, к Белу-озеру, ноября

второго. Тайны особой не соблюдали, ибо знал Василий Васильевич, что князь тверской, кроме присланных с Федором Шуйским двух конных полков, посылает еще от себя большую рать к монастырю, а стены монастырские крепкие — до прихода помощи тут отсидеться можно.

Третий день уже едет княжой поезд по реке Вологде. Скрип от полозьев гулко по берегам отдается. Зима тут на севере стала уж настоящая, и морозы завернули крепкие, словно крещенские. Все княжое семейство в теплых возках едет.

Опережая их, небольшой отряд скачет, везде по пути сказывает: едет князь-де великий с семейством своим и двором на богомолье в Кириллову обитель для-ради милостыни и кормления братии монастырской.

Княжичи Иван и Юрий едут отдельно, в крытой войлоком кибитке, с Илейкой и Васюком, как ехали когда-то из Москвы в Сергиеву обитель по возвращении Василия Васильевича из татарского плена. Только нет теперь у них беззаботности детской и радости.

Отогнуты спереди полсти у кибитки, и видят мальчики по берегам реки огромные, высоченные прямые стволы сосен и елей в снеговых шапках, а меж них время от времени серые стволы осины или вперебой их целые рощи огромных красавиц берез: чистухи и глушины, а на замерзших болотинах и трясинах — густые и могучие поросли черной ольхи, среди которых подымаются и десятисаженные лесины.

Иван задумчиво глядит на все это изобилие лесное, вершины которого зубчатыми узорами очерчивают по сторонам ясное морозное небо. Смутные, неопределенные мысли томят его — многое он узнал и понял, но многое ему совсем непонятно. Не понимает он и теперь вот, зачем в монастырь едут и зачем опять с Шемякой воевать, когда все уже кончено и все радовались и пировали в Угличе. Вспомнив Углич, вспомнил Иван и владыку Иону, что так неласков был с ним на прощанье.

Юрий спит почти все время и совсем не резвится, как бывало в дороге. Тоже о чем-то думает. Под конец свежий воздух, теплый тулуп, мерный ход кибитки и напеванье Илейки нагнали на Ивана дремоту. Отошли постепенно все думы, и мелькнуло сновидением перед глазами его катанье на санях с колесом в Москве и сборы к отъезду, и бабка привиделась. Позвала она будто отца и говорит ему о покойной дочери своей, о царице греческой, да о патриархе, что ладан прислал для обители Сергиевой...

Очнулся Иван от радостного возгласа Илейки:

— Вот и Шексна-матушка! Ну в ней и стерлядка же! Глотнешь ушицы — словно Христосик босой по сердцу пройдет!

Иван открыл глаза. Уже вечерело, солнце за леса спряталось, а впереди, где кончается просека, три двора стоят с большими избами, а избы с подклетями, светлицами и широкими взвозами. Возок, в котором едут отец с матерью и Андрейка, медленно въезжает по взвозу в самую большую избу.

— Где мы? — спросил Иван.

— Волок проехали,— ответил Васюк.— Ночуем тут, а завтра, еще до свету, вверх по Шексне к Белу-озеру поедем...

В Кирилло-Белозерском монастыре встретили княжое семейство трезвоном во всех церквах, как на пасху. Далеко за ворота вышли все иноки из обители крестным ходом с игумном Трифоном во главе.

Остановил поезд великий князь и с княгинией своей и детьми пошел пешком навстречу клиру духовному. Все были веселы и радостно внимали звону и пенью церковному, но Иван сумрачно навел брови. Вспомнился ему такой же радостный и веселый приезд в Сергиеву обитель и все зло, что случилось потом. Крепко схватил он Юрия за руку и, когда тот тревожно взглянул на него, сказал брату:

— Помнишь, когда с татой на богомолье ездили!..— Он не договорил, но Юрий понял все и прижался к брату. Кругом же раздавалось ликующее пение, и все громче и громче по мере приближения к обители гудели колокола.

Крестный ход двинулся прямо к монастырскому собору, а впереди него вместе с княжим семейством шел игумен Трифон, поддерживая великого князя под руку. Зимнее солнце уже склонялось среди багровых облаков, и отблески его, словно рдеющие угли, перебегали огоньками по золоту хоругвей, окладов икон и по золотому шитью риз. Вспугнутые звоном, стаями носились голуби, сверкая пурпурными от зари крыльями, кружились возле церквей и звонниц.

Широко растворились соборные двери, и все вошли в храм — и духовенство, и княжое семейство, и князь Шуйский, и двор княжой, и чернецы все, и от дружины князя многие,— сколько вместиться могло.

Когда заговорил игумен, почувствовал княжич Иван, как затаились во храме, и по волосам холодок у него прошел, будто холодным ветром их зашевелило. Князь же великий встал на колени и воскликнул:

— Благослови мя, отче, и семейство мое всем клиром. Наказан бо господом за грехи свои...

Но перебил его, возвысив голос свой, игумен Трифон:

— Государь наш! Не за твои грехи, а от злобы ненасытимыя

ворогов твоих. От черныя их зависти! Мало ли у иас земли русской? Для всех оиа светло-светлая и красио украшеиа. Киязи же галицкие беспрестаиио ковы куют против тобя, кияже, но господь бог всякому воздаст по делам его. Иди ныне с богом и с правдою иа свою вотчину, а мы за тобя, государя иашего, господа молим...

— Отче,— снова воскликнул Василий Васильевич с горестью,— как же мие иа Москву идти, ведь яз крест целовал Димитрию и дал грамоты проклятые? За земиое ли мие царствие — иебесиого лишиться?!

Сиова стало тихо во храме, и все взоры обратились к игумиу, и, помолчав, сказал тот с твердостью и силой миогой:

— Не бойся, сыие мой, что целовал крест и крепость дал князю Димитрию. Тот грех иа мие и на главах моей братии. Разрешаем тя от клятвы невольиыя, благословляем тя на великое кияжеиие московское.

И благословили тут же Василия Васильевича и сыиовей его на поход к Москве и сам игумен и все иеромоиахи обители Кирилловой. Встал с колеи Василий Васильевич радостный, совесть его отцы духовиые очистили. Возрадовались и все бояре, и дети боярские, и все воины, что без греха теперь могут служить государю своему. Трифои же, подойдя к Василию Васильевичу и обняв его, облобызал и повел в келарские палаты, где поместил его с семейством и слугами.

Благословив трапезу, игумен Трифои пошел было к дверям, но вернулся. Ои приблизился к Василию Васильевичу, возле которого сидел княжич Иваи, и, склоиясь к уху великого киязя, сказал вполголоса:

— Все сие для твоего спасеиия доброхоты твои содеяли — владыка Иоиа, иаш митрополит наречеииый, и церковь христиаиская — за любовь твою к истинной вере и за благочестие. Владыке же аз послал весть о тобе через Тверь с вестовым отрядом князя Шуйского. Киязь Борис Лександрыч, да ведомо тобе будет, сиосится часто со владыкой...

Глава 2

У ДОМА СВЯТОГО СПАСА

В Тверь княжой поезд прибыл к вечериему звоиу. Князь Федор Шуйский все время сиосился через стражу передового полка с кремлем тверским и знал, что киязь Борис ждет гостей к ужину.

Когда к граду подъезжали, уже совсем смерклось и стены градские, и башии, и ворота, серея во мраке, сливались в одио

пятио с хоромами и церквами. Казался кияжичу Ивану весь кремль тверской каким-то огромиым холмом, поднявшимся темиой глыбой среди сиегов. В этой смутиой груде строеиий только вверху, иа звездиом небе, едва обозиачаются церковные куполы и кровли теремов и башеиок.

Вдруг у ворот одиой из башеи ярко вспыхнули смоляиые витии[1] иа длииных палках, осветив часть стеиы и башии, словио вырвав их из тьмы, почериевшей еще более от зажжеииых внезапно огией. Десяток коииников, тоже с пылающими витиями, выехав из ворот, подскакали к князю Федору, окружили повозки, и в это самое время грянула со стеиы пушка, а вслед за ией зазвоиили колокола у святого Спаса, что возле хором кияэя Бориса. Осветился от огией и княжой двор, выступили из мрака все целиком высокие камеииые хоромы, и заиграла позолота иа их кровле, заблестели заморские стекла в косящатых окнах, засияли золотые купола и кресты иа ближиих церквах.

Когда поезд въехал во двор, княжич Иваи увидел, что от самых ворот вплоть до красиого крыльца по обеим сторонам дороги стоят в два ряда слуги с горящими смоляиыми витиями. Красиое дымиое пламя мечется от ветра иа коицах палок, и все кругом будто дрожит; вперемежку с теиями перебегают вспышки света по сиегу, по стеиам, по кониям и людям, и иичего из-за этой дрожи иепрестаииой толком разглядеть иельзя.

Только подъехав к красиому крыльцу совсем близко, заметил кияжич Иваи, как князь Борис Александрович и княгиня Настасья Аидреевиа с боярами, все в шитых золотом шубах, поспешио сходят с крыльца иавстречу гостям. Вот князь тверской и жена его обиимают уж и лобызают князя московского и его киягиию, и говорят оии все четверо сразу с радостью и со слезами — разобрать же их слов иельзя.

Иваиа и Юрия сильио волнует эта встреча, ио молча стоят оии оба в стороике, держась за руки, ие зная, что делать. Накоиец князь и княгиия, вспомиив о иих, обияли и поцеловали обоих поочередио. Затем Борис Александрович, взяв под руку Василия Васильевича, а Настасья Аидреевна — Марью Ярославну, повели их вверх по лестнице в покои свои. Кияжичи пошли следом, а бояре за иими.

Разбежались глаза у Иваиа, когда через троииый покой проходили. Светло здесь, как дием,— паиикадила в потолке с восковыми свечами горят, стеииые подсвечиики зажжеиы тоже, и у слуг в руках свечи. Свет от иих белый и ясный. Бояре

[1] *Витень* — факел, свитый из смоляиой пеньки.

же, дети боярские, дворецкий и даже слуги — все в бархате, парче и шелках, а на дорогих боярских кафтанах райки играют от камней самоцветных, и жемчуг, будто влажный, мерцает нежно белым отливом.

На стенах и потолке тронного покоя святые угодники написаны, а вокруг них цветы и птицы разные. Трон княжой, резной весь и в каменьях, стоит под сенью раззолоченной, а на полу возле него ковры шемаханские постланы.

Увидев тут при ясном свете Василия Васильевича в дорожном кафтане, искалеченного и нищего, заплакал Борис Александрович и, обнимая его, воскликнул горестно:

— Видел яз тя, брата своего, и добровидна, и здрава, и государевым саном почтенна! Ныне ж вижу тя уничиженна, от своей братии поруганна!..

— Истинно, брате мой милой,— с плачем ответствовал Василий Васильевич,— поруган яз, изгнан и нищ, токмо лаской твоей жив ныне! Не обрел яз обиталища нигде. Обрел его токмо в хоромах твоих, у собора святого Спаса.

И плакали все кругом, плакал Юрий, прижавшись к брату, и горячими струйками бежали слезы по щекам Ивана. Но не от жалости эти слезы. Было Ивану почему-то обидно за отца и горько за мать, за себя и Юрия.

Василий Васильевич, успокоясь, отстранился от Бориса Александровича и вопросил:

— Где есть тут святые иконы?

Княжич Иван двинулся было вперед, чтобы повернуть отца лицом к образам, но князь Борис сам взял Василия Васильевича за плечи и подвел к божнице.

Василий Васильевич встал на колени и, воздев руки, воскликнул:

— Похвалю убо всещедра и милостива бога и его пречистую матерь за добродетели брата своего, великого князя Бориса, яко не остави мя в скорби сей пребывати! Преупокоил он мя.

Пал ниц Василий Васильевич, читая молитвы, а потом, крестясь, встал с лицом светлым и радостным. Борис Александрович снова обнял и облобызал его и, взяв под руку, повел в трапезную, а слуги шли спереди и сзади князей и бояр, освещая путь им свечами. Дивились Марья Ярославна и княжичи богатству и великолепию хором князя Бориса. В трапезной же смутило их убранство пышное и обильное. Над столами паникадила висели со свечами, а на потолках и стенах позолота, и писаны везде звери и птицы, листья и цветы. Столы же ломятся от яств и питий, блистая серебром, златом, хрусталем и самоцветами на блюдах, сулеях, кубках и братинах.

— Все сие тата не видит, ни света даже,— с горестью шепнул Иван Юрию, и жаль ему стало отца.

Не видел хотя Василий Васильевич, но все же знал о могуществе и богатстве князя Бориса, чуял он торжественность и великолепие кругом, и печаль его усилилась, а лицо опять омрачилось.

Сели за стол с князьями ближние бояре, и сел с ними любимец князя Бориса — инок Фома, муж весьма ученый, красноскazатель и к писанию похвальных словес, писем и на многие иные книжные хитрости гораздый. Засмотрелся княжич Иван на лик Фомы, благообразный, с большими синими глазами, обрамленный густыми седыми волосами и темной еще бородой. Но инок Фома только скользнул взглядом в сторону княжичей и больше не глядел на них.

Слушая внимательно князей и княгинь, молчал он, и только к концу трапезы, когда гости и хозяева веселей стали и слез больше уж не было, возвысил он звонкий и приятный голос свой и сказал тихо, но внятно:

— Возблагодарим господа бога нашего и за горести и за радости. Пресечем печали своя и взывания. «Вскую печалуешься, душе? Вскую смущаеши мя?» Восхвалим и блага господни, ибо не оставляет бог нас, рабы своя, без утешения. Ныне и мы, по глаголу псалмопевца Давида, рещи можем ко господу: «Обратил еси плач мой мне в радость...»

На другой день после заутрени и завтрака отослали княжичей Ивана и Юрия с Илейкой да Васюком на прогулку по кремлю. Родители же их остались один на один с князем и княгиней тверскими, без бояр и слуг. Вышел Иван из покоев с Юрием и дядьками своими, дивуясь тому, что отец не задерживает его, как всегда задерживал и в Угличе и в Вологде при всех беседах с князьями, с боярами и отцами духовными.

В шубах и валенках вышли они на двор. День стоял ясный и теплый, ослепило княжичей яркое зимнее солнышко. Горят, сверкают лучи по снегу, и кажется, будто тает наст на сугробах и крышах,— так легко и радостно дышать снежной свежестью.

— Снегом пахнет,— сказал Юрий и засмеялся от удовольствия.

Иван глубоко вздохнул и тоже улыбнулся весело.

— К оттепели это,— пояснил Илейка,— вишь, ветер-то с полудня тянет чуть слышно, а может, к снегу...

Васюк рассмеялся и добавил:

— А может, и к морозу... Эх ты, человек божий, обшит рогожей...

В это время с паперти церкви Христа спасителя послышалось пение и звон струн. Илейка, хотевший что-то возразить,

услышав пение, шутливо отмахнулся от Васюка и воскликнул:
— Айда стихиры слушать!..

Подойдя к церкви поближе, увидели княжичи нищую братию у паперти. Сидят тут пятеро без шапок, в полушубках рваных, замызганных. Трое слепых из них, седые и лысые, но все бородатые, на грецких гуслях-псалтырях играют, и двое зрячие, молодые, поводыри их, с ними вместе поют. Слышит Иван знакомый стих о голубиной книге. Вот поводырь, что помоложе, запевает один чистым высоким голосом:

От чего у нас белый, вольный свет?

Ответ поют все пятеро, складно и благостно, голоса сливая со звоном струн псалтырных:

У нас белый свет от господа,
Самого Христа, царя небесного...

Остановились княжичи и дядьки их у паперти, слушают. Вот опять запел поводырь:

От чего у нас солнце красное?

Снова ответили вместе все пятеро:

Солнце красное от лица божьего,
Самого Христа, царя небесного...

В это время вдруг зазвонили в колокола на звоннице — так пришлось по чину церковному,— и не слыхать стало пения нищих.

Пошли было княжичи дальше, да звон прекратился вскорости. Иван, любя пение духовное, повернул назад, к паперти.

Нищие успели пропеть уж многое из вопросов и ответов и пели теперь на другой уклад.

Поводырь подряд пропел пять вопросов, повторяя уже пропетое ранее:

От чего у нас ум-разум?
От чего наши помыслы?
От чего у нас мир-народ?
От чего кости крепкие?
От чего телеса наши?

На все это, также подряд, впятером опять, под звон гуслей-псалтырей нищие ответили:

У нас ум-разум самого Христа,
Самого Христа, царя небесного.
Наши помыслы от облак небесных,
У нас мир-народ от Адамия,
Кости наши от сырой земли,
Кровь-руда от Черна моря...

Неожиданно подошел тут плешивый юродивый. Бьет он в ладоши, будто крыльями петух, кричит по-петушиному, клохчет, кудахчет по-куриному. Не понравилось это Ивану и Юрию, быстро пошли они прочь, а дядьки за ними, бросив нищим в шапку деньгу, где она звякнула о другие. Не скупились молящиеся, выходя из храма.

Княжичи направились к большой башне — стрельне с воротами и подъемным мостом. Не доходя немного до ворот, встретили они князя Федора Шуйского, наместника кашинского, ехавшего верхом на коне к хоромам великого князя Бориса Александровича. Узнав княжичей, Шуйский спешился и отдал поводья сопровождавшему его стремянному.

— Будьте здравы,— сказал он, кланяясь.

— Будь здрав и ты,— отвечали княжичи и, отдавая поклон, нерешительно добавили:— Покажи нам, Федор Юрьич, стены и пушки, будь добр...

Шуйский пошел с мальчиками к воротам башни и, вызвав начальника караула, повел их по внутренним лестницам башни на широкие стены, рубленные из крепкого столетнего дуба.

— Наши стены,— говорил им, показывая дорогу, начальник караула, молодой еще пушкарь,— хоть и не каменные, как ваши московские, да крепостью и камню не уступят. Пушек же у нас больше, да и пушки много лучше. Вишь, вот какая, и ядра какие дородные к ней — каменные, железом перетянутые...

Княжичи, особенно Юрий, с жадностью разглядывали действительно большую пушку из толстых железных полос, сваренных между собой, а для крепости — с пятью приваренными к ней железными кругами-обручами. Первый, самый большой круг,— у самого дульного среза, а последний, самый маленький,— у казенной части, где заряд кладут. Между ними еще надето три круга разной величины, ибо пушка от казны к концу дула расширяется трубой.

Васюк долго разглядывал пушку, даже щупал ее руками, заглядывал в жерло и пробовал качать двойные подставки, на которых лежит пушка. Особенно же он разглядывал стойки, наглухо к крепостной стене приделанные возле казенной части.

Васюк даже поманил к себе княжичей.

— Верно,— молвил он,— пушки их подобрей наших. Вон тут как подогнано! На стойках-то железная заслонка никуда

не отойдет. Вплотную она, а когда, значит, порох и ядро в пушке, а ты запалишь зелье, огонь от запала весь вперед пойдет, назад же разве чуть заметную искру выбросит. Дивно, княжичи мои, сие изделано, и пушка больно уж велика!

Молодой пушкарь засмеялся весело — доволен, что похвалили,— и снисходительно добавил:

— У вас пушки-то и пищали еще от старых времен.

— Вестимо,— вмешался князь Федор Шуйский,— еще прадед ваш, князь Димитрий Иваныч, под конец живота своего вывез от немцев арматы и огненную стрельбу. Дед твой, Василий Димитрич, тоже привез много пищалей железных, а наш государь и ныне из Немецкой земли все вывозит, что есть там доброго...

Ивану стало обидно.

— Приедем в Москву,— сказал он сурово,— тата велит фрязинам да немцам еще больше пушек привезти...

— Вот правда, Иванушка,— обрадовался Илейка,— дед твой часы самозвонные на дворе у собя поставил, а нонешний государь наш и огненной стрельбы сколь хошь достанет. Москва, брат, все купит: как ни разоряют ее, она все богата...

Васюк разгладил важно бороду и сказал весьма гордо и уверенно:

— Может, у нас, на Москве-то, и свои еще кузнецы да котельщики пушки изделают. Народ-то наш вельми переимчив.

Князь Шуйский усмехнулся и, махнув рукой, пошел со стены, но княжич Иван даже повеселел от слов Васюка. Он уже не смотрел больше на пушки, а думал, как бы это хорошо все в Москве делать. Несколько раз он взглядывал с любовью на Васюка, а когда сходили с кремлевских стен, не утерпел и, показывая рукой на кремль, сказал своему дядьке на ухо:

— Созовем мы в Москву кузнецов да котельщиков — и своих, и немцев, и фрязинов, и все у нас лучше ихнего будет!..

У самых хором встретил княжичей дворецкий — послан был за ними.

— Кличут вас родители ваши,— сказал он почтительно,— и государь наш у княгини своей вас ждет.

Проходя через малый покой возле тронной палаты, увидел Иван за столом инока Фому, а перед ним развернутую книгу. На листе же книжном разглядел нечто синим, черным и золотом писанное. Подойдя ближе, увидел княжич рисунок того, о чем дьяк Алексей Андреевич, учитель его, рассказывал.

Жадно глядел он в книгу, где писано как будто и по-церковному, и буквы похожи, а прочесть нельзя. Рисунок же Иван сразу

понял: изображены на нем горы земные бурого цвета, и плывут они на синем океане, и небо над ними синее. Солнце тут писано золотом в двух видах: одно солнце с лучами вокруг, внизу гор, другое — над горами сияет...

Будучи памятлив, вспомнил княжич слова Александра Андреевича и сказал вслух, громко и отчетливо:

— «Солнце течет днем над землею, а в нощи по окияну низко летит, не омочась...»

Инок Фома широко открыл глаза и спросил с удивлением:

— Откуда ты ведаешь, что здесь по-грецки написано знатным философом христианским, преславным Козьмой Индикопловым?!

— Учитель мой мне сказывал,— ответил Иван,— но книги сей грецкой никогда яз не видал...

Оживился инок Фома, доволен.

— Книжен еси, отроче,— сказал он ласково и стал ему показывать и другие изображения, что были в греческой книге: всемирный потоп и Ноев ковчег, столпотворение вавилонское и смешение языков, царство небесное, ангелов, движущих звезды, и прочее.

Загляделся княжич Иван, заслушался, но все же и сам задавал вопросы, вызывая ответы...

— Княже,— вдруг услышал он, чувствуя, что кто-то взял его за рукав,— княже, государи наши ждут тобя...

Оглянулся досадливо Иван на дворецкого, и тот смолк смущенно, увидев гневный блеск в больших черных, не детских совсем глазах. Заметив это, усмехнулся инок Фома и, сложив книгу, молвил:

— Надобно идти, Иване. Другой раз покажу тобе еще иные книги. Сей же часец иди к государям нашим, и аз с вами.

Прошли они прямо на половину княгини великой Настасьи Андреевны. Тут за столами со сластями, медами и водицами сахарными сидела княгиня, принимая гостей посемейному. Рядом с ней — Марья Ярославна с Андрейкой на руках, а с другой стороны — Василий Васильевич и князь Борис Александрович.

Ни бояр, ни князей в хоромах не было, только слуги княжии, дворские.

Помолились княжичи и дядьки их на образа и поклонились всем. По приглашенью княгини инок Фома и княжичи сели за стол, а Илейка и Васюк отошли к стенке, где стояли все прочие слуги.

— Государь Василь Василич,— сказал инок Фома,— зело

разумен сын твой Иван, н от книг ведает он многое. Не как отрок, а как муж зрелый...

Улыбнулся радостно Василий Васильевнч.

— Надежда моя ты еси, Иване!— молвил он с нежностью и, обращаясь к Фоме, добавил:— Дьяк у меня есть вельмн ученый, Лексей Андреич. Учит добре он Ивана.

Стали мужчины говорнть о науках н книгах, а Иван поглядывал на Марью Ярославну, взглядывал и на девочку лет пятн, что сидела возле нее. Такой знакомой показалась ему девочка, и вдруг вспомнился ему осенний сад в Переяславле, вспомнилнсь и клетки щеглиные, н багряная рябина, н Дарьюшка, что в саду там горько так плакала. Только эта девочка волосамн темней, а глазами светлей Дарьюшки. Почему-то грустно стало Ивану, н закрыл он глаза.

— Ванюша, Ванюша,— услышал он ласковый голос матери.— Подь сюда к нам. Вот к Марьюшке ближе иди...

Встал Иван, подошел к матерн н чует, что все глядят на него. Обеспокоило это его, смутило, а понять он не может, чего от него хотят. Марьюшка смеяться и шалить перестала, смотрнт внимательно на него детскими глазами н даже рот чуть приоткрыла от любопытства.

— Ванюша,— сказала чуть дрогнувшим голосом Марья Ярославна,— отроковица сия — невеста тобе...

— Дочка моя Марьюшка,— подхватила Настасья Андреевна,— отрок сей — жених тобе...

Обе княгини заплакали от радости и обнялись, а Иван стоял, ничего не понимая, но, взглянув на чужую ему девочку, вдруг опять так ясно вспомнил Дарьюшку н с тоской спросил:

— Зачем мне невесту? Не хочу...

Замелькали кругом усмешки и улыбки, а Марья Ярославна сказала строго:

— Так, Ванюша, по закону божию надобно. Вот и меня так же за тату выдали. Так всем людям святая церковь велит. Вырастете, будут и у вас детки...

Защипало в глазах у Ивана, и подумал он: «Лучше бы вместо сей чужой девочки выдали за меня Дарьюшку, если уж так нужно».

Посадили его рядом с Марьюшкой, и неловко ему,— опустил он глаза. Щемнт сердце, знает он, что никогда не видать ему Дарьюшки, будет с ним всегда эта вот девочка, как матунька около таты.

Щутят кругом, пьют здравицы, смеются. Вот уж н свечи зажгли, а Иван понимать перестал, что кругом происходит, сидит, н только нет-нет да и поглядит по сторонам, не смотрит ли кто на

него. Неприятно, когда на тебя все смотрят, как на диво какое.

Взглянул он на Марьюшку, а у той глаза совсем уж слипаются,— спать она хочет, зевает...

Зашумели опять вдруг все, встают из-за столов, ужинать пошли в трапезную, и слышит Иван, что обрученье завтра, в Екатеринин день. Устал он вдруг и, подойдя к Васюку, сказал ему:

— Пойдем спать, Васюк, сомлел яз, нет мне моченьки более...

Много в Тверь народу съехалось. Были тут всякие знатные люди — князи и вельможи, сколько их есть под властию великого князя Бориса, и те, что к великому князю Василию съехались, покинувши Димитрия Шемяку.

Все они в день Екатерины в такой тесноте собрались, что кремлевский собор святого Спаса едва вместить их мог. Сам епископ тверской Илия отслужил молебен и обручальные молитвы читал.

Выйдя из хором княжих вместе с Марьюшкой, увидел Иван народу на дворе множество, а от красного крыльца до самой соборной паперти стоят в два ряда воины и слуги князя тверского и князя московского. На красном крыльце родители благословили обручéника и обручéницу, но в храм не пошли.

Окруженные боярами, князьями и женами их, с дружками, сватами и свахами, сошли Иван и Марьюшка с красного крыльца и тихо пошли к собору. Там пели уж молебен священники и сам владыка Илия и диаконы кадили ладаном.

Снова зарябило и будто закружилось все в глазах Ивана от множества народа, глядевшего на него, и теснило в груди от волнения. Но вот остановились они пред алтарем. Падают через окна церковные косые лучи яркого зимнего солнца, словно купаются в голубоватых клубах душистого ладана. У икон, чуть дрожа и мигая, теплятся огоньки лампад и свечей, горят, а не светят при солнечном блеске.

Видит многое Иван, а многое будто мимо проходит. Взглянул он на Марьюшку, что рядом стоит с ним, удивленно раскрыв глаза, видит большое золотое кольцо на тоненьком пальчике и думает, почему кольцо такое большое, а не слетает с ее руки. Смотрит потом на свое серебряное кольцо — и ему кольцо велико, а держится крепко. Повернул он слегка кольцо свое и видит — воском оно внутри облеплено. Вот и Марьюшка свое разглядывать стала — у нее тоже воск налеплен.

Догадался Иван, что кольца их для взрослых делались, а

носить их всю жизнь — значит, так рассчитано, чтобы потом, когда обрученные вырастут, носить их могли бы.

Вот подошел неожиданно к обрученикам сам владыка Илия в полном облачении, снял с них кольца и стал читать вслух какие-то незнакомые Ивану молитвы. Потом благословил его и, надевая на палец ему золотое кольцо, бывшее на руке Марьюшки, возгласил:

— Обручается раб божий Иоанн.

Надевая потом на палец Марьюшки серебряное кольцо, бывшее на руке Ивана, опять прочел он те же молитвы и снова возгласил:

— Обручается раба божия Мария!

После этого пели священники и диаконы молитвы, а владыка сказал детям тихо:

— Облобызайте друг друга и, преклоня колени, молитесь.

Иван нагнулся к Марьюшке и поцеловал ее в уста, потянувшиеся послушно ему навстречу. Стоя на коленях и крестясь, Иван думал, зачем все это, и было ему странно все и горько почему-то. Понимал он смутно, что теперь его совсем взрослым сделали, а ему еще так хотелось с Данилкой ершей ловить да щеглят в клетках держать!

На красном крыльце уже обрученных жениха и невесту встретили родители.

— Милые детушки, рожены наши,— причитали обе княгини, обнимая и целуя детей,— сохрани вас господь на долгую жизнь, на счастливую.

Облобызали обрученных и отцы их, повели в трапезную. Там же слуг множество, а вдоль стен стоят девушки-песенницы да гусляры-молодцы.

Полна стала трапезная от гостей. Бояр и князей с женами множество. Зазвенели вдруг кругом гусельки, словно пчелы жужжат в хоромах. Когда же вошли в трапезную обрученные, девушки величанье запели, поминая князя свет Ивана Васильевича и княгиню свет Марью Борисовну. Посадили жениха и невесту на почетное место, а рядом с ними сели родители.

Взглянул Иван на князя Бориса и видит на нем венец златой с самоцветами, и на княгине его такой же, только много меньше. Подивился он красоте венцов — в первый раз видит он царское убранство. Но ни на что долго смотреть, ни о чем долго думать не мог Иван — все кругом постоянно менялось.

Вот снова запели звонкие девичьи голоса, и стал он слушать слова песни:

Во палате белокаменной, всей расписанной,
Не дубовые столы покатилися,
Не берчаты скатёрки зашумели,
Не пшеничные ковриги сокатилися,
Не златые же братины сплескалися,
Не серебряны подносы забренчали,
Не хрустальны достаканы защелкали,
Во-первых, наша Марья снарядилася,
Она во белые белила набелилася,
Во алые румянцы нарумянилась,
Пред князьми, боярами поклонилась...

Вдруг смолкло все — вошел в трапезную владыка Илия со священииками, ио уж ие в церковной, а в простой одежде, обиходиой. Встали все, а Илия благословил их трапезу. Киязь же Борис вышел из-за стола и, приняв от епископа благословеиие, посадил его рядом с собой, а священииков рассадили с почетом дворецкий и стольники.

Стихло пироваиье, вместо песеи пошли здравицы, а потом инок Фома речь держал, ио Иваи ие виикал в иее, наблюдая в дверях трапезиой какое-то потаеииое движеиие, приготовлеиие к чему-то. Из речи же конец ои только слышал, когда Фома, голос возвыся, изрек:

— И есть радость нам великая, яко же и предрекохом: «Обрати бог плач на радость». Москвичи радостиы суть, яко учиинсь Москва Тверь, а тверичи радостны суть, яко же Тверь Москва бысть. Два государя воедиио совокупишася...

Встал тут из-за стола владыка Илия и все священииики с иим и, благословив обручеииков и прочих всех, удалился из палаты трапезной. Князь же Борис Александрович провожал его до саней, что стояли у самого красиого крыльца.

Как вышли духовные, зазвенели опять гусли, запели виовь девушки. Зашумели кругом, и в шуме слышит Иваи пожеланья себе и иевесте:

— Деиь тобе, девка, плакать, да век радоваться!

— Жениху да иевесте сто лет жить вместе!

Когда же вернулся великий киязь Борис и сел рядом с Василием Васильевичем, видит Иваи — пирог на золочеиом блюде иесут. Боярии ближний киязя Бориса взял блюдо от дворецкого, подошел к великим киязьям, сидевшим рядом и протяиувшим друг другу руки иад столом.

— Ждем тебя, сватушка,— сказал Борис Александрович.

Боярин-сват трижды осеиил руки отцов блюдом с пирогом. Поставив потом блюдо иа стол, разломил ои пирог и по куску дал тому и другому отцу.

В это время в дверях шум иачался, ворвался в трапезную дружка жениха и, топиув иогой о порог, закричал весело:

— Топ через порог! Брызги в потолок, все черти на печке забились в уголок! Здравствуйте, князь со княгиней обрученные, все князи, бояре, сваты, дружки и все гости честные!

Не успел Иван приглядеться к вошедшему дружке, как подавать яства к столу начали, а стольники и прочие заговорили навстречу поварам и поварятам, идущим с едой.

— Тащится, несется сахарное яство на золотом блюде перед князя молодого, перед тысяцкого, пред сваху княжую, пред большого боярина, перед весь княжой полк...

Сват, что пирог ломал, выхватил у дворецкого блюдо золотое с цельным лебедем зажаренным, изукрашенным и встал перед женихом и невестою, кланяясь и потчуя:

— Резвы ноги с подходом, белы руки с подносом, сердце с покором, голова с поклоном...

Вдруг Марьюшка затерла кулачками глаза и заплакала. Подбежала к ней мамка.

— Плачь, плачь, ясочка,— заговорила она,— поплачешь в девках, в бабах навеселишься...

— Аринушка,— всхлипывая, перебила ее Марьюшка,— притомилась яз... Спать хочу, Аринушка...

— Что ты, бог с тобой, Марьюшка,— всполошилась мамка,— можно ли сие? Потерпи малость, я те на куклу твою любимую новый сарафан сошью...

— Парчовый?— переставая плакать, спросила Марьюшка...

— Парчовый и земчугом весь разошью.

Снова тоскливо стало Ивану, и, поглядев на Юрия, что сидел поодаль и весело ел жареную утку, позавидовал он ему. Данилка опять ему вспомнился и дорога лесная, когда в Переяславль ехали.

Теперь легче ему сидеть — едой, питьем все заняты и на него не глядят со всех сторон. Все же истома какая-то томит его. Смотрит он на князя Бориса и на княгиню его, что одни в золотых венцах сидят, а отец и мать без венцов, как и все прочие. Обидно ему, и вдруг вспоминается бабка, Софья Витовтовна, и смутно, но радостно мысли его складываются, что бабка и без золотого венца была бы тут царицей, может боле, чем сам царь Борис Александрович. Вздохнул он легче, а из уст шепотом сами слова вырвались:

— Милая бабунька, где ты теперь?!

Глава 3

ТВЕРСКОЕ ЖИТЬЕ

В день Варвары, декабря четвертого, ударили сразу морозы. Илейка с утра еще обещал княжичам в этот день ледяные горы устроить. Далеко за полдень, когда все уж проснулись от послеобеденного сна, в покой княгини Марьи Ярославны зашли Илейка и Васюк.

— Вишь, как прихватило,— указывал Илейка на слюдяные окна,— снежную гору и полить не поспешь, как вода на ей смерзнет. Враз садись на санки и кати! С ночи еще кругом в бору-то с громом великим, бают, во какие сосны до корня лопались...

Княжичи, сидя у матери в ее жарко натопленных покоях, где был маленький Андрейка и Дуняхин Никишка, едят сладкие маковники с миндальным молоком по случаю рождественского поста. Илейка же и Васюк стоят у дверей и, поглядывая на Василия Васильевича, который сидит тут же на пристенной скамье, ждут, отпустит он или не отпустит Ивана.

Великий князь молчит, но княгиня беспокоится, мороза боится.

— Куды в мороз такой знобиться?— говорит с опаской Марья Ярославна.— Не зря бают-то: «Трещит Варюха — береги нос да ухо». Вишь, вон в окна-то от инея и свету божьего не видать...

— Зато, государыня, Варвара-то от ночи украла, ко дню притачала,— торопится что-то доказать Илейка, но его перебивает Иван.

— Матунька,— упрашивает он,— мы тулупчики наденем, а малахаями уши прикроем...

— А нос?— смеясь, спросил Василий Васильевич.

— А носы-то мы, тата, снегом оттирать будем,— весело ответил Иван,— мы ненадолго...

— А ты, государыня, не опасайся,— степенно заявляет Васюк,— ветру-то днесь ни на столько нетути, а без ветру мороз и дите не одолеет, право слово...

Марья Ярославна колеблется, Иван с нее глаз не спускает, а в мыслях весь уж на дворе, где давно и Данилка и Дарьюшка с лопатами ждут.

— Да вить и Марьюшку отпускают,— не выдерживает он,— мамка Арина ее на двор поведет...

Дверь распахивается, и в покои, опережая мамку Арину, радостно вбегает Марьюшка в собольей шубке и в теплом платочке поверх собольей же шапочки.

— Ну вот и сношенька милая,— улыбаясь, ласково встречает девочку Марья Ярославна,— легка ты на помине, доченька.

Но вместе с мамкой вошел и дворецкий князя Бориса и, поклонясь Василию Васильевичу и Марье Ярославне, сказал:

— Будьте здравы, государь и государыня!

Князь Василий встрепенулся и, заволновавшись, глухо спросил:

— Али вести какие есть?

— Есть, государь. Кличет наш князь тобя, государь, на думу к собе в опочивальню...

— Какие вести-то?

— О князе Василье Ярославиче добрые вести. Из Ржевы прискакали два конника, от наместника посланы...

— Слава те, господи!— радостно перекрестилась Марья Ярославна.— Храни, господь, брата моего...

Марьюшка подбежала к Ивану и, схватив его за руку, быстро заговорила:

— У меня есть саночки. Гости наши мне привезли, а полозья у них железные! Будем с тобой кататься вместе...

— А, поди, тяжелые они?— спросил с любопытством Иван.

— Что ты,— засмеялась Марьюшка,— легонькие, как перышко...

— Иване,— окликнул сына Василий Васильевич,— проводи меня к брату моему...

— Пусти его, Васенька,— вступилась Марья Ярославна,— пущай порезвится малость, отрок еще млад.

Василий Васильевич ответил не сразу. Хотелось ему помощником сына скорей сделать себе, но и жаль было детских забав лишать.

— Пущай то ведает,— все же сказал он строго,— что государи не токмо весело, но и трудно живут.

Но, почувствовав в наступившем молчании печаль и недовольство, прибавил мягко:

— Идем, Иване. Вборзе отпущу тобя и будешь в игры играти.

— Я те, княжич, другую горку изделаю,— быстро вставил Васюк,— а поливать сам будешь...

Василий Васильевич рассмеялся и весело молвил:

— Ишь, старый, что малый! Обоим занятно. Да яз бы и сам на санках-то покатался...

В опочивальне князя Бориса Александровича, куда, досадливо хмурясь, ввел отца княжич Иван, кроме самого великого князя тверского, был один из любимых его воевод, молодой Лев Измайлов, боярский сын, да постоянный советник его боярин Александр Андреевич Садык.

— Брат мой,— радостно сказал Борис Александрович, подымаясь навстречу Василию Васильевичу,— вести добрые! Садись рядом со мной, будем думу думать вместе. Может, ты хочешь из воевод своих позвать кого? Надобно нам замысел ратный некий дерзко и борзо свершить. От меня будет воевода Лев Измайлов, от тобя кто?

— Ежели из воевод моих нужен храбр да сметлив,— ответил Василий Васильевич, садясь рядом с князем тверским,— то вели покликать Плещеева Андрей Михайлыча. Здесь он, при дворе моем. Ты же пока сказывай, что о шурине моем ведаешь.

— Казимир, князь литовский, а ныне и король польский, выпустил из Литвы вместе с полками их и шурина твоего, князь Василь Ярославича, и князей Ряполовских, и воевод твоих: князя Ивана Василича Стригу-Оболенского, и боярина Ощеру, и князя Семен Иваныча Оболенского, и Федора Басёнка, и Юшку Драницу, и Михайлу Русалку с Иваном Руно...

— Слава те, господи!— радостно крестясь, промолвил князь Василий.— Сии суть лучшие, верные слуги мои.

— Бают конники, которые из Ржевы от воеводы пригнали, а им та весть в Ржеву из Вязьмы пришла, доброхоты и слуги твои из Пацына Литовского на Ельню пошли, а у Ельни-то они с царевичами Касимом да Якубом сошлись...

— Господи,— шепчет князь Василий,— внял еси ты мольбам моим.

— Из Черкас пришли царевичи на помочь, бают, тобе.

— Верю Касиму,— воскликнул Василий Васильевич,— как сыну своему! Клялся он мне на кинжале на вечную службу.

Иван, хотя еще и не забыл досады своей, слушает жадно, что говорят старшие. Радостно ему от добрых вестей, и ясно так чудится, как со всех сторон полки идут к ним на помощь.

— Будьте здравы, государи мои,— громко приветствует обоих великих князей, входя в опочивальню и низко кланяясь, воевода Плещеев.

— Садись с нами,— говорит ему князь Борис,— вести из Литвы тобе ведомы?

— Ведомы, государь, от твоих воевод.

— Слушайте, воеводы, угодно мне и брату моему Василью совет ваш слушать. Яз же мыслю, что время тобе, брат мой, Москву в руки свои взять. Из Литвы полки идут многие да еще царевичи с ними. У нас же с тобой, слава богу, воев и того более! Как ты о том мыслишь?

Задрожал весь от слов этих княжич Иван, глядит на отца, ждет, что тот скажет. Долго молчит, размышляя, князь Василий.

— А можно ли сие?— осторожно и рассудительно спрашивает он.— Ведь у Шемяки и князя можайского большая сила на

Волоке Ламском, и в Клину, и у Димитрова. Как же нам на Москву без боя великого пройти? Везде у Шемяки изделаны засеки да западни. Везде дозоры да заставы. Ранее Волок пробить надобно, потом о Москве уже мыслить.

Князь Василий замолчал, ожидая, что скажут другие, а Ивану стало досадно. Он тоже хотел, чтобы теперь же Москву брать, и потупил печально глаза.

— На дерзость да на хитрость идти надобно!— горячо вдруг воскликнул боярин Садык.— Яз мыслю, надобно к Москве тайно от Шемяки и борзо доспеть! Как же сие содеять, пусть воеводы рассудят...

— Добре, добре,— согласился воевода Лев Измайлов,— в лоб его, Шемяку-то, долго бить. Надобно обойти его полки, надеясь на дерзость и хитрость свою. Слухи-то из Литвы и о царевичах и о нашем походе, чай, дошли до Шемяки-то. Да и до Москвы не ныне, так завтра дойдут.

— Истинно, истинно,— загорячился опять Садык,— затревожится Шемяка-то. Со всех сторон на него идут, а Иван-то можайский токмо бегуном быть может, опаслив, как заяц...

Садык махнул рукой и засмеялся, продолжая торопливо:

— Ежели сведают они, что все на них идут, то и сами к Москве подадутся. Верно ли сие, воеводы?

— Истинно,— заговорил Плещеев,— истинно. Потому испугается Шемяка-то, что Москва, о сем узнав, тоже против него подымется, последнюю опору он с Москвой-то потеряет...

— Истинно,— подтвердил и Лев Измайлов,— так по ратным хитростям подобает, и воеводы шемякины вспять к Москве пойдут...

— Ну, а коли мы Москву-то захватим, они в Галич побегут! Больше некуды!— снова вмешался боярин Садык.

— Хитер ты, боярин,— воскликнул Василий Васильевич,— сумел два дела во едино сложить! Москвичи-то, как сведают обо всем, смуту подымут, и страха у них от Шемяки не будет, лишь токмо наших конников узрят...

— Истинно, государь,— подхватил Андрей Плещеев,— токмо нашим с полсотни прийти, так все на Шемяку восстанут, давно зло на него мыслят. Токмо вельми тайно и борзо на Москву гнать надобно...

— А к Шемяке в Волок,— уже спокойно заговорил боярин Садык,— посла надобно от нас, дабы о Москве Шемяка на время забыл и не мыслил бы о ней. Слово ему от государя нашего со сроком послать, пусть, мол, идет в свою отчину да государю своему, князю Василью, челом добьет. Наши-де полки готовы, жди нас! В тое же время Измайлов с Плещеевым пусть в Москву гонят...

Княжич Иван сидел неподвижно, напряженно думая, но вот щеки его начали гореть, а на губах заиграла чуть заметная улыбка. Он понял весь замысел Садыка и дивился, как хорошо и верно тот все придумал. Но когда начались исчисленья верст и суток пути, дорог и обходов с указанием сел и деревень, Ивану стало скучно. Опять вспомнился двор ему, захотелось вольного воздуха, а в опочивальне было так душно и жарко! Сам не замечая того, Иван нетерпеливо ерзал на скамье, садясь то так, то этак, давно уж потеряв нить разговора. Отец почувствовал это и, склонясь к сыну, сказал ласково:

— Иди, Иване, ко двору, да боже тебя упаси, хошь слово едино о Москве сказать кому. Держи язык за зубами.

Княжич тихонько соскользнул со скамьи, и никто среди споров и разговоров не заметил, как выскользнул он из княжой опочивальни.

Когда Иван в теплом тулупчике вышел на двор, солнце уже клонилось к закату. Чуть розовели облака, розовые отсветы, постепенно сгущаясь, ложились на крыши, покрытые снегом, а внизу сугробы тускнели и становились синеватыми. Среди этих сугробов высоко подымались две снежные горы. На одной с шумом и смехом копошились с санками Данилка, Марьюшка, Юрий, Дарьюшка и еще какие-то мальчики и девочки. У другой же горы увидел Иван дядек своих — Илейку, Васюка — да мамку Арину. Около них стоит по два больших деревянных ведра — ждут его дядьки, чтобы гору заливать. Усмехнулся радостно княжич и бегом пустился к снеговым горам.

Радостным криком и визгом встретили его ребята, а Илейка и Васюк бросились к ведрам, палками пробивая в них образовавшийся поверх воды лед.

— Ишь,— кричал Илейка,— токмо вот воды принесли, а гляди, Иване, на палец лед уже намерз. Бери вот ведро-то да поливай...

— Снизу починай, снизу,— учит его Васюк.— Снизу ровней будет, а коль сверху, уступы-то кверху пойдут, санкам в полозья бить будут...

Иван схватил большое ведро, поданное Илейкой, и без особого труда поднял его и облил снизу склон снеговой горы, аршина два в длину.

— И дороден же ты, Иване,— восхищенно заметил Васюк,— отрок еще, а сила-то в тебе вон какая!

Иван, довольный похвалой, схватил другое ведро и полил склон горы еще на один аршин выше. Второй слой льда, как и первый, намерз сразу и, натекая на нижний, образовал рубец на палец выше нижнего слоя. Чтобы полить еще, пришлось уже

Ивану теперь встать на дно пустого ведра. Верх же горы залили сами дядьки княжичей, и хотя высоки оба ростом, но все же и они на ведра пустые вставали.

Новую гору окружили все ребята, а Марьюшка, румяная от мороза, притащила свои санки и крикнула весело:

— Садись, Иване!

Взобравшись на гору, Иван сел первым, далеко вытянув вперед ноги, чтобы лучше править. Марьюшка уместилась сзади, став на коленки, и крепко охватила его руками за шею. В этот миг что-то вспомнилось Ивану, и взглянул он вниз, где стояла Дарьюшка. Девочка тоже смотрела на него, но, встретив взгляд княжича, печально потупилась.

Иван быстро оттолкнулся ногами, и санки сдвинулись с места и помчались. Слетев с горки, они понеслись по утоптанной дорожке и докатились до самого красного крыльца.

— Вот какая горка!— радостно сказала Марьюшка.— Ишь, куда мы докатились!

Иван встал молча и, хотя улыбался, но как-то томился, не понимая, что его тревожит. С любопытством осмотрел он санки и, легко подняв кверху, потрогал рукавицей железные полозья. Поглядел потом на прямой, глубокий след от саней и сказал:

— Ишь, как ровно бегут, без раскатов. Вон по ледянке прошли и то вбок не свернули...

— Гости бают,— живо откликнулась Марьюшка,— что на них можно и по льду на реке прямо ехать. Полозья у них вострые, всегда без раскатов...

— А Дарьюшку можно мне на твоих санках прокатить?— спросил неожиданно Иван.

— На них и втроем можно,— улыбаясь, ответила Марьюшка,— ну, идем к горке.

Она побежала вперед, а Иван с санками на веревочке сначала шел медленно, но вдруг тоже побежал следом за своей невестой.

— Дарьюшка, Дарьюшка!— кричала та, подбегая к горке.— Садись с нами! Прокатим.

Дарьюшка не то смущенно, не то испуганно взметнула глаза на княжну, потом перевела их на княжича Ивана. Она была старше обоих их — ей шел уже десятый год — и понимала она теперь разницу между князьями и слугами.

На горке Иван усадил девочек в санки по росту — впереди княжну, потом Дарьюшку, а сам, будучи выше всех, встал сзади на колени. Он ухватился за веревки от саней, обнимая Дарьюшку за плечи.

Санки помчались вниз и от большой тяжести быстрее скати-

лись с горы, и пробег их был еще дальше — проскочили за красное крыльцо.

— Вот катнулись-то!— радостно крикнула княжна Марьюшка.— Дальше всех!..

Но Ивану это не доставило никакого удовольствия. Он хмурился и, не слушая маленькую невесту свою, пристально смотрел на Дарьюшку. Вспомнилось ему, как там, в Москве, хорошо и весело было ехать с Дарьюшкой на санях вокруг колеса, а теперь вот нет этого. Вся пунцовая от смущения, Дарьюшка готова была заплакать, и в глазах ее, казалось, блестели чуть заметные слезинки. Ивану вдруг стало жалко ее, как тогда в Переяславле, в саду с багряной рябиной, но теперь он не мог ласково обнять и поцеловать ее, как прежде.

— Не хочу яз больше кататься!— сказал он с досадой, не зная, что делать, хотел только уйти скорее к Данилке или еще куда. Но Данилка сам подбежал к нему и, как всегда, радостно затараторил:

— Мы вчерась с Илейкой видели, как тутошние рыбаки сетями-сёжами из проруби рыбу ловили. Ух, и много пымали!

— А рыба какая?— спросил Иван, радуясь приходу своего приятеля.

— Всякая,— ответил Данилка,— язи, окуни, щуки, налимы, плотва.

— Где же ловили-то?

— На Тверце. Лед они вырубили, а в пролубь у них два кола вбито, а на них сеть надета. Рыбак-то лежит у пролуби на соломе, а в руке жердь доржит. Рыбу высматривает, а токмо рыба в сеть, он жердью-то сеть и затворит. Другие же рыбаки рыбу на сёжу гонят...

— Как же подо льдом гонят?— удивился Иван.

— А они много еще пролубей на реке кругом рубят, а в их воду мутят жердями со дна и еще ботками ботают... Илейка тобе сказать хотел, да времени не улучил. Приходи завтра с Илейкой...

Иван нахмурил брови и молвил с печалью:

— Трудно мне, Данилушка, нету на то моей волюшки...

Глава 4

У ШЕМЯКИ

Второй год уж сидит князь Димитрий Юрьевич на московском столе, а веры все меньше и меньше к Москве у него. Корит он себя за отпущенье Василия Васильевича — прогадал, поддался попам, а те и окрутили его. Теперь же, когда Василий Васильевич

из Вологды в Тверь пришел, замутилась Москва, снова за своего князя и бояре и посадские подымаются втайне. Собираются полки в Литве, и татарские царевичи на помощь Василию идут.

Тяжко Шемяке — земля под ногами стала нетвердой, а поддержки нет ниоткуда. Княгиня же его, Софья Димитриевна, жившая у родителей своих в Заозерье, а потом в Галиче Мерьском, еще больше его тяготится шумной, озорной Москвой. Привыкла она к тишине и строгости севера, к суровым монастырям, к постам и молитвам. Тут же Софья Димитриевна тревожится беспрестанно и за сына Ивана трепещет. Пугает мужа виденьями разными, что и во сне у нее и наяву бывают.

Гневается и злобно насмехается Шемяка над княгиней, постылой ему, а тревога от ее слов еще больше томит. Чудится порой, что замахнулась на него какая-то злая рука и вот-вот ударит. Пьет оттого много князь Димитрий, льнет сильней к Акулинушке, но сына бережет не меньше матери,— думает сам на Москве укрепиться и сына потом укрепить.

Каждый день судит и рядит он с боярином ближним своим — Никитой Константиновичем Добрынским, да любимцем своим дьяком Федором Александровичем.

Как-то после заутрени не выдержал Шемяка.

— Москвичи-то,— сказал он, нахмурясь,— камень против меня за пазухой держат. К Василию сызнова тянутся...

— Своих северян поболе сюды нагнать надобно,— посоветовал боярин,— да смелей все корни Васильевы рвать. Прополоть Москву-то...

— Что тут полоть-то,— раздражился Шемяка,— аль ты не видишь, Никита Костянтиныч, что от нас они сами, как блохи, прочь скачут!

Шемяка встал с лавки и заходил по горнице.

— Государь наш, не во гнев будь тобе сказано,— продолжал, помолчав, боярин Добрынский,— ино и другой помысел есть у меня. Отпусти ты княгиню свою в Галич, а Москву осади. Заставу верную оставь тут, а сам иди на Василия со всеми полками своими...

Шемяка остановился и пристально посмотрел на боярина, потом на Федора Александровича.

— Такие же и мои помыслы,— молвил дьяк,— пока не успели еще Василий-то с князем тверским полки все свои собрать, нужно тобе, государь, на Василья ударить. Новгородцев же на Тверь подвинуть надобно...

Послышался шум шагов у дверей. Шаги были четкие и громкие. Начальник стражи, что денно и нощно сторожит княжии хоромы, быстро вошел в горницу и поклонился Шемяке.

— Пошто, Семен Иваныч, пришел? — спросил Шемяка вошедшего.

— Пускать ли до тебя, государь, боярина тверского, Ивана Давыдыча? От князя Борис Лександрыча, баит, слово тобе есть.

— Проводи с почетом,— молвил, усмехнувшись, Шемяка и, обратясь к советникам своим, добавил:— Сей вот часец узнаем, о чем они тамо в Твери бога молят.

— Ведаем птицу по полету, а послов по повадкам,— заметил Никита Константинович.— Услышим, каким голосом он запоет.

— Может, Борис-то Лександрыч одумался,— сказал дьяк.— Может, вспомнил, что брату твоему Василью, хошь тайно, а помочь против Москвы давал...

Затопали в сенцах,— вошел в горницу боярин Иван Давыдович с двумя детьми боярскими, а за ними от стражи шемякиной десять воинов под началом Семена Ивановича. Помолились на образа послы и поклонились низко Шемяке.

— Слово тобе, государь, Димитрий Юрьич,— начал сразу Иван Давыдович,— от государя и самодержавца нашего. Повестует тобе великий князь Борис, дабы добро ты содеял. Молит он тобя: отступи от великого княжения, отдай его великому князю Василью да и сыночку его Ивану. Великую же княгиню Софью Витовтовну вели выпустить и казну отдать.

Переменился в лице от гнева князь Димитрий Юрьевич, но, пересилив себя, сказал:

— Князь Василий мне крест целовал и грамоты проклятые дал, что старшим братом меня чтит, что от Москвы навек отрекается. Так, мыслю, и быть тому по божьей милости. Княгиню же великую Софью Витовтовну выпущу и казну отдам...

Не остались послы на трапезу, только меда крепкого, стоялого отпили и пошли к коням своим. Никита Константинович провожал гостей, но с красного крыльца во двор не сошел с ними.

Возвращаясь в трапезную князя великого, услышал он, как Шемяка гневно кричал:

— Тоже самодержец и царь тверской! Мыслит он, холоп яз ему! Слово тобе пересылать не буду, яз те сам слово скажу!

Увидев Никиту Константиновича, Димитрий Юрьевич приказал ему:

— Приготовь к завтраму поезд для княгини моей и сына! Отправь со стражей в Галич, да и воев пошли побольше, впереди же пусть дозорные скачут. Вели все, как приказано, да приходи-тко на трапезу...

Когда вышел Добрынский, князь Димитрий подошел к дьяку и, положив руку на плечо ему, тихо молвил:

— Тоска мне, Федор Лександрыч, нойко на сердце и скорбь. Токмо не оставлю борствовати, а для-ради опочива от ран душевных прибуду ноне к тобе в посад, ночевать останусь.

— Ой, княже,— весело отозвался Дубенский,— поеду сей же

часец, радость сию возвещу Акулинушке. Пир на весь мир заведем...

Через неделю, как уехала Софья Димитриевна в Галич, собрал все полки свои князь Димитрий Юрьевич. Готовый к походу, повелел он бояр созвать на совет и трапезу. Приглашен был и владыка Иона с особым почетом, но не приехал тот, сказался больным. Не понравилось это Шемяке, не нравились ему и бояре многие из московских, хотя и крест ему целовали.

Зло закипало в сердце князя Димитрия Юрьевича, но держал себя крепко он, улыбался всем, шутил, похваляясь весело, только глаза его черные, совсем ныне без блеска, пугали всех. После же трапезы загорелись глаза его злобой и гневом. Окинув всех колючим взглядом, сказал он громко:

— Ныне на князя Василья иду, зане преступил он целование крестное! Изолгал меня лестию и забыл проклятые грамоты! Не крест ему давать целовать, а мечом его посечь надобно было!..

Побелел весь от гнева Шемяка и, переведя дух, добавил глухим голосом:

—Ежели станет за него князь Борис, то и на Бориса иду!..

Зашептались бояре в изумлении и замешательстве, и слышно было среди шепота, как некоторые говорили промеж себя:

— Ишь, какое велеречие...

— И единого не одолев, на другого уж хвалится...

Не слыхал тех слов Шемяка, но по усмешкам и без слов все понимал. Сдвинул брови и, возвысив голос, властно приказал:

— Оставляю с заставой наместником своим Федора Лександрыча, а от князя можайского наместник здесь Василий Чешиха.

Князь Димитрий тяжело опустился на скамью и с жадностью припал к чарке с медом, не обращая ни на кого больше внимания.

Стали подыматься бояре из-за стола вслед за Никитой Константиновичем. Уходя, кланялся каждый Шемяке и говорил:

— Будь здрав, государь!

Шемяка молчал, пронизывая взглядом бояр московских. Знал он, что предадут его, что, может, и не вернется на Москву он боле. Томила его тоска и злоба, но все еще верил он в силу свою, знал, что и Новгород, и Вятка, и Углич за него стоять будут...

Ушли все бояре, опять с ним только советники его — Никита Константинович да Федор Александрович.

— Есть еще кому за нас стоять,— продолжил Шемяка

вслух свои мысли.— Весь, почитай, север за нас и Новгород, и Псков, и Углич. Мыслю, и Тверь-то до поры до времени с Васильем. Все Москвы боятся...

— В сем-то и зло все,— заметил Федор Александрович,— такое уж место Москва. Все против нее: ныне Василей — против Василья; ныне ты — так все против тобя, государь...

Никита Константинович засмеялся злобно.

— А посему,— сказал он,— передавить, как крыс, кругом всех надобно. Разумеют сие и попы, и князья московские. Кто возьмет Москву под свою руку, тот и всех прочих князей под рукой держать будет.

— Истинно!— воскликнул Шемяка.— Поборствуем, Никита Костянтинович, за Москву мы! Растопчем Василья так, чтобы и попы ему помочь не успели!..

Помолчав, он продолжал:

— Вот что яз думал. Князь Иван Андреич уж ведет полки свои к Волоку Ламскому, а завтра с рассветом нам идти. Заградим путь на Москву, а Новгород ополчить надобно на Тверь.

— Ссылаюсь, государь, с новгородцами.

— Сошлись, Никита Константинович, и с Казимиром литовским.

Долго говорили они о том, как Тверь устрашить и полки тверские от Василия Васильевича оторвать.

— Побежит от нас без тверских-то Василий,— злорадствовал Шемяка,— токмо бы от Москвы и Твери его нам отрезать. Сказывал яз о сем князю Ивану Андреевичу, когда уезжал из Москвы он...

— Помни, государь,— сказал, вставая и кланяясь, боярин Добрынский,— смута была в Волоке-то Ламском с боями и драками, прогонили твоего наместника посадские. Воровства опасайся.

Простился боярин и ушел распоряжения к походу давать да снаряжать все, что надобно. Усмехнулся печально Шемяка и, обратясь к дьяку своему, сказал ласково:

— Боярин Никита воровства в Волоке боится, а в Москве-то кругом воровство, и в хоромах моих изменники за столом сим вот сидели. Опаслив и ты будь тут, на Москве-то...

— Княже мой, Димитрий Юрьич,— ответил Федор Александрович,— спаси бог тя за любовь и ласку твою. Как тобе ведомо, Акулинушку с Грушенькой яз следом за княгиней в Галич наш отпустил. Не ныне, так завтра — дома будут! Тут же буду яз, княже, тайно в посаде ночевать со стражей своей. В Москве же Чешиха останется да наш Семен Иваныч в хоромах твоих. Оба с конной и пешей стражей. Все мы в разных местах будем, дабы при воровстве каком помощь друг другу оказать могли, дабы враз всех нас не захватили. С боярами да

попами мы справимся, а путь Василью к Москве ты с можайским сам пресечешь...

Уж вторую неделю стоят полки Шемяки и князя можайского у Волока Ламского, а крепкие заставы с воеводами в осаде сидят в Клину и Димитрове. Загорожены все пути из Твери на Москву, а главное — через Волок Ламский. Шире тут дороги и просеки, гатями и мостами устроены. Этим торговым путем и для конных и для пеших воинов удобней и скорей идти.

Здесь у Шемяки главное войско, сюда он с князем Иваном Андреевичем и воеводами своими хочет выманить Василия Васильевича и Бориса Александровича. Где нужно, тут засеки по дорогам нарублены и засады в тайных местах схоронены, чтобы от Твери войско обоих князей отрезать.

— Земли тверские пустоши́,— кричит всегда на пирах с воеводами Шемяка,— пусть вои мои кормятся досыта и полонянок собе берут!

В ответ хохочет князь Иван Андреевич, колыхая свое грузное тело, тонко и зло хихикает боярин Никита Константинович, приговаривая:

— Самодержец-то тверской не выдержит! Горд и обидчив не в меру. Сам не пойдет, а Василья пошлет, своих полков ему в подмогу прибавит. Токмо много не даст — новгородцы грозят...

— Бают,— вмешался князь можайский,— на той седьмице новгородцы-то к самому Кашину подходили, еле-еле успели отогнать их воеводы тверские. Ныне Борис-то послал полки воевать земли новгородские. Не до Василья ему...

— Пустоши́, пустоши́ земли тверские!— пьянея и злобно посмеиваясь, выкрикивает Шемяка.— А ты, Никита Костянтиныч, лей масла в огонь! Новгородцы нам, а мы им поможем. Да шли чаще с лестию всякой послов Казимиру литовскому!

— Ныне королю польскому,— добавил Добрынский.— Разведал яз, государь, что Ряполовские, окаянные, вместе с князем Василь Ярославичем и воеводами московскими собрались в Пацыне литовском, на Русь хотят идти...

— Не поспеют,— засмеялся Шемяка,— ты старайся, Никита Костянтиныч, дабы Казимир задержал их. Сули ему всякое, а наипаче насчет унии. Паны да ксендзы спят и видят к латыньству склонить нас...

— О том и моя гребта, государь,— ответил Добрынский,— а тут еще царевичи Касим да Якуб из Черкас пришли. Бают, у Ельца уж. Токмо ведомо мне, что татар мало у них. А хорошо бы Василья-то все ж поскорей выманить, да и в западню подвести!..

— Мечтой блазнитесь,— хмуро взглянув исподлобья, сказал Старков,— на кой ляд Казимиру мы любы да надобны? Подумай о сем, княже. Ему бы токмо зорить Русь. Литву православную

паны да ксендзы заглонули совсем, того же и с нами хотят. Пустит Казимир и Ряполовских, и князя Боровского, и прочих. Ему свара нужна. Пустит со всеми полками, а может, и...

— Не каркай, ворона!— вспылил Шемяка, но вдруг смолк и задумался.

— Пал ты духом,— помолчав, обратился князь Димитрий Юрьевич к Старкову, но тихо уж и с грустью.— Ране ты не таков был, когда ворота мне в московский Кремль отворял. Храбрый был человек, а ныне...

— Ныне,— с горечью подхватил Старков,— вижу, и народ и бог-то против нас, государь...

Задрожали губы у Шемяки, побледнел он, но ничего не ответил, повернулся лицом к окну. Из хором наместника волоколамского, где теперь стояли они с князем можайским и двором своим, увидел он у ворот чужих конников. Молча указал на них Шемяка боярам. Конники пререкались с привратниками, требуя пропуска, а к хоромам спешил стремянной князя Димитрия, старик Кузьмич.

— Мыслю, паки посол!— резко произнес Шемяка.— Коли от Василья — в железы его ковать!

Заметался Димитрий Юрьевич по горнице, но бояре молчали. Знали они, что государь постепенно сам стихнет, если не перечить ему и не уговаривать.

Успокоившись, сел Шемяка за стол, выпил меду чарку и молвил раздумчиво:

— Как же нам посла примати?

Никита Константинович Добрынский сразу ожил и зачастил, хмуро улыбаясь:

— Задоржать надобно посла-то и ласкать его, дабы время тянуть и злобу в них разжигать дерзостью. Будут в гневе они посла своего ждать да и в горячке-то поспешат на нас, а мы почнем уходить от них, будто в страхе, в западню манить будем...

— А ежели они не пойдут на нас?— со злостью спросил Шемяка.

— Все едино посла у собя доржать надобно,— ответил Старков,— дыбы не упредил он о чем князей своих. Может, он засады да засеки наши разведал...

— Истинно, истинно!— согласился князь можайский.— Может, он и послан-то токмо для-ради того самого...

— А ласкать его тоже надобно,— продолжал Старков,— дабы он и нам поболе поведал с лаской-то да за чаркой. Мы, государь, речь поведем, а ты уши навостри, может, мы все тут боле угадаем, нежели словами он скажет...

Шемяка усмехнулся и сказал Кузьмичу:

— Ну, старина, зови гостя! Веди с почетом, а мы его тут под жабры возьмем с ласками...

Прибыл послом от князя тверского боярин Александр Андреевич Садык с малой стражей и держал себя вежливо и дерзостей никаких не позволял. Помолясь и поклонясь всем, молвил он, хотя и почтительно, но твердо и строго:

— Государь Димитрий Юрьевич! Повестует тобе великий князь Борис: «Что стоишь ты в вотчине брата моего, великого князя Василья, а мою пустошишь? Ты бы пошел в свою вотчину да оттоле и бил челом брату моему, а не пойдешь прочь, ино яз готов со своим братом на тобя. А срок тобе полагаю седьмицу»...

Боярин Садык поклонился опять и спросил:

— Когда, государь, ответ дать изволишь и где прикажешь нам оный ответ ждать?

Шемяка нахмурился и переглянулся с князем можайским и боярами. Поняли они все, что на этот раз посол послан весьма умный и хитрый. По всему ясно чуялось, что за послом сила большая стоит, что великие князья действительно успели собрать многое воинство.

Усмехнулся Шемяка ласково, только глаза его потемнели совсем, и молвил приветливо:

— Да будет здрав великий князь Борис. Ты же, боярин, сам ведаешь: семь раз примерь, бают, один раз отрежь. Ну, прошу гостей за трапезу, а завтра ответ дам. Утро вечера мудреней.

Вежливо усмехнулся боярин Садык, сел, помолившись, за стол со своим дьяком и сказал:

— Спаси бог тя, государь, за ласку.

Все видели, что Садык сразу понял их игру, но нарочито ее продолжает. Начали пить водки и меды, и посол выпил за здравие Димитрия Юрьевича, а тот за здравие Бориса Александровича. После того пошли разговоры разные: о дороге, о том, что Казимир, молодой князь литовский, королем избран польским, что он в Литве вместе с панами да ксендзами совсем задавил православных — и русских и литвинов.

— Все льготы дает токмо папистам [1],— горячо заговорил Садык,— и тем самым многих блазнит к латыньству поганому.

— И яз про то баю,— не выдержал Старков.— Казимир-то токмо Русь разорить хочет.

— Истинно,— подхватил лицемерно Никита Константинович,— бают, вот и князя Василья Ярославича хочет он против нас

[1] *Паписты* — сторонники папы, католики.

ополчить для-ради межусобий наших, а на земли тверские новгородцев в поход подбил.

Садык усмехнулся и, медленно попивая крепкий, ядреный мед, сказал спокойио:

— Вельми стары вести ваши. Воеводы наши давио уж повоевали земли новгородские, и послы от Новагорода били челом великому князю Борису Лександрычу на всей его воле, как положит ему бог. И поруб[1] тверской новгородцы весь отдали, а что воеводы тверские воевали земли их и что иное у их поимали, и тому всему навеки крест...

Садык выпил до дна свою чарку, а сам все время из-за нее глазами по всем лицам водил и видел, что смутило всех его известие, что стрелы его хоть и без грому и шуму пущены были, но в цель попали верно. Помедлив нарочито с питьем, Садык поставил чарку иа стол и добавил:

— А что до Казимира, то у нас, в Твери, иет ему веры. Князь Василий Ярославич пусть ему верит. Вести о сем истинны, токмо у вас они вельми стары.

Лицо Шемяки передернулось, а Старков и Добрынский тревожно переглянулись, но боярин Садык замолчал, принимая новую чарку меда. Молча стали пить и Шемяка, и киязь можайский, и бояре их, но можайский не вытерпел. Стараясь быть равнодушным, проговорил он почти сонным голосом:

— О князе Боровском нам ведомо, что купно с Ряполовским идет он из Мстиславля токмо к Пацыну литовскому, а пустит ли его Казимир из Литвы, кто про то знать может?

Садык усмехнулся и, переглянувшись со своим дьяком, сказал ему:

— Иван Лексеич, вишь, вести-то у них какие? Все им известно!

Дьяк ничего не сказал, а только лукаво подмигнул, ио за столом все смолкли и напряжеиио ждали, что еще скажет боярин Садык. Тот, видимо, ясно разумел, что и оба князя и бояре боятся услышать неприятные им вести, перевел разговор совсем на другое.

— Когда же, государь,— спросил он, обращаясь к Шемяке,— изволишь ответ дать моему государю?

Шемяка досадливо скривил губы и тихо, но злобно ответил:

— Государь твой срок положил седьмицу, а посему жди, когда позовут тя ко мне. Боярин Никита Костянтиныч отведет тобе горницу и клети для стражи твоей...

Шемяка резко встал, показывая, что прием кончеи. Все следом

---

[1] *Поруб* — захват, грабеж. В данном случае: захваченные земли, имущество и пленные.

за ним встали из-за стола. Опять помолились на образа оба гостя и, кланяясь Шемяке, сказали:

— Будь здрав, государь!

Поклонившись потом всем прочим, послы Бориса Александровича готовы были уже двинуться вслед за Никитой Константиновичем, как неожиданно остановил их Шемяка. Он прекрасно понимал, что в Твери знают больше о русских князьях в Литве, чем знает он. Пересилив гнев свой и желая знать истину, он прямо и твердо спросил:

— Где теперь князь Василий Ярославич с Ряполовскими?

Боярин Садык повернулся к Шемяке лицом и, слегка поклонясь, сухо, но вежливо ответил:

— Русские князья с полками своими давно вышли из Пацына литовского, а около Ельни сошлися нечаянно с царевичами Касимом и Якубом. Ныне же идут с татарами к Угличу...

Садык опять слегка поклонился Шемяке и прибавил:

— А боле мне о них ништо не ведомо...

Шемяка побледнел, но, взглянув на растерянные лица своих единомышленников, сдвинул сурово брови.

— Спаси бог тя, Лександр Андреич, за новые вести, коли они истинны. Иди отдохни с пути, а через дни три ответ дам...

Глава 5

ВЗЯТИЕ МОСКВЫ

День и ночь скачет сотня конников под началом воевод Льва Измайлова и Андрея Плещеева. Только небольшие привалы делают конники, чтобы лошадей кормить да часа два самим поспать, а больше в пути, в седлах сидя, дремлют, досыпают невыспанное.

Врассыпную скачут человек по десять полсотни тверичей с Измайловым да полсотни москвичей с Плещеевым. Меж собой оба воеводы ежечасно сносятся, и привалы в одно время делают, и во все стороны, хотя и недалеко, посылают по два воина в разведку.

От Твери по Волге до устья реки Сестры́ верст сто сорок и от устья Сестры до впаденья в нее Яхромы еще верст тридцать впереди ехал отряд Льва Измайлова, а дальше, по московской земле, впереди отряд Андрея Плещеева поскакал. Тут москвичи уже дома и дорогу лучше тверичей знают.

— Ухо востро держать надобно,— говорит Плещеев Измайлову,— тут ведь по Яхроме-то дорога идет из Димитрова на Клин...

Щурясь от заходящего солнца, оба воеводы в сопровождении

стремянных едут рядом между своих отрядов. Конники впереди и позади них вытянулись по одному в длинную цепочку. Едут воеводы с опаской, хоть и по льду, но у самого края пологого берега Сестры, чтобы в случае надобности легче было скрыться в бору.

— Твой отряд весь прошел,— говорит Измайлов, усмехаясь и разглядывая конские следы на узенькой дорожке,— а будто тропинка тут малая, и не знаешь, полсотни ли по ней, аль десяток проехал...

— От дедов так научены,— засмеялся Плещеев,— а деды бают, что их деды еще от половцев в Киевском княжестве тому учились.

— Гуськом-то ехать,— продолжал Измайлов,— и тот расчет, что тревогу враз один от одного узнает, и все в лес за един дух.

— Истинно,— отозвался Плещеев.— Нам бы токмо к устью Лутошни пригнать, а как свернем, не хоронясь уж полетим по самой середине реки!

— А много до устья-то?— спросил Измайлов.

— Верст пятнадцать, а дозоры наши, мыслю, еще верст за десять дальше. Лесом едут. Выслал я старика Ивана Семеныча Лыко с подручным Степкой Вихром... Оба из Загорья, от Сенежского озера. Тутошни места добре ведают...

Вздрогнул, не договорив, Плещеев. Впереди один за другим конники в бор через опушку метнулись. Помчались в лес и воеводы, а за ними и дальше вся длинная цепочка конников. В бору опять гуськом выстроились; поехали, извиваясь меж огромных стволов сосен и елей, словно ввинчиваясь в лесную глушь.

В хвосте этой цепочки всадников остались только оба воеводы со своими стремянными. Приказав скрывшимся в бору воинам ехать шагом вдоль берега, сами воеводы поехали ближе к опушке, но старательно прячась в гущине ветвей высоких кустов.

Вскоре подъехал к воеводам на сухопарой киргизской лошадке седобородый конник Лыко, Иван Семеныч.

— Не нужно съезжать на лед,— сказал он вполголоса Плещееву.— Шемякины конники там полон гонят по Лутошне. Пропустить их на Сестру надобно. В Клин, чаю, полон гонят...

— Много их?

— Душ двадцать,— ответил Лыко и, вдруг сверкнув глазами, добавил:— Может, отбить нам полон-то?

Воеводы переглянулись, и глаза их тоже загорелись, но сразу потухли.

— Про Москву ты, Семеныч, забыл,— сурово молвил

Плещеев.— Возьмем Москву и все полоны сразу отымем. Как нам к Лутошне ехать?

— Токмо берегом, Андрей Михайлович,— ответил Семеныч,— налево свернем, потом по правому берегу Лутошни поедем. Дале-то где можно берегом, где по льду. Ведомы тут мне все пути и перепутья. А Клин-то объедем, тогда можно и все время до самого верховья по Лутошне гнать, а там просекой.

— Ну а теперь ехать нам шагом аль рысью?— спросил Измайлов.

— Можно и рысью малой, господине,— ответил старик.— Тропку тут знаю, гуськом можно. Гоните за мной, к голове сотни подгоним да за собой ее и поведем...

Когда воеводы на рысях подъехали к устью Лутошни, увидели сквозь сучья: тянется по льду обоз, окруженный конниками Шемяки. Медленно ползут деревенские дровни, груженные мерзлыми тушами, мешками с зерном и мукой, а возле дровней парни и девки, душ пятнадцать, да за обозом баранов с десяток...

— Ишь, окаянные,— злобно крикнул Семеныч,— чаю, Соглево разорили, ироды! Верст двенадцать от устья Соглево-то будет. Богатое село...

Стиснув зубы, воеводы молчали. Когда же обоз с шемякинцами свернул налево, на реку Сестру, и скрылся за поворотом, Плещеев крикнул:

— Семеныч! Веди всех на лед! На Москву, на Москву скорей!

Звонко застучали по льду копыта коней, выезжая на середину реки. Верст двадцать скакали воеводы без отдыха. Морды и бока коней покрылись на морозе пушистым инеем, а у людей усы и бороды превратились в ледяные сосульки.

Злоба и досада кипели в сердцах воинов, видевших, как разоряют и полонят слуги удельных князей их родную землю, но они знали, зачем ведут их к Москве, и ничто, казалось, не могло остановить их.

К воеводам подскакал Семеныч и крикнул, еле выговаривая замерзшими губами:

— Клин объехали! Можно и на роздых... Дале-то верст сорок никакого жилья нетути. Не поедут сюда шемякины вои.

Воеводы дали знак остановиться.

— Стой!.. Стой!..— понеслись крики от конника к коннику.

— Истинно,— сказал Лев Измайлов,— роздых надобен. Align ознобило всего, руки, ноги с морозу околели совсем — согнуть не могу...

— В лес греться!— крикнул Плещеев.— Костры разводи, кашицу вари!..

С радостными криками конники въехали в бор напрямик, без опаски, с треском ломая обмерзшие сучья кустарника. Нашли в полверсте от берега просторную полянку, поросшую с краев мелкой ольхой и березняком, обтоптали снег, и сразу кругом застучали топоры, наваливая груды хвои, сосновых и еловых сучьев. Когда же, дымясь, запылали костры, стало на полянке мирно и весело. Котелки над кострами со снегом висят, воды для кашицы натаивают. Тут же, близ огня, и кони стоят, жуют и фыркают в торбы с овсом, что к мордам их подвешены.

— Степка,— кричит старик Семеныч,— проворь мне каши скорей, пока греюсь! Я сей часец в дозор один стану, а там другие сменят. Спать будем...

Степка Вихор весело скалит зубы и тоже кричит ему в ответ:

— Накось вот лепешку, дядя Иван! На костре тобе разогрел, каменной с морозу была...

— Добре, сынок,— жует и ласково бормочет голодный Семеныч.— Мне без зубов мерзлой-то ее не угрызть бы...

На третий день, проскакав от верховьев Лутошни через просеку к верховьям Клязьмы, погнали воеводы прямо к Москве. Скачут опять день и ночь по Клязьме-реке, чтобы к рождеству у Москвы быть.

— В Христов-то день у нас,— говорит Плещеев Измайлову,— ворота в Кремль затемно еще отворяют, дабы некоих бояр и князей к заутрени в собор Пречистой пропущать...

— Токмо доспеть бы,— весело смеется Измайлов,— а там такой всполох содеем, что боле чем татары устрашим. Наместники-то их не чают того!..

— А голова у вас боярин Садык,— засмеялся и сказал Плещеев,— хитер он и скорометлив. Мы ведь у Шемяки-то землю из-под ног вырвем! Токмо конников твоих с моими перемешать надобно, дабы огрешек не натворили. Москвы они не ведают, а мои-то у собя дома...

Смеются и шутят воеводы и с шутками весело дела решают. Веселятся и конники, в удачу все верят.

— Попирую я в Москве-то,— радуется Юшка Каравай, рослый и дородный детина,— у меня там дядя плотник, в посаде срубы рубит. В достатке живет — медком напоит, а наперед в мыльне попарит...

— Что твой дядя!— крикнул, смеясь, Плещеев.— В княжих медушах на всю сотню питья хватит! И мы и тверичи с нами

знатно поедим, н попьем, и в тепле поспим! Токмо бы доспеть нам вовремя...

— Доспем, доспем, воевода,— отзываются со всех сторон и московские и тверские конники, подгоняя лошадей.

Всего ехать по Клязьме до села Спасского десять верст остается, а там лесами верст пятнадцать до верховья Яузы, близ деревни Лупихи, да по Яузе верст двадцать. Хотя и притомились кони, но выдержат, на овсе едут, да и привыкли к походам: татарские все, что ордынцы каждый год на базары из степей пригоняют. Все же, не доезжая немного до Спасского н свернув на полдень в просеку, решили воеводы в лесу ночлег устроить, коней и людей подкормить, отдохнуть перед последним перегоном.

Перед самой Лупихой въехала сотня в дремучую глушь лесную, верст на пять от дороги. Опять все за топоры взялись, только не для костров, а шалаши из сучьев по краям небольшой полянки кольцом поставили, а сверху снегом завалилн поплотней, а плетень меж ними снегом же, как стеной, опоясали, чтобы ветром не продувало. Человек по пять в каждый шалаш набилось, лежат бок о бок, друг друга греют. Перед шалашами же, внутри кольца их, коней поставили, тоже бок о бок, навесили им торбы с овсом, дозоры, где нужно, выставили, да и спать.

У воевод отдельный шалаш, и хоть теплей, может быть, и удобней других, да не спалось в нем ни Измайлову, ни Плещееву. Ворочаются оба с боку на бок.

— Не спишь, Лев Иваныч?— спрашивает Плещеев.

— Гребта одолела, как к Москве подступим,— отвечает Измайлов.

— О том же и мне гребти́тся. Мыслю, утре и полдничать тут, дабы к Москве подойти уж затемно. Солнышко-то ныне в четвертом часу садится, а мы, не торопясь да крадучись, в пятом аль шестом часу под Москвой будем.

— Добре, добре,— соглашается Измайлов,— а идтн нам врассыпную, не до́зрил бы кто из шемякиной стражи...

— Юшку Каравая в посад наперед пошлю с Кузькой Волковым. У Юшкн там дядя, а у Кузьмы родители со всем семейством живут.

— А надежные ребята?— заметил Измайлов.— Ты, Андрей Михайлыч, с ними лучше н старика Семеныча пошли, строг старнк-то и разумен вельми.

— Истинно!— воскликнул Плещеев.— Истинно! А Юшка-то хошь и добрый конник, а хмельное любит.

Замолчали воеводы, а не спят всё, дремлют только чутко, будто сами в дозоре стоят. Вот и месяц уж янтарным серпиком

узким над бором поднялся и в шалаш к ним заглянул в щель лазейки, что хвоей прикрыта. Недалеко совсем взвыл вдруг волк, другой ему вскоре ответил.

Ткнул в бок Измайлов своего стремянного, вскочил тот, враз проснулся.

— Что,— говорит,— Лев Иваныч? Как прикажешь?

— Слышь, волки. Коней чуют. Вели дозорным борзо костры круг полянки зажечь. Вон и кони похрапывать стали, вблизи уже крадутся, окаянные...

— Вот втайне и прошли мы мимо всей шемякиной рати,— весело говорил Плещеев, прохаживаясь с Измайловым вдоль опушки леса,— вот она, Москва-то.

В лесном островке, что возле устья Яузы вдоль Москвы-реки тянется, сокрылась сотня тверских и московских конников. Видно отсюда всю гору, на которой Кремль стоит,— вон стены его да башни белеют при свете молодого месяца.

— Гляди,— показывает Плещеев Измайлову,— видишь, прямо-то, против нас, многие золотые маковки да кресты на месяце играют? То Чудов монастырь, а подле него кресты опять — Успенье пресвятые богородицы, а еще левей главы видать Михаила-архангела...

— А где же князи, бояре и прочие рождественскую литургию слушают?— спросил Измайлов.

— Которые в Чудовом, которые у Пречистыя богородицы,— ответил Плещеев и, указывая рукой, продолжал:— Вправо же от Чудова видишь угловую башню, на берегу Неглинной? Там, возле нее, Никольские ворота. Через них на праздники токмо и пущает стража...

— И нам в сии ворота?— засмеялся Измайлов.

— Бог вынесет,— весело отозвался Плещеев.— Час придет и пору приведет...

Воеводы смолкли и насторожились — возле опушки слышно, как мелкой рысью едут. Ближе вот, и сразу на свет месяца три конника выехали.

— Семеныч вернулся!— взволнованно крикнул Плещеев.

— Я, господине,— отозвался старый конник, тоже волнуясь.— Час божий настал. Ехать надоть к Никольским воротам! Скоро к заутрене ударят. Отворены ворота. Ждут княгиню Ульяну — к празднику. Поспешать надоть.

Живо собралась сотня и на рысях двинулась по льду Москвы-реки вдоль левого берега, мимо посадов, к Неглинной, к Никольским воротам. Только стали они там, от Кремля немного поодаль, как ударили к заутрене на всех звонницах, а из Заречья показался возок княгини Ульяны с малой стражей.

Перекрестились оба воеводы — и Плещеев и Измайлов — и приказали, как только в ворота будет въезжать возок, ворваться всем в град, потом у ворот десятку остаться, а стражу шемякину всю хватать и вязать. Прочим же за воеводами скакать, куда укажут. Перекрестились наскоро и все конники; и только в град княгиня через ворота въезжать стала, как с криком и шумом великим ворвались они в Кремль. Окружили, похватали стражу, всего-то душ пять было, связали и в угловую башню загнали, где еще десятерых захватили.

Дальше помчались воеводы к хоромам великого князя, застали еще шемякиного воеводу там Семена Ивановича. Не ждал тот гостей нечаянных, врасплох попался со стражей своей. Конники Плещеева и Измайлова многих из них просто голыми руками брали, вязали и в клеть затворяли. А тех, кто биться хотели, саблями посекли и средь них и Семена Ивановича убили. Тут все, что оставались из дворских Василия Васильевича, поднялись на бояр шемякиных, хватали, грабили и вели к воеводам, а те их в железы заковывали.

Истопник же великой княгини Марьи Ярославны, Ростопча, муж Дуняхи, людей набрав, по храмам ловить шемякинцев бросился, где к нему еще много народу пристало. Метнулись они к Успенью пречистой, знали, что там наместник Шемяки — дьяк Федор Дубенский, да опоздали. Тот, как услышал шум, из храма ушел да бегом к воротам Чушковым, что к Москве-реке ведут, а из ворот вместе со стражей в посад к себе убежал.

Шум, крики по всему городу пошли, поднялись все кругом, кричат:

— Государь наш Василь Василич вернулся!

Пока шум тот до Чудова дошел, где был наместник, Василий Чешиха, туда уж Ростопча поспел. Все же Чешиха, из храма выбежав, на коня вскочить успел и погнал было к воротам, да Ростопча коня за узду схватил и на морде у него повис.

— Доржи,— кричал он,— доржи! Наместника поймал! Доржи, волоки его!

Налетел народ со всех сторон, стащили за ноги Чешиху с коня, повели в княжии хоромы. Из посадов же черные люди толпами уж шли в открытые ворота града — нигде шемякиной стражи не было. Всех бояр галицких и можайских пограбили и заковали. Своих переметчиков тоже разграбили, а хоромы Старкова — прежде других. Многих заковали, а иных и убили: грабежа и неправды раньше от них много видели.

— Волки лютые были все сии слуги да судьи шемякины,— говорил народ,— для-ради лихоимства шкуру сдирали с виноватого и с правого...

Шумел, галдел народ, расправы чиня по всему Кремлю,

а в церквах богослужение совершалось, и в колокола звонили по-праздничиому — рождество Христово встречали, хотя среди молящихся только старики, женщины да дети остались.

Давно уж заутреня кончилась, и к обедне звонить начали, а воеводы сидели еще в княжой передней. Некогда им и в храм пойти — ведут непрестаиио к иим шемякинцев, связанных, избитых, раздетых. Вот, крича во всю мочь, ввалился Ростопча, держа Чешиху за крепко стянутые кушаком и веревками локти.

— Вот ои, иаместник-то! Бежать замыслил, да мной на коие пойман! Я живота ради князя не жалел, я...

Ростопча вдруг остановился, бросил веревку, двинулся, кланяясь Плещееву.

— Господине Андрей Михайлыч,— радостно возопил он,— ие чаял тя видеть! Как государь и государыня со чадами, да хранит их господь?

— Слава богу, живы, здравы, а ныне вборзе и на Москве будут.

— Дай бог, дай бог государю нашему!..— закричали все кругом.— Истерзал нас Шемяка и слуги его окаянные!..

— Вот он, наместник-то,— снова закричал злобно Ростопча,— Василий Чешиха. Здесь, в княжих покоях, жил, пес поганый! Другой-то, наместник, Федор Дубенской, бают, от Успенья к Чушковым воротам бежал, а тамо через Москву-реку в посад...

— А из посада, бают,— вмешался один из посадских,— с конниками своими погнал невесть куды...

— Ладно!— крикнул Плещеев и, обратясь к Ростопче, добавил:— Ковать Чешиху в железы! Веди его на двор, где кузнецы...

Ростопча двинулся было, схватив за веревки Чешиху, но затоптался нерешительно на месте.

— Ты что же?— сердито спросил его Плещеев.

— Не гиевись, Андрей Михайлович, на докуку мою,— робко иачал Ростопча,— токмо молви словечко, как тамо Дуняха-то моя...

Засмеялся Плещеев:

— Дуияха-то? У княгини живет, а Никишка твой растет, брат!

— Растет?— улыбаясь широкой, счастливой улыбкой, повторил Ростопча.— Здоров, значит, Никишка-то?

Ои смахнул слезу и, обратясь к Чешихе, заорал грубо, словно стыдясь своей слабости:

— Чего стал? Бают тобе, на двор выходи! Ковать тя, ирода, будут!..

Глава 6

К ВОЛОКУ ЛАМСКОМУ

Еще не было никаких вестей от воевод Измайлова и Плещеева и не возвращался еще от Шемяки боярин Садык, когда оба великих князя выступили в поход к Волоку Ламскому. Ехали они среди полков своих в большой теплой кибитке со слюдяными окнами, вставленными по обеим сторонам в толстые стенки из кошмы. Княжич Иван сидел около отца, задумчиво глядел в окошечко кибитки и, не вникая в суть их речей, слушал, что говорят между собой отец и «батюшка», как теперь, после обрученья, велели ему звать князя Бориса Александровича. Перед глазами же его, отодвигаясь куда-то вдаль, вставало прощанье с матерью, Юрием и Андрейкой, остававшимися в Твери, с «матушкой», княгиней Настасьей Андреевной. Как ни печально было все это, но разлука со старым Илейкой была ему особенно тяжела.

Вот и теперь у Ивана щиплет в глазах, когда вспоминает он, как старик дрожащими руками обнимал его, а из глаз его текли слезы, капая с лохматых сивых усов. Губы Илейки кривились в курчавой бороде, с трудом выговаривая слова:

— Отныне, Иване, мы... мы с тоб-бой и р-рыбки не полловим вместе. С Данилкой токмо да с Юрьем...

Илейка громко всхлипнул и смолк. У Данилки и у Дарьюшки тоже глаза были в слезах...

Тоска от этих воспоминаний сжимала сердце Ивану, и казалось ему, что никогда уж он не будет больше ловить рыбу с Данилкой, держать в клетках чижей и щеглят, слушать сказки и разговоры Илейки, что все это тонет где-то навсегда, тонет в неясном золотом тумане, как тонет радостное солнце за краем земли...

Но все это длилось недолго,— растаял, разлетелся, как пух, неясный туман, и тоска оставила сердце Ивана.

— На войну еду!— чуть слышно прошептал он с гордостью и так же тихо добавил:— Васюк — стремянной мой...

Досадно было лишь, что ни кольчуги у него нет, ни шишака, ни оружия. Не похож он на воина. Захотелось ему об этом сказать отцу, да не смеет: говорит он о чем-то важном с «батюшкой». Тверской князь оживлен и весел.

— Добре мы с тобой содеяли,— восклицает он,— что не стали ждать, когда Шемяка ударит на нас. Теперь же, ежели будет удача Плещееву да Измайлову, мы сами враз ударим супротивникам и в лоб и в тыл!

— Право ты мыслишь,— согласился Василий Васильевич и,

помолчав, добавил:— Ежели и воеводы наши у Шемяки отнять Москву не смогут, и тогда право слово твое. Все едино ни Шемяке, ни толстопузому Ивану можайскому на Москве не быти! Не впервой галицкие из Москвы сами выбегают, жмет их народ-то...

— Народ-то,— живо отозвался князь Борис Александрович,— он не любит удельных. Он любит сильных князей, а какая ему защита от удельных-то? Токмо рати, да разоренья, да полоны...

— Слушай, Иване,— весело сказал Василий Васильевич,— слушай сии золотые слова!

— А сильные-то князья ныне — токмо мы с тобой — Москва да Тверь, а Новгород и Псков хошь и сильны тоже, да не под версту нам!..

— Рязанский же князь великой и тех слабей...

Княжич Иван радостно слушает обоих великих князей, чувствуя, как страх перед Шемякой совсем пропадает у него. Ивану все более и более нравится князь Борис: чем-то походит он на бабку Софью Витовтовну, но не суровый, как та, а веселый, как отец, и строительство любит, и пение, и всякое искусное ремесло, а пушки у него лучше московских и льют пушки эти у него в Твери и свои тверские пушкари-литейщики, а не только чужие, немецкие...

Находясь почти неотлучно при отце, много слышит Иван нового и многое старое теперь по-иному понимает. Одного только понять он не может, и больно и обидно ему от этого. Отца спросить не решается, зря накричать может, а бабки нет. Мучает его, почему это князю Борису удача во всем, и живет он в Твери, как царь, и венец золотой носит. Они же вот с отцом мечутся, бегают, а отец то у татар в плену, то у Шемяки! Из Москвы вот их выгнали, и отца ослепили, бабку куда-то заслали, и он сам с Юрием все время бегал с места на место, пока их не заточили с родителями вместе в Угличе. Потом поехали в Вологду, потом в Белозерский монастырь, потом в Тверь, а теперь вот к Волоку...

Неожиданно кибитка поехала совсем медленно, а к правой дверке подошел Васюк и, отворив ее, сказал:

— Государи, горка малая на пути нам, но вельми крута. Поедем нога за ногу. Княжич-то засиделся. Пройти бы ему малость да калик послушать...

— Иди, иди, Иване,— весело молвил Василий Васильевич,— а ты Васюк, дверку-то не затворяй, и мы с братом моим калик послушаем...

Могучие голоса густой волной покатились по снегам, и слова гудели внятно и отчетливо:

Ходили калики перехожие из орды в орду,
Сорок калик со каликою.
Лапотки на ноженьках у них были шелковые,
Подсумочки сшиты черна бархата,
Во руках были клюки кости рыбьея,
На головушках были шляпки земли греческой.
Приходили они в хоробру Литву...

Княжич Иван перестал слушать, увидев вдруг знакомого человека среди калик — то был Федорец Клин. И вот сразу все вспомнилось Ивану: передняя в московских хоромах великого князя, бабка в дверях с посохом, и вот этот калика с отсеченной правой рукой рядом с Яшкой Ростопчей...

— Васюк, Васюк!— вскрикнул Иван.— Гляди, Федорец Клин!

— Ишь ты,— подтвердил Васюк,— истинно Федька Клин. От Суждаля тогда вместе с Ростопчей пригнал...

Федорец Клин тоже признал Васюка и подбежал к кибитке.

— Скажи, Васюк,— громко, пересиливая пение, спросил он,— где государь-то наш?

— Кто меня спрашивает?— отозвался князь Василий.— Ведом мне голос твой...

— Я, я, государь мой!— радостно воскликнул безрукий калика.— Стремянной твой, Федорец! Калика я ныне, государь. Праву руку тогды под Суждалем отсекли поганые напрочь, вместе с саблей отсекли. Хожу ныне с нищей братией, без руки-то некуда мне боле...

Кибитка уж проехала мимо калик перехожих, и пение их уже глуше доносится, а Федорец все идет рядом с Васюком перед отворенной дверкой кибитки.

— Свет божий не мил мне, государь,— горестно бормочет Федорец,— что я без руки-то...

— Свет божий, баишь, не мил,— с печалью и стоном вдруг громко сказал Василий Васильевич.— А яз вот вовсе света белого не вижу, и во тьме буду до конца живота своего!..

Заплакал Федорец и крикнул:

— Тобе сие горше, государь мой! Помогни бог в делах твоих... Прощай!..

— Стой, стой!— окликнул его князь Василий.— Возьми вот полтину...

— И от меня тоже,— добавил князь Борис, подавая деньги.

Замолчали оба государя, а Ивану опять стало грустно, и не захотел он выходить из кибитки. Вот уж и с горки спускаться стали, и Васюка нет, и дверка давно затворена. Вспоминаются Ивану снова скитания по чужим местам, страхи и неудобства всякие.

— Так и мы с татой из орды в орду,— невольно произнес он вслух свои мысли и испуганно взглянул на отца.

Усмехнулся горько Василий Васильевич и, вздохнув, сказал:

— Погоди, сынок, сядем и мы на Москве, бог даст, крепко...

Когда князья с полками своими отошли от Твери верст на двенадцать и городок Ре́ден видать им стало, прискакали конники из передового полка, а с ними и боярин Садык пригнал со стражей своей.

Борис Александрович весьма обрадован был приездом посла своего и позвал его в кибитку к себе для немедленного тайного доклада обоим государям. Но Садык почтительно доложил сначала, что и начальник их отряда слово имеет к великим князьям.

— Слово сие не тайны требует,— молвил он, усмехаясь,— а кликов великих. Пусть слышат его все вои твои, государь!

— Что скажешь, Тимофей Никифорыч?— весело спросил князь Борис, оборачиваясь к начальнику отряда и догадываясь по лицу его, что вести добрые.

— С сеунчем тобя, государь! Побежал Шемяка от Волока к Галичу, а с ним и князь можайский...

— К Галичу?— не веря радостной вести, вскричал князь Василий.— Не к Москве ли?

— Нет, государь, к Галичу.

Обнялись князья и облобызались.

— Щадит нас господь бог, Иване, и милует!— радостно восклицает князь Василий.— Послал нам братнюю помощь князя Бориса...

— И умереть с тобой обещаю любви моей братней ради,— громко клянется тверской князь и, обратясь к начальнику передового отряда, говорит:— Ты же, Тимофей Никифорыч, доложи вести сии воеводам нашим. Пусть обсудят и прикажут тобе, что дозорам нашим деять ныне и прочая, что сами ведают. Да скажи им, становиться полкам в Редене. Станом стоять нам там два дни...

— Будьте здравы, государи!— крикнул, кланяясь, Тимофей Никифорович и поскакал прочь.

Иван, взволнованный и радостный, следил нетерпеливо, как боярин Садык лезет в княжую кибитку и садится на скамью против обоих государей. Не спуская глаз, смотрит он на боярина и ждет, что тот скажет.

— У меня тоже сеунч есть,— говорит тот, когда Васюк затворил за ним дверку кибитки,— да токмо сеунч-то мой от разума. Мыслю, не днесь, то утре и от Москвы вестник пригонит...

Рассказал боярин, как его приняли у Шемяки, как хотели выведать от него о замыслах тверских.

— Но так сие неискусно творили,— смеясь, воскликнул Садык,— что яз все их замыслы враз уразумел. Советник-то у Шемяки, его боярин Добрынский, вельми ядовит и хитер, да не разумен, а князь можайский и того простей. Тотчас учуял яз, что о многом они ничего не ведают. Шемяка-то, пожалуй, далее их видит. Разумеет, что ему петля и западня, да со зла упрям, злобы в нем много...

— Разумно баишь, боярин,— согласился князь Василий,— и яз о них так мыслю. А все же — пошто они все побегли? Может, Плещееву бог помог?

— Ты спрашиваешь, княже Василий, пошто они побегли?— ответил Садык.— Как же не бежать-то им? Ведь о приходе полков из Литвы яз им сказал,— они о том не ведали. О вашем походе на Волок яз известил Шемяку в слове государя моего. А когда весть к ним пришла о взятии Москвы, то и стало все, как нами тогда решено было в хоромах князя тверского, в опочивальне государевой.

— А что войско-то шемякино?— спросил князь Борис.

— Много у него людей не по вольной воле,— молвил боярин Садык,— одни — из-за целованья креста; другие — надеяние на тобя, князь Василий Василич, потеряв; третьи — силой взяты, страх обуял их. Сами же князи и бояре — людям своим не верят, вести худые от них таят, но от меня утаить ничего не могли. Очи у меня пока еще зрячие, а уши чуткие.

— Ну, а разум у тобя, боярин, зорче глаз твоих и более чуток, чем уши!— засмеялся князь Борис. Заметив, что кибитка остановилась, добавил:— Вот, бог дал, и приехали в Реден. Пообедаю здесь у попа, да потом о делах подумаем с воеводами вместе.

В горнице отца Рафаила после обеда князья сидели у стола под образами, в красном углу, а возле них — бояре и воеводы. Пили брагу, которой угощал их настоятель единственной в Редене маленькой деревянной церковки.

Иван, как всегда, сидел рядом с отцом, а Васюк стоял около них поблизости. Тут, на походе, все просто, и сам даже князь Борис прост и ласков, но бояре и воеводы на походе не меньше чтут и боятся своего государя, чем в тверском кремле.

Княжич Иван, попивая сладкий, но слабый сыченый мед, жадно слушает речи воевод, вникает, поскольку может, в их военные замыслы. Особенно занимают его знаменитые воеводы тверские, братья Бороздины — Борис и Семен Захарьевичи.

Они оба слушают со вниманием боярина Садыка, который докладывает о положении дел в шемякинском войске, объясняя бегство их взятием Москвы.

Когда Садык кончил доклад, Иван впился глазами в суровые лица воевод. Они были неподвижны и непроницаемы. Но вот старший из них откинул рукой прядь густых волос со лба и медленно стал гладить густую, но уже седеющую бороду.

— Что нам боярин Садык сказывал,— начал Борис Захарьевич,— то все так и есть. В полках шемякиных шатание среди воев. А теперь к нам уже новые вести идут — бают, разбегается рать-то шемякина.

— А давно ль вести сии пришли? — спросил князь Борис.

— Каждый час, государь, к нам вести приходят. Гонцы-то наши бают, что шемякины ратники все о взятии Москвы ведают. Бают, что с Шемякой остались токмо его галичане да князь можайский с своими воями.

— Ну, на можайского-то плохая надежа,— усмехнувшись, молвил князь Василий,— переметчик он великий.

— А как теперь нам идти? — неожиданно для княжича Ивана спросил Борис Александрович,— то ли ране к Москве и потом к Галичу, то ли ранее к Галичу, а потом к Москве?

Иван даже слегка вздрогнул. Возможность возвращения в Москву потрясла его. Вытянув шею, он подался вперед всем телом, чтобы не проронить ни единого слова.

— Пойти на Углич,— не сразу ответил Борис Захарьевич,— потом на Ярославль и Кострому, а далее в обход Галича к Чухломе, где княгиня Софья Витовтовна в заточенье сидит. Оттоль же к Галичу, и, окружив град Галицкой, Шемяку поимать.

— Добре, добре придумано,— подтвердил Семен Захарьич,— от самой Твери до самой Костромы все по Волге, а и далее дороги хороши: вверх по Костроме до самой Чухломы.

— Истинно добре,— согласился князь Василий,— борзо нам все содеять надобно, чтобы не давать Шемяке вздохнуть. Яз мыслю тоже — лучше на Галич идти; Семен Захарыч дело говорит — по Волге-то ближе и скорей будет. А Шемяку гнать надо что есть духу...— Немного помедлив, он добавил:— Токмо страх у меня за Москву-то...

— Не бойся, брате мой,— живо вступился Борис Александрович,— подмогу пошлем мы Измайлову да Плещееву. Да и не посмеет ныне Шемяка на Москву идти. Москва за тобя стоит...

— Знаю, что Москва за меня,— воскликнул ободренный князь Василий.— Вон покойный дядя мой, князь Юрий Димитрич, в Коломну меня прогнал, а Москва вся за мной в Коломну пошла. Не раз меня Москва спасала, вот и ныне паки спасет!

Княжич Иван весело усмехнулся на слова отца. Заметив это, князь Борис спросил его:

— А ты, Иване, чему смеешься?

— И бабка моя так про Москву говорила,— ответил Иван,— когда тата в полоне у татар был...

Все рассмеялись. Княжич обиделся и оглядел всех собеседников острым взглядом из-под нахмуренных бровей. Его большие темные глаза как-то непонятно действовали на всех — почему-то они смущали даже взрослых. Глядели они не по-детски сурово и проницательно.

Борис Александрович внимательно посмотрел на княжича и молвил:

— А пошто же так Москва за тату твоего стоит?

— Илейка мне баил,— медленно и убежденно ответил Иван,— что за московским князем жить покойно и сытно. Владыка же Иона мне сказывал, что простой народ Москву любит, а без него нет силы и у князя...

Такому ответу княжича не смеялись ни бояре, ни воеводы, они недоуменно переглядывались, дивясь словам отрока. Боярин же Садык сказал, усмехаясь весело:

— Ох, вижу яз, будешь ты, Иване, сидя на княжом столе, один думу думать. Не надобны будут тобе советники, с одними вестниками да слугами управишься!..

Оставив воевод и полки в Редене, князья неожиданно вернулись в Тверь по настоянию Василия Васильевича. Перепугались сначала все в доме князя тверского, думая, что случилось несчастье какое, но потом обрадовались, узнав, что Шемяка бежал от Волока Ламского.

Весьма доволен был князь Василий, что в Тверь вернуться уговорил князя Бориса. Не хотел московский великий князь, чтобы после бегства Шемяки в походе шел рядом с ним князь тверской. Помощь-то князя Бориса еще нужна, но Василий Васильевич боится, что дорого платить за нее придется. Не терпится ему поговорить с княгиней своей, а нельзя: оба княжих семейства все время вместе. Тут же вскорости, к самому ужину, и новая радость пришла: пригнал сам воевода Измайлов с тверским отрядом своим и весть о взятии Москвы привез.

Ужин накрыли по-семейному, никаких чинов не соблюдая, просто и без лишних слуг. Дети тоже ужинали на этот раз с родителями, и даже Андрейка был в трапезной у Дуняхи на руках, чтобы отец мог, если не увидеть его, то хоть головенку

ему гладенькую рукой поласкать. Любит крепко все семейство свое Василий Васильевич.

Князь же Борис Александрович, будучи в трапезной с княгиней своей и дочкой, пригласил еще инока Фому, боярина Садыка и приказал позвать Льва Измайлова.

Воевода вошел, когда уже шти по мискам разлили всем, и, помолившись и поздоровавшись поклонами со всеми, сел Измайлов, где указал князь Борис.

Приезжие, как сами князья, так и Садык с Измайловым, были голодны. Молча съели они шти из кислой капусты с грибами и пирог с соминой, запивая еду то крепким медом, то холодным пивом, ибо в хоромах очень уж жарко натоплено, а от горячей пищи того жарче становилось.

Если бы Василий Васильевич мог видеть, то заметил бы, что тверской князь, хотя и весел и радостен, а все же чем-то озабочен. Понимает отлично князь Борис, что со взятием Москвы и бегством Шемяки борьба еще не кончена, но уже произошел перелом: настало время, когда каждый из князей, кроме общей пользы, должен иметь и свою. Надобно связать князя московского не только браком детей, но и дальнейшей ему помощью в ратном деле. Думает он и о возвращении из-под Москвы Ржевы, прадедины своей, невдалеке от которой находятся Опоки, любимое его место летнего обиталища с красивыми хоромами и садами...

Оглядев стол, Борис Александрович заметил, что гости его почти уже насытились, и можно вести речи застольные. Обернулся он к Измайлову и ласково молвил:

— Потешь, Лев Иваныч, брата моего и семейство его, расскажи им, как вы с Плещеевым Москву взяли.

— Сказывай, Лев Иванович, не томи душу,— взволнованно поддержал Василий Васильевич. И все кругом зашумели, что-то говоря и волнуясь, но сразу смолкли и затихли, когда начал говорить Измайлов.

Подробно рассказал он, как ехали оба отряда, как стереглись врага и как видели на Сестре-реке, возле устья Лутошни, шемякиных ратников с полоном и всяким добром грабленым.

— Ах, ироды проклятые, прости, господи!— воскликнула Марья Ярославна.

— Стало быть,— мрачно заметил князь Василий,— село Соглево ограбили...

— Соглево, Соглево,— подтвердил Измайлов,— о том уж баил и воевода твой, государь.

По мере того как Лев Иванович рассказывал дальше, его слушали все напряженнее, и восклицанья и замечанья чаще срывались у всех, даже у слуг, позабывших строгость двора князя Бориса. Потом снова все затаились, когда воевода рас-

сказывал, как у Никольских ворот они стояли, поджидая возок княгини Ульяны из Заречья, как ударили к заутрене...

— Господи!— не выдержал тут Илейка и молвил горестно:— Скольки время мы, горемычные, звона московского не слухали! Скольки!..

Старик вдруг смолк, встретив строгий взгляд Марьи Ярославны, и виновато потупился.

Снова все стихло в трапезной, а княжич Иван смотрит в рот воеводы и будто видит через слова его, как все происходило в Москве. Вот уж ворвались московские и тверские конники в Кремль, гремит оружие, крики и шум кругом. Вяжут стражу у ворот. Скачут воеводы с конниками по улицам, бой с заставой шемякиной в хоромах княжих, бегство шемякинцев... Видит Иван, как народ мечется по предрассветным улицам, хватает бояр и слуг шемякиных и можайских...

— Наместник-то шемякин, Федор, из Пречистыя от заутрени убежал,— усмехаясь, говорит Измайлов,— а другой-то, княже Иванов, на коня вскочив, из града погнал. Тут его, государыня Марья Ярославна, истопничишко твой Яков, Ростопчей зовут, схватил и к нам привел...

— Яшенька мой, Яшенька!— плача от радости, прошептала Дуняха.— Помог господь...

Когда кончил рассказ свой воевода, вздохнул радостно Василий Васильевич и, перекрестившись истово, сказал звонким своим голосом:

— Благодарение господу и тобе, брате мой, Борис Лександрович, и вам, воеводы, за взятие Москвы!

Обнял он Бориса Александровича и воеводу, и княгини лобызались в радости, и все ликовали, а князь Борис Александрович приказал дворецкому пир в большой горнице в честь великого князя и семейства его завтра устроить, а кого звать, он после укажет.

Встали все из-за стола и разошлись. Остались только оба князя с княгинями да княжич Иван.

— Княгиня моя,— начал Борис Александрович,— мыслит о дочери нашей, хочет, чтобы до венца при нас она жила...

— А венчать,— вмешалась Настасья Андреевна,— когда Марьюшке десять будет, но и тогда еще в Москву не отдавать...

Она замолчала нерешительно, но потом, обратясь к Марье Ярославне, добавила:

— Тобе, Марья Ярославна, самой ведомо, что отроковицу без кровей негоже в жены отдавать...

— Истинно,— согласилась, потупляя глаза, Марья Ярославна,— младенец еще она. Мыслю яз токмо на четырнадцатом годочке взять к собе Марьюшку-то.

— Свет ты мой милой,— обрадовалась Настасья Андреевна, со слезами обнимая и целуя Марью Ярославну.

Растроганы были и отцы, а Василий Васильевич воскликнул:

— Брате и друже мой! Да пошлет господь бог счастье детям нашим! Ты старше меня, брате, годами, и разумом велик, и верен докончанью нашему более шести годов, и против Новагорода помогал мне, и ныне мне и семейству моему вельми многое содеял.

— Умереть с тобой обещаюсь,— горячо молвил Борис Александрович,— пока не возьмешь государства своего, пока мать свою из полона не изымешь от Шемяки!

Потекли слезы из очей Васильевых, и сказал он дрогнувшим голосом:

— Люблю тя, брате, и верю тобе во всем! Хочу, брате, боль твою о некой вотчине утишить. Жалую те Ржеву твою, что за Москвой ныне!..

Марья Ярославна от этих слов побледнела и бросила испуганный взгляд на мужа, но тот не мог этого видеть и, весь отдаваясь порыву своему, целовал обнимавшего его князя тверского...

Долго еще в трапезной были княжии семейства и в радости пили меды, и водки сладкие, и вина фряжские, заедая сластями разными. Говорили князья о дальнейшей борьбе с князем Димитрием Шемякой.

— Молю тя, брате, оставайся в Твери у собя, не иди с войском моим,— говорил Василий Васильевич,— князь Димитрий показал нам плечи свои и побежал. Утре дьяков своих зови, а яз своих, да напишем докончанье на Ржеву и прочее, и что ранѐ между нами договорено было, паки подкрепим...

Княжич Иван плохо слушал эти разговоры, где упоминались и новгородцы, и литовский князь, и рыцари ливонские, и татары. Все князья подробно перебирали и решали, как и против кого войной ходить, в чем и когда друг другу помощь оказывать.

Великие же княгини говорили свое: о детях, о браке Ивана с Марьюшкой и о многом, что со свадьбою связано, странном и для него непонятном. Иван хмурился, напрягал слух, но разговоры отцов и матерей мешались и путались в голове его, а глаза начинали слипаться от дремоты.

Иван очнулся, когда все встали из-за стола, решив все вопросы, а отец, немного охмелев, говорил весело:

— Добре, добре, брате мой. Утре пир, а на рассвете отъедем мы с Иваном к полкам в Реден. Ты же тут княгиню мою с детьми отпусти на Москву со сторожевым отрядом. Измайлов-то

сказывал, что вся Москва пред владыкой Ионой крест мне целовала.

— Наиверную стражу пошлю с ними,— ответил Борис Александрович.— С тобой же оставлю сильных своих и крепчайших воевод — Бороздиных обоих и воинов множество. Сам же яз по воле твоей буду из Твери стеречь тя в походе и Москву с семейством твоим, дабы помочь борзо послать, если надобно будет...

Простясь с князем и княгиней тверскими, пошел Василий Васильевич к себе в опочивальню, опираясь рукой на плечо сына, а Марья Ярославна вела его под руку. В опочивальне, затворив за собой двери покрепче, она сказала мужу с горечью:

— Пошто Ржеву-то пожаловал? Матерь твоя что тобе скажет? Обмерла яз, ушам своим не поверила, Васенька...

Василий Васильевич ласково обнял княгиню свою и, сев рядом с ней на пристенную скамью, молвил:

— Не тужи, Марьюшка! Чаю, стоит моя мать Ржевы-то. Да и много еще помочи надоть нам от князя Бориса. Сынов нет у него, а дочь его чрез Ивана нашей дочерью будет. Когда мы с Борисом помрем, не токмо Ржева, но, бог даст, Тверь за Иваном будет...

Он крепче прижал к себе жену, а та, взглянув на Ивана и вспыхнув вся, сказала со смущением:

— Поцелуй мя, Иване, да иди почивать, а нам с татой о многом поговорить надобно...

Иван обнял и поцеловал мать, такую нежную и теплую, поцеловал руку отца, а тот облобызал его в обе щеки.

Выходя, княжич оглянулся в дверях и увидел, как мать, обняв отца за шею, припала лицом к его груди.

Быстро прошел Иван сенцы и взошел в малый покойчик, где спал вместе с Юрием. Помолившись, лег он на свою скамью, но дремота, клонившая его все время ко сну, вдруг исчезла. Перед глазами то мелькали разноцветные круги и пятна, то виделись разные люди, калики перехожие, воеводы, то белели снега вокруг него, а по краям их бежали неровными зубцами темные полосы хвойных лесов, как он видел их в слюдяное окошечко кибитки...

Но и это все понемногу ушло куда-то, меняясь и путаясь. Среди неразберихи этой представляются ему новые видения и Переяславль Залесский, и сад со щеглами, и Дарьюшка...

— Господи, господи,— шепчет Иван, глядя на зеленоватую лампадку перед образами,— ничего яз не разумею! Пошто женят меня? Был яз один, пошто же мне дают девочку?..

Сердце его бьется, как бнлось у щеглов и чижиков, когда он вынимал их из сети. И снова все становится для него неясным и непонятным, путается все, расплывается, и сон, как теплым одеялом, вдруг окутывает его с ног до головы, и все исчезает.

Глава 7

ПОД УГЛИЧЕМ

Много дней уж тянутся войска конные и пешие к Угличу, а за ними ползут обозы с припасами и военным снаряженнем. Полки так многочисленны, а дороги так растоптаны людьми и конями, что обозные сани увязают в грязном снегу.

Дни становятся все длиннее и длиннее. Хотя еще морозит, но солнце сияет светлее и лучезарнее. Чаще улыбаются людн, перекидываясь шутками, греются, хлопая руками, и, соскакивая с возов, борются и толкаются. Здоровенный Ермила-кузнец походя валнт возчиков, катает их по снегу, орет от удовольствня и гогочет во все горло. Упарившись, сразу стих он, тяжело плюхнулся на ближайшие дровни и, сорвав с головы шапку, стал отирать пот с лица шершавыми рукавами домотканого азяма.

После смерти Бунко побыл Ермила некоторое время в Волоке Ламском, но, узнав о приближении князя Ивана можайского и о походе из Москвы Шемякн, побежал со своей набранной братией в Тверь, к великому князю Василию Васильевичу. Тут он, сам-пятнадцатый, принят был в обозную охрану.

— Что, укатали и медведя крутые горки?— крикнул ему Федотыч, бородатый мужик из обозных кологривов.

— Уморился,— смеясь, ответил кузнец.— А что не побаловаться, когда наши Москву взяли, а Шемяка с князем можайским и от Волока бежали и от Углича! Задом к нам обернулись, да н зад-то не кажут — боятся, как бы их до крови по заду-то не огрели!..

— Шемяка бежит, а углицки-то крепко в осаде сидят! Бают наши дозоры, в Угличе пушки у них есть.

— Ништо!— весело крикнул Ермила, ероша рыжие кудри.— Возьмем град их! А ты вот скажи, где обозу нашему стоять велено?

— Под самым Угличем, версты за полторы. Тамо, бают, деревнюшка есть с усадьбой боярской. Токмо боярин-то не живет в ней, а живет его тивун. Сам боярин, бают, токмо на охоту сюда приезжает.

Кузнец хнтро подмнгнул кологрнву и весело добавил:

— Значит, пива н меду попробуем!

— А ты мыслишь — батогов там иет?

— Пошто батоги!— засмеялся Ермилка.— Мы по-лисьн, с клюкамн разными содеем! Комар носу не подточит, как мы...

— Эй, вы! Куды прете?— закричали коннннкн, выезжая нз-за лесного поворота.— Нету тут проезда! Засекн здесь углицкне вои иарубили. Сворачивай иаправо!

— Да нам в Вырубки!— закрнчалн мужики обозные.— В Вырубки, мил-человек!

— Дозоры стоят в Вырубках! Вам сельцо Макарово приказаио! Позадь ндет Вырубков, малость влево. Сворачивай в просеку, прямнком в Макарово вопрешься!..

— А боярский двор есть тамо, как в Вырубках?— крнкнул Ермнлка.

— Ишь, у тобя губа-то не дура!— ответнл конннк.— Токмо в Макарове и есть, а в Вырубках, опричь пяти нзб, ничего иетути...

Обоз свернул в просеку. Здесь путь ие разъезжен, н санн, поскрнпывая полозьямн, легко скользят по крепкому снегу, бойко подхваченные лохматымн лошадкамн.

Утреннее солнышко стонт над самой серединой просеки, вспыхнвает райкамн иа крупных снежннках наста, блещет иа снеговых шапках сосен и елей. Вот просека стала сворачивать влево, и вдруг где-то совсем близко взлаялн собакн.

— Эх, денек-то ясный какой!— воскликнул Ермнлка.— Глаза слепнт, ннчего ие вндать против солнышка.

Но солнце на повороте постепенно отходило вправо, синеватые тени от верхушек деревьев, ломаясь на сугробах, тянулись поперек дорогн. Вот обоз въехал совсем в тень, солнце спряталось за сплошной стеной леса, а впередн весело засняла широкая снежная поляна. Дорога, резко нзогнувшись, пошла по небольшой речке, на правом берегу которой блеснул золоченый крест иад маленькой деревянной церковкой.

— Макарово, иадо быть!— весело оглянулся к Ермилке Федотыч.— Гляди, коло церквн-то! Усадьба, надо быть, боярска.

— Верно,— обрадовался Ермилка, разглядывая высокий бревенчатый частокол, из-за которого вндиелнсь крыши амбаров, закутов, сараев.

— А там,— заметил кологрнв, щуря от солнца глаза,— там вон и хоромы. Все крыши нм по пояс, до горниц...

Боярские хоромы стоят почти посреднне двора, поблескивая слюдой в окнах второго яруса. Видно н крытую лестницу с площадкамн, с точеными столбнками, с узорнымн решетчатыми периламн, что идет прямо к горннцам, мннуя подклетн. Над

деревянной кровлей на четыре ската чуть тянутся из дымницы сизые струйки.

Ермила-кузнец нахмурил брови и сказал мрачно кологриву:

— Боярин, видать, здеся: вишь, дым,— поди, обед ему стряпают!

— Пожалуй, и здеся,— согласился Федотыч,— а ежели и нет его, дворский есть. Все едино в усадьбу не пустят. Вон, гляди, у хором-то поблизости три больших избы стоят. Сколь, значит, у него тут челяди, слуг, а может, и воев! Не иначе, тут вотчина его. Вон и за церквой людно, целое село. Изб боле семи будет...

Когда княжой обоз шел мимо широко открытых ворот усадьбы, видно было, что на дворе много возов с разной поклажей. Ключник с подключниками принимал оброк с сирот: мешки с рожью и пшеном, масло топленое, шкуры, яйца, мед, резаных уток и гусей, рыбу мороженую, туши бараньи, говядину...

— У нас третий уж день недоимки батогами выбивают, ироды!— молвил Федотыч.

— То-то!— поддакнул Ермила.— Не зря тут слуги с батогами около дворского стоят.

Но и без Ермилы все в княжом обозе заметили батоги. Тут же с дворским был и дьяк с пером гусиным за ухом и с чернильницей на поясе. Держит дьяк в руках бумагу, читает, бубнит что-то — не слыхать за дальностью. А на красном крыльце, на нижней площадке стоит в шубе боярин, ниже на ступеньках пять человек с ножами и копьями.

Остановился обоз поближе к усадьбе, а возчики и стража подошли к самым воротам, где топчется кучка мужиков да женок, заглядывая на боярский двор.

— Моего ведут, моего,— вдруг заголосила тонко одна из женок,— из сруба ведут, сердешного...

— Нишкни!— дернув за рукав, сурово остановил ее старик.— Слезой тому не помогнешь...

— Не могу я, свекор-батюшка! Моченьки моей нетути!

— Нишкни!— еще строже крикнул старик.— Приказывал я Николке: не меняй барана на тулуп, в старом проходишь.

— Да как же в старом-то!— загорячилась невестка.— Старый-то чинить уж нельзя — сопрел весь, а Ванюшке моему полушубчик нужен был, да...

— Ладно,— мрачно молвил старик,— а ныне вот за Ванюшку взгреют ему зад и макушку...

Он пожевал беззубым ртом и горестно замолчал. От амбара, возле которого стоит сруб, ближе и ближе подводят чернобородого

мужика со связанными за спиной руками. Вот он стоит уж у крыльца, бледный весь, губы дрожат. Смотрит он в ворота, видит старика отца и жену, хочет что-то крикнуть им, но сдерживается, хмурит упрямо брови.

— Какие за Николкой недоимки? — кричит дворский, обращаясь к дьяку.

Дьяк смотрит в бумагу и громко читает:

— «Николка, сын Фектиста Щегленка, гусей двух да барана не дал...»

— Волк ты, Ипатыч, волк лютый! — кричит мужик в ярости и, упав на колени перед боярином, молит: — Помилуй, господине! Пожди до осени, до Егорья-зимнего! Я те барашками отдам...

Но боярин делает знак дворскому, и слуги набрасываются на Николку, обступая со всех сторон. Мелькают взмахи руки с батогами, сверлят воздух вопли избиваемого на правеже, надрывается плачем, причитает жена его.

— Ироды окаянные! — не стерпев, грозно прогудел Ермилка-кузнец. — Для сирот хуже вы татар поганых!..

Но старик Щегленок, что сноху останавливал, ткнул в бок кузнеца и молвил с досадой:

— Дурак ты! Прикуси язык-то, покуда цел! На том и мир стоит, дабы сильный да богатый сирот теснил. Оно от дедов повелось: один с сошкой, а семеро с ложкой...

Сердито оглянув изумленного кузнеца, быстро пошел Фектист Щегленок к воротам, побежал потом по двору, звонко выкликивая:

— Стой, стой! Слушай, Ипатыч, слушай! Слово боярину! Слово боярину! Стой же, стой, окаянные!..

Битье прекратилось. Слуги боярские закопошились возле избитого, подняли его на ноги, поддерживая под мышки, чтобы не упал. Ермилка глядел на бледное, искаженное от боли лицо Николки. Тот, увидев отца, бегущего к боярину, нежданно и так ласково усмехнулся, что от этой слабой усмешки дрогнуло у кузнеца сердце и защипало в носу.

— Господине, — валясь в ноги боярину, восклицает Фектист, — господине, смилуйся! Возьми телку за все, а я те куропаток да тетерок еще за остатки малые петлями да сетками наловлю... Господине, отпусти сей часец Николку моего... Вот те хрест, все изделаем мы с Николкой-то!..

Боярин сурово оглядел Щегленка и его сына и сказал громко дворскому:

— Ослобони. Пусть идет Николка, да чтоб было бы все как сказано!

Пока слуги развязывали руки Николке, дьяк достал перо из-за уха и, приложив лист к спине одного из слуг, обмакнул перо в чернильницу и приписал за Николкой телушку, куропаток и тетерок, зачеркнув барана и пару гусей.

От ворот боярских повели Николку под руки отец и женка Николкина — Марфутка. Мужик еле шел, кряхтел и охал при каждом шаге.

— Ишь, черти проклятые,— тонко выкрикнул вдруг отец Николки,— как икры-то ему избили!..

— От прошлого разу,— слабо отозвался сын,— ноги-то еще не зажили, а они по больному, дьяволы, били...

Не прошли сироты и ста шагов от боярского двора, как там еще кого-то на правеж поставили. Зачастили глухие удары, а крику нет — стоны только жалобные.

— Еще бьют, живодеры!— злобно проворчал кузнец Ермила.

— Игнашку кривого,— заговорил прерывисто Николка.— После меня его черед... Его шестой раз бьют, меня ж токмо третий... Батюшка надо мной сжалился...

— А коровушки-то у нас не будет,— вдруг заголосила Марфутка, вспомнив о телке,— полгода растила-холила...

— А ты хочешь, как у Оленки?— прошипел старик.— Забьют вот они Игнашку! Слышь, и крику у его нет — стон токмо. Ослаб совсем мужик-то. Станет, дура, вдовой, а вдова да девка-сирота — что горох при дороге. Кажный прохожий щипнет.

Смолкла женка, а Николка опять ласково улыбнулся старику и перевел глаза на кузнеца, словно гордясь отцом.

— Умен ты, Фектист, не знаю, как тобя по батюшке,— начал кузнец.

— Карпыч,— подсказал сын.

— Верно, Фектист Карпыч,— продолжал Ермила.— А вот наши дровни. Сади сюды сына-то. Подвезем. В вашем Макарове нам стоять с обозом велено...

— Сади, сади, дед,— заторопился кологрив.— Мы-то сами слезем. Слава богу, доехали...

— А вы со своими возами ко мне,— ласково сказал старик.— Сколь их у вас, два, что ль? Три, баишь? Ну, и три не беда. Токмо сена у меня нетути. Солома одна. Вы ж двое не разорите нас: кисельку овсяного дадим, каши пшенной сварим с салом, только вот с хлебушком худо, с лебедой у нас хлебушко-то. Ну, да верно я боярину-то говорил, ловок я тетеревей, куропаток и прочих промышлять! Угостим дичиной...

Фектист Карпыч замолчал, поддерживая сына на возу и

привычно шагая у самых санных полозьев. Однако молчать долго он не мог.

— Вот Николка-то мой женку свою жалел,— снова начал старик,— да и телушку-то жаль: на молоко надеялись. Сына я боле всего жалею. Посуди сам: один он работник, я ему токмо подсобник, силушки прежней нетути.

— А работай на всех,— слабо заговорил Николка,— всех прокорми! И князю дай, и боярину дай, и на попов и на монастыри отработай, да еще война тя зорит! Князи за столы друг с другом бьются, а нас грабят да полонят...

— Верно говоришь,— степенно отозвался кологрив,— все им отдай,— а не дашь — изо рта последний кусок вырвут.

— А не вырвут,— крикнул кузнец,— батогами выбьют!

— Марфинька,— обратился к жене Николка,— беги-ка наперед в избу-то. Штец разогрей, снаряди, что ведаешь. Матушка, чаю, с детьми смаялась...

— Ложись, сынок, на дровни,— заторопился Фектист Карпыч,— лежа-то не упадешь. Я хлев для коней приберу, а кобылу нашу в закут отведу, драки бы коло нее у коней не было...

Фектист Карпыч махнул рукой, словно недоволен был своей говорливостью, и стариковской трусцой побежал вслед за Марфуткой.

— И пошто побегли они?— спохватился вдруг Ермила.— Намного ль они ране нас будут!

— А мы и половины дороги не проедем,— возразил Николка,— как они к самой избе и шагом поспеют. Напрямки пойдут, а мы в объезд. Макарово-то на той стороне, а берег-то, вишь, крутизна какая,— на лошадях тут не въедешь. Нам же вон куда ехать, к мельнице самой! Тамо по плотине проедем, и берег тамо совсем низкой...

Ермила-кузнец и Федотыч, кологрив, обедали у Фектиста Карпыча. За столом сидели и хозяева с детьми, только одна Марфутка у края стола присаживалась ненадолго. Служила гостям она, подавая то шти, то кисель, то хлеб, то квас.

— Не ахти какая у нас яствушка,— сокрушалась старуха Евлампиевна.— А и то слава те, господи, что есть, а едим-то уже без маслица. Сальца есть малость, и за то господа хвалим...

— Ништо, мать,— шутил Фектист Карпыч.— Глянь вот на стены-то: вишь, тараканов сколь у нас,— стенка вся шевелится. К богатству, бают!..

Старик рассмеялся, а Марфутка опять зашмыгала носом и, заикаясь, сквозь слезы прохныкала:

— К бога-а-атству... А телушку-то за-а-автра к боярину ве-ести...

Молча утерла слезы рукавом и свекровь, а Панька, девчонка острая, смекнув в чем дело, заревела во весь голос:

— Ба-а-бунька, де-е-едунька, не давайтя боярину на-а-ашу Черна-аву-у-ушку... Не дава-а-айтя!..

Она соскочила с лавки и бросилась к печке, где в углу была привязана телка, обняла ее за шею и зашлась от рыданий.

— Ишь, лешие толстопузые!— не выдержал кузнец.— И так вон люди в избах курных, будто в мыльнях, живут, голодуют, а тут и телушку рвут, окаянные!..

— Будя!— рассердился Николка.— Не реви, Марфутка! Панька, садись за стол... Будя, говорю! Мо́чи мне нет!

Бабы притихли, да и мужики замолчали. Ели без всякого разговора. Кузнец, доедая кисель с сытой, оглядывал исподлобья стены, прочерневшие до блеска от многолетних слоев сажи, и грустно следил, как синеватые волны горького дыма медленно уползали через щели неплотно закрытых волоковых окон. Тоска грызла ему душу, а сказать было нечего.

Кологрив положил ложку, шумно вздохнул, перекрестился и сказал хозяевам:

— Спаси бог за хлеб-соль.

Закрестились вслед за ним и другие. Ермила, истово крестясь на образа в красном углу, тоже поблагодарил хозяев. Марфутка вместе со свекровью убрала все со стола, поскоблила ножом его толстую дубовую крышку, где шти были пролиты. Старуха стерла со стола тряпкой и снова поставила на чистое жбан с квасом и деревянные ковши для мужиков. Бабы же отошли с ребятами ближе к печке — посуду мыть. Кур потом из сеней пустили в избу погреться, поклевать лузги просяной и овсяной, замешанной на помоях, что после обеда остались....

Мужики молча пили квас, только кологрив, степенный Федотыч, обтирая рукавом усы и бороду, несколько раз хотел было сказать что-то, но не говорил. Кологрив лучше кузнеца знал деревенскую жизнь, видел и понимал все заботы и нужды хозяйства. Наконец Федотыч собрался с мыслями и грустно молвил:

— Помню я такое же. Из детства во мне гвоздем засело. Жеребенка тогды за оброк у нас взяли. Ох, и плакал я, мальцом-то! Так вот у печки и мой Шенька стоял. Увели его, а в избе словно после покойника...

— Ох, истинно, истинно,— горестно откликнулись бабы, но плача уже не было.

— Она, скотииа-то,— продолжала Евлампиевиа,— как бы из семьи кто. Жалко!..

Заговорили бабы и будто повеселели, вспомииать стали, как лет пять назад так же вот барашка да двух ярочек отдавали.

Николка ласково усмехнулся и, обращаясь к кологриву, сказал тихо:

— Слово-то доброе печаль утоляет.

— Оио так,— отозвался кологрив,— вижу вот я, горько бабам-то, иу и вспомнил, каково мие было. Разумею, зиачит, каково им...

— Э-эх!— с досадой тряхиул кузиец головой и буркнул сердито:— Нет иигде правды-матушки, кривда весь мир заела...

— А ты ие серчай,— остаиовил его Фектист Карпыч.— Ты, пареиь, как медведь с чурбаном. Толкает ои его, отдвигая от борти медовой, а чурбаи качится иа веревке да его в лоб и ударит! Озлится косолапый, со всей силой швырнет, а чурбаи и башку ему разобьет!

— А что ж иам деять-то?— хмурясь, проворчал кузиец.

— Нам, черным людям, все одно деять, что бараиу да зайцу. Ты вот видишь, с сирот шкуру сымают, а сироты за князей да бояр с татарами бьются. Когда же князи меж собой ратятся, то воями у иих опять же сироты...

— А все ж,— вмешался Николка, перебивая отца,— изо всех киязей сиротам московской — иаилучший, за им сытей всякому!

Николка обернулся к кузиецу и быстро спросил:

— Ты тоже вот за великого князя Василья?

— Вестимо, за иего,— отозвался Ермилка,— ие за Шемяку же.

— Верио,— одобрил Фектист Карпыч.— Киязь-то московской нам сподручней. Сиротам с Москвой ладией жить. Николка-то мой правду баил. А пошто? Слушай вот. Сказку я те расскажу. Захотел этта бараи уйти от худа. Идет он путем-дорогой, а дорога-то иатрое под конец расходится. Тут заиц сидит, ушми водит, глазами косит. Встал баран перед ним, уставился иа иего, словно на новые ворота, и стоит.

— Ты что, бараи, стал?— заиц его спрашивает.

— Куды иттить, заиц, ие ведаю. Каким путем-дорогой лучше!

А заиц и говорит:

— Прямо пойдешь — под нож попадешь. Будут тя в котлах варить, иа угольях печь. Вправо пойдешь, и травы щипнуть не успеешь, как волк тя зарежет. Влево пойдешь — к мужику попадешь. Будет ои у тя всю жизиь шерсть стричь да оброки

платить, а коль шерсти не хватит, так и тушей твоей оброк отдаст, да и шкуру продаст.

Постоял-постоял баран, и хошь глуп, а понял.

— Я,— говорит,— влево пойду. Все одно везде помирать, а шерсти у меня авось надолго хватит...

Пожевал беззубым ртом Фектист Карпыч и добавил:

— Тако-то вот и мы, сироты...

Все молчали угрюмо. Кузнец же хмуро сказал:

— Ты так говоришь, Фектист Карпыч, а что заиц-то барану ответил?

— Заиц-то?— оживился старик.— Заиц одобряет его. Тобе, баит он, как и мне, везде смерть. Токмо мне-то в ногах от нее отсрочка. Вот я ни к кому и нейду, а ото всех бегаю...

Фектист Карпыч весело рассмеялся и добавил:

— Калика я, баит, калика перехожая! По всему свету с сумой божий странник...

Глава 8

В ЧУХЛОМЕ

Замерзло давно уже озеро Чухломское, замерзли вокруг него топи и болота лесные, непроходимые. Летом к озеру можно попасть только по речке Вексе, что из него вытекает, а по суше никак не дойти. Глушь кругом, медведей тут уйма; много малины растет в лесных чащах, ежевика есть и черная смородина. Любят косолапые всякую лесную ягоду, а на полях тоже пошаливают — жуют по осени овсяные и ячменные колосья.

Карасей и ершей в озере многое множество. Рыбаки чухломские продавать в Кострому и Галич их возят, славятся караси и ерши здешние. Берегов у озера словно и нет — низины, болота, топи невесть куда от воды тянутся, а среди низин этих и топей, в глуши этой северной, городок Чухлома построен бревенчатый, кругом него вал земляной князья галицкие высоко насыпали, а на валу укрепили стены дубовые с шестью четырехугольными башнями: четыре по углам, а две над проездными воротами. Еще при покойном князе Юрии Димитриче, дяде Василия Васильевича, все было построено, как начались у него тяжбы в Орде с племянником из-за стола московского великокняжеского. Димитрий же Шемяка, построив дозорную башню для наблюдения за неприятелем, еще более того укрепил этот градец, весьма старинный, неведомо кем здесь заложенный в стародавние времена. Сюда вот и заточил Димитрий Юрьевич

тетку свою, велнкую княгиню Софью Витовтовну, вместе с мамкой Ульяной н прочей челядью в небольшом числе.

Студеная зима стонт, но стены в нзбе Софьн Внтовтовны нз толстенных бревен сложены, паклей проконопачены на совесть. Рамы тройные, и хоть не слюда в окна вставлена, а бычьи пузырн, но тепло в избе хорошо держнтся,— спать даже душно и жарко.

Сурово н гордо держит себя старая княгиня, словно не в заточенни, а у себя добровольно в келье замкнулась радн поста н молитвы. Ходит к ней духовннк, отец Ераст, настоятель местной церквн, н сообщает княгнне всякне вестн, что доходят нногда нз Москвы. Сидит старая княгння почтн по целым дням возле нзразцовой лежанки, где без просыпу спнт, вывертываясь н перевертываясь с боку на бок, рыжнй жнрный котнще. Старая княгння больше все что-ннбудь вяжет, думая о чем-то н беззвучно шевеля губами. Изредка, закутавшнсь в тулупчик н обув ноги в меховые сапоги, выходнт она на небольшое резное крылечко и, тоже о чем-то думая н шевеля губамн, подолгу глядит неведомо куда через застывшне топн н ледяную гладь озера, что тянется на тринадцать верст в длнну н на шесть в ширину. Иногда от обеда до ранних северных сумерек простанвает тут на крылечке Софья Витовтовна н, проводив солнце в его багровом закате, еще долго смотрнт на кровавые зорн, пока не позовет ее к ужнну Ульянушка.

В избе тогда горнт уж в светце, слегка потрескнвая, сухая лучина, а мелкие нагоревшне уголькн падают время от времени в воду и тотчас же с шипеньем гаснут. Когда же, помолясь, княгиня саднтся за стол, кот соскакнвает с лежанкн н, задрав хвост н выгнбая спину, начинает с мурлыканьем тереться мордой и бокамн о ножки стола и застольных скамей. Ульянушка же, услужнвая своей госпоже за трапезой, сообщает ей все вестн, каких наслышалась за день. Но вести больше ничтожные нлн смешные, н ничего ведать и разуметь о том, что в Москве пронсходнт, не дают,— пустые всё вести и слухи.

Сегодня же, когда государыня Софья Внтовтовна особлнво была печальна н даже на крыльцо не выходила, прнбежала Ульянушка от отца Ераста задолго до ужнна, взволнованная н встревоженная.

— Государыня Софья Внтовтовна,— говорила она поспешно своим звонкнм голосом,— злодей наш сюды прнгнал нз Галнча со всем семейством своим...

Софья Витовтовна сразу ожнла, словню помолодела. Глаза ее блеснулн, н тонкая усмешка заскользила на губах.

— Со всем, баишь, семейством?— перебнла она мамку Ульяну.— И сын с ннм?

— С ннм, государыня,— затараторнла радостно Ульянушка,

не понимая, в чем дело, но радуясь радости госпожи своей. И князь можайский с ним, тоже со всем двором своим. К Ка́рго-полю, баит отец Ераст, все они едут...

Софья Витовтовна обернулась к образам и перекрестилась. В это время поспешно вошел в избу отец Ераст, человек средних лет, крепкий мужик, рябой, борода лопатой, а весь плешивый — на затылке лишь волосы в виде черной бахромы вокруг лысины. Наскоро перекрестившись и благословляя княгиню, он торопливо начал:

— Шемяка-то с князь Иваном в Карго-поле идут и тобя, баил мне дворецкой шемякин, берут. Вот и прибег я, государыня, поведать сию горестную весть...

— Худо, знать, ворогам нашим,— нахмурив брови, сурово произнесла Софья Витовтовна,— не зря меня, старуху, они за собой тащат. Заслониться мной хочет Димитрий-то, через голову мою торговаться будет Шемяка с сыном моим...

Княгиня презрительно усмехнулась и добавила:

— Верно, опять Москва-то ворогов сама выгнала, не иначе. Ты токмо помысли, отец Ераст, пошто им было из Москвы-то в Галич идти, а ныне из Галича-то вон куды метнулись, в Карго-поле, на Онегу-реку!.. Покойна яз, пусть везут с собой. Сыночек меня отобьет али окуп даст. Садись, отче, с нами за трапезу. Принеси-ка, Ульянушка, меду нам покрепче, добрые вести запить...

В Чухломе постоянно была изрядная застава, и жил постоянно воевода из боярских детей Иван Иванович Соболев. Хоромы у Соболева поместительные, строены они были на тот случай, если князю галицкому одному, а то и со всем семейством жить в них при случае понадобится. Так иа этот раз и пришлось. Димитрий Юрьич с чадами и домочадцами почти все хоромы занял, оставив Соболеву всего один покой да светлицу, куда жена воеводы с малыми детьми перешла. Не хватило места здесь князю Ивану, уместился он кое-как у отца Ераста, а двор его по разным избам распределился.

Спешно бежали из Галича — боялись князья, чтобы Василий Васильевич не отрезал им путь на север, где более всего надеялись они поддержку найти, где легче и отсидеться от беды, если счастье опять будет на стороне Василия. Но во всем этом было мало радости.

— Помнишь, Федор Лександрыч,— медленно шагая вдоль покоя своего, молвил с тоской князь Димитрий Юрьевич,— помнишь, как Старков про дела наши сказывал? Народ-де и бог, сиречь попы, против нас! Гневался яз в те поры, а ныне мыслю, может, и прав Старков-то?..

— Переменчиво счастье, государь,— тихо ответил Дубенский,— ныне у Василья, а завтра у нас. Что может ведать Старков про волю божью?..

— Все же,— продолжал Шемяка,— мыслю яз тетку свою Софью Витовтовну при собе еще доржать. Снарядим ее с почетом великим, повезем в Карго-поле. Чую, придется, пожалуй, еще крест целовать Василью...

Шемяка замолчал и задумался.

— Надобно бы жене моей к старой княгине зайти. Мне-то сие невместно. Может, по гордыне своей, она мне будет обидны речи сказывать, а сие дела наши токмо запутать может...

— Истинно, государь,— подтвердил Дубенский.— Ежели тобе угодно будет, то яз с княгиней твоей к Софье Витовтовне дойду...

— Добре, добре,— оживившись, подхватил князь Димитрий Юрьевич,— сходи, Федор Лександрыч, а то гусыня-то моя нагогочет там вздору всякого...

Шемяка оборвал речь, усмехнулся и, меняя ход мыслей, молвил:

— А впрочем, ты, Лександрыч, токмо побудь там. Пусть святоша моя заведет «Лазаря». Тетка тоже весьма богомольна. Авось споются, а ты одно-два словечка кинь да ответы и разговоры слушай. Может, что и ухватишь для дел наших. Старуха-то вельми умна, а что у нее на уме, нам знать надобно. Может, с Васильем потом сговориться поможет. Неведомо, Лександрыч, что от господа суждено...

Скрипнула дверь в покое князя Димитрия Юрьевича и, тихонько отворясь, пропустила боярина Никиту Константиновича.

— Будь здрав, государь,— сказал он, низко кланяясь.— Вести есть добрые!

Шемяка просветлел и быстро молвил:

— Сказывай!

— Вести из Бежецка через Ярославль и Кострому пришли. Бают вестники-то наши, что угличане бьются крепко и ворот не отворяют Василию. Послал тот за помочью в Тверь к Борису Лександрычу.

— Вот оно, счастье-то и меняется!— радостно воскликнул дьяк Федор Александрович.— Может, они и еще седьмицу в осаде просидят, а мы успеем полки собрать да сами в Углич пойдем осаду сымать!

— Сымать — не сымать осаду,— усмехаясь в бороду, поправил дьяка Никита Константинович,— а польза от того нам превеликая. Воев набирать сможем в тишине и покое, ратну силу копить. Вторую ведь седьмицу Васильево войско под Угличем-то. Воеводы

наши бают: за такой срок, ежели бы не Углич, то Василий-то уж к Галичу подходил бы.

Шемяка весело засмеялся и, обратясь к Дубенскому, сказал:

— Иди-кось, Федор Лександрыч, с княгиней моей Софьей Димитриевной, как яз приказывал, а к ужину возвращайся. Сей же часец мы с Никитой Костянтинычем о некоих делах подумаем.

Только что встала ото сна Софья Витовтовна. Час с лишним почивала она после обеда и о снах непонятных думала, что виделись ей во множестве.

— Ух, Ульянушка,— говорила она, позевывая и крестясь,— и сны у меня худые: все драки да бои разные и меж людей и меж зверей, и страхи, и чудища всякие.

— Что наяву, государыня, деется, то и во сне грезится,— отвечала мамка, оправляя пристенную лавку, где опочивала старая княгиня.— Не тужи токмо, свет-государыня. Бают: «Мана манит, да бог хранит». Знашь, еще бают: «Грозен сон, да милостив бог». Не кручинься.

— Так-то оно так,— молвила задумчиво Софья Витовтовна,— да не всяку кручину заспать можно. Токмо беспечальному сон сладок.

Застучал кто-то кольцом и щеколдой в дверях резного крылечка.

— Подь-ка, Ульянушка,— молвила княгиня, поспешно пряча под волосник пряди выбившихся волос.— Подь-ка да глянь, кто там.

Ульянушка выскочила в сенцы и, отодвинув засов, увидела княгиню Софью Димитриевну и дьяка с ней. Метнулась назад, как ошпаренная, и торопливо доложила на ухо своей госпоже:

— Княгиня шемякина с дьяком...

Софья Витовтовна подняла удивленно брови, но тотчас же встала, сказав громко:

— Проси!

Сама же пошла к дверям, гостье навстречу, стараясь угадать, зачем это Шемяка жену свою к ней подослал, ибо знала, что Софья Димитриевна без воли мужа шагу шагнуть не смеет.

Распахнулась дверь, отворенная Ульянушкой, и Софья Димитриевна вразвалку вошла, улыбаясь и склоняя небольшую головку на длинной шее.

Дубенский вбок взглянул на нее и вспомнил, как Шемяка сегодня утром гусыней назвал ее.

«Истинно, гусыня!— подумал он с усмешкой.— Ишь, князь-то единым словом, как печатью, бабу припечатал».

— Челом бью, государыня Софья Витовтовна,— кланяясь, почтительно произнесла жена Шемяки.— Будь здрава на многие годы.

— И ты будь здрава, Софья Димитровна,— ответила сухо старая княгиня.— Прошу к столу откушать того, что бог послал мне, полонянке князя Димитрия Юрьича. А кто еще с тобой, как принимать мне его?

— Дьяк со мной, Федор Лександрыч,— ответила княгиня Софья, садясь за стол.

Софья Витовтовна острым, но неподвижным взглядом на несколько мгновений впилась в лицо Дубенского, и тот смущенно опустил глаза, низко поклонившись и пробормотав:

— Будь здрава, государыня Софья Витовтовна.

Старуха не ответила, а, молча указав на скамью на другом конце стола, добавила:

— Садись, гостем будешь. Слыхала яз о тебе, Федор Лександрыч. Садись. Ты же, Ульянушка, сластей нам подай, какие есть.

Наступило молчание. Старуха переводила свои острые насмешливые глаза с княгини на дьяка. Княгиня краснела пятнами, а дьяк ерзал на месте, будто сидеть ему было неудобно.

— Когда яз еще в девках была,— молвила, наконец, старая княгиня,— слыхала у нас в Литве сказку. Пришли к козе гости — овечка, а за ней ползком в серой шубе еще кто-то.

— Не баран ли там твой?— коза спрашивает.

— Баран, тетушка, баран...

— А пошто у барана твоего пасть-то волчья?— говорит коза.— Пошто...

Старая княгиня взглянула на дьяка, вдруг громко рассмеялась и, махнув рукой, сказала:

— Забыла дальше-то. Памяти на старости у меня уж не стало. Да и сказку сию во сне вспомнила. Опочивала вот после обеда...

Старуха продолжала добродушно смеяться. Дубенский же совсем смутился, поняв, что разгадала Софья Витовтовна, зачем он пришел. Опять молчание настало; в это время Ульянушка поставила на стол сухое варенье из малины да из черной смородины и оладьи холодные с медом.

— Кушайте,— приглашала гостей Софья Витовтовна,— чем хата богата, тем и рада.

Когда гости, всё еще смущенные и растерянные, начали есть, старая княгиня спросила с ласковой усмешкой:

— Что ж, княгинюшка, не на богомолье ли вы едете всем

семейством в Кирилло-Белозерский монастырь? Бают, и князь можайский с вами? Святое деете, святое, дай вам бог...

— Истинно так, государыня,— оживившись, ответил дьяк, смакуя варенье,— истинно!

— Дай-то бог,— молвила Софья Витовтовна.— Может, образумит господь племянника-то моего, а твоего мужа, Софьюшка. Пусть помолится. Зря идут у нас усобицы и кровь сирот льется. Миру надобно быть меж князьями. Вот и покойный князь Юрий Димитрич тоже против сына моего мыслил, из Москвы в Коломну заточил, а Москва-то вся и перейди в Коломну... Ну, да что о том баить. Все грешны мы, а яз хочу токмо мира для всех. Хочу, дабы сии качели диаволовы прекратить. Подумай и ты, дьяче, пошто же князи, яко малые дети, на доске качаются: то один вверх, а другой вниз, потом другой вверх, а первой-то вниз летит...

Старуха задумались, прикрыв лицо рукой, а сама сквозь пальцы за княгиней и дьяком следит. Видит, глупа княгиня-то, ничего собрать в уме не может, а дьяк понял, что его умыслы все раскрыты, но что ему делать — не сообразит.

Встала вдруг Софья Витовтовна во весь рост, могучая, грозная старуха. Встали и гости.

— Ты, Софьюшка, не гневись на меня,— начала властно старая княгиня.— Ништо не разумеешь ты в государствовании. Ты же, Федор Лександрыч, брось прятки да жмурки, не по зубам ни тобе, ни князю Димитрию укусить меня. Так и повестуй ему слово мое. Буду, когда понадобится, заступницей ему для-ради мира с сыном моим. Токмо мир-то тогда станет,— строго добавила она,— когда князь Димитрий отступит от великого княженья, а сам пойдет в вотчину в свою, в Галич. Вот ему слово мое. А вы будьте здравы...

Софья Витовтовна, слегка кивнув головой, отпустила смущенных и оробевших гостей.

Уж затемно пришел Дубенский к Димитрию Юрьевичу, когда тот и трапезу вечернюю кончил за столом у княгини в покоях. Уйдя от жены, сидел он один и медленно пил крепкий мед.

— Ну, что вызнал? — встретил он дьяка вопросом.— Враз сказывай, Федор Лександрыч.

— За мир старая княгиня,— ответил, усмехаясь, Дубенский.— Токмо Москву за Васильем хочет, а тобе Галич жалует...

Шемяка вскочил с места и крикнул:

— Ишь, старая ведьма! Яз в дугу ее согну.

— Не согнешь ее, государь,— тихо возразил дьяк,— из крепкого дуба старуха. Страшно с ей спорить...

Федор Александрович живо и ярко рассказал все, как было, что говорила Софья Витовтовна, и намек ее на Коломну, и то, что сразу она единым взглядом своим все поняла и разгадала.

— Скрыть ништо нельзя от нее,— закончил дьяк.— Брось, говорит, жмурки и прятки...

— Сатана, а не баба!— крикнул Шемяка.— Сквозь землю видит, проклятая! Помню ее еще на свадьбе Василья! Страшная баба. Княжич Иван, бают, в нее пошел...

Димитрий Юрьевич задумался, отошел от гнева и успокоился.

— Думали мы тут с Никитой Костянтинычем,— начал он тихо,— и радости мало с ним надумали. Углич-то, мыслю, токмо отсрочка. Есть вести, что князь Борис обручил дочь с Иваном. Не оставит, значит, Василья без своей помочи. Из слов же твоих разумею, что тетка моя мира хочет и надеянье мне дает на Галич. Ежели она правду баила, то Василий-то из ее воли не выйдет, как она положит, так и будет...

— Истинно,— согласился дьяк,— такая государыня никаких препон не потерпит...

— Ну, будя,— перебил его Шемяка,— будя о ковзнях сих. Утро вечера мудреней. Скажи, где и как Акулинушку ты приютил?

— Али забыл, государь,— повеселел и оживился Дубенский,— моя-то Грушенька — чухломская. Матерь ее здесь просвирней была, а ныне моим иждивением избу собе, как хоромы, построила. У просвирни той Акулинушка с Грушенькой. Дни и ночи ждет тамо твоя лебедушка князя своего...

Засмеялся князь Димитрий, будто моложе стал, нацедил по большой стопе водки себе и дьяку. Выпили разом и охмелели. Забыл все Димитрий Юрьевич, кроме Акулинушки, и чудится нежный голос ее, что звенит, грустит и смеется, и душу и сердце в полон берет.

— Федор Лександрыч,— говорит он тихо и нежно, будто малый ребенок ласковый,— вези меня к Акулинушке... Восемь ден не видал ее!..

Глава 9

ОГНЕННАЯ СТРЕЛЬБА

В ту пору как Василий Васильевич с воеводами тверскими начал град Углич окружать, силой своей совместно с подсобными полками князя Бориса Александровича, пригнали сюда

нежданно-негаданно из далекой Литвы братья князья Ряполовские да брат родной государыни, князь Василий Ярославич Боровский. С ним же из Литвы прибежали и воеводы государевы: князь Семен Оболенский, Федор Басёнок, князь Иван Стрига, Иван Ощера с братом Бобром, Юшка Драница, Русалка, Руно, и многие другие из бояр и боярских детей были тут с полками из московских людей.

Случилось это, когда княжич Иван с отцом и воеводами сидели за обеденной трапезой в хоромах убежавшего шемякина боярина. Поспешно войдя в покой, начальник княжой стражи объявил о прибытии князей и воевод из Литвы.

— Зови, зови сей же часец,— радостно воскликнул Василий Васильевич.— Всех веди враз!

Но звать было не надобно: двери распахнулись, и княжич Иван увидел и узнал широкоплечего могучего старика с курчавой седой бородой. Это — старший из братьев, князь Иван Ряполовский. Рядом с ним торопливо вбежал белокурый, совсем еще молодой князь Василий Ярославич. Других всех тоже узнал Иван, но задержал невольно взгляд свой на воеводе нижегородском Юшке Дранице. Нравятся Ивану лицо и глаза его — особый человек этот Драница: светлый и печальный, иной какой-то, не как все прочие.

Шумно вошли они все, смеясь и ликуя, но вдруг тревожно остановились и смолкли.

Нельзя было сразу узнать великого князя.

Только ведая, что ослеплен Василий Васильевич, и видя рядом с ним княжича Ивана, признали они в седом старике с изуродованным лицом государя своего.

— Будь здрав, государь!— первым начал Иван Ряполовский, но густой и низкий голос его задрожал и пресекся.

— Иван Иваныч!— крикнул Василий Васильевич, вскочив со скамьи.— Челом бью тобе, княже! Спас и сохранил еси сынов моих милых...

Он радостно плакал и, шаря впереди себя руками, пошел на голос Ряполовского. Тот не выдержал этого и, всхлипнув, как ребенок, бросился к Василию Васильевичу. Обнялись они, лобызая друг друга. От волненья словно окаменел княжич Иван, стоит неподвижно, не отирая слез, а перед глазами его мелькают: и Сергиева обитель, и побег к Ряполовским, и Муром, и встреча с Шемякой, и Углич, где впервые увидел он ослепленного отца. В единый миг все пронеслось перед ним со всеми подробностями.

Очнулся княжич Иван, словно пробудился от тяжелого сна, и видит: веселеют у всех лица, а князь Иван Ряполовский уже гудит:

— Счастлив яз, государь, что род твой княжой уберег. Помог нам господь!..

Обнимается и целуется с Василием Васильевичем шурин его, князь Боровский.

Прошла уже горечь первой встречи с государем, только один Драница все еще стоит, и слезы бегут из его больших красивых глаз.

Не выдержал почему-то этого княжич, обогнул стол, подбежал он к Дранице, обнял его, заплакал и, поцеловав, пошел к Ряполовскому, простиравшему к нему объятия.

В конце трапезы развеселились все, и решено было требовать от Углича, чтобы отворили ворота они великому князю на полную его милость.

— Войска у нас много прибыло,— говорит Василий Васильевич,— и воеводы мои все опять под рукой моей.

— А не отворят,— горячо воскликнул Василий Ярославич,— то приступати надо ко граду!..

Начались военные споры, но Василий Васильевич, видимо, полагаясь более на тверских воевод и переводя разговор на иные дела, заметил кратко:

— О приступе будем думать, когда Борис Захарыч укажет, а ты, Василий, скажи, какие ковы кует для Руси король польской? Пошто он тя и прочих повелел Литве пропустить к собе, а после на Русь отослал?

— Мыслю,— ответил Василий Ярославич,— корысть великая для круля польского межусобия наши. Круль, как и татары, хочет, чтобы мы били друг друга, а поляки земли наши занимать будут...

— Ведомо сие нам,— ответил Василий Васильевич.— Посему ныне Тверь и Москва в союзе, а князь Борис да яз — за един. Дочь же князя Бориса Мария и сын мой Иван обручены ныне, и в полках моих есть полки брата моего Бориса Лександрыча.

— Да благословит господь союз сей,— прогудел князь Иван Ряполовский.— Яз же, государь, поведаю тобе, что в самой Литве творится. Приверженцы папы и ксендзы не токмо из ляхов, но и многие из литовцев за папу и за унию везде ратуют. Чины и службы получают знатные да именья богатые, а вотчины их неприкосновенны. А ныне и русских стали они сманивать тем же в ересь...

Потянулись долгие разговоры о Литве и Польше, о папе римском, об унии и прочем. Дела церковные переплетались со светскими и государственными. Скучно все это стало княжичу Ивану, но все же понял он, что поляки хотят Литву себе взять.

— Куда же Литва-то сама хочет, к нам или к ним? — спросил он у сидевшего рядом с ним воеводы Бориса Захарьевича.

Не сразу ответил Бороздин княжичу: удивил его вопрос отрока.

— Вельми разумио ты мыслишь,— молвил он.— Токмо Литва-то, ведай, не едина, а из разных людей. Паны, литовские бояре за Польшу и латыньство, а черный народ — за Русь и православье. Есть и от бояр и от боярских детей, которые за Русь, и даже вот как Юшка Драница, князю московскому служат...

— Владыка Иона мне сказывал,— произнес задумчиво Иван,— что народ везде за Москву. Лучше всего простому народу за Москвой быть. Москву же сам бог бережет.

Почти неделя прошла, а полки Василия Васильевича, московские и тверские, все стоят еще под Угличем. Крепко сидят угличане — не отворяют ворот великому князю и на увещеванья воевод отвечают дерзостью и насмешками. На глазах воевод угличане град свой укрепляют, новые градские стены возводят, будто только еще ждут прихода вражеского войска, а не стоит оно под самыми стенами Углича. Наконец дерзость свою до того довели, что и посады угличские сами зажигать стали, чтобы не давать прикрытия для осаждающих, а воевод — ни тверских, ни московских — совсем не хотят и слушать.

Вернулись воеводы к Василию Васильевичу, и сказал ему старший из Бороздиных:

— Ништо не содеем мы с ними по-доброму! Глухи, яко аспиды. Затыкают уши свои, не хотят и слушать речей государевых.

Княжич Иван нахмурил брови и ждал, что скажет отец. Всякий раз, когда он ждал ответа отца, боялся, что тот скажет не то, что ему самому хочется. Василий Васильевич, как всегда, думал долго, а на его слепом, будто окаменевшем лице нельзя было прочесть никаких мыслей и чувств.

— Борис Захарыч,— молвил, наконец, подняв голову, Василий Васильевич,— яз разумею так. Пусть охотники из полков наших занимают посады углицкие и гражанам жечь их не дают, а которые зажечь успели — вели гасить...

— Яз так же мыслю, государь,— согласился воевода и добавил:— А опричь того, бей челом, государь, брату своему, Борис Лександрычу, прислал бы он нам пушечника своего Микулу Кречетникова. Сей пушечник таков в хитрости огненной стрельбы, что и среди немцев не обрести такого!..

Лицо княжича просветлело, и, не удержавшись, сказал он отцу:

— Вчера еще наш воевода Юшка Драница баил мне, что он

не токмо к посадам, а и к самым градским стенам подойдет...

Василий Васильевич улыбнулся, гордо поднял голову и сказал громко:

— Пусть ныне же идут охотники с воеводой Драницей, а ты, Борис Захарыч, посла отпусти к великому князю из своих тверичей. Да повестует он Борис Лександрычу слово мое: «Без тобя, брате, и малый град не отворится мне. Зело крепок Углич, и пушек у них много. Суди сам, брате, как быть».

— Исполню днесь же приказ твой, государь,— ответил, кланяясь, Борис Захарьевич,— токмо хочу попытать тя о воеводе Дранице, не скороверен ли и не похваляется ли зря?

— Нет, Юшка наш,— ответил Василий Васильевич,— вельми хитер в ратном деле и храбрости великой...

— Тата,— воскликнул княжич Иван,— вот Юшка сам пришел!

— Будь здрав, государь,— молвил Драница, кланяясь всем.— Повели мне, государь, со своей сотней ко граду пойти. Хочу препоны им учинить к укреплению тына круг башни.

Юшка Драница, высокий, статный человек с красивым лицом в густой темной бороде, весело обводил всех большими серыми глазами, в глубине которых поблескивали какие-то искорки. Напоминали эти глаза княжичу Ивану глаза отца, когда тот, бывало, шутил и смеялся. Но вдруг стало Ивану тоскливо и больно, когда он, обернувшись к слепому отцу, увидел, что тот, будто зрячий, улыбается и говорит с довольной усмешкой:

— Вот, Борис Захарыч, Юшка-то у меня словно в душе прочел,— и, обратясь к Дранице, добавил:— Иди твори по разуменью своему, и помоги тобе господь бог!..

На другой день, как только рассвело, княжич Иван выехал верхом вместе с воеводой Борисом Захарьевичем в поле под Угличем. Стали они на холме, откуда смутно виднелись стены и башни града углицкого. Чуть только заря загоралась, а над полем, словно туман, тянулась то серая, то белая мгла, ползла по снегам пятнами.

— В такую зимнюю рань,— сказал княжичу Борис Захарьевич,— особливо сон одолевает ночную стражу. По собе ведаю. Как ночь-то не поспишь, врага поджидаючи, так под утро и глаза не глядят. Разрази тут гром, а и то заснешь. Не зря Драница-то в такую рань пошел. Разумеет и знает он ратное дело-то...

Воевода вдруг смолк, вглядываясь в снежные поля сквозь мглу, и, указывая на стены крепости, быстро и взволнованно заговорил:

— Гляди, гляди, Иване! Справа, там вот, возле башни. Вишь, ползут по двое али по трое, доской прикрывшись...

Иван, напрягая зрение, разобрал с трудом среди снега

маленьких человечков почти у самого тына, вбитого у ворот башни. Они двигались, выставляя перед собой широкую доску. С другой же стороны, возле того же тына, уже собралась небольшая кучка таких же маленьких человечков, а посреди них трепетали едва заметные язычки пламени.

— Витни у них из просмоленной пакли,— проговорил дрожащим голосом воевода,— успеют ли токмо частокол зажечь...

В этот миг густой дым повалил от тына, а на стенах града пошла суетня и беготня. Замелькали лучники и пращники, метали стрелы и камни, потом дым выскочил в разных местах башни, и через некоторое время донесся до Ивана гром пушек и пищалей.

— Успели! Успели!— весело закричал воевода.— Добрые вои!

Дрожа от волнения, княжич Иван видел, как гуще и гуще клубился дым, окутывая уже почти весь частокол, а из него все длиннее и шире вырисовывались огненные языки, жадно облизывая бревна, вбитые в землю стоймя. Крепко стискивая в руках узду, княжич жадно следил за маленькими человечками, которые, снова прикрываясь досками, бегом отступают от града, рассыпаясь по всему полю. Некоторые из них вдруг кувыркаются и падают. Одни из них остаются лежать неподвижно, другие катаются или ползут по снегу. Многие воины подбегают к убитым и раненым, хватают и выносят их или волокут подальше, куда долететь не хватает силы ни у стрелы, ни у камней.

— Ну, слава богу, ушли все и своих унесли,— сказал радостно Борис Захарьевич.

— А пушки да пищали их могут побить!— крикнул с тоской княжич Иван.

— Не бойся, Иване,— утешал его воевода,— пушки-то и пищали добро бьют токмо по гущине войска, когда оно на приступ идет, а Драница-то разумен, ведет своих, вишь как! Словно горох рассыпал. Пушечникам приходится по двум, по трем человекам целить. Все едино, что комаров стрелами бить... Гляди, тын-то у ворот башни весь занялся, теперь его и тушить нельзя. Воды к нему не привезешь, а снегом огня не уймешь. Зело скор и храбр ваш Юшка!..

— Тата любит его,— заговорил Иван, не отрывая глаз от поля боя, но его перебил Борис Захарьевич.

— Хочешь,— крикнул он, загоревшись боевой страстью,— поскачем к ним? Послушаем, что Драница сам нам скажет.

Они тронули с холма сразу крупной рысью, а потом поскакали, радуясь, как пламя, увеличиваясь и разгораясь все больше и больше, приближается к стенам башни. Вот растворились ворота, оттуда выскочили маленькие человечки с топорами и ломами и стали рубить и ломать то, что сами недавно строили.

— Вот бы борзо ударить на них сей часец конникам, дабы и ворот затворить не поспели!— крикнул на скаку Борис Захарьевич.

Проскакав с полверсты, они встретили воинов, отступавших от града. Узнав тверского воеводу и княжича Ивана, они поклонились и сказали печально:

— Прогневили мы господа! Воевода наш стрелой пробит в грудь...

Застыл весь сразу от горести княжич Иван, не сказал ни единого слова и, забыв о времени, не знал, сколько ждали они с воеводой, пока не принесли на широкой доске Юшку Драницу. Бледен был молодой воевода как мел, а в груди торчала большая толстая стрела,— из самострела была пущена и даже кольчугу пробила. Раненый медленно открыл глаза на приветствие Бориса Захарьевича и, узнав воеводу тверского и княжича, улыбнулся тихой и горькой улыбкой. Потом, сделав усилие, сказал слабым голосом:

— Башня-то у них, где мы тын сожгли, вельми ветха... На нее приступ ведите, а пушек она и вовсе не выдержит.

Закрыл он глаза, помолчал и, взглянув на княжича, тихо молвил:

— Скажи отцу, Иване, не так сталось, как я мыслил. На все воля божия... Прости мя, господи...

Он поднял руку, чтобы перекреститься, но рука, задрожав, упала, как плеть. Закрыл лицо руками воевода Борис Захарьевич, а воины заплакали, и полились слезы у княжича Ивана. Всхлипнул он вдруг, но, тотчас же сдержав свои рыдания, молча поехал вслед за Борисом Захарьевичем.

На третьи сутки прискакали к Угличу конники тверские, а за ними в тот же день на ямских лошадях примчались дровни с пушками и со всяким для огненной стрельбы припасом под начальством славного пушечника Микулы Кречетникова. Обрадовались ему воеводы Борис и Семен Бороздины, как светлому празднику, а Василий Васильевич и того более.

— Сам бог послал мне столь милого брата, друга столь могучего!— воскликнул он громко и, обратясь к сыну, добавил:— Век помни, Иване, услугу сию от тестя своего...

— Повели, государь, совет доржать,— молвил воевода Борис Захарьевич.— Надобно за ночь все изготовить, а наутро почнем ко граду приступать.

Совет длился самое малое время. Воеводы тотчас ушли, и княжич Иван, отпросившись у отца, пошел с ними в сопровождении Васюка.

— Учись ратному делу, Иване,— сказал Василий Васильеви,— а тобя, Борис Захарыч, молю яз, не оставь сына моего попечением, убереги от всякой беды...

— Гребта моя, государь, о нем, как о сыне родном будет,— кланяясь, промолвил воевода.

Когда же Васюк поцеловал руку Василия Васильевича, тот тихо шепнул ему:

— Храни его, Васюк.

— Как зеницу ока хранить буду,— так же тихо ответил Васюк,— богом клянусь.

Когда княжич Иван вышел во двор из светлой горницы боярских хором, где остановились великий князь Василий Васильевич и воеводы, показалось ему, что кругом непроглядная тьма. Но немного спустя в этой тьме, будто туман, забелел снег на земле, а небо обозначилось темной синевой, среди которой рдели и словно золотыми ресницами мигали далекие звезды. Млечный Путь жемчужной дорогой разостлался поперек ясного неба. Будто колючей рукавицей мороз провел по щекам, и княжич зябко вздрогнул и потянулся, чувствуя за спиной под полушубком холодные струйки.

Подвели к крыльцу лошадей, а вслед за тем где-то сбоку четко застучали копыта, поскрипывая в твердом снегу, и конная стража темным пятном вынырнула из-за хором и тоже стала у крыльца.

Воеводы молча садились на коней, позевывали, быстро крестя рот. Васюк помог Ивану вскочить на горячего рослого жеребца. Потом старик сам, только дотронувшись рукой до своего коня, сразу оказался в седле, будто взлетел вверх.

Когда пошли малой рысью, Иван услышал, как Борис Захарьевич кому-то приказал:

— Вот туды, в бор, вели враз пригнать сотню плотников и рубленников с топорами!..

— Токмо сей же часец, немедля,— прогудел голос тверского пушечника Микулы,— а еще кузнецов десятка два!

Половина конников из стражи рассыпалась в разные стороны, и всадники один за другим исчезли среди белесого сумрака ночи.

Воеводы ехали шагом.

— Вишь, Иване,— сказал Борис Захарьевич,— ночь-то какая. Добры такие ночи для ратного дела. Будто и все видать, да и не видать ничего. Трепещет вот свет ночной, а отъедет конник от тобя на десять шагов и будто потонет. Помнишь, как на рассвете Драница, царство ему небесное, тын у башни сожег? К самой башне он подошел, а угличане и не подозрили.

— Жалко мне Юшку,— тихо молвил Иван и задумался.

Второй раз видит он смерть. Первый раз по дороге к Сер-

гиевой обители, когда Васюк заколол волка, а зверь, умирая, прямо в глаза ему посмотрел. И теперь вот, недавно совсем, умер перед ним храбрый и красивый литвин. Жалость снова поднялась в его сердце. Стало досадно и горько.

— Пошто, Васюк, люди умирают?— неожиданно спросил он своего дядьку, ехавшего рядом.— Пошто бог так устроил?

Васюк, смущенный и даже слегка напуганный неожиданными, а может быть, и греховными мыслями княжича, медлил с ответом, не зная, что сказать. Иван нетерпеливо ждал и дважды повторил свой вопрос.

Вдруг слабо долетевший до него стук топоров и заблестевшие в бору огоньки обратили его мысли совсем в иную сторону.

— Плотники там?— спросил он Васюка.

— Плотники, Иване, плотники,— быстро ответил тот, радуясь, что разговор перешел на знакомое и понятное ему,— туры да пóроки там рубят! Ну-ка, Иване, подгони коня-то, вишь, воеводы насколь вперед нас уехали!..

Когда княжич Иван вслед за воеводами въехал в кондовый бор из столетних великанов, стук топоров загудел и зазвенел со всех сторон. То здесь, то там то и дело раздавался короткий сухой треск, и вслед за тем, после краткого затишья, слышался глухой шум и шорох огромной лесины, ломающей сучья соседних деревьев. Иногда Иван близко видел в темной прогалине бора при свете полыхавшего костра, как могучая лохматая ель, дрогнув вся и на миг застыв неподвижно, вдруг начинала медленно крениться набок и затем стремительно падала. Тотчас же около поверженного лесного богатыря мелкой дробью начинали стучать топоры, обрубая ветви и сучья, и тут на глазах из живого красивого дерева получалось длинное бревно с вязкой и крепкой древесиной. Кузнецы оковывали его комлевый конец железными обручами, вбивали на поверхности среза толстые железные клинья и скобы, делая таким образом голову тяжелого тарана. Потом подвешивали его внутри башни с крышей и стенными щитами, прикрывавшими воинов во время приступа от стрел и камней, от кипящей смолы и воды, низвергавшихся со стен осажденного града.

— Бревна-то окованы, Иване, на ремнях али на веревках к стропилам пóроки вяжут их, а порок-то, как башни, в один ярус,— сказал Васюк.— Прикатывают его к самым воротам аль к стенам и бьют их денно и нощно.

— А как бьют?— спросил Иван.

— Вои стоят внутри пóрока и, как язык у большого колокола, бревно раскачивают. Раскачивают, раскачивают да комлем со всей силы в ворота и вдарят. И бьют, пока ворота не рухнут...

— А туры?— спросил Иван.

— Туры похитрей будут,— ответил Васюк,— да вон, глянь иа полянку. Внишь, башня там уж нзделана на трн яруса. Башня сня н есть тур. Подъедем к ней, сам увндишь.

На полянке прн свете трех костров возвышалась крепкая башня из тяжелых бревен на огромных шнрокнх полозьях, чтобы не вязла оиа н могла передвнгаться по снегу. На площадке верхнего яруса — бревенчатые стены, а в них прорубленные бойницы для пушек.

— Вот подкатят много такнх туров к стенам града, будто его новой стеной деревянной опояшут, да нз пушек н бьют в него...

Не заметил Иван, наблюдая за работой плотников н кузнецов, как посветлел бор, будто реже ои стал, а из темных туманных холмов каких-то все ясней н отчетливей выступают теперь засыпаиные сиегом и покрытые ннеем сосны и ели.

Пылающие костры меркнут, превращаются в груды рдеющих углей, над которыми еще бьются блестящие язычки прозрачного пламени, ио они не дают уж никакого света...

— Княжич где?— услышалн крнки Иван н Васюк.— Где туточки княжнч?

— Здеся— отозвался Васюк.— Гони сюда. Пошто те княжнч надобен?

— Воеводы кличут!— иа скаку еще закричал конник.— Гони за мной!..

Иваи и Васюк погнали коней навстречу коннику.

— Зачался бой-то?— спросил Иван, подскакивая к коннику.

— Нетути, а скоро, должно, труба заиграет. Тобя токмо воеводы ждут,— ответнл коиник, снимая шапку н кланяясь.

Иван погиал во всю прыть следом за поскакавшнм конником.

Мчатся кони, деревья мелькают кругом, развертывая н свертывая ряды, а впереди бор все редеет и редеет. Вот сразу будто разбеглись в стороны сосны и ели, и княжич Иван на коне своем выскочил на широкий простор. Видно впереди снежные поля пустые, а среди них стены и башни углицкого града.

Повернул конник вправо вдоль опушки бора, повернул и Васюк с княжичем, и увидел Иван среди густого подлеска, в зелени молодых пушистых сосеиок и елочек, плечи н головы воевод и сразу узиал Бориса Захарьевнча н Мнкулу Кречетникова. Сидя на конях своих, они о чем-то горячо беседовалн, указывая руками на град и иа окрестиостн.

— Воеводы прнступ готовят, внишь места указуют!..— кликнул Васюк кияжнчу.

Сильнее и ярче разгораются долгие знмние зорн, багровя полиеба, и вот уж н бледнеть и золотнться иачали, а воеводы

все ждут. Со всех сторон скачут к ним коиники, вести доносят, как и где размещаются полки, сколько туров и пброков наряжено и где они иаходятся. Воеводы дают иовые указания, н коиники сиова скачут туда, откуда прибыли.

Княжич Иваи волнуется все больше и больше, ио этого никто ие замечает. Все кругом напряжеино вглядываются в даль, где виднеется Углич, на стеиах которого иепрестаиио снует теперь миожество людей.

— Вызиали, что приступ готовнм,— сказал Борис Захарьевич, обращаясь к Кречетникову,— а у тя, Микула, ие все еще готово...

Микула Кречетников сдвинул бровн н ответил почтительно, ио твердо:

— Поспешишь, Борнс Захарыч, людей насмешишь. Вот как уставят пушки иа главных турах, так и иачииай с богом.

В это время пригиал конник из бора н что-то сказал Кречетникову, тот улыбнулся н, обратясь к Бороздину, крикнул:

— Ну, теперь, Борис Захарыч, все в божьей и твоей воле!

Воевода дал зиак трубачу. Запела, залилась труба к приступу. Запели трубы дальше и дальше, переклнкаясь, как петухи на заре, и со всех сторои, подняв зиамеиа, двинулись конные и пешие воины, стали из разных мест бора выкатываться туры и пброки, направляясь к стенам Углича н сближаясь друг с другом.

С жадиостью и трепетом смотрит Иваи, как, медлеино передвигаясь, туры и коииые и пешие люди кольцом окружают город. Вот блеснули огоньки с крепостных стеи в разных местах, выбросив вперед круглые дымки, которые расползаются иа морозе клубами, темиея и золотясь в лучах зари.

— Пушки, Васюк!— крикнул Иваи, ио долетевший грохот пушечиых выстрелов заглушил его слова.

Трепеща всем телом от волнения, он, ие отрывая глаз от стеи, двинулся за воеводами вперед. Сиова и снова гремелн пушки, ио осаждавшне шлн, ие отвечая иа выстрелы.

— Они, Иваие, ие должны ведать,— громко сказал Борис Захарьевич, обращаясь к Ивану,— что есть у иас пушкн. В ратной хитрости иаиглавио дело — расплох. Помии, Иване: малое неждаиное, нечаяиное — сильией большого да ведомого!

Ближе и ближе вслед за наступающими войсками подъезжал Иваи с воеводами к Угличу. Все видней н видней становнтся, что на стенах там делается. Вндит Иваи кипящие котлы: белый пар поднимается вверх, мешаясь с пушечным дымом; он различает груды камней и бревеи, что лежат выше бойниц; из бойниц выглядывают широкие жерла, выбрасывающие все чаще н чаще огоиь и дым.

Вдруг Микула Кречетников ударил железными шпорами в бока коня своего и поскакал, крикнув воеводе:

— Мой час настал, Борис Захарыч!

— С богом,— отозвался воевода и остановил своего коня, и все подручные его остановились рядом с ним.

Иван видел, как пушечник Микула приближается к полкам, а около него с десяток конников.

— То вестники его скачут с ним,— поясняет Васюк княжичу.

— А пошто Микула погнал к войску?— спросил Иван.

— Сей часец узришь, княже,— ответил Васюк, впиваясь жадными взглядами в ряды передвигающихся войск и тур.

Те и другие, продолжая суживать кольцо, приближались к самому городу. Было что-то томительное в этом медленном приближении, и слышал Иван, как кровь стучит у него в ушах, будто бьет молоточками, а сердце замирает от страха.

Вдруг из кольца тур выкатились одноярусные пóроки и, словно живые, поползли к стенам и городским воротам. Слышит Иван: поднялись крики на городских стенах, забегали пуще и засуетились на них воины, чаще бьют пушки. Но пóроки медленно, как черепахи, подползают все ближе и ближе к Угличу. Некоторые из них уж ткнулись в стены и в ворота. Льют на них сверху кипяток и кипящую смолу, камни и бревна с грохотом ударяют по крышам и щитам пóроков, но сквозь гул и шум ясно слышны размеренные, глухие, но могучие удары таранов.

Иван вздрогнул и вцепился рукой в гриву коня: один из пóроков, облитый горящей смолой, запылал, как просмоленный витень из пакли. Воины один за другим выскакивают из башни, бегут, некоторые падают. Сверху их поражают из луков, самострелов и пращей.

Сердце Ивана сжимается, он готов кричать, скакать сам на помощь, и ему досадно, что другие воины не помогают бегущим. Но не успевает он обдумать все и понять, как медленно приближающееся кольцо туров сразу в нескольких местах окутывается дымом, потом доносится грохот пушек, а на стенах падают люди.

Иван снова дрожит всем телом, не отрывая глаз от непонятных ему передвижений своих и неприятельских воинов у стен града. Утро стоит морозное, безветренное, и дым темной тучей лежит на самом городе и вокруг него. Среди грома пушек, грохота камней и бревен, криков людей и ржанья коней Иван все же слышит, будто равномерное биенье огромного сердца, могучие удары таранов в ворота и в стены.

Багровым шаром поднялось уже солнце над бором, но не стало от этого лучше видно: какой-то мглой застлано все вокруг Углича.

— Мыслю, они еще пóроки наши зажгли,— сказал Ивану Васюк,— вишь, оболокло кругом, как туманом, от дыму-то...

Иван, устав от всех волнений, сидел в седле неподвижно, но мысли становились у него яснее и яснее.

— Ништо,— ответил княжич спокойно и веско.— Слышу яз, как пóроки бьют всё и бьют. Не могут угличане отогнать их.

Княжич замолчал, взглянул на воеводу Бориса Захарьевича. Тот, выпрямившись в седле, слушал что-то весьма напряженно. Княжич вопросительно взглянул на него и, поймав его взгляд, спросил:

— Что там еще, Борис Захарыч? Пóроки-то наши, видать, хорошо бьют.

Воевода ласково улыбнулся и молвил:

— Ты скорометлив и правильно уразумел, что пóроки крепко бьют и что сие в пользу нам. Слышу яз еще, что пушки ихние ослабли, а наши же токмо в силу входят. Пождем мало время, а там прикажу лестницы ко граду со всех сторон приставлять, почнем приступать...

Воевода оборвал свою речь и стал все напряженнее прислушиваться.

— Не бьют боле углицкие-то пушки!— воскликнул он и, прислушавшись, добавил:— И наши, Иване, перестают помалу.

Солнце уже взошло высоко, радостно сияя в небе и сверкая по снегу блестками и разноцветными искрами, как летом искрится оно в каплях росы. Вместе с блеском этим тишь устанавливается, смолкают пушки, затихли крики и грохот, а потянувшийся ветерок быстро развеял пороховой дым, и только догорающие пóроки дымят в трех местах, и сизые струйки дыма от них тянутся вдоль стен, словно облизывают их.

И вот в тишине этой вдруг заскрипели ворота, лязгая железными засовами и цепями, и одни за другими отворились во всех башнях. Вышли из главных ворот попы с крестами и с хоругвями, а с ними почетные горожане.

— Слава те, господи!— воскликнул Борис Захарьевич.— Отдал господь Углич нам в руки без великия крови!..

Быстро погнал он навстречу попам, поскакали за ним и все, кто около него был. Остановились у самого крестного хода. Угличане же, кланяясь земно, били челом великому князю Василию Васильевичу от всего Углича, дабы сотворил он милость.

— Милости просим,— вопили они,— да простит государь вину нашу перед ним! Допусти, воевода, нас пред лицо государя...

Глава 10

ЦАРЕВИЧИ ТАТАРСКИЕ

Князь великий Василий Васильевич даровал Угличу милость и зла никому не сотворил, а, замирив всех, объявил крепость в осаде, оставил в ней заставу сильную со своим воеводой московским. Сам же вместе с полками князей Ряполовских и шурина своего Василия Ярославича пошел вниз по левому берегу Волги к Ярославлю за недругом своим, за Димитрием Шемякой.

Пошли с ним и полки тверские под водительством воевод крепких, братьев Бороздиных, Бориса да Семена Захарьевичей. Хитро это было придумано князем Борисом Александровичем и боярами его, но Василий Васильевич ничего о том не знал до самой Рыбной слободы [1], что на Волге у высокого берега приткнулась, верст за сто выше Ярославля. Войска здесь станом стали на сутки — для отдыха коням и людям. Тут вот и зашел к великому князю воевода Борис Захарьевич, подгадав так, когда Василий Васильевич один, только с сыном, в шатре своем был.

Перекрестился старик и поклонился князьям в пояс.

— Будь здрав, государь,— молвил он.— Дозволь мне беседу с тобой вести тайную.

— Будь и ты здрав, Борис Захарыч,— ласково ответил Василий Васильевич.— Садись и сказывай.

— Государь,— заговорил воевода,— брат твой любимый, а мой государь, повелел мне с тобой идти, пока яз тобе надобен. После же отойдем мы, тверичи, ударим нечаянно-негаданно на Великий Новгород, дабы смирить гордыню его, наказать за вред нам...

— Разумно сие вельми,— отозвался горячо Василий Васильевич.— Новгород и Москве вредит много. Во всем ныне у нас с братом моим и зло и добро едино. Дай ему бог крепости и долгого веку...

Оборотясь к сыну, он добавил:

— Млад ты еси, но скорометлив и уразуметь должен, что у кажного государя други есть и супротивники. Други же не по родству и не по свойству, а по пользе общей. Бывает, что государям, как вот мне и князю Борису, везде во всем польза друг от друга. Бывает, как у меня с братом Шемякой, токмо вред и рати. Сие всегда разумей — дружбу крепи, а ворога бей, пока совсем подручным тобе не станет, слугой своим собе сделай, дабы ни в чем он не супротивничал...

---

[1] *Рыбная слобода* — г. Рыбинск.

Отдернулся слегка полог шатра, и Васюк, стоявший у входа, окликнул:

— Кто там?

— Скажи государю,— услышал княжич Иван знакомый голос,— скажи: «Воевода Федор Басёнок с вестями добрыми».

— Зови его, зови, Васюк!— живо откликнулся Василий Васильевич.

В шатер быстро шмыгнул рыжебородый, маленький, жиловатый человек — настоящий конник с кривыми ногами от беспрестанной верховой езды с самого детства. Сняв шапку и тряхнув рыжими кудрями, он перекрестился, поклонился всем и начал быстро и весело:

— Дай бог тобе, государь, долгого веку и радостей много. Ныне вести тобе добры. Наши с яртаульными татарских царевичей съехались верст за сорок ближе к Ярославлю. Ихние яртаульные баили, что царевичи в Ярославле ждать нас будут со всей силой своей...

— Слава те, господи,— перекрестился Василий Васильевич и, обратясь к Борису Захарьевичу, добавил:— Наиверны мне слуги царевичи, а конники у них наилучшие, и токмо вот конники у Федора Василича наравне с ними...

В Ярославле великий князь Василий Васильевич остановился со двором своим в рубленом городе, обнесенном дубовыми стенами с башнями. Поместился он с Иваном в древнем монастыре Спаса Преображения, в хоромах келаря Паисия. Был в Ярославле и постарше монастырь, Петра и Павла, да и этому, Спасопреображенскому, более уж двухсот лет тогда было. При князе Константине Всеволодовиче построен он со всеми удобствами для жизни гостей в келарских хоромах.

Бывал в Ярославле Василий Васильевич и ранее, и Спасопреображенский монастырь полюбился ему более Петропавловского. В этом же монастыре стали и Ряполовские и Василий Ярославич, а тверские воеводы — в Петропавловском. Царевичи же татарские были со всей силой своей в земляном городе, что окружен весь высоким земляным валом с тыном дубовым и четырья рублеными башнями.

Как только разместился великий князь, тотчас же послал за царевичами, повелев обед в честь их устроить в келарских покоях. Княжич Иван с нетерпением ожидал встречи с царевичами.

Из татар Иван видал в Москве только купцов татарских, что из Орды коней продавать пригоняли, да сотника Ачисана, что весть привез о пленении отца Улу-Махметом. Об этих же царевичах слышал много он доброго от отца, которому они и помогли из полона тяжкого выйти.

Когда Иван, ведя отца под руку, вошел в трапезную, там были все в сборе: игумен Амвросий, и келарь, и князья Ряполовские, и князь Василий Ярославич, и воеводы тверские Бороздины, и Микула Кречетников, и воеводы московские. Много было народу, но царевичей княжич не видел и нетерпеливо искал их глазами. Подойдя с отцом почти к самому столу, среди поклонов и приветствий, Иван увидел, как из задних рядов вышли два стройных юноши в богатых турецких кафтанах с кинжалами за поясом. Это были Касим и Якуб. Оба они разом поклонились великому князю, коснувшись руками земли.

— Будь здрав, государь наш,— сказали они по-русски,— живи сто лет!

Они опять поклонились и добавили:

— И ты будь здрав, Иване, на сто лет!

— Касим!— радостно воскликнул Василий Васильевич и потянулся к царевичам, заговорив по-татарски.

Те подскочили к великому князю и, приняв протянутые руки его, почтительно поцеловали их.

Иван не понимал по-татарски, но видел, что встреча была радостная. Из них более, чем другой, понравился Ивану Касим. Чем-то походил он на убитого Юшку Драницу, и глаза его светились такими же яркими искорками, отчего взгляд у него был ясный и ласковый.

После благословения трапезы игумном сели все весело за стол, вспоминая недавние беды и радости.

— Яз, государь, те сказывал,— прогудел среди общего шума князь Иван Ряполовский,— что у Ельни мы с царевичами стретились, а как нечаянно то случилось,— не сказывал...

— Вельми чудно то содеялось,— вмешался Василий Ярославич.— Мы уже ведали, что ты выпущен и дана тобе Вологда. Спешно вышли мы из Пацына, и тут враз пригонил к нам Димитрий Андреич, баит нам, что ты уж с Вологды пошел к Белу-озеру да оттоле и ко Твери...

— Тут мы,— снова загудел своим густым голосом Иван Ряполовский,— борзо погнали к Ельне. У Ельни же негаданно на татарско войско наткнулись. Наши дозоры и яртаулы их начали перестрелку, а когда наши полки подошли, стали татары спрашивать: «Вы чьи?»

— Верно,— заметил по-русски Касим,— я наш татарин кликай велел, в трубу играй...

— Истинно,— подтвердил Ряполовский.— Мы же в ответ кричим: «Москвичи мы-де, а идем со князем Васильем Ярославичем искати государя своего, Василья Васильевича! А вы чьи?» От них же един, горластый такой, кричит нам: «Из Черкас мы пришли на Русь с царевичами, с Касимом да с Якубом.

Слышали мы, что великому князю братия его злую измену учинили. Вот и пошли помогать ему за прежнее его добро и за хлеб. Много было добра его для нас!»

— Верно, верно!— воскликнули оба царевича и, встав за столом, в пояс поклонились великому князю.

— После сего,— продолжал Ряполовский,— пошли вкупе мы, а Шемяка да Иван можайский стояли еще тогда у Волока...

Много было разговоров разных за столом, но вскоре начали кубки пить заздравные. Пили за великого князя Василия Васильевича и за всех членов семьи его в отдельности. Потом за здравие великого князя тверского и тоже за всех членов семьи его, за князя Василия Ярославича, за царевичей татарских, за всех воевод и бояр московских и тверских.

Игумен и келарь после здравиц за князей великих ушли. Уходя, отец Паисий попросил Василия Васильевича отпустить сына с ним.

— Наслышан аз,— говорил он,— о многом разумении книжном княжича Ивана и хочу ему древние писания на стенах училища показать.

Иван весь загорелся от любопытства и сказал отцу с горячей мольбой:

— Отпусти, тата!

— Иди, иди, мой сынок милый. Там тобе более пользы, чем от звона кубков. Пригляди за ним, отче, и в покой отведи подле моего, а нам-то здравиц до ночи хватит, благо мед у вас и брага хмельны и сладки.

Полдень давно уж прошел, и солнце начинало клонить к закату, когда вышел Иван с келарем из трапезной на монастырский двор в сопровождении Васюка. Пройдя Преображенский собор, они приблизились к маленькому на два яруса белокаменному строению, будто вросшему в землю. Крыша у него на четыре ската, серой черепицей крыта, а сбоку белокаменный же пристрой с тремя пролетами для широкой деревянной лестницы ко второму ярусу. Иван, увидев на крыше небольшую маковку с золоченым крестом, подумал, что это церковь, но келарь повел его прямо к белокаменному крыльцу.

— Тут вот, Иване,— сказал келарь Паисий,— училище было. Почитай, боле чем два ста лет князем Костянтином Всеволодычем строено. На всю Русь знаменито сие училище-то. Сколь попов и дьяков из него вышло, и так оно прославилось, что перевели его в Ростов Великий. Оно и теперь хоша и менее, чем досельны времена, но и поныне светочем разума сияет...

Оглянув двор, келарь увидел послушника, коловшего дрова, и, оборвав речь свою, крикнул:

— Архипушка! Сбегай-ка к отцу Игнатию, ключи у него возьми от училища-то! Борзо токмо!

Послушник побежал к ключарю, а Паисий продолжал простодушно и ласково:

— Когда аз еще млад был, сказывал здесь мне про училище-то старец един, схимник он был строгой. Сказывал он, что все стенописания изделаны в училище иконописцами, приезжими из Киева. Един из них грек, а другой — болгарин. Оба из грецкой земли в Киев-то пришли. Токмо трудно разумети, что они начертали. Болгарин-то приписал там многие церковные словеса, но и от словес сих к разумению помощи нетути. Сам увидишь сие...

Архипушка прибежал со связкой ключей, и все пошли по лестнице ко второму ярусу. У двери училища на железном засове висел огромный замок. Архипушка с трудом повернул в нем самый большой ключ дважды, и дужка замка сама отскочила, резко щелкнув.

— Заржавел замок,— молвил келарь Паисий,— и ты, Архипушка, замок-то потом лампадным маслицем малость смажь.

Дубовая дверь со скрипом и скрежетом отворилась.

Иван увидел светлый четырехугольный покой, очень вместительный, с несколькими окнами, но только в одной стене, что выходила на полдень. Ни скамей, ни столов в покое не было, валялись на полу хомуты, стояли у стен новые колеса да сложены были целым ворохом кули, сплетенные из мочалы.

— Для обозу все надобное,— пояснил келарь,— все вот и храним тут. А стенописания не трогаем. Отец игумен беречь их велит.

Иван взглянул вправо на стену и сразу узнал знакомую картину: из океана поднимается пять горных темно-зеленых вершин с золотыми надписями на них. Слева невысокая вершина с надписью: «Запада высоци». Над этой вершиной самая высокая гора с надписью: «Полнощь».

Над первой горой изображено большое багрово-огненное солнце с короткими лучами. Оно почти наполовину зашло за полночную гору, а над ним надпись: «Солнце заходя». Правее этих двух гор — третья, пониже второй с надписью: «Север», ниже ее — четвертая вершина без всякой надписи, а пятая — еще ниже, с надписью: «Востока высоци». Над последней вершиной, в самом углу картины, такое же большое багрово-огненное солнце с надписью слева: «Солнца восходя».

У подножья этих всех гор идет темно-коричневая полоса, над которой написано золотом: «Узка, низка». Ниже ее такая же полоса, но ярко-огненного цвета с надписью посредине: «Земля обому стран океана».

Иваи радостию усмехнулся: картииа была почти такая же, какую он видел в Твери, у иинока Фомы.

— Сие, отче, бег солнца по небу,— воскликнул Иван, обращаясь к келарю, но тот лишь рукой махнул, внимательно разглядывая хомут.

— Бог с им, с солнцем-то,— проворчал он,— хомут вот ременный крысы обгрызли. Переглядеть все их надобно. Позовика, Архипушка, из конюшен кого от кологривов. Ишь, господи боже, беда какая...

Старик охал, ворчал недовольно, перебирая хомуты, уздечки и вожжи, забыв и об училище и о княжиче. Иван подошел к другой стеие, ио увидать, что на ней изображено, не мог: почти до потолка навалены тут около нее рогожные кули. Зато на потолке нашел он приятиое зрелище: изображен там «восточный столп Земли», а вокруг иего вращаются звезды, Солнце и Луиа по особым кругам небесным. Яркими цветами с золотом иаписаиы эти круги, и дивио изображены около иих в многоцветных одеждах ангелы, что приставлены богом двигать вокруг земли звезды, Солнце и Луну. Мало понимая картину, княжич Иваи любовался игрой красок и золота и вспомнил иевольно об учителе своем, дьяке Алексее Андреевиче. Он все бы ему рассказал, все объяснил бы.

— И где ои ныие?— в задумчивости тихо произнес княжич и печально вздохнул.

На другой день, перед самой раиией обедней, выступали полки тверские из Ярославля. Василий Васильевич с сыном своим, с воеводами и боярами только что утреиние часы отслушал, как пришли прощаться воеводы славные Борис и Семеи Захарьевичи, пушечиик Микула Кречетников и прочие тверичи из высших ратных людей.

Ни единым словом даже не иамекнули ни великий князь, ни Борис Захарьевич о походе на Новгород. Только, обнимая иа прощанье воеводу, сказал Василий Васильевич:

— Передай, Борис Захарьевич, слово мое брату любимому, государю твоему. Земио ему кланяюсь за услугу и помочь. Ныне яз твердо иа ноги стал, един с ворогом своим управлюсь. Да хранит бог великого князя и тобя, Борис Захарыч, в трудах твоих ратных. Скажи еще князь Борис Лександрычу, что мои полки — его полки, а Москва и Тверь — едино...

Трижды облобызал ои Бориса Захарьевича и отпустил вместе с прочими, ио старый воевода, прежде чем уйти, подошел к княжичу и, поцеловав его в лоб, молвил:

— Прощай, Иване, попомни добром мя да не забывай, что́ о ратном деле яз те сказывал. Пригодится.

Проводив тверичей, Василий Васильевич тут же объявил, что хочет немедленно начать совещание с князьями, боярами и воеводами своими.

— Надобно,— сказал он,— часца единого не теряя, думу нам думати. Идти ль нам за Шемякой, али к Москве спешить? Как лучше для твердости нашей?

Василий Васильевич, оставшись один со своими подручными князьями и слугами, без тверской опеки, говорил властно, вопросы ставил круто и твердо. Иван с удивлением взглянул на него: таким отца он еще не знал. Видел он его до несчастий, когда сам еще совсем мал был, а после — только в горести и слабости. Радостно улыбнулся княжич: напомнил ему теперь отец князя Бориса Александровича. Да и все князья и бояре так же тихо и смирно сидели, как на совете у князя тверского.

— Разреши, государь, слово молвить,— заговорил Иван Ряполовский и, когда Василий Васильевич кивнул головой, почтительно продолжал: — Мыслю, Москва ныне камень во главе угла, опора всему. Середку крепить надобно — пусть Шемяка-то по краям, как волк, рыскает! А ткнись он к середке-то,— на вилы аль на топор напорется. За Москву яз, государь.

— Истинно так,— зашумели кругом,— право мыслит князь Иван! Истинно так.

Василий Васильевич ничего не сказал на это, а ждал, что еще скажут.

— Яз, государь,— начал князь Василий Ярославич,— за Москву же. Там все семейство твое, стол твой и все люди тобе верны. Токмо вот как со старой государыней быть? Как ее от полона ослобонить? В когтях у ворога Софья Витовтовна...

Наступило молчание. Иван заволновался и в упор глядел на отца, стараясь угадать, что он решит. Хотелось княжичу до боли душевной, чтобы отец сейчас же велел идти за Шемякой освобождать бабуньку. Отец же молчал, только губы его чуть подрагивали.

— Не посмеет Шемяка тетку свою изобидеть,— сказал, наконец, великий князь.— Не бывало на Руси такого, старуху бы немощну кто притеснял. Богу согрешить никто в том не посмеет...

Василий Васильевич вдруг усмехнулся, найдя хорошую мысль, и добавил весело:

— Он, ворог-то мой, когда ему хвост прищемили, рад матерь мою, как окуп, за собой држать. Мыслю, через матерь и челом еще нам бить будет.

Широко раскрыл глаза Иван от недоумения: не ждал он, что отец так о бабке судить будет! Обидно ему за

бабку, и скупые, но едкие слезинки дрожат у него на ресницах. Ждет Иван, что другие скажут.

— Право мыслишь, государь,— услышал он густой голос князя Ивана Ряполовского.— Не посмеет Шемяка зла учинить.

Остальные молчали, не зная, что сказать. Задумался и Василий Васильевич, но вот он опять усмехнулся.

— Василь Федорыч, ты тута?— спросил он.

— Тута, государь,— ответил боярин Кутузов,— на всей воле твоей, государь.

— Отпускаю тя, Василий Федорыч, со словом своим к Шемяке. Скажи ему: «Брате, князь Димитрий Юрьич, какая тобе честь али хвала, что держишь у собя в полоне матерь мою, а свою тетку. Как сим хочешь мне повредить,— яз уж на столе своем, на великом княжении». Возьми, Василий Федорыч, с собой конную стражу. Буде отпустит Димитрий-то матерь мою, сопроводишь ее до Москвы...

Василий Васильевич слегка вздрогнул от неожиданности: княжич Иван схватил руку отца своего и горячо поцеловал. Василий Васильевич взволнованно вздохнул и сказал ласково:

— Любишь ты бабку, Иване, да и яз не менее твоего...

Обратясь ко всем присутствующим, великий князь продолжал:

— Завтра после утрени на Москву идем со всеми полками, опричь царевичевых.

— А нам куда?— спросил Касим по-татарски.

— Идите вы за Шемякой,— по-татарски же ответил Василий Васильевич.— Идите за ним, как за лютой змеей, но не у хвоста, а по бокам, чтоб видней было, куда гадина голову повернет...

— А куда повернет, там ее по голове и стукнем, а потом и хребет перебьем...

— А верней,— вмешался князь Иван Ряполовский, понимавший по-татарски,— змей наш никуда не свернет. Уползет, окаянный, прямо в нору свою, в Карго-поле свое спрячется.

— И яз так мыслю,— сказал Василий Васильевич по-русски,— токмо надобна опасливость, дабы Москве заслон был. Да и возьмут попечение царевичи о пользе Кутузова и матери моей. Смирней волк-то, когда охоту близ собя слышит.

Глава 11

КАРГО-ПОЛЕ

Далеко живут ка́ргопольцы и от Москвы, и от Галича, и от повелителя своего — господина Новгорода Великого. Да и забыли они, как переселялись сюда с берегов Волхова и

Ильмеиь-озера,— деды и те мало н смутно зиают, когда это было. Живут же все ладно: рыбу ловят в реках и озерах; в лесах нз сосны да ели смолу и вар вываривают, деготь выкуривают из бересты́ да коры березовой; охотой промышляют, белок бьют, рябчиков петлями давят, у рек бобров промышляют, в лесах ищут борти пчелиные, из иих дикий мед собирают. У себя ж на дворах глиияную и деревянную посуду делают, корзииы плетут, кожи выделывают, саии, телеги, колеса работают.

— На краю, почитай, света живем,— говорят каргопольцы.— Карго-поле, и всё тут, а слава богу, жнвем сыто, наиглавно — тихо да мирио.

В старые времена беспокойиее было: тогда порой карела да чудь белоглазая озоринчали, разорялн поселки и погосты, да в те поры каргопольцы и отпор давали, да и самн грабить умели,— иедаром старикн говорят, из ушкуйников они тут осели. Умеют они и теперь метко стрелы пускать, и саблей изрядио рубить, копьем ловко колоть, да острой рогатиной пороть. Владеют они всяким ратиым оружием, как настоящие воины.

Равиодушно, без всякого сочувствия встретили оии беглых киязей Шемяку и можайского с дворамн н полками их, только как повииность случайиую, и попрятали все, что можио было и где можио, чтобы ратиики ничего у иих ие растащили. Поияли это сразу и Димитрий Юрьевич, и Иван Андреевич и хотя были тут душой покойнее, но в полную безопасиость не верили.

— В случае чего,— говорил князь Иваи Андреевич,— можио иам и к Новгороду податься. Не любят иовгородцы-то Москву, а нас поддоржат.

— Да,— усмехиулся Шемяка, потирая с раздражеиием руки,— сне Карго-поле иам иичего ие даст. Зато в Новгород отсель никто нам пути ие закажет. Невидимо, иеслышимо пройти можио. Ведаю яз север-то. Вот иам иемиого по Оиеге подняться до озера Лача, а там по озеру до устья Ягромы. Потом по Ягроме и Березовке до Андомы, а по Андоме до Оиего-озера, а по льду Оиего-озера к устью Свирн н иа озеро Не́во. Оттуда же по Волхову до Ильмеии, к самому Новугороду...

Шемяка вдруг смолк н задумался, хмуря брови. Князь можайский молчал и сопел иосом, словно собирался заснуть. Димитрий Юрьевич почти с иеиавистью покосился на него и громко крякиул от досады.

— Что ты иосом свистишь, как суслик!— крикиул он злобио.

— Засвистишь!— вскипел в свою очередь Иваи Андреевич.— С тобой засвистишь сусликом, когда иас, как сусликов, из своих иор выкурили! И податься иам иекуда!

Шемяка вскочил с места, засверкал глазами, но сдержался и молча зашагал вдоль покоя.

— Мыслю яз,— сказал он, остывши,— надобно распустить нам лишний народ да идти к Новгороду токмо со дворами своими, а старую княгиню тут, в Карго-поле, оставить. После, семью в Новгороде устроив, пойду в Вятку и Устюг. Вятичи покрепче угличан будут!

— Василий-то здесь,— заметил Иван Андреевич,— матерь свою найдет и в Москву увезет без окупа.

— А ляд с им!— изругался Шемяка, опять раздражаясь.— А может, без окупа-то отдать ее нам сподручнее будет. Кто ведает, что завтра господь сотворит...

В покой вошел Никита Константинович.

— От князя Василья,— начал он сразу,— пригнал со стражей боярин Кутузов Василь Федорыч. Слово тобе привез от Василья-то.

— Прими,— ответил Шемяка,— да созови всех бояр и воевод, и дьяк Федор пусть будет.

Когда собрались все, привели Кутузова. Поклонился тот низко Димитрию Юрьевичу и в пояс всем прочим.

— Слово тобе, государь,— сказал он,— от великого князя Василья Васильевича повестую.

Передав слова великого князя Василия Васильевича, помолчал немного Кутузов и добавил:

— От собя, государь, реку. Отступи великому князю, отпусти матерь его. Может, за то и князь великой отступит и многое простит. Близ тобя царевичи со всей силой своей...

Переглянулся Шемяка с Иваном Андреевичем и боярами, и безо всякой думы стало всем ясно, что придется бить челом Василию.

— Понадобится, государь,— тихо молвил Никита Константинович,— и по другим случаям ссылаться нам с великим князем. Сам, государь, сие разумеешь.

На эти слова и Дубенский кивнул головой, да и оба князя понимали положение дел не хуже бояр и воевод своих.

Шемяка резко обернулся к боярину Кутузову и, глядя в лицо ему, сказал ясно и твердо:

— Пошто мне томить не токмо тетку, но и госпожу свою, великую княгиню? Сам бегаю, да и люди, которые мне надобны, истомлены уж, а тут надо и ее стеречь. Лучше отпустить...

— Отпусти, отпусти, государь!— заговорили со всех сторон бояре шемякины.— Право ты мыслишь, государь.

— Михаил Федорыч,— обратился Шемяка к боярину Сабурову,— сослужи мне. Возьми с собой боярских детей да приведи сюды с почетом великую княгиню Софью Витовтовну.

Обратясь к Кутузову, Димитрий Юрьевич добавил:

— Прошу тя, Василий Федорыч, к столу, пока придет государыня. Тут она, в хоромах, недалече.

Поклонился Василий Федорыч с благодарностью Шемяке.

— Храни тя господь, государь,— молвил он,— голоден с пути яз. Не откажи, государь, в сем же и страже моей.

— Будь покоен, боярин,— ласково молвил Шемяка.— Дворецкий мой трапезу вам изготовит и коней ваших накормит...

Все заволновались в трапезной и встали из-за столов, когда дворецкий сообщил, что идет старая государыня. Шемяка, княгиня его и Иван Андреевич пошли встречать ее к самым дверям, которые растворили настежь. Постукивая посошком своим, вошла Софья Витовтовна в трапезную. Оба князя поклонились ей в пояс, а Кутузов и прочие бояре и воеводы кланялись, рукой касаясь земли.

— Будь здрава, государыня,— сказал Шемяка, а князь можайский добавил:

— Живи много лет.

— Будьте здравы и вы,— ответила Софья Витовтовна и, поцеловав княгиню, добавила:— И ты будь здрава, Софьюшка.

— К столу прошу тобя, государыня,— заговорили вместе Шемяка и княгиня его,— милости просим...

Но Софья Витовтовна, поблагодарив их, отказалась и остановилась посредине трапезной против Шемяки. Тихо вдруг стало в горнице, и никто не знает, что произойдет сейчас. Каменеет лицо у Софьи Витовтовны, и только глаза одни скорбно, но смело глядят прямо в лицо Димитрию Юрьевичу.

Бледен князь, губы у него чуть дрожат, брови резко сдвинуты, но не от злобы это, как обычно, а от волнения.

Несколько мгновений малых молчат они, стоят друг против друга, а для всех нестерпимо долгим кажется это молчание. Но вот, наконец, выпрямившись, Димитрий Юрьевич заговорил громко:

— Отпускаю тя, государыня, к брату моему Василию по слову его. Прости меня, государыня...

Ни одна мышца не шевельнулась на лице старухи.

— Бог простит,— глухо, но четко произнесла она.— Много злодеяний творил ты и сыну и мне, старой тетке твоей. Горько сердцу, и душу мою истерзал ты муками сына моего.

Дрогнул голос старой княгини, покривились крепко сжатые губы, но, переборов себя, продолжала Софья Витовтовна:

— Ну, да бог тя простит. И яз, старуха, зло творила. Силен враг рода человеческого. Вспомни, Димитрей Юрьич, как дед родной сыну моему и тобе, князь Димитрей Иваныч Донской, всю Русь поднял на Мамая, а ныне что? Сами мы Русь свою

разоряем и губим. Татары же, то от Синей Орды, то от Золотой, то от Крымской, то от Казанской, грабят и полонят нас...

Смолкла она, слезы потекли по щекам ее. Помолчала она и добавила тихо:

— Мир и любовь меж князей христианских надобны. Все грешны мы, все! Забудем же зло, станем токмо с татарами ратися, а не меж собой...

Голос ее прервался, и вдруг неожиданно изменилась она вся и, поклонившись Шемяке и коснувшись рукой земли, сказала горестно, со слезами:

— Прости и ты меня, старуху, тетку свою, ежели яз грешна против тя...

Шемяка весь передернулся, в сильном волнении бросился к Софье Витовтовне и, схватив ее руку и целуя, говорил торопливо:

— Прости меня, государыня! Прости, ежели сердце матери простит за сына твоего, за брата, мной ослепленного...

Софья Витовтовна обняла племянника и поцеловала в лоб.

— Бог простит,— сказала она,— моли бога о том, а наипаче о просветлении разума. О сем проси у господа, ибо в писании сказано: «Ежели бог наказать кого хочет, то первее всего разум отымает...»

Шемяка, отерев глаза и успокоившись, молвил тихо и мягко:

— Спаси бог тя, государыня. Боярин мой Сабуров сопроводит тобя вместе с Кутузовым до самой Москвы, к сыну твоему...

Снова мчится кибитка Софьи Витовтовны, но теперь уж из Карго-поля к Вологде, вдоль берегов рек и озер. Впереди скачет боярин Сабуров с детьми боярскими, а сзади — свой московский боярин Кутузов со стражей.

Ожила, помолодела словно старая государыня. Весело смеется на прибаутки Ульянушки.

— Как мы, государыня, до Москвы-то проедем? — спрашивает мамка.

— Да Кутузов сказывает,— отвечает, усмехаясь, Софья Витовтовна,— что из Вологды на Ярославль поедем, а оттоля в Ростов, в Переяславль потом, а там в Сергиев монастырь.

Софья Витовтовна задумывается. Резкие морщинки появляются на ее лице.

— Господи, вразуми их!— страстно шепчет она,— вразуми их!— Но, перекрестясь, поникает головой и долго молчит.

Ульянушка боится с ней заговорить, развеселить ее шуткой. Наконец, осмеливается, но говорит сурово, будто другая стала, будто из веселой мамки в монашки ушла:

— Помолимся мы у святого Сергия, дабы заслонил он нас от злобы людской...

Оиа всхлипнула иеожидаино, проговорив сквозь слезы:

— Дал бы господь хоть внукам твоим, деткам моим выняньчеииым, пожить иа спокое.

Обняла ее государыня и молвила:

— О сем токмо и бога молю. Наипаче ж о том, да смирит бог злобу Димитрия Юрьича. Гордыней своей ои мучится, от гордыии и иам ворог ои лютый!

Оиа помолчала и резко добавила:

— А ие вразумит господь, тогда токмо смерть смирит его, Ульянушка...

— Да сие как бог даст,— возразила Ульяиушка.— Может, ои еще десятка два, а то три проживет...

Софья Витовтовна сухо усмехнулась, хотела сказать что-то, но вдруг словио окамеиела и промолчала.

Глава 12

НА ОТЧЕМ СТОЛЕ

На самую маслеиицу, февраля семиадцатого, прибыл Василий Васильевич с кияжичем Иваиом, со всем двором своим и полками в Москву. Москвичи княжой поезд разглядели еще издали, и первыми зазвоиили посадские церкви, потом загудели и все соборы кремлевские.

У Никольских ворот княжич увидел крестиый ход — золотые ризы и митры на епископах, и золотые же ризы на прочих чииах духовиых, и кресты, и хоругви сверкали от солнца. Когда великокияжеский возок стал подъезжать ближе, княжич узиал среди духовеиства владыку Иоиу. Высокий и могучий стаиом своим, стоял ои, как крепкий дуб среди лесиой поросли, и заметио поседевшая борода его казалась покрытой инеем.

Шагах в пятидесяти от Никольских ворот кияжой поезд остаиовился. Василий Васильевич вышел из возка своего, держась за руку сына. Все князья, бояре и воеводы тоже слезли с саией, а те, кто иа конях были, спешились и пошли следом за великим киязем. Слышио было сквозь гудеиье колоколов, как посадские чериые люди и полки закричали зычио и четко:

— Будь здрав, государь! На миоги лета!..

Кричали мужчииы и жеищииы, от мала до велика, а под крики эти разноголосые запели хоры церковиые, что шли с крестиым ходом.

В иепрерывиом гуле голосов и звоие церковиом слышал Иван,

как отец его, вздрагивая от прорывающихся всхлипываний, крестился и радостио взывал:

— Благодарю тя, господи! Возвратил еси ми стол... Благодарю тя...

Охваченный общим волнением, княжич шел в каком-то тумане, и слезы заволакивали глаза при виде знакомых каменных стеи и башен. Казалось ему, что век не видел он Москвы, да и теперь, перед самыми кремлевскими воротами, все происходящее казалось ему сном.

— А где же матунька?— громко шепчет он, усиленно смигивая слезы.

Вдруг сердце его радостно затрепетало, и он вскрикнул:

— Вон они, тата! Илейка вои с Юрьем!

Под звон, крики и пение благословил владыка Иона великого князя и княжича и облобызал обоих, а крестный ход, окружив их, тронулся через ворота в Кремль. Подбежал тут к отцу Юрий, обнимает его, обнимает Ивана, а Илейка, поцеловав руку государю, целует руки старшему княжичу.

— Привел господь, Иване,— выкрикивает он со слезами,— привел господь!..

Увидевши Васюка, метнулся Илейка к иему, и оба дядьки обнялись и облобызались по обычаю, троекратио.

— Так господь уж сотворил,— степенио говорит Васюк,— ие узнав горя, не узнаешь и радости.

— Право сие, верио,— весело отзывается Илейка.— Ныие же пришло солнышко и к нашим окошечкам!..

У красного крыльца встретила великого киязя княгиня его. Иван, увидев мать, готов был броситься к ией, обнимать, целовать ее, ио важность и торжествеиность встречи остаиовили его. Он смутился и, не зиая, что делать и как себя вести, остался неподвижно стоять рядом с отцом.

Марья Ярославна медлеино подошла к мужу, поклонилась ему в пояс, коснувшись рукой земли.

— Будь здрав, государь,— сказала она в волиении.

Василий Васильевич радостно вздрогиул от ее голоса и протянул вперед дрожащие руки.

— Марьюшка!— воскликнул он и, найдя ее, привлек к себе, обнял и поцеловал трижды, по обычаю.

— Вот и свиделись, Марьюшка!— весело говорил он.— Как здравие твое и деток наших?

— Хранит господь иас, государь,— сдержаиио ответила княгиня, ио голос ее дрожит, а лицо все сияет счастливой улыбкой.

— Слава богу, Марьюшка,— так же сдержаиио говорит Василий Васильевич.— Ужо зайду к тобе, Андрейку иашего проведаю...

Неожиданно для Ивана мать быстро обернулась к нему, крепко сжала в объятьях и, целуя, шепнула ему на ухо:

— Сыночек мой, месяц мой светлый!..

Не успел княжич поцеловать ее, как Марья Ярославна подошла опять к великому князю и, взяв мужа под руку, медленно повела к хоромам по ступенькам красного крыльца. В передней горнице, где остановились все, Марья Ярославна торжественно подвела Василия Васильевича к великокняжескому столу и, усаживая, тихо молвила:

—Ну, пойду яз. В передней уж мы. Приходи же вборзе, Васенька...

Василий Васильевич поцеловал ее в щеку и сказал ласково:

— Иди, иди, Марьюшка, а ты, Иване, туточка.

Досадно было Ивану. Сердце его трепетало от материнской ласки, не терпелось ему повидать Данилку, Юрия, Дарьюшку, по дому своему побегать, а тут вот князья и бояре на скамьях усаживаются, долго говорить будут, а ему же слушать нужно и вникать, учиться, как в училище. Отец потом спросить о многом может, и всегда он сердится, если Иван не знает что-либо или неправильно понимает.

Сели около великого князя владыка Иона и епископы, князь Василий Ярославич, князья служилые, что в боярах московских и на воеводствах, дьяки, а подальше от княжого стола стоят дети боярские, которые служат в полках на разных службах и при дворе великого князя.

Вот видит Иван: встает среди воевод воевода Андрей Михайлович Плещеев, кланяется и говорит:

— Будь здрав, государь! Дозволь мне речь доржать. Повестую тобе, государь, как исполнил яз повеление твое, как Москву нашу от ворогов отнял...

Просиял князь Василий Васильевич, узнал воеводу по голосу:

— Подь сюды, Андрей,— крикнул он,— подь ко мне ближе!

Обнял великий князь воеводу своего и облобызал.

— Спаси бог тя, Андрей Михайлович,— молвил он с чувством,— воевода тверской Лев Иваныч Измайлов сказывал нам о службе твоей и о взятии Москвы. Ты дойди ныне к нам на вечернюю трапезу. Будут с нами владыка Иона с духовенством своим, некои от князей, бояр и воевод, и ты нам расскажешь про все за ужином. Уморились мы с пути долгого...

Василий Васильевич помолчал и, возвыся голос, произнес:

— Сей же часец наипаче надобно возблагодарить нам господа за щедроты его. Челом бью владыке Ионе и всем, иже с ним, отцам нашим духовным: вознесите молитвы ко господу за спасение наше.

Встали все с мест своих, встал и владыка Иона.

— Узнаю тя, государь, по речам твоим,— звучным голосом начал он.— Истинный христианин ты, государь. Да будет тверда десница твоя на врагов твоих! Как боролся ты против осьмого собора латыньского, против Сидора митрополита, обманом ставленного, который хитрой и прелестной ересью православных блазнил, так и ныне борись твердо против ворогов своих за государствование единое, самодержавное и вольное. Да будешь ты царем на Руси, наш царь православной, а не ордынской хан поганой веры...

Широко открытыми глазами смотрит княжич Иван на владыку Иону, а сердце его бьется чаще и чаще. Кажется княжичу сном это все, как снилось ему в Ростове Великом, в ночь после пожара. Слушает он, что дальше говорит владыка, но ничего не понимает и только про себя радостно шепчет:

— Будет тата царем!.. Будет тата царем!..

Пришел он в себя, когда все зашумели и двинулись в крестовую. Владыка сам взял под руку великого князя, а Василий Васильевич молвил сыну:

— К матери поспеши, Иване, упреди о сем ее. Да Костянтину Ивановичу скажи, что надобно быти в крестовой всем слугам нашим и чадам их...

Выйдя степенно из крестовой, опрометью бежать бросился княжич по сенцам хором к покоям матери. Не терпелось ему скорей повидать опять матуньку, целовать ей руки, губы, щеки и шею, повидать Юрия, Андрейку, Дуняху, сына ее Никишку, друга своего Данилку и Дарьюшку. Все они видятся ему ясно, и нетерпенье оттого еще больше томит. С разлета распахнул он двери покоев. Сразу замер от радости и счастья, охватив руками нежную, теплую шею. Жадно вдыхал он родной теплый запах тела матери, запах сладостный с самого раннего детства.

— Матунька,— шептал он,— матунька моя!..

Успокоившись от радостного волнения, он сказал матери:

— Тата велел в крестовую идти. Молебная будет.

Марья Ярославна сразу засуетилась,— одеться надобно, Андрейку одеть, да и Дуняхе тоже одеться нужно.

— На виду у всех, Дуняха, стоять будем,— сказала она,— приготовь мне все праздничное, да и сама оболокись покрасней...

Иван, отойдя от матери, подбежал к Андрейке, который вместе с Никишкой по полу ползал. Смешные оба ребятенка — голозадые, в распашонках коротеньких. Засмеялся Иван и, присев на корточки, поцеловал того и другого. Мальцы же

сморщились, губы скривили — вот-вот заревут, но Иван загремел погремушками. Маленькие личики застыли на мгновенье, но потом морщинки на них стали расправляться, заиграли на губах улыбки, а руки их потянулись к Ивану. Дал им Иван по погремушке и вскочил с пола.

— Здравствуй, Дуняха!— сказал Иван весело.

Дуняха схватила его руку и поцеловала.

— Здравствуй, Иване!— ответила она.— Ишь, как ты за мало время еще возрос! Будто те уж двенадцатый год идет, Данилку-то перерос совсем...

— Верно, Дуняха,— обрадовалась Марья Ярославна, пряча волосы под волосником.— С тобя ростом стал. Так расти будешь, Ванюшка, лета через два тобе боле пятнадцати давать будут...

— Матунька!— воскликнул Иван, вспомнив, что дворецкому надо приказ передать.— Забыл совсем, матунька! Надо Костянтин Иванычу сказать еще. Тата в крестовую всем приходить велел. Пробегу яз к нему!

Марья Ярославна нахмурила брови.

— Не вместно тобе бегать, сынок,— строго сказала она,— вон Ростопча скажет Костянтин Иванычу...

— Матунька,— жалобно перебил ее княжич,— пусти меня. Яз с Ростопчой, матунька, пойду и сей же часец вернусь...

Усмехнулась Марья Ярославна.

— Данилку повидать хочешь?— спросила она.

— Хочу,— потупясь, ответил Иван.

— Ну, иди, иди, да в крестовую не опоздай,— сказала Марья Ярославна ласково и, глядя во вслед сыну, уходящему с Ростопчей, добавила:— По виду-то через год-два и в настоящие женихи гож, а по душе еще малый ребенок...

В начале марта месяца, после Герасима-грачевника, в самый день сорока мучеников, когда сорок пичуг на Русь пробираются, прискакали в Москву вестники от Кутузова. В этот день завтракали все в покоях у великой княгини, ели испеченных из теста жаворонков. Андрейка тоже был за столом и, засовывая в рот хвост хлебной птички, усердно сосал его с громким сопеньем. Юрий шалил, оттаскивая руку братишки ото рта, а тот сердился, смешно морщился, топырил губы и готов уж был зареветь во все горло, когда поспешно и радостно вбежал Константин Иванович.

— Государь,— воскликнул он,— старая государыня в Москву едет! Вестники пригнали. От стана до стана, бают, скакали денно и нощно.

— От кого вестннкн?— радостно переспросил дворецкого великий князь.

— От боярнна от Кутузова, Василья Федорыча.

— Отпустил, слава те, господи, отпустил Димитрей-то матерь мою,— радостно крестясь, сказал Василий Васильевич, а Иван н Юрий, выскочнв из-за стола, бросились обнимать н целовать отца и мать.

— Бабушка к нам едет,— кричали они,— бабушка едет!

— Где вестннкн-то?— спросил великий князь, отстраняя ласкающнхся детей.— Пошли-ка нх...

— Спят, государь, как в бесчувствни,— ответнл Константнн Ивановнч.— Почитай всю дорогу не спали, токмо на конях сидя дремалн. Уж разведал я, государь, пока они не заснулн, что государыня-то нз Юрьева поне на рассвете выехала. В Сергиевом монастыре хочет государыня быть, о сем н весть от нее игумну, отцу Мартемьяну...

— Ты бы, Васенька,— заметила Марья Ярославна,— поехал матушку встретить да кормленье в монастыре устронть.

— Яз и сам о том думаю, Марьюшка,— ответнл Василий Васнльевич,— а ты собери-ка что получше от узорочья да ладану, коли есть, н маслнца лампадного, сколь можно. Ты же, Костянтнн Иваныч, обозы для кормленья снарядн.

— Когда, государь, хочешь ехать-то?

— Через день, Иваныч. Не позже. Не спеша поедем. Мне тоже, Марьюшка, отца Мартемьяна повндать надобно.

— Токмо, Васенька, глядн,— вдруг заволновалась Марья Ярославна,— стерегнсь, Васенька. Как бы опять что не вышло, стражн берн побольше да нз воев добрых.

Василнй Васильевич рассмеялся.

— Не бойся,— сказал он весело,— Мартемьян-то наш, яз сам его нз Вологды в нгумны посадил. Шемяка же вон где! В Карго-поле, у Студеного моря, почитай...

— Оно так, государь,— робко прнсоедннился к опасенням княгнни Константин Иванович,— а лучше поостеречься, государь. Береженого-то бог бережет...

— Ну, что с вами поделаешь,— улыбаясь, воскликнул Васнлнй Васнльевнч,— возьму с собой воеводу Басёнка н стражу нз его конников...

— Лучше того, государь, и быть не может!— обрадовался Константин Ивановнч н, обратясь к княгнне, добавил:— Ну, будь теперь покойна, государыня, Федор-то Василнч такой воевода, что мнмо его н заяц не проскочнт и мышь не прошмыгнет!

На второй день после отъезда обоза с прнпасамн для кормлення монастырской братнн поехал в Сергневу обн-

тель и великий князь. Княжич Иван, по желанию отца, ехал с ним в возке и тут же против государей своих сидел воевода Федор Басёнок, а дядька княжича, Васюк, любимец Василия Васильевича, умостился у ног их на сене, постланном для тепла. Часть стражи из конников Федора Васильевича впереди с обозом ехала, а большая ее часть возок великого князя охраняла.

— Не погневись, государь,— сказал, усмехаясь в свою рыжую бороду, Федор Басёнок, когда уж посады московские проехали,— что по мольбе княгини твоей я целую сотню конников взял. Не верит она монахам-то...

— Да ведь оставил яз царевичей в заслон Москве,— молвил Василий Васильевич.— Никого от ворогов не пропустят они к нам, а с матерью Кутузов с нашей стражей...

— А от шемякиных людей, может, кто будет,— быстро проговорил Басёнок,— сей токмо часец о том и помыслил, государь. Может, княгиня-то умней нас. Кто ведает, что у них на уме...

Княжич Иван вспомнил, что бабка ему говорила не раз: «Богу молись, а монахам не верь...» Теперь вот матунька воеводе о том же сказала. Он задумался и понять не мог, почему все в монастыри ездят, кормленье монахам возят, а сами монахам не верят.

Думал он об этом долго и напряженно, а спросить отца или воеводу не смел. Больше он не слушал разговоров старших, занятый своими мыслями, но так и заснул, не уразумев, зачем монахи нужны, раз им верить нельзя...

Проснулся он уже в селе Братошине, где решено было ночевать, чтобы на рассвете выехать дальше. Уже стемнело. От Москвы с полудня всего пятьдесят верст проехали: дорога уж очень плоха. Из-за оттепелей измаялись кони и కологривы. По всей дороге, в низинах особливо, много зажо́р было. Луна светила, и в синевато-серебристой мгле Иван хорошо разглядел село, вспомнил его. Узнал, и страшно ему стало. Тогда, будто давным уж давно, ночевали они с Юрием здесь, приехав из Танинского, с охоты на волков.

После ужина Васюк раздел и уложил на пристенной скамье великого князя в отведенном ему и княжичу покое. Уложил потом и княжича у другой стены на скамейке, а сам лег возле него на полу. Подложив под себя два снопа соломы, он постелил на них азям, а сверху укрылся полушубком.

— Вишь, Иване,— шепнул он княжичу,— добре́ я постелю свою уладил. Будет мне, как у Христа за пазухой...

Княжич ничего не ответил ему, но, помолчав немного, шепотом спросил своего дядьку:

— А помнишь, Васюк, как тогда мы ехали с татой?

Он вздрогнул всем телом и добавил:

— Боязно мне!..

Васюк приподнялся немного и, ласково положив руку на плечо княжича, молвил чуть слышно, чтобы не обеспокоить великого князя:

— А что помнить-то все? Прошло худое, и нет его. Спи с богом...

Сказано это было так спокойно и умиротворяюще, что Ивану стало сразу легко и уютно. Чувствуя на плече руку Васюка, он медленно закрыл глаза и вдруг как-то весь растворился в темной теплоте и мгновенно заснул.

Через день, когда все были уже в Сергиевой обители, княжич отпросился у отца в Троицкий белокаменный собор. Игумен отец Мартемьян, седой суровый старик, послал с княжичем своего келейного служку, молодого расторопного Митрофанушку, повелев показать ризницу и вещи преподобного Сергия.

— Узришь, как просто жил сей преславный святитель,— строго сказал княжичу игумен,— а всей Руси указывал. Он и Димитрия Донского впервой ополчил на татар, на Мамая. Благословлял тут он великого князя перед Куликовой битвой, когда князь в поход к Дону шел...

Отец Мартемьян благословил княжича, дал поцеловать руку и добавил ласково:

— Иди с богом, Митрофанушка все тобе покажет, а наипаче иконописание. Сам он сему ныне учится. Ученики у нас остались от Рублева-то Андрея...

Княжич ушел в сопровождении Васюка и Митрофанушки, оставив отца с игумном и воеводой Басёнком. У крыльца келарских хором, откуда вышел Иван, приметил он трех конников из стражи и пеших человек пять в полном вооружении. У Троицкого собора и внизу, у Пивной башни, где прятался Иван с Юрием два года назад, тоже были конные и пешие воины.

Снова тревога овладела Иваном, воспоминанья охватили тоской его сердце. Схватившись за руку Васюка, он прижался к дядьке и спросил вполголоса:

— Пошто вои кругом?

Васюк ласково усмехнулся и сказал весело:

— Брось, Иване. Ждет ноне государь матерь свою...

— Бабунька приедет,— оживился княжич и, сразу успокоившись, спросил:— А когда она будет?

— А бог ведает. Ноне ждут...

Не договорил Васюк, бросился к старику монаху, крикнув на ходу:

— Глянь, Иване! Пивной старец, спаситель наш...

Подбежав к монаху, Васюк радостно возопил:

— Благослови, отче Мисаиле!..

Облобызав руку пивного старца, сказал он поспешно:

— Отче, княжич Иван туточка...

Иван, узнав старого монаха, подбежал к нему, обнял и поцеловал его. Вдруг снова вспомнился ему в этот миг весь страшный тот день. Мелькнули темные подземные покои, переодеванье в монашеские рясы и отец на голых санях. Задрожал он от боли и страха, но сразу успокоился, увидев сияющую, радостную улыбку отца Мисаила.

— Ну, и вельми же возрос ты, Иване!— весело восклицал старый монах.— Помню, и в те поры велик был, а ныне выше плеч моих!

Увидев Митрофанушку, он крикнул:

— И ты с княжичем?

— Отец игумен повелел, отче,— ответил Митрофанушка,— иконы и стенописания Рублева показать и ризницу. Ризы преподобного...

— Поди-тко ты в Пивную башню. Там отец Никифор у меня сидит. Возьми ключи у него,— сказал старец и, обратясь к Ивану, разъяснил:— Отец-то Никифор — пономарь и ключарь у Троицы.

Отец Никифор почти бегом прибежал вместе с Митрофанушкой — хотел видеть он княжича Ивана, будущего великого князя московского. Княжич не знал пономаря, но приветливо ответил на его поклон.

Гремя ключами, отец Никифор торопливо отпер железные врата собора и первым впустил княжича. Приблизившись ко гробу Сергия, все благоговейно опустились на колени, а пивной старец, отец Мисаил, пропел вслух небольшой отрывок из акафиста преподобного.

— Наперво в ризницу,— заявил отец Мисаил, когда все встали с колен, помолясь в соборе у гроба преподобного.

Но Иван невольно задержался перед иконостасом, где на царских и боковых вратах сверкали красками, как сияющие радуги, иконы письма Андрея Рублева. Тут застал их всех пришедший поспешно сухонький старичок протоиерей с трясущейся головой, настоятель собора. Благословив Ивана и прочих, сказал он глуховатым, но все еще нежно звенящим голосом:

— Прошу тя, княже, в ризницу.

Не выходя из собора, пошли они внутренним узким проходом, которым ризница соединяется с храмом. Ивану было все это любопытно вначале, но потом наскучило — вещи преподобного не трогали его.

Он довольно равнодушно смотрел на ризы, кресты и остроносые башмаки Сергия, на ложку его и посох.

Только деревянная чаша для причащения понравилась ему. Никогда княжич не видал деревянных чаш, а только из серебра и золота. На этой же чаше по багряному полю мелко-мелко были писаны иконы, изображая Христа, богоматерь и Ивана Предтечу...

Княжич устал, голова закружилась немного, и стал он позевывать. В это время прибежал в ризницу монашек от игумна звать княжича. Иван безразлично встретил этого посланца, но, услышав, что приехала старая государыня, невольно воскликнул:

— Отпустите меня к бабуньке!

И, не дожидаясь ответа, бегом устремился к выходу, сопровожаемый Митрофанушкой и с трудом поспевавшим за ними Васюком.

В сенях Ивана встретила мамка Ульяна. Увидев питомца своего, всплеснула руками она и воскликнула:

— Куда ж ты растешь-то тако, Иванушка!

Но тотчас же заплакала от радости, охватила его за шею руками, целовала и бормотала сквозь слезы:

— Ишь, мамку свою перерос! Да и пора: ты вверх, а я уж вниз расту, соколик мой ясный. Господи, не чаяла, не гадала и свидеться...

— Бабунька где? — целуя мамку, спросил Иван.

— Беги, беги, солнышко,— улыбаясь радостно, затараторила Ульянушка,— у игумна бабунька с татой...

Но Иване не дослушал и не помнил, как пробежал по сеням к трапезной.

Софья Витовтовна вскочила со скамьи, увидев внука.

— Иванушка!— вскрикнула она и замолчала, крепко обнимая княжича.

Она не могла говорить, и только радостные слезы бежали у нее по щекам. Но, быстро овладев собой и отодвинув немного внука, она, улыбаясь, сквозь слезы смотрела в его лицо, а княжич всхлипывал и повторял без конца:

— Бабунька милая! Бабунька...

Софья Витовтовна посадила его рядом с собой на скамью и, перекрестив, сказала строго:

— А теперь сиди смирно и слушай. Мне с татой и с отцом Мартемьяном о делах говорить надобно.

Иван сразу успокоился и замолчал.

— Говори, сыночек,— обратилась Софья Витовтовна к великому князю.

— Так вот, матушка,— продолжал Васнлий Васильевич прерванный разговор,— яз за услугн его н помощь после обрученья подарил ему Ржеву...

— Ржеву?— воскликнула Софья Внтовтовна.

— Ржеву,— твердо продолжал Василий Васильевич.— Надобны мне былн еще полки его н огненная стрельба, дабы Шемяку давить, дабы тобя, матушка, десницей Борис Лександрыча от полону изнять!

Василий Васильевич смолк. Лицо Софьн Внтовтовны осветилось лаской и нежностью.

— Ништо, сыночек, ништо. Не плачу о Ржеве-то яз. Будем судить да ряднть о наделке невестином, так сама яз с князь Борисом баить буду о том. Может, он н своей доброй волей Ржеву-то вернет. Москва, сыночек, берет, а своего никому не дает...

Она замолчала и, вспомннв о Шемяке, потемнела и задумалась.

Васнлий Васильевнч, чувствуя неловкость н желая обратнть разговор на другое, сказал:

— Мы тут с воеводой Басёнком опасались, как бы худа какого от шемякиной стражн нам не было, ан боярнн-то Сабуров и все его дети боярские бнли челом на службу мне, и яз принял их, матушка...

— Ништо, ништо, сыночек. Не голый, чаю, прндет Сабуров-то. В путн он не раз мне о том банл.

Маленькие глазкн игумна Мартемьяна сверкнулн из-под седых бровей мрачным огоньком.

— Сабуров-то мужик умной,— молвнл он,— а за Шемякой ныне добра не наживешь. Знает бояркн, где шубку шить можно. По ветру идет...

Игумен усмехнулся недоброй улыбкой н, обратясь к Софье Витовтовне, продолжал:

— Истинно ты, государыня, банла — не голый боярин-то. Вотчнны у него коло Галича н в нных местах богаты. Боится он, что могут взять их и без его волн...

Мартемьян рассмеялся н добавил:

— На Шемяку-то у него нетутн боле надеянья. Скорометлив Сабуров-то...

Софья Витовтовна горестно вздохнула и молвнла тихо:

— Молилась яз о смиреннн гордыни Димитрея. Хочу и тут, у гроба преподобного Сергия, о том же молнть, нскуснв еще раз господа бога. Как ты, сыне мой, о том мыслншь?

— Мыслю, матушка, что Шемяку смирнт токмо смерть. Вельмн зол, завистлив и горд он. Нет у меня веры в смиренье Димитрия.

— Так и яз в дороге с горестью уразумела. Право ты мыслишь. Хошь то н грех велнкой...

— Государыня,— сурово вмешался Мартемьян,— а того боле велик грех народ свой и землю христианскую разорять хуже татар нечестивых! Смерть злодею. А ежели и грех это, то не зря же сказано: «Не согрешишь — не раскаешься, не раскаешься,— не спасешься...»

Иван не понимал ясно, о чем разговор идет, но почему-то тяжко ему стало, потянуло вдруг к мамке Ульяне. Захотелось слушать веселые присказки и шутки доброй старухи, слушать причудливые светлые сказки о богатырях, о святых угодниках и о посрамленье нечистой силы...

Встал Иван потихоньку и вышел из покоев игумна.

Глава 13

ПЕРВЫЙ ПОХОД

В лето тысяча четыреста сорок восьмого на говение Филиппово, ноября двадцать девятого, когда все княжье семейство за трапезой было у великого князя, примчались в Москву государевы ямские вестники от Новгорода-Нижнего, старого. Узнав об этом, князь Ряполовский Иван да воевода князь Стрига-Оболенский прибежали из своих хором на двор княжой пеши — времени не было коней седлать. С дворецким Константином Ивановичем, испугав Марью Ярославну, ворвались они в трапезную, прямо к столу.

Крестясь на иконы и запыхавшись, они еле переводили дух, трудно от одышки говорить им было. Наконец Иван Ряполовский крикнул хриплым голосом:

— Государь, татары!..

Вздрогнул великий князь, окаменели все сразу за столом. Побледнели и отец, и бабка, и матунька, а Иван вдруг вспомнил, как в княжии хоромы ворвались татары с сотником Ачисаном, вспомнил он отцовы кресты-тельники в руках басурмана. Страшно ему стало, задрожали руки и ноги.

— Какие татары?!— взволнованно крикнул Василий Васильевич.

— Казанской орды,— тяжело отдуваясь, ответил князь Иван.— По Волге пришли к Новгороду-Нижнему...

Василий Васильевич вздохнул свободнее, но все же был еще бледен, и губы его чуть-чуть вздрагивали.

— Садитесь, бояре,— глухо молвил он.— Сколь поганых-то? Куды идут?

— Государь,— медленно заговорил князь Оболенский,— как нам ведомо от застав наших, царь Мангутек послал, почитай, всех князей своих со многой силой. Вести, лишь токмо придут,

велел яз к тобе посылать в хоромы твои. Наши-то вести на семь ден впереди татар идут и каждый час приходят.

— Вот что скажу,— перебил воеводу великий князь,— часу не упускай. Немедля собирай две рати — на Володимер и на Муромский град. Не инако, а туды пойдут...

— Истинно,— подхватил Стрига-Оболенский,— подымутся по Оке к устью Клязьмы, а там, мыслю, одни пойдут по Клязьме к Володимеру, а другие — по Оке к Мурому...

Постучали в двери трапезной, и Константин Иванович ввел вестника, всего в снегу. Перекрестился, поклонился до земли тот и молвил:

— Будь здрав, государь! По приказу воеводы сюды пригнал. С коня токмо. Дошли татары до Усть-Клязьмы, разделились на́двое. Обема реками пошли вверх...

— Спеши, княже,— обратился Василий Васильевич к Оболенскому.— Сам-то иди к Володимеру, а на Муромской град пошли, кого знаешь. Володимер — от Москвы близок и по месту своему для басурманов важней...

— Пусти меня тата,— нежданно начал Иван дрогнувшим голосом, но твердо закончил:— Пусти меня с воеводой татар бить!

Задрожала вся и вскрикнула вдруг Марья Ярославна:

— Что ты! Что ты, Иванушка! Окстись, дитя ты еще малое!

Широко открылись от страху большие глаза ее, впились с мольбой в лицо сына.

Но отец решил иначе.

— Пусть едет,— сказал он с волнением и гордостью.— Видал он уж битвы-то, а на коне, бают, настоящий конник...

Побелела как снег Марья Ярославна.

— Васенька,— проговорила она тихо и жалобно,— всего ведь девятый год ему!..

— Не бойся, государыня,— сказал дрожащим голосом воевода,— со мной будет. Видал яз его под Угличем. Мыслил тогды — не девятый, а двенадцатый год ему! Добрый будет воин.

Но Марья Ярославна никого не слушала. Обняв старую государыню, твердила она сквозь слезы:

— Заступись ты, матушка, заступись за внука своего, голубушка...

Но Софья Витовтовна молчала, прижимая к себе невестку и нежно гладя ей плечи. У нее самой слезы дрожали в глазах и перерывалось дыханье от сдерживаемых рыданий.

Иван стоял прямо, крепко сцепив руки и сжав губы. Брови его были сдвинуты. Он весь был напряжен, как струна. Глядя на мать и бабушку, он боялся заплакать и погубить все дело. Наконец, переборов волнение, он проговорил срывающимся голосом:

— Матунька, бабунька... Помните... тату в полон взяли?.. Ачисана помните?.. Яз татар бить хотел. Вырос ныне...

— Сынок мой любимый,— всхлипнув, крикнул Василий Васильевич.— Иванушка, надежа моя! Иди с богом. Иди на поганых за землю русскую! Благословляю тя, сыне мой!..

Великий князь порывисто обнял Ивана и простонал с гневом и болью:

— Ослепил меня ворог мой! Не вижу тя, Иванушка, в сей часец! Не вижу!..

— Васенька!.. Матушка! Что же туточки деется?!— в отчаянии закричала Марья Ярославна.— Одумайся, Васенька!..

Но Софья Витовтовна остановила ее и сказала тихо и грустно:

— Уймись, Марьюшка, не век ему с бабами жить. Так уж господь сотворил. Сыздетства наша сестра с куклой, а они с саблей да стрелами...

Помолчав, она еще тише добавила:

— Слезы-то материнские неуимчивы, Марьюшка. Всю нашу жизнь литься им...

Войска продвигались быстро, останавливаясь в селах, деревнях и посадах на самое краткое время. Спешили воеводы прийти к Владимиру раньше татар Мангутека, но и на этих недолгих привалах княжич видел и замечал многое. Испытав за три года столько перемен и несчастий, он, едва ступив за порог жизни, понимал уж страхи и тревоги, что охватывали всех при вести о приходе татар.

— Примечай, Иванушка, примечай усё,— говорил ему Илейка, посланный на этот раз с княжичем вместо Васюка.

Не умел Илейка, как нужно, великому князю угождать, а Васюк с младых лет был при Василии Васильевиче, стремянным был его любимым. Привык к нему князь, а ослепши, того более хотел возле себя иметь любимого человека. Нужен стал великому князю, как малому ребенку, дядька, чтобы раздевал и одевал его, в мыльню водил. Многого слепец без чужой помощи не мог уж делать. Марья Ярославна же больше знала старого звонаря Илейку, больше ему верила. Иван любил обоих дядек, но с Илейкой веселей ему: говорлив старик, как мамка Ульяна, душевней, но в ратном деле ничего не разумеет. Теперь Ивану ученье ратное от воевод шло. Улыбается поэтому Иван недоверчиво, когда Илейка упрямо твердит ему:

— Примечай, я те баю, а что не уразумеешь, меня спроси...

Смеется княжич.

— Не дадут нам тут рыбу удить и птиц ловить,— говорит он,— а в ратном деле что ты ведаешь? Яз, что разуметь не буду,— у воеводы спрошу.

Рассердился Илейка, обиделся, даже засопел носом как малый ребенок.

— Возрос ты, Иванушка, во какой, а слов моих не разумеешь!— ворчит он с досадой.— Я те не про рыбу и птиц говорю, не про ратное дело. Хрен с ними с птицами да с рыбами, я те про людей баю. Пока мал был, я те дудки да удочки делал. Ныне тя отец-то вот на татар шлет, княжить, значит, учит, и я вот пользы тобе хочу...

Иван с удивлением взглянул на Илейку, никогда не слыхал он от него таких речей.

— Все тя учат,— смягчаясь, продолжает Илейка,— и дьяк, и отец с матерью, и бабка, и владыка, и воеводы вот! А ты у нас, у сирот, поучись. Вот оно что...

День был погожий, хотя слегка морозило, но зато весело играло солнышко в синеве небесной. Наскучило княжичу ехать в возке — верхом трусил он мелкой рысцой рядом с Илейкой. Ехали они вослед пеших воинов, перед которыми виднелись конники, а сзади, за возком Ивана, тянулись обозы, окруженные пешей и конной стражей. Дозорные же отряды скакали где-то далеко впереди, часто присылая вестников воеводе. Подходили уж к Владимиру, оставалось до него не более сорока верст.

Иван молча оглядывал берега Клязьмы, по льду которой двигались их полки. Были кругом и леса, и овраги, и поля, засыпанные снегом, горы и пригорки. Чаще попадались теперь поселки, села, деревни, и все время, обходя войско, тянулись навстречу им крестьянские сани и дровни со всякой кладью, окруженные мужиками, бабами и ребятами. Сердце Ивана сжималось: в его памяти восставали тревожные дни, когда после пленения отца ждали татар в Москве.

— Вишь,— обвел Илейка плетью кругом,— вишь, сколько их! В леса все бегут — от татар хоронятся.

Кучка подвод задержалась у самой дороги, пропуская войска. Увидев Ивана в княжом одеянии, мужики поснимали шапки и поклонились. Иван и Илейка отдали поклоны.

— Откуда?— спросил Иван.

— Из Пеньков,— ответил старик, нахлобучивая шапку,— туточки вот, недалече.

— Пошто же в град-то не идете?— крикнул Илейка.— Тамо стены есть...

— Есть, да не про нашу честь,— махнул рукой старик.— И де же тамо всем-то? Там, милой, так набилось народу, что боле некуда! Мышу пробежать негде!..

— Куда ж вы?— снова спросил Иван.

— Куда глаза глядят,— ответил старик,— лишь бы от татар подальше. Сам знаешь, страшен пожар. Страшней татя и граби-

теля. Тать-то хошь голые стены оставит, а пожар-то все пожрет, токмо угли да головешки увидишь. Татары же страшней и пожара. Из огня ты сам с женой выскочишь, да и детишек вытащишь. Татары же и разграбят, и сожгут, кого убьют, кого в полон возьмут!..

Чем ближе подходят войска к Владимиру, тем больше кругом тревоги видит Иван. От воеводы он знает, что татары далеко еще и только дня через два подойдут к Владимиру, а московские полки всего через час дойдут до града. Уж вот видно издали церкви и звонницы, крыши теремов и башни, но подгородные села и деревни теперь все пусты, безлюдны, кое-где только кошки да собаки около изб пробегают, а и собак-то совсем мало — почти все за хозяевами ушли.

В одной лишь деревне, версты за две от Владимира, было людно. Около изб толпятся мужики, стоят оседланные кони у коновязей, небольшой санный обоз тут же. Ни женщин, ни детей в деревне не видать, а мужики кашу варят не в избах, а на улице, в котелках над кострами.

— Никак войско чье-то?— сказал княжич Иван Илейке, давно глядевшему из-под руки на неизвестных людей.

— Я и то гляжу,— ответил дядька,— токмо неведомо чье? Мыслю, сироты сами на татар снаряжаются. Надоть у воеводы спросить...

Но к воеводе, ехавшему несколько впереди, подошел здоровенный рослый парень и, сняв шапку, поклонился.

— Будь здрав, воевода,— сказал смело парень, не надевая шапки на свои рыжие кудри.— Челом бью...

— Сказывай, о чем,— перебил его князь Стрига-Оболенский.— Спешу яз ко граду.

Парень обернул лицо в рыжей курчавой бороде к подъехавшему Ивану и поклонился ему еще ниже, чем воеводе.

— Будь здрав, княжич,— сказал он густым голосом.

Ивану показался знакомым и голос этот и лицо парня. Вдруг он узнал его.

На миг в памяти промелькнула смута московская, когда бояр, гостей и дьяков взяли черные люди посадские. Это он бежал тогда с ослопом мимо княжих ворот и грозил боярам...

— Челом бью,— продолжал парень,— возьми мя с дружиной поганых бить...

Он поклонился еще раз и, снова обратясь к княжичу, добавил:

— Княже, нет лучше воев, кои своей охотой с ворогами бьются. Слух-то в народе, что ты не по годам вельми разумен. Вот и сие уразумей.

— Мало таких-то воев,— молвил воевода,— вот и вас едва сотня наберется, а для полков нужны тысячи и тьмы.

— Мир-то силен,— воскликнул парень,— ты токмо развороши его! Мир-то по слюнке плюнет, море будет. В народе, что в туче: в грозе все наружу выходит!

— Ишь, какие песни поет,— неодобрительно крякнув, сказал воевода.

— А что не петь-то? Был бы запевало, подголоски найдутся. Коли всем миром вздохнут — и до государя слухи дойдут. Токмо бы он ухи собе не затыкал да глаза не закрывал...

— Кто ты таков? — резко оборвал его воевода.

— Ермилка-кузнец,— ответил парень.— В обозной охране был у великого князя под Угличем...

Воевода зорко поглядел на Ермилку, помолчал и сказал строго:

— Дерзок ты. Ведаешь, как сказано? «Языце, супостате, губителю мой!..»

— Язык-то с богом беседует,— возразил кузнец.— Язык-то стяг — он дружину водит.

— Оно так,— вмешался Илейка,— да мало одного крику: «Вались, народ, от Яузских ворот!» Надоть и порядок, и миру надоть голову... Нельзя токмо того, замолола безголова — и все тут!

— Ты постой, подожди,— махнул кузнец рукой на Илейку.— Петь хорошо вместе, а говорить порознь. Я и сам не дурак. Знаем мы, что сноп без перевясла — солома. Потому и бьем челом тобе, воевода, возьми нас, черных людей да сирот, в полк свой, злое татаровьё бить. Охотой идем...

— Что ж, иди,— сурово молвил князь Оболенский,— дело святое. За Русь биться будем.

— Спаси тя бог,— поклонился кузнец.— Где идти нам прикажешь?

— А где хошь. К любому полку priткнись. Токмо сам порядка не путай, а боле начальников слушай. Да помни: во многом глаголании несть спасения...

Кузнец молча усмехнулся, но, обратясь к княжичу Ивану, сказал ласково:

— А все ж ты, княже, попомни, что я баил-то. Отец мой и поныне мне приказывает: «Много бают ка́к бы на глум, а ты бери на ум...»

Княжича Ивана со звоном и крестным ходом встретили все владимирцы у Золотых ворот. Ждали тут его и владыка суздальский Авраамий, и боярин Константин Александрович Беззубцев, наместник и воевода великого князя можайского.

Уж издали, подъезжая к Золотым воротам, загляделся Иван на это строение. Еще не разбирая, кто стоит у ворот, княжич ясно

видел меж стен две круглые белокаменные башни и будто вросший в них боками высокий белокаменный храм с одним большим золотым куполом. Середина этого храма почти до самых боковых башен прорезана высокими воротами, огромный полукруглый свод много выше золоченых башенных крыш. Над сводом висит большой образ Пресвятой богородицы в золоченом окладе.

— Храм сей в Золотых воротах,— сказал Ивану воевода Стрига-Оболенский,— воздвигнут еще князем Андреем Боголюбским. Сии ворота — подобны киевским, токмо в Володимере, опричь их, есть еще Серебряные и Медные.

Церковный звон, крики воинов и толпы народа заглушают слова Оболенского.

— Сыночек тут старшенький князя великого,— звонко раздается над толпой женский голос,— княжич, бают, Иван!..

Радостный гул криков прокатился по ближайшим рядам толпы, и княжич Иван услышал со всех сторон веселые восклицания:

— Не зря княжич-то послан — крепкое дело!..

— Храни, господь, град наш!..

— Будем поганых бить!..

Княжич Иван впервые один был, без отца, перед лицом народа. Побледнел он от волнения и напряжения, припоминая, как вел себя отец в таких случаях. Страх, охвативший княжича, придавал всем его движениям сдержанность взрослого человека.

Сойдя с коня, остановился он на несколько мгновений и выпрямился во весь свой не по-детски большой рост. Темные глаза княжича медленно с пронизывающей остротой обвели всех. Отдавая поклон владыке, наместнику, боярам и воеводам, поклонился он и народу на все стороны.

— Будьте все здравы,— с трудом, но громко выкрикнул княжич Иван внезапно охрипнувшим голосом.

Кругом все замерло, и вдруг бурей прокатился могучий рев толпы.

— Будь здрав, государь!— кричали кругом, приветствуя Ивана не как княжича, а как великого князя, назвав его государем.

Иван вздрогнул, еще более побледнел, но твердо и степенно подошел под благословение владыки.

От Золотых ворот княжич Иван со своими и владимирскими воеводами и боярами последовал за владыкой в Успенский собор для совершения молебствия о даровании победы.

— Помолим господа, да поможет сокрушить нам агарян нечестивых,— громко возгласил владыка Авраамий, идя рядом с княжичем впереди крестного хода.

Взволнованный и смущенный, княжич Иван молча следовал

за епископом Авраамием к возвышающейся перед ним громаде белокаменного златоверхого собора.

Ему было все еще страшно после встречи с владимирцами. Почуял он, словно вырос сразу, старше стал, но только в душе у него как-то тревожно и смутно.

Всё же глаза его невольно останавливались на резном каменном поясе собора из узорных колонн, меж которых из камня же резаны изображения святых, листья, цветы, звери и птицы. Все изображения эти дивно расписаны яркими красками и разноцветным поясом окружают белокаменные стены всего храма.

Владыка заметил внимание юного княжича к зодчеству.

— Храм сей,— молвил он,— строен князем великим Андреем, а строили зодчие всех земель: и наши русские, и грецкие, и фряжские, сиречь итальянские...

Эти слова владыки и особливо упоминание об итальянских зодчих отвлекали княжича от дум его. Вспомнил он и часы самозвонные, что Лазарь сербин деду его на дворе ставил, и бабкины чарки, стóпы и сулеи резные и кованые, тоже заморской работы...

— А ты был, отче, в иных землях?— спросил он владыку.— Видал ли ты всякие художества и хитрости фряжские и грецкие?

Владыка внимательно поглядел на княжича и ласково молвил:

— Был яз в землях фряжских и грецких. Ужо после трапезы расскажу тобе о разных художествах и хитростях фряжских, а наипаче о мистериях, сиречь о таинствах, которые своими очами зрил...

Владыка смолк, медленно крестясь и восходя по белокаменному крыльцу в собор. Иван, сняв шапку, тоже стал креститься. Когда поднялись они, перед ними распахнулись широко золоченые двери соборных железных врат, и они вступили на звонкий помост храма, выложенный узорными медными плитами.

Перед самым началом молебна владыка сказал княжичу:

— Смотри, княже, как расписаны стены сии, писаны бо они Рублевым и другом его, Даниилой. Да погляди и на великокняжий стол. Вон там, у амвона...

Слушая молебен, смотрел княжич на сияющие краски икон, но не радовался им так, как в Сергиевой обители. Смутно было в душе его, почему-то все вспоминались малопонятные, но занозливые слова кузнеца Ермилки.

За трапезой у владыки Авраамия гостей было мало: княжич Иван и воеводы — князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский да боярин Константин Александрович Беззубцев. Разговор шел о военных делах и о кознях Шемяки.

— Умен, ох умен Шемяка,— говорил Авраамий, покачивая печально головой,— но ум-то у него токмо на козни и пакости. О пользе же государственной и о людях не мыслит он. Ястреб он и дале своего гнезда не зрит.

— Истинно,— живо отозвался Беззубцев.— Вот и татар он привел казанских. Ты мнишь, без него они пришли? Нет. Он и с Синей Ордой, и с Казанью, и со всеми ворогами Москвы — заедино! Всех их, волков, на Русь манит, абы самому властвовать.

— Право слово твое, Костянтин Лександрыч,— согласился князь Стрига-Оболенский.— Чаю яз, что и сам Шемяка на Москву метит. Разумею так: татар он посылает через Нижний к Володимеру и Мурому, дабы глаза отвести нам, дабы подале от Москвы мы полки свои поставили. Сам же князь Димитрий изгоном поскачет к Галичу, а оттоле ударит борзо и нечаянно на Кострому, и ежели возьмет град сей,— поскачет на Москву.

— Тата царевичам не велел пускать Шемяку в Москву,— неуверенно напомнил княжич Иван.

— Верно, верно,— весело одобрил Стрига-Оболенский вспыхнувшего от радости Ивана.— Надобно немедля с Касимом снестись и Якубом. Пусть идут на Кострому, навстречу Шемяке, лицом к нему, а спиной к Москве.

— Мне ж, мыслю,— вступился в разговор Беззубцев,— надобно утре, до свету, навстречу татарве идти от Володимера к Нижнему. Воеводу же Ивана Руно с пути отпущу к Мурому в тыл агарянам. Не любят татары прямого боя. Сильны они токмо нечаянным набегом, как разбойники в нощи...

— Иди так, Костянтин Лександрыч,— согласился князь Иван Васильевич.— Яз же в Кострому пойду, где сидит с заставой и двором великокняжеским Федор Басёнок. Упредить Шемяку хочу. И царевичи, мыслю, поспеют во благовремении...

Воевода Стрига-Оболенский помолчал и, взглянув несколько раз на Ивана, добавил, обратясь к отцу Авраамию:

— Нет. Не возьму сие собе на душу. Оставлю княжича в Володимере на твое, отче, попечение, и о том сей часец пошлю великому князю вестника...

Княжич вспыхнул и сурово спросил:

— Пошто оставляешь мя? Государь отпустил мя на татар, а ты супротивное деешь...

Улыбнулся князь Иван Васильевич.

— Яз чту тя за храброго, Иване, да и яз не труслив, но в ратном деле и разум надобен. Не такова рать будет, как в Москве мы с государем мыслили. В Костроме в осаду сяду.

Воеводы подошли под благословение владыки.

— Да поможет вам господь,— говорил отец Авраамий, крестя воевод.— Мы же тут будем усердно молить о том Христа-спасителя и заступницу нашу пресвятую богородицу.

Воеводы вышли. Иван, сдвинув брови, недовольно посмотрел им вслед. Авраамий улыбнулся, взглянув на княжича, и молвил:

— Не гневись, Иване. Не ты прав, а прав князь Иван Василич. На ратном поле не государь, а воевода хозяин.

Огорченный Иван не скоро успокоился. Ему досадно было, что не пустили его биться с татарами. Бои и осады городов он уже видел, но издали, словно игру какую, а все же и страх испытал на войне немалый и скорбь. Плохо слушал он разговоры владыки, не сознавая, отчего горько ему: оттого ли, что не взяли его, оттого ли, что сам в душе доволен, что не взяли.

Вообще многое, что раньше было ясно и просто, как в сказках мамки Ульяны, теперь перепуталось. Ничего порой понять он не может и чем более понять хочет, тем более все мутится.

— А стенопись в храме видел? — услышал он среди неясных дум своих слова владыки.

— Видел,— ответил Иван,— такую же стенопись видел и у Троицы в Сергиевом монастыре.

— Истинно так,— обрадовался Авраамий,— ибо и там, у Сергия, на стенах писал Рублев, глаз у тобя, Иване, остер вельми к художеству!

Владыка Авраамий задумался вдруг. Княжич Иван не сводил глаз с владыки, взор которого сделался невидящим, уходящим неведомо куда. Иван не знал, что скажет ему отец Авраамий, но волнение охватывало его, и чувствовал он, как в груди у него все дрожит.

— Пытал ты,— услышал он голос владыки, особый, не похожий на прежний,— бывал ли аз в чужих землях... Помню фряжские, сиречь латыньские земли. Не похожи они на наши. Инако латыне живут...

Авраамий говорил медленно, будто разглядывал что-то вдали, не торопясь, думая о своем и совсем забыв об Иване. Но Иван весь в слух обратился и даже рот раскрыл.

— Вижу аз, как чудо некое,— продолжал тихо отец Авраамий, все еще блуждая взором где-то далеко,— вижу храм красоты дивной. Особливо купол его восьмигранной, который шириною во весь храм, а высотою — как прекрасная гора над всей Флорентией возвышается. На нем же, на куполе том, стоит легкой и баской фонарь из мрамора с золотой маковкой. Горестно токмо мне, что в золотой сей маковке не наш восьмиконечный

крест вделан, а четырехконечный латыньский крыж. Все же глаз отвести никому не можно от сего дивного творения фряжского зодчего Филиппа Брунеллеска![1]

Вдруг владыка неожиданно просиял весь лицом и, схватив Ивана за руку, заговорил радостным, молодым совсем голосом:

— Строил же сей зодчий купол-то на диво всем без столбов и лесов всяких. Ни снаружи лесов не было, ни изнутри, а строил фрязин Филипп кладкой простой, рассчитав в уме своем тяжесть и опору камней друг на друга в своде того вельми великого купола. Под сводом вот сим, якобы висевшим над нами, подобно небесам, и отслужил папа Евгений в день окончанья осьмого собора латыньскую обедню. К часу тому фрязин как раз и купол окончил строить...

Потемнел опять лицом владыка Авраамий.

— В сей же день, июня шестого, в лето шесть тысяч девятьсот сорок седьмое[2], подписали мы хартию о соединении церквей — нашей грецкой православной веры и веры латыньской,— добавил почти шепотом отец Авраамий и задумался.

Иван, взволнованный рассказом, задавал вопрос за вопросом о фрязине-строителе, пытая, как без лесов он мог такой высокий и великий свод строить. Много и долго рассказывал Авраамий своему юному собеседнику, ибо сам весьма любил зодчество, ваяние и художество.

Утомившись, Иван замолчал, но ненадолго.

— А как имя сему храму дивному?— спросил он снова.

— Собор Пресвятыя богородицы, по-ихнему — Святой Марии дель Фиóре...

Отец Авраамий снова загорелся и заговорил, волнуясь:

— Есть еще во Флорентии богородична церковь — Святая Мария новая. Похоронен там патриарх цареградский Иосиф Второй, иже преставился за месяц до окончания собора, июня девятого. Видел аз в сей церкви, когда погребали там святейшего отца нашего, чудесную и дивную икону Пресвятыя богородицы с младенцем, мадонну по-ихнему. Писал ее Иван Чимабуй[3]. Вельми аз сей иконе возрадовался! Нашего она письма и к грецкому близко, и во многом подобна тому, как наш Рублев пишет. Токмо у Рублева цветистей и лучше. Для-ради умиления и кроткости сердца у Рублева-то писано...

---

[1] *Филиппо Брунеллески* (1377—1446) — знаменитый итальянский архитектор.

[2] 1439 г.

[3] *Джованни Чимабуэ* (1240—1302) — знаменитый итальяиский живописец.

Княжич Иван слушал молча, напрягая внимание, но, когда владыка Авраамий опять замолчал, тотчас же спросил его:

— А пошто и как ездил ты в латыньскую землю?

— Отпустил мя отец твой, великий князь, с митрополитом Сидором в лето шесть тысяч девятьсот сорок пятое [1] на осьмой собор, а с нами было еше разных людей около ста из духовных и мирян. Не верил государь наш Сидору, да и мы тоже, потому из грек был митрополит, не русский человек. Нам же за Русь на латыньском-то соборе стоять было надобно. Из духовных, опричь меня, были архимандрит Вассиян, пресвитер Симеон да еще некие попы и дьяконы. Из мирян же бояре и дьяки, кои поученей, а от князя тверского Борис Александрыча, тестя ныне твоего, знатный вельможа Фома...

Собор-то сей созвал папа Евгений да грецкий царь Иоанн, дядя он тобе по жене своей Анне Васильевне, тетке твоей родной.

Согласились они учинить едину церковь, а главой всего христианства папу поставить, а нашу грецкую веру с римской соединить под его началом...

— Пошто же тата отпустил Сидора?— воскликнул княжич.— Ведь латыне поганой веры, пошто ж было на их собор ехать?

Авраамий слегка улыбнулся.

— Так и отец твой мыслил, но удержать Исидора не мог. При всех нас тогда рек он митрополиту: «Отче Исидоре, мы тобе не повелеваем идти на осьмой собор в латыньскую землю, ты сам, нас не слушая, хочешь идти. Буди же тобе ведомо: когда оттуда возвратишься, принеси к нам нашу христианскую веру такой, какую наши прародители приняли от греков». Исидор же, ложно кляняся соблюсти православие, уже тогда мыслил учинить согласие с латынянами...

— Пошто ж того греки захотели?— возмутился Иван.— Ведь православные они.

— Турки их теснят, как нас татары,— ответил владыка,— а силы-то ратной мало у них. Вот цари их и предались латынству. По́мочь за то обещал им папа рымской...

Отец Авраамий горько усмехнулся и замолчал, печально склонив голову.

— Меня окаянной Сидор,— горестно воскликнул владыка,— меня он, окаянной, заставил на грамоте подписать согласье! Смалодушествовал аз, не посмел ослушаться...

Старик сморщился, словно от боли. Хотел что-то добавить, но только еще ниже опустил голову. Иван не понимал всех этих согласий и разногласий отцов церкви, не замечал и печали

[1] 1437 г.

отца Авраамия. Мысли его тянулись к чудесным землям, о которых он так много от всех слышал.

— Отче,— спросил он громко, соскучившись молчанием владыки,— как же вы ехали во фряжскую землю?

Авраамий вздрогнул и, посмотрев на Ивана большими голубыми глазами, тихо и грустно заговорил:

— Поехали мы, Иване, в Ригу на конех. Оттоле же в немецкой город Любек морем плыли Варяжским. От Любека же снова на конех в Липец[1], потом в Аушпорк[2]. Зело богат сей город — купцы его в Москву к нам и в Царьград товары возят. От Аушпорка мы через горы великие[3] ехали вдоль ущельев глубоких и долгих, и над нами вершины гор были в снегу все, и снег-то на них никогда не тает. В самый жар летний на них снег, как зимой, ибо выше облаков они небесных, а зимы же в тех странах совсем нет. Потом в Феррару латыньску прибыли, а оттоле, когда там начался мор, во Флорентию уехали всем собором: и латыне, и греки, и мы, русские...

Владыка Авраамий замолчал, посмотрел на княжича и молвил, позевывая и крестясь:

— Пора, княже, и на опочив нам после обеденной трапезы. Уморился аз, да и тобе с пути отдохнуть надобно.

Владыка Авраамий повелел келейнику своему позвать к ужину княжича Ивана. Темнело уж, когда Иван с Илейкой вошли в трапезную. На столе горели две восковые свечи, слабо освещая довольно большой покой.

Отец Авраамий сидел один, а тень его, большая и черная, странным, продолговатым пятном трепетала и качалась на гладкой стене то вправо, то влево. И от трепетания теней этих, и от сумрака в покоях, и от самого владыки, неподвижно сидевшего, становилось как-то тревожно.

Когда же за княжичем и Илейкой захлопнулись двери, язычки пламени у свечей вздрогнули и заметались, и так же суетливо заметалась по стене тень отца Авраамия, потом вдруг потянулась вверх, обозначая длинный стан владыки во всю стену и голову его у самого потолка. Владыка поднялся и, широко крестясь, стал читать молитву перед трапезой.

— Садись, Иване,— проговорил он, благословив после молитвы княжича и Илейку, и добавил, обращаясь к последнему:— А ты повечеряй у келейника моего. Когда будет надобно, призову тя.

Илейка поклонился и вышел, но в дверях задержался.

---

[1] *Липец* — г. Лейпциг.

[2] *Аушпорк* — г. Аугсбург.

[3] Альпы в Тироле.

— Отче святой,— сказал он,— дозволь зайти к тобе, когда вестники пригонят. Ныне с часу на час ждут их...

— Приходи,— разрешил владыка.

— Какие вестники?— спросил Иван, когда затворилась дверь за Илейкой.— Из Москвы али от воевод?

— От воевод, чаю, будут,— глухо ответил владыка, благословляя трапезу.— Беззубцев обещал пригнать. Но о том после. Вкушай от яств сих...

Иван вдруг почувствовал нестерпимый голод, стал с жадностью есть жирную стерляжью уху. Владыка ничего не ел. Задумчиво склонив голову, он смотрел куда-то вдаль. Иван это заметил, когда уже насытился и стал пить мед, поставленный перед его миской. Княжич долгое время не решался нарушить странное молчание владыки. Он тоже молчал. А в трапезной было тихо, так тихо, что слышно, как капельки воска у погнувшейся немного свечи, падая на стол, стучат, будто кто-то изредка роняет на доску хлебные зернышки. Веет откуда-то холодом. Пламя свечей непрестанно колеблется, и тени на полу и по стенам, кажется, испуганно бегают, прячутся и появляются, словно боязливые и юркие мышата. Ивану становится не по себе, и, чтобы прервать неприятное молчание, он спрашивает о том, что первым приходит на ум.

— А так ли топки улицы в латыньских городах,— говорит он тихо,— и кладут ли помосты из бревен, как у нас в Москве?

Владыка улыбается, и на лице его тоже мелькают тени от свечей.

— Нет, Иване,— отвечает он негромко,— там нет ни топей, ни грязи не токмо в городах, но и на дорогах. Камнем там дороги убиты везде, а во всех градах помосты на улицах из жженого кирпича. Во Флоренции же все площади и почти все улицы не кирпичом даже, а плитами каменными мощены... На площадях же фонтаны, сиречь источники воды, яко родники бьют. Родники же сии от малых речек, что по трубам от рук человеческих ко градам пускаемы...

— Может ли быти?— дивился княжич.— Как же сие творят?

— Заключают ближний от града ручей али речку малую в трубу, из камня или кирпича сложену. Оную же трубу, на столбах ли каменных, по стене ли, ведут ко граду, а там малыми трубами пропускают воду от нее на площади, к фонтанам...

Владыка придвинул к себе чарку с заморским вином и стал прихлебывать маленькими глоточками.

— По-иному у них все, Иване,— продолжал он.— Зимы не бывает совсем. Снегу и мокрети осенней или весенней тоже нет. Зимой токмо дождей больше, а так сухо и тепло всегда. Помню аз, в ноябре было, на святого Прокопия. У нас-то бают: «Прокоп

по снегу ступает, дорогу копает», а у них — цветы еще кругом цветут, розаны в садах благоухают.

Отец Авраамий помолчал и стал рассказывать, как накануне святого Прокопия, в день праздника введения во храм пресвятыя богородицы, увидел он впервые мистерию, знаменитое представление об Адаме. Медлительный голос отца Авраамия среди тишины звучал по-особому, словно вытекал из полумрака трапезной, и снова сливался с бегущими повсюду тенями. От этого все, что говорил он, будто рисовалось перед глазамн Ивана. Он видел и ограду церковную, мощенную каменными плитами, и бога отца, каким пишут его на иконах. Бога изображал дьякон, и бог мог выходить только из церкви и уходить туда же обратно...

— На церковном дворе,— говорил владыка,— на возвышенном месте изображен был рай, в коем пребывали Адам и Ева. Место сие было огорожено, а на изгороди кругом, до самой паперти церковной, висели ковры и завесы. За сей оградой вижу аз, ходит Адам в алом летнике и Ева — в белом. Токмо главы и плечн нх видно. Посреди же рая древо возвышается — древо познания добра и зла. Убрано древо сие дивными яблоками и другими плодамн и цветамн, и сама ограда райская в зелени вся и в цветах благоухающих... О, сколь чудно и дивно было сие видение, о, сколь хнтро сне деяние!

Княжич Иван слушает, не отводя глаз от владыки. Он давно знает из библии о дьяволе-соблазнителе, проникшем в рай в виде змея. Он знает, что бог запретил Адаму и Еве есть плоды древа познания добра и зла; он знает, что был нарушен завет божий на погибель всему роду человеческому. Но теперь он видит это словно воочию, н дрожь проходит по телу.

— Вот из-за ствола древа ползет по дебелому суку сатана во образе змеевом,— тоже волнуясь, говорит владыка,— и Еве шепчет змей, указуя главой своей на висящий подле него плод зрелый: «Вкуси сего, Ева, и дай ясти Адаму, и будете оба равны во всем создателю вашему...»

Слушает княжич дальше н будто сам видит, как колеблется Ева, но змей ближе спускается к ней с древа, обольщая речами. Подошедший к Еве Адам отказывается вкусить от запрещенного плода, но Ева срывает яблоко и съедает половину.

— Человек не знал ничего подобного,— восклицает она,— глаза мои все теперь видят, словно я бог всемогущий! Ешь и ты...

— Я тобе верю,— говорит Адам,— ты подруга моя...

И вот совершается непоправимое зло для всего человечества. Адам съедает вторую половину яблока, но он тотчас же познает всю глубину греха своего и, склоняясь, скрывается за оградой рая и снова показывается из-за нее, но одетый уже в листья, сшитые наподобне рубахи, рыдает, горестно плачет...

Княжич Иван взволнован, и в ушах его звучит знакомый плач Адама, не раз им слышанный в Москве от нищей братии, от калик перехожих:

Ты, раю мой, раю, прекрасный мой раю!
Увы, мне, грешному, увы, беззаконному!
Меня ради, раю, сотворен бысть,
Евы ради, раю, заключен бысть...
О боже милосердный, помилуй нас, грешных...

Потрясенный и взволнованный, Иван не может сразу понять, почему отец Авраамий стремительно встает из-за стола, а в дверь входят люди.

— Ну, что?— спрашивает торопливо владыка, благословляя вошедших.— Что повестуют воеводы?

Радостные, светлые лица вестников уже дают ответ на вопросы.

— Токмо пригнали, владыко,— кричат вестники, двое боярских детей, прискакавшие от воеводы Беззубцева,— коней, почитай, загнали.

— Бегут татары, яко бесы от ладана!.. Сей часец в Москву надобно...

Вестники пьют с жадностью поднесенный им мед, заедая кусками пирога с кашей. Владыка терпеливо ждет, пока они прожуют, но Илейка, стоя в дверях, не может сдержаться.

— Куды ж татары-то бегут?!— восклицает он.— Куды бегут-то?

— К Нижнему бегут,— громко отзывается один из вестников, доев пирог и запив его квасом.— И от Володимеря и от Мурома бегут, собаки!

— У села Рождественского [1] на Клязьме встретились с погаными,— продолжает второй вестник,— станом там они стали... Побили их немало, и полон отбили. Дозорные же Ивана Рунова на Оке татарских конников уследили. Бегут, бают, неготовыми дорогами тоже к Нижнему...

Владыка, просияв весь, оборотился к образам, долго крестился и шептал молитву. Потом отпустил всех, благословляя и говоря весело:

— Помиловал господь нас, грешных. Можно и спать сию нощь спокойно...

Веселыми и радостными вернулись княжич с Илейкой в отведенную им келью.

— Помогли нам святые угодники,— бормочет Илейка,— опять Шемяка сплоховал, и татары ему не помогли, окаянному...

---

[1] *Село Рождественское* — г. Ковров.

Раздевая княжича, Илейка спел даже плясовую песенку.

— Веселый ты, как мамка Ульяна,— сказал ему Иван, но Илейка быстро стих и замолк.

Только укрывая княжича одеялом, он проговорил мрачно:

— Веселый-то я веселый, а и в меня немало гвоздей всяких забито — и деревянных и железных...

Илейка глубоко вздохнул.

— Иной раз я гвоздями теми хуже, чем зубами, маюсь. Ох и болят же, проклятые!..

Илейка помолился и стал укладываться на своей пристенной скамье, ближе к выходным дверям. Но не захрапел он сразу, как всегда, а лежал тихо, неслышно, только иногда поворачивался на другой бок и глубоко вздыхал. Не спал он в эту ночь, да и княжичу не спалось. Представлялось ему все страшное, что люди творят меж собой — и свои, православные, и татары. Думал о казнях он разных, убийствах, вражде и зле. Мать потом вспомнил, мамку Ульяну, бабку...

Тоска заполонила его всего, грудь сдавила, вздохнуть не дает. Не может Иван этой муки выдержать.

— Илейка,— со стоном говорит он,— спишь ты, Илейка?

— Не сплю, Иване,— отвечает Илейка.— И вести радостные, а сна вот нетути...

— Тяжко мне, Илейка,— громко шепчет Иван,— тоска меня мутит... Пошто горько мне? Пошто радости мне нет, Илейка?

Долго молчит дядька княжича, словно вспоминает что-то забытое.

— И у меня так было,— заговорил он, наконец,— токмо не в твои годы, а когда вот усы расти начали и заботы пошли. Ну, тоска смертная одолевает, моготы нет! Словно в душе моей сломилось что... Дай, думаю, к деду своему схожу, жив еще был Афанасий Герасимыч. Хошь боле ста ему было, а из его так и лилось само: и песни, и сказки, и притчи... Деревня-то наша край Волги стоит. Испокон веку рыбой промышляет. Все там зимой сети плетут — и мужики и женки. Токмо дед-то мой ничего не деял. Жил собе князем, особливо зимой. Соберутся мужики у кого в избе, велят бабам пирогов напечь, принесут медов разных, пива, браги, а бабы яиц, молока притащат. Ну, сидят, плетут целый день, а стемнеет — лучину жгут, а сами дело свое деют, вяжут все, а Афанасий Герасимыч им баит и баит, да так красно, что тишина в избе, никто кашлянуть не смеет... Ну, пошел я к деду своему, так и так — сказываю. А он мне притчу. Не понял я притчу ту сразу, потом уж уразумел...

Илейка вздохнул и замолчал.

— Какую же притчу-то дед тобе сказывал?— спросил Иван.

— Мудрену притчу сказывал,— заговорил снова Илейка,— а вот она у меня в памяти и по сей часец, и голос деда помню, как он сказывал...

Илейка переменил голос и речь свою и заговорил протяжно и неторопливо, вдумчиво, будто сам все передумывал:

— Жили-были сироты Иван да Марья. Родился у них сын Степан, да такой, что вборзе назвали его Степан-богатырь. Восьми лет Степан уж на коне по полям полевал, поле́ницей удалой стал. Твоих лет был, значит, а ростом-то хоть и ты велик, но тот раз в пять тя выше. И хошь ты силен да крепок, а тот раз в сто дородней тя силой-то. Богатырь великой! Никого не боится, и все ему радость и веселие: и день, и ночь, и зима, и лето, и люди — что стары, что малы, что мужики, что женки. И его все любили, а пуще всего девки. Круг его и птицы и люди поют, цветы расцветают, и сладкой дух их кружит ему голову. Радуется Степан-богатырь, не наглядится на божий свет, будто в райском саду живет. Песни сам распевает, меды, вины разны пьет да красных девок ласкает.

Вот раз едет он на коне богатырском по лугам со цветами лазоревыми, мимо садов яблошных да вишенных, к любе своей спешит.

Вдруг навстречу ему баба-Яга в ступе мчит, пестом погоняет, метлой след заметает. Горбата, нос крючком, рот беззубой, токмо два клыка, как у кабана, наружу вылезли, глаза зелены, словно кошачьи. Страх глядеть, какова, а Степан-богатырь и ей радуется, словно мать родную видит. Смеется и баба-Яга, да от смеху того у всякого бы дрожь по спине, а Степану хоть бы что.

— Здравствуй,— говорит,— бабушка!

Остановилась Яга, посмотрела на него из-под ручки и даже клыками заскрипела от злобы. Степан же и того не понимает, думает: ради ласки она ему зубами-то щелкает. Молод вельми — зло-то мирское от него в то время словно пеленой узорной завешено было...

— Дурак еще ты, Степанушка,— змеей шипит баба-Яга,— телом ты богатырь, а умом и сердцем — дите...

Дивится Степан речам ее, а сам чует, что не понимает, о чем она баит.

— Не разумею, бабунька,— говорит,— про что сказываешь...

— А что ты разумеешь-то?— с гневом отвечает Яга.— Хочешь ли ты разуметь усе, как надобно? Коли хошь, то вот тобе коготок линялый от Гамаюн-птицы вещей...

Положил Степан коготок за пазуху, а Яги и след простыл. Задумался он, и конь его стоит смирно, задремал даже. Ничего Степан уразуметь не может, токмо тоска его, словно мышь, грызет. Глядит он — солнце-то сияет, а день-то темнеет, глянул на цветы

на лазоревые, что душу его радовали. Видит, потоптал он их множество конем своим, да и другие проезжие не менее его притоптали, да и скот немало объел. Пожалел Степан цветики притоптаны и поехал садами. Сорвал яблочко румяное да пахучее, разломил его, а у самых косточек жирный червь сидит, все объел кругом, обгрыз и дерьмом своим запакостил...

Швырнул Степан с досадой яблочко и поехал прямо на широкий двор к любе своей. А на дворе-то крик, стон и плач. Одних кнутами бьют, других батогами. Никогда того Степан не видал, а ведь скольки месяцев кажиный день тут проезжает...

— Что такое? — крикнуть хочет, а выходит у него шепотом.

И слышит, что тоже кто-то шепотом ему в ответ из его же пазухи шепчет:

— Правеж то, Степанушка. Повседневно так дворской со слугами недоимку из сирот выколачивает. Токмо без меня ты ране того не видал...

Тоска тут смертная Степана взяла.

— То коготок Гамаюн-птицы шепчет,— закричал он голосно.— Помрачила мне свет божий баба-Яга!..

Ищет он за пазухой коготок вещий, скорей бросить прочь его хочет, а найти не может. Нащупал потом — под кожу ему ушел коготок-то да к ребру под самым сердцем и прирос...

Илейка вздохнул и добавил:

— Вот-те и притча.

Иван не понял конца и спросил:

— Пошто же свет-то у него помрачился?

— Детство в душе его кончилось,— грустно ответил Илейка.— А какая без детства-то радость?..

Задумался Иван, все еще не понимая, и вдруг уразумел все.

— Сие как у Адама с Евой,— сказал он вполголоса,— когда они яблоко съели...

Глава 14

ВО ВЛАДИМИРЕ

На другой день поехал Авраамий литургию служить в соборе у Пречистой и пригласил с собой княжича.

— Пришли новые вести, и ныне с амвона скажу их христианам,— говорил он, усаживаясь в сани.

Иван с Илейкой пошли к коням своим и поехали шагом за владыкой, а позади их конная стража в небольшом числе.

Гудели торжественно колокола им навстречу, когда они подъезжали к собору, а вспугнутые звоном голуби стаями кружили около звонницы. Толпился народ на площади, и

все, прикрывая глаза от солца, смотрели иа владыку н княжича. Ннщне — хромые, слепые, безрукие — старики н старухи заполиялн всю паперть.

Слезая с коня, Иваи слышал, как иедалеко от иего, утопая в звоие церковном, глухо и печально тянулась песня ннщнх:

Злы татарове иабегали,
Избы, теремы сожигали,
Старых стариков убивали,
Молодых в полон полоиили...

Отдав коня Илейке, Иван стал подниматься по ступеням папертн вслед за владыкой, благословляющнм народ. Почти у самых дверей храма иежданио догнал его чнстый н звоикий голос, покрывая голоса всех других:

Встань, пробудись, дитятко,
Сымай со стены сабельки.
И все-то мечи булатиыи.
Ты коли-руби сабельками
Злых татар с татарчоиками.
Всех секи, кроши губителев
Ты мечами да булатными...

Княжич Иваи огляиулся н вндит: стоит высокая слепая старуха. Глаза ее покрыты бельмамн, неподвнжно глядят, куда — иеведомо, а голос ручьем серебряным разлнвается, тоской течет со слезами горькимн. Сжалось сердце Иваиа от голоса этого,— будто ото всей землн русской идет он. Оглянулся княжич опять назад, да ворота церковиые за инм затворились, а в храме стнхло все вдруг и замерло. Владыка остаиовился н за руку удержал возле себя княжича.

— Помедлим тут,— прошептал ои,— сей часец протоиерей Тнхон чнтать будет канон на поганых татар...

Утреия уже коичнлась, н нз алтаря вышел старец протоиерей в одной епитрахилн и молнтвенно, как в говенне велнкопостное, преклоиил колеиа пред алтарем у царских врат. Встав н крестясь нстово, возопил он со скорбной мольбой тнхо, но внятно:

— Силою иепобедимою, Христе, матери своея молнтвамн препоясав князя иашего, покори ему поганых, ты бо державец едни во браиех, человеколюбче!..

Снова простерся ниц священнослужнтель, н все, что были в соборе, словио вздохом одинм вздохнув, пали на коленн в тоске и слезах. Плакал, стоя на коленях, н княжич Иван.

Не вставая с колен, еще жалостией н громче воскликнул протоиерей дребезжащнм старческнм голосом:

— Ярость иеверных врагов, злую гордость н шатание покорн

под нозе, молим тя, владычице, благоверному князю нашему, твое заступление охраняющее.

— Господи, сокруши злых агарян и Шемяку,— отирая слезы, прошептал Иван и устремил взгляд на икону Спасителя.

Владыка Авраамий тихонько дотронулся до плеча его и быстро шепнул:

— Иди за мной к амвону.

Княжич медленно поднялся и пошел за владыкой. Народ, почтительно расступаясь, открыл им посреди храма широкий путь к алтарю, а клир торжественно пошел им навстречу.

Началась литургия. Служил сам владыка. Княжич Иван, слушая церковное пение, крестясь и отдавая поклоны, когда следует, весь погрузился в неясные, запутанные думы. И все грустнее ему становится и хочется не то молиться, не то плакать. Вспоминаются все недавние беды и горести, и вот сызнова шемякины козни, и сызнова татары казанские, и страшно и горько Ивану, тоской гнетет его неизбывной.

— Господи,— шепчет он со слезами,— пошто, господи, у меня, как у Степана-богатыря, потемнен в глазах свет божий?

Мятется душа его, думает он обо всем, что слышал от князей, воевод, отцов духовных, от Илейки и Ермилки-кузнеца. Понять все слышанное хочет, и вот-вот приходит к нему это понятие и опять ускользает. Бьется так он в думах своих и вдруг чует, что и звон и песнопение церковные смолкли, тишина в храме, а с амвона слова владыки Авраамия доносятся, которые не сразу он понимает.

— Шемяка же Каину подобен,— говорит с горестью владыка, обращаясь со словом к молящимся,— паки ополчась на брата своего старшóго, на великого князя, неволит христиан христианскую кровь проливать. Распри и рати снова творит, крамолу непрестанно кует с погаными вместе. Понудил злодей ныне великого князя на новую рать. Татарове же токмо и жаждут грады и села наши мечу предать и разграбить. И токмо ослабнет от злой усобицы Русь,— опять Орда придет. Паки кровь отцов и братий наших, яко вода обильная, напоит землю. Многие братья, сестры и дети наши в полон уведены будут погаными. Села наши запустеют, дикой травой порастут, церкви оскверненные без звону будут, яко немые...

Владыка смолк, подавленный горем, но тотчас же снова возвысил голос свой:

— Но оставим речи печали и так с верою возопим: «Воскресни, боже, суди земли! Воздвигни великого князя, умножи силу его. Укрепи, боже, нас и утверди. Не дай, господи, в полон

земли нашей язычникам, не знающим бога истинного! Подай, господи, победу великому князю, победу на вся, восстающая на ны!»... Аминь!

— Аминь, аминь,— послышалось со всех сторон.— Заступи и помилуй нас, господи, от поганых! Накажи злодея и вора Шемяку!..

Народ зашумел и, крестясь, стал выходить из собора...

Уже третью неделю живет княжич Иван во Владимире. Вернулся уж с полками своими к празднику рождества Христова наместник владимирский, воевода Беззубцев, Константин Александрович.

Загудел весь Владимир, словно улей, радостными рассказами воинов о победах над погаными, об освобождении захваченного ими полона. Веселее от того кипит предпраздничная суматоха в старом стольном городе: готовят на площадях к праздникам качели и ледяные горы, набрались во Владимир медвежатники, кукольники, скоморохи, гудошники. Парни же и девушки владимирские учатся петь колядки, а хозяйки застилают сеном покои, варят на меду с сочивом [1] кутью из ячной крупы для ужина в сочельник, когда ничего весь день не едят до первой звезды. Во всей толчее этой и суматохе степенно все делается, как и полагается в такой пост.

Константин Александрович пригласил к себе в наместничьи хоромы на святки и княжича Ивана и владыку Авраамия. Фекла Андреевна, супруга наместника, не ждала таких гостей и смутилась было, но все-таки не отказалась печь «козюльку» [2], чтобы, ныне же спрятав ее, хранить весь год до будущего сочельника. Только бы владыка о том не узнал, что домового она тешит. Да что делать — скота жалко. Не взлюбит скотину дворовый хозяин, и коровы останутся яловы, и мор может на них прийти, а коней и сам защекочет...

— Василей-то баил утресь,— вслух высказывает она мужу свои соображения, надеясь на его поддержку,— баил он, что твой-то жеребец весь в мыле был и грива вся спутана у него. Хозяин его мучит. Козла хотят пустить ему в стойло...

Константин Александрович промолчал, знал он, к чему ведет речь Фекла Андреевна. Племянник же ее, молодой подьячий Федя Курицын, улыбнулся и молвил:

— А ты бы, тетунька, лучше не пекла бы бесу козла, а святым угодникам божьим свечи да лампады теплила, а жеребца-то святой бы водой покропила. Помолись вот Флору

---

[1] *Сочиво* — семенной сок, или молоко, из разных орехов, из конопляных, маковых и прочих масленистых зерен.

[2] *Козюлька* — выпеченное из теста изображение козла. Приносилось в дар «домовому».

и Лавру. «Флор-Лавёр — до лошади добёр», а то и святой Степан на то вельми гож...

— А коровы-то как, Федюшка?— язвительно прищурив глаза, спросила тетка.

— Коровы? Изволь: молись святому Власию да Вуколу-телятнику.

— А овцы?— вызывающе продолжала Фекла Андреевна.

— А на то еще более святых: Василей овцам шерсть дает, Мамонт, Онисим, Абрам — овчарники, Настасья — овечница...

— Для всех же от скотского падежа святой Модест,— усмехаясь, вставил свое слово сам Константин Александрович.

— Для кур, уток, гусей,— смеясь, продолжал Федя Курицын,— Кузьма, Демьян да Никита-гусятник, а для пчел — святые Зосима и Савватий...

Но тетка не стала слушать дальше. Насмешливо уперши руки в бока, она молвила с укоризной:

— Ишь умудрил господь бог вас обоих! Да ежели яз всем тем святым молебны петь буду да свечи ставить, то у меня и времени на хозяйство не станет и казны не хватит. Эх вы, головушки!

Тетушка с обидным презрением фыркнула, но добавила потом спокойно и деловито:

— Тут же яз токмо одну козюльку спеку, и весь год дворовой хозяин ко всей скотине, ко всей птице добёр да ласков...

Беззубцев переглянулся с Федей, и оба весело рассмеялись.

— Нет, брат,— сказал Константин Александрович,— не годимся мы с тобой к хозяйству!

— Все ж, тетунька,— посоветовал Федя,— ты пуще зеницы ока хорони от владыки козюльку-то. Яз, как ученик его, добре знаю нрав отца Авраамия. Осерчает он! Ревнив к язычеству всякому...

— Да нешто сие язычество?!— возмутилась Фекла Андреевна и, крестясь, вышла с досадой из покоя.

Константин Александрович, улыбаясь, подошел к окну и заглянул на улицу.

— Что-то не едет владыка-то,— проговорил он,— ты бы, Феденька, сходил к дворецкому. Как бы не прозевали гостей.

— Иду,— ответил Федя и, вставая со скамьи, спросил:— А истинно то, что княжич вельми разумен?..

— Истинно так,— ответил Беззубцев,— дивно разумен. Велик и телесами и разумением, будто и не отрок, а парубок. Ну, да сам узришь севодни...

Постучал и вошел в покой дворецкий Кондратьич.

— Едут,— проговорил он,— едут, боярин. Я те и шубу и шапку принес...

— Оболокайся борзо и ты, Феденька,— заспешил Беззубцев,— побежим! Не опоздать бы нам за воротами встретить...

Гостей провели прямо в крестовую, всю устланную душистым сеном. Там горели уж свечи и лампады перед большим резным кивотом. Шелковая занавеска была отдернута, и на окладах икон, на жемчужной обнизи всякого узорочья от огоньков свечей искрились райки, а от разноцветных лампад ложились синие, красные и зеленые пятна.

Княжич Иван не слушал молитв. Крестясь и кланяясь, он думал о Москве, о том, как встречают праздник у них дома, и есть ему хотелось нестерпимо. Из крестовой Ивану видно было через сенцы, как в трапезную пронесли зажженные свечи в подсвечниках. Это напомнило о кутье. А когда в сенцах отворялись двери, пахло откуда-то печеными пирогами. Это было трудно выдержать, и княжич, наклонясь к Илейке, шепнул:

— Яз мыслю, звезда давно уж явилась, а владыка все еще молится!

— Часы ныне долги, Иване,— шепотом сочувственно ответил дядька,— царские часы-то. Я, прости мя, господи, и сам давно отощал...

Наконец все двинулись из крестовой в трапезную. Хозяева, кланяясь, пригласили гостей к столу, где беловатыми грудами на нескольких блюдах была подана кутья на меду с изюмом.

Благословив трапезу, владыка сел во главе стола вместе с княжичем. Беззубцев сам поставил перед владыкой небольшой глиняный кувшин заморской работы и молвил:

— Пей, отче святый, во здравие. Сие твое любимое, фряжское...

Все молча вкушали кутью. Раньше других насытился владыка и, отказавшись от прочих угощений, налил себе чарку заморского вина. Улыбаясь, он поглядел на Ивана и молвил, указывая на Федю Курицына, сидевшего рядом с Иваном Димитриевичем Руно:

— Тут вот, среди нас, Иване, язычник есть — сей вот юноша...

Владыка нарочно задержал свою речь, видя изумление княжича, и весело добавил:

— Не бойся, Иване. Язычник-то сей не по вере своей, а по искусству своему в чужих языках. Учился он у меня и пофряжски. Ныне же лучше меня язык сей разумеет. Дар у него к языкам вельми велик...

— Нет, княже,— живо откликнулся Федя Курицын,— владыка искусней меня по-фряжски...

— Слушай, Иване,— прервал Курицына владыка,— какие языки он ведает. Ну, Федор, сказывай.

Княжич Иван с любопытством уставил свои темные глаза на молодого человека с небольшими усами, с едва пробивающейся золотистой бородкой. Испытывая неловкость и беспокойство от взгляда княжича, Федя заговорил торопливо:

— По-латыньски яз от отца своего научен разуметь. По-татарски же и по-литовски сам с отроческих лет научился, слыша речь их...

Владыка поднялся из-за стола и, перекрестившись на образа, поклонился хозяевам.

— Спасибо за гостьбу и ласку,— молвил он и добавил с лукавой улыбкой:— Приустал аз по старости. Пора на покой мне в свою келью монастырскую...

Благословив всех, он, так же лукаво улыбаясь, обратился к княжичу:

— Подь-ка, Иване, ко мне. Благословлю и тя. Оставайся на свят вечер у Костянтина Лександрыча. Веселей тобе тут будет в праздники...

Усмехаясь, владыка направился к дверям. Пошли провожать его княжич, хозяева и все гости их. В сенцах Констанин Александрович, взяв из рук Феди шубу Авраамия, сам помог одеться владыке.

Когда сани владыки отъехали от красного крыльца, Федя весело обратился к Фекле Андреевне:

— Тетенька, а владыка-то провидец. Догадася, что ты козюльку испекла, и уехал от соблазна, дабы и нас не смутить резким словом учительным...

— И пошто тобе козюлька далась!— сердито ответила тетка.— Яз мыслю, и у государя нашего козюльки пекут...

Иван после строгих монастырских порядков сразу почувствовал себя у наместника, как дома.

— Истинно, боярыня,— сказал он просто и весело.— У нас мамка Ульяна все, когда нужно, печет: и кресты, и лестницы, и жаворонков, и козюльки...

— Тетенька, не серчай,— смеясь, заговорил снова Федя,— к слову яз баю, шутки ради. Владыка же просто мешать нам не восхотел. Придут с колядой, а то и ряженые. При нем-то не покажутся, он знает сие. Сам же он, хошь и устал, всю ночь с монахами молиться будет...

— Верно,— согласился Константин Александрович и, обратясь к княжичу, добавил:— Мыслю, что владыка и приехал-то к нам, дабы тобя, княже, повеселить. В монастыре-то у него какое там веселье!

— Княже, ежели воля твоя будет,— радостно оживившись,

предложил Федя,— пойдем завтра медвежатников да скоморохов глядеть!

— Яз с охотой пойду,— ответил Иван и, обратясь к наместнику, спросил:— А можно ли княжичу со скоморохами в народе быть?

— Мы пойдем никому неведомы,— торопливо заговорил Федя,— втроем, княже, с твоим дядькой пойдем, в шубах простых..

— Так можно,— садясь снова за трапезу, молвил с улыбкой Константин Александрович,— а все же пошлю яз с вами Кондратьича, дабы обиды не было, моего-то дворецкого все тут знают.

— И яз с вами пойду,— сказал воевода Иван Димитриевич,— люблю смотреть медвежатников да бои кулачные.

— Иди, иди, Иван Митрич,— рассмеялся наместник,— потешь с Феденькой княжича. Токмо не признали бы вас — не вместно княжичу пешу среди черных людей ходить. Осерчает государь, коли узнает про то.

— Нет, не осерчает,— быстро ответил княжич Иван.— Он слушается владыки Ионы. Владыка же мне с Юрьем в Ростове сам приказывал в народе ходить. Служек церковных посылал с нами...

Лицо Илейки расплылось в улыбку.

— Истинно, истинно,— вмешался старый дядька,— мы с Васюком да служки монастырские по всему граду княжичей водили и на владычном дворе блины да пироги ели. Меды же какие были, а брага монастырская!..

Шумом и говором наполнились сенцы перед трапезной.

— Колядники, колядники!— заговорили оживленно все за столом, а из сенцев выглядывают уж слуги и вся челядь с чадами и домочадцами.

Улыбаясь во весь рот, выходит вперед седобородый Кондратьич и спрашивает, обращаясь к наместнику:

— Разрешишь ли, господине, колядникам коляду пети?

— Чьи пришли-то?

— Свои все, господине, дворские.

— Зови, зови!— весело соглашается Константин Александрович, а Фекла Андреевна манит пальцем к себе дворецкого и вполголоса говорит:

— Подь ко мне, Кондратьич.

— Что прикажешь, госпожа?— быстро подскочив к боярыне, спрашивает дворецкий.— Не насчет ли милостыни, матушка?

— О том самом,— подтверждает Фекла Андреевна,— прикажи Фектисте-то прислать из поварни аржаных пирогов с кашей да с луком поболе, да некое число с говядиной. Знает она, как надобно...

— А меду да браги как прикажешь?

— Сколь и прошлый год. Да расчисли, дабы кажному парню по прянику медовому, а девкам — по два. Меду же и браги, кому по скольку, сам знаешь, а ежели...

Распахнулись двери в трапезную. С шумом и гамом ворвались разодетые парни и девушки, окруженные толпой старых и малых слуг и детишек. Но вот они расступились, и среди них оказался крохотный мальчик в белой, шитой шелками рубахе. Забавный в своем смущении, он неловко стоял на кривых слегка ножках и держал в шитом полотенце маленький золотистый снопик из сухих ржаных колосьев. Парни и девушки подталкивали его к кивоту, а мальчик нерешительно топтался на одном месте, боязливо взглядывая по сторонам исподлобья.

— Чей малец-то? — с улыбкой спросила Фекла Андреевна у Кондратьича.

— Терешкин,— ответил тот,— Васюткой звать.

Мальчик в это время с решимостью отчаяния вдруг засеменил торопливо к кивоту и, держа на протянутых руках снопик, взволнованно заговорил нараспев:

— Я ма-анинькой моло-отчик, при-нес бо-огу сно-опчик...

Тут Васюк немного замялся, но, оправившись, громко закончил:

— Ххлисту бо-оженьке!

Положил платочек со снопочком на приступку перед кивотом и, обернувшись к боярам, поклонился. На миг он замер на месте, но потом, сразу оробев, бросился к сеням. Кругом все захохотали, а Фекла Андреевна, перехватив Васютку у самых дверей, поцеловала и дала два больших пряника.

Тотчас же парни и девушки запели коляду, наполняя хоромы звонкими свежими голосами:

Уродилась Коляда
Накануне рожества
За рекою за быстрою.
Там кругом огни горят,
Огни горят великие.
Вокруг огней скамьи стоят,
Скамьи стоят дубовые.
Красны девки да молодцы
Поют песни Колядушке,
Посредь их старик стоит,
Точит свой булатный нож.
Котлы кипят кипучии,
У котлов козел стоит.
Хотят козла зарезати...

С шумом, рычаньем и козьим блеяньем из задних рядов протолкались парень на четвереньках в вывороченном наизнанку

бараньем тулупе, изображая медведя, и коза — другой парень. Одетый козой был в однорядке, сшитой без рукавов,— она застегивалась сверху над головой. Из однорядки высоко торчала на длинной шее деревянная козья голова. Парень время от времени дергал веревку под однорядкой, и нижняя челюсть козы открывалась и захлопывалась, громко щелкая. Коза пустилась плясать вокруг медведя, выбивая дробно ногами, крича по-козьи и припевая:

— Съел медведь тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом!.. И-иих! Кши, кши!

Коза кидается на девушек, щелкает деревянной челюстью, те громко взвизгивают, а медведь отхватывает вприсядку, ревет и ворчит. Парни же и девушки, топоча в лад каблуками, хором припевают:

Ай авсень, ай авсень!
Таусень, таусень!

Шумят кругом, визжат, хохочут все от смешных выходок и кривляний козы и медведя, хохочет и княжич Иван, забыв обо всем на свете. Хорошо ему, будто он дома, и не княжич, а просто парнишка веселый...

На другой день княжич проснулся поздно и проспал бы еще дольше, если бы не разбудило его пение причта соборного в крестовой, что рядом с его опочивальней.

— Христос рождается, славьте...— услышал Иван знакомые слова песнопения, но глаза его снова закрылись.

Потом сквозь дрему услышал он снова напев, но уже третьего песнопения, и то самый конец.

Княжич опять задремал, сладостно потягиваясь, и казалось ему в полусне, что он в Москве, у себя дома. Радостно ему, одно только тревожит, как бы отец не рассердился, что проспал он. Так оно и есть. Вот кто-то толкает его в плечо. Иван широко открывает глаза и видит Илейку, а позади его еще кого-то.

— Ишь, Иване, как заспался,— говорит Илейка,— все уже позавтракали...

— Тата на меня гневается?— спросил Иван, но, засмеявшись, воскликнул:— Истинно заспал всё! Померещилось мне, что в Москве яз...

— Помститься всякое может не токмо во снях, а и наяву даже,— молвил Илейка.— Вставай же, Иване, борзо. Позавтракаешь, и айда на площади посадские глядеть скоморохов да кукольников...

— Будь здрав, княже,— сказал Федор Курицын, выглядывая

из-за Илейки и ласково усмехаясь.— Яз и шубы достал у дворецкого попроще: тобе и Иван Митричу. Ждет он нас в трапезной к завтраку...

Иван быстро вскочил, подбежал к умывальнику и заплескался в воде. Илейка подал ему ручник и помог одеться.

Входя в трапезную, Иван увидел Константина Александровича, беседовавшего за чаркой меда с Иваном Димитриевичем Руно. Оба они встали при появлении княжича и поздоровались с поклонами.

— Прошу, княже, хлеба-соли откушать и гуся сего рождественского порушить,— кланяясь, говорил наместник.— Фекла Андреевна сама за ним приглядывала, даже Фектисте своей не доверяла...

— Будь здрав, князюшка,— сказала Фекла Андреевна из-за поставца с посудой,— садись, кушай, а яз те вот чарочку ищу попригляднеи да поладней.

Иван поклонился хозяевам, помолился на образа и, как это водится у них дома в таких случаях, прежде чем сесть, поклонился всем и молвил:

— С праздником Христовым...

— И тя с праздничком святым,— ответил за всех Константин Александрович, садясь вслед за княжичем.

— Константин Лександрыч,— сказал Иван, принимая блюдце с лучшим куском жареного гуся,— слышал яз, входя, о новой рати ты баил...

— Истинно,— ответил наместник.— Государь наш решил до конца смирить Шемяку, ведая, что никого нет за князь Димитрием, а князь можайский, отстав от Шемяки, докучает ему челобитьями и через брата своего Михайлу и через сестру свою Настасью тверску, тещу ныне твою...

— А государь как мыслит?— спросил Иван, обгладывая кость.

— Государь мудро решил,— продолжал Беззубцев,— принял челобитную князь Ивана, а сам со всей силой своей на Шемяку пошел к Галичу. Утресь вестники пригнали — подходит уж государь с полками к Ростову Великому. Побьем Шемяку!

— А может, и до боя-то не дойдет,— вмешался Федор Курицын.— Бой-то всегда заране, до поля, готовят. Шевели, бают, ране мозгами, а потом уж руками...

— Что-то мудрено ты сказываешь, Феденька,— усмехнувшись, молвил Беззубцев.

— Что ж тут мудреного,— живо откликнулся Курицын,— когда государь-то еще до боя вдвойне приобрел, а Шемяка вдвойне потерял.

— А как же приобрел-то?— спросил княжич Иван.

— А так же,— продолжал Федор.— Ежели князь можайский отстал от Шемяки, то ослабил его наполовину и на столь же усилил государя нашего. Тем самым великой князь вдвойне против Шемяки усилился. А коли так, помяни слово мое, дядюшка, смирится князь Димитрий, не посмеет и в поле выйти...

Наместник помолчал немного и сказал раздумчиво:

— Правильно мыслишь, а все же боем кончать надо. Победа на поле — всему делу венец. От Ростова-то всего три дня пути до Костромы, а Галич оттуда рукой подать. К тому же в Костроме Басёнок с конными полками и князь Стрига-Оболенской со всем своим войском...

— А по мне,— возразил Курицын,— лучше удельных лбами стукать, пусть сами друг друга бьют, а мы до нужной поры и людей своих и казну сохраним. Государь говаривает: «Надобно татар бить татарами»,— так надобно и с удельными...

Княжич Иван не мог понять, кто больше прав из спорщиков, и боялся, что вдруг его спросят, а он ничего не сможет ответить. Волнуясь и поспешно доедая завтрак, он очень обрадовался, когда воевода Иван Димитриевич весело воскликнул:

— Ну, будя преть-то, Федор Василич. Айда скорей на Залыбецкую сторону!..

Выйдя из старых наместничьих хором, княжич Иван и его спутники ходко пошли к мосту через речку Лыбедь, что отделяет залыбедские посады и слободы от кремля, окруженного земляным валом с дубовыми стенами и башнями.

— Народ-то вовсю гуляет,— воскликнул Илейка,— слышь, за рекой какой шум да гом стоит!

— Любят гульнуть на Руси,— сказал Иван Димитриевич,— токмо дым коромыслом идет!

Иван шел молча, слушая ровный, непрерывный гул голосов. Иногда высоко взлетывали отрывки веселой песни, иногда густо и печально прокатывался тяжелый рев медведя.

Вести о походе отца и спор Федора с наместником не выходили у Ивана из мыслей. Он досадовал на свою несообразительность и пытался все еще уразуметь, из-за чего же спор был. Но глаза его разбегались, следя за яркими блестками солнца на снегу, а уши жадно ловили отдаленный гул голосов.

Вдруг он почувствовал усталость, отбросил все думы, весело оглянулся на Илейку и сказал:

— Федор Василич, вот баил ты против Костянтин Лександрыча, а он против тя, а пошто, и неведомо!

— Как не ведомо,— усмехаясь, отозвался Курицын.— Баил яз, что победа умом крепче, чем кулаком. Недаром государь ныне не токмо простил можайскому князю, а и Бежецкий верх [1] ему

[1] *Бежецкий верх* — г. Бежецк.

отдал. Напрочь от Шемяки его оторвал. Все едиио, что разбил полки можайского...

— А все же отец мой пошел ратью иа Галич,— возразил Иваи.— Выходит, и Костяитии Лексаидрыч верно баил, что победа на поле иужиа...

Руно и Курицыи с иедоумеиием поглядели на княжича, а Илейка усмехнулся и крикнул:

— Так, Иваие! А ты еще про сирот-то им вверни, про сирот. Как владыка Иоиа тобе сказывал? За княжи грехи весь мир отвечает...

Иван отмахиулся рукой от Илейки и молвил, будто вслух еще обдумывая:

— Баили вы о рати оба правильио. А про татар ты вот иеправо баишь, Федор Василич...

— Сам государь так говаривает...

— Пусть татары татар бьют,— прервал его княжич,— а удельцы-то, когда бьются, своих же сирот бьют да полонят, свои вотчииы разоряют...

— Во-во!— восторженно забормотал Илейка.— Вот что владыка-то сказывал!

В это время, перейдя мост, завериули оии за угол, и сразу их обдало шумом, визгом, гудеиьем, свистом и криками. Гудки, дудки, свистульки, сопелки, звои гуслей, пеиье и топаиье пляшущих — все это иесется со всех концов площади, кипящей народом. Но среди этого шума и гомоиа резко прорываются крики продавцов съестиого и пивного. Мужские и жеиские голоса звонко и зычио выкликают:

— Сайки, сайки! Сайка, что свайка,— крута́ и спора́!

— Сбитеиь[1] горячий, пьют подьячи! Сбитеиь, сбитенек!..

— И-их!— взвизгивают плясуиы,— и-и-и!..

Еще больше визга у качелей, взлетающих то справа, то слева иад толпой. Иной раз, когда доска почти запрокидывается верхним коицом, а веревки около иего вдруг слабиут, подаваясь под руками, визги и вопли испуганных девушек сверлят воздух.

— Ишь, дуй их горой,— смеется Илейка,— все ухи, словио иглами, проиизали!

Глухой гул огромиого бубиа и дробь барабаиа привлекли виимаиие княжича Ивана.

— Медведь тут,— обрадовался Иваи Димитриевич,— да гляди, кияже, матёрой какой!

Кияжич увидел из-за плеч толпы подиявшегося иа задние

[1] *Сбитень* — сладкий горячий напиток из подожженного меда с пряностями.

лапы огромиого бурого медведя иа цепи и с кольцом в иосу. С трудом пробились оии сквозь плотиый круг зрителей, и княжич услышал, как вожак, подергивая цепью медведя за кольцо в иосу, приговаривает:

— А иу-ка, боярии, ходи да похаживай, говори да поговаривай, да ие гиись дугой, словио мешок тугой. Повернись, развериись, добрым людям покажись...

Медведь, переваливаясь, топчется иа задних лапах и, поворачиваясь во все стороиы, словио разглядывает иарод.

— А иу-ка, покажи,— продолжает вожак,— как теща блины пекла да угорела, как у иее головушка заболела...

При общем хохоте медведь сует лапы вперед, будто сковороду на угли ставит, потом жалостио обиимает передиими лапами голову, качает ею, словио от боли...

Еще больший хохот загремел кругом, когда лесиой хозяии, жемаиясь и ломаясь, стал показывать, как «красиые девицы белятся, румянятся да из-под рученьки жеиишков выглядывают»...

Хохочет Иваи со всей толпой вместе, а Илейка, совсем как малое дитя, покатывается со смеху, бьет руками по ляжкам от восторга.

— Уморил, окаяиιой,— выкрикивает ои, захлебываясь,— ох, уморил совсем!

Показывал медведь еще, как девицы по воду ходят, и как малые ребята горох воруют, и как пьяиый мужик домой возвращается, и миогое другое...

Но вот сразу толпа вся всколыхиулась и устремилась к пригорку, где шатер стоит. Звенят у шатра гусли, играют скоморохи иа дудках, гудках и сопелках.

— Сей часец,— говорит Иваиу Федор Васильевич,— скоморохи тут представлять разиое будут. Люблю яз сии представлеиия...

Иван иикогда ие видал таких представлений и с жадиостью и иетерпением глядит иа шатер. Вот выходит оттуда толстый бородатый скоморох, одетый зиатиым бояриием, только одежа-то иа нем иеиастоящая: высокая чериая шапка из дубовой коры, а шуба ие дорогой парчой крыта, а рогожей, в разиые узоры расписанной. Важио садится боярин иа чурбан, иадменио подпирается в бока, дуется, словио пузырь, от спеси, важио оттопыривая нижнюю губу.

Вот подходят к иему двое других скоморохов, изображающих сирот. На иих грязиые рваиые азямы, лапти худые. Клаияются оии бояриию в ноги и подносят в лукошке кучку камией да пук соломы.

— Не побрезгуй нашим даром,— говорят сироты жалобно,— выслушай правду-истииу...

Боярин искоса заглядывает в лукошко, презрительио морщится

и отворачивается. В это время подходит к нему богатый гость с двумя слугами. Они еле тащат на спинах туго набитые мешки. Боярин радуется богачу, улыбается, встает ему навстречу.

— А, вы здесь,— восклицает злобно богач, увидев сирот,— на меня в суде ищете?

Сироты молчат, робко кланяются, а боярин жадно хватает мешки, положенные перед ним слугами, но не может и сдвинуть их. Он радостно смеется и кричит слугам, указывая на сирот:

— Прочь их! Гони их, гони!..

Слуги бросаются на сирот, те в страхе убегают, а богатый хохочет и говорит громко:

— С сильным не борись, с богатым не судись!

Ивана не смешит это представление, ему досадно, а Илейка жужжит в ухо:

— Так везде, Иване! Токмо посулы да подарки!..

Зашумела вдруг вся площадь.

— Бой на реке собирается!— кричали кругом.— На Лыбедь, айда! На Лыбедь!..

Народ, как полая вода, хлынул к реке.

— Айда и мы туда скорей!— закричал Иван Димитриевич.— Айда скорей!

Крутой берег Лыбеди весь усеян народом, да и с другого тоже немало глазеет людей. Иван, стоя рядом с Илейкой и Курицыным, видит неширокое ледяное поле, у берегов которого теснятся охотники, готовясь к бою. Некоторые из них сбрасывают тулупы и даже полушубки, надевают кожаные рукавицы, туже подтягивают кушаки...

— Эй, вы, что сопли распустили?— загудел вдруг неподалеку нетерпеливый зычный голос.— Словно девки на праздник наряжаетесь!..

Иван узнал голос и, взглянув немного влево, увидел впереди себя Ивана Димитриевича, сложившего у рта ладони трубой и кричавшего изо всех сил охотникам. Потом еще закричал кто-то, и поднялись крики со всех сторон. Среди гомона возбужденной толпы княжич разбирает ругательства, насмешки, подзадориванья. Волненье и задор растут кругом, охватывают и его, но в то же время ему становится страшно. Вспоминается и пожар московский и пожар и драка у блинных в Ростове.

— Эй вы, хамо-овники [1], бей теле-ежников! Тележников бей!..— истошным голосом кричит над самым ухом Ивана рыжебородый мужик.— Бей по мордам их, кобеле-ей тупоры-ылы-их!

Княжич оглянулся на своего дядьку.

---

[1] *Хамовники* — ткачи.

Илейка стоял невеселый и, уловив взгляд Ивана, тихо улыбнулся.

— Глуп народ-то,— молвил он раздумчиво.— Его и батогами бьют, и зорят, и полонят, а он еще сам собя калечит безо всякой нужды и пользы. Право попы бают против сего...

Пронзительным свистом прорезало воздух, и по этому знаку под гул и вой толпы обе стороны бойцов с криком и зыком бросились друг на друга. Замелькали кулаки, послышались глухие удары, и сразу несколько шапок слетело с дерущихся, прокатившись по льду...

— Лупи, бей!— орала толпа.— Подсаживай под микитки! Хлещи по рылам!..

— Отбивай, не сдавай! Хлещи по рылам!..

— Отбивай, не сдавай! Держись, хамовники, хрен вам в зубы!

— Шпарь, шпарь, тележники!.. Лупи, матерь их в тартарары!..

Толпа плотней и плотней сгруживалась, задние ряды напирали на передние, грозя столкнуть с берега на лед.

Вдруг толпа с неистовым воплем метнулась в сторону и расступилась.

Со льда стремительно выскочила кучка бойцов, потом еще и еще. Они бежали, прятались в толпе, а за ними гнались победители и били побежденных на бегу так сильно, что те падали наземь.

В одном месте, где сгрудились снова дерущиеся, раздались возмущенные голоса:

— Лежачих не бей, лежачих не бей!..

Зрители вмешались в драку и отогнали нарушителей кулачных правил, но самый бой уже окончился. На этот раз тележники побили хамовников. Толпа медленно стала расползаться в разные стороны: одни к качелям, к медвежатникам, к скоморохам, к ледяным горкам и прочим развлечениям; другие — по корчмам и кабакам пьянствовать, играть на деньги или на угощенье в кости и шашки.

Княжич Иван с Илейкой и Федором Васильевичем решили подождать Ивана Димитриевича у моста.

Воевода так разгорячился боем, что далеко от них отбился в толпе и теперь, видно, ищет их.

— Задор к боям у Иван Димитриевича неуимчив,— смеясь, сказал Курицын.— Подождем его тут малость. Сей часец придет, боле ему нечем тешиться...

— А у меня нет задора на то,— сказал княжич.— Задор же у меня знать всякое художество и умные хитрости разные...

Курицын посмотрел одобрительно на княжича и молвил:

— Любо мне слышать сие. Яз сам люблю все ведати умом своим.

— А скажи, Федор Василич,— обратился к нему с живостью и любопытством Иван,— скажи, как по-фряжски рождество Христово?

— Не похоже на наше,— ответил Федор Васильевич,— «иль натáтале». Вот пасха — похоже. По-ихнему будет «паска». В одной токмо буквице разница.

— А река как?

— «Уна ривьéра».

— А снег?

— «Ля нэ́ве».

— А вот мост?

— «Ун пóнтэ». Глянь, глянь, княже,— смеясь, воскликнул вдруг Курицын,— дядька-то твой, старый греховодник, какую собе ягодку нашел!..

Иван оглянулся и увидел, что Илейка весело болтает с красивой молодой женщиной. Она смеется, показывая белые зубы, и ласково взглядывает на старика, а тот помолодел словно, весь распрямился, и глаза блестят, и весь другой, будто десяток лет с него слетело.

— Ловок, ловок, старина,— подходя к мосту и подмигивая, добавил Иван Димитриевич,— пришил собе к рукаву женку!!.

Воевода подошел к бабе вплотную и, сверкнув глазами, воскликнул:

— Ишь, какая гладкая, не ущипнешь!

Баба резко оттолкнула от себя Ивана Димитриевича.

— А ты языком болтай,— сказала она, сердито хмуря брови,— а рукам воли не давай! Много вас тут, кобелей, найдется.

— Басенькая ты моя,— вступился Илейка и сказал это нараспев, да так ласково и нежно, словно обнял сладостно всю ее.— Пошто серчать-то, краса моя? К гладкой девке репей не прицепится, ми-илая.

Дрогнули ресницы у бабы, поглядела она долгим взглядом на Илейку, расправила сдвинутые брови и, радостно как-то улыбнувшись, пошла дальше.

— А любят, видать, тя девки да бабы,— сказал Иван Димитриевич,— ишь, как улестить да уласкать можешь.

— Кто богу да государю не грешен!— молвил Илейка.— Я, как скоморохи бают, «деревенщина Ермил, да посадским девкам мил». Стар вот уж ныне стал, а что греха таить, все еще баб люблю, хошь и не всяких. Хуже той нет, что похожа на курицу, которая токмо в навозе и копается. Налетит на нее петух, а ей что? Встряхнется, будто ништо и не было, и опять так же в навозе зернышки ищет. А петух дурак, около нее надсаживается, кругом ходит, крылом землю чертит, и ворчит по-особому и «кукареку» кричит. А ей что? Знай, червяков

да зерна по-прежнему клюет. Я люблю бабу ласковую, с толком. Такая баба-то твою ласку весь день в собе носит и оттого еще милей сердцу...

Илейка взглянул на княжича и, улыбнувшись, добавил:

— Тобе, Иване, сие пока без надобности. Ты, хоша и разумен, а тут еще и ни на эстолько не разумешь. Токмо, мыслю, вборзе придет и тобе пора на пору, станешь девке ступать на ногу́!..

Глава 15

СОПРАВИТЕЛЬ

Пасха в этот год ранняя. Великий пост начался с третьего февраля. Хотя и пригревает порой на солнышке, все же студеные дни и морозы не миновали, и княжич Иван и Федор носятся иногда целыми часами по твердому еще льду на коньках или далеко бегают на лыжах по крупнозернистому насту. Сдружились они к этому времени и постоянно беседуют обо всем, что только приходит Ивану на мысли. Легко и весело княжичу с молодым подьячим. Ро́вней себе он чувствует Федора, хоть и старше тот и знает всего много больше других, да ничем не стесняет Ивана, как владыки, бояре и воеводы. Для тех он мальчик, а для Федора — товарищ.

Живет теперь княжич постоянно у наместника, а у владыки Авраамия бывает изредка, когда тот приглашает его к себе. Да к владыке он ходит не один, а с Федором вместе. Так, последний раз шестого февраля, когда были получены вести, что Василий Васильевич стал в Костроме со многою силой, владыка позвал к себе Ивана вместе с Федором.

По случаю великого поста отец Авраамий угощал их только киселем овсяным с медовой сытой да сладким взваром, варенным на пиве с изюмом и рисом.

— Вкушайте, вкушайте,— ласково потчевал их владыка, но сам постничал и ничего не ел, так как была среда, а только прихлебывал мед из своей чарки.

— Разреши спросить тя, владыко, ежели в сем тайны нету,— сказал почтительно Курицын,— куда и пошто отъезжаешь ты?

— По делам церковным,— молвил Авраамий и, обратясь к Ивану, добавил:— Доброхота твоего, княже, архиепископа Иону поставлять хотим на митрополию всея Руси, не ждя того от Цареграда, зане церковь грецкая осквернилась унией...

— К чести и славе сие,— радостно воскликнул Курицын,— и церкви нашей и государя нашего!

— Аминь,— улыбаясь, сказал Авраамий.— Истинно, дети мои,

велико сне будет деяние. Будет у нас свой, вольной митрополит московской и всея Русн.

— А потом и вольной государь московской и всея Руси,— добавнл Курицын.— Еще родитель мой сие держал в мыслях...

Княжич Иван радостно рассмеялся и молвил:

— Сказывал мне думы свои владыка Иона в Ростове еще. Яз даже во сне видал отца государем московским...

— Помни, княже,— горячо заговорил Авраамий,— два син древа великне: церковь и царство — оба на одной земле растут. Корни же и мощь их сироты наиглавно питают...

Владыка помолчал и добавил:

— Помни и то, княже, государь наш все для церквн православной изделал, что мог. И церковь его блюдет и храннт, как сына истинной веры и благочестия. С митрополитов Петра н Алексея так идет, и впредь так будет. Помни сне и когда сам государем будешь...

Владыка встал из-за стола, благословил княжича и Курнцына, сказав на прощанье:

— Идите с богом. Аз же в путь буду готовиться. Утре в Ростов Великий отъеду к отцу Ефрему на совет н думу. После же в Москву все мы, епископы, поедем на собор поместной. Ефрем, архиепископ ростовский, Варлам коломенскнй, Пнтнрим пермскнй, Илья тверской н архиепископ новгородский Ефнмнй и аз, грешный.

— Да поможет господь мнтрополиту Ионе,— горячо произнес Федор Курицын.— Крепка н верна десница его. Росточит он смуту и усобицы, укрепит Москву...

С крестопоклонной недели великого поста как-то кругом все повеселело. Хотя и звонили в церквах все так же уныло в один колокол, будто звавшнй печально: «К нам, к нам!», но ни Иван, да и никто печали не чувствовал. Пасху все ждали веселой, «праздников праздник»...

Дни же становились все длиннее и светлее, а Фекла Андреевна больше и больше наполняла хоромы особой торжественной заботливостью. Все мыли, чистили, а в поварне коптили гусей н поросят к светлому празднику.

Княжич, несмотря на частые церковные службы, несмотря на домашние уборкн и приборки, больше теперь бывал дома, чем раньше. Он усердно трудился над нтальянскнм языком, н его весьма забавляло нзумление Феклы Андреевны от чужеземных слов. Иногда за столом он нарочно говорил по-итальянски ради этого:

— Да́тэми у́на чарка ди ми́элe,— обращается он, например,

к Курицыну, и никто не понимает его, а Федор наливает чарку меду и передает ему.

— Грáцие,— благодарит княжич,— грáцие, ами́ко кáро.

Дивуются все, а довольный Иван без конца спрашивает у Федора название то одной, то другой вещи по-итальянски. Он хочет изучить язык и молить отца отпустить его в италийскую землю с каким-нибудь посольством.

— Костянтин Лександрыч,— сказал он однажды за трапезой,— хочу яз во фряжску землю. Повидать бы мне хошь то, что владыка Авраамий видел...

Беззубцев печально посмотрел на княжича: жаль ему было огорчать отрока, но решил сказать ему правду, безо всякой утайки.

— Не будет сего, Иване,— молвил он тихо, но твердо,— не ездят государи в чужие земли...

— А посольства, а дядьки, а отцы духовные?— горячо перебил наместника княжич.

— Все они токмо слуги государевы...

— А князи?

— Токмо не государи,— ответил Беззубцев так же твердо, и разговор прекратился.

Иван молчал. Ему было обидно и досадно, и он искал доказательств на право государя ездить в чужие края.

— А мне в Твери инок Фома сказывал, что царь Лександыр Македонский весь свет обошел,— сказал он упрямо.

Наместник не нашелся сразу ответить, но, подумав, сказал:

— Царь-то Македонский с полками ходил для-ради ратного дела. Сие царям можно, а прочее, что просто видеть и знать хотят, им либо привозят, либо люди чужеземны сами едут к ним...

Видя, как огорчен княжич, наместник переменил разговор.

— А Шемяка-то смирился совсем,— сказал он весело.— Молит государя о мире, крест обещает целовать и прокляты грамоты дать. Государь наш, мыслю, простит князь Димитрея, а сие зря...

— Нет, не зря,— быстро вступился Федор,— надобно все у них расшатать, землю из-под ног вынуть, а потом можно и бить...

— Яз мыслю, чем скорей бить, тем лучше,— загорячился Константин Александрович.

Закипел спор, но Иван не стал слушать. Этот раз его душу тревожило другое. Жаднее и жаднее тянулся он узнать весь мир, видеть все самому, а в то же время чаще и чаще билось у него что-то в груди, словно птичка в клетке. Порой это радостно пело, а порой больно билось хрупкими крыльями о жесткие прутья.

Началось это от поцелуя Дарьюшки, когда по-различному стал принимать он ласки отца и ласки матери. Приходят к нему теперь странные волнения и нега, и, непонятно почему, робел и стыдился он возле молодых женщин и девушек...

Как только отобедали, тихо встал Иван со скамьи и, помолясь и поблагодарив хозяев, сказал:

— Приустал яз. Пойду опочину.

Вместе с Илейкой прошел он в свой покой и лег на лавку у изразцовой печки. Был такой день, какие любил княжич. Зима еще стоит, а солнце и небо уж весенними кажутся, и бьют сквозь слюду лучи солнца, рисуя переплеты окон на гладком дубовом полу.

Илейка лег на своей кошме возле дверей и тотчас же захрапел, но Иван не мог заснуть, хотя и тонул, кружился в каком-то тумане.

Перед глазами его не то виденья проходили, не то сны ему наяву виделись, а мысли шли своим чередом, но все о том же, что виделось. Мелькнул Лыбедский мост и красивая женка. Илейка балагурит с ней особо ласково, как не говорят меж собой мужчины.

«И пошто воевода хватал ее почем зря руками?»

Но дрема непобедимо овладевает им, и кажется ему — обнимает он Дарьюшку крепче, и крепче, а сердце у него бьется сильней, и дышит он так, будто в гору взбежал, и дрожат у него руки и ноги, и сладко ему, как в объятьях матери никогда не бывало...

На Фоминой неделе пришли вести, что князь великий, взяв крестное целованье с Шемяки и проклятые грамоты, в страстной четверг отъехал из Костромы в Ростов, куда прибыл в Велик день[1], а назавтра праздновал благовещенье и пировал у владыки Ефрема. В тот же день Василий Васильевич отбыл с полками в Москву.

Писал об этом Беззубцеву владыка Авраамий Суздальской и список [2] прислал с проклятой грамоты.

Наместник рассказал Ивану, что писано в клятвенной грамоте, которой Шемяка навсегда отказывался от прав на великое княжение московское.

— Вот он пишет,— сказал Беззубцев и прочел из грамоты:— «Не хотети мне никоего лиха князю великому и его детям и всему великому княжению его и отчине его...» И прочая тут пишет: о казне, об имении великого князя и княгинь, что они с можайским князем разграбили. Вернуть клянется, а не исполнит

---

[1] *Великий день* — первый день пасхи.
[2] *Список* — копия.

сего — проклятие божие падет на главу князя Димитрия. Вот и клятвы.

Беззубцев перевернул лист и прочел:

— «А преступлю свою грамоту сию, что в ней писано, ино не буди на мне милости божией и пречистыя матери его, и силы честного и животворящего креста и молитвы всех святых и великих чудотворцев земли нашея, преосвященных митрополоитов Петра и Алексея, и Леоития епископа, ростовского чудотворца, и Сергия игумна-чудотворца, и прочих; также пусть не будет на мне благословеиия всех епископов земли Русской, которые суть ыиые по своим епископиям и иже всех под ними священнического чина».

Ивану страшио стало от всех этих грозных клятв пред богом и святителями. В чистоте веры своей и незнаиии еще всего зла людского он воскликнул:

— Можно ли такое преступить?!

Наместник печальио усмехнулся и молвил:

— Всякие скверны могут люди содеять. Токмо клятвопреступлеиье раио ли, поздно ли от бога иаказаио бывает. Несть спасеиия клятвопреступнику...

— А где ныне отец и куда пойдет? — спросил Иваи.

— Отец Авраамий пишет, что владыка ростовский Ефрем ожидает к собе государя на Велик день, а на Фомииу иеделю государь в Москве будет.

— А мне есть вести? — спросил княжич. — Когда мие в Москве быть?

— А тобе вестей иету.

Ивану стало обидно. Низко опустив голову, он думал, что отец забыл о ием, не вспоминают о нем и матунька с бабкой. Заслали его во Владимир, и не нужен он им стал. Губы его задрожали, защипало в глазах, но он сдержал себя и сказал твердо, почти сурово:

— Костяитин Лександрыч, будешь ты вестников в Москву слать, поклои от меня государю отдай и спроси, как мне быть? Когда же иа Москву ехать он прикажет?..

В начале июия, когдя киязь Василий вызвал в Москву наместиика своего владимирского, воеводу, бояриила Коистаитина Александровича Беззубцева, пришли вести о смерти киязя Василия Косого в «тесиом его заключеиии» [1].

---

[1] *Тесное заключение* — тюрьма, где узник сидит в полусогнутом положении, в камере иет ни окон, ни дверей, а лишь отверстие для передачи пищи, обычно кружки воды и куска хлеба. *(Прим. автора).*

— Царство ему небесное!— проговорил Беззубцев и, крестясь, добавил:— Еще одним злым ворогом у государя меньше. Шемяка ныне один токмо остался...

Из расспросов узнал Иван, как отец его разбил князя Василия Косого, как пленил и ослепил потом, заключив на всю жизнь в заточение. Вспомнил княжич свое горе при ослеплении отца, и больно стало ему, что и отец делал то же, что с ним потом сделали. Взволновался он даже, но спросил, казалось, совсем спокойно:

— Пошто батюшка мой ослепил его?

— За воровство вятчан,— ответил Беззубцев и рассказал, как произошло все.

Когда князь Василий Косой уже в плен был взят, вятчане, шедшие на помощь ему, повернули назад к себе, в Вятку. Дорогой же по злобе разграбили Ярославль, а князя ярославского, Александра Брюхатого, с княгиней его Василисой [1] в плен взяли. Приняв потом выкуп за обоих, нарушили клятву и увезли их с собой.

— За вероломство сие и лихо повелел государь ослепить и заточить князя Василья Юрьича,— сказал Константин Александрович.— Не бывает, Иване, от зла добра...

Княжич ничего не спрашивал более. Вспомнил он про Бунко, как изгнал его отец из Сергиевой обители, а воины били его у реки Вори. Задумался Иван, и больно ему было и досадно. Посмотрел он с тоской на воеводу и молвил:

— Не подобает, Костянтин Лександрыч, государю гневливым быть и борзым в деяньях...

Помолчал и спросил:

— Когда завтра на Москву едем?

— Утресь,— ответил Беззубцев.— Ехать день и ночь будем, а в деревнях и селах ни кормов, ни снедей никаких брать не станем. Мор ныне на людей и на скот кругом, черная смерть... [2]

— Станом стоять будем?

— Станом,— подтвердил Константин Александрович,— на полях и в лесах, у рек и ручьев. Запасы все с собой из дому возьмем...

Иван поклонился и вышел из покоя, пошел к себе в опочивальню, где ждал его Илейка. Не хотел он никому тоски своей поведать, кроме Илейки. Старик, когда вошел

---

[1] *Княгиня Василиса* — старшая дочь Софьи Витовтовны, родная сестра Василия Васильевича. *(Прим. автора.)*

[2] *Черная смерть* — чума.

Иван, собирал вещи в дорогу, укладывал их в сундуки и в разные ларцы.

— Что, Иване, невесел?— спросил он княжича.— А Федор-то Василич едет с нами...

Иван обрадовался.

— Кто те сказывал?

— Сам он сюды забегал. Радуется вельми.

Княжич улыбнулся, но — опять опечалился.

— Илейко,— сказал он с тоской,— совсем, как Степан-богатырь, яз стал...

— Пошто так?— спросил Илейка, переставая укладывать шубы княжича.

Иван, рассказав об ослепленье Василия Косого, признался:

— Тяжко мне, Илейко.

Старик посмотрел на княжича ласково и нежно, потом положил руку на плечо ему и молвил:

— Доброта в тобе есть душевная, голубь мой, сердцем чуешь ты: грех содеял государь наш. Токмо, Иване, грех греху — рознь. Иное — грех для-ради гордыни своей али корысти какой. Иное — грех для-ради спасенья от злобства. Злодея же убити все едино, что ворога лютого убити на поле. Одно дело разбойники и злодеи, ино дело государи, которые злодеев за зло их казнят смертию...

Илейка отошел опять к сундукам и стал укладывать всякую рухлядь, но, оглянувшись, добавил заботливо:

— Я те постлал постелю-то. Ложись-ка с богом...

Пятые сутки княжич Иван с Илейкой, Константином Александровичем и Федором Васильевичем едут по полям и лесам в сопровождении небольшого обоза с припасами и конной стражи.

Завтракать, обедать и ужинать они у рек и ручьев останавливаются, около опушек леса или в рощах. Пускают коней на траву, едят, пьют, отдыхают, а в полдень и совсем не едут, ждут, пока жар спадать начнет...

Дышит Иван вольным воздухом полей и лесов. В полях сухо и знойно пахнет душицей и полынью, а в лесу овевает теплой влагой, пропитанной запахом сырых мхов и смолистой хвои. Особенно хорошо лесом ехать в дневной зной, слушать, как горлицы и вяхири воркуют, как дятлы стучат, кору долбят, как золотые иволги то словно в дудку посвистывают, то по-кошачьи взвизгивают. Гри-

бом вдруг запахнет или от борщевника, или от донника чуть заметный дух дойдет. Ноздри сами раздуваются и тянут жадно свежий воздух.

По вечерам, в сумерки, коростели скрипят-кричат, а у рек и озер мычат, словно быки, выпи-бугаи или, будто сквозь воду, густо и гулко выкликают: «Пумб-пумб!»

Одна беда в лесу: комара, мошки, овода, слепня — тьма тьмущая, мочи нет от них ни людям, ни коням. Решили по ночам в полях ехать, где много меньше всякого гнуса, а комара да мошкары почти нет. Ветром их сдувает.

Ныне вот первую ночь в открытых полях едут. Во ржи перепела бьют, выговаривая: «Подь-полоть»,— а кругом за дальними тучами беззвучно полыхают зарницы.

— Так вот до самого завтрака ехать будем,— говорит Федор Васильевич,— днем знатно мы выспались.

— Где спать,— радостно бормочет Илейка.— Ишь, благодать-то какая! Сердце во мне пьянеет! Ох, молодость бы мне назад!.. Сенокос скоро, хороводы... Бывало, работай, хошь тресни, а стемнеет,— так с девками песни! И коса, которой весь день махал, тя не умает! Любил я девок-то...

Смолк Илейка и задумался. Думает и княжич свое и чует, будто в груди у него опять непонятная птица крыльями бьется. Зарницы же все чаще и чаще полыхают по всему кругозору, и дрожь от них побежит-побежит по темной земле, да в жаркой духоте и замрет, а потом опять с неба бежит...

— Гляньте! Дядюшка, княже!— воскликнул с удивлением Федор Васильевич.— Вон туда глядите! Огоньки идут в поле...

Все стали смотреть, куда указано, и княжич Иван увидел на самом деле с десяток огненных искорок, а вокруг них что-то белесое, вроде тумана...

— Верно,— крикнул Илейка,— идут огни-то! Вон, вон, вправо завертывать стали...

Он погнал лошадь к огонькам, съехав с дороги на столбничок, что шел меж густой ржи. Все поскакали за ним следом. Но Илейка вскоре замедлил бег лошади, а огоньки явно преобразились в язычки зажженных свечей. Глядит Иван: босые девки с распущенными косами, в одних белых рубахах, впряглись в соху и, держа свечи, ведут борозду и что-то поют заунывно.

Проехав еще немного, все остановились невдалеке.

— Сие, княже, заклятье против мора,— говорит Кон-

стантин Александрович.— Полночь уж значит скоро,— заклятье сие до петухов надо делать.

— Истинно,— подтвердил Илейка,— успеть надобно всю деревню бороздой обвести...

Действительно, девушки торопились, не обращая никакого внимания на подъехавших. Изо всех сил они тянули соху и, закончив заклятье, снова пели его сначала:

В руках у нас божьи свечи церковные,
Ведем борозду-то сошкой кленовою.
Ты будь, борозда, в беде нам оградою,
В село не пущай злу смертушку черную...

Медленно удаляясь, они все ближе и ближе подходили к околице.

— Успеют,— весело сказал Илейка,— борозду-то от околицы начинают и опять к ей с другой стороны приходят...

— А вдруг петухи запоют?— спросил Иван.

— Тогды все пропало,— ответил Илейка,— на другу ночь все сызнова надо опахивать.

Все замолчали, напряженно следя, как девушки, выбиваясь из сил, тянули соху и срывающимися голосами пели снова заговоры.

— Успеют иль не успеют?— проговорил Иван.

— Кто знает,— сказал Федор Васильевич,— небо вот белеть начинает.

В это время все девушки, бросив соху, встают на колени и земно кланяются, бормоча молитвы.

— Успели!— крикнул Илейка, и сейчас же где-то далеко в деревне запел первый петух.

Перекликаясь, покатились из двора во двор петушиные крики. Беззубцев повернул коня обратно к дороге, а Федор Васильевич, обратясь к Ивану, молвил:

— А проку от сего столь же, сколь от тетушкиной козюльки...

В Москву приехали засветло, но к самому ужину. Константин Александрович не осмелился беспокоить государя без зова и, проводив Ивана до княжих хором, отъехал к близким своим вместе с Федором Васильевичем.

Во дворе у себя княжич сдал коня Илейке, а сам по черному крыльцу взбежал до горницы, спеша к матери. Отец и бабка всегда у нее ужинают.

В сенцах никого не было, но за поворотом Иван нежданно натолкнулся на Дарьюшку. Она хотела убежать, но, узнав княжича, зарделась вся румянцем и остановилась. Ивана вдруг

охватила радость, он почувствовал нежность к этой милой, робкой девочке. Сам не понимая, как это вышло, он обнял ее, а она вся так и прижалась к нему и, чуть прикоснувшись губами, поцеловала его в щеку.

Княжич хотел сказать ей что-нибудь ласковое, но кто-то стукнул дверью в покоях, и Дарьюшка, отскочив, быстро скрылась. Иван остался один и, постояв некоторое время, медленно пошел к родителям, не спеша, будто он их уже видел...

В трапезной Иван застал всех за ужином, а Юрий, нарушая порядок, выскочил из-за стола и обнял брата. Мать тоже стала целовать его и плакать от радости. Ивана тронуло это, он горячо обнимал мать, отца и бабку. На душе у него стало сразу ясно и спокойно. Он весело подбежал к Андрейке, которому было уж три года, расцеловал и его и мамку Ульяну.

— Стосковался по вас,— застенчиво молвил Иван, садясь за стол,— стосковался в Володимере-то...

— И яз тя вспоминал, Иван,— сказал Василий Васильевич.— В Ростове много о тобе баил мне владыка Ефрем...

— Тата,— живо заговорил княжич Иван,— скажи, видел ли ты старца Агапия? Много он нам с Юрьем сказывал старин и сказок...

— Преставился старец Агапий в самую обедню на Велик день.

Иван перекрестился и молвил печально:

— Царство небесное.

Наступило молчание, а мамка Ульянушка, стоя возле Андрейки, сказала:

— Умер старец-то хорошо, в самое светлое воскресенье. Пойдет его душа прямо в рай...

Жаль Ивану старца, но в радостях встречи с родными скоро забыл он об этом и не заметил, как ужин окончился. Остались в трапезной только родители, бабка и Юрий. Да и бабка вот уж встает из-за стола.

— Юрьюшка,— говорит она,— проводи-ка меня в покой мой.

Но Василий Васильевич остановил ее, сказав дрогнувшим голосом:

— Матушка, побудь здесь малое время, и ты, Юрий, останься.

Великий князь сказал это как-то особенно, и княжичу Ивану почудилось, что должно случиться важное дело. Василий Васильевич хотел продолжать, но вдруг заволновался и смолк.

— Иване,— успокоившись, начал он торжественно,— много хвалы слышу о тобе, Иване...

Опять замолчал, отирая платком слепые глаза свои.

— Бают все, Иване, что и телом и разумом уж ты не отрок на десятом году, а юнуш, будто те боле, чем пятнадцать...

Пересилив волнение, Василий Васильевич закончил:

— Подумав с владыкой Ионой, повелел яз отныне писать тя на грамотах великим князем московским рядом со мной, соправителем моим...

Василий Васильевич встал и оборвал свою речь, простирая руки к сыну:

— Подь ко мне, благословлю тя...

Иван почувствовал, как похолодело и замерло в груди его, но, сделав усилие, подошел он к отцу. Тот благословил его и плакал, обнимая и целуя. Женщины плакали тоже, а Юрий сопел носом, глотая слезы.

— Помогай отцу,— услышал Иван твердый голос бабки,— учись у него и у бояр государствовать.

Опять наступило молчание. Иван дрожащей рукой перекрестился на кивот с образами.

— Помоги мне, господи,— сказал он глухо и, обратясь к отцу, добавил:— Буду так деять, как ты меня учил, тата, и ты, бабунька, и как отцы духовные учили...

Иван внезапно смолк и отер слезы. Недетская горечь подступила к его сердцу, будто суровый обет наложили на него, будто отняли беззаботную радость.

Глава 16

ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ

В середине зимы пошло по Москве поветрие — горячка с жаром и ознобом. Многие люди умирать начали, а болело и того больше. Незадолго до рождества заболел и юный соправитель государя Василия Васильевича — великий князь Иван Васильевич.

В своем отдельном покое лежит Иван на двух поставленных рядом скамьях, мечась то в жару и бреду, то дрожа под горой шуб и одеял. Он мало замечает, что вокруг него делается. Словно видения, появляются у его изголовья родные и чужие лица, знакомые и незнакомые. Он много спит, иногда бывает без сознания, а иногда вдруг все проясняется в его голове, и он как бы просыпается и подолгу лежит с открытыми глазами, испытывая какой-то странный покой и легкость. Разные думы и чувства

сами приходят и уходят, текут в его сознании, как река, а он будто стоит на берегу и смотрит, как они текут мимо.

Бывает это чаще в самые глухие часы ночи, перед утром, когда в хоромах везде тихо-тихо, до шума и звона в ушах. В покое полумрак, у кивота горит только одна большая лампада темно-синего стекла. Непонятная тревога охватывает Ивана. Лежа на спине, он невольно косит глаза к дверям, где на лавке спят по очереди ночью Илейка или Васюк. Увидев того или другого, Иван успокаивается, долго слушает, оцепенелый, как где-то грызет мышь, и смотрит расширенными остановившимися глазами на огонек лампады. И вот тогда он начинает видеть и слышать то, что было в его жизни, еще такой краткой, но переполненной событиями, радостями, горем и страхами, и чем-то еще новым, томящим его и ласкающим сладостной негой. Он улыбается, как во сне; порой на глаза его навертываются слезы. Сквозь эту дрему слышит он иногда пение кремлевских петухов, лай собак, но вдруг опять все окружающее исчезает; Иван видит либо лесную зимнюю дорогу с могучими елями и соснами в снеговых шапках; либо хлебные поля, залитые солнцем, звенящие пением жаворонков; либо шум и гам городских улиц, толпы народа, суматоху, крики и вопли, полыханье огня в дыму и буре; либо ряды конных и пеших воинов, гром пищалей, стук сабель, крики и топот коней...

Потом все это начинает кружиться и метаться, как в омуте, и топит Ивана в своей глубине, а он чувствует, как идет камнем на самое дно, и содрогается от ужаса и тоски. Вдруг все это исчезает, и вот мелькают то милые лица матери, Дарьюшки, то появляется лохматая борода Илейки или седая головка-одуванчик попика Иоиля, то приходит старец Агапий, то чует он, как со страхом цепляется за него любимый братик Юрьюшка, а сердце леденят странные глаза Шемяки,— и опять заплетается вокруг него тревожный хоровод...

Потом все это исчезает сразу — не то Иван засыпает, не то теряет сознание. Ныне же этого не было. Иван слушает глухую предутреннюю тишину, а мысли его становятся все яснее и яснее.

— Болею яз,— тихо произнес он и почувствовал, что так хочет пить, что даже жжет у него в гортани.

Он скосил глаза к дверям и увидел на пристенной лавке спящего Васюка.

— Васюк! Пить!— хрипло сорвалось с его уст.— Васюк!

Васюк быстро соскочил с лавки.

— Чего изволишь, государь?— спросил он, радостно улыбаясь.

— Пить, Васюк, пить...

Иван жадно приннк к небольшому ковшу с медовым квасом. Опираясь на локоть, закрыв глаза, он неотрывно сосал освежающий напиток. Потом, продолжая пить уже маленькими глоточками, он открыл глаза и стал смотреть на Васюка.

Со дня приезда в Москву Иван часто видел Васюка, но больше мельком — при нем оставлен один только Илейка. Теперь же будто в первый раз увидел своего бывшего дядьку и внимательно разглядывает его лицо. Постарел Васюк, борода уж вся белая, белей даже, чем у Константина Ивановича.

Выпив больше чем полковша, Иван откинулся на подушки и с улыбкой опять посмотрел на Васюка.

— Изволишь еще? — тоже улыбаясь, весело спросил Васюк.

— Нет, — тихо ответил Иван.

Они радостно смотрели друг на друга. Васюк, поставив ковш на стол и обернувшись к образам, истово перекрестился и молвил:

— Слава те, господи!

Поклонился в землю и, оборотясь к Ивану, сказал с уверенностью:

— Здрав будешь, государь, вборзе. Взгляд очей твоих разумен стал, очистился от мути...

Иван, слушая, как называют его государем, чего ранее не было, вспомнил теперь, что он ведь великий князь и соправитель отца.

— Васюк, — спросил он неожиданно ослабевшим голосом, — скоро рожество-то?

Васюк усмехнулся.

— Рожество, государь? Прошло уж оно, и святки проходят. Завтра крещенье господне... Месяц лежишь ты. Ныне же внял господь молитвам матери твоей — исцелил тя.

Слабо улыбаясь, Иван закрыл глаза. Он почувствовал, что устал и ослаб, а голова кружится, и ложе влечет его куда-то в сторону, будто отплывает он в лодке по тихой, тихой воде.

Прошло пять дней. Вставать уж иногда стал с постели Иван. Хотя был слаб и не выходил из горницы своей, но заметно поправился и, казалось всем — еще более вырос он за эти два месяца и возмужал. Сам Иван не замечал этого, но думал он много и многое понимал теперь по-иному, словно второй раз пережил за болезнь всю свою жизнь. Думы всякие роями шли к нему и ранее, а ныне без думы он и жить не может. То одно, то другое уразуметь хочет и чует — силы растут в нем. Жажда и радость жизни пьянят его, и тяжело ему сидеть в

душных покоях с изразцовыми печками, от которых пышет в лицо теплом, румяиит щеки. Думает иногда он о Дарьюшке, да та не смеет прийти в его покой государев. Позвать же ее он не решается: стыдио почему-то и неловко. Сегодня весь день ои о Дарьюшке думает опять, ослабев и чувствуя жар.

— Может, с Данилкой придет,— шепчет порой он в полудреме и засыпает и видит во сне их обоих...

Вот скрипит, отворяясь, дверь. Иван открывает глаза. Васюк вводит под руку государя. За ним входят бабка и матунька с Юрьем, мамка Ульяна ведет за руку Андрейку. Иван хочет подняться с постели, но голова его кружится, и он снова опускает ее на подушки.

Отец ощупью находит лицо сына и нежно целует его. Губы у него дрожат, он взволнован, боится за своего наследника, но, вопреки своему обычаю, ничего не говорит, а, перекрестив Ивана несколько раз, молча садится рядом на край постели.

Это тревожное молчание обличает такое горе, что у Иваиа иавертываются слезы. Мать плачет, вытирают слезы и бабка с Ульяной. Все смотрят на Ивана такими безнадежными взглядами, что ему делается страшно.

— Пошто все вы молчите?— тихо произносит он хриплым голосом.

— Молиться будем о здравии твоем, любимик мой,— говорит бабка.— Святыни велики принесли мы с собой.

Иваи видит в руках Софьи Витовтовны две большие восковые свечи. Они зеленого цвета, перевиты тонкой полоской сусального золота, а коицы у иих уже обожжены.

— Свечи сии,— продолжает с благоговением бабка,— еще от покойной тетки твоей, царицы грецкой, прислаиы. Сведав о недуге деда твоего, прислала оиа их посылкой с ямскими...

Снова скрипит, отворяясь, дверь, и входят в полном облачении священник Александр с диаконом, громогласным Ферапонтом, и дьячком Пафнутием.

— Здравствуй, государь,— говорит бодро отец Александр,— помолим бога о здравии твоем!..

Увидев свечи в руках Софьи Витовтовны, восклицает он радостио:

— Веселися сердцем и душою, Иване! Свечи сии от Иерусалима, от гроба господня, ожег концы их огонь небесный. Свечи сии храият в домах и возжигают при молениях о здравии и спасении...

Иван с трепетом душевным поглядел на свечи.

— Огнем небесным они возжены были,— тихо молвил он и перекрестился.

— Вот мы отслужим молебную о здравии твоем,— продолжал отец Александр,— и свечи сии возжем пред господом.

Дьячок поставил аналой перед кивотом, и служение началось. Отец Александр зажег одну свечу от неугасимой лампады и передал ее Ивану, а другую, зажегши от первой, взял себе и начал молебен. Иван спустился с постельной лавки и стал на колени. Одной рукой он опирался на лавку, а в другой держал свечу. Так Иван простоял весь молебен, но под конец все же ослаб и лег на постель с трудом, при помощи Васюка и диакона.

С каждым днем Иван становится здоровее и крепче. Он много ест и много смеется, а на душе так легко и хорошо, как давно не было. Хочется двигаться, скакать верхом, дышать морозным воздухом, но этого нельзя ему, и он ходит только по своему покою. Ноги еще дрожат у него, неловки и слабы, словно пересидел он их. Все же подолгу простаивает он у слюдяного окошка, держась за подоконник и опираясь на пристенную лавку. Внизу окошко все обледенело, но вверху слюда оттаяла, и сквозь нее видно голубое, яркое небо, где, словно лебедь, плывет одинокое белоснежное облако, сверкающее в солнечном свете.

От сиянья лазури и белизны облака весело и радостно Ивану, и в то же время приятная грусть охватывает его. Сам не зная почему, он вспомнил о Дарьюшке. Ему захотелось вдруг, чтобы она стояла рядом с ним, и они бы, прижавшись друг к другу, вместе смотрели, как медленно плывет облако и края его то выпускают зубцы, то снова круглятся, то тускнеют, то снова блистают ослепительно и ярко...

— Здравствуй, Иванушка, касатик ты мой,— услышал он голос сзади и вздрогнул он неожиданности.— Гостя тобе привел.

Иван быстро обернулся и увидел Илейку с Данилкой. Данилка был смущен, ибо по-другому велел ему Илейка с Иваном обращаться и не звать его по имени. Но Иван сам поспешил к своему другу навстречу и обнял его.

— Здравствуй, Данилушка,— сказал Иван,— давно ждал яз тобя.

— И я скучал, государь Иванушка,— молвил смущенно Данилка.

— Цыц ты,— сурово обрезал его Илейка,— забудь Иванушку, зови токмо государы! Князь ведь он ныне великой, соправитель...

— Я, дядя Илейко,— забормотал Данилка,— я запутался, дяденька...

— Зови меня, Данилушка,— хмуря брови, сказал Иван,— когда одни мы, как прежде, при боярах и при отце и матери — государем. Яз, Данилушка, сам не хочу многое делать, а велят мне.

— При всех чужих, даже при сиротах,— вмешался Илейка,— зови его государем, и даже при слугах дворских, а Иванушкой токмо при мне да Васюке. Помни сие...

Не меняя строгого выражения лица, Илейка повернулся к Ивану и спросил:

— Не прикажешь, государь, принести тобе какой ествушки и питья?

— Принеси нам с Данилкой курничка, и еще что есть, и питья медового...

Илейка ушел. Иван сел на пристенную лавку возле окна, у коего стоял, и, указав Данилке рукой на место возле себя, сказал ласково:

— Садись рядом.

Ему хотелось, чтобы все было так же, как раньше, когда с Данилкой он рыбу ловил вместе, когда снегирей они да щеглов в клетках держали, но этого уже не было. Почему-то Данилка робел и стеснялся.

— Ну что, легче тобе, Иванушка?— спросил он неуверенно.

— Легче,— ответил Иван,— токмо нету мне ни в чем волюшки, и много чего уразуметь не могу. Как поправляться стал, лежу тут один и по целым дням все думаю. Иной раз, Данилушка, и ночью, когда не спится, все думаю...

— А ты не думай...

— Не могу, Данилушка...

— О чем же ты думаешь?

— Обо всем. Вот женят меня, а что такое женитьба? Зачем мне жена? Что с ней делать...

Данилка усмехнулся.

Иван с удивлением поглядел на Данилку, ожидая ответа. Старше его Данилка на пять лет, больше он видел и уж все понимал.

Иван досадливо сдвинул брови.

— А помнишь в конюшне-то?— продолжал Данилка.— Так и люди...

Разговор оборвался: вошли Илейка и Ульянушка с разными яствами, сыченым квасом и медом, но Иван уже все понял.

Когда епископ Авраамий суздальский и Федор Васильевич Курицын вошли в покои Ивана в сопровождении широко улыбаю-

щегося Илейки, юный государь радостно соскочил с постели и бросился навстречу владыке.

— Buon giorno, sovrano![1] — весело крикнул ему Курицын и отвесил низкий поклон.

— Buon giorno! — на ходу ответил Иван и поспешил к Авраамию, чтобы принять от него благословение.

Отец Авраамий, когда Иван облобызал его руку, приветливо и ласково улыбнулся.

— Come sta lei, mio figlio![2] — сказал он тоже по-итальянски, лукаво взглянув на Ивана.

Это было произнесено так по-светски, как никто не говорит из духовных лиц.

Ивану сразу захотелось шалить и смеяться. Не напрягая памяти, он быстро вспомнил итальянские слова и ответил:

— Benissimo, padre, la ringrazio![3]

Отец Авраамий рассмеялся и воскликнул по-русски:

— Преуспел ты, Иване, по-фряжски!

— Нет, отче, — сказл Иван, — яз не учился боле фряжскому, опричь того, что мне в Володимире Федор Василич сказывал. В Москве же болел...

— Ишь, как ты памятлив! — удивился владыка и продолжал весело: — Ныне, благодарение господу, ты здрав совсем, как мне сказывал отец Александр. Радуясь сему, аз и пошел к тобе принести добрую весть. Декабря пятнадцатого отец Иона поставлен на митрополию всея Руси. Ныне наша церковь сама собе госпожа... А может, тобе уж сказывали о сем?

— Нет, мне о том не ведомо.

Отец Авраамий оживился еще более и с увлечением стал рассказывать о торжественном соборе в Москве всех архиепископов и епископов русских, а также архимандритов, игумнов, протоиереев и иереев.

— Из архиепископов, — рассказывал Авраамий, — был отец Ефрем ростовский, архиепископ же новогородский отец Ефимий не был, но, как и епископ тверской, отец Илья, прислал грамоту о своем единомыслии с нами на постановление отца Ионы. Все же прочие отцы епископы — Варлам коломенский и Питирим пермьский и аз — были...

Владыка Авраамий говорил обо всем с великой радостью, но Иван слушал довольно равнодушно, хотя был рад избранию владыки Ионы, которого очень любил. Однако, когда Авраамий стал передавать речь Ионы, княжич заволновался.

---

[1] Добрый день, государь!
[2] Как твое здоровье, сын мой?
[3] Очень хорошо, благодарю, отче!

— Слушай, Иване,— с увлечением воскликнул Авраамий,— слушай, что изрек нам первосвятитель наш, митрополит Иона. Встал он из-за стола во весь рост свой и говорит: «Отцы духовные, возблагодарим господа, что впервые церковь русская избрала главу собе по уставу апостолов и волей святителей русских, а не волей грецкого патриарха, впавшего ныне в ересь латыньскую... За пять веков,— гремит голос отца Ионы,— от равноапостольного святого князя Володимера до нынешнего государя нашего Василья Васильевича, все первосвятители были у нас иноземные, опричь токмо шести русских митрополитов, утвержденных царями и патриархами грецкими. Пять веков иноземные первосвятители радели не земле русской и русским государям, а своим, иноземным!» Так восклицал радостно владыка Иона, и мы радовались с ним, ибо после латыньской унии Царьград впал в грех и ересь, а Москва наша станет ныне третьим Рымом...

Долго еще говорил Авраамий, объясняя Ивану значение небывалого еще на Руси избрания, но тот вдруг загрустил и перестал слушать. Свои мысли и тревоги охватили Ивана, и неожиданно, без всякой связи с разговором, тихо спросил он Авраамия:

— Отче, пошто меня принуждают жениться? Не хочу того яз...

Федор Васильевич усмехнулся и молвил:

— А помнишь, государь, что Илейка-то баил? «Придет пора на пору — сам ступишь девке на ногу́?..»

Иван нахмурил брови, и темные глаза его еще более потемнели. Авраамий, поняв, что происходит в душе Ивана, заговорил сурово и рассудительно. Он знал, что, пока нет у отрока мужских чувств, не прельстишь его женщиной.

— Помысли, Иване,— сказал он,— как могут люди жить, ежели не будет у них продолжения рода? У деда твоего родился отец твой, государь наш. Ты у него родился и стал ныне соправителем отца. Кто же после тобя государством править будет? Ежели не будет продолжения рода твоего, то Москва и Русь другим князьям отойдут. Пошто же отцу твоему и тобе с Шемякою за Москву воевать? Лучше просто отдать все Юрьичам...

— Нет, нет!— сверкнув глазами, воскликнул Иван, но опять поник главой и задумался.

Наступило молчание. Прервал его юный государь.

— Изнемог яз, отче,— сказал он тихо,— хочу опочинуть. Приходи с Федором Васильевичем в другой раз...

Весна этот год ранняя. С пятого апреля, как пришел Федул да теплом подул, так и стоят оттепели да оттепели. Солнце печет, играя на ясном небе. Снег уж местами сошел, но деревья

совсем еще голые, даже почки листовые не лопнули, только верба одна распушилась. Ее серебристо-белые мохнатые шарики, слегка покрытые золотисто-желтой пыльцой, глядят с гибких красновато-бурых веточек по-праздничному, напоминая о приближении вербного воскресенья.

Иван не мог уже усидеть дома и в иные дни по целым часам вместе с Юрием в сопровождении Васюка и двух-трех конников ездил верхом в подмосковные именья. Через села и слободы московского посада, мимо монастырских обителей, окружавших Москву со всех сторон, они скакали в окрестные леса и рощи, иногда же просто катались по улицам и уличкам то Басманной слободы, то наезжали в слободы Кузнецкую, Лужники, Напрудную, Кожевники, Красное село и Гончарную. Видели в Замоскворечье и других местах кабаки знатные, часто смешили их там пьяные, барахтаясь и корячась в грязи. Тут были ремесленники всякого дела, торговцы мелкие, сироты, слуги, и толкалась всякая гунька кабацкая. Один раз они видели даже, как шел совсем голый человек, пропивший с себя все в кабаке. Он то шел, мотаясь из стороны в сторону, будто его ветром бросало, то падал и полз на четвереньках по грязи от талого снега.

Васюк не утерпел, вместе с конниками расхохотался во все горло и, обращаясь к Ивану, еле выговорил:

— Ишь, как баскó у него все. Знаешь, государь, как про то в песне поют:

Окарач ползет детинушка,
Как лутошечко гола,
В чем мамаша родила...

В это время пьяный с трудом поднял с земли голову, показывая всей улице лицо, залепленное грязью. Любопытные, обступившие пьяного, хохотали.

— Ха-ха! Здорово!— кричали со всех сторон.

— Умылся к праздничку!

— А ты еще земно поклонись!

— Мырни еще, мырни, стервин сын, ха-ха!..

А пьяный, будто слушаясь зевак и стараясь угодить им, раз за разом по уши окунался лицом в грязь, фыркая и отплевываясь.

Все кругом хохотали, но один из конников, благообразный и суровый мужик, нахмурился и сказал резко:

— Вот такие образа божия не имут, токмо беса тешат блудиным пьянством...

Васюк живо оглянулся на это замечание и перестал смеяться.

— Истинно, Ефимушка, блуд сие,— сказал он,— и горе. Наш брат до того пьет, пока рылом земли не достанет.

— И когда, сие деют? — сокрушенно продолжал Ефимушка.— В стращиую седьмицу! В четверток великой, когда огни святы понесут из храмов божьих!..

— А вить ныне у нас яйца красят и четвергову соль[1] жгут к пасхе,— воскликнул Юрий,— возвращаться надо! Чаю, матунька с Ульянушкой и Дуняхой все уж приготовили...

— Так и есть,— подтвердил Васюк,— с утра я видал, мамка Ульяна соль с квасной гущей мешала...

Иваи, вспомнив домашиие строгости иасчет церковного служеиня и соблюдения всех обычаев и церковиых правил, повелел ехать домой.

— Поспешим,— сказал ои строго,— дабы ие прогневить батюшку.

Подгоняя лошадей, они помчались по улицам посада, сопровождаемые ненстовым лаем собак, ие выиосящих быстрой езды...

У себя, в княжих хоромах, Иван снял шапку и полушубок, стянул с себя валенки, лениво иадел сафьяновые сапоги н, заправив в ннх порты, подпоясал серебряным поясом цветистую шелковую рубаху. Легкая усталость после долгой езды на свежем воздухе приятно разморила его, клонило ко сну. Борясь с дремотой, медлеиио брел ои в трапезную матерн по темнеющим сенцам.

Солнце уже село, н последние отсветы зари чуть золотили слюду в окнах. Ни о чем ие думая, шел ои в сумерках почтн на ощупь.

Неожидаино на повороте он не столько увидел, сколько угадал прнжавшуюся к стене Дарьюшку. Его протянутые вперед руки натолкнулись на теплое, нежиое тело, н теплые же ласковые руки обвились вокруг его шеи. Оиа прижалась грудью к его груди, и, сам не зная, что он делает, Иваи крепко сжал в объятьях Дарьюшку н замер.

— Иванушка мой,— чуть слышио выдохнула оиа ему в ухо из самой глубины груди.

Его охватила дремотная иега, и сразу он утонул в каком-то сладостном сне наяву...

Далеко, где-то в самом конце темных сенцев, блеснула щель отворяемой дверн, н сказка вся рассыпалась

---

[1] *Четверговая соль* — соль, пережженная с квасной гущей; с нею на пасху ели яйца.

сразу. Дарьюшка отделилась от него, потонув в темноте.

Иван не пошел в трапезную, а, вернувшись в свой покой, лег на пристенную лавку и закрыл глаза. «Что со мной?» — подумал он и невольно улыбнулся от неведомой ранее тихой радости.

Он забыл свои разговоры с Данилкой, забыл про всякие загадки, постоянно встававшие перед ним. Все это стало ненужным, и, глубоко вздохнув, он мгновенно и крепко заснул...

Шестнадцатого апреля, на третий день пасхи, когда Кремль гудел от торжественного праздничного звона во все колокола, снова Москву охватила тревога.

Случилось это после молебна, когда собирались все к завтраку. Иван сидел в трапезной у окна на пристенной скамье, а мамка Ульянушка что-то делала у накрытого уже стола, поджидая князя и княгинь. Веселая, как всегда, она балагурила, но Иван не слушал ее. Сдвинув задумчиво брови, он старался уловить неясные мысли, что с каждым днем более и более овладевали им. Но вот он вдруг ясно и отчетливо услышал слова мамки:

— Братец или сестрица скоро у тобя будет.

Иван вспомнил, что матунька его снова сильно располнела, как это было в Угличе.

В сенцах послышались шаги и разговор. Отец, мать, бабка, Юрий и Андрейка, по-праздничному одетые, весело вошли в трапезную и с шутками стали садиться за стол. Иван оживился среди семейного веселья, да и солнышко так радостно било яркими лучами в слюдяные окна, рисуя на стенах переплеты рам, а с улицы глухо долетал непрерывный торжественный гул колоколов.

— Матушка, — говорил спокойно и не торопясь Василий Васильевич, приняв от Васюка чарку и отхлебывая крепкий мед, — думаю, матушка, замириться со всеми. Лучше пусть все они, удельны-то, докончанья со мной заключат, дабы меж собой противу меня их не заключили... Бабка слушает его с улыбкой.

Бабка слушает его с улыбкой.

— Истинно так, сыночек дорогой, — говорит она, — истинно так! А побьешь проклятого Шемяку — можно и других к рукам прибрать. Легче их прибрать-то будет...

Василий Васильевич, усмехнувшись, поднял чарку с медом и молвил:

— За твое здоровье, Марьюшка, дай бог те благополучно...

— Ништо,— засмеялась Софья Витовтовна,— кажиный год благополучно. Хранит нас господь. Не останемся мы без роду-племени.

В дверях появился Константин Иванович, бледный и взволнованный.

— Ты што?— тревожно обратилась к нему бабка.

— Вестник, государыня,— испуганным голосом ответил дворецкий и спросил, взглянув на Василия Васильевича,— как государь прикажет: пущать аль нет?

— Зови!— нетерпеливо крикнул великий князь.

Вошел молодой конник из боярских детей и, перекрестившись на образа, низко поклонился всему княжому семейству.

— Будьте здравы, государи и государыни!— сказал он и продолжал:— Шемяка окаянный, преступив крестное целование и проклятые на собя грамоты, пришел к Костроме с великой силой в самый Велик день...

— Гад, змея подколодная,— проворчала бабка.— Правду сказывал отец Мартемьян — токмо смерть его смирит...

Иван же замер весь, в груди его похолодело.

— Сказывай дале!— крикнул Василий Васильевич вестнику, почтительно замолчавшему при первых словах Софьи Витовтовны.

— Много бился он под Костромой,— продолжал конник,— но ништо же не успел...

— Слава богу!— перекрестился Василий Васильевич.— Далее сказывай.

— Воеводы твои, государь, князь Иван Васильевич Стрига да Федор Василич Басёнок и все мы, что в заставе сидим, живота своего не щадя, из ворот выходили биться. Отогнали мы проклятого, отошел он от Костромы. Осады не сымат и ко граду подойти не смеет...

Вскочил со скамьи Василий Васильевич и воскликнул радостно:

— Как тобя звать-то? Голос знакомый, да не вижу.

— Андреем, государь, из боярских детей яз, у князя Стриги...

— Помню, помню,— перебил его Василий Васильевич,— поди ко мне. Ну, Христос воскресе!

— Воистину воскресе!— почтительно ответил Андрей, троекратно лобызаясь с государем.

— Ну, садись,— сказал Василий Васильевич,— позавтракай с нами.

Еще помолившись на образа и похристосовавшись со всем семейством и слугами, Андрей сел на указанное ему место.

— Завтра, до свету, гони, Андрей, в Кострому обратно. Благодари воевод моих и скажи, что следом за тобой яз со всей силой пойду на Шемяку, со всей братьей моей и с царевичами своими татарскими, с Касимом и Якубом, со всей коиницей их...

Василий Васильевич помолчал и, обратясь к матери своей, добавил:

— Яз, матушка, митрополита с собой возьму и епископов. Пусть все православные христиане видят воровство и измену шемякину, пусть отцы святые обличат его преступление...

На другой день, собрав всю силу свою и дождавшись прихода царевичей татарских, Василий Васильевич выступил с войском к Костроме, а с ним митрополит и епископы.

В тот же день опять занемог нежданно соправитель Иван, и не взял его отец с собой в поход, а оставил в Москве.

— Меня вместо тут будешь,— сказал он сыну.— Будешь Москву хранити вместе с бабкой и с матерью. Неровен час, татары из Поля набежать могут...

— Да и куды он, хворый такой,— обрадовалась Марья Ярославна,— куды в поход он пойдет!

— Огневица у него, истинно,— подтвердила бабка,— и слезоточение, да и нос-то расхудился, течет...

После ухода отца слег Иван в постель, а духовник великого князя, протоиерей Александр, каждые три дня вести о нем посылал Василию Васильевичу с вестовыми. Вестники в эти дни от великого князя в Москву прибывали. Ведал от них Иван, что войско московское быстро идет к Волге, но вскоре после того впал в забвение и целую неделю не приходил в себя и плохо даже понимал, что вокруг него делается.

Только двадцать второго мая, в день вознесения, сразу почти выздоровел Иван и оставил даже постель свою. Слабый еще, он все же ходил на все трапезы к матери, где и бабка всегда бывала; иногда приглашали и отца Александра.

Первого июня, в троицын день, кроме княжой семьи и духовника великого князя — отца Александра, обедал у Марьи Ярославны епископ Авраамий суздальский, при-

бывший в Москву от войска. Говорили за трапезой Софья Витовтовна и отцы духовные. Марья Ярославна, как всегда, набеленная и нарумяненная, на сей раз сидела с неподвижным, словно застывшим лицом. Она ничего не ела и морщилась. Ей было нехорошо, и она не слушала разговора. Иван видел это, но не понимал, в чем дело.

— Матунька,— сказал он ласково,— не тревожь ты сердца своего. У отца много войска, и сам владыка Иона с ним, и царевич Касим с татарами...

Марья Ярославна слабо улыбнулась и тихо сказала с нежностью, тронутая вниманием сына:

— Светик ты мой, не тревожусь яз. Тяжко мне от бремени моего. Ты же слушай, что отец Авраамий сказывать будет, потом мне все поведаешь... Мне же и сидеть-то за столом тяжко...

— Вестники-то нам баили,— заговорил отец Александр,— что государь близ Волги отпустил на Шемяку братню свою и царевичей со всеми силами. Пришли они в Рудино, а Шемяка переправился на их же сторону, смирился и начал переговоры. Ты же, владыко, боле того знаешь...

— Кто переговоры-то с Шемякой ведет, отче?— обратилась Софья Витовтовна к владыке Авраамию и добавила:— Все расскажи, дабы Иван о том ведал, как надобно. Пусть знает, какие дела и обманы людьми деются...

— Митрополит Иона переговоры ведет, государыня,— с гордостью ответил Авраамий,— как глава всей церкви нашей православной.

Отец Александр заволновался от этой вести, и волнение его захватило Ивана, бабку, и даже Марья Ярославна забыла о муках своего бремени.

— Аз был при сем,— говорит владыка,— видел и слышал все. Яко пророк могучий, предстал Иона пред Шемякой, и сразу побелел лицом и смутился князь Димитрий. Много говорил митрополит о достопамятном письме святителей русских к Шемяке. А когда кончил, подошел князь Димитрий под благословение, но владыка Иона, держа руки на посохе своем, изрек грозно: «Нет тобе моего святительского благословения!»

Страх объял всех, затрепетал Димитрий Юрьевич, хотел молвить что-то, но молча поник головой.

Иона же продолжал, возвысив глас свой: «Ты, ты будешь отвечать всевышнему за козни свои и воровство! На-

пал на Русь Мангутек казанский; великой князь сколь раз молил тя идти с ним на врага. Мало было тогда у государя христиан, а поганых же множество... Пали верные вои за веру христианскую в битве крепкой у Суздаля; им вечная память, а на тобе кровь их! Но не оставил господь милостию государя, избавил он его от неволи! Ты же, вторый Каин и Святополк в братоубийстве, разбоем схватил, ослепил государя своего. А чего достиг? Хотел большего, а изгубил и свое меньшее. Данного богом человек не отымет!.. Паки клялся ты в верности государю и паки воровства и властолюбия ради клятвы свои рушил и крестное целованье преступил. Если же и ныне в безумной гордыне своей посмеешься, то будешь чужд богу, церкви, вере и проклят навеки! В жизни же сей меч карающий неминуемо придет на тя, и погибнешь, угождая бесу зависти, злобы и властолюбия!..» Повернувшись, ушел борзо владыка Иона, а Шемяка и все его близкие, яко каменные, недвижно стоять остались.

Епископ Авраамий замолк в великом волнении.

Всех, что были тут, рассказ его весьма растрогал, но Софья Витовтовна, утерев слезы умиления, сказала сурово:

— Истинно святитель наш молвил про меч карающий. Яз тоже мыслю, что Шемяку взять можно не крестом, а пестом.

Отец Авраамий грустно усмехнулся.

— Право, государыня,— сказал он,— звери сии двуногие токмо тогда кресту поклоняются, когда пестом погрозят им...

— Что же Шемяка?— снова спросила Софья Витовтовна.

— Смирился. Простил его государь наш, но не верит. Отныне будет за ним наблюдать непрестанно, яко за змием, дабы исподтишка он нечаянно не ужалил, дабы вовремя главу сокрушить ему...

— Прости мя, матушка,— не выдержав, сказала Марья Ярославна слабым голосом.— Моченьки нету мне. Прикажи убрать редьку — дух от ей непереносен! Тошно, морготно мне...

— Ништо, ништо, Марьюшка,— ласково сказала бабка,— иди-ка ты в опочивальню, отдохни, а мы тут еще посидим.

— Яз провожу матуньку,— сказал Иван и вышел из трапезной вместе с матерью.

Утром июля двадцать четвертого, в день Бориса и Глеба, когда Марья Ярославна совсем уж на сносях была, воротился в Москву великий князь Василий Васильевич.

По окончании радостных приветствий и благодарственных молебнов была устроена в передней государя торжествен-

иая трапеза с духовеиством и боярами. Иваи слушал оживлеииые разговоры бояр и воевод и особеиио звонкий и веселый голос отца. Почему-то Василий Васильевич вел себя так, будто одержал самую большую победу, а воеводы и бояре говорили, что Шемяка-де только затаился, а от своего ие отступил.

Иван исподтишка иаблюдал за митрополитом Иоиой и бабкой. Сам ои ие мог поиять, прав или иеправ отец, и старался угадать, что думают о том владыка и бабка.

Голубые прозрачиые глаза владыки сияют ровиым светом, а губы чуть заметио усмехаются, и иельзя узиать, одобряет ои или порицает поведеиие великого киязя. Софья Витовтовиа же сердито хмурится и бросает досадливые взгляды иа сыиа. Ей, видимо, хочется что-то сказать резкое, ио оиа сдерживает себя...

Марьи Ярославиы за столом иет — оиа в своей опочивальие с бабками-повитухами. Там со дия иа деиь ждут родов. Иваиа это беспокоит, ио уйти из-за стола ои ие может, да и хочется ему узиать, что скажет бабка. Оиа же иепремеиио скажет, как только все лишиие разойдутся. Такой уж обычай у бабки.

Вот все, иакоиец, разошлись, ио владыка Иоиа остался, все так же усмехаясь и поглядывая светлыми глазами то иа Василия Васильевича, то иа старую государыию.

Софья Витовтовиа ие выдержала и сухо спросила:

— Ты что, сыиок, словио коиь иа овес, ржешь? Поштс такая радость у тобя, будто Шемяку ты в полои взял? Ты вот ушел оттоле с силой своей, а Димитрий-то Юрьич уж иовую пакость против тобя замыслил. Паки речам его ты поверил...

Василий Васильевич засмеялся, ио, спохватившись, заговорил ласково, чтобы мать ие обиделась:

— Не гиевись, матушка. Все сие ведомо мие, как и то, о чем ты ие ведаешь. Сиова походом иа Шемяку решил пойти. Никому пока слова о сем ие сказал, опричь владыки Иоиы. Пусть Шемяка миит, что яз ему поверил как доселе верил, дабы ои более того ие собирал силы, дабы миил, что, по скороверию своему, к рати ие готов буду. Яз же силы своей ие отпущу, а поставлю полки везде готовыми в разиых градах и весях, дабы слуха о сем иигде ие было. Лазутчики у меия везде за иим иаблюдают...

Василий Васильевич сделал зиак и молвил:

— Ну-ка, Васюк!

Васюк, стоявший рядом, быстро иаполиил крепким медом чарку и подал государю. Тот стал медлеиио пить, что-то обдумывая. Суровые складки иа лице Софьи Витовтовиы расправились.

— Нет, государыня,— медленно произнес митрополит,— мудро все государь наш замыслил. Токмо подготовить все надобно с таким тщанием, дабы ратоборство сие было последним, дабы не лили более кровь свою христиане, дабы все силы свои обратили на злых татар...

— Так и будет, отче!— горячо отозвался Василий Васильевич.— Помню яз, ты сказывал о Москве, третьем Рыме. Не при мне, так при сыне моем... При тобе, Иванушка, встанет Москва во главе всей Руси, за единым своим вольным государем...

Вдруг слышат все — кто-то бегом бежит по сенцам, и вот с шумом растворились двери в трапезную, вбежала, запыхавшись, мамка Ульяна. Испугался сначала Иван, но, увидав сияющее лицо мамки, успокоился.

— Государь, государыня!— закричала, еле переводя дух, Ульянушка.— Сын, сыночек... Сына государю бог дал!..

Вскочил с лавки князь Василий и, заплакав от радости, стал креститься на образа, к которым повернул его Васюк. Всплеснув руками, заулыбалась и бабка, крестясь частым крестом.

— Слава те, господи!— бормотала она.— Слава те, господи!..

Князь Василий резко повернулся назад и тревожно спросил:

— А как княгиня-то моя Марьюшка?

Иван хотел было побежать к матери, но удержался и молча крестился.

— Хранит господь ее, государь,— весело откликнулась Ульянушка.— Сподобил бог ее легко рожать. Рожает, как цветы сажает!..

— Отче,— сказала дрогнувшим голосом Софья Витовтовна, перебивая мамку,— иди благослови младенца ее...

Все направились на половину княгини Марьи Ярославны. Софья Витовтовна вошла в опочивальню. Еще более красивая и цветущая без румян и белил лежала Марья Ярославна в постели и радостно смотрела большими темными глазами, как у богоматери, что у Троицы Рублевым написана, вся переполненная материнским счастьем.

Дуняха вынесла новорожденного в соседний покой, где митрополит благословил младенца.

Старая государыня бросилась целовать внука, а потом, схватив младенца, поднесла его великому князю. Иван зашел в опочивальню к матери и, целуя ее, услышал, как новорожденный заплакал. Марья Ярославна забеспокоилась и попросила принести ей младенца. Взяв осторожно ребенка, она привычным движением обнажила белую, пышную грудь и тихо засмеялась, когда сын жадно припал к соску.

Иван вышел из опочивальни и подошел к отцу, стоявшему рядом с митрополитом.

Собираясь уходить, владыка громко и весело сказал:

— Ныне святых и благоверных Бориса и Глеба, они же Роман и Давид. Любое имя из сих четырех выбирайте...

— Ин, пусть будет Борис,— согласился князь Василий.

Иван стоял и думал, что, когда ему будет двенадцать лет, его женят на Марье тверской и что у них так же вот будут родиться дети...

Тоска сдавила его сердце: он вспомнил о Дарьюшке и, глубоко вздохнув, незаметно вышел из покоя.

Лето кончалось, приближался Киприянов день, с которого — журавлиный отлет. В лесу и на полях возле речек и озер вечером и поутру вставали туманы, разливаясь как молоко, выпадали обильные росы. Когда же в погожий день всходило солнце и пригревало еще почти по-летнему, воздух становился хрустальным, небо гуще синело, и выпуклые барашки облаков плыли по синеве его, как паруса, полные ветра.

— Ныне,— весело говорил Ивану Илейка,— Иван Предтеча, как бают, гонит он за море птицу далече, а там и не приметишь, как бабы пироги с рябиной печь почнут. Ну, да мы до тех пор досыта поездим верхом в подмосковных-то!

— Верно, верно, Илейка,— весело смеясь, кричали в ответ Иван и Юрий,— поездим верхом! Успеем еще до дождей-то.

Они скакали по просекам, задевая иногда головой или плечом низкую ветку, и с нее дождем брызгала роса. Кататься они выезжали рано, в восьмом часу, а к девяти-десяти были уже в той или иной подмосковной, когда солнце ярко сияло и обливало все своим светом.

Иван полюбил эти прогулки и все чаще уезжал из дома. Любил он думать в лесу, всякий раз отъезжая немного в сторону, чтобы разговоров не слушать. Вот и сегодня, въехав в просеку, он свернул на небольшую дорожку, протоптанную между огромными березами и соснами. На березах кое-где уже мелькали желтые листочки и, кружась в воздухе, изредка, как бабочки, спархивали с ветвей на траву.

Спешился он и пошел, ведя коня на поводу. Забыл все, идет, словно тонет в лесу, а солнце так и бьет лучами, и в лесной чаще листья и сучья то сияют, будто залитые янтарем, то утопают в провалах черной мглы. Звонко звенят синицы в невозмутимой тишине неподвижно застывших берез, елей и сосен...

Внезапно Иван остановился, пораженный невиданной еще им красотой. В конце дорожки, где солнце ударяло в деревья, ветви берез и сосен, словно обсыпанные осколками радуги, вспыхивают огоньками разных цветов — синими, желтыми, зелеными, багро-

выми. Долго смотрит Иваи, не отрываясь, а солнце передвигается чуть заметно, и районки иа глазах у него меняют цвета, гаснут иа одних ветвях, загораются на других...

Пройдя иесколько шагов дальше, увидел Иван веселую лужайку, залитую солнцем, и присел иа старый широкий пеиь срублеииой сосны, хранивший еще иатеки смолы, высохшей и побелевшей от времеии.

Сидит, а кругом все та же тишииа и иеподвижиость. Пахиет прелым мхом и грибами, а далеко где-то глухо покрикивает сииица. Иногда травяиые зелеиоватые лягушата, иеуклюже раздвигая стебли травы, а иа более гладких местах прыгая, пробираются куда-то поодииочке.

На мокрой траве, при малейшем повороте головы, повсюду словио алмазы вспыхивают капли росы, загораясь разиоцветными огоиьками...

Смотрит Иваи иа вспыхивающие огоиьки и ни о чем ие думает, ио думы . ами идут к иему, как сказки, как сои иаяву. Приходят и уходят. Только в душе от них стаиовится покойио, а рати и битвы, козии Шемяки, беседы о государствовании, женитьба его, Дарьюшка и все, что иной раз мучило его, тоже как-то вместилось в эти лесиые сказки, иаполняя сердце сладкой печалью...

Широко открыв глаза, иеподвижио сидит Иваи, слушая, что внутри его происходит. Чует ои, как спину ему слегка припекает солиышко, будто ласково гладит теплой рукой...

Вдруг ои услышал тревожные крики и узнал голос Юрия:

— Ива-аие!— кричит ои,— гони-и к на-а-ам! Гоии-и!

Страх охватил Иваиа.

— Что там такое?— шепчет ои.— Что случилось? Заболел кто? Может, матунька?

Иваи вскочил на коия и погнал по просеке иа голос брата.

— Эй, Ю-ури-ий!— кричит он иа скаку.— Ю-ури-ий! Кричи-и! Яз к тобе иа кри-ик при-го-ню-у! Эй!

Небольшая просека кончается, и в прогал ее видио подмосковиое село. Вот и Юрий с Илейкой и Данилкой мчатся, въехав уж в просеку, а по лугу скачут за ними коиники.

— Что, что деется?— взволиованно кричит Иваи, видя испугаиные лица.— С бабунькой аль с татой что?..

Юрий, взволиоваиный, бледный, перебивает:

— Татары под Москвой!..

Замер Иваи, руки его задрожали, ио ои сдержал себя. Никого ии о чем ие расспрашивая, сказал резко:

— Наиборзо в Москву! Там все у государя узиаем.

В Москве и в самом Кремле Иваи заметил волиенье и страх. Люди как-то затаились, словио прятались, а по улицам города

перебегали с оглядкой и тревогой. У кремлевских стен все ворота были заперты на железные засовы, как в осаде. Везде стояли дозорные и стража.

Отдав коней Илейке, Иван с Юрнем бегом вбежали по крыльцу в горницы княжих хором. Отца застали в трапезной, где он сидел с Васюком и медленно отхлебывал мед из большой чарки.

— Государь,— дрогнувшим голосом спросил Иван,— бают, татары под Москвой?..

Василий Васильевич спокойно усмехнулся.

— Далеко еще,— сказал он,— а могут и к Москве пригнать. Вестник-то сказывал: до Пахры добрались. Токмо их силы немного...

— А какие татары-то,— уже спокойнее спросил Иван,— казанские?

— Нет, из Орды. Седи-Ахматовы. Народу иемало посекли саблями, полои взяли и княгиню князя Василья Оболенского увели...

— Когда пригнали-то?..

— Третьёводни на рассвете, да царевич Касим погнался за ними со своими конниками татарскими. Жду вот новых вестников. Сядьте и вы со мной тут, сыночки,— с часу на час вестников-то яз жду.

Сыновья оба присели на лавку вблизи отца. Василий Васильевич помолчал малое время и молвил совсем спокойно:

— Сии не страшны нам. Сие токмо яртаульные одни разведку правят да грабят, что под руку попадет...

Великий князь снова замолчал, что-то обдумывая.

— Иване,— сказал он,— запомни наиглавное: нам надобно, дабы татар не бояться, перво-наперво Шемяку совсем порешить, а потом Новгород проклятой совсем сломать, хребет ему переломить. Не будет обоих, и тишина на Руси настанет. Не будут тогда грозить нам ни татары, ни ляхи, ни литовцы, ни немцы. Сие запомни, Иване. Ведай еще, что и Шемяка и Новгород для-ради корысти и властолюбия всех врагов на Русь манят. Обое воровством живут, боятся и ненавидят нас. Хуже татар они! Татарин-то, ежели он поклянется оружием, верен будет, никогда воровства не содеет. Те же крест целуют, а нож за пазухой доржат...

Вошла Софья Витовтовна и, дав внукам облобызать руку, села против сына.

— Никак вестников не дождусь, сыночек,— сказала она,— на месте же сидеть нет мочи.

— Потерпи, матушка,— молвил Василий Васильевич,— гоньба у нас добре наряжена. С часу на час жду вестей-то. Как Марь-

юшка-то? Не очень всполошилась? А то от страху у ней, сама знаешь, молоко пропадает...

— Ништо,— ответила бабка,— кормит сей часец Бориса своего.

У дверей трапезной послышались грузные шаги, и дворецкий, отворив двери, ввел нового вестника.

— Сказывай борзо,— обратилась к нему Софья Витовтовна, когда тот еще и перекреститься не успел.

— Будьте здравы, государь и государыня!— начал, кланяясь, вестник.— Царевич Касим гонит ахматовых татар, полон отбивает, вчерась же княгиню Василья Оболенского отбил! В степь бегут татарове поганые...

— Верный из верных мой царевич Касим!— воскликнул Василий Васильевич, перекрестясь набожно, продолжал:— Благодарю тя, господи, за щедроты твои!..

Глава 17

РАЗГРОМ

В январе тысяча четыреста пятидесятого года великий князь Василий Васильевич, стремясь совсем порешить с Шемякой, собрал всю силу свою и в начале января пошел с полками на Галич.

Снова Иван ехал с отцом по снеговым просторам, следуя за войском по льду рек или по широким дорогам и просекам сквозь лесные дебри. От Москвы пошли по Клязьме-реке до устья Колокши, а по Колокше, через Юрьев Польский, к Ростову Великому. От Ростова по реке Которости в Ярославль пришли и по Волге к устью реки Костромы.

Во граде же Костроме застигла их весть, что Шемяка со всем войском своим ушел из Галича к Вологде.

— Струсил, злодей,— сказал князь Василий, сидя в хоромах у воевод своих, князя Стриги да Федора Басёнка.

— А может, у него какие иные мысли,— возразил Федор Васильевич,— может, он и присные[1] его изолгать нас хотят...

— Всяко бывает в ратных хитростях,— поддержал своего соратника князь Стрига.

— А что ж спят наши лазутчики да вестники!— рассердился Василий Васильевич,— где глаза, где уши у них?

— Государь,— вмешался большой воевода, князь Василий Иванович Оболенский,— а мы так содеем: сами обманем. Пойдем мы Костромой до устья Обноры и вверх по сей реке, якобы на

[1] *Присный* — всегдашний, вечный, а также близкий человек.

Вологду хотим, а царевичей тут оставим с конниками их. Ежели Шемяка и впрямь на Вологду идет, мы его от Галича отрежем и град сей возьмем. А ежели сие токмо обман и морока, мы его в Галиче окружим...

Василий Васильевич и прочие воеводы согласились с главным воеводой, а Иван, морща лоб, о чем-то думал.

— А пошто, государь,— спросил он, наконец,— так обманывать нас Шемяке надобно?..

— А потому, что вельми хитер Шемяка,— ответил князь Василий Васильевич,— у него, у Шемяки-то, мыслю, не все во граде укреплено, вот и хочет он обманом отдалить нас, пока для осады не изготовится...

Иван весело улыбнулся — все так ясно вдруг ему стало, но опять нахмурил он брови, когда Василий Иванович добавил:

— А может, и сие вот не истинно. Может, иное что злодей замыслил?..

Князь Оболенский задумался на мгновение, но тотчас же сказал твердо:

— Слушайте, воеводы, токмо как аз сказывал, деять будем. Так нам лучше всего. С обеих сторон надо Шемяку отрезать и окружить, ежели он из Галича выйдет. В Костроме заставу оставим. Царевичи же татарские, выслав вперед яртаул, пусть пойдут вверх по Костроме. Мы сами пойдем вверх по Обноре к Никольскому монастырю... Ты же, Федор Василич, рыскай окрест с конниками своими да ладь везде лазутчиков, дабы наблюдали, не пошел бы Шемяка на Москву...

Оболенский помолчал малое время и строго молвил, обращаясь к воеводам:

— А наиглавное же, воеводы, приказываю именем государей моих, нарядите знатное число вестников и непрестанно со мной сноситесь.

Опять отряд за отрядом потянулись конные и пешие полки, а позади них пошли обозы с конной и пешей стражей. Ивану все это уже давно знакомо, но равномерное движение полков, ржанье коней, выкрики воинских приказов, звук военных труб бодрили и волновали его. Он чувствовал себя воином, стал неотрывной частью людской громады, идущей на бой, на труды, муки и смерть за отечество, за правое дело против злодеев, разорявших народ и государство.

Впереди же, сворачивая влево, конные и пешие отряды переходили уже по льду с Костромы-реки в устье Обноры. Вот потянулись ее высокие берега, заросшие вековыми огромными лесинами, засыпанными до половины снежными сугробами.

— Ишь, какие тут метели были,— заметил Илейка,— нщь, какие горы намелн...

Но Иван не слушал своего бывшего дядьку, а теперь своего стремянного. Он весь был в думах, стараясь точиее уясннть, как будет действовать набольший воевода Василий Иваиович н куда прнкажет своим младшим воеводам идти.

Вдруг ои вздрогнул: рядом громко н резко запела труба, прнзывая на привал, а вслед за нею пошел крик из уст в уста большнх н малых начальников:

— Сво-ора-ачивай вле-во-о на бере-ег! Ра-зводи-н костры-ы! По-олдничать бу-уде-ем!..

Все оживилнсь. Весело зашумели, поднялись крнкн, смех, где-то песин запели, и отряд за отрядом, хрустя ломающимнся под коиями кустами, въезжал уж в лесную чащу, где за ней открывалась огромная поляна с обгорелыми пиямн и стволами деревьев...

— Внншь, государь,— сказал Илейка, обращаясь к Иваиу почтнтельно и важно, ибо рядом ехали с ним его двое подручных,— вишь, государь Иван Васильевич, какое пожарнще-то! Лнбо молонья тут ударила, либо сироты жгли, пал для пахоты деяли, а расчистнть пал-то не успели. С весны ныне расчнстят.

Иван ничего не ответил, а Илейка продолжал, обращаясь теперь больше к подручным:

— Воевода-то наш зиает сии края. Ишь, как подгадал: н место слободиое н гладкое для полков н дров сухих множество...

— А государь где стал с воеводами?— перебил Илейку Иваи.

— Я, государь, того не ведаю,— ответил Илейка,— но мыслю, тамотка вон, где князь Василь Иваиыч воям показывает шатер ставнть. Во-он и санн великого князя туды подъехалн...

Иваи молча повернул к указаниому месту, где ясно увидел меж обгорелых стволов н большего воеводу, н сани отца, и Васюка около них верхом на коие...

За обедом в шатре велнкого князя, кроме обоих государей, был воевода князь Оболеиский, а служилн нм за столом только Васюк да Илейка.

— Ну как, Василий Иванович?— спросил его великий киязь.— Как ты мыслишь, куда мы ныие поспеем н нужно ль нам ночным походом идти?..

Оболеиский, не торопясь, допил чарку любимого заморского, которым баловал своего любимца сам государь, н молвил:

— К ночи у Ннкольского монастыря будем, что иа Обиоре. Там же, мыслю, мы вестн получим. Яз так гоньбу нарядил, что кажные трн-четыре часа должен быть новый вестник.

Еще не звонили к ранней обедне, как в келарские покои, где гостили и почивали оба государя, пришел с вестниками князь Оболенский Василий Иванович.

— Будьте здравы, государи,— густым голосом заговорил он,— нарочь вестников яз не спрашивал, дабы вместе с вами, государи, вести их обсудить. Совместно-то да с прямых слов лучше уразумеем, что деется...

— Добрый день, садись возле меня,— ответил Василий Васильевич и, сразу взволновавшись, нетерпеливо воскликнул:— Ну, сказывайте же!

— Великий государь,— начал один из вестников,— воевода твой, князь Стрига, Иван Василич, повестует: «Царевичам от дозорных и лазутчиков ведомо стало, что Шемяка повернул коней к Галичу. Борзо полки его спешат, идут уж по льду рекой Вексицей[1] к Галицкому озеру. Оставляет Шемяка по разным местам крепкие дозоры. Приказал воевода твой царевичам татарским следом идти за Шемякой, а потом, дозоры поставив, идти вниз к устью Обноры, к тобе, государь, навстречу, ежели сам туда идти замыслишь...»

— Сам воевода Стрига,— заговорил другой вестник,— от лазутчиков своих вызнал: ждут в Галиче Шемяку и спешно стены крепят и пушки готовят. От воеводы же Басёнка, Федора Василича, ведомо князю Стриге, что воеводы шемякины, из заставы галицкой, свои дозоры и к Костроме-реке и к Унже-реке выставили. А за сим челом тобе бьют воеводы твои и царевичи татарские и приказов твоих ждут.

Вестники поклонились великому князю и сыну его.

— А яз тобе, Василь Иванович, челом бью,— обратился великий князь к Оболенскому,— сам рассуди, что им приказывать. Ты у меня набольший воевода и хозяин в ратном поле.

— Так вот, государь мой, позволь ране думу с тобой подумать, а после того яз пошлю приказы. Вестники же отдохнут малость и с ночи обратно в Кострому.

— А ты, Васюк,— молвил Василий Васильевич,— пока у меня дума будет, подь покорми вестников-то похлебосольней и яствами и питиями. Мы чем богати, тем и ради. Идите, спаси вас бог, да от меня воеводам и царевичам так передайте: «Благодарю вас и воев всех за старание. Помоги вам господь во всех делах ратных. Поклон вам всем». Василий Васильевич привстал, слегка поклонился и, садясь, добавил:— Ты ж, Илейко, пока послужи мне, а ты, Васюк, захвати от моего стола сулею водки боярской да сулею медку стоялого для дорогих гостей.

— Будь здрав, государь наш Василий Василич, и ты, государь

---

[1] *Вексица* — древнее название реки Вексы.

Иван Василич, спаси вас господь...— поблагодарили вестники с низким поклоном и вышли с Васюком в другой покой.

Когда дверь затворилась за ними, Василий Васильевич, довольный хорошими вестями, весело обратился к сыну:

— Ну-ка, скажи нам с воеводой, как ты сии вести разумеешь?

Иван смутился, но, оправившись и помолчав немного, сдержанно и спокойно молвил:

— Яз мыслю, что князь Василий Иваныч верно ранее угадал. Все идет, как он в Костроме нам сказывал. Посему разумею, что и нам борзо идти надобно к Галичу, дабы прекратить путь Шемяке к Новгороду, Вологде и Вятке, где помочь ему быть может...

Глубоко передохнув от вновь охватившего волнения, он добавил решительно:

— За Москву же страха у меня нет. На Москву Шемяке нельзя идти, когда вся наша сила ратная у него за спиной...

Василий Васильевич радостно рассмеялся, обнял и поцеловал сына.

— Яз, Иване, так мыслю,— воскликнул он,— токмо вот что воевода нам скажет: может, оба мы не на правом пути...

— На правом, на правом,— быстро заговорил князь Оболенский,— но дивит меня то, что и юный государь наш уже все добре разумеет в ратном деле и вельми памятлив и скорометлив.

Иван радостно улыбнулся на слова воеводы, а растроганный Василий Васильевич сказал:

— Надежа он моя на государствовании, бог даст, вборзе все труды со мной разделять будет.

Помолчав немного, он добавил, обращаясь к воеводе:

— Приказывай полкам, Василий Иваныч, как найдешь лучше...

— К ночи, государь, пошлю вестников князю Стриге и все укажу, а утре пойдем и мы к Галичу.

Спешным порядком прошли войска великого князя московского вниз, к устью Обноры, вышли на лед Костромы-реки и так же спешно пошли вверх по ней к устью Вексицы. Этим путем полки Василия Васильевича вскоре прибыли к месту Железный Борок, где Свят-Иванов монастырь стоит.

Здесь, в обители, поджидали их уж давно вестники из Костромы, сведавшие от дозорных великого князя, что идет он к Галичу. То были: боярский сын Терентий Кольцо, а с ним пушечник Ермила, молодой мужик, ражий детина — косая сажень в плечах.

Оба государя, отец и сын, разместились в келарских покоях Иванова монастыря. Князь Оболенский еще не успел выйти от них, как доложили им о вестниках. Василий Васильевич приказал привести их тотчас же.

Когда вошли вестники, Иван сразу узнал в пушечнике рыжеволосого курчавого Ермилку-кузнеца, того самого, что в войско просился у воеводы Стриги в первый поход княжича по пути к Владимиру. Это он сказал ему тогда: «Много бают как бы на глум, а ты бери на ум».

Теперь Ермилка не проявлял более дерзости, стоял почтительно, кланялся и крестился истово и строгостепенно держался, как настоящий военный начальник.

— Будьте здравы, государи,— сказали разом оба вестника, кланяясь в пояс и касаясь рукой пола.

— Будьте здравы,— ответил Василий Васильевич быстро,— да сказывайте, как у Галича!

— У Галича, государи мои,— начал боярский сын,— Шемяка на самой горе пред градом стоит с великой силой, и конников у него множество, а пешей рати и того более. Град же крепит спешно и пушки на стены ставит. Есть у него и самострелы и рушницы[1]. О сем пушечник скажет.

Ермила поклонился низко и, тряхнув рыжими кудрями, заговорил медленно:

— Пушки же у него, государи: тюфяки[2] и пищали разные, есть еще из огненной стрельбы — рушницы. Токмо мыслю, не устоять граду от наших ломовых пищалей. Особливо добры из ломовых-то «Певец», «Медведь» и «Орел». Накидаем мы им и каменных и железных орехов...

— А какие места круг горы той, на которой войско шемякино?— прервал кузнеца князь Оболенский.— Мне точно надо знать: где там овраги, леса, болота и речка? И как борзо вороги могут в град свой войти и в нем затвориться?

— О сем, княже, повелел довести тобе, яко воеводе наибольшему, князь Стрига,— ответил боярский сын Терентий Кольцо,— и яз повестую сей часец. Знамо тобе, воевода, что Галич стоит на полуденном берегу Галицкого озера с уклоном ближе к восходу. Берег-то тут низкой и прямо ведет ко граду. Одно тут лихо: овраги глубоки, лесом все поросли и кустами непролазными. Летом тут никакого доступу нет, а зимой, сказывает князь Стрига, тут хоть и трудно идти, но всего ближе ко градным стенам. С других же сторон окружает град, словно стеной, множество холмов крутых, как горы. Не можно тут по крутизне лезть, когда сверху и камни, и пушки, и стрелы пущать будут...

— А меж гор тех есть ко граду проход?— спросил Оболенский.

— Есть, княже,— ответил Терентий Кольцо,— но вельми тесен, и там пешая рать стоит, малая рать, но не собьешь ее,

[1] *Рушницы* — ручные пищали, фитильные ружья с подставками.
[2] *Тюфяк* — особый вид пушки мелкого калибра, похожий на пищаль.

с боков пройти к ним не можно в теснине той... Да вот чертежи ратные воевода наш шлет тобе: тут все овраги и горы самим воеводой помечены.

Василий Иванович Оболенский жадно схватил карту и, развернув ее, обратился к Ивану:

— Прошу тя, государь, погляди со мной...

— Заместо моих очей,— взволнованно воскликнул Василий Васильевич,— ныне у меня твои очи, Иване!

Иван взглянул на карту и увидел там начертанный град со стенами и башнями. Действительно, стоит крепость, как сказывал вестник, на юго-восточном берегу Галицкого озера, а со всех других сторон, как подковой, окружен непрерывной цепью крутых холмов. В одном только месте обозначен очень узкий проход ко граду.

— А здесь вот овраги,— указал князь Оболенский,— идут они до самой стены, почитай. А тут, гляди, государь, проход тесный помечен. Воспоминаю места сии. Весьма умело все обозначено...

Оболенский загляделся на карту и словно забыл обо всем, водя пальцем по чертежу и повторяя про себя:

— Добре содеяно, добре...

— А где же ратная сила Шемяки стоит?— нерешительно спросил Иван.

Вопрос этот не сразу дошел до воеводы.

— Добре, добре,— громко шептал он и, вдруг обернувшись, сказал:— Прости, государь, не уразумел яз речей твоих.

— Где шемякина сила стоит?— повторил Иван свой вопрос.

— А вот тут, где вот палочки рядами, как частокол, наставлены,— указал Василий Иванович и, обратясь к вестнику, спросил:— Пеши и конники тут вместе али конники в других местах? И кого из них больше?

— Конники одни позади главной рати стоят,— ответил вестник,— другие же — дозоры окрест града всего правят. Главно же стоят конники против озера. Конных-то у Шемяки множество, а пеших и того более.

— Отпустите их, государи,— сказал воевода,— с пути им пообедать надо, да и опочинуть. Мы же до того времени обсудим все, как чему быть. Когда же надобно будет, яз их покличу...

— Пусть идут,— ответил Василий Васильевич.

— Потом яз им все расскажу,— добавил набольший воевода.

Когда вестники, низко поклонясь государям, вышли из покоев, князь Оболенский, разложив на столе карту воеводы Стриги, сказал:

— По сим чертежам все уразумел яз и ведаю, как нам деять надобно. Ежели Шемяка и поныне не затворяется во граде, а

все на горах стоит перед градом,— значит, на полки свои крепко надеется...

— Злодей-то,— взволнованно перебил воеводу Василий Васильевич,— на все иные идет. Мыслит нас совсем задавить, ну, да как бог судит!

Великий князь вышел из-за стола и, привычно обернувшись в сторону, где образа, опустился на колени и закрестился. Соправитель и воевода Оболенский тоже закрестились. Помолясь, Василий Васильевич при помощи Васюка тяжело поднялся с колен и опустился на скамью. Грудь его высоко вздымалась, а из-под длинных ресниц, вдавленных внутрь век, текли слезы.

— Положив упование на господа,— заговорил дрожащим голосом великий князь,— и на пресвятую его матерь, и на креста честного силы надеясь, отпускай, Василь Иваныч, полки с воеводами и царевичей с татарами к Галичу, как сам рассудишь.

Наступило молчание.

— Мыслю, государи мои,— медленно заговорил князь Оболенский,— на́перво надобно уразуметь нам, куда и зачем отпускать полки и где на врага ударить нам выгодней...

Воевода набольший замолчал и снова задумался, глядя на карту и крутя всей горстью свою седеющую курчавую бороду.

— Вот, гляди, государь Иван Васильевич,— обратился он к Ивану, показывая пальцем на тесный проход в горах.— Тут приступить, через сию теснину,— токмо людей губить без пользы. Почему мыслю поставить здесь пищаль и вдоль прохода палить, и вместе с ней рушницами и самострелами бить, ежели враг-то на нас пойдет. Приковать тут надо врага к теснине-то, дабы и наступать не мог и уйти от нее не мог. Мы же должны манить их, якобы тут приступать ко граду хотим.

Иван оживился и с жадностью следил за указаниями воеводы, водящего пальцем по карте.

— То же мыслю содеять и тут,— продолжал воевода, указывая на подступы к городу со стороны озера.

— Пошто сие?— спросил Иван.

— Дабы и тут полки их приковать к месту,— ответил Оболенский.— Пройдя озером по льду, поставим мы конных и пеших против града, где лучше всего приступати. Они сами о том ведают, и тут у них и пушек и людей больше всего будет. И тем самым полки их мы пред собой держать здесь станем, а ночью отошлю наилучших и крепких воев к оврагам, дабы через те овраги пошли на гору к полкам Шемяки еще до рассвета, а первее того стрельбой огненной почнем бить, как бы приступаем ко граду от озера и от теснины...

— Уразумел яз мысли твои, Василий Иваныч!— радостно воскликнул великий князь.— Вельми мудро рассудил ты! Черте-

жей твоих не вижу, но мысленно все зрю... Силу их надвое...

— Истинно, государь, ежели бог допустит все так, как мною замыслено,— молвил воевода и, встав со скамьи, добавил с поклоном:— А теперь, государи мои, дозвольте отойти мне в покой свой, дабы еще подумать и нарядить потом вестников ко всем воеводам и царевичам...

— Иди, иди на ворога злого, Василий Иваныч!— ласково сказал великий князь.— Да благословит тя господь и укрепит руку твою для сокрушенья лиходеев наших. Яз же убогий, по слепоте своей, тут с сыном останусь...

Князь Оболенский вышел, а Василий Васильевич сказал Ивану глухим голосом:

— Ох, Иване, жребий нам тут, под Галичем, вынимать сужено, а на счастье аль на горе — то господь ведает...

Января двадцать седьмого не было вестников до самого ужина. Все это время Василий Васильевич томился, а с ним молча сидел и Иван в тоске и страхе. И вот, когда огни вздувать стали и свечи зажигать, прибыли вестники. Государь приказал Васюку немедленно звать их.

— Какие вести?— вскрикнул он, услышав шаги пришедших.— Какие вести?

— Будьте здравы, государи,— перекрестясь и кланяясь, сказали вестники, и один из них продолжал:— Князь Оболенский повестует: «Пришли сей день под Галич на рассвете. Князь Димитрий стоит еще на горе перед градом со всею силой, не сходя с места. Обложили мы град, государи, как яз сказывал вам, а на озере, против града, наиглавная сила наша, конная и пешая. Спосылал яз конников в разные концы и дозоры поставил, дабы упредили, ежели какая помочь Шемяке придет. Вборзе приступати почнем, а дале, как господь бог даст...»

Иван жадно слушал вестников, а перед глазами его была карта с градом Галицким, которую оставил ему воевода. Карта смялась немного, и не сразу Иван расправил ее — руки у него дрожали. Ясно вдруг глазам его представились полки свои и шемякины, увидел он крутизны и овраги, понял, как начнут приступать воины, как это сражение страшное начнется, и волнение охватило его, будто сам он сейчас на ратном поле. Очнулся Иван, когда отец тихо сказал замолчавшим вестникам:

— Идите вкусите от трапезы. Васюк сопроводит вас...

Когда вышли все, Василий Васильевич судорожно передохнул и сказал Ивану глухим голосом:

— Может, к злодею-то нашему татары казанские на помощь

пригонят али вятичи новогородские. Вельми уж дерзок стал ворог наш...

Великий князь смолк от волнения и еще глуше добавил:

— Ко всему готовым быть надобно. Сани у нас запряжены, и конная стража с нами. Неведомо, какой жребий господь нам судит...

Только что великий князь Василий Васильевич и юный соправитель его, не раздеваясь, в постели легли,— пригнали новые вестники. От неожиданности их прихода холодная дрожь пробежала по всему телу Ивана, а государь сидел неподвижно, крепко зажав лицо руками. Когда, наконец, вошли они, великий князь, не отводя рук, громко выкрикнул:

— Сказывайте!

Вестник ответил сразу, не соблюдая обычая:

— Князь Оболенский повестует: «Воевода Басёнок по моему приказу с озера в лоб пошел на Шемяку. Конники его согнали со льда шемякиных, а пешую рать оттеснили к самому граду. Тут приказал яз князю Стриге с главной силой приступати левей через овраги. Шемяка же стоит на горе с главной силой, а засад нигде у него нету. Начали вороги с града бить в нас из пушек, пищалей и самострелов, но ни во что сие нам — божию милостию не убили никого. С великою трудностью, а все же идут полки наши оврагами и дебрями. И Басёнок стрелы пущает в шемякиных конников и держит их у града, а пушкарь наш Ермила из «Медведя» по граду бьет...»

Отпустив вестников, Василий Васильевич, взволнованный и томимый ожиданием дальнейших событий, обратился к сыну.

— Иване,— сказал он слегка дрожащим голосом,— погляди-ка на те чертежи ратные, что князь Стрига-Оболенский прислал нам прошлый раз. Ты памятлив. Помнишь, что вестники-то баили.

— Помню, государь.

— Погляди и скажи мне точно, так ли они баили, как тобе князь Василь Иваныч сам на карте указывал...

Иван оживился, забыл все тревоги и, блеснув глазами, радостно ответил:

— Сей часец, государь. Вот тут у теснины, сказывал воевода князь Василь Иваныч, и тут вот у града на озере будет он всю силу шемякину држать, а сам пошлет воев туда вот, в обход через овраги, к самой горе приступать. Ты же, батюшка, сказал тогда воеводе, что рассечет он силу шемякину надвое...

— Верно сие, Иване,— начал было Василий Васильевич и вдруг побледнел и смолк, заслышав шаги в сенцах.

Взглянув на отца, Иван не то спросил, не то воскликнул хриплым голосом:

— Вестники!..

Топот многих ног быстро приближался к двери, и все страшнее становилось от этого шума шагов, несущих неведомо что.

— Помоги, господи,— будто всхлипнув, с трудом выговорил прерывающимся голосом Василий Васильевич.

Иван напряженно глядел на дверь и вскочил невольно, когда она сразу отворилась. Вестники почти вбежали в покой с Васюком вместе.

Во главе их был воевода Федор Васильевич Басёнок, начальник конников, любимец великого князя. Он вбежал в покой, словно прихрамывая на изогнутых колесом ногах, как у степных наездников, и закричал громко и радостно:

— Славьте господа, государи! Сокрушили мы лиходея вашего. Бежит он неведомо куда, а царевичи татарские за ним гонятся!.. День и ночь скакал к вам, государи, с «сеўнчем» сим...

Оба государя, старый и юный, замерли от неожиданности и не могли слова вымолвить.

— Помог господь нам, государь,— продолжал Басёнок,— борзо мы выправились из оврагов, а взойдя на гору, вои наши, как барсы, ударили на Шемяку, и была сеча зла и жестока. Многих избили мы на месте, а пешую их рать чуть не всю посекли; бояр же и лучших всех имали руками. Многие ко граду бежали, а град затворился...

— А лиходей наш?— крикнул Василий Васильевич.

— Князь Димитрий едва убег с малым числом конников неготовыми дорогами. Гонятся за ним царевичи со своими татарами, да успел Шемяка еще до окончанья боя бежать...

— Благодарю тя, господи боже мой!— воскликнул, наконец, Василий Васильевич и, протянув руки, привлек к себе стоявшего перед ним воеводу, обнял и поцеловал его.

И все тут на радостях обнимать и целовать стали друг друга, славословя воевод и воинов русской земли.

В тот же день, отслужив молебен, выехал великий князь с соправителем и двором всем из монастыря к Галичу.

Едет Иван в крытом возке вместе с отцом, который теперь весело шутит, смеется.

— Ну, Иванушка,— говорит он ласково сыну, обнимая его рукой за плечи,— пусть убежал лиходей наш, а мыслю, навек порешили мы с ним. Не будет более удела Галицкого, к Москве отойдет он. Наместников и воевод своих посажу там...

Ивану легко и радостно на душе, будто и не было никаких

тревог и печалей. Боковые полсти возка отвернуты, и погожий день сияет во всем блеске, ослепляя белизной снегов и синевой неба. Смотрит Иван кругом и ие иасмотрится.

— Кррун, кррун,— звучио доиосится с высоты.

Иван слегка закидывает голову и видит, как, медленно взмахивая крыльями, летит большой черный ворон. Видно, как на лету поворачивает он голову и тяиет лесу, что зубчатой каймой опоясывает сиежную равнину.

Василий Васильевич молчит. Он о чем-то думает, и брови его то сурово сдвигаются, то снова расправляются, а на губах появляется улыбка.

— Батюшка,— обращается к отцу Иван,— пошто Новгород-то Великий Шемяку к собе принимает?

Отец нахмурился.

— По то, сынок,— ответил он,— что новгородцы Москву еще боле Шемяки не любят. Оиа им, иовгородцам-то, как кость поперек горла. Посадники их вкупе с гостями богатыми спят и видят, как бы всю торговлю у нас отнять, в свои руки захватить. Жадны они очень, торговцы-то. Вот они Шемяку-то и лелеют, дабы нас разорить да обессилить. Мыслят, разореиное-то легко взять, да руки коротки. Обрубим мы им руки-то! Обрубим, дай срок!

Василий Васильевич разгорячился и долго говорил о разных кознях новгородцев, об их торговле и дружбе с немцами и посредничестве в торговле...

— Им иадобио, чтобы мы сами не могли у иемцев покупать и немцам свое продавать с выгодой. Все через свои руки хотят пропускать, дабы все барыши им шли. Вот порешим до конца с Шемякой-то, да за них и возьмемся. Укоротим так, что и про колокол[1] свой вечевой позабудут...

Иван с широко открытыми глазами слушал отца. Как-то сразу по-иовому все предстало пред ним. Понял ои, что и Шемяка и Новгород ие просто из-за злобы ие любят Москву и ее киязей, а что Москва и князья московские иевыгодны им. Димитрию

---

[1] *Вечевой колокол* — колокол, в который звоиили в Новгороде и Пскове, собирая вече (иародное собрание для решеиия государствеииых вопросов). Вече в Новгороде и Пскове было оргаиом политического управлеиия как самим городом, так и его колоииями. В вече участвовали не только «лучшие» (бояре-вотчинники, гости богатые — купцы), ио и «меиьшие» (посадские чериые люди и сироты). Новгородские богатеи во главе с посадскими управляли городом, колоииями, притесняя закабалеииых ими черных людей и сирот. Черные люди и сироты вели глухую борьбу с «лучшими», прорывавшуюся иногда в виде восстаний и вооружеииых схваток чериых людей с притеснителями. Новгородское боярское правительство и купечество видели в Москве соперника и врага, а чериые люди и сироты, наоборот, надеялись иа Москву, как иа освободительиицу их от притеснения купечества. ***(Прим. автора.)***

Шемяке мешают они захватить власть, а Новгороду грозят убытками...

— Вот в чем дело-то!— воскликнул Иван, пораженный внезапным открытием.

— В сем дело, сыночек, в сем,— продолжал Василий Васильевич, радуясь, что сын его понимает.— Токмо не боюсь яз Новгорода. Худа у них ратная сила. Бояре-то да купцы толстопузые до меча не охочи, а черные люди да сироты сами к нам тянут, ибо как в полоне живут они у бояр-то богатых. Теснят их вельми и купцы. Они, черные-то люди, как в сказке, на чужом пиру сидят, пиво пьют, по усам течет, а в рот не попадает. Все в брюхо боярам да купцам идет.

Василий Васильевич замолчал и, вдруг усмехнувшись, сказал:

— Сей день к ужину мы в Преображенский погост приедем. У попа Евлампия ночевать будем. Так вот про пиво-мед яз сказывал, и его попадью вспомнил. Хорошу бражку варит. Тут уж нам не по усам, а прямо в рот...

Но Иван не ответил. После долгой беседы о государственных делах устал он. Да и сам Василий Васильевич утомился и дремать сразу начал. Иван хотел тоже дремать, но все еще думал о новом, и даже у сельского попа, где они ночевали, не мог забыть радости нежданного для себя открытия.

Сидя за ужином и запивая кашу сладковатой овсяной бражкой, он вдруг обратился к отцу и, довольный, радостный, громко сказал:

— Яз все уразумел. Все хотя и внове мне ныне, а понятнее, чем ранее было...

Глава 18

СКОРЫЕ ТАТАРЫ

Шел второй год после разгрома Шемяки. В Галиче крепко сидели наместники и воеводы московские, а бежавший князь Димитрий затаился в Новгороде Великом и с новгородцами вместе замышлял всякое зло на Москву.

При пособничестве купцов и бояр богатых снесился Шемяка и с Казанской, и с Золотой Ордой, и с Синей, с ханством кипчаков[1], которые живут за Каспием, а у татар слывут Белой Ордой. Как собак, он с новгородцами на Русь их натравливает, а те разоряют села и деревни, берут в полон сирот и продают их в рабство кизыл-башам, туркам и даже в далекую Индию.

---

[1] *Кипчаки* (по-древнерусски — половцы)— кочевой народ, живший преимущественно на территории нынешнего Казахстана.

— Жду яз, Иване, татар,— говаривал все чаще и чаще Василий Васильевич,— пока жив лиходей наш, новгородцы цепляться за него будут. Нужен он им, дабы лиха поболе содеять нам... Сам знаешь, Димитрий-то на деньги новгородские воев собирает...

— Верно сие,— сказал Иван.— Вчерась ездил яз к владыке Ионе, во двор его. Заложил он на дворе палату каменную с церковью. Дивно строение сне будет. Ласков был владыка ко мне. Прощаясь же, молвил: «Скажи отцу, что бывает небо ясное, а враз туча набежит и гром поразит, как вот собор-то Архангельской ныне поразил...»

Василий Васильевич перекрестился и сказал с умилением:

— Истинный прозорливец святитель наш. Прозрел он главную гребту мою, словно мысли мои за глаза читает. С сего дня, Иван, снова полки собирать будем. Утре поедем с тобой в Коломну, к Костянтину Лександрычу Беззубцеву. Гостит ныне у него Касим, наш царевич. О скорых татарах там подумаем...

В покои вошел Юрий и, улыбнувшись брату, почтительно обратился к отцу:

— Батюшка, матунька к обеду тя кличет. Бабунька у нас нынче обедает. За столом уж она...

Васюк повел Василия Васильевича под руку, а Юрий пошел рядом с Иваном. Будучи только на год моложе, Юрий много меньше брата по росту, по плечо ему только.

— Никогда, верно, не догоню тя, Иване,— сказал он вполголоса брату,— ты же и Данилку вот перерос много, а Данилка на пять лет старше...

Иван тихо рассмеялся и, слегка обняв брата за шею, проговорил ласково:

— А ты почти с Дарьюшку, а она ведь тоже на четыре года тобя старше...

Этот год осень на редкость теплая, ясная, солнечная, и леса, нарядно одевшись в пурпур и золото, стоят как-то по-особому тихо и смирно. Только дремучий бор по-прежнему темнеет мрачной зеленью, но и среди хвои весело желтеют на солнце стволы и ветви могучих сосен.

— Вот токмо ель ничем не развеселишь,— сказал Ивану Илейка,— всегда она с головы до ног в черноте, как монашка...

В Коломну оба государя ехали в открытой колымаге, и Васюк с ними. Рядом же скакал Илейка, держа на поводу Иванова коня,— полюбил очень верховую езду Иван.

Была с государями большая конная стража, а впереди разведывал путь дозорный отряд. Позади тоже дозорные конники ехали. Боялись это лето татар: рыскали, налетая нечаянно, конные шайки и казанцев, и ордынцев. Ехать же надобно от Москвы более

сотни верст до Коломны, вдоль Москвы-реки, мимо села Бронницы[1].

Когда проезжали Бронницы, Васюк сказал о том Василию Васильевичу — он все села и грады называл великому князю.

— Вишь,— с горечью отозвался Василий Васильевич,— Пахра-то совсем недалече отсюда, да и от Москвы рукой подать, а и сюда доходили поганые ордынцы.

— Ныне не посмеют, государь,— почтительно заметил Васюк.— Касим-то царевич в Коломне.

— А ты, Васюк, упреди меня,— молвил Василий Васильевич,— когда Коломну видать будет...

— Да уж видать, государь,— продолжал Васюк,— и не токмо град, а и реку Коломенку.

— Ну-ка, Илейко,— крикнул Василий Васильевич,— поскачи поклич начальника стражи! Пусть вестника шлет из своих конников, известит воеводу Костянтина Лександрыча, что едем к нему...

Илейка, передав коня Васюку, ускакал, а Иван, задумчиво осматривая окрестности Коломны, спросил отца:

— А пошто ты упреждаешь воеводу-то?

— Дабы нечаянности не было,— улыбаясь, ответил Василий Васильевич,— дабы могли государя своего принять, как подобает. И тобе так деять надобно, когда без меня к слугам нашим поедешь, дабы сполоху у них не было...

Впереди послышался конский топот. Иван вздрогнул, подумав, что, может быть, татары это, но из-за леса на повороте дороги вылетел Илейка.

— Евсей Ильич послал вестника-то, государь, как ты приказать изволил!— крикнул он, круто осаживая коня у самой колымаги.

— Добре,— думая о чем-то другом, ответил Василий Васильевич,— добре...

Илейка просиял и, приняв от Васюка Иванова коня, сказал молодому государю:

— Государь Иван Василич, глянь-кось на Москву-реку. Вишь, там ладья под парусом к устью Коломны у самого града плывет. На таких ладьях к нам в Муром владыка Иона приплывал, когда на патрахиль тя с Юрьем брал...

— Верно, Илейка!— воскликнул Иван, оживившись.— Совсем подобна той.

Васюк, глядевший из-под руки на реку, деловито добавил:

— Рязанская ладья. Рязанцы завсегда на таких ходят.

И вдруг ясно так перед глазами Ивана встало страшное

[1] *Село Бронницы* — г. Бронницы.

прошлое, когда впервые увидел он в Угличе лицо ослепленного отца...

У коломенских ворот поезд государей встретили на конях воевода Константин Александрович Беззубцев, царевич Касим и Федор Курицын с конниками. При радостных криках и приветствиях народа оба государя проследовали в сопровождении воеводы и царевича к городскому собору. У храма встретил государей со всем клиром в полном облачении епископ Варлам коломенский.

Государи, приняв под звон колоколов благословение владыки, вошли в собор и, отслушав там молебен, поехали пообедать и отдохнуть с дороги к воеводе Константину Александровичу. Главное же — Василий Васильевич спешил тайно думу подумать с воеводой и царевичем о скорых татарах.

В хоромах Беззубцева, как только усадили гостей за стол, а Фекла Андреевна едва успела приказать, чтобы шти подавали, Василий Васильевич обратился к царевичу Касиму и к воеводе:

— Что ведомо вам о скорых татарах? Жду яз от них зла...

— Чуток ты, государь, к волкам сим алчным, угадал истину,— быстро ответил воевода.— Донесли нам яртаулы царевичевы и лазутчики, что идут татары из Дикого Поля:[1] идут Мальбердей, Улан, а с ним иные ханы со многими конниками. К Ельцу идут...

Услышав это, Иван побледнел вдруг и в горести воскликнул:

— Когда же конец грозе сей татарской будет?

Смолкли все за столом от тоски душевной, а Фекла Андреевна взглянула на Ивана, отерла слезу на щеке и тяжко вздохнула, шепнув вполголоса:

— Прогневался на нас господь наш...

Но воевода Константин Александрович, подняв голову и приосанясь, сказал твердо:

— Тогда, государь Иван Василич, конец всему придет, когда на Руси единый государь будет, когда все удельные, да и даже великие княжества, а с ними и Новгород и Псков вотчинами московскими станут.

— Верно!— радостно подхватил Курицын.— Так и митрополит Иона и владыка Авраамий сказывают. Дабы иго сие свергнуть, надобны еще некии замыслы...

---

[1] В старину Диким Полем или просто Полем называли степь от реки Доиа до берегов Каспия, где кочевали в те времена татары и откуда они делали набеги иа русские княжества.

Василий Васильевич, угадав, куда разговор клонится, неожиданно для всех заговорил с царевичем Касимом по-татарски, прервав Курицына.

— Опять тобе дело, брат мой меньшой,— сказал он Касиму,— встречай, гони нагайцев. Спеши к Полю против них, и да поможет тобе аллах, как и прошлый год у Пахры. Воевода же Костянтин Лександрыч своих коломенцев поведет, пеших и конных. Старшой он будет.

Выслушав все, царевич Касим встал со скамьи и поклонился великому князю.

— Слушаю и повинуюсь,— сказал он и снова сел продолжать трапезу.

Встал и поклонился и воевода Беззубцев, разумевший по-татарски.

— С помощью божией,— молвил он,— выполним волю твою, государь. После трапезы соберем всю силу свою, а утром, чуть свет, к реке Битюгу пойдем, навстречу татарам...

Иван за трапезой сидел молча, хотя у отца шел оживленный разговор с воеводой и царевичем. Он вспоминал то, что видел по дороге к Владимиру, когда на пути им встречались сироты, бегущие от татар казанских. Снова мелькали перед глазами испуганные люди с женами и детьми на возах, позади которых гнали коров и овец.

И не увлекали его на этот раз ни военные хитрости, ни храбрые нападения и сечи с врагом. «Все воеводы,— думал он,— охочи до военных дел, как до травли волков, тщатся токмо врага заганивать, о людях же не помнят». Но сказать об этом не смел, да и сам понимал, что, если враги напали, ничего, кроме боя, быть не может.

Уж и трапеза кончилась, и воеводы ушли, а Иван все еще мучительно путался в мыслях своих.

— Государь мой,— вдруг услышал он голос Федора Курицына, который один остался за столом с ними,— прости, государь, горячность мою, яз догадался, когда ты перебил меня и заговорил по-татарски с царевичем...

Василий Васильевич ласково усмехнулся и молвил:

— Что ж уразумел ты?

— Нельзя ругать татар при татарине, а наиглавно, что татарину, даже другу и слуге верному, нельзя открывать тайны государствования...

Князь Василий весело рассмеялся.

— Млад ты, Федя,— сказал он,— но разумен и скорометлив. Враз сметил ты все, что яз тогда помыслил. А по-татарски разумеешь ты?

— Разумею, государь.

— Он, государь, и по-фряжски, и по-латыньски, и по-польски, и по-литовски ведает,— сказал Иван, гордясь другом.— Владыка его язычником зовет.

Прошло две недели, как оба государя вернулись в Москву из Коломны через село Брониницы, а Беззубцев и Касим еще похода своего против ордынцев не кончили. Но в Москве не было о том большого беспокойства. Через день, реже через два, от воевод приезжали вестники, и было Ивану ведомо: воевода Беззубцев пошел на Венев, а оттоле к Ельцу; Касим же со своими татарами погнал через Зарайск, Пронск и Липец[1] к верховьям реки Битюг, а оттуда к озеру Черкасскому, в тыл татарам Седи-Ахмата.

Ведомо и то было, что старый воевода Беззубцев гонит царевича уж к Битюгу-реке, к устью ее, где она в Дон впадает, проходя через озеро Черкасское, у которого засада Касима...

— Бог поможет нам,— не раз говорил отец Ивану,— наши побьют и полонят всех басурман, никто из них не убежит в Поле...

Но и среди наступавшего теперь успокоения после набега татар Иван не находил себе покоя. Борис Александрович, великий князь тверской, прислал Марье Ярославне в подарок настенное венецианское зеркало большой чистоты отражения. Это напоминало Ивану о скорой свадьбе с княжной Марьюшкой.

Как-то, оставшись один в покоях матери, он поглядел на себя в зеркало. День стоял погожий, солнечный, и свет потоками вливался через окна в опочивальню. Стоя на свету, Иван случайно повернулся немного вбок и вдруг увидел свое отражение в зеркале. Он даже вздрогнул от неожиданности. Рядом с ним стоял, словно выглядывая по пояс из окна, высокий, стройный отрок лет пятнадцати на вид, смотревший на него тяжелым, неподвижным взглядом, острым и пронизывающим. Иван улыбнулся, и улыбка смягчила сразу взгляд больших красивых, почти черных глаз.

— Вот каким яз стал,— чуть слышно молвил Иван, уж год целый не видавший себя в маленьком зеркальце, что раньше тут висело и в котором можно было видеть только лицо и то не все.

Вглядываясь в свое отражение, он заметил, что у него, как и у Данилки, которому шел уже шестнадцатый год, появился на щеках легкий темно-русый пушок, а на верхней губе бархатной тенью пробились усы. Он невольно погладил себя по щекам, щупая мягкий упругий пушок, и пощипал кончиками пальцев усики.

[1] *Липец* — г. Липецк.

Все это смущало Ивана: Данилка старше его на пять лет, а по виду они однолетки совсем...

— Теперь меня еще скорей оженят,— шепнул он с тоской, и почему-то захотелось ему увидеть Дарьюшку, обнять ее, как тогда в сенцах, прижать к себе крепче и ни о чем ни думать...

Быстро вышел он из опочивальни и стал ходить по сенцам, приближаясь то к трапезной, то к крестовой, то переходя к хоромам бабки, то к покоям отца. Он проходил и через передний покой, почти к самому красному крыльцу и к лесенке, что идет из светлиц к гульбищам и башенке-смотрильне над самой крышей. Странная истома томила его все больше и больше.

Вдали скрипнула дверь. Иван притаился невольно позади лесенки и вдруг осознал, кого он ждет, и страшно ему стало, что об этом могут догадаться другие.

Тревожно выглядывая из-за лесенки, он увидел знакомый девичий летник. Сердце его забилось, и, когда легкие шаги поровнялись с лесенкой, он выглянул снова из-за нее и срывающимся, свистящим шепотом проговорил чуть слышно:

— Дарьюшка! Подь сюды...

Она вздрогнула, быстро огляделась кругом и юркнула за лесенку.

Иван жадно схватил ее руками и, прижимая к себе, с закрытыми глазами целовал ее щеки, губы в каком-то радостном упоении. Но это было несколько мгновений.

Он почувствовал вдруг на губах своих соленую влагу и широко открыл глаза. Дарьюшка, приникнув к нему, плакала горько и безутешно...

— Что ты, Дарьюшка?— зашептал он растерянно.— О чем плачешь-то?

Он увидел, как, задрожав, губы ее болезненно искривились, и она с трудом выговорила:

— Иванушка-а! Отец... сва-атает меня... четырнадцатый, грит, то-обе... Сва-а-та-ает...

Она охватила шею Ивана и замерла на груди его в беззвучных рыданиях. Потом оторвалась от него и, сгорбившись вся, побежала куда-то по сенцам.

Иван остался один, словно окаменел на месте. Потом уткнулся лицом в угол позади лестницы и долго рыдал так же беззвучно, как Дарьюшка, пока не устал, не выбился из сил.

Когда он очнулся совсем, достал из кармана платок и отер им слезы. Постояв еще немного, он медленно вышел из-под лестницы и пошел ровным, спокойным шагом в свою опочивальню.

В сентябре, после воздвиженья, когда хлеб с полей двинулся, пришли, наконец, желанные вести от воеводы Беззубцева: он и царевич Касим окружили, перебили и полонили почти всех татар,

только малая горстка от всей силы нх убежала обратно в Поле, к своим кочевьям у моря Хвалынского.

Но Иван не нспытывал в полной мере радостн этой победы. После встречн с Дарьюшкой, когда он узнал, что ее сватают, нм овладела тоска, сознание непоправнмой утраты.

— Дарьюшка моя, Дарьюшка,— шептал он по ночам, ворочаясь от бессонннцы в постелн, н слезы жгли его глаза.

Он чувствовал теперь полное однночество. Некому было поведать о муках своих н облегчить сердце. Даже друг единственный, Данилка, теперь не подходил ему, когда онн бросили рыбную ловлю н детскне нгры. Понял бы его только Илейка, да говорнть с ним о том язык не поворачивался.

Первая это тайна завелась у него, первая боль сердца, н новые думы пошлн одолевать его. С отцом, с владыкой Ионой н с бабкой говорнть можно только о государствованнн. С матерью обо всем говорнть можно, но об этом, новом — совестно.

— Да н можно ль о сем говорнть,— шептал он горько,— когда меня с Марьюшкой обручилн, н Дарьюшку отец просватал...

Мучили его еще н сны, странные н непонятные, о которых н вовсе никому сказать нельзя. Вндело́сь ему раз, что с Дарьюшкой стонт он, обнявшнсь, а от нее тепло ндет. Сладко ему оттого, н сердце так бьется, что душно становнтся. И вдруг просыпается, весь разметался он под одеялами.

Иногда просыпался вместе с Иваном н старый дядька его, Илейка, но делал вид, что спнт. Сначала Иван не догадывался об этом, но потом понял. Во сне Илейка или храпел неистово, или точно свнстел носом. Теперь же лежал он без еднного звука, совсем не шевелясь как мертвый. Раз это даже напугало Ивана, н он тревожно крикнул:

— Ты не спншь, Илейка?

— А ты пошто не спишь?— враз ответил старнк.

— Сны все, Илейка, н душно мне н жарко...

— Внжу, разметался весь. А какие сны-то вндишь?

Иван смутился н ответил неохотно:

— Разные сны, всякне...

— То-то всякне,— молвил Илейка.— Я хошь вздремнуть не вздремнул, токмо всхрапнул да прнсвнстнул, а давно слышу, что ты соловьнным сном спншь: будко, просыпаешься часто...

Иван молчал. Не хочется ему говорнть обо всем Илейке, а чует сам, что тот от него не отстанет. Илейка посопел носом н опять молвил:

— Годамн-то млад еще ты, а телом-то совсем доспел. Прнходит, значит, н тобе пора́ на пору́. Сего, как огня да кашля, от людей не скроешь...

Иван сделал вид, что уснул, но жадно прислушивается к

бормотанию старика. Илейка же продолжает говорить вполголоса, словно размышляя вслух.

— Все мы, адамовы детки, на грехи падки. У меня, старика, и то иной час бесово ребро играет. Недаром говорится: седина в бороду, а бес в ребро...

Илейка крепко почесал себе затылок всей пятерней, громко зевнул и, укрываясь тулупом, добавил шепотом:

— Суха-то любовь токмо крушит. Погóдь, и мы те женку не для пирогов найдем...

Этой зимой тяжко Ивану, а горше всего расставанье с Дарьюшкой. Единая отрада ему — беседы с прежним учителем своим да с Курицыным. Иной раз старик Алексей Андреевич и молодой Федор Васильевич так много нового Ивану сказывают, что, не уставая, часами готов он слушать их и с досадой великой уходил, когда к отцу его требовали для разных государевых дел.

Особливо в конце зимы много бесед было в весьма студеный и метельный февраль. Ни на охоту, ни даже просто верхом никуда нельзя выехать,— метет с утра до ночи, сугробы намело выше заборов. В хоромах же тепло и тихо,— хорошо слушать, как шумит непогода, а самому беседовать, попивать горячий сбитень со свежими сайками и мягкими коврижками.

Как-то в покоях у великого князя Ивана зашла беседа о Шестодневе.

— Вельми радостно, государь,— воскликнул Федор Курицын с юношеским пылом,— что перевод сей книги грека Георгия Писиды, писателя славного цареградского, на язык наш изделал дьяк митрополита Киприяна.

— Дьяка же сего,— добавил Алексей Андреевич,— звали Димитрием Зографом, а писал он при прадеде твоем при Димитрии Донском... Зограф сей тоже из Царьграда вместе с Киприяном приехал, токмо не грек он был, а болгарин. Посему и грамоту словенскую ведал...

— А что сие — Шестоднев?— спросил Иван.

— Похвала к богу,— быстро ответил Курицын,— о сотворении им всей твари земной и человека. Много там дивного есть о зверях, птицах, рыбах и змеях. Наидивно ж там о птице фениксе сказано. Птица сия на орла похожа, живет она пять веков, а потом сожигается огнем, а из пепла своего вновь возрождается, сперва как червь малый. На третий же день расти начинает в птицу, а после сорока ден в виде орла улетит...

Иван слегка усмехнулся.

— Сказке подобно сие,— молвил он,— как о жар-птицах сказывают.

— И яз так мыслю,— заметил Алексей Андреевич,— все же в книге сей поучительного вельмн много. От рыбаков и мореходов там указано, что кнты-рыбы, которые корабль потопнть могут, таковую любовь н гребту о детенышах своих имеют, что прн смертной угрозе жнзнн глотают их н в брюхе своем содержат, пока не нзбегнут беды. Вндели мореходы н змей морских, кои весь корабль обвнть могут н сокрушнть, как утлую скорлупу. Есть еще в морях н конн морскне, н коровы, н собакн, н чуднща морские, яко бесн по внду, мерзостные н страшные.

— Истнннo сие, Лексей Андреевич,— вмешался Курнцын.— Владыка Авраамнй сказывал, что, когда был он во фряжской земле, там возле самого берега рыбаки беса морского поймали. Тело его н глаза подобны человеческим, токмо мерзостны, и крылья сатанннскне у него, хоша н малые. Хвост же у него рыбнй...

— И что же с бесом снм содеялн?— перебил рассказчика Иван с нетерпеливым любопытством.

— Владыка сам не вндал беса сего, но ему сказывали. Издыхал уж бес-то, а на суше вборзе весь околел, а на утре завонял. Птнцы его склевали морские...

Много еще разных чудес Алексей Андреевич и Курнцын называлн, что нз кннг н от людей сами слышалн.

Забылся Иван в беседах, все еднно, как побывал бы в неведомых сказочных странах, н когда после завтрака ушли его гости, он словно застыл в своих думах.

Тнхо у него в покоях, н солнышко ласково заглядывает в слюдяные окна. Только что валил снег н мело кругом, и вдруг вот разлетелнсь тучкн снежные, н метель прекратилась. Будто кто-то занавескн у неба отодвннул, н открылся над землей небесный лазоревый свод. И на душе Ивана стало тихо н покойно. Улыбается он веселому солнышку. Но слышит — чуть скрнпит позадн него дверь, будто сама тихонько отворяется.

Быстро оглянулся он, н сердце его сразу упало: в дверях Данилку увндел.

— Что, Данилушка?— спросил он, стараясь быть спокойным.

Данилка нахмурился, губы его дрогнулн.

— Дашку в Коломну увозят, на Федора Тнрóна свадьба,— буркнул он мрачно.— Плачет девка, рекой разливается. Жалко мне, сестра ведь.

Данила посопел носом н добавил:

— А тобе, государь, поклон земной она шлет.

Защипало в глазах Ивана от болн сердечной. Отвернулся к окну. Пересилил себя н глухо молвил:

— Иди, Данила, н от меня ей поклон передай...

Когда Данилка вышел, зажал Иван лнцо рукамн н несколько раз всхлипнул. Потом долго сидел неподвижно, н казалось ему:

что-то милое, хорошее отходит от него навсегда, как недавно отошло его детство.

Пасха в этот год пришлась двадцать третьего апреля, на второй месяц нового года[1].

Снова по-весеннему играет солнышко, целые дни звонят пасхальные колокола. Оттаявшая земля местами совсем просохла и заткалась кое-где зеленой травкой. На ольхе и березках сережки распускаются, а на иве и тополях почки лопаются, и пробиваются к солнцу зеленые сочные листья, и хорошо этими листьями пахнет. На лужайках парни и девки яйца крашеные по земле катают и с лотка и просто так, из рук.

Иван сидит у себя в покоях, слушает колокольный гул в Кремле, следит невольно за верткими, озорными воробьями, что мелькают у самых окон и дерутся с отчаянным чиликаньем на узеньких подоконниках. Иногда колокола затихают, и тогда с оконных наличников слышно глухое воркованье голубей.

Смутное томление охватывает Ивана, и шепчет он чуть слышно:

— Дарьюшка моя...

Но нет уже у него прежней тоски, только сладостно ему имя это, и хочется ласки и неги, что исходили от Дарьюшки. Молодой князь, подойдя к отворенному окну, долго следит, как, причудливо порхая в весеннем воздухе, пролетают время от времени белые бабочки...

Кто-то тихо вошел в покои. Иван оглянулся и весело кивнул Федору Васильевичу Курицыну, своему новому другу, хотя тот и много старше его. Жил подьячий в княжих хоромах и входил к соправителю без доклада.

— Что, государь,— улыбаясь, заговорил Курицын,— опять думы у тобя и снова в уме приметы собираешь? Их, впрочем, не чуждаются и духовные отцы. Токмо яз...

— Ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай не верю,— поддразнивая Федора Васильевича, подсказал Иван обычную его приговорку.

— Не верю,— тряхнув головой, решительно молвил Курицын.

Иван рассмеялся и добавил:

— А кто мне сказки сказывал про феникс-птицу? Илейка, тот и почудней сказки ведает. Про кита он мне баил, что землю всю на спине своей доржит, а сам в океане плавает...

[1] До 1492 года новый год считался с 1 марта, а с 1492 года — с 1 сентября ст.ст. По указу же Петра Великого — с 1700 года новый год начинается с 1 января ст.ст.

Иван сел на скамью и проговорил приветливо:

— Садись, Федор Василич.

— Яз тобе, государь, неспроста о феникс-птице сказывал,— усмехаясь и садясь рядом, заговорил Курицын.— А для того сказывал, дабы ты своим острым умом уразуметь мог, что и в книгах небылиц немало бывает...

Разговор прервался — в покои быстро вошел Илейка и, обратясь к Ивану, сказал громко:

— Государь Василь Василич кличет к собе Федора Василича...

Курицын вскочил со скамьи и, двинувшись к дверям, пояснил Ивану:

— Государь повседневно указывал быть в сей час у него для чтения грамот договорных с удельными и прочими, а также и всяких вестей от наместников и отцов духовных. Может, и тя он призовет.

Иван ничего не ответил,— он думал о книгах, которым привык во всем верить, хотя иной раз и сомневался, но не допускал себя до крайних рассуждений. Помнил он, что «мнение — всех пороков мати», и гнева божьего боялся. Теперь же, после смелых слов Федора, сомнения пуще и дерзновение одолевают и мутят ум его.

Юный государь, напряженно сдвинув брови, глубоко задумался. Илейка, что-то убирая в покоях, искоса поглядывал на своего бывшего питомца и, наконец, не вытерпел. Как прежде, когда еще дядькой был княжичу, положил он руку на плечо Ивана и молвил с ласковым участием:

— Пошто, Иванушка, смутен ты и душой скорбен?

Иван взглянул на Илейку и печально ответил:

— Томит меня мнение обо всем, Илейко...

Глаза Илейки ласково блеснули.

— Мнение, Иване, хошь и боль,— заговорил он,— а божья печать. Многие же людие есть, бедные ли, богатые ли, а вроде скотины: токмо жуют да спят...

Того же года, ближе к концу июня, дней через пять, как летний Федул на дворы заглянул — пора, мол, серпы зубрить,— прискакали из Коломны нежданные вестники. Всполох начался великий: из седи-ахматовой орды идет на Москву царевич Мозовша́, подходит уж к реке Оке...

Спешно разослал гонцов Василий Васильевич ко всем удельным, повелев садиться на коня и вести полки свои на помощь великому князю московскому. Собрав потом бояр и воевод своих, сказал с гневом и досадою:

— Проспали татар за Окой-то, черти лупоглазые! Где теперь успеть нам? Где воев собрать! Царевич-то ведь не с одним полком пришел. Ведь на Москву хотят поганые...

Бояре и воеводы, понимая всю опасность положения, взволновались не менее своего государя.

— Подогнали, поганые,— кричал воевода князь Иван Звенигородский,— подогнали, почитай, к самому жнитву! И жать надо и воевать надо. А урожай-то господь дал какой!

— А им что — сожгут хлеб-то,— мрачно сказал старший из князей Ряполовских и, перекрестясь, добавил:— Ну да бог не выдаст, свинья не съест. Спеши, государь, собрать полков поболе, а мы в Москве, в случае чего, в осаду сядем...

— Нет, воеводы,— вскричал Василий Васильевич,— не об осаде нам думать, а иттить наиборзо навстречу Мозовшé. Яз с князь Иваном Звенигородским все, какие есть, полки поведем, а вы тут конных и пеших собирайте, откуда токмо сможете. Есть еще у меня упование, что царевич Касим поспеет, да и Беззубцев из Коломны силу ордынску задоржит. Спешно к Коломне пойдем. Там же купно с теми двумя заградим на Оке все броды...

Юный соправитель с гордостью любовался слепым отцом, лицо которого горело воодушевлением и отвагой. Хотя великий князь волновался, все же не падал духом, а измыслил, как врага лютого отразить, не пустить его за Оку-реку. Иван вздрогнул от радости, когда отец обратился к нему и спросил:

— А ты, соправитель мой, как мыслишь о сем?

— Яз мыслю так же, как и ты, государь,— быстро ответил Иван и, обратясь к Ряполовскому, добавил:— А что до осады в Москве, то, ежели бог не поможет, мы в осаду сесть всегда успеем.

Василий Васильевич, одобрительно кивнув на слова сына, громко приказал воеводам:

— Сей же часец, воеводы мои, собирайте полки, а в ночь пойдем на Коломну...

Иван рад был походу и хотя боялся татар, но чувствовал легкость на душе, и все его сомнения, грусть о Дарьюшке и непонятные томления сердца отошли прочь. Снова почуял он в себе воина, когда, выезжая ночью из Москвы, скакал рядом с колымагой отца, позвякивая кольчугой и оружием.

Полная луна стоит высоко, заливая белым, чуть синеватым сиянием все небо и землю. Едва проступают кое-где крупные звезды, а мелкие и Млечный Путь совсем растаяли в светлом тумане. Иван, качаясь в седле, слушает мерный топот коней, гулкий и отчетливый среди ночного безмолвия, и думы идут к нему со всех сторон сами, безо всякого толка и порядка. Покоен он и верит: не пустят они татар за Оку, и не то что Москвы, а и Коломны даже не видать басурманам, как своих ушей.

Не заметил Иван, когда войска и двор их очутились у самой Бра́шевы. Короткая летняя ночь побледнела, замутилась,

а на востоке по всему небу заиграли розовые отсветы, и вдруг сразу брызнули багрецом и золотом все верхушки могучих деревьев. Ясней и ясней из белесых сумерек выступают огромные стволы сосен и елей. Обозначаются просеки и тропки лесные, идущие направо и налево от главной дороги, посвистывают и щебечут проснувшиеся птицы.

Когда совсем рассвело, меж деревьев, в боковых узких просветах, увидел Иван телеги со всяким скарбом, коров и овец, мужиков и баб, пробиравшихся с детьми в глубь лесных чащоб и дебрей. Замер он и, вспомнив знакомое ему, обернулся к Илейке, ехавшему рядом. Тот в ответ на немой вопрос юного государя крикнул хриплым голосом:

— Сироты бегут!

Иван все понял. Молча поскакал он к отцу, но его обогнали конники из передового отряда.

Постепенно остановилось в бору все войско великих князей московских, и воеводы окружили обоих государей. Стало известно, что татары уж близ берега Оки, что не успеть войскам заградить броды, а в других местах — помешать врагу переправиться вплавь с конями и на плотах.

— Ништо нам, государь, не изделать, в Москве затвориться со всеми полками надобно,— сказал князь Иван Звенигородский.

— Стены-то каменные, выдержат, отсидимся,— поддержал воеводу боярин Семен Иванович, что вместе когда-то с княжичами бежал от Шемяки из Сергиевой обители к князьям Ряполовским.

Заговорили и другие. Иван слушал их, взглядывая иногда на отца. Василий Васильевич молчал, и лицо его было хмуро и неподвижно.

— Приказываю так: иттить нам назад, но доржать на собе татар,— сказал он, наконец, громко и, обратясь к воеводам, сурово добавил:— Посему князь Иван Звенигородский поведет всю силу, которая с нами. Яз же токмо со стражей к Москве поспешу, к осаде готовиться да рать собирать на ордынцев надо.

Когда тронулась колымага, Василий Васильевич повернулся вполоборота назад и четко прокричал воинам звонким своим голосом, слышным, как всегда, далеко:

— Да хранит вас господь, да поможет в Москву вборзе вернуться! Отсидимся в Москве-то!..

Воротившись в Москву вечером накануне Петрова дня, Василий Васильевич, хотя время было позднее, к ночи уж, послал за митрополитом Ионой.

Княгиня Марья Ярославна с детьми младшими уже спала в своих покоях, и встретила обоих государей — сына и внука —

старая государыня Софья Витовтовна. Василий Васильевич рассказал ей о положении дел на Оке-реке и просил остаться на совещании с владыкой.

Иван во время разговора отца с Софьей Витовтовной все время глядел ей в лицо, и вспоминался ему разговор бабки с татарским сотником Ачисаном. Изменилась она с тех пор, постарела, сморщилась вся, как печеное яблоко, но губы и глаза были прежние, придавая всему ее облику твердость и силу... «Восемьдесят лет уже бабке,— думает Иван,— а стоит вон она прямо, и все та же в ней сила...»

— Иванушку-то с собой возьми,— говорила она сыну,— расставаться вам не надобно...

Она еще хотела что-то сказать, но старик Константин Иванович, вбежав в покои, доложил о приезде митрополита и Ефрема, архиепископа ростовского. Все пошли в сени навстречу митрополиту. Иона, как всегда, был величав и спокоен. Иван, приняв от него благословение, отошел несколько в сторону и жадными глазами следил за лицом Ионы. С детских лет, с первой встречи с этим могучим и добрым стариком, Иван привязался к нему. Владыка такой же властный и строгий, как бабка, но глаза у него иные: они все видят насквозь и все понимают без слов.

В трапезной все молча сели за стол, выслушав только краткую молитву владыки. Призваны были еще князья Ряполовские, бояре и воеводы великих князей из тех, которые в это время в Москве случились.

Первым заговорил Василий Васильевич, сказав, что страху большого у него нет от скорых татар.

— Все же,— добавил он с печальным вздохом,— много пакостей натворить они могут и даже стольному граду нашему вред содеять...

— Отсидимся,— громко сказал Ряполовский,— стены крепки, а степняки ныне не те, что ране были...

Иван внимательно следил за всеми говорившими. Из разговоров выходило, что нет большой опасности. От этого нарочитого спокойствия леденело в груди Ивана, но он тоже сидел спокойно, и только глаза его тревожно впивались в лицо Ионы.

— Из нашего роду,— неожиданно заговорила бабка Софья Витовтовна,— не всем бы в осаде сидеть, разделиться бы семейству-то нашему...

Она смолкла, не решаясь как будто досказать свои мысли до конца, но все ее поняли. Наступило молчание, Василий Васильевич побледнел и хотел что-то сказать, но отец Иона опередил его и среди тяжкого безмолвия сказал твердо и громко:

— Нам превыше всего — пользы государствования. Надобно нам сохранить государство единым и сильным. Полагаю аз, грешный, что оба государя наши утре же отъехать должны на Волгу полки набирать, а мы тут все в осаду сядем и живот свой в руци божии предадим...

Василий Васильевич решительно и сурово сдвинул брови.

— Горько мне сие и тяжко,— молвил он,— но яз памятую о Шемяке проклятом. При долгой осаде может он с татарами соединиться...

Послышались шаги в сенях, распахнулись двери, вскочил в княжие покои старый боярин Семен Иванович.

— Простите, государи,— кричит боярин,— токмо от Оки пригнал! Беда, государи, и лихо...

Замерли все в страхе, будто неживые, сидят за столом. Не сразу заговорил Василий Васильевич словно чужим хриплым голосом:

— Сказывай, что такое? Сказывай...

— Государь, государи мои,— дрожа и захлебываясь словами, спешит ответить Семен Иванович.— Государи мои, своровал князь-то Звенигородский. Ушел от Оки к собе, в свои вотчины, с войском, оробел он пред силой татарской... Открыл к Москве дорогу татарам! Дни через два тут будут поганые.

С яростью прервал боярина Василий Васильевич.

— Вотчину токмо свою бережет!— крикнул он и, обратясь к митрополиту, добавил:— Вот какие слуги мои...

Он сжал в тоске руки, но сразу же воспрянул духом и начал твердо, как привычный воин:

— Государыня матушка, поди побуди Марьюшку и деток. Собери их до рассвету. Пусть с малыми детьми в Углич едет и там схоронится. Наряди охрану для нее.

Он помолчал, как будто колеблясь и не решаясь, но потом снова заговорил:

— Сама же ты, государыня, с сыном моим, князем Юрьем, в осаду на Москве сядешь меня вместо...

Передохнул он долгим вздохом и, обратясь к владыке Ионе, спросил:

— А ты, отец мой, как мыслишь?

Медленно встал высокий и могучий старик. Лицо его было спокойно и властно. Все взоры обратились к нему.

— Прав ты еси, государь,— сказал он громко.— Токмо и ты сам отъезжай на рассвете. Татарове-то могут и завтра пригнать, хоша бы одни их яртаульные. Не должно им ведать, куда ты и княгиня твоя уехали. Мы же тут с государыней Софьей Витовтовной управимся, поможет нам бог...

Владыка помолчал, перебирая четки, потом сказал великому князю:

— Ты, государь, сына своего Ивана с собой возьми. Сей, как сам ведаешь,— очи твои. Да из двора своего возьми нужных тобе людей и конников сотни две, а там тысячи пристанут. Так надежнее будет. Иван-то — с тобой, Юрий — с нами, а малые сыны твои — с княгинией твоей, и спасет господь род твой...

Приблизясь к Василию Васильевичу, владыка благословил его, а тот трижды облобызал руку митрополита.

— Благослови, отче, и соправителя моего...

Иван быстро подошел к митрополиту и прямо взглянул ему в лицо. Сердце Ивана радостно дрогнуло, когда он увидел ласково устремленные на него светлые глаза владыки. В них было столько непоколебимой веры и силы, что юный государь, снова почуяв смелость и твердость в душе, молвил спокойно:

— Благослови, отче...

Владыка чуть усмехнулся уголками губ и, благословляя, наставительно молвил:

— Да поможет тобе господь государем быти, как надлежит...

— Бояре и воеводы наши,— раздался звучный и спокойный теперь голос Василия Васильевича.— Мы, государи ваши, приказываем: сей же часец осадить Москву. В осаде же слушать во всем государыню Софью Витовтовну и сына моего, князя Юрья. Митрополит же Иона и владыка ростовской Ефрем в совете их будут, а яз все содею, как митрополит нам сказывал...

Совсем рассвело, пока шли беседы и сборы. Марья Ярославна зашла перед отъездом проститься. Василий Васильевич обнял ее и благословил, а она поцеловала руку его; благословил он потом и малых детей. Со слезами, но молча простилась Марья Ярославна с Софьей Витовтовной, Иваном и Юрием.

Тотчас же отец Александр с громогласным дьяконом Ферапонтом и дьячком Пафнутием начали утренние часы.

Иван, слушая и не слушая знакомые молитвы, видел пред собой бледное лицо матери, ее большие печальные и встревоженные глаза. Взглядывал он иногда и на бабку и вспоминал, как они из Москвы бежали через леса к Переяславлю Залесскому, а отец в полоне был...

— Вот опять от татар бежим,— шепчет он вместо молитвы. С болью думает он о постоянной грозе татарской и вдруг вспоминает слова владыки Ионы: «Быть государем, как надлежит...»

Он глядит на образ спасителя и шепчет в страстном порыве:

— Клянусь, господи,— буду государем, спасу Русь от татар и усобиц!..

Отслушали утренние молитвы государи и из Кремля выехали. Были печальны все, но в уныние не впадали. Бабка истово и строго благословила н сына и внука, а Василнй Васильевич благословил Юрия. Все же тяжко и смутно было на душе Ивана, когда поскакали они через опустевшие посады и пригороды московские.

Отец ехал в небольших санях, запряженных гусем: первый конь в оглоблях, впереди его на постромках — другой, а перед ним — третий.

— По-зимнему решили везти государя,— объяснил Ивану Васюк,— дабы шуму от колес не было, да н тяжела колымага-то...

— А где там с колымагой в лесах-то,— подхватил Илейка,— может, тропками, а не дорогами скакать придется...

На рысях догнали они до последнего своего подмосковного села, до Капустина, где Кузьмич, Дуняхин отец, был старостой. Уж выезжать стали из села, как Василий Васильевич позвал Васюка, остановив сани. Остановился и весь отряд.

— Тут я, государь!— крнкнул Васюк, мигом соскакивая с коня.— Что изволишь?

— Дай мне квасу, а лучше,— передумал Василий Васильевич,— воды ключевой, ежели мы в поле. Аль из колодца, ежелн близ села мы...

— Сей часец, государь!— крикнул Васюк.— В селе Капустине стали мы, тут колодцев много...

— Стой,— перебил его Василий Васильевич,— за водой ты пошли конника — пущай похолодней, прямо в ведре принесет. Сам же кликни мне, кого найдешь из боярских детей — яз послать хочу дозорных...

Когда к Василию Васильевичу подъехал молодой сотник, Васюк по знаку Ивана приблизился к нему.

— Что приказывает государь?

— Дозор наряжать,— ответил Васюк и, поклонившись молодому государю, стал конь о конь с другом своим Илейкой.

— Забыл яз за хлопотами сказать,— молвил он печально.— Кузьмич-то, Дуняхин отец, богу душу отдал, царство ему небесное.

Илейка снял шапку и, перекрестившись, спросил дрогнувшим голосом:

— А что с ним было?

— Да ништо не было. Запрягал, вишь, впервой молоду кобылку, а она и лягни его. Ногой в подложечку, супротив сердца угодила. К вечеру и помер...

— Царство небесное,— сказал Илейка и вдруг, смущенно улы-

баясь и отирая слезы, добавил:— Тивуна-то своего покойник хлыщом звал...

Глава 19

В ОСАДЕ

Палит июльское солнце. Над полями и дорогами, куда неотрывно глядят сторожевые с кремлевских стен, дрожит, будто струйки воды, раскаленный воздух. От каменных стен пышет теплом, как от печки. Жарко, душно, а в небе ни облачка. Словно вымерли вокруг Москвы все посады. Убежали люди, кто куда. Одни в Кремль схоронились, другие — за стенами окрестных монастырей, а иные просто по лесам разбежались. Да и в самой Москве тихо и безмолвно, хоть от беженцев и яблоку негде упасть. Затаился народ в страхе и трепете. Татар ждут...

В первом часу дня дозорные, глядевшие через Заречье в сторону Серпухова, где путь в Золотую Орду идет, заметили, как из дальних лесов стали выскакивать конники татарские. Взбивают кони желтую пыль, и вот все дороги, луга и поля хлебные зачернели всадниками.

Как саранча, налетают татары, и запели на стенах боевые трубы тревогу.

Оцепенело все в Кремле на несколько мгновений, но вдруг все — и воины, и горожане, и посадские — ринулись к воротам, к стенам градским. На стенах пушки и пищали пушкари готовят, стрелки́ с луками и самострелами у стенных окон засели.

Горожане и посадские люди огонь на стенах разводят — воду и смолу кипятить начали, чтобы поливать со стен осаждающих, а над воротами на стрельницах камней и бревен наложили, чтобы на врага сбрасывать...

На улицах заголосили девки и бабы: молятся, причитают, созывают детей, как наседки. Гул повсюду катится:

— Татары!.. Татары!..

— Спаси, господи, и помилуй!

— Наказал господь нас, грешных!

Ближе и ближе скачут ордынцы, вот разлились реками по улицам посада с криком и визгом. Топот коней гудит по всему посаду, со всех концов поползли черные клубы дыма, а местами забились уж красные языки пламени.

— Жгут, окаянные!— несутся по Кремлю отчаянные крики женщин.— Все добро на дым пущают, поганые!..

Сорвался сразу ветер, раздувает пожар, уж охватывает дым и огонь стены кремлевские, и стоит Кремль словно среди костра. Татары же со всех сторон приступают: ставят лестницы у стен,

бьют бревнами в двери ворот у башен. Русские льют со стен кипяток и горящую смолу, сбрасывают камни и бревна. Но бой сам собой стихает: дым, едкий и горький, ест глаза до слез и дыханье захватывает, ходит черными тучами вдоль стен, через стены, как тучи, переваливается и наполняет кремлевские площади и улицы.

Задыхаются люди, а огонь шумит на ветру, как буря, жжет и палит воинов на стенах, да и татар и коней их печет не меньше.

— Думают нас из Кремля, как сусликов, выкурить,— говорят русские воины,— а собе еще боле истомы огненной содеяли.

Бегут проклятые ордынцы от стен подальше, а на стенах становится все жарче и жарче. С пожарищ так палит огнем, что начинают внутри Кремля дымить деревянные кровли и гульбища на княжих и боярских хоромах. Дымят и загораются церковные крыши. Искры, сажа и горящие головни взметываются порывами ветра и перебрасываются из посада через кремлевские стены, и страшнее эта огненная осада татарского приступа. Все, кто не у стен и башен, все мужики и женки стоят с ведрами вдоль улиц, на крыльцах и взвозах, на гульбищах и крышах: или воду из колодцев черпают, по бочкам и кадкам ее разливают, или горящие головни заливают и дерево всякое, что дымить начинает...

Страшно во граде горящем, а горящим в осаде — еще страшней. Но ненависть к татарам придает людям силы.

— Лучше смерть,— выкрикивают то там, то тут,— лучше смерть, чем татарский полон!..

Догорают постройки в посадах и слободах, а на стенах все еще печет нестерпимо, да и сами стены горячие стали. Вокруг стен кремлевских — груды угасающих головней и догорающих бревен. Едкий дым дух захватывает, разъедает глаза так, что слезы бегут неудержимо.

Нет татар под стенами, нигде они не приступают. Только искры с пожарищ подхватывает ветер и через стены бросает их в Кремль. Вдруг среди тишины торжественно зазвонили колокола во всех храмах, и видят воины: поднимаются к ним на стены хоругви церковные, появляется духовенство, сверкая ризами на солнце, в полном облачении, с крестами, иконами, с кадилами и святой водой.

Впереди всех идет митрополит Иона с крестом в руках. Весь клир поет канон против поганых татар, а среди обычных голосов, как рев трубы, гудит голос дьякона Ферапонта, четко выговаривая слова молитвы:

— Силою непобедимою, Христе, матери своея молитвами препоясав князя нашего, покори ему поганых...

Воины, не снимая шлемов, истово крестятся и с удивлением смотрят на старую государыню и княжича Юрия. Софья Витовтовна идет позади митрополита рядом со своим внуком. Смело идет по стене престарелая княгиня на самом виду у врагов, а с ней рядом юный княжич,— глаза его не по-детски суровы и гневны...

Позади клира идут воеводы и бояре с Патрикеевыми и Ряполовскими во главе. Воеводы, обращаясь к воинам, ободряюще выкрикивают:

— Одолеем татар! С нами бог и его крестная сила!

— Одолеем,— убежденно отвечают воины,— да воскреснет бог и расточатся врази его!

На стенах же в жаре и духоте стрелы татарские поют тонкую смертную песнь. Это вражьи наездники поганых иногда проскакивают близ стен и стреляют на скаку в крестный ход.

Вот старая государыня, почуяв, как растет воодушевление воинов, остановилась перед ними и громко произнесла:

— Не сдадим Москвы! Отгоним поганых!

— Сгорят посады, выйдем в поле из стен,— с пылом отвечают ей воеводы,— будем биться с ними!

— Все за ворота выйдем!— кричат воины.— Уже не раз поганых мы били...

Поет крестный ход, идя дальше, и кричат и грозят татарам с кремлевских стен воины, горя ненавистью и гневом к исконному врагу.

У Боравинских ворот[1] татары, прячась за обгорелые строения, пустили тучу стрел в крестный ход. Клир остановился, но юный княжич вдруг громко крикнул мальчишеским, срывающимся голосом:

— Пушкари! Разогнать поганых!..

Софья Витовтовна радостно усмехнулась, а воеводы приказали пушкарям, чтобы палили из пушек и пищалей по басурманам. Пушкари враз ударили по татарам, и те, по обычаю своему, тотчас же ускакали и скрылись.

Владыка Иона с посветлевшим лицом обернулся к Юрию, благословил его и громко произнес:

— Указует тобе господь пути к воеводству, да будешь ты грозой татар...

С этого дня прошел страх у всех осажденных во граде, и только ждали они — скорей бы догорели посады, ослабли бы муки

---

[1] *Боравинские ворота* — Боровицкие ворота.

«от великия истомы огненныя и от дыма», чтобы со всей силой, не щадя живота, бить можно было басурман.

Первые дни татары сами всякий день приступали, чаще всего скопляясь у Боравинских ворот, а иной раз и со всех сторон Кремля. Но осажденные всякий раз метко били по врагу, отворяли ворота, врывались в толпы ордынцев, рубили их саблями и обращали в бегство. Татары же, по обычаю ордынскому, мчались к засадам своим, стараясь заманить преследователей, но русские, зная это, возвращались обратно к воротам и затворялись опять. Знали русские воеводы и то, что не любят ордынцы терпением и настоянием брать, а только норовят срыву хватать, надеясь на первый удар,— и решили покоя не давать степнякам. Нападать стали, делая вылазки в часы молитв, особливо в утренний, ранний намаз и поздний, вечерний. Нападали и среди ночи, когда люди крепче всего спят.

Измаялись, измотались татары, словно не они в осаде Москву держат, а сама Москва осадила их, да и засуха все стоит без перемены. Солнце, как огнем, палит, повыжгло всю траву кругом, и уж приходится степнякам кормить коней своих прошлогодней соломой да древесным листом, веников в лесу наламывая. Сироты же из окрестных деревень и сел, труда своего не жалеючи, выжигают в полях и озимые и яровые хлеба. Сами они хоронятся в лесах и за стенами монастырей — Данилова, Симонова, Андроньева, Рождественского и Высоко-Петровского. Первые три — весьма сильные крепости, особливо старейший из них — Данилов, окруженный земляным валом с крепкими, рубленными из дуба стенами и стрельницами.

Максим Ондреяныч Конь, что живет со своим семейством в Кудрине, а ныне хоронится со всеми чадами и домочадцами в Даниловом монастыре, набрав с полсотни охотников из сирот, ходит-кружит с ними в тылу у татар, выжигает все, что можно, дабы бескормица настала для коней ордынских. Каждую ночь собирает соратников своих Ондреяныч.

— Православные,— говорит он всякий раз с болью и сокрушением,— грех оно великой хлеб-то святой, яко сор, сожигать. Велик грех-то, говорю, и труд и пот христианской на дым пущать. Ну, да простит господь. Видит он сам, что иного содеять не можем. Плачем, а жжем...

Ондреяныч перемог себя и продолжал:

— Каково сие тяжко, видишь ты, господи. Инако же нельзя. Пошто корм коням поганых оставлять?..

— Верно!— дружно кричат мужики.— Потому степняк-то без коня хуже, чем без рук...

— Замолят попы наши грехи!— кричат другие.

— А как с Гаврилычем, с тивуном Вавилы Третьяка, гостя

богатого?— спросил из тьмы злой голос.— Он, тивуи-то, сукии сын, свое твердит: «Не дам на разор хозяйское добро!..»

— Ишь, аспид!— негодует молодой совсем пареиь.— Мы его и не спросим. Не татарам же будет жалиться. Им, толстобрюхим, хошь все пропади, им бы токмо самим хорошо было.

— Своя рубашка, чай, ближе к телу-то!

— А мы вот им крапивы под рубашку-то! Повертятся у иас, анафемы...

— Попомнят! Им у сирот взять — тьфу! С мясом рвут! А от собя оторвать — и гнилую веревку от лаптя им, вишь, больио.

— Они, богати-то, свое лишь ведают. С иими и спору нет...

— С иими и на суде сладу нет, не токмо иа миру...

— Богатому на суд — тры-трава, а бедному — долой голова!

— Будя,— твердо молвил Ондреяныч,— из-за них ие погибать же христианству. Ежели мы и свой сиротский хлеб не жалеем, то и их жалеть не будем.

— Что и глядеть-то на чертей,— прогудел опять из тьмы злой голос.— Не хотят добром, захотят под ножом! Не погибать же из-за них от татар.

— Он, татарин-то, сам ие сожрет, а коию отдаст! А мы вот и коню ие дадим!

— Без коией-то и воевать им нельзя...

— Не токмо воевать, а и в Орду не вернутся...

Разговор обрывается. Затихают все, ждут, что Ондреяныч решит. Уважают его все, бывалый ои, Ондреяиыч-то. Ои и потатарски хорошо разумеет, и в Орде ие раз бывал, и подолгу живал там с юных еще лет.

— Православные,— продолжает Ондреяныч,— бают кругом, что государь наш идет уж к иам с великой силой. От отцов духовных я слышал. Да и кругом о том словно в трубы трубят, а народ-то со всех сторои сам спешит к государям своим. Айда и мы все князьям нашим иавстречу. Семьи свои тут, в Даииловом, оставим, а сами пойдем. Бают, из Сергиева монастыря на Москву ои двинул с войском...

— Айда, айда!— закричали сироты.— Айда сей же часец к Напрудьскому, туды, бают, и из других монастырей идут...

— И мы пойдем,— сурово сказал Ондреяныч,— токмо ране все поля круг Москвы спалим! А потом поведу я вас к государям нашим. Пока же нужней мы тут. Ныие вот через Кудрино пойдем — Третьяка жечь. Туточка я все дорожки, все угорья и ложбинки ведаю, пройдем вражками большими и малыми, рощами и дубравами. Обойдем стаиы татарские неслышимо и иезримо для поганых...

С охотниками у Максима Ондреяныча был и сыиишка его Емелька, семнадцати лет.

— А мамке про то сказывать?— спросил он у отца.

— Хлеба возьми токмо. Через день-два, мол, вернемся, а боле ничего не сказывай.

— Ну, робята,— обратился к мужикам Максим Ондреяныч,— бери хлеб, ножи да ослóпы и айда!

Через час вышли все в поле и начали красться к Москве-реке, а июльская ночь — безлунная, темным-темная, хоть глаз выколи. И звезды видно, и Млечный Путь жемчугом переливает, а по земле — ничего не видать.

— Токмо бы нам ордынцев обойти,— шепчет Ондреяныч,— не глазами, а ушами глядеть нам надобно. Вперед я пойду, а вы за мной, как нитка за иглой. Шагу не отставай.

Перейдя Москву-реку через «живой мост»[1], вышли они к сельцу Киевцу[2], прокрались потом вдоль речки Черторыя[3], что, впадая в Москву-реку, бежит по дну глубокого оврага, прошли до устья малой речонки Сивки[4].

От засухи речонка совсем почти пересохла. Перешли ее вброд, а воды в ней было ниже колен. Тут Ондреяныч повел охотников-сирот вверх по крутому краю оврага на дорогу в Кудрино, к усадьбе богатого гостя Вавилы Третьяка. Тут же, за овражком, станы татарские начинаются.

Собрал всех вокруг себя Максим Ондреяныч и шепчет:

— Слышь, как татарове, словно в улье, гудят. Велики станы-то. Спят окаянны, а шум-то и гул токмо от стражи их да от коней и верблюдов. Со всех сторон такими станами Москву обложили. Мы, робята, кустами поползем. Хошь и темна ночь-то, а лучше кустами. Держись друг за друга и ко мне ближе. Без меня заблудитесь...

Они поползли меж кустов по краю овражка. Вчера еще днем все здесь места высмотрел Ондреяныч, все наметил — куда и как идти. Собрал опять своих охотников поближе и опять в уши им шепчет:

— Сей часец вот кусты кончатся, снимемся все мы скопом и айда бегом. За мной все бегите. Посвищу, когда будет надобно. На дорогу выбежим, а там рощица есть и снова овраг.

---

[1] *«Живой мост»* — мост из связанных бревенчатых плотов.

[2] *Сельцо Киевец* — находилось на берегу Москвы-реки в районе теперешней Метростроевской улицы.

[3] *Речка Черторый* — ныне течет по подземной трубе у Кропоткинских ворот, впадая в Москву-реку возле Соймоновского проезда.

[4] *Сивка* (правый приток Черторыя) — протекала по дну небольшого овражка там, где ныне улица Сивцев-Вражек.

С пещерой овраг-то. Зарос весь, камни в нем, а берега круты́. Коням нет ходу...

Хотя и знает хорошо эти места Ондреяныч, а все же боится, тревожится сильно. Идут они крадучись, а где и на брюхе ползут. Вот и кустов нет — значит, тут поле перебегать.

— Тут вот перебегать,— шепчет он сиротам,— а кто знает, так ли оно все, как днем-то было. Ну, а не так будет, побежим все едино! К пещере побежим, тамо схоронимся, боле некуда...

Он замолчал, не решаясь сам, что ему делать, вспотел даже от волнения, но потом успокоился. Перекрестился и молвил, чуть слышно:

— Кстись, робята, да готовься. Ну, помоги, господи! Бежим!..

Они бросились кучей вперед в стремительном беге. Пробежав шагов двадцать, Ондреяныч вдруг запнулся, но не упал: из-под ног у него вскочил лежавший на земле человек.

Понял Ондреяныч, что на татар они наткнулись, а уж поздно, деться теперь некуда, а только бежать скорей надо к дороге.

— Прочищай дорогу ножами!— кричит Ондреяныч.— За мной беги, робята! За мной...

Шум поднялся всполошный, забегали татары, кричат:

— Яртаул великого князя! На коней! На коней! Русские!.. Яртаул великого князя!

Режутся сироты с татарами, а сами на голос Ондреяныча бегут, и стража татарская к станам своим бежит.

— На коней,— орут истошным криком татары,— на коней! Русские!..

Вот и конский топот раздался, скачут татары в сторону к главному стану, где сам царевич Мозовша́ стоит.

— Спаси, господи, и помилуй,— бормочет Ондреяныч,— токмо бы местом не ошибиться...

Бежит он очертя голову, а ноги сами место помнят, бегут куда надо, и сироты за ним топают, спешат на свист его. Вот и рощица березовая. Кубарем они скатываются в овражек, и, кажется, целую вечность ползут по земле среди колючек и кустиков. Наконец вслед за Ондреянычем заползают все в пещеру.

— Спас господь,— говорит Ондреяныч.— Ишь, они, поганые-то, стражу где поставили. Утресь ничего тут еще не было, ан, вишь, что! Ну да избавил бог...

Сироты радостно крестятся, переговариваясь вполголоса:

— Зарубить могли, окаянные. Человек сто в дозоре-то было...

— Сами, вишь, спросонок испужались, а то бы ссекли нам головы...

— Я двоих проколол кончаром,— гудит злой голос.

— Мы с Семкой ослопами их глушили!..

— А верно,— весело говорит во тьме молодой парень,— верно про государя-то бают. Вишь, и татары его ждут...

— Стой, робята, стой,— вдруг громко и радостно сказал Ондреяныч,— а оно, может, так и есть. Пришел, может, государь-то наш. Слышь, в станах у их шум и гом какой поднялись...

— Поднялись не поднялись,— раздался в пещере злой голос,— а Третьяка жечь надобно. У сирот все пожгли, кой у кого из бояр и купцов пожгли, а Третьяка толстобрюхого с Гаврилычем оставили. Пущай татары как хотят, а ты, Ондреяныч, веди нас к Третьяку!

— А что ж,— согласился Ондреяныч,— жалеть их нечего.

Когда они вылезли из пещеры, то в овраге еще больше стал слышен шум у татар. Поднялись сироты на край оврага. Еще слышнее всполох в станах татарских.

— Право слово,— радовался невидимый в темноте молодой парень,— право слово, государь приехал...

— Государь, государь!— прервал его злой голос.— А может, к приступу татары-то идут, а ты, словно сорока,— государь да государь! Неча тут деять, айда к Третьяку!

Кремлевская стража слышала со стен, что в татарских станах шум поднялся во тьме темной. Сначала шумели, кони топали за Боравинскими воротами, потом шум пошел по всем станам. Вскоре же все стихло. Воеводы решили, что татары хотят приступать, и повелели воинам и горожанам готовить против врагов пушки и пищали, самострелы и щиты, луки и стрелы и прочее, что нужно для боя.

В трудах встретили они на стенах кремлевских восходящее солнце. Ростопча, Дуняхин муж, стоя на стене у Боравинских ворот, в изумлении стал протирать глаза, вглядываясь в окрестные просторы, и вдруг закричал во весь дух:

— Где же татарье?! Где же нехристи?..

Зашумела, закричала стража на стенах, и все воины и даже воеводы, неведомо откуда, враз высыпали на стены. Смотрят все в разные стороны, ищут, а татар нет, словно сквозь землю провалились.

— Ушли!— кричат кругом.— Ушли!..

— А может, западня сие, хитрость ордынская?

Схватился с места истопник Ростопча и помчал в княжие хоромы с вестью этой дивной.

— Татары ушли!— кричал он на бегу всем встречным.— Татары ушли!..

Мужчины и женщины истово крестились, нерешительно улыбались, боялись тому верить, но лица у всех сами освещались

радостью, и многоголосый гул покатился по площадям, улицам и переулкам:

— Ушли! Татары ушли!..

Воеводы же на стенах решили отворить ворота, послать пеших лазутчиков в станы татарские, что вокруг Москвы в лесах за реками да оврагами стоят...

Когда же государыня Софья Витовтовна с Юрием на Боравинские ворота поднялись, некоторые из лазутчиков уже обратно к стенам прибежали.

— Ушли татарове!— кричат они еще снизу.— Ушли сыроядцы поганые!..

Вслед за этим бегут другие вестники, а вот конники по одному, по два скачут. Вот выскочила из-за обгорелых строений к самым воротам толпа босых мужиков с Ондреянычем во главе. У некоторых головы и руки обвязаны окровавленными тряпками — видать, что ранены были недавно. Орут они все истошно:

— Ушли поганые!.. Пометали в поле арбы и телеги с товаром. Пометали много всего от меди и железа!..

А на стенах уж воеводам докладывают конники из монастырей окрестных.

— Даже пищали и пушки пометали, и костры их без огня уж остыли...

— Ночесь, значит, убежали,— говорит радостно Юрий и крестится вслед за бабкой.

Софья Витовтовна стоит неподвижно, только глаза ее сияют и крупные слезы бегут по глубоким морщинам. А кругом гул голосов радостный. Ворота у Кремля отворены. Нет больше осады.

Вот еще вестник — инок от Симонова монастыря, въехал в Кремль у Боравинской стрельницы, спешился и на стену взбежал. Увидев Софью Витовтовну и Юрия, поклонился им земно, по-монастырски, и сказал:

— Будь здрава, государыня! Игумен наш повестует тобе: «Видел аз, отступили татарове от града в страхе и трепете, яко от грозного воинства. Чудо велико сотворил господь чудотворцев московских молением...»

— Чудо, чудо!— заговорили кругом, но голоса людские утонули в звоне церковном.

Звонили во все колокола радостным звоном храмы кремлевские.

Оба государя — Василий Васильевич и Иван Васильевич, выехав из Москвы, ночевали в селе Озерецком[1], а оттуда направились к Волге, вниз по течению реки Дубны.

---

[1] *Село Озерецкое* — г. Загорск.

В тот день, когда воины московских государей переправлялись от устья Дубны за Волгу, пригнали вестники от Софьи Витовтовны. Государи сидели в избе за трапезой. Оба они ели молча, в тоске и унынии. Хотя и много пристало к ним и конных и пеших воинов, тревога не оставляла их: за Москву боялись они.

— Батюшка,— тихо спросил Иван,— дородны ли стены-то кремлевские?

— Сам знаешь,— с тоской ответил Василий Васильевич,— прадед твой, Димитрий Иванович, еще строил. Хошь и каменные они, а за иные места страх у меня. Не успел яз с усобицей обновить все, где надобно...

— Батюшка,— перебил отца Иван,— а какие силы у сих скорых татар?

— Есть у них, Иване, пушки и пищали. С собой они возят и обоз с зельем[1] и ядрами для огненной стрельбы...

— А пóроки есть?

— Пóроки? Их не возят, их на месте рубят. Они их изделают, ежели долго у Москвы будут. Сего яз страшусь. Может к ним и Шемяка прийти. Мыслю, они — ордынцы седи-ахматовы — пришли не без подзойства князь Димитрия и новгородцев, ворогов наших...

— И стены могут пробить?— с тревогой спросил Иван.

Василий Васильевич, подумав, сказал:

— Воеводы-то наши знают, где стены слабы. Они щиты подведут, бревнами укрепят, земляной вал насыплют рядом...

— Государи, вестники из Москвы!— вскричал, вбегая в горницу, Васюк.— Вот они, государи!

— Будьте здравы, государи!— радостно заговорил вестник и сразу сказал:— Повестует государыня Софья Витовтовна: «Чудом божиим бежали от Москвы нощесь татары, побросав всю добычу. В страхе и трепете в Поле к собе бежали безбожные сыроядцы».

Ожил сидевший в окаменении Василий Васильевич, заплакал и закрестился. Иван же стоял неподвижно, с лица его медленно сходила бледность, и румянец загорался на щеках. И верилось и не верилось ему, что вот страхи и гроза татарская уже кончились, но, словно от страшного сна, он сразу проснуться не может.

Радостные и счастливые государи и воины их день и ночь скакали в Москву, останавливаясь только для трапезы и краткого сна. Прибыв в Кремль, Василий Васильевич, не заходя в

[1] *Зелье* — порох.

хоромы свои, направился вместе с Иваном в церковь, где горячо молился пред образом Христа, восклицая:

— Благодарю тя, господи, яко не предал еси стадо свое православных христиан татарам окаяным!

Отслужив молебен, принял он благословение от владыки Ионы и вышел из храма. Здесь Иван увидел бабку и Юрия. В радости все обнимали и целовали друг друга.

Потом Василий Васильевич с матерью своей и обоими сыновьями пошел по всем соборным церквам, где присоединялись к ним князья, бояре и воеводы. Проходя из храма в храм по площадям и улицам, выкликал Василий Васильевич громко звучным своим голосом, обращаясь к народу:

— Сия мýка на вас грехов моих ради, но вы не унывайте, ставьте хоромы на дворах своих, а яз рад жаловать вас из лесов своих и казны и льготу дать...

За трапезой у государя было весьма весело, и стол был уставлен весь винами, медами и водками, и всякой еды в изобилии было. Подавалось все на серебре и золоте — это уж Софья Витовтовна распорядилась.

Рассказывали за обедом подробно, как в осаде сидели, как татар отбивали, как от жара изнемогали, когда посад горел, а в Кремле дымились и загорались деревянные крыши хором и церквей, и про страх и плач народный сказывали, и про крестный ход по стенам клира церковного с митрополитом, Софьей Витовтовной и Юрием.

Василий Васильевич, растроганный до слез, дивился мужеству престарелой матери и юного Юрия. Но более всего поражало его чудо непонятное, вызвавшее бегство татар.

Все это волновало обоих государей. Василий Васильевич плакал, умилялся, молился и обо всем подробно расспрашивал. Иван же сидел молча. Он никак понять не мог, почему же татары бежали в испуге, бросив не только пушки, но и весь полон свой с людьми и всяким добром. Непонятны были ему и обиды боярам и купцам от сирот и черных людей.

Помнил он смуту московскую, когда бояр вязали и били, но то было понятно. Бояре и все из княжого семейства тогда бежали, оставляя град и всех людей на произвол судьбы...

Ныне же никто не бежал, а даже престарелая княгиня шла по стенам с крестным ходом, не страшась ни огня, ни жара, ни стрел татарских.

Но бояре сидели хмурые и жаловались на обиды и разбойничанье сирот. Более всего негодовал боярин Семен Иванович.

— Всем нам беда пришла единая,— возмущался он,— а сиро-

ты, как и татары поганые, жгут наши нивы, которые жать уж начали. Жгут и сжатый хлеб в скирдах и на овинах у нас в подмосковных. Так же чинили они убытки гостям и боярам, грабили хлеб и жгли, пока не бежали поганые.

— Чуда божьего над татарами устрашились,— молвил один из князей Ряполовских,— и стихли...

Тут заговорил спокойно митрополит Иона, обращаясь к Василию Васильевичу:

— А ты, государь, сирот и черных людей прости за безрядье — велик их ущерб от татар: и избы их, и хлеб, и добра всякого много погибло. Все же бились они с врагами, на кремлевских стенах бились, живота не щадя. Они боле потеряли, чем и купцы и бояре вкупе.

— Яз, отче мой,— отвечает взволнованный Василий Васильевич,— им отворю свои амбары и житницы и лесу дам, пусть строятся...

Слушает Иван, а все же понять не может, в чем же чудо было и почему сироты боярский хлеб жгли. Решил он сам спросить поподробней у Юрия.

Как только трапеза кончилась, Иван пошел к себе в хоромы, позвав с собой брата.

— Вишь,— говорил он Юрию, сидя уже у себя в покоях,— митрополит всегда за сирот заступается. Верно он всегда сказывает. Помнишь, когда вез он нас к Шемяке, наказывал нам, что сироты для князя дороже сильных и богатых. Отдают они за государя все и даже живот свой...

Иван смолк. Глаза его вдруг потемнели, и сказал он сурово:

— Все же своеволье и грабеж пресекать надобно. Мыслю, зря отец им помочь дает. За содеянное бесчинство наказать их надобно беспощадно!..

— Эх, Иване,— возмутился Илейка,— слушали вы все бояр токмо, а народ-то больше бояр содеял... Знаешь ты, как народ-то деял?..

Загорелся Илейка и кричит уж во весь голос, от всего сердца:

— Слушай, Иване! Ведь не татары-то хлеб у сирот сожгли. Не безумны же татары-то! Травы нет — спалило засухой, кормить коней нечем, а они хлеб жечь будут? Сами сироты хлеб свой сожгли. Рожь-то совсем поспела, да и яровые тоже. Вот татары и начали кормить коней хлебами, а сироты — хлеба свои жечь. Как сироты сожгли все круг Москвы — тощать стали кони ордынски, и оставайся татары еще под Москвой, пожди они еще, и кони падать бы стали... Бояре же да купцы и тиуны хлеб свой жечь не давали: стражу ставили. Силой у них жгли. От сего ордынцы-то и устрашились, потому при слабых конях не токмо

воевать они не могут, ио и в степь к собе ие вернуться им. А тут слух еще — великий киязь с войской подходит...

Иваиа и Юрия, как громом, эти слова поразили. Враз понял Иваи, как все произошло и что вовсе ие бог это чудо сотворил, а сироты.

— Яз, Илейка,— воскликнул Иван,— расскажу о сем государю и владыке Иоие. Прав ты, Илейка, во всем...

Глава 20

НА КОКШЕНГЕ-РЕКЕ

Этой зимой голос Иваиа вдруг измеиился — стал совсем ииым. Исчезла в нем отроческая мягкость, и звучит он ровио и звоико, подобно отцовскому, ио ниже, как-то особеиио твердо и значительио. Иногда и сам Иваи с удовольствием прислушивается, как хорошо звучит его голос, отдаваясь в груди.

Как-то, входя в покои отца, он, услышав разговор о себе, иевольио задержался в сенцах у самой двери. У Василия Васильевича были только бабка да мать.

— Хошь и ты высок и дороден, сынок,— говорит бабка,— а Иванушка выше и дородией тобя, в деда своего...

— А голос-то мой,— перебил мать Василий Васильевич,— гуще, а мой... Лица же его по слепоте своей не ведаю...

— И баско́й, как ты,— ласково сказала Марья Ярославна,— а глаза мои. Токмо ииой раз оии какой-то страх иаводят. Грозио ииой раз глядит Иванушка...

— А девки,— засмеялся Васюк,— все ж хошь и робеют, а глаз с иего ие спущают...

— И то истиино,— согласилась бабка.— Ты, сыиок, погладь его по щекам-то — борода пробивается, а усы и раиее того.

Сердце Иваиа почему-то от этих разговоров забилось чаще, и охватило его иепонятиое волнеиие. Еще больше взволиовался ои и весь вспыхиул радостным румянцем, когда услышал возглас отца:

— А умом он, иадежа моя, миогих ие токмо мужиков, ио и стариков умией...

Иваи не мог слушать больше и с пылающими щеками отошел подальше в сеицы, остаиовившись возле лесеики, что ведет вверх, к башеике-смотрильне, где в последний раз виделся ои с Дарьюшкой. Почему-то это прощаиие теперь ему вспомнилось. Вздохнув долгим прерывистым вздохом, он прошептал громко:

— Дарьюшка моя...

Пересилив себя, ои сиова иаправился в покои отца. Семейный

разговор все еще там продолжался, и юный соправитель услышал восторженный рассказ Васюка:

— Намедни вот молодой-то государь боролся с Федор Васильевичем. На что Курицын-то силен, а государь его шутя всей спиной к полу...

Почему-то Ивану не захотелось идти к людям. Не дослушав разговора за полуотворенной дверью, он тихо пошел к себе, но, проходя мимо опочивальни Марьи Ярославны, все же не утерпел и зашел поглядеться в венецианское зеркало...

Перед самым рождеством стали приходить в Кремль тревожные вести: Шемяка с помощью новгородцев снова двинул полки свои на московские земли, пошли с ним к Великому Устюгу и многие из вольницы новгородской.

На этот раз в Москве вести эти тревоги особой не вызвали. Все понимали, что после разгрома под Галичем Шемяка более не опасен.

— Перед смертью много не надышится,— сказал Василий Васильевич за трапезой.

— Оно так,— заметила Софья Витовтовна,— но мухи-то перед смертью злее жалят...

Тем разговор и окончился. Василий Васильевич, вызвав воевод своих, повелел им выставить вокруг Москвы и на путях к ней военные заставы и приказал удельным слать помощь. Отпустив воевод, он молвил сыну:

— Попомни, Иване, всякому злу путь к нам от Новгорода. Даст бог, сокрушим его, яко сокрушили Шемяку.

Спокойно государи отпраздновали в стольном граде своем рождество и выступили в поход. А пятого января прибыли в Сергиеву обитель.

Дорога эта Ивану была хорошо знакома, а страшные воспоминания, связанные с ней, уже не волновали его. Свыкся он с ослеплением отца, притупилась душевная боль, только ненависть к усобицам княжеским охватывала еще сильней, и острой занозой вонзалась ему в сердце досада на отца за его гневную ярость и поступок с Бунко в Сергиевом монастыре.

— Тата, тата,— прошептал он,— никогда сего не забуду!..

Игумен Мартемьян со всею братией встретил приехавших государей у Никольских ворот. Прошли все в Троицкий собор. Здесь престарелый, но сильный и суровый игумен, прочитав молитвы, смиренно попросил прощения у великого князя за дерзновение, а Василий Васильевич, стоя на коленях, просил об отпущении ему согрешения...

Иван, сдвинув брови, стоял в стороне, досадуя опять на отца.

Вспомнил он о новой его ярости: упросил отец игумна, дабы тот уговорил боярина, отъехавшего к тверскому князю, вернуться в Москву. Отец обещал боярину сугубую честь, но, когда тот вернулся,— приказал заковать его в железы и посадить в сруб.

Узнав об этом, отец Мартемьян спешно прибыл в Москву. Смело вошел он в великокняжьи покои, когда там были оба государя, и, помолясь, сразу начал обличение Василия Васильевича.

— Сыне мой,— молвил он сурово,— изолгал ты отца своего духовного и слово свое пред богом нарушил. Не буде ныне моего благословенья на тобе и на твоем великом княженье...

Сказав это, тут же ушел игумен и отъехал в свою обитель. Великий же князь, признав неправду свою, сложил опалу с боярина и ныне вот, уходя на рать, заехал в монастырь.

С досадой смотрит теперь Иван, и радость примирения между игумном и отцом не трогает его. Устремив взгляд на иконы, он, шевеля губами, чуть слышно шепчет, как молитву, обращение к богу:

— Спаси мя, господи, от гнева и ярости, дабы не каяться потом в согрешениях...

Из Сергиева монастыря пошли государи с полками своими к Ярославлю. Здесь, в этом граде, Иван снова увидел северных оленей[1], запряженных в нарты, и припомнились ему Вологда, Белозерский монастырь и прочие места студеных краев, куда их из Углича с отцом заслал Шемяка.

Задумчиво глядел он на ветвистые рога спокойных животных и думал обо всем, что случилось с тех пор. Показались ему красивые глаза оленьи похожими на глаза Дарьюшки, и легким холодком охватила грусть его сердце. И вот идут к нему думы и виденья сами собой, без всякой связи. Вспоминаются келарь здешнего Спасопреображенского монастыря, отец Паисий, и старинное училище с греческой росписью на стенах...

— Иване, государь тя кличет,— услышал он голос Илейки совсем рядом и, очнувшись от дум, заметил, что конь его отстал от княжого поезда и стоит на углу улицы.

Илейка словно понял, о чем думал юный соправитель, и, улыбнувшись, ласково молвил:

— Ништо, Иване...

Они вместе поскакали к старому государю.

Василий Васильевич уже вышел из своего возка и, опираясь на руку Васюка, в сопровождении бояр и воевод, поднимался

---

[1] *Северные олени* в древиости жили не только в северных областях, но и в Ярославской, Нижегородской и Казанской областях, исчезнув в последних лишь к началу XIX века.

по красному крыльцу в хоромы келаря, остановясь опять в любнмом своем Спасопреображенском монастыре.

Игумен, отец Амвросий, радостно встретив с келарем высоких гостей, отслужил молебен о здравии государей. Потом вновь обратился с приветствием к ним обоим и, не вытерпев, сказал о том, о чем хотел воскликнуть при нынешней встрече с Иваном:

— Не враз узнал тя, государь Иван Васильевич! Так возмужал ты!

Иван не обратил внимание на удивление игумна: он привык уже, что все дивятся росту, силе и мужеству его. Иногда это было даже докучливо и досадно ему.

Он молча принял благословение игумна и сел за стол рядом с отцом. Тот после первой же чарки заговорил о походе на Шемяку.

— Воеводы мои и бояре,— произнес он громко,— мы достигли Ярославля, и надобно нам решать, как и куды полки свои отпущать, дабы ворога нашего с войском его изгубить. Как вы о сем разумеете?

Наступило молчание. Все в тишине вкушали трапезу монастырскую. Молчали также и отцы духовные, дабы не мешать думу думать воеводам.

— Яз мыслю, государь,— неожиданно прозвучал низкий голос Ивана,— яз так о сем разумею...

Василий Васильевич слегка вздрогнул и повернулся всем телом к сыну. Иван продолжал спокойно и уверенно:

— Надобно, государь, окружить Шемяку. Вельми далеко ушел он от Новгорода, а идти ему дальше Усть-Юга некуда. Посему надобно послать враз одни полки к Усть-Югу, дабы тамо Шемяку держать; други полки отпустить через Вологду, куда ты укажешь, в тыл ему, дабы обратно его в Новгород не пущать; ты же сам, государь, пойдешь, где тобе угодно будет, преграждая Шемяке путь к Галичу...

Василий Васильевич радостно улыбнулся и проговорил: — А ведь верно, добре так будет. Шурина моего, князь Василья Ярославича, да князь Семен Иваныча Оболенского, да Федор Василича Басёнка отпущаю яз к Усть-Югу утре, до свету, со всей их силой, но токмо с конными полками. Утре же и ты, Иване, с конными же полками, каковые сам собе изберешь, иди через Вологду к Вельградку[1] на Кокшенгу-реку. Там ты Шемяку к сим градкам не пущай, градки же те сам поимай. Есть там добро всякое и товары, и полон будет...

Василий Васильевич помолчал и продолжал:

[1] *Градок* — небольшая крепость.

— Яз же мыслю через Кострому иттить к Галичу, к Чухломе, дабы злодей вотчину свою вернуть не захотел. А ты, Иване, когда на Кокшенге будешь, вестовой гон так наряди, чтобы от тобя всякий день гонцы были с вестями...

— Ну и конь-то у тобя,— говорил Илейка, насмешливо щуря глаза,— не конь, а корова безрогая...

Иван улыбнулся, а маленький мужичонка в малице и совике[1] с меховым чепцом, из которого добродушно выглядывало его лицо, ответил густым низким голосом:

— А пошто мне другой-то? Я, чай, не из конников княжих. Для меня все олешки деют, а конь — с поля жито возить да сосенок приволочь на дрова по первому снежку. У нас тут, на Кокшенге-то, на олешках ездят, а то и на псах. Зимой-то мы боле по целине ездим, а конь — где ему, не пройдет...

Мужик зачмокал и стал подгонять лошадь. Иван остановил его.

— А отсель,— спросил он,— далеко до града?

— А поедете вниз по Кокшенге,— ответил мужичонка,— и будет один с левой руки, против Вель-градка, верст сорок пять меж ими по просеке. А еще есть просека от Кокшенги с правой руки. Всего верст десять — тамо малый градец. Есть градки и на Куле-реке, под Вель-градком, и на само́й Ваге, и дальше к Усть-Ваге...

Мужичонка поехал дальше. Иван приказал полкам съехать на лед Кокшенги и стал передовым своим разъяснять, где какие градки есть. В это время от обоза прискакали конники: один свой, а другой — татарский. Татарин почтительно поклонился великому князю и сказал:

— Будь сто лет здрав, государь. Из яртаульных я царевича Якуба, сына хана Мангутека. Сей часец он к тобе будет...

— Хорошо,— сказал Иван,— пусть царевич Якуб с конниками своими спешит ко мне.

Он задержал дозорных своих и, сказав о прибытии Якуба, велел гнать по Кокшенге-реке до первого градка на левом берегу, но себя врагу не показывать, а, тайно все усмотрев, вернуться к нему с подробным донесением.

Пока Иван распоряжался, кому в разведку идти, прискакал к нему с конниками юный Якуб.

---

[1] *Малица* — балахон из оленьего меха, шерстью к телу; надевается через голову, как рубаха. *Совик* — такой же балахон, только мехом наружу и с пришитым к его вороту капюшоном из пушистого меха; надевается поверх малицы.

— Будь здрав, государь,— сказал он по-русски,— живи сто лет! Государь Василий Васильевич приказал под рукой твоей быть. Я — слуга твой, государь.

Иван приветливо улыбнулся и протянул руку Якубу, сказав:

— Рад тобе, царевич. Будь и ты здрав.

Татарин почтительно поцеловал руку Ивану и продолжал:

— Государь Василий Васильевич приказал: градки́ и села новгородские за помочь Шемяке не жалеть, а жечь и полон брать.

— А какой дорогой ты пробирался сюды?— спросил Иван у царевича.

— Из Костромы через То́тьму пригнал,— отвечал тот.

— Добре́,— молвил Иван.— Яз сам пойду в Вель, ты же, царевич, сожги все градки, что на верховьях Кокшенги, Кулы, Ваги и Пе́жмы. Оставишь, где надобно, стражу, а сам с полоном иди ко мне в Вель. Там тобе укажу, куда дальше идти.

Заняв наибольший из всех градков, Вель, что стоит на Вагереке при самом устье Вели, Иван остановился в хоромах вдовы сына боярского, Андрея Хабарова. Хоромы эти весьма были удобны для постоя, представляя малую крепость с дубовым бревенчатым тыном вокруг двора.

Агафья Федосевна, вдовая женка Хабарова, сама встретила московского князя у красного крыльца с великою честью и ласкою. Молода еще и вальяжна Агафья Федосевна, взор ее грешен и лукав. В глазах ее, словно талый весенний снег: и холодит чуть-чуть и сам сладостно тает, а густые ресницы смелыми крыльями взмахивают...

Встретились глазами они на миг. Дрогнули у нее ресницы и опустились, а у Ивана пополз по щекам горячий румянец.

— Добро пожаловать, гость дорогой,— чуть нараспев говорит она, кланяясь.— Не взыщи, государь, чем богати, тем и ради. Житьишко наше бедное, вдовье житьишко-то...

Говорит она спокойно и ровно, а от голосу ее сердце пьянеет, словно в нем, как в медовой струе, сквозь ровную сладость хмель пробивается.

Смутился немного Иван — никогда еще с ним такого ничего не было. Все ж остановился он наверху красного крыльца, и осмотрел, как его подручные ставят дозоры и стражу у ворот дворовых, вокруг хором, клетей людских, сараев, конюшен, хлевов, кладовых и погребов. Конники же его, заполнив весь двор, разместили коней и обоз по службам дворовым, а сами, как могли, устроились в жилых подклетях хором и в курных избах, которых на дворе было две.

Агафья Федосевна, поняв заботу юного князя, ласково улыбнулась.

— В тесноте, да не в обиде,— сказала она Ивану.— Чаю, и нашим от воев твоих обиды не будет...

Иван усмехнулся и молвил:

— Хоша Велью и супротивный нам Новгород владеет, но градей сей — волость святой Софии[1], и правит ею владычный волостель. У нас же с новгородским владыкой вражды нет...

Агафья Федосевна повеселела и радостно пригласила:

— Милости прошу в горницу...

Войдя в сени, Иван тщательно отер ноги о рогожу, положенную у дверей, и в сопровождении Илейки вошел вслед за хозяйкой в большой покой, где пол был застлан серым войлоком, а стены плоховатым дешевым сукном обиты...

— Истинно, житье твое небогато,— сказал Иван,— но зато сама ты...

Он не договорил, прошел вперед и стал креститься на кивот в красном углу.

— Что сама?— лукаво спросила Агафья Фдосевна, но, увидав, что князь невольно взглянул на Илейку, поняла все и быстро продолжала:— Сама все делаю: и хозяин яз и хозяйка, и дворской собе и тивун — «швец, жнец и на дуде игрец...»

Иван улыбнулся, вспомнив почему-то мамку Ульяну. Ему в этот миг показалось, что в молодости Ульянушка такой же была.

— А не хочешь ли, государь, в мыльне попариться? Сей день мыльню топили. Поди, не остыла еще. Ежели с пути не устал,— не побрезгуй. Сходи со слугой своим, а я тобе сама ужин сготовлю...

— Ладно, хозяюшка,— обрадовался Иван,— пойдем мы с Илейкой. Ознобило меня. Ветром всю дорогу студило. Собирай, Илейка, белье да утиральники...

Короткие зимние дни, и не успел Иван с Илейкой вымыться, как принесли в мыльню светец[2] с лучиной. При огне одевались. Лучина сильно трещала, пламя громко сипело.

— К морозу сие,— сказал Илейка, натягивая длинные валеные сапоги Ивану.

— Поздно,— торопил его Иван,— спешить надобно. Хозяйка ждет меня с ужином...

— Ладная женка,— вздохнул Илейка и, усмехнувшись, добавил:— Ты токмо сам смекай, где берег, где край...

---

[1] *Волость святой Софии* — т. е. земли, принадлежащие новгородскому собору.

[2] *Светец* — деревянный столбик, вделанный в донце; наверху у него железные ушки и вилка, чтобы держать горящую лучину.

Иван вспыхнул и быстрее, чем нужно, вышел из мыльни: ему неприятен был этот разговор. Шел он, ускоряя шаг, но у красного крыльца почему-то заволновался и оробел. Медленно стал подыматься по ступеням к горнице. У самых дверей Илейка нагнал его.

В горнице Агафья Федосевна с девкой-служанкой накрывала стол. Она взмахнула ресницами, взглянув на Ивана как-то особенно.

— С легким паром, государь,— заговорила она и, обратясь к девке, приказала:— Ты, Акуля, проведи-ка слугу княжого в поварню, угостить вели, а я тут и одна управлюсь...

— Спаси тя господь,— весело воскликнул Илейка и, подмигнув Ивану, добавил:— А испить бы чего...

Агафья Федосевна засмеялась тихим лукавым смешком и, взяв со стола жбан с хмельной брагой, передала Илейке:

— Помочи усы в чарке!

— Ко́ли бражки жбан,— восторженно воскликнул Илейка,— то и всяк собе пан!

Он пошел следом за Акулей, но в дверях обернулся и, погладив жбан, добавил весело:

— Наш Абросим просить не просит, а дадут — не бросит...

— Бахарь[1] старик-то,— рассмеялась Агафья Федосевна,— красно баит...

Иван смущенно промолчал, следя, как двигаются ее полные руки, расставляя на столе всякую снедь. Иногда она приближалась к нему, чуть не касаясь его, как бы нечаянно, то локтем, то плечом, а от ее пышного тела веяло в лицо ему теплом и негой. Он судорожно вздыхает, и щеки его разгораются пуще...

Агафья Федосевна сбоку покосила сверкнувшим глазом на него, как лошадь на конюха, и спросила:

— Чай, тобе не боле семнадцати лет? Млад ты вельми...

Иван смутился и, не посмев уж и заикнуться о настоящих годах своих, пробормотал что-то невнятно, а Агафья Федосевна задышала громко и часто.

— Я тобе колобок с толокном содеяла,— говорит она ласково зазвеневшим вдруг голосом и вплотную подходит к Ивану.— Тобе, ба́сенькой.

Свежие полные губы ее вздрагивают, глаза глядят неподвижным, застывшим взором. Руки у Ивана начинают дрожать, голова кружится, как от вина. Сам не понимая, как это случилось, вдруг подался он весь, потянулся к ней...

— Агафьюшка, милая,— прошептал чуть слышно и смолк, испугавшись своей смелости.

---

[1] *Бахарь* — сказочник, краснобай.

Она как-то кротко, расслабленно улыбнулась и вдруг обняла его, прижавшись всем телом.

— После ужина приходи ко мне в опочивальню,— шепчет Агафьюшка.— Дверь-то моя в сенцах, супротив твоей... Приходи, ба́сенькой мой... Всю ночку ждать буду...

Заслышав шаги в сенцах, поспешно метнулась она к дверям. Навстречу ей лезет в покой охмелевший Илейка. Враз догадавшись, в чем дело, он хитро подмигнул Ивану на уходящую вдовушку:

— Прикобеливаешь?

Иван смущен, щеки его пылают. Ему досадно, что Илейка мешает там, где не надобно вовсе. Нахмуря брови, он гневно смотрит на бывшего дядьку, но пьяный старик и ухом не ведет, продолжая бормотать:

— Ништо, Иване, ништо. Женка-то вельми баская и, видать, на ласку охоча...

Желая отвязаться от этой беседы, Иван с нарочитой суровостью молвил:

— А ты спать повались. Упился, вишь!..

— Есть такое, государь. Бражка-то, ох, и крепка! Не токмо в голову шибат, а и ноги отымат. Иде же ты мне повалиться прикажешь?

— Там вот,— кивнул головой Иван в сторону расписной изразцовой печки.

— Дай сапожки тобе сыму...

Илейка, кряхтя, снял с Ивана длинные дорожные валенки, выше колен, и надел мягкие сафьяновые ноговицы, но, застлав постель, он совсем разморился и, кое-как забравшись на печку, тут же упал на кошму и захрапел.

Оставшись один, Иван долго сидел в исподней рубахе на краю постели, не ведая, на что решиться. Незнакомое раньше томление волновало его, и весь он дрожал, хотя в горнице было жарко натоплено. Выпив большую чарку крепкого меду и накинув на плечи легкий шелковый кафтан, он в нерешительности остановился у стола, прислушиваясь, как храпит Илейка. Потом вдруг задул восковую свечу и пошел ощупью к двери, запомнив еще при свете, где она находится.

В голове шумело и кружилось от хмеля, когда он, нащупав дверь, вышел в сенцы. Зубы его слегка лязгали от волнения. Пересекши сенцы, он стал искать дверь Агафьюшки, но только шарил по стенам, не находя нигде дверной скобы. Во тьме блеснула вдруг узенькая полоска, и дверь открылась сама. Горячие руки охватили его и увлекли в опочивальню, где едва мерцала лампадка, а кивот был весь завешен ярко шитыми полотенцами и пеленами, дабы лики святых греха не видели.

— Ба́сенькой... Ба́сенькой ты мой,— шепчет ему, задыхаясь, Агафьюшка, но он ничего не понимает, в ушах его громко токает сердце, сладостный туман застилает ему мысли...

К себе вернулся Иван пред самым рассветом. Еле добрел он до постели и тотчас же крепко заснул, как в самые счастливые годы своего детства.

Проснулся он от солнечного света, бившего прямо в глаза сквозь слюдяное окошко, и по солнцу понял, что поздно уж — часов десять утра. Он повернулся на другой бок, не в силах еще преодолеть дремоту, забываясь на миг и опять просыпаясь. Внезапно пришло на ум ему, что, может быть, вестники пригнали от отца, а его разбудить побоялись. Он мигом вскочил с постели и, окликнув Илейку, поспешно стал одеваться.

Умный старик, взглянув на питомца своего, сразу заметил перемену в нем: повадки и речь стали особливо степенны, а глаза глядели еще суровей, чем прежде.

Умываясь, Иван спросил:

— Вестников не было?

— Нет, государь...

— Попомни, Илейка, вестники прибудут, немедля доводи и, ежели спать буду — буди меня без страху...

За завтраком в горницу быстро вошла Агафья и, радостно улыбаясь, молвила:

— Доброе утро, государь...

— Доброе утро,— смутившись, ответил Иван, избегая взглянуть на нее,— неловко ему было после вчерашнего.

Сердцем учуяла Агафьюшка, будто тяготится он ею, и стала вдруг грустной и робкой. Сникла, завяла она и только растерянно улыбается еле заметной улыбкой.

В дверь постучал начальник привратной стражи и ввел за собой вестника от Василия Васильевича. Помолившись на иконы и поклонившись Ивану, вестник проговорил:

— Государь Василий Васильевич повестует: «Сыне мой, злодей-то наш, убоявшись, убежал от Усть-Юга. На То́тьму его мы не пустим, дабы не мог иттить на Вологду либо на Галич. Разумей сам, что тобе деять!..»

— Добре́,— молвил Иван вестнику,— иди отдыхай. Накормят тя и напоят, а к утру выспишься. На рассвете же назад к государю гони, скажи батюшке: «Бог даст и к Новугороду не допустим ворога».

Отослав вестника с начальником стражи, обратился Иван к Илейке:

— Беги созови двор мой. Скажи окольничим, дабы привезли с

ссобой кого иадобио из иачальииков от дворяи и детей боярских...

Когда дверь затворилась за Илейкой, Иваи подошел к Агафьюшке, обнял ее, поцеловал иежио и сказал ласково:

— Приду к тобе сей иочью. Приду... Ты же иди к собе, пока яз буду со двором своим думу думать...

Слезы блеснули у Агафьюшки, прииикла радостио иа миг оиа к Иваиу и прошептала:

— Хотеииый ты мой, любый...

И вдруг, отеиившись вся печалью, добавила тихо и голосио, иараспев, будто из сердца выдохиула:

— Чую, одиое ты меия покидаешь.

Помолчала иемного и еще тише промолвила:

— Буду я без тебя петь одииешеиька:

Ты об чем, моя кукушечка,
Об чем кукуешь?
Ты об чем, моя горемычная,
Об чем горюешь?

Агафьюшка вздохиула, замигала густыми ресиицами и быстро вышла из горницы.

Иваи долго смотрел иа дверь, за которой оиа скрылась. Сердце его сжалось, а с дрогнувших уст сорвалось иевольио:

— Не будет ее у меня, как и Дарьюшки...

Двор Иваиа стал собираться на думу. Думали долго, считая время переходов, выбирая иаикратчайшие пути, вспомииая, где и какие дороги, где коией кормить можио, где иельзя, какие запасы с собой брать для коией и вoииов. Потом о порядке думали: как, куда и какие полки иарядить, как лучше гои для вестников иа время похода иаладить, и о миогом другом, что для воиских нужд иеобходимо...

Окоичив думу со̀ двором своим, Иваи повелел:

— Немедля выступать, кому указаио, к Усть-Ваге. Там же по Двиие дозоры поставить вверх и вниз по течеиью. Слать вести мие иепрестаиио. Яз же вестииков царевичу Якубу пошлю, дабы в Вель поспешил, а утре и сам к Двиие с полками пойду. Пресечь иадобио все пути Шемяке к Новугороду. На полуиочь же дале Двииы, сами вы сказывали, и дорог никаких иету...

Глава 21

ВОЗВРАЩЕНИЕ

К огорчению великого юиого государя ушел Шемяка от рук его. Вопреки чаяиииям бояр, Иваиа и иадеждам иа бездорожье, бежал киязь Димитрий, уклоияясь от боя, бежал дорогами ие-

готовыми — лесами дремучими, по льду застывших озер и болот.

Весьма досадуя иа себя и иа воевод своих, Иваи молвил сурово ближним из дворских:

— Наука мие впредь. Худо думали мы в думе иашей. Не все предвидеть да предугадать сумели.

Устыдив такими словами и молодых и старых, ои добавил с усмешкой:

— Бежит уж, чаю, ворог иаш спокойно к Онего-озеру, а по Свири к Нево-озеру[1], а там по Волхову и в Новгород...

Помолчал Иваи, обвел всех колючим взглядом и опять усмехиулся.

— Нам ныие хоша бы полои по дороге не растерять, хоша бы без особого срама на Москву воротиться...

И более разговора об этом ие было, а приказал Иван спешио идти иа Москву через Ярославль и там соедииить с войском государя.

Вот уже тянутся длииной цепью по Кокшенге-реке отряды московских и татарских кониинков. В середине войска стража гонит полои. Малеиькие лохматые лошаденки волокут дровни со всяким харчем, жалким имеиьишком. Вокруг обоза понуро идут мужики и парии, женки и девки.

— Кому радость, а им слезы,— говорит Илейка Ивану,— горше всего с родной землей расставаться...

Юиый государь чует в словах Илейки скрытый укор себе и киязьям всем, и тяжко ему. К досаде, что смог уйти от них Шемяка, новая боль пришла.

— Прав ты, Илейка,— говорит он, нахмурясь,— сами, мол, христиане, иеповииных христиаи же зорим да обижаем. В усобицах лютых ии собе, ни людям пощады не знаем...

Невыиосимо это Ивану, но зиает он, что изменить ничего иельзя. Да вот и в своей даже жизии не волен он. Защемило вдруг ему сердце, и вспомнил он последнее, предрассветное прощаиье с Агафьюшкой. Слышит опять слова ее, будто вот рядом она:

— Побудь еще, ие спеши. Последияя ты моя любовушка! Не бывать уж другой у меня до гробовой доски...

Стиснул он зубы от боли, но опять, будто неволей какой, глаза его обращаются к полону: женки причитать начали, а мужики и парии молчат, токмо потемнели от злобы.

Уследил взгляд Иваиа Илейка и молвил, словно железом калеиым прижег:

---

[1] *Нево-озеро* — Ладожское озеро.

— Глянь, государь, как вон та молодка убивается. Может, по ласке мужней, а может, по дитю малому...

— Богом клянусь, Илейка,— воскликнул Иван с гневом,— когда сам государем стану, князей и бояр казнить буду нещадно за межусобные смуты!..

В думах тяжких ехал Иван к Ярославлю, в пути на этот раз проходило все мимо него. Жила в душе его только Агафьюшка, каждый миг вспоминалась, и становилось ему то сладко и радостно, то смертной тоской томило.

Великий князь Василий Васильевич встретил сына весело, но, угадав печаль его, сказал ободряюще:

— А ты, Иване, не сокрушайся, что злодей-то убег от нас. Ништо, все едино настигнем его. Не теперь, а все же конец ему будет...

Вспомнилась Ивану беседа у отца Мартемьяна в Троицком монастыре. Испугал его тогда намек бабки на не свою смерть Шемяки, а теперь даже обрадовал — только бы конец скорей настал смуте, разоренью и горю людскому. Тяжело Ивану от всего, что выпало ему за этот поход на Кокшенгу-реку. Одному ему побыть хотелось, и поехал он из Ярославля отдельно от отца, передав ему и полон весь и полки свои. Спешил он в Москву, и был с ним только Илейка да с полсотни конников. Застать еще думал он в Москве владыку Авраамия, друга своего старшего и советника...

Разговоры у него с Илейкой были теперь иные, чем раньше.

— Что все скучаешь, государь?— нерешительно спросил его Илейка.— Вот и с лица сменился, похудал...

Иван улыбнулся чуть заметно.

— Умен и зорок ты, Илейка,— тихо ответил он,— иной раз разумеешь боле, чем бояре и дьяки...

Задумался Иван, вспоминая то одно, то другое, чем жизнь задевала его в разное время с самого раннего детства. Долго тянулось молчанье. Вдруг Илейка громко чихнул и пробормотал:

— До трех раз дай, господи!

Вслед за тем чихнул еще три раза.

Иван усмехнулся.

— Бог-то дал боле, чем просил,— молвил он и добавил:— Помнишь, Илейка, сказывал ты мне про Степана-богатыря? Вот яз ныне и стал совсем таким богатырем. Токмо мое-то горе против народного — малое. В народе же лютéй всего горе бабье...

— Верно, государь,— живо откликнулся Илейка,— нет ее го-

ремычнее, бабы-то! Любим мы их, да недолго, а мýка им навсегда. Токмо лаской на миг и жива баба, без ласки ей и жить нечем.

Иван вдруг оживился, глаза его блеснули.

— Вспомнил яз,— заговорил он,— Ермилку-кузнеца, рыжего парня. К Володимеру шли мы тогда против татар. «Коли сироты всем миром вздохнут,— говорил он, Ермилка-то,— и до государя слухи дойдут. Токмо бы он ухи собе не затыкал». Помню также, что владыка Иона на переправе к Угличу совсем еще малому мне сказывал: «Ведай, Иване, сиротами все в государстве держится: и кормят они и воев дают».

Иван замолчал, глубоко вздохнув. Когда же подъезжать стали к Москве, не поехал он в Кремль. Впервые ему не хотелось теперь в семью. Болела душа его, и знал он, что из близких ему не с кем говорить о своей боли душевной и томлении сердца. Ему же, еще при отъезде на Кокшенгу, ведомо было, что Авраамий гостит у игумна Данилова монастыря.

Хотел Иван ехать к нему тогда же, да не успел, и вот, возвращаясь в Москву, прежде всего хотел видеть владыку, отдохнуть душой в беседах с ним. И велел он сотнику гнать от села Напрудьского, что на пути от Сергиева монастыря, в объезд Москвы к Даниловой обители.

Не заметил Иван, как доскакали они до Кудрина и, миновав Дорогомилово, выехали на Москву-реку.

— Москву видать!— крикнул один из передовых конников, когда Иван со своим отрядом поднялся на крутую лесистую гору.

— А и впрямь видать,— радостно отозвался Илейка,— ведь мы к селу Воробьеву подъехали...

Иван взглянул сквозь поредевшие деревья у обрыва над Москвой-рекой и увидел через занесенные снегом леса такие ему знакомые золотые маковки кремлевских соборов. Сняв шапку, он истово и радостно перекрестился.

— Федотыч,— крикнул он сотнику,— останови конников, а сам гони во двор к попу Воробью! Спроси, ведает ли он, где ныне владыка Авраамий. В Даниловом али в Москву отъехал?..

Ускакал сотник, стоят в отдалении конники. Иван же в сопровождении Илейки ближе подъехал к обрыву, где не было деревьев и откуда видней ему родной Кремль с белыми стенами и стрельнями.

Солнце уж клонилось к закату, небо чуть розовело, а с противоположной стороны подымался бледный серп полумесяца, становясь все желтее и ярче.

Затопали кони, и к Ивану подскакал сотник Федотыч, а следом за ним подъехал верхом на рослом коне отец Сергий, по прозванию Воробей.

Прозвище это дано было попу весьма удачно — было в лице

его и в повадках что-то воробьиное: шустрость и особая, тоже птичья, хитрость.

— Будь здрав, государь,— проговорил отец Сергий,— благослови тя господы!

Он благословил Ивана, но к своей руке не допустил:

— Руками-то навоз в хлеву убирал...

— Как в Кремле у нас?— спросил Иван.

— Живы и здравы в семье твоей, государь, а бабка твоя, государыня Софья Витовтовна, в монастырь ушла и во мнишеском[1] чине наречена Синклитикия...

Ивана поразило это событие, но он спокойно произнес:

— На то ее и божья воля. А скажи, отче, где ныне владыка Авраамий суздальский? В Даниловом аль отъехал уже?..

— Третьеводни был у меня по велению матери твоей, государыни Марьи Ярославны, дворецкой Костянтин Иваныч, имеиьишко мое оглядывал. Хочет его государыня у мя купить. Так вот он сказывал, что владыка Авраамий в Москве был у государыни и отъехал к собе в Суздаль...

— Ну, Федотыч,— обратился к сотнику Иван,— в Данилов не поедем. Погоним в Кремль... Прощай, отче!

Взяв поводья, повернул он коня к спуску на лед Москвы-реки.

— Пожди, государь. Повестую тобе еще, что великий князь тверской со княгиней своей и дщерью приехали...

Иван судорожно сжал в руках поводья, но спокойно молвил:

— Спасибо, отче. Прощай. Еду.

Не оглядываясь, он стал осторожно спускаться по крутому склону к Москве-реке.

Дома, после радостных объятий и лобзаний с матерью, братьями и гостями, Иван огляделся и заметил много перемен.

Марьюшка, которой пошел уж одиннадцатый год, вытянулась вся тоненькой жердочкой и совсем была не похожа на прежнюю маленькую девочку с оттопыренными пухлыми губками. Угловатая и длинноногая, она теперь не нравилась ему. Раньше она была веселой и общительной, а теперь все время смущается и щеки ее пылают.

Целуя свою невесту, Иван испытал такое же ощущение, как и от поцелуев отца и матери. Вспомнив об Агафьюшке, потемнел он лицом и, под предлогом усталости, пошел в покои свои вместе с Илейкой. На пороге обернулся и спросил:

---

[1] *Мнишеском* — монашеском.

— А бабунька где?

— В инокинях она ныне,— ответила Марья Ярославна.— Отдохнешь с пути, зайди к ней в Вознесенскую обитель...

Иван поклонился всем и молча пошел к себе, мельком заметив любопытный и тревожный взгляд следившей за ним Марьюшки. Казалось, она не узнавала его, так сильно теперь возмужавшего, и боялась. С неменьшим удивлением встретили Ивана Борис Александрович н княгиня его, Настасья Андреевна.

— Ну и возрастил его господь,— проговорил задумчиво Борис Александрович,— совсем мужик уж...

— А Марьюшка-то дите все еще,— жалобно отозвалась Настасья Андреевна и, взяв за руки Марью Ярославну, молвила:— Уговор-то свой мы с тобой ускорили, а она все едино еще не поспела для него... Како же быти? Мыслю яз, обвенчать-то мы их обвенчаем, а пусть она еще без него поживет...

— Истинно,— согласилась Марья Ярославна,— токмо после свадьбы-то нельзя отпустить ее к вам в Тверь. Сама ведаешь, срамно то будет: отсылку сию по обычаю инако разуметь будут...

— Не годнтся сие,— согласился и Борис Александрович,— не можем иттить мы против установленного от бога н от всех людей...

Настасья Андреевна, больная совсем, с желтым отекшим лицом н распухшая вся, задрожала дебелымн плечами н заплакала.

— Значит, не дожить мне и до свадьбы моей доченькн, на то яз и сроки ускорила, дабы благословнть ее, сердешную.

Марьюшка, забившись в угол, смотрела большимн тревожными глазами поочередно на всех, и делалось ей страшно.

— А знаешь, Настасья Андреевна,— вдруг улыбнувшнсь, молвила Марья Ярославна,— яз так вот решила. После пированья увезет молодую-то к собе в обнтель старая государыня. Будет с ней жить Марьюшка до поры до времени. Иван же ходить туды будет, к бабке своей, н молодые-то привыкнут мало-помалу друг к другу...

Обрадовалась Настасья Андреевна, обнимать, целовать стала Марью Ярославну с любовью великой.

— Благословн тя господь,— говорила она,— умница ты, золотая моя сватьюшка! Сердце мое от каменн ослободила, душеньку мне ясным солнцем осветила...

Разгладились морщины н на лице князя тверского. Отяжелел Борнс Александрович, н в пятьдесят три года седина у него уж в бороде и волосах густо пошла. Теперь же словно помолодел сразу.

Только по-прежнему сндит одна в уголке девочка, тонкая, как жердочка, мнгает глазами тревожными, стараясь незаметно слезы смахнуть с пушистых ресниц...

Как только Иван вошел в свои покои, к нему прнбежал Данилка, ныне Данила Константннович, помощннк княжого дворецкого, почтн полностью заменнвшнй стареющего отца.

Только члены семьн велнкого князя звалн его по-прежнему — Данилушкой. Огляделся Данилка кругом и, не видя возле государя ннкого, кроме Илейки, бросился к Ивану, босклнкнув:

— Иванушка, государь мой!..

Он схватил протянутую ему руку и поцеловал трнжды.

Иван освободил свою руку н, указав на скамью рядом, молвил:

— Саднсь, Данилка. Сказывай, как живешь? Гляжу, старше ты стал: усы-то куда больше монх н борода уж есть. У меня же токмо щеки оброслн шерстью какой-то.

— Да ведь мне, Иванушка, восемнадцатый год,— улыбнулся Даннлка и добавил:— Трн неделн уж, как меня оженнлн. Отцу вот помогаю. Государыня Софья Внтовтовна службу сию мне приказала, когда уходила в обитель...

— На ком женили-то?

— Да на Лушке, молодшей сестре Дуняхн. Лет шестнадцать ей, Лушке-то...

— Ну н как? — спросил Иван.

Данилка вспыхнул н смутился.

— Живем, государь,— проговорил он, опуская глаза,— ладно живем. А что раньше-то я тобе про женитьбу баил, забудь ты ныне,— то сквернота одна у меня в мыслях была. Лушка-то вельмн хороша, строга и честна...

Он еще что-то хотел дополннть, но, вндимо, язык не поворачивался, чтобы тайны семейные выдавать, н он воскликнул только радостно:

— Ох, и дружно живем, государь! Дай бог всякому...

Иван смотрел молча несколько мгновений на счастлнвое лнцо Данилки н, вдруг вздохнув, тихо спросил:

— А любил ты ее ране-то?

— Помог господь,— весь сняя, сказал Данилка.— На той, что по душе была, на ней н женилн. Ей я тоже хотенным был. Говорит все ныне мне: господь-де ее молнтвы услышал...

Данилка рассмеялся тнхнм довольным смехом.

Иван протянул руку другу своего детства н ласково, от душн сказал:

— Ну, дай бог, Данилушка, навек тобе сне счастье.

Когда Данилка целовал опять ему руку, потемнел уж лицом Иван н спросил вполголоса:

— А как Дарьюшка?

— Худо,— печально ответил Данилка,— постыл муж ей. Плачет она все, убивается, невесть о чем...

Губы дрогнули у Ивана, и сказал он совсем тихо и грустно:

— Поведай ей, что помню яз ее. Помню...

Иван отвернулся от Данилки, обратясь к Илейке, произнес громко:

— Илейка, к бабке в обитель поедем, коней приготовь и другую одежду. Дорожное-то яз все сыму, оболокусь во все московское...

Илейка вышел, Иван быстро схватил Данилу за руки и, притянув к себе, сказал ему на ухо:

— Передай ей, Дарьюшке-то, помню яз все, век не забуду ее, век...

Голос Ивана задрожал. Отвернувшись от Данилы, сделал знак он, чтобы уходил тот, и, подойдя к окну, крепко ухватился за подоконник.

Не мигая, смотрит он в синее зимнее небо, а по небу быстро несутся, розовея от заката, легкие тучки и мчатся из дали в даль. И растет тоска в душе Ивана, будто все радости уносят с собой мимо бегущие тучки...

Бабку Иван застал в ее келье за сборами в церковь к вечерне. Ульянушка обряжала Софью Витовтовну, ныне инокиню мать Синклитикию.

Обернувшись к вошедшему Ивану, Ульянушка всплеснула руками и вскрикнула от неожиданности.

— Господи, боже мой!— бормотала она, захлебываясь от радости.— Приехал Иванушка, приехал!..

Бабка медленно повернула голову, и глаза ее зажглись и засияли, освещая бледное, сморщенное лицо. Иван, видя ее в полном монашеском облачении, не знал, что делать и как с ней поздороваться. Он стоял, улыбаясь, но ему становилось грустно: одряхлела как-то сразу Софья Витовтовна.

— Любимик ты мой,— вдруг звонко, по-прежнему, сказала она,— иди ко мне!..

Бабка обняла его, поцеловала и, перекрестив, снова поцеловала. От нее пахло свечным воском и ладаном, и от этого запаха почему-то подумалось Ивану, что умрет скоро бабка. Горькая жалость прошла по его сердцу.

Отвернулся он к мамке своей и сказал с печалью:

— Здравствуй, Ульянушка!..

Пока целовала она ему руку, спросил:

— Что ж, ты келейницей у бабуньки стала?

— Келейницей, келейницей,— затараторила Ульянушка.— Как нитка за иголкой, я за государыней своей: ране в Чухлому и Карго-поле, потом в Москву, а ныне и в монастырь вместе с ней, а там и на тот свет за ней следом пойду, до смерти самой служить ей буду...

— Иди-кось к вечерне одна, Ульяна,— прервала ее Софья Витовтовна,— мне со внуком побеседовать надобно, потом приду, не долог разговор-то у нас будет — не нарушу правил обители.

Когда Ульянушка вышла, бабка села на скамью и сказала Ивану:

— Сядь и ты. Сказывай, как с Шемякой? Ну, да по лицу вижу, ушел он от рук ваших. Не помог господь, прогневали его...

— От битвы уклонясь,— сурово ответил Иван,— бежал злодей к Новугороду неготовыми дорогами. За Двиной прошел к Онего-озеру. Все же вборзе конец ему будет...

Бабка чуть усмехнулась, подумала о чем-то и сказала неожиданно:

— Ну-ка стань на колени, благословлю: оженят тя скоро, а на свадьбе яз не буду,— устала от всего мирского.

Вставая с колен, посмотрел Иван опять в лицо бабки и вновь подумал о ее смерти.

— Бабунька,— сказал он дрогнувшим голосом, и ее жалея и себя,— худо нам без тобя...

Он замолчал, а бабка смотрела на Ивана и ждала, что он еще скажет.

— Бабунька,— продолжал Иван,— не гоже такой свадьбе быть. Дитя она, жердочка тонка, а яз мужик совсем...

Софья Витовтовна острым, испытующим взглядом посмотрела на него и быстро молвила:

— Грех-то адамов познал?

Иван понял, покраснел до корней волос, но ничего не ответил.

— А коли все познал,— продолжала она,— так и то познай, что года через три-четыре и она тобе женой станет, доспеет! Ну, а теперь идем к вечерне. Помолись со мной вместе...

Василий Васильевич воротился в Москву веселый и радостный. Радовался он и семье своей, и гостям, и хоромам своим. Послал тотчас же за духовником, отцом Александром, и возок великокняжий послал в Вознесенский девичий монастырь, за матерью своей.

Через полчаса приехала она, благословила сына, обняла, поцеловала сноху и, прищурясь, сказала:

— Здорова ли? Как младенца-то носишь?

— И не чую его, матушка,— ответила Марья Ярославна,— всего три месяца, как понесла, не отяжелела еще...

Поздоровавшись ласково с гостями, мать Синклитикия осо-

беиио приласкала Марьюшку и, поглядев в большие и тревожиые глаза ее, обияла и молвила:

— А ты, дитятко, не страшись. Внучкой мие будешь — навещай меня. Яз те миого притчей и чудес божиих поведаю...

— Будь, государыия, бабкой ее, а ты, Марья Ярославна, будь ей не свекровушкой, а матушкой родиой, меия вместо,— жалостно проговорила Настасья Аидреевиа.— Худо мне: все пухиу и дышать трудио...

— Отцы духовиые приехали,— сообщил Коистантии Иваиович, входя в трапезную,— в крестовой уж оии.

— Идемте, идемте!— сказал громко Василий Васильевич, вставая со скамьи,— веди мя, Васюк.

Впереди всех, как в прежние годы, пошла Софья Витовтовна, ио теперь страиио было видеть ее дома в моиашеском одеяиии. Другой какой-то оиа стала, словио что-то отрезало ее от семьи.

В крестовой были духовиые: и отец Александр, и дьякон Ферапоит, и дьячок Пафнутий. Обратил на себя внимаиие Иваиа отец Ферапоит: мрачен он весьма, ни на кого ие смотрит. Поет ои службу, как всегда, трубиым гласом своим. Слушает его Василий Васильевич и сладостно улыбается всякий раз, как только взревет отец Ферапоит.

— Ох, и одарил же господь его громогласием,— сказал на ухо Василию Васильевичу киязь Борис Алексаидрович.

— Прямо труба архаиделова,— живо отозвался великий князь Василий.

Но вот уже ко кресту приложились все, когда отец Ферапоит, сиимая с себя стихарь, закрыл вдруг лицо руками, и могучие его плечи стали содрогаться от рыданий.

В тревоге все обступили его.

— Пошто так?— строго спросила Софья Витовтовиа.— Соблази сие...

Отец Ферапоит открыл лицо, мокрое от слез, и отрывисто произиес, захлебываясь плачем, как малый ребенок:

— Сюды идучи, весть получил... Весть... Отец-то Иоиль... Незлобивый, голубь ласковый... Отец Иоиль преставился богови...

У Иваиа будто оборвалось что-то в сердце. Вспомиил он малеиького попика с белой пушистой головкой. Тяжко ему, словно в душе его что-то умерло вместе с этим попиком. Огорчеи был и Василий Васильевич. Отерев слезу, ои истово перекрестился и молвил громко:

— Царство небесное рабу божию Иоилю... Отслужим панихиду ему...

Когда все возвращались из крестовой в трапезную, бабка, задержав сына, проговорила вполголоса:

— Помни, сынок, о Ржеве-то. Вернуть ее надобно от Твери. Не вернем — пред богом и детьми грешны будем. За сим сюды и приехала на сговор-то. Проси Ржеву... Ну, прощай, сынок, пора мне в обитель вернуться...

Когда проводили Софью Витовтовну в монастырь, пошли родители жениха и невесты в опочивальню Марьи Ярославны, дабы сговор вести, торг торговать о приданом за Марьюшкой, о времени свадьбы и о всем прочем.

— А ты, Ванюша,— ласково молвила Марья Ярославна,— побудь с нареченной-то своей в трапезной, побеседуй. Скушно ей одной-то в чужих хоромах...

Иван остался и, садясь на скамью рядом с Марьюшкой, заметил как она вся вздрогнула и поспешно отодвинулась подальше.

— Пошто страшишься меня?— спросил ее Иван.— Яз тобе худого не сотворю. Помнишь, как мы с тобой на санках в Твери катались?

Марьюшка, хотя поглядывала исподлобья на него, все же улыбнулась и ответила:

— Помню, но ты был тогда маленький, а теперь другой. Усы у тобя и борода...

Она вдруг затуманилась вся от печали и, помолчав, продолжала:

— Не хочу тут жить. В Тверь хочу, к матушке. Немощна матушка моя, бают все, умрет скоро...

Голос ее пресекся от слез. Ивану жаль стало эту хрупкую девочку.

— А ты не верь сему,— ласково сказал он,— пошто матушке твоей умирать? Никто, кроме бога, не знает, кто и когда умрет.

Марьюшка успокоилась и внимательно испытующим взглядом осмотрела Ивана, словно незнакомого, но опять улыбнулась и заговорила доверчиво:

— Не хочу яз замуж и в Москве жить не хочу. А ты?

— И яз не хочу жениться,— улыбаясь, сказал Иван, но ему стало обидно и за себя и за эту еще глупенькую девочку.

Ответ Ивана успокоил и ободрил Марьюшку.

— А на санках мы кататься будем?

— Будем.

— А на качелях?

— И на качелях будем.

— Матушка мне сказывала, что, когда замуж выйду, будут у меня дети: мальчики и девочки. Яз хочу девочек. Буду с ними хороводы водить, песни петь...

Она опять замолчала, о чем-то думая, и решительно объявила:

— Все ж, Иване, не надо ни тобе, ни мне никакой свадьбы.

— Истинно, не надо,— невольно улыбаясь, подтвердил Иван.— Ты сего не бойся. Свадьбы нашей до лета не будет...

Долго Иван вел эти странные беседы, в которых детски наивное переплеталось с вопросами о браке и детях, и тяжко ему становилось, когда представлял он себе, что лет пять еще будет он жить с этим дитем, пока вырастет оно.

— Доспеет!— горько повторил он вслух слова бабки.

Шум голосов в сенцах показал, что семейный совет кончился и родители возвращаются в трапезную.

Садясь за стол, Василий Васильевич весело воскликнул:

— Ну, вот и сговорились, слава богу, а доброе дело добрым вином запьем!

Он приказал Константину Ивановичу подать заморского вина и, обратясь к Ивану, пояснил:

— Свадьбу пировать будем летом, в начале июня, а в мае приедут опять к нам сватьюшки с невестой...

Когда дворецкий налил всем чарки заморского вина, Василий Васильевич также весело добавил:

— Ну, выпьем за здравие наших обручеников!

— Дай бог,— заговорили все, чокаясь.— Совет да любовь...

Уехали гости к себе в Тверь, и побежали опять дни по-обычному. Не заметил Иван, как весна промелькнула, а мая десятого приехала снова в Москву княгиня Настасья Андреевна с дочерью. Начались у нее вместе с Марьей Ярославной приготовления к свадьбе.

Иван же, всех избегая, ездил все с Курицыным на соколиную охоту. Только мая двадцать пятого, на Ивана Медвяные росы, к посеву яровых, приехал в Москву и сам великий князь тверской, Борис Александрович. С этого дня закружило Ивана, как хороводом пестрым, в разных обычаях свадебных, не давая покоя до самого венчания — четвертого июня.

Измучился Иван в многолюдстве постоянном. Хотел бы он бежать подальше куда-нибудь, на охоту в дебри лесные уйти или в ратный поход...

Но ныне все минулось. Как сон, прошла для Ивана и самая свадьба со всеми обрядами семейными и церковными. Второй уж день идет, как тесть его и теща уехали в Тверь, а Марьюшка живет у Вознесения, в келье у бабки. Иван же сидит один у себя в

покоях, и в сердце его тоска и досада: связали его на всю жизнь, и нельзя уж развязать связанного...

Вспоминается ему, как в соборе Михаила-архангела стояли они в венцах с Марьюшкой перед аналоем, а кругом — шепот. Он даже слова, хоть и совсем тихие, ясно расслышал:

— Мужик совсем по сравнению с ней...

Покосился он на невесту свою, а она чуть по плечо ему. Видит на руке у нее кольцо обручальное, что в Твери еще ей при обрученье надели. И все еще воск на нем налеплен — оно и теперь велико ей. Стесняло это все Ивана, стыдно почему-то.

Потом, когда домой из храма вернулись и в дверях их неожиданно хмелем осыпали, Марьюшка чего-то испугалась и громко заплакала. Понял он, что и ей тяжко...

Вскочил Иван с лавки, заходил по покою своему и молвил с болью и гневом:

— Все сие срамно и худо!..

Скверно было ему и пированье с прибаутками и приговорками разными о том, что он уже хорошо понимал, о чем лишь двоим ведать надлежит...

Хмуро оглянулся он на стук в дверь и сердито крикнул:

— Входи!

Вошел Федор Курицын и молвил тихо:

— Будь здрав, государь! Чтой-то встревожен ты?

— Садись, Федор Василич,— грустно ответил Иван и сам сел на высокий столец подле растворенного окна.

Федор Васильевич приблизился к нему и попросил:

— Дозволь, государь, постоять и мне у окна. Хорошо вельми в духоту и жару тут на свежем ветру...

Курицын помолчал и, украдкой взглянув на Ивана, продолжал:

— Гляжу на тя, государь, и мыслю о мудрости Даниила Заточника. «Мóлеви,— пишет он,— ризы изъедают, а человека печаль». Человеку же в круговращении бытия, от бога установленном, нужно бороть худое и оправдать пред творцом жизнь свою...

— О круговращенье ты истинно баишь,— печально заметил Иван, задумчиво следя, как вьются под окнами ласточки.— Истинно сие, Федор Василич... Вот и отец с матерью венчались, как и яз ныне с Марьюшкой. Детей народили и родят еще. Скоро вот матунька снова родит... Потом и у меня дети будут, а там и внуки. За сие же время круговращенья и бабка умрет, и родители умрут мои, а там и мы с Марьюшкой... Истинно! Все сие токмо круговращенье...

— То и дивно!— горячо воскликнул Курицын.— Князь-то

Володимер Мономах пишет в своем поучении, как он, хвалу Солнцу восходящему отдав, глаголет радостно: «Просвети очи моя, Христе боже, дал ми еси свет твой красный!» О государь, дивен свет сей — и земной и небесный.

В увлечении молодой подьячий радостно простер руки к окну.

— Гляди, гляди, государь, какое небо-то, свет-то какой! Солнце сияет, радости по земле сеет! А ведь и оно восходит и заходит.

Улыбнулся Иван и протянул другу своему руку. И когда тот поцеловал ее, сам поцеловал Федора Васильевича.

— Люб ты мне,— сказал он тихо.— Так люб мне токмо Илейка. Научил он мя многому, не менее, чем духовные отцы мои Иона и Авраамий.

Замолчал Иван и задумался. Глаза его остановились, будто в иной мир глядят. Непонятен и страшен стал взгляд его.

— По-новому, Федор Василич,— раздумывая, проговорил Иван,— осветил ты разум мой, и все то яз чую в собе...

Глава 22

ВЕСТЬ ИЗ НОВГОРОДА

На другой день, июня двенадцатого пришла на Москву скорбная весть. Сам митрополит приехал к Василию Васильевичу нежданно-негаданно в неурочный час, после обеда, когда по обычаю в хоромах княжих все спать собираются. Всполошил всех приезд этот — и княжое семейство, и слуг дворских, и стражу.

Владыка же Иона прошел прямо в трапезную, где застал великого князя еще за столом. Вслед за ним, не видя запрета, пришли туда и многие из дворских слуг.

— Прости, государь, без зова пришел,— проговорил владыка, благословляя всех.— Спешу аз поведать тобе: исполнился ныне гнев божий над греками за унию их и ереси латыньские — пал Царьград от руки салтана турского, от безбожного Магмета, Амуратова сына. Царь же православный Константин убиен в честном бою, и глава ему, убитому, отсечена и положена во святой Софии...

Заплакали кругом все, заохали, запричитали, а Василий Васильевич, в слезах весь, воскликнул:

— Откуда же весть сия грозная?

— Пригнал в Москву из Су́рожа[1] один от наших сурож-

---

[1] *Су́рож* — г. Судак, в конце XV века был крупным торговым центром.

ских гостей[1], Федор Сидорыч Лыткин. Он мне сей вот часец о всем сказывал. Набегли, баит, греки во множестве в Орду Крымскую из Царьграда. А взяли турки Царьград обманом. Послал Магмет к наместнику цареву сказать: «Сотвори так, дабы аз взял Царьград, приступая. Аще сотворишь, то поиму дщерь твою в жены, и будеши мне отец и вторый в царстве моем». Сей же, забыв бога и народ свой, сотворил властолюбия ради воровство злое, указал Магмету, где во граде стены слабые. И, бив пушками по трухавой стене, взяли безбожные турки Царьград, и святы церкви разорили, а из Софии великой мечеть учинили. Людей множество посекли мечом, иных в море потопили, иных же в рабство обратили...

Митрополит умолк, подавленный горестью, а кругом снова все плакали и вздыхали со скорбью.

— Неужто господь наместника не покарал?— воскликнул Курицын, обедавший в эти дни с княжим семейством.— Неужто он воровством добро добыл?

Поднял голову владыка и молвил сурово:

— Господь, наказав греков за ереси их, наказал и сего злодея. Наместника того злой смерти предал Магмет, повелел живым в котле сварить. Наперед же рече ему со смехом: «Как же ты мне хочешь верен быти, когда так своровал пред законным государем своим?»

— Поделом вору и мука!— воскликнул Илейка, стоявший возле дверей.— Какую святыню нечестивый предал!..

— Помнишь, государь Иван Василич,— обратился владыка Иона к Ивану,— когда еще ты мал был, аз тобе сказывал. Погибнут греки за грехи своя, а наша церковь русская и наша держава третьим Рымом воссияют! Ныне Русь наша — глава всему православию вселенскому. Будет и Москва глава всея Руси, вольной Руси, когда ты, да поможет тобе бог, иго татарское сокрушишь...

Митрополит встал, приблизился к Ивану и, осеняя его крестным знамением, сказал:

— Благословляю на сие ныне. Аз, грешный, хоть и не доживу до славы той, а верую: свершит сие господь твоей рукой, ибо время уже созрело, и жатву сымать приходит пора...

Взволновался Иван, со слезами облобызал руку владыки, а Василий Васильевич радостно молвил:

— Да будет воля господня!

Когда уходил митрополит, Марья Ярославна, приняв от него благословение, спросила:

---

[1] *Сурожские гости* — богатые московские купцы, торговавшие в Крымской Орде.

— Скажи, отче, как здрава государыня, ежели тобе о сем ведомо?

— Был аз у нее днесь после обедни, просфору ей принес. Все так же лежит, не вставая, и видна уж печать смерти на лице ее. Ты, государыня, возьми княгиню-то Марьюшку от нее, дабы не зрило дите предсмертные муки...

Услышав это, изменился в лице Иван от боли, пронзившей его.

На третий день после приезда владыки прибежала от Вознесенья к Марье Ярославне Ульянушка.

— Отходит стара княгиня,— говорила в слезах она,— сей часец повелела к соборованию приступать, а мать игуменья все нарядила. Уже приступают...

Узнав об этом, приказал Василий Васильевич немедленно подавать колымаги для всего семейства. На площади услышал Иван, что у Вознесения звонят отходную. Когда же они вошли к бабке, в келье уже пели монахини, были попы с игуменьей и архимандритом. Увидев на бабке черную рясу с большими белыми крестами, понял Иван, что бабка приняла уже схиму. Он приметил, как неподвижное, бледное лицо бабки с запавшими вглубь глазами и заострившимся носом вдруг оживилось слабой улыбкой и глаза просветлели, когда она увидела сына и внуков...

— Сыночек,— тихо заговорила она,— Марьюшка, вну́кушки...

Но, вдруг ослабев, замолчала, и глаза ее потухли. Василий Васильевич всхлипнул и проговорил глухо:

— Матушка, родная, где ты?

Он протягивал руки вперед и, при помощи Васюка отыскав руку матери, припал к ней горестным лобзанием. Когда же мать с трудом подняла свою правую руку и положила ему на голову, плечи его стали вздрагивать.

— Благослови тя господь,— чуть слышно в тишине общей промолвила она,— прими мое благословенье...

Марья Ярославна, всхлипывая, помогла ей приподняться и поцеловать сына. И снова ослабела Софья Витовтовна, и лицо ее потемнело. Иван и братья его приблизились к ней. Все они целовали у нее руку, а она лежала неподвижно, и только глаза нежно глядели на внуков...

Приехал владыка Иона и, взяв от духовника старой государыни «святые дары»[1], подошел к ее ложу. Глаза Софьи Витовтовны были закрыты. Митрополит, произнеся отпущение грехов, коснулся ложечкой уст ее. Софья Витовтовна, с трудом

[1] *«Святые дары»* — кусочки просфоры, пропитанные красным вином и освященные во время службы за обедней.

подняв веки, узнала владыку и причастилась. Монашки зажгли свечи и запели молитву на исход души.

Ощутил вдруг всем сердцем Иван — уходит от ннх куда-то бабка, и никогда, никогда уж не будет ее с ними. Слезы неудержнмо потекли у него по щекам. Глядит он, не отрываясь, на нее и видит: почти перестала дышать она, н страшно так дрожит у нее что-то около самого рта. Вдруг судорога прошла по всему ее телу и подняла ей голову.

— Круг Москвы собирай!— неожиданно громко молвила Софья Витовтовна и, упав на подушки, вытянулась вся и застыла неподвижно...

После смертн Софьи Витовтовны ближе стал Иван с отцом своим. Правда, все своевольнее делался Василий Васильевич, но и часто грустил он, а после дней ярости и гнева — помногу молился.

— Сыне мой,— заговорил он как-то с печалью.— К сорока годам подошел яз. И, стоя во тьме земной, стою один ныне и перед тьмой вечной... Почти вот месяц, как умерла матерь моя, а забыть сего не могу. Живой стеной заслоняла она меня от пропасти смертной, а ныне яз уж на самом краю...

Василий Васильевич вдруг умолк, а Ивану почудилось, что отец хочет еще о чем-то сказать, но не решается.

— Батюшка,— усмехнувшись, сказал Иван,— вспомнил яз, что Илейка мне про Шемяку молвил: «Князю-то Димитрею отрыгается ныне, чаю, с горечью все, что в Москве он сожрал...»

Василий Васильевич вздрогнул и засмеялся, но странно как-то, словно заплакал от волнения внутреннего.

— Хочу тобе поведать,— начал он и, вдруг отмахнувшись рукой, сказал:— Нет, нет! Вборзе сам все уразумеешь...

Потемнел лицом весь и проговорил, обратясь к Васюку:

— Одень меня. Поедем мы к вечерне в храм великих мучеников Борнса н Глеба. Отца Ферапонта послушаем. И ты, Иване, иди со мной...

В церквн той служил в этот день по случаю престольного праздника дьякон от Михаила-архангела Ферапонт, любимец великого князя.

Июльское солнце стояло еще высоко, когда оба князя всходили на паперть, но жар уж свалил. В воздухе тянулась легкая свежесть, а из церкви, где гудел голос Ферапонта, пахло ладаном.

— Тихо, свято и мирно тут, далеко от суеты нашей греховной,— с умилением сказал Василий Васильевнч.

За вечерней он оживился и даже подпевал хору, но в середине служения взволновал его прнезд Данилушкн. Войдя в церковь,

молодой дворецкий поспешно приблизился к обоим государям.

— Пригнал, государь,— шепнул он Василию Васильевичу,— из Новагорода подьячий Василей Беда...

Иван видел, как отец побледнел и заторопился выйти из храма.

— Едем, Иване,— молвил он дрогнувшим голосом,— веди меня сам...

В хоромах своих Василий Васильевич прошел к себе в опочивальню, повелев Васюку тотчас же привести туда вестника.

Великий князь сильно волновался, и руки у него дрожали; он был даже растерян и будто не знал, что делать. Казалось Ивану, что отец хочет отослать его, как отослал Васюка, но колеблется. Вот отворилась дверь, и вслед за Данилушкой вошел невысокий юркий человек с острыми хитрыми глазами. Мельком взглянув на слепого государя, подьячий более внимательно посмотрел на Ивана и, встретив взгляд его, заробел.

— Будьте здравы, государи,— сказал он и поклонился, тронув рукой пол.

— Ну?— негромко воскликнул Василий Васильевич.

— Умре князь Димитрий на святого Емельяна, после утрени,— так же негромко ответил подьячий,— положен с честию в самом Новомграде, в Юрьеве монастыре...

Иван увидел, как отец, занеся руку для крестного знамения, помедлил немного и — вместо слов «царство небесное»— произнес:

— Прости, господи, наши согрешения!

Губы Василия Васильевича дрожали, и был он бледен. Василий Беда молча, почтительно ожидал дальнейших расспросов, но государь был в нерешительности. Вдруг, нахмурив брови и крепко сжав руку Ивана, резко сказал:

— Ну, ведай все, Иване. Право ли сие, суди сам. Государю все знать надобно... Сказывай,— обратился он сурово к подьячему.

— Как тобе ведомо,— начал тот,— зимой еще поехал в Новгород из Москвы дьяк твой Степан Бородатый и меня с собой взял. Спознали мы там Ивана Котова, боярина шемякина. Воротить обещали вотчину возле Галича...

— Жирно сие,— не удержался Василий Васильевич,— хватит ему и той, что у Чухломы есть...

— Он же, Иван Котов, все и нарядил вместе с княжеским поваром. Поел за ужином князь Димитрий курицы, а на другой-то день и помре...

Подьячий замолчал, а Василий Васильевич, забыв все волнения свои, уже радовался, как ребенок.

— Нет, Иване, у нас более злого ворога!— воскликнул он и добавил весело, будто и не он в том виноват:— Помог нам господь своей милостью, погубил злодея! Слава тобе, Христе боже наш, слава тобе!..

Он со счастливой улыбкой часто крестился и, обратясь к подьячему Василию Беде, сказал ласково:

— Жалую тя в дьяки.

Подьячий бросился к государю и, пав пред ним на колени, трижды облобызал протянутую ему руку...

Отпуская дьяка, Василий Васильевич сдвинул брови и строго сказал:

— Утре бояр и воевод созову. Повестуй им о смерти ворога нашего, о погребении его, да так сказывай, дабы мнения не было. Во многоглаголении умолчать умей. Да и после о сем заикнуться не помысли, дабы у тя живого язык не вырвали!..

— Будь покоен, государь. Верой и правдой тобе служим...

Дьяк земно поклонился.

— Будьте здравы, государи!— сказал он, направляясь к дверям.

— А сын-то Шемяки где?— крикнул вслед Василий Васильевич.

— Князь Иван отъехал с матерью в Литву.

— Ну, иди с богом...

Когда ушел Василий Беда, великий князь Василий обнял сына и радостно проговорил:

— Токмо сей часец яз совсем поверил, что злодея уж нет! Во какой дуб повалили! Осталось еще все корешки его из земли выдергать...

— С другими-то легче будет справиться,— заметил Иван.— Токмо вот пошто ты вотчину даешь Котову-то? Какая ему вера? Ведь господина своего погубил. С ним бы так надобно содеять, как салтан Магмет с наместником царьградским содеял.

— Ох, людей ты еще не ведаешь, Иване. Не можно нам казнить переметчиков за воровство чужому князю. Испужает их сие, а нам переметчики всякие еще понадобятся...

Наутро созвал бояр и воевод Василий Васильевич после завтрака. Все уже знали, какую весть привез Василий Беда, знали и то, что из подьячих он в дьяки пожалован.

Весь двор княжой собрался в передней Василия Васильевича, куда вышли оба государя и все княжое семейство с дворецким Константином Ивановичем и слугами дворскими.

Весел и радостен сидит великий князь на столе своем отчем,

и весь двор его радостен. Вот подымается он, поддерживаемый Васюком, и говорит своим звонким голосом:

— Избавил господь бог нас от злого ворога, конец пришел межусобию. Ныне и татар бояться не будем!

Гулом голосов откликнулось все собрание:

— Слава те, господи! Истинно так, государь!..

— В сраме великом умер злодей-то,— прогудел густой голос Ивана Ряполовского,— сам бороду свою оплевал!..

Сделал знак Василий Васильевич, и все смолкли.

— Сей часец поведает вам дьяк Василий Беда все: и о злодее и пакостях Новагорода, что заедино с ним был.

Встал дьяк, поклонился всем и, бегая глазами по сторонам, заговорил быстро, витиевато и красиво. Рассказал он, как новгородцы в ущерб Москве помогали Шемяке, как полки его снаряжали и даже войско ему давали, лишь бы только Москву ослабить и разорить...

— Сколь им, ворам, ни воровать, а и им конец будет!— крикнул кто-то из воевод.— Пойдем мы на них!..

Рассказывал далее дьяк, как заболел Шемяка и умер, добавив в заключение:

— А новгородцы и тут назло Москве с честью великой положили его в Юрьевом монастыре, словно их князь он был...

— Таким почетом,— воскликнул Курицын,— они и других удельных манят: помогать, мол, против Москвы будем и честь воздадим...

— Мы им, удельным-то, покажем!— вспылил Василий Васильевич.— Покажем, как львы рыкают, будет им небо в овчинку!..

Иван нахмурил брови. Не нравилось ему, что слова у отца дела опережают. Вспомнил он, как бабка говаривала: «Ты молчи да делай, пусть о том другие бают».

— Казни, государь, всех злодеев, что против тя шли!— кричали бояре.

— С корнем рви всякое воровство!

— Не токмо князей казни, а и бояр и слуг их поимай, бери у них вотчины!..

— А Новугороду хребет преломить надобно!— воскликнул в гневе Василий Васильевич.

Иван не утерпел и шепнул отцу:

— Пошто о сем при многолюдстве таком?

Отец смутился, потом засмеялся и молвил радостно:

— Ну, а теперь в крестовую. Помолим божьей помощи, возблагодарим за конец межусобию...

После молебна отпустил Василий Васильевич двор свой, ласково молвив:

— Днесь на обед вас зову, бояре и воеводы. Позову н владыку.

Иван, сопровождаемый Илейкой н Курицыным, пошел в покои свои.

— Разорались бояре-то,— недовольно проворчал Илейка,— как грачн на гнездах, когда прутья друг у друга отымают! Жадны они на чужие вотчины!

— А по мне, худо, Федор Васильевнч,— сказал тихо Иван,— что государь словами дела опережает...

Курицын быстро взглянул на Ивана и молвил:

— Мудр ты еси. Истинно, государь, все таить надо, дабы слух к ворогам не дошел. Государю словами надобно мысли свои сокрывать...

Иван улыбнулся весело:

— Вон дьяк-то как красно баит! Весть всего в два слова, а он сорок коробов насыпал...

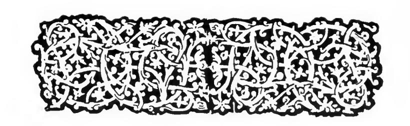
— Неверный мужик, дьяк-то,— вмешался Илейка,— мимо глаз глядит, а свои прячет...

— А из всего, что сказывалн, право токмо одно,— строго закончил Иван,— не мнновать нам рати с Новым-городом.

Конец второй книги

книга четвертая

ВОЛЬНОЕ ЦАРСТВО



Глава 1

ПЛОДЫ НЕИСПРАВЛЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ

В лето тысяча четыреста пятьдесят четвертое, марта тридцатого, прискакал поздно вечером вестник из Ростова Великого, объявивший о кончине владыки Ефрема, архиепископа ростовского, друга митрополита Ионы и великого князя Василия Васильевича. По сему случаю митрополит уведомил княжое семейство, что завтра, тридцать первого марта, сам он будет служить заупокойную обедню у Михаила-архангела.

На другой день, ясным, погожим утром, выехали с княжого двора две колымаги со сдвинутыми занавесками, направившись к кремлевскому собору. Иван, сидя с отцом, глядит в слюдяное окошечко на залитые солнечным светом улицы и жадно вдыхает воздух, напитанный особой свежестью от распускающихся листьев. Кругом на скворечнях скворцы весело бормочут, присвистывая и прищелкивая,— вовсю заливаются, трепеща крыльями. Ежится слегка Иван от утренней бодрящей сырости, но беспричинная радость льется ему прямо в грудь из глубины сияющей небесной лазури.

— Эх, весна, сынок,— грустно говорит князь Василий,— и охота мне хошь бы раз взглянуть, как скворушки крылышками в радости дергают...

Больно это слышать Ивану, но молчит он. Что можно сказать, когда непоправимо несчастье. Тоска и радость весенняя сливаются в сердце его, и вдруг видит он: из колымаги, едущей рядом, раздвинув занавески, выглянуло сияющее девичье личико и тотчас же скрылось. Иван даже вздрогнул от неожиданности — померещилась ясно так ему Дарьюшка...

Слушая во храме песнопения о смерти и славословия богу за то, что призвал он к себе душу раба своего Ефрема, Иван

все время поглядывал на супругу свою, княгиню Марьюшку, и все более н более мнилось ему, что это — Дарьюшка. Из тех времен Дарьюшка, когда оба они так горько плакали в уголке под лестницей, у входа в башенку-смотрильню. Дрожит его сердце, сладко замирает от весенней неги, и замечает он впервые, что длинноногая девочка вдруг подросла, округлилась вся и ходнт, павой выступая, н глаза у нее совсем по-иному глядят.

Та н не та стала Марьюшка и посмелела. За два года в новой семье ко всем привыкла она и уж не боится Ивана. Несколько раз взглянула на него лукаво, взмахивая темными ресницами. Иван невольно улыбнулся ей, и она ответила ласковой улыбкой, но, спохватившнсь, сделала тотчас же печальное лицо и перекрестилась.

Длинная заупокойная обедня прошла незаметно для Ивана, н, вопреки привычке думать в церкви о важных делах, этот раз он ни о чем не думал, а почти неотрывно смотрел на свою, совсем еще юную княгиню н любовался ею. Все краснвое и нежное, что было когда-то у него с Дарьюшкой и в Переяславле Залесском и в Москве, снова воскресало в душе его.

Духовенство после обедни в полном облачении провожало княжое семейство до самого церковного крыльца. Когда же все садились в повозку, Иван увидел опять девичье личнко, приннкшее к слюдяному оконцу в занавесках колымаги. Сердце его забилось, и радостно, всей грудью, вдохнул он свежнй весенний воздух.

Время летит быстро; промелькнула весна, да вот и лето кончается — Илья-пророк уже копны в поле считает и грозы держит. Конец косьбе у сирот и разгар жнитва. Началась ранняя подрезка сотов, а купанью в реках и озерах конец. Страда в деревнях телесная, а на душе у всех радость — урожай хороший в нынешнем году. От деревенских песен ныне и в Москве весело.

С прогулки верхом поспел Иван прямо к обеду и, идя из покоев своих в трапезную, встретился нечаянно с Марьюшкой. Светло, по-летнему было в сенцах, и увидел он, как вся зарделась она и глаза опустила. Обнял ее за плечн, и пошли они вместе в трапезную. Доверчиво прижавшись к нему, Марьюшка улыбнулась и спросила:

— Где ты был? От тобя рожью н полынью пахнет.

— Токмо сей часец с полей приехал,— ласково молвил Иван и, поцеловав ее в щеку, пропустил вперед, а сам вошел следом за ней.

Марья Ярославна окинула молодых быстрым взглядом н чуть-чуть улыбнулась только уголками губ, но Иван это заметил.

— Ты, Иване?— спросил отец.

— Яз, государь,— весело ответил Иваие,— и урожай же господь нам послал! Не страда ныие, а праздник у сирот!..

— Дай-то господи!— молвил Василий Васильевич и добавил иесколько озабоченно:— Мне с тобой иадо думу думати...

Иван ие спрашивал, о чем будет дума,— давио он привык думать с отцом в его опочивальие после диевиой или вечерией трапезы.

Обедая всей семьей шумно, говорили и шутили иасчет семейиых дел, посмеиваясь друг над другом.

Когда же все отмолились и открестились после трапезы, Иваи подошел к отцу.

— Готов яз, батюшка,— сказал он, беря отца под руку.

В сопровождеиии Васюка пришли они в опочивальню великого князя. Василий Васильевич сел иа свою постель, а Васюк снял с него мягкие сафьяновые сапоги и ноговицы. Встав и сбросив с себя кафтан, князь в одних портах и шелковой рубахе прилег иа широкую пристенную скамью.

— Огляди-ка, Васюк,— молвил он,— стену и постелю. Ночесь мне чтой-то беспокойиио было...

Василий Васильевич позевнул, но, преодолев дремоту и крестя рот, обратился к сыну:

— Подумаем, Иване, малость. Пора нам корешки шемякины рвать. Наперво надо свиную можайскую тушу опалить, сало вытопить из утробы ее...

Василий Васильевич резко поднялся с постели, протяиул вперед дрожащие руки и воскликнул с мукой:

— Помнишь и ты сам, Иване, как было у Троицы. Помнишь ты, как Иван со зверем сим, с Никитой Добрынским, поймали мя...

Зажал лицо руками князь и упал на постель, а Ивану сиова почудился тот отчаянный крик, который слышал ои, стоя у окна Пивной башни, и сиова увидел ои отца в голых санях. Горестно переглянулся ои с Васюком, а Василий Васильевич будто их и свои мысли соединил и молвил глухо:

— Не забуду сего по гроб живота земного, да и на том свете простит мие господь многое за сие из грехов моих...

Но успокоился Василий Васильевич и сказал:

— Иване, тобе поручаю полки собрать иа Можайск. Подумай, как нарядить их и все прочее. Сам яз поведу их, и ты со мной — очи мои и правая рука моя! Надобно так все иарядить, чтобы выйти нам из Москвы июля тридцатого, иа Ивана-воина, карателя воров и обидчиков...

— Сотворю, государь, все по хотеиию твоему. Яз сам непрестанно о сем думаю, как смирить всех удельных. Богом клянусь,

буду казнить нещадно, даже до смерти, за всякое воровство против державы иашей. Буду казиить за крамолу и разореиие земель межусобием...

Иван смолк от волнения, а Василий Васильевич, отпуская его, задумчиво произнес:

— Может, и сподобит тя господь иа сие, а может, как владыка Иона пророчит, сотрешь ты и татарского змия...

Хотя уж и август-густоед иаступил, а дни все еще стоят летние, знойные, только утреииики холодные стали да росы изобильные. Повсюду сбор урожая всякого идет, а в лесах малиих поспевает. Хорошее время, только поля своего требуют — со второго Спаса до самого Фрола трудиться надо: сперва сев озими, потом дожинки да досевки и льны убирать и прочее — работы до самой зимы хватит.

Иван едет за отцовской повозкой верхом, коиь о коиь с Илейкой. А кругом, где полями едут, всюду желтая щетииа жнивья и на сухих соломинах седым волосом блестит паутина осенняя.

— Ну вот и к Можайску подходим,— говорит Илейка.— Вон там, справа, видать его. Дозоры наши, чаю, у стен уж...

— Какой, Илейка, день-то ныне?— спросил Иваи.

— Степана-сеновала, государь,— ответил Илейка,— второй день августа уж. Люблю издетства сие время: у нас там, на Волке-то, яблок и меду — уйма! Сколь хотишь, столь и ешь. На успенье же, в Оспожинки, мать каравай нового хлеба в церкву святить носила, а мы, робята...

Илейка ие договорил и стал всматриваться в даль, где, как можио было догадаться по подымаемой пыли, скакали два конника.

— Может, иаши, а может, и вражьи,— сказал Иваи, тоже зорко следя за всадниками.

Вот передовая стража остаиовила кониников и окружила их тесным кольцом.

Подъехал Иван к остановившейся повозке отца, слез с коня и сказал:

— Конников двух стража задоржала. Пождем тут.

Обернувшись к Илейке, он добавил:

— Гони, Илейка, к страже. Пусть сюды конников-то ведут.

— Государь,— ответил Илейка,— их и так сюды ведут, токмо пешими. Сам Степан Митрич к нам подъезжает...

Боярский сын Степан Димитриевич, начальиик кияжой стражи, круто осадив коия, спрыгнул иа землю.

— Будьте здравы, государи. Челобитную с Можайска прислали. Принимать аль иет?

— Принимай,— зло усмехнувшись, сказал князь Василий.— Послушаем, что князь Иван Андреич скажет, послушаем...

Степан Димитриевич обернулся к ставшей невдалеке кучке пеших воинов и зычно крикнул:

— Веди посланцев к государям!

— Поглядим, Иване,— сказал сыну Василий Васильевич,— как двоедушный змий сей извиваться почнет...

Подошли оба посланца можайских: боярин Построглазов, Пармен Терентьевич, да из боярских детей Башмак, Иван Кузьмич. Пали оба на землю.

— Будьте здравы, государи!— восклицают они и просят:— Прими, государь Василий Васильевич, челобитную от гражан всех можайских, от посадских и от сирот.

Поклонившись земно, подает Пармен Терентьевич грамоту, и берет ее Иван сам из рук посланцев. Написана она разборчиво, добрым полууставом[1].

— Читать сию грамоту?— спросил Иван.

Государь усмехнулся.

— Дьяков с нами нету,— сказал он,— читай уж сам!

Иван прочел:

— «Великой государь, милостию божию, Василий Васильевич. Живи сто лет, и столь же пусть живет соправитель твой, государь Иван Васильевич. Челом бьем ото всех христиан — умилосердись на град наш и над всеми сущими во граде, пожалуй их твоей милостию. Князь же наш Иван Андреевич, ведая пред тобой неисправленье свое и грозы твоей страшась, выбрался с женою и с детьми и со всеми своими, побежал к Литве. Помилуй нас господа бога ради, сложи гнев свой на милость. Токмо о сем молю яз, смиренный раб божий, протопоп соборный Акакий».

Наступило молчание, Василий Васильевич сидел, сурово сдвинув брови. Иван понимал, что отец в гневе, и боялся, чтобы не впал он в ярость. Посланцы от Можайска со страхом ожидали его слова.

Рот великого князя злобно искривился, и сказал он сквозь зубы:

— Уползла змея толстопузая и змеенышей за собой увела!..

— Государь,— торопливо вмешался Иван,— дозволь мне посланцев спрашивать.

Василий Васильевич помолчал и, кивнув головой, молвил более спокойно:

— Спрашивай...

---

[1] *Полуустав* — рукопись, буквы которой похожи на печатные и написаны раздельно, как в книге.

— Кто во граде Можайском заставой ведает? — строго спросил Иван.

— Яз, государь,— почтительно ответил боярин Пармен Терентьевич,— токмо в осаду мы не садились — ждем вас, государи. Врата градские все отворены. Ждут вас гражане все с хлебом и солью, и причты церковные с крестами и иконами стоят с тех пор, как мы с челобитной к вам, государи, отправлены были...

Слушая эти ответы, Иван решил, дабы от гнева и ярости отца уберечь, самому распорядиться быстро.

— Добре,— ответил он посланцу можайскому и, обратясь к начальнику княжой стражи, добавил:— Ты же, Степан Митрич, посланцев с собой взяв, гони к Можайску и передовой отряд наш собери. Мы же через час там будем...

Когда можайские посланцы пешие пошли к коням своим, Иван знаком задержал Степана Димитриевича и сказал ему вполголоса:

— Никаких перемен в полках не деять. Пусть идут как на рать и готовыми к бою...

Иван сел к Василию Васильевичу в повозку — хотел он до приезда в Можайск, стены которого уже видны были, переговорить с отцом о многом. Помнил он советы владыки Ионы, но, боясь гнева отцовского, не решался начать разговор,— а время-то идет, вот уж и звон колокольный слыхать в отдаленье.

— Государь,— начал, наконец, Иван глухим голосом,— с боярами и воеводами правь расправу, как хошь, а сирот и посадских людей пожалуй. Право баит владыка: они всегда за Москву, да и купцы за нас. Торговать от Москвы им прибыльней, чем от удельного града...

Василий Васильевич досадливо крякнул. Иван замолчал, ожидая крика, но государь только усмехнулся и молвил:

— Яйца курицу не учат!..

Усмехнулся и Иван и быстро нашелся:

— Государь, яз тобе не свои думы сказываю, а митрополита, он постарее тя будет...

Василий Васильевич засмеялся.

— Лукав ты, Иване, вельми лукав,— сказал он весело.— Ежели бы не государем тобе быть, то дьяком непременно!

Иван радостно поцеловал руку у отца и ласково проговорил:

— Яз мыслю, что государю надобно быть не токмо воеводой, а и добрым дьяком...

Князь Василий ощупью нашел лицо сына и нежно погладил его по щеке.

— В деда ты,— с гордостью произнес он.— Бабка твоя про

него мне сказывала,— яз отца мало помню. Да и сама бабка-то твоя, царство небесное ей, лукава и скорометлива в беседах была...

Под гул колоколов повозка великих князей остановилась против главных крепостных ворот, где стоял клир духовный в полном облачении, с хоругвями, иконами и крестами.

Окропив святой водой обоих государей после краткой молитвы, отец Акакий, протопоп соборный, обратился к московским князьям и молвил:

— Государи великие! Князь наш можайский Иван Андреевич, зная неисправленье свое, убежал в Литву, как в челобитной мы баили от всего града нашего. Мы же все, верные слуги ваши, паки челом бьем: возьмите нас, государи, под свою руку, заклинаем о том вас чудотворной сей иконой Колачской богоматери...

Протопоп Акакий помолчал и, набравшись смелости и сил, продолжал:

— Дерзость мою простите, государи, с мольбой к вам обращенную от древних словес Кирилла, игумна белозерского составленную. «Смотрите, государи, властелины,— пишет он,— от бога вы поставлены, дабы людей своих уймати от лихого обычая. Суд бы судили праведно, дабы в вотчине вашей корчмы не было, понеже крестьяне пропиваются, а души их гибнут. Тако же уймате под собою люди, дабы разбоя и татьбы не было. При удельных-то князьях много было пиявиц на теле нашем...»

Иван слушал протопопа с большим вниманием, а Василий Васильевич нетерпеливо хмурился.

Неожиданно заговорил какой-то старец из посадских:

— Князи великие и государи наши, мы все, сироты и черные люди можайские, хотим под Москвой быть. Воевод московских принимаем. А будут воеводы и наместники обижать кормами, вам, государи, пожалимся, а вы их корысть и лихость окоротите...

Иван, видя, что отец готов вспылить, громко и спокойно сказал:

— Несправедливая корысть у нас впрок им не пойдет. Не дадим им корыститься.

— А вы сами,— усмехнувшись, вмешался Василий Васильевич,— памятуйте, как исстари бают: «Корыстен запрос, а подача — наипаче...»

— А ежели он батогом запрос-то изделает?— крикнул кто-то из задних рядов.

Протопоп напугался такой дерзости.

— Тогда пожалуйся государю,— крикнул он в толпу и, обратясь к великим князьям, продолжал просительно:

— Государи великие, простите нам невежество наше, пожалуйте нас милостию вашей...

Старый государь, чуя все время подле себя Ивана, гнев свой сдержал и, пожаловав всех живущих во граде и наместников своих посадив в Можайске, возвратился к Москве, никому зла не содеяв.

Но недолго покой на Москве был; на другой год ранней весной, как только степи зазеленели и потянулись в рост травы, слух пришел о татарах. Вскоре же и то ведомо стало: гонят к Москве седи-ахматовы татары из Орды с царевичем Салтаном во главе.

— Татарин-то степной,— молвил с досадой Василий Васильевич,— как лук: токмо снег сошел, он уж тут...

Помня о набеге царевича Мозовши́, приняли оба государя поспешные меры. С гонцами приказано было всем удельным на конь садиться и к Москве идти на подмогу, а воеводе коломенскому, боярину Ощере Ивану Васильевичу, с коломенской ратью своей все броды и переходы через Оку стеречь и всякой ценой татар задерживать. Если же сила будет, бить их и сечь нещадно и в степь обратно гнать...

— Не зря можайский-то в Литву бежал,— молвил Василий Васильевич, лежа на постели в опочивальне своей после обеда.— Там же, Иване, и сын шемякин, Иван Димитрич. Они всяко зло против нас мыслят заодно со всеми ворогами нашими. Татары разные всякую весну набеги творят. В Нове же граде, как вестники нам повестуют, конников по немецкому обычаю в латы оболочили. Войско свое на нас же крепят. И копья у них длинные и тяжкие, и щиты железные...

Князь великий помолчал и добавил:

— Правда, с татарами ныне легче стало — потому грызутся между собой. Казанские против Большой Орды, а крымцы с Ордой ратятся — все они друг против друга. Тут видать, что деять-то: токмо натравлять их друг на друга, кости им, яко псам, бросать.

— Истинно, государь,— молвил Ряполовский.— Тут же и Литва, и Польша, и наши удельные вороги — все заедино. Все жир с котла сымать хотят.

— И немцы с ними,— добавил Курицын, которого Иван с позволенья отца иногда с собой на думу брал,— а за ними стоит и папа римский и все латыньство...

— Значит, латыняне,— догадался Иван,— с погаными заодно против нас?

— Исстари,— горячо проговорил Курицын,— у нас и в Орде папские лазутчики и послы живут и против нас ковы куют. Папа басурман поганых на христиан направляет, рад даже крест православный наш под татарскую луну склонить...

Вбежал в опочивальню князь Иван Патрикеев, как член семьи, входивший без доклада, и обратился к дяде своему, Василию Васильевичу.

— Государь!— крикнул он.— Не посмел воевода Ощера на царевича ударить. Так и простоял с коломенской ратью у берега! Татары же, переправясь свободно, жгут, пустошат все кругом. Зарвавшись далеко, ныне повернули назад с полоном великим, со многим добром в степь спешат...

В ярости вскочил Василий Васильевич с постели и закричал, крепко изругавши Ощеру:

— Ну, да ляд с ним! Речь с ним впереди. Иване, беги бери с собой Юрья и все конные полки, которые готовы. Гоните на татар полон отбивать. Яз следом за вами! Сам полки поведу!

Выйдя от великого князя, Иван быстро, почти бегом, направился к начальнику княжой стражи, чтобы созвал тот немедля воевод тех конных полков, которые можно сейчас же вести в поход на Салтана-царевича. Пройдя уже сенцы, он услышал шаги и разговор у покоев матери. Оглянувшись, увидел он Дуняху с княжичем Борисом на руках и Марьюшку. Юная супруга Ивана играла с наименьшим братцем его, как с живой куклой, тот насмешил ее чем-то, и звонкий девичий смех серебром рассыпался по княжим сенцам. Рядом с ними стоял могучий старик Илейка, бородатый и лохматый, как леший, и глухо хрипел, захлебываясь от хохота. Невольно рассмеявшись, Иван быстро повернул к ним, но, вспомнив о делах, тотчас же крикнул Илейке:

— Отыщи Юрья! Вели ко мне идти думу думать. Да прежде Степана Димитрича зови, борзо бы шел. Сей часец в поход идем, и ты со мной.

— Бегу, бегу, государь,— ответил Илейка и легко, совсем не по-стариковски, побежал по сенцам.

Иван видел, как улыбка вдруг замерла на устах Марьюшки, глаза ее широко раскрылись и с тревогой смотрели на него.

— Куда ты, Иванушка?— тихо спросила она дрогнувшим голосом.

— Полки поведу на поганых,— громко начал он,— полон отбивать. Нагоним их с Юрьем и побьем...

Смолк он вдруг, увидел побелевшее от испуга лицо Марьюшки.

— Биться с ними будешь?— прошептала она.

Радость охватила Ивана от тревоги и страха ее. Крепко сжал он беспомощно и жалостно протянутые к нему руки Марьюшки и привлек ее к себе. Несколько, казалось, долгих и в то же время кратких мгновений смотрел он в ее голубые глаза и ласково молвил:

— Не бойся, Марьюшка...

— Иване,— раздался веселый голос Юрия,— иду в покои к тобе, и Степан Димитрич со мной.

— Ну, прощай, Марьюшка,— торопливо сказал Иван и, поцеловав в губы, добавил нежно:— Не тревожь собе сердце. Бог нам поможет...

Марьюшка уронила обессилевшие вдруг руки, но, когда Иван отошел от нее, подбежала к нему и остановила.

— Стой, стой, Иване,— заговорила она быстро и взволнованно.— Яз благословлю тя, как матушка моя отца благословляла на походы...

Она перекрестилась сама, потом истово перекрестила Ивана и отошла от него молча и степенно, в сознании исполненного долга.

Вечерело. Жаркий весенний день медленно остывал, сильней золотились края небес, и бока высоких, нагроможденных друг на друга облаков чуть-чуть розовели. Тени становились длиннее и гуще. Тень от башенки-смотрильни, ломаясь на покатых крышах и на перилах гульбищ, заметно для глаза тянулась и сдвигалась куда-то в сторону.

Марьюшка и свекровь ее, Марья Ярославна, стояли в тени башенки на самых высоких гульбищах и, опираясь на перила, жадно глядели на дорогу к Серпухову.

Там, подымая облака пыли, шли на рысях конные полки самого великого князя. Ехал он в колымаге, окруженный своими воеводами дворскими.

Марья Ярославна обняла за плечи Марьюшку и заговорила печально и ласково:

— Такова-то доля наша, милая доченька. Сперва сыночки ушли, может, на смертушку, а вот и отец их туда же...

Марьюшка взглянула быстро на смолкшую вдруг Марью Ярославну и почувствовала, как теплая тяжелая капля упала ей на руку и скользнула на перила.

— Матушка!— воскликнула она, судорожно обнимая Марью Ярославну.— Ведь и мой-то Иванушка там и государь-батюшка.

Обнялись обе и заплакали. Долго молчали они, и вот чуть печально и нежно усмехнулась Марья Ярославна.

— Любишь ты сыночка-то моего?— спросила она.

Марьюшка вспыхнула вся и, пряча лицо на груди свекрови, молвила вполголоса:

— Как в небе солнышко люблю...

Потом, крепче прижавшись к свекрови, поцеловала ее около самого уха и зашептала:

— Ночь всю проплакала... Токмо ране-то благословила его на прощанье. Когда отъезжал он, в сенцах мы виделись...

И много рассказывала она матушке, волнуясь, смеясь и плача, а свекровь все ласковей и ласковей перебирала ей волосы. Чуть улыбаясь, слушала она с нежной печалью, что и сама переживала когда-то, и словно молодость свою видела сызнова.

Уж зарозовело с полнеба на западе, и темнее восток, и пыль давно улеглась на дороге, что идет к Оке-реке, где вороги злые опустошают города и села, грабят, жгут и в полон берут.

Отстранив от себя немного Марьюшку, поглядела Марья Ярославна в лицо взволнованной девочки, крепко поцеловала и, совсем как родная матушка, сказала:

— Пора нам, доченька, вниз идти, деток кормить и самим ужинать...

На пятый день после отъезда, под самое утро, когда в хоромах все еще спали, вернулись в Москву оба великих князя и Юрий. Шумом и суматохой среди тьмы ночной наполнились вдруг княжии хоромы. Торопясь и трясясь от страха, оделись наскоро княгини и вместе со всеми дворскими слугами побежали в переднюю навстречу вернувшимся.

Иван, увидя испуганных женщин, крикнул:

— Да не плачьте! Прогнали мы татар; воевода Федор Басёнок всех нас опередил — настиг, разбил ордынцев...

— Сам Салтан-царевич еле в Поле убег!— звонко и весело воскликнул Василий Васильевич.— Басёнок-то все отбил у поганых: и полон, и животы, и всяко именье, что они награбили.

Василий Васильевич оживленно рассказывал, как все было, но Иван не вникал в разговоры, а, глаз не отводя, любовался юной своей супругой. Еще входя в переднюю, он при зажженных свечах увидел радостно сияющее личико Марьюшки. Взглянув на Ивана, сразу забыла она все тревоги и горести, только слезы еще блестели на ее ресницах. В волнении она то протягивала издали руки к Ивану, то опускала их, делая странные движения, и повторяла вполголоса одно и то же:

— Иванушка! Иванушка...

Сам не замечая того, Иван быстро подошел к Марьюшке и, впервые при всех, обнял ее и поцеловал в уста. Она замерла на груди его, а он, стиснув ей ладонями виски и жадно смотря в дорогое личико, воскликнул:

— Радость ты моя, желанная!..

Марьюшка как-то сразу совсем успокоилась и, прислонившись щекой к плечу Ивана, улыбалась ясно-ясно, совсем детской улыбкой.

— А мы с матушкой,— громко зашептала она,— обе по ночам плакали и пред кивотом молились, как ко сну отходить. Ниц пред иконами лежали... Вот и вымолили. Все вы живы-здравы вернулись.

Иван смотрел в ее прозрачные голубые глаза, и казалось ему, будто странные птицы летят к нему из его рано отжитого детства и опять поют ему забытые песни, навевают крылами дивные, сладостные сказки...

Глава 2

У НОВГОРОДА ВЕЛИКОГО

После разгрома войска царевича Салтана, седи-ахматова сына, поход ратный на Новгород решен был обоими государями. Великий князь Василий Васильевич отослал новгородцам грамоты с объявлением войны. Января же семнадцатого, накануне похода, беседа была у государей с боярами ближними в покоях Василия Васильевича. Разговоры вести начал Иван о набегах татарских, о войнах постоянных с ними.

— Понятны мне все обычаи татарские,— сказал он,— от скудности сии грабежом живут. Опричь коней, баранов да воинского снаряжения, у них ничего нет...

— Конем да копьем жив татарин-то,— подтвердил Василий Васильевич.— На коне он воюет, коня ест, пьет кумыс из кобыльего молока и водку из него же делает, а прочее все грабежом добывает...

— Пошто ж новгородцы воюют?— воскликнул Иван.— У них ведь все есть. Богаче нас живут...

— Из жадности,— молвил князь Юрий Патрикеев.— Ишь, ведь куда долгие свои руки протянули. На всем Заволочье[1] дань берут: соболей и серебро из Югорской земли и Сибири, а из других мест — и соболей же, и белку, и куницу, и горностая, и птицу ловчую: белых кречетов да соколов и всякое добро. А мы им, что кость поперек горла! Заглотнуть-то — глотка мала, вынуть же — силы не хватает...

— Коль могли бы,— смеясь, заметил Василий Васильевич,— так не токмо они дани бы печорской нам не платили, а и нас бы давно съели...

Иван напряженно думал, все еще ясно не понимая, как новгородцы силу такую забрали, а вот Москва все же их бьет и дань с них берет.

---

[1] *Заволочье* — новгородские земли с поселениями по рекам Онеге, Северной Двине, Ваге, Куле, Печоре, Мезени и по их притокам.

— Пошто же так,— спросил он с недоумением,— они все из чужих рук берут?

— Как и татаре,— живо ответил Курицын,— токмо война у них другая,— татарин-то сам всех бьет — стрелой, копьем да саблей, а новгородец рублем разбойничает...

Василий Васильевич презрительно усмехнулся и молвил:

— Новгород-то и князя собе нанимает!

Иван расправил складки на лбу и сказал громко и отчетливо:

— Яз уразумел, в чем сила Новгорода, а вот в чем у него слабость — еще не ведаю. У татар, как и у нас, от межусобий трещина по всей Орде...

— А мы,— живо вмешался Василий Васильевич,— ту трещину прорубим шире, елико сил хватит, стравим татар меж собой, как собак...

Иван поморщился и, когда отец замолчал, настойчиво спросил:

— Где и какая у новгородцев трещина есть? Ныне ведь воевать нам с ними.

Бояре и воеводы значительно переглянулись и почтительно смолкли, думая о том, какой ответ дать.

— Ратное дело у них плохо...— молвил воевода Басёнок,— воев настоящих у них нет. Вот откупиться они всегда могут, богаты ведь казной несметной.

— Верно,— зашумели бояре; но князь Василий молчал.

Слушая сына, он насторожился и чего-то ждал необычного. В лице его были тревога, надежда и гордость.

— Трещина у них,— заговорил густым голосом князь Иван Ряполовский,— в том, что хлеба у них своего нет. От нас, с Низовских земель, хлеб-то к ним идет. Мы же да Тверь, что в Москву дверь, можем хлеб до новгородцев не допускать. Ясак их отбивать можем, торговлю у них зорить, земли их пустошить...

Иван снова нетерпеливо наморщил брови, но сказал ровно и спокойно:

— Сие все, мыслю, истинно, но не сие главное-то. Новгородцы могут с татарами, с Литвой и Польшей против нас пойти все вместе. Нам же надобно ведать, где у них такая трещина, которой им не скрепить. Сыскать, пошто зло у них меж собой и чем раздор их доржится...

Снова переглянулись все бояре и воеводы, но сказать в ответ ничего не могли. Только молодой подьячий Федор Васильевич Курицын, тряхнув кудрями, сказал с уверенностью:

— Трещина у них в том, что бояре их да гости богатые черных людей жмут и рабов из них содеяли. Сироты да бедные люди на больших и богатых зло мыслят...

— Умен ты, Федор!— воскликнул Василий Васильевич.— Концы[1] у них в Новгороде с концами непрестанно воюют: не зря они друг друга на мосту режут да с моста пред святой Софией в Волхов мечут.

Иван слегка усмехнулся и обвел острым взглядом бояр и воевод. Они молчали, не решаясь сказать что-либо.

— Вот она тут и есть новгородская трещина,— сказал он негромко.— Токмо уразумев, где и в чем у ворогов трещина, ведать будем, кого бить у них, а у кого помочи искать...

Через два дня после думы, в понедельник января девятнадцатого, пошли походом на Новгород оба государя. Когда станом стали у Волока, начали к ним прибывать один за другим князья и воеводы с полками своими, и собралось вокруг государей множество воинства.

В это время спешно пригнал в Волок же и посадник новгородский Василий Степанов с челобитием: пожаловали бы государи новгородцев, на Новгород бы не шли и гнев свой отложили. Василий Васильевич челобития этого не принял и, вступив в землю новгородскую, не медля ни часу, отпустил воевод своих — князя Ивана Васильевича Стригу-Оболенского и Федора Васильевича Басёнка на Русу, что лежит к югу от Ильмень-озера. Там же о нападении низовских полков и не мыслили. Сами государи пошли к северному краю озера, к Новгороду, со всей силой, конной и пешей, пушки и пищали с собой повезли. Но, дойдя до яма[2] Яжолбицы, по совету Ивана, снова стали здесь станом всего в ста верстах напрямую от Новгорода.

— Пусть,— говорил на военном совете юный соправитель,— мыслят новгородцы, что мы токмо с полуденной страны идем, и шлют туда все силы свои. Мы же, разослав дозоры и лазутчиков, ждать будем. Когда же они Басёнка и Стригу теснить начнут, а те отходить будут, мы изгоном пойдем к Новугороду и обложим его всей силой...

— А Басёнок-то со Стригэй куда?— спросил Василий Васильевич.

Иван задумался и через несколько минут молвил резко:

---

[1] Новгород в старину делился рекой Волховым на две части: Купецкую (Торговую) и Владычиую (Софийскую). На Владычиой стороне было три конца: Людии, или Гончарский, Загородский и Неревский, а у Кремля — Околоток. На Купецкой стороне — два конца: Славенский и Плотницкий. Обитатели концов назывались «кончане», а обитатели улиц — «уличане». Концы и улицы имели свои веча — «кончанские» и «уличанские».

[2] *Ям* — почтовая станция, отсюда «ямщик» *(татарск.)*.

— Товаров и полону им не брать, а разделиться надвое. Пусть Стрига с боем отступает к нам, на плечи собе возьмет новгородцев-то. Басёнок же, у которого конники лучше и проворней даже татарских, пусть в тыл врагу забежит и покою ему не дает ни днем, ни ночью...

Молчали все долго, иногда только то там, то тут перешептывались, но сказать громко о думах своих не решались,— неуверены были. Наконец Василий Васильевич, обратясь к сыну, сказал:

— Ладно. Так и сотворим все, как ты, государь, сказываешь. Токмо за Басёнка и Стригу отсель трудно решать. Опричь полона, им ни о чем приказывать не надобно. Им видней, а может, они и разобьют новгородцев-то? Не отступать от них, а сами гнать их будут. Мы же тут подождем, как все обернется...

Воеводы московские Басёнок и Стрига, как снег на голову, пали на град Русу. Многое множество богатства они взяли, ибо жители града не успели выбежать, да и товаров своих схоронить в тайниках. Воеводы же, со всего града сани и даже телеги собрав и коней всех у горожан захватив, великие обозы с добычей составили и к своим государям вместе с полоном отправили. И от корысти в такую слепоту впали, что всех людей своих с обозами теми отпустили. Остались только сами воеводы да подручные их, дети боярские, с малым числом конников, без которых им обойтись нельзя уже было. Отпустив обозы верст на двадцать вперед, потому шагом они шли, собрались воеводы и сами к государям ехать, чтобы добычей своей похвастаться. На коней уж садиться стали, как видят: дозорные к ним один за другим скачут.

Прискакал первый, сказывает воеводам втайне:

— Рать вельми великая идет новгородская. У них доспехи железные, как у немцев проклятых, и копья такие же долгие.

Переглянулись воеводы.

— А сколь их?— спросил Стрига.

— Семен Иваныч-то наш полагает, тыщи три будет...

Белыми стали воеводы. Поманил Басёнок одного из детей боярских из стражи своей, широкоплечего мужика, уже с проседью.

— Сколь у нас, Митрич, конников осталось всего?— спросил он.

— Коло сот восьми будя,— ответил тот.

Молчат воеводы. Дрогнули скулы у Стриги.

— Что сотворим?— спрашивает он у Басёнка.— Ежели бежать нам, то от государей своих погибнем, понеже виной своей, корысти ради, воев своих отпустили...

— Князь-то распалится,— молвил Басёнок.— Не миновать нам смертной казни. В гневе он пощады не знает...

— Ну, ежели бы один он, оправили бы грех свой, а Иван...

— Тот глазищами токмо пронзит, все вызнает.

— Змеиный глаз у него...

— За то и мудрость змеиная — зазря зла не содеет. Отец-то ему внимает. Заступником перед отцом бывает...

— А за вину? Полон ведь брать не приказано...

Ничего не отвечает Басёнок, только рыжие брови его от волнения играют и руки слегка дрожат.

— Брате мой!— молвил он, наконец.— Лучше помрем все за правду, за государей своих!

Обнял его Стрига и воскликнул:

— Бить будем ворогов за измену и воровство их!..

А на горизонте уже зачернели в снегу цепи конников вражеских. Оглядел Басёнок окрест себя — плетни кругом да заборы, суметы большие снежные. Развернуться коннице негде. Загорелся вдруг Федор Васильевич и крикнул дерзко, почти весело:

— Что нам гадать-то! Снявши голову, по волосам не плачут. Нету у нас выбора. Коли живы будем — не умрем! Чего на свете не бывает? Побьем еще новгородцев-то...

Князь Стрига, прищурясь, глядит на медленно подъезжающих новгородцев, усмехается он, видя, как неуклюже сидят новгородские конники, как не знают, по неуменью, куда деть длинные копья, которые мешают им конями править...

— Гляди, гляди, Василич,— говорит он Басёнку,— какие конники-то! Конь-то брыкнет задом, а он под него падет...

— А мы их брыкаться заставим,— весело уж кричит Басёнок.— Иван Митрич, собирай воев ближе к плетням да заборам, к суметам да ямам. В другое-то время тут конникам биться люто, а сей часец нам выгода. Легче кони с собя ворогов посшибают. Пусть наши стрелами бьют токмо по коням. Доспехи железные, стрелой их не прошибешь, а в глаза все едино не попасть!..

— Истинно, истинно!— весело кричит князь Стрига, и воины все, что слышат зычный голос Басёнка, тоже смеются.

— Стрясем их с коней,— кричат одни,— словно яблоки с яблони!

— Едут-то, едут как!— кричат другие.— Ну и вои! Им не воевать, а токмо бы с коня не упасть...

Быстро спешились воеводы московские и воины их и, коней около себя привязав, засели в засаду у сугробов, пред заборами и ямами.

С криками, в трубы трубя и в барабаны гремя, поскакали новгородские конники на московских. Тучей железной тяжелой

нахлынули, а порядка среди них нет, править не могут. Подпустили их поближе московские воины, и вдруг разом запели их стрелы, завизжали раненые кони, заметались, сбили весь строй в котел какой-то кипящий. Падают конники новгородские, трещат, ломаются длинные их копья, а в доспехах железных воины с земли подняться не могут. Крики и вопли, топчут кони людей насмерть и разбегаются по полю без седоков, а стрелы московские все бьют по коням. У новгородцев же лучников совсем нет, никогда их воины из луков не стреляли.

Вот уж первые полки бегут сами в разные стороны, рвутся воины московские, дабы, на своих коней вскочив, гнать бегущих, но воеводы саблями им пригрозили. Вот и сам посадник большой Михайла Туча коренные полки свои на москвичей двинул. Воеводы его за ним скачут, саблями машут. Опять полетели стрелы московские, стал на дыбы конь посадника со стрелой в шее и грохнулся навзничь, придавив седока, а остальные помчали воевод своих в разные стороны. В полках же новгородских еще больше беспорядка, словно каша в котле все кипит.

Вот выскочили вперед воинов пять московских с Иваном Димитриевичем к тому месту, где упал посадник на землю, выволокли его из-под издыхающего коня, схватили и к себе повели. Увидав пленение воеводы своего, воины новгородские, из которых более половины было из посадских черных людей, стали кричать друг другу:

— На кой хрен нам за толстопузых живот полагать!

— Бросай копья, бежим восвояси!..

В этот трудный час воеводы новгородские бросились посадника своего выручать, и один из них ссек голову Ивану Димитриевичу. Закричали, заревели в гневе и ярости воины московские и, повскакав на коней, как ястребы, бросились на новгородцев, а те уж и так коней оборачивать стали и, копья бросая, помчались, кто куда мог.

— Бей их за Митрича!— неистово ревут московские конники.— Гони!..

Посадника же Тучу, избив изрядно, привели к воеводам, а малое воинство воевод московских гнало и секло новгородцев. Много бы полона взяли москвичи, да за малолюдством своим не могли — дали убежать врагу.

Видя это, Стрига сказал Басёнку:

— И сие узнает Иван-то и в глаза колоть будет, что на чужое добро метнулись, а, чудом да дерзостью спасаясь, полону ратного не взяли. За полон-то не одну, чай, тыщу Новгород в казну бы государям выплатил...

— Простит!— весело откликнулся Басёнок.— А посадник вот один всех стоит да и войско-то их мы прахом развеяли...

Солнечный зимний денек. Морозцем крепко прихватывает, а снег так и сверкает кругом. Гудит, шумит на правом берегу Волхова новгородский торг — полным-полно народу от самого моста Великого[1], от Вечевой гридницы[2] и Ярославова дворища[3], вплоть до церкви Ивана Предтечи на Опоках и до Большой Михайловки[4].

Шумит торг, кипит жизнь новгородская. Могуч, богат и красив Господин Великий Новгород. Окружен он земляным валом с глубоким рвом и башнями. За валом стоят слóбоды, белеют монастыри с боевыми башнями и стенами. С правой, Купецкой стороны, где торг идет, видны кремлевские стены на Владычной стороне, а из-за стен вы́сит свои пять куполов собор св. Софии. Примыкает к собору этому вплотную шестой купол башни, соединенной с ним крытыми переходами. Малые купола строены луковицами, а средний — большой и высокий — в виде огромного золоченого шлема. Возносит он ввысь самый большой крест, на котором насажен медный отбеленный голубь.

— Когда голубь сей слетит,— говорят в народе,— конец будет Новгороду...

Когда же это случится, никому не известно, а пока спокоен Новгород и даже Москвы не боится. С Польшей и Литвой о многом у него втайне договорено, да и войско большое, и хоть волей и неволей, а согнано куда надо: в Русу ушли конники в немецких кованых доспехах, которые ни стрелой, ни даже из пищали ручной не прошибешь.

Шумно на Торге, хоть и зима, хоть нет лодок и кораблей на замерзшей реке, и опустели все вы́молы[5], и только людно на складах Геральдова вымола[6], что рядом с Немецким двором[7], где хранятся товары иноземные. Но вместо кораблей и лодок тянутся обозы со всех сторон: бочки везут с салом, пушнину дорогую всякую, тюки с холстом, полотном и сукном, везут мешки с хлебом, короба с сушеной и соленой рыбой, туши бараньи. Ползут эти обозы со всяким добром через широкий деревянный мост с

---

[1] *Великий мост* — древиий деревяииый мост через Волхов, с деревянными же башнями иа обоих берегах.

[2] *Вечевая гридница* — строение при кияжих хоромах для совещаиий перед созывом веча. Созывалось вече звоиом в особый вечевой колокол, висевший иа башие гридницы.

[3] *Ярославово дворище* — хоромы государя, построеииые иовгородским киязем Ярославом.

[4] *Большая Михайловка* — слобода.

[5] *Вы́мол* — речиая пристаиь.

[6] *Геральдов вымол* — старииное иазвание пристани иноземиых купцов.

[7] *Немецкий двор* — старинное назваиие Гостиного двора для иноземцев.

высокими башнями на обоих концах, въезжают на Торг, где кроме лавок деревянных и навесов, стоят амбары каменные и бревенчатые, а рядом с Иваном Предтечей — Гостиный двор, где лежат товары всех богатых гостей. Но, кроме товаров из пя́тин новгородских[1] и Заволочья, товаров из Ни́зовских земель, идут сюда обозами и товары заморские.

Вот тянутся через мост небольшие немецкие обозы с дорогими сукнами, с оловянной и стеклянной посудой, с селедкой соленой, перцем и горчицей. Рядом с возами шагают в коротких кафтанах сами купцы немецкие с саблями на боку. Сапоги у них трубами и выше колен, а на головах шапки приплюснутые, блином лежат. Сопровождает их своя стража немецкая в латах, с копьями и ручными пищалями.

Вот едут уж они по торговой площади, подъезжают к Ивану Предтече, где стоят под навесом большие весы. Новгородские надсмотрщики мытные взвешивают товары немецкие, берут с купцов «весчее», пошлины торговые.

Тут же, на площади, наряду с большим торгом идет торговля мелкая — в палатках, с возов и с рук. Продавцы зычно кричат, выкликая свои товары; хвалят их, отбивая покупателей у соседей. Мечутся они у своих прилавков под навесами, где разложены цветистые сукна, шелка блестящие и полотна, где поблескивает серебряная и стеклянная посуда, кольца, серьги, ручные обручи и всякие ларцы затейливые.

У возов же крику и шуму не меньше. Продают там воск, кур, гусей, меха разные, кожу выделанную, рыбу из коробов, мед из кадок и прочее. Тут же снуют и кричат сбитенщики и бабы с оладьями и гороховиками. Звенит в ушах, когда голосят они часто и тонко:

— Оладьи горячие, оладьи!..

— Гороховики, гороховики!..

А среди бабьего визга густо гудят мужики:

— Сбитень, сбитень горячий...

В кабаки же зазывать и не приходится, ибо у их крылец и так толпится народ. Почти непрестанно распахиваются двери кабака, окутываясь от мороза облаком пара, то принимая гостей, то выбрасывая вон пропившуюся голытьбу кабацкую...

Вдруг всполошилось все кругом. Забегали, засуетились люди. Видят, на взмыленных конях прискакали из Русы домой конники новгородские, оголтелые, без копий и щитов...

Бросились купцы запирать лавки, торопливо рассчитываясь с покупателями. Женки и девки бегут по домам, а у Ярославова

---

[1] *Пятины новгородские* — области, подчиненные Новгороду.

дворища собирается густая толпа. Гости иноземные гонят изо всех сил обозы свои к складам Немецкого двора.

Вот кто-то поспешно бежит к Вечевой каменной башне, что выдается вперед четырехугольным телом своим, увенчанная вместо купола островерхой каменной шапкой.

Гулкий удар большого вечевого колокола прогудел тревожно и страшно, будто на пожар. Еще удар, и все чаще и чаще кричит и стонет медь над городом, а людской муравейник копошится, становится гуще и гуще, и не только на площадях, но и на улицах и в переулках. Бегут люди к Ярославову дворищу: и со всех концов Торговой стороны и со всех концов Владычной.

Знают уж все, какую весть принесли конники новгородские. Охают, сомлели от страха, омертвели будто, толкутся без смысла и разума, галдят, сами не зная что, и бегут на вече.

Там, на помосте деревянном со ступенями и перилами, сидят уж на скамьях богатеи новгородские в нарядных шубах и собольих шапках — новый и старые посадники[1] и тысяцкие[2], и все люди вящие[3], передние и бóльшие. Но не важны и не степенны они теперь, а кричат-шумят, то садясь, то снова вскакивая с места. Еще больше шумят и кричат у подножья помоста люди молóдшие, мéньшие, черные и посадские.

В страхе и тоске томясь, злом все друг против друга разгораются, а что делать, не знают. Оттого пуще все кричат и галдят, как пьяные или безумные: одни — одно, другие — другое. Никто не знает, с чего речь начать.

Наконец кто-то удумал и стал говорить, что, по его мысли, делать надобно. Смолкли было стоны и плач о гибели войска и близких своих, прекратилось ругание против богатеев, что войну с Москвой затеяли. Но слушали недолго. Снова начались споры и крики, пока не заревел кто-то зычно:

— Идти вящим всем ко владыке Евфимию! Бить челом ему, дабы шел он в Яжолбицы к государю московскому мольбы ради о прощении Новагорода.

Расступается народ на Вечевой площади, дорогу дает всем сходящим с помоста посадникам и тысяцким, боярам новгородским и гостям во главе с нынешним посадником и тысяцким.

Идут они в суровом молчании и печали по Торгу, а толпа и здесь раздается пред ними на обе стороны, давая свободный проход вящим людям. Вот идут они уж по Великому мосту, вот перешли уж Волхов, вышли из ворот башни, что у моста, и двигаются по Владычной стороне к пятиглавой святой Софии.

---

[1] *Посадник* — глава новгородского правительства.
[2] *Тысяцкий* — ведал делами черных людей и судил их.
[3] *Вящие люди* — знатные и богатые люди.

Затихает гул и крики толпы, замолчал вечевой колокол, и только кое-где звучат среди народа злые речи. Шумят у самого моста гончары, каменщики, кожевники, плотники, мостники, кузнецы и другие.

— А всё толстосумы,— кричит седобородый кожевник, старик с могучей грудью и могучими руками,— толстосумы, баю, всему зло! Всегда у них пред Москвой неисправленья!

— К Литве больше гнут,— взглянув исподлобья, молвил чернобородый мужик.— Свою Русь православную за барыши позабыть могут...

— Они и нас продадут,— суетливо мечась, по-бабьи заскулил сухой маленький гончар, по прозванию Комарик,— продадут ни за грош, братики! Лучше самим на Москву нам податься...

— Ну, хрен редьки не слаще...

— Не, не!— запищал Комарик.— Пущай в Москве тоже не слаще! Все же лучше хромать, чем сиднем-сидеть. Есть и в Москве хýдое, да нигде в одной полосе всех угодий не наберешь.

— Может, и так,— хмуро оглядев всех, молвил кожевник,— да токмо и Москва-то — кому мать, а кому и мачеха. Что зря ворожить-то...

Махнув рукой от досады, пошел прочь старый кожевник, а Комарик обиженно фыркнул носом и крикнул старику вслед:

— Станешь ворожить, коли нечего в рот положить!..

Не сразу склонил ухо владыка Евфимий к мольбам горожан новгородских. Огорчен и разгневан был он неисправленьем и дерзостью паствы своей.

— Иду молить великого князя,— сказал, наконец, он с печалью,— да отпустит нам злое, ибо не токмо измена была ему, но и руку на него подымали...

В тот же час собрался владыка спешно к яму Яжолбицы, что в ста двадцати только верстах от Новгорода. Поехали с ним, по обычаю новгородскому, посадники, тысяцкие, бояре и людие житии[1].

В многолюдстве таком, с дарами многими и большой казной прибыли они все в Яжолбицы, но не смели пред очи государей стать московских, прежде били челом братьям их и боярам. Немало рублей новгородских, кубков и чарок золотых и серебряных новгородцы роздали, прося заступиться за них пред государями.

Все же умолил, упросил всех, кого надобно, владыка Евфимий и предстал, наконец, перед государями со всем посольством новгородским. Иван впервые видел всех лучших и властных людей новгородских, которые правят, как хотят, самим Господином Великим Новгородом. Все время, пока идут у них переговоры с

[1] *Людие житии* — средние землевладельцы.

Василием Васильевичем, ни во что не вступается Иван, а только слушает внимательно и следит за всеми, как говорят и как ведут себя.

Зато договор составляет он сам с помощью Федора Курицына, а после читает его отцу. Знают о сем новгородцы и боятся. Василий Васильевич понятен им, Иван же гнет все куда-то другим путем.

— Неисправленья мне ваши тягостны,— жалуется Василий Васильевич,— много мне истомы от вас! Лиходеев моих у собя принимаете, татар науськиваете, с немцами, да с ляхами, да с Литвой против Москвы крамолу куете...

Все это понятно новгородцам, не впервые случается так. Кряхтят они только, когда требует с них Василий Васильевич казны многонько — десять тысяч новгородских рублей серебром...

Спорят, торгуются бояре московские и новгородские, но Москва никаких скидок не делает. Шума много, слезы даже и мольбы, но ведомо новгородцам — Москву не упросишь.

Иван же договор составляет, время от времени с отцом советуясь и с его боярами ближними. На переговорах же все так же молчит он и только смотрит, и пугать уж новгородцев начинает этот непонятный пронизывающий взгляд.

Вот уж Василий Васильевич получил сполна десять тысяч рублей. Выбраны уже бояре, которым ехать назначено в Новгород, новгородцев приводить к крестному целованию по новому договору, да и самый уж договор готов...

Все собрались послы новгородские со владыкой своим во главе. Рядом с владыкой — посадник и тысяцкий, а за ним все прочие из старых посадников и тысяцких, из бояр и купцов богатых...

Когда же Федор Васильевич Курицын читать стал новый договор, заволновались все, а многие с мест встали — сидеть не могут. Только Иван сидит неподвижно и спокойно да глазами, словно пиявками, ко всем присасывается...

Слушают новгородцы чтение и ушам сначала не верят. Отступиться должны они для московских князей Василия и Ивана от купленных ими земель ростовских и белозерских; черный бор[1] платить обязуются Москве; отменяют вечевые грамоты; вместо новгородской печати налагают печать великого князя; не смеют мешаться в княжии усобицы и обязуются не принимать никого из рода Шемяки и прочих лиходеев московских князей...

---

[1] *Черный бор* — поголовная подать с черных людей.

Снова мольбы и споры, а Иван сидит неподвижно, молчит и смотрит только.

— Глаза-то, глаза-то какие у него!— со страхом шепчет один из прежних тысяцких на ухо старому же посаднику Акинфу Сидоровичу.

Дергает посадник губой, будто дышать ему нечем, а сам смотрит жадно Ивану в глаза — такие странные и страшные, оторваться не может, и хочется ему перекреститься.

— Господи, спаси и помилуй,— шамкая, шепчет вслух Акинф Сидорович,— от дьявола очи сии, от дьявола... Ишь, глядит-то, глядит-то как и все молчит! Помогните нам, святые чудотворцы, угодники божии... Нет, не князь Василий, а Иван град наш погубит...

Глава 3

В КНЯЖОМ СЕМЕЙСТВЕ

Весна этот год была по-осеннему прозрачная и ясная, словно первые ласковые дни бабьего лета, но кругом все ярко зеленело, и цвели на лужайках и вдоль дорог золотые одуванчики.

Иван, наскакавшись вдоль берегов Москвы-реки и в горах возле села Воробьева, медленно возвращался домой в сопровождении Илейки. Рядом с ним, конь о конь, ехал Федор Курицын.

— Ну и утро же ныне,— весело сказал Иван,— будто яз искупался в нем и весь посвежел.

— Дивно и красно у нас в подмосковных-то,— живо отозвался Курицын.— Особливо, когда с гор глядеть от села Воробьева...

Заулыбался Илейка и ласково, как один он умеет, сказал:

— Цветики-то, весняночки наши, как солнышки малые, по всем лугам разбросаны, словно парчой золотой зеленую травушку выткали...

Старик радостно вздохнул всей грудью и тихо добавил:

— Красота божья!..

Иван и Курицын молчали, овеянные утренней лаской и лаской слов человеческих. Обернувшись к старику, Иван молвил:

— Из самого детства любо мне слушать тя, Илейка. Велика у тобя любовь к творению божью и ко всем тварям земным.

Засмеялся тихонько Илейка.

— Мир-то,— молвил он,— божий сад. Вечно он в цвету и радостях, не то что людие...

Не расслышали печали в словах Илейки ни Иван, ни Курицын — молоды оба, да и солнышко все выше и выше, и день-то такой лучезарный и веселый...

— Заедем к тетке Марье Васильевне,— крикнул Иван, погнав коня,— повидаю брата своего двоюродного...

Они повернули на большую улицу к хоромам князя Юрия Патрикеева.

Выслав Илейку вперед оповестить княжое семейство, Иван медленно ехал по двору в сопровождении Курицына, сошедшего с коня еще у ворот из почтения к хозяевам. У красного крыльца хоро́м уже суетилась всякая челядь и, когда Иван, подъехав, отдавал стремянному поводья коня, наверху растворились двери, и князь Юрий с княгиней своей и сыном Иваном, молодым воеводой московским, поспешно стали спускаться вниз навстречу юному государю.

Марья Васильевна радостно встретила племянника, весело сверкая такими же сияющими глазами, какие были когда-то и у ее ослепленного брата.

— Добро пожаловать,— говорила она ласково,— почитай, две седьмицы не был ты у нас, Иванушка...

— Ныне же кстати вельми заехал, государь,— кланяясь, молвил Юрий Патрикеев,— вернулся недавно из Крымской Орды наш богатый гость Скобеев, Федор Тимофеич...

— Кланяюсь тобе, государь,— сказал Скобеев с глубоким поклоном, касаясь рукой ступеньки крыльца.

Проведя гостей прямо в трапезную, хозяева усадили всех за стол, как по чину и обычаю принято, во главе с государем.

— Любишь ты, государь,— говорил князь Юрий Патрикеев, своеручно наливая Ивану сладкого греческого вина,— любишь ты знать все о чужих, дальних странах, а Федор-то Тимофеич много занятного сказывает...

— Особливо о фряжских городах,— заметил молодой князь Иван Юрьевич.

Иван был весьма доволен и, понемногу отпивая греческое вино из чарки, молвил:

— Что ж, Федор Тимофеич, сказывай...

Скобеев, богатый гость из сурожан, много рассказывал о торговле с Сурожем, Ялитой, Керчевым и Кафой[1].

— Наиболее дивен мне был град Керчев, а по-фряжски Черкио,— говорил сурожский гость.— Есть в граде большая каменная лестница, в скалах красно иссечена. Начинается она у церкви Ивана Предтечи, греками построенной в давние времена. На одном столбу ее каменном год построения вырезан: шесть тысяч двести двадцать пятый[2]. Круг же града Керчева могилы,

---

[1] Древнее название городов: *Кафа* — г. Феодосия, *Ялита* — г. Ялта, *Керчев* — г. Керчь.

[2] 717 год.

как холмы, насыпаны. Несть числа им, а в могилах тех из-под земли копают чарки, кубки и блюда золотые и серебряные, золотые обручи, кольца, серьги и цепи. Все они старой работы языческой. Продают их тамо дорого, со многой собе выгодой...

Много еще сказывал купец любопытного о старине крымской, а Иван, как и все прочие, слушал Скобеева с большим вниманием, но морщил лоб, усиленно вспоминая и о том, что ранее слышал он от кого-то о городе Кафе.

— А вот скажи, Федор Тимофеич,— воскликнул он радостно, вспомнив, наконец, о росяных колодцах,— правда ли, что в Кафе воду из росы собирают?

— Истинно, государь,— живо отозвался Скобеев,— кругом града того, ни в нем самом нет ни рек, ни колодцев, а ежели и есть ручьи, что с гор весной бегут, то и они пересыхают. В степях же у них вода солоновата: и в озерах и в колодцах. Вот они в горах, близ града Кафы, высекают в скалах ямы, кладут в них камни, а сверху хворост. В такие ямы роса густо падает и в них скопляется. От ям же верхних к нижним рвы иссечены, и роса, собираясь каждую ночь и копясь, течет из одной ямы в другую, а потом в озерцо, а из озерца-то по трубе каменной во град протекает...

Вдруг Федор Тимофеевич потемнел лицом и потупился, оборвав рассказ. Иван с недоумением посмотрел на него, а купец, горько усмехнувшись, молвил горячо и горестно:

— Одно, государь, худо и обидно мне было. Видел я тамо во всех градах на всех базарах сирот наших и черных людей! Водят их, как скот, в железных ошейниках, друг к другу гуськом прикованных! Лбы же и щеки у них клеймены тавром татарским: как кони, они мечены... Плач и рыдания среди братии нашей, а поганые купцы-басурманы девок и женок голыми велят показывать, а парням да мужикам руки и ноги щупают и зубы, как лошадям, смотрят. Покупают их купцы из Яффы, везут потом продавать кизыл-башам[1], к туркам и даже в Индию...

Всхлипнула нежданно Марья Васильевна и закрестилась, причитая:

— Помоги, господи, несчастным, охрани их крестом своим от поганых...

— Не от поганых,— гневно прервал ее Иван,— а от наших удельных! Крамола кругом и воровство. Все они вороги Москве, а при межусобии нашем татаре людей полонят! Ведь силу нашу они от Руси берут!..

Отворились двери в трапезную, и заскочил торопливо, хотя и

---

[1] *Кизыл-баши* — персы, иранцы.

весьма почтительно, дворецкий Патрикеевых. Иван обернулся к нему и сурово взглянул.

— Прости, государь,— низко кланяясь, молвил дворецкий,— батюшка твой, великий князь Василь Василич, приказал тобе сей же часец на думу к нему. Рязанские бояре приехали...

Дворецкий повернулся лицом к Юрию Патрикееву и добавил:

— И тобя, княже и господине мой, государь кличет к собе.

Дома Иван застал отца уже в передней со всеми его боярами ближними и с приехавшими в Москву боярами рязанскими. Все сидели молча, с печальными лицами. Когда вошел Иван с Патрикеевым и Курицыным, все, кроме князя великого, встали и поклонились ему, а Василий Васильевич воскликнул:

— Ты, сыне мой? Горе у нас велие — преставился князь великий рязанский Иван Федорович, брат мой любимый...

Василий Васильевич громко всхлипнул — дар особый имел он к печали — и возопил, истово крестясь:

— Брате и друже любимый! Царство тобе небесное, да упокоит тя господь в селении райском, иде же несть ни печали, ни воздыхания!..

Потом, обратясь к духовнику своему, добавил:

— Отче, преже мы о божьем помыслим, панихиду отслужим. После же и о земных делах будем думу думати...

Священник молча поклонился, и все пошли за ним в крестовую.

После панихиды пригласил великий князь Василий Васильевич всех бояр и воевод московских и рязанских в свою переднюю к столу помин справлять по великому князю рязанскому.

Сели за трапезу все в молчании, и духовенство с ними во главе стола, рядом с князем и княгиней и двумя старшими их сыновьями — Иваном и Юрием.

За столом, где кутья, меды и водки разные уж поставлены, Василий Васильевич, не приглашая гостей к питию и кушаньям, сказал громко и торжественно:

— Прежде помина души усопшего князя Ивана, царство ему небесное, волю его предсмертную послушаем, духовное его завещанье, которое им с боярами его подписано...

Встал из рязанских бояр Кирила Степанович, ветхий старец, весь волосом белый, будто в снегу голова его, и поклонился обоим государям.

— Кому, государь,— зашамкал он беззубым ртом,— кому из дьяков твоих передать столбец прикажешь?

— Василь Сидорыч,— сказал великий князь, обращаясь к дьяку Беде,— возьми столбец-то и прочти нам.

Старый рязанский боярин обернулся к сопровождавшему его дьяку. Дьяк быстро подошел к нему, неся в руках небольшой резной ларец из черного дуба. Кирила Степанович отпер ларец дрожащими руками, вынул из него туго скатанный свиток и передал его московскому дьяку.

Тот стал развертывать свиток и растянул его лентой до двух аршин в длину. Все встали, кроме государей, как только дьяк стал читать завещание, начинающееся славословием и молитвой. Когда же дьяк Василий Беда читал то место, где завещатель, князь Иван Федорович рязанский, призвав свидетельство божие и прося заступничества у создателя, говорит о великом княжестве Рязанском и о наследнике, сыне своем Василии, все сидящие за трапезой замерли в напряженном внимании и волнении.

Иван взглянул на отца и увидел, что щеки его побелели и неподвижное лицо слепца стало каменным. Иван, когда дьяк на миг останавливался, слышал свое дыхание в тишине покоя, как оно сипит и свистит в дрожащем горле, а кровь его в висках токает. Как во сне, слышит он отрывки из духовной.

— «Челом бью брату моему, великому князю московскому Василью Васильевичу, да возьмет на попечение свое сына моего малолетнего князя Василия, моего наследника на столе рязаньском... Дщерь же Федосью... ...на волю твою... Защита и оплот будь для рода моего, богом тя, Христом-спасителем и Пречистой заклинаю... Будь ты отцом благим и добрым ко чадам моим...»

Не слушает дальше Иван — думы со всех сторон нахлынули, и понял вдруг он, какое дело великое в этот час перед ним творится. Вот и Василий Васильевич поборол волнение свое, и щеки его зарозовели, только Марья Ярославна вся еще в трепете, и губы у нее дрожат. Вот склоняется она к уху Ивана и чуть слышно шепчет:

— Малость не дожила бабка-то, до какой вот радости не дожила...

Кончил в это время дьяк Беда чтение, а в покое все еще тишина мертвая, но на миг только. Заговорили, зашумели все разом, а Василий Васильевич, высокий дар слезный имея, воскликнул горестно:

— Упокой, господи, душу раба твоего князя Ивана, а по чину андельскому — Иону! Клянусь пред тобой, господи, и пред всеми христианами: сотворю все нерушимо по духовной брата моего. Утре, после часов, крест на том с сыном моим целовать будем...

Помолчал он и, вздохнув, печально добавил:

— Ныне же начнем помин души князя Ивана, брата моего, великою тризной. Приказывай, Марьюшка, к столу все как надобно...

Когда кончился поминальный обед, Василий Васильевич поднялся из-за стола и, простившись со всеми общим поклоном, обратился к дьяку Беде:

— А ты, Василь Сидорыч, сей же часец возьми духовную князь Ивана и отдай схоронить ее в казне моей...

Опираясь на руку своего соправителя, великий князь пошел в свои покои. По дороге он сказал сыну вполголоса:

— Мне надобно пред крестным целованием о многом с тобой подумати...

Был уж июль месяц — макушка лета, и дни бежали быстро. Миновали Кузьминки, бабий и курячий праздник, на Марфу овес нарядился в кафтан. Идет лето своим порядком. Скоро Степан Савапт ржице повелит матушке-земле кланяться. С Афиногена же и страда начнется: первый колосок Финогею, последний — Илье в бороду.

Бежит время, и дня за три июля десятого заметил Иван за обедом печаль в лице матери и что она слезы тайком утирает. Не решился он при отце спросить ее о горестях, но встревожился.

Когда же обед кончился, Василий Васильевич сказал ему мрачно:

— Иване, сопроводи меня в опочивальню.

Иван повел отца, но в дверях остановился, кинув на мать беспокойный взгляд.

Она грустно и ласково ему улыбнулась.

В своей опочивальне Василий Васильевич опустился на пристенную скамью и, помолчав, сурово молвил:

— Днесь поймал яз на Москве князя Василья Ярославича и послал его в заточение в Углич...

Иван вздрогнул и побледнел.

— Значит, матунька уж знает о сем? — сказал он вполголоса.

— Знает...

Взволновался Иван, вспомнив о яростном нраве отца. Тогда давно еще — Бунко пострадал, а ныне вот — дядя, родной брат матери. Всегда он за них был, честно бился с Шемякой. Привык к нему с детства Иван, полюбил его...

— Пошто сие? — спросил он горестно. — Плачет матунька...

— Она плачет, а со мной согласна...

— Пошто ж ты его поймал?!

— За воровство против нас. Сын же его от первой жены вместе с мачехой бежали в Литву, туда, куда и Можайский бежал. Все они заодно, проклятые!..

Василий Васильевич гневно сдвинул брови. Иван молчал. Слова отца для него не были убедительны. Он ясно чувствовал, что у отца нет доказательств вины боровского князя...

— Государь,— начал он медленно,— ты о воровстве его говоришь, а в чем воровство-то сие? Были в нужде мы, и был он верен нам, пошто же воровать ему ныне...

—Василий Васильевич вскипел и закричал в гневе:

— Супротивничает он! За Москвой ныне уделы и Галицкий и Можайский, а он вольным хочет! Не покоряется...

— А в чем? — так же медленно и спокойно спросил Иван.

— Яз хочу,— продолжал, успокаиваясь, Василий Васильевич,— дабы он токмо наместником был, а удел свой за Москву дал нашему роду. На что силен великий князь рязанский и тот княжество свое и сына под призор мой отдал! Сей же родной брат твоей матери, а супротивничает. Вторая жена подбивает его — подзойница, сука! Вот к литовскому князю и стали гнуть...

Иван смутился от резких слов отца, но, вспомнив предсмертные слова бабки: «Круг Москвы собирай!» — тихо промолвил:

— Тобе, государь, видней. Яз еще многого не ведаю в делах сих...

После того как заточен был князь Василий Ярославич в Угличе, где некогда и сам Василий Васильевич со всей семьей своей был, не раз вспоминал со скорбью Иван ту тяжелую пору, когда молодой Василий Ярославич, будучи в Литве, полки собирал вместе с воеводами и боярами московскими, стремясь силой «выняти» великого князя с семейством из заключения...

Но теперь у Ивана эти горькие чувства были недолги: забыл почти совсем он сказку о злосчастьях Степана-богатыря, забыл о коготке Гамаюн-птицы — вокруг него радостным хороводом новых чувств и волнений начинала заплетаться иная сказка. Чаще и чаще мелькало перед ним смеющееся личико Марьюшки, юной княгини его, и, сами не зная, как это выходило, встречались они друг с другом во всех концах княжих хором, словно нарочно всюду искали друг друга.

Нередко наталкивался Иван и на сияющего Илейку, лицо которого расплывалось в многозначительных улыбках. Насколько там, на Кокшенге-реке, эта все понимающая улыбка старого дядьки раздражала его, настолько теперь веселила и забавляла.

Однако Илейка, помня недавний резкий отпор молодого государя, не лез к питомцу своему с лишними разговорами. Все же раз, стоя с Иваном в сенцах и видя, как из дверей княгининых покоев выглядывает Марьюшка, старик не утерпел.

— Удачлив ты, государь,— молвил он радостно,— как у меня, у тя струна в сердце есть ласковая — бабье ухо ее за семь верст чует...

Приход Федора Курицына оборвал красноречие старого дядьки.

— Прикажешь, государь,— спросил Илейка деловито,— коней седлать. До обеда успеем погонять круг Москвы-то...

— Поедешь, Федор Василич?— обратился Иван к своему другу.

— А яз за тобой шел, государь,— весело ответил молодой подьячий.— Старый государь отпустил меня. Поедем ныне в Занеглименье[1]. Хороши там села бабки твоей родной, Марьи Федоровны Голтяевой, снохи преславного князя Владнмира Андреича, верного соратника Димитрия Донского...

Федор Васильевич вдруг смолк, словно вспоминая что-то.

— Государь мой,— воскликнул он,— по отцу ты правнук Димитрия Донского, а по матери — правнук Владимира Храброго, побивших на поле Куликовом у Дона великого несметную силу самого Мамая, царя ордынского!..

У Ивана затрепетало сердце по-особому, и не мог он ничего сказать в ответ.

Взволнованный же Федор Курицын продолжал:

— Ныне токмо вот, государь, читал яз у владыки Ионы «Сказания о Мамаевом побоище». Со слезами читал яз о подвигах дедов наших! В памяти моей от сказания сего многое, яко на камне иссечено. Когда пришли поганые на нашу землю, съехались князи русские к прадеду твоему на Москву, ко князю великому Димитрию, говорят ему: «Господине князь великой! Уже поганые татарове на поля наши наступают, а и вотчины наши у нас отымают. Стоят уж меж Доном они и Днепром на Мечереце! Мы ж, господине, пойдем с тобой на супостаты ратию, свершим деяния дивные: старым — повесть, а младым — память!..»

На побледневшим лице Ивана еще темнее стали глаза его, и произнес он глухим, дрожащим голосом:

— Вся земля тогда русская встала от края до края...

— Князь же великий Димитрий Иваныч,— продолжал Курицын,— рек тогда: «Братьица моя милая, князи русские! Гнездо есмы едино князя Ивана Данилыча. Никому не дано нас изобидити: ни соколу, ни ястребу, ни белу кречету, ни псу тому, хану Мамаю...»

Молодой подьячий, как всегда, загорелся весь любовью и ревностью к славе отеческой и воскликнул громко:

— Писано там еще: «Оле, жаворонок птица, в красные дни утеха! Взыди под сини облаки, посмотри к сильному граду Москве! Пой, жаворонок, славу великому князю Димитрию Ивановичу и братцу его Владимиру Андреичу!..»

---

[1] *Занеглименье* — так в старину называлась местность к северу от Кремля, начинавшаяся от реки Неглинной.

Иван стремительно простер руки к Курицыну и молвил:

— Клятву яз дал боговн, Федор Василич! Сотру главу яз удельным и змию татарскому!..

Подьячий с жаром поцеловал руку Ивану, а Илейка, вернувшийся доложнть, что кони оседланы, н ожидавший коица разговора, воскликнул:

— Порадей, государь, для-радн всего христиаиства!..

Накануне молодого бабьего лета дни стояли ласковые и теплые, а к полдию иа солнышке даже припекало. Опустели поля, ощетииившись желтым жнивьем, н только кое-где по виовь распахаииым полосам размеренным шагом шлн мужики с лукошками и ловким, широким движением руки разбрасывали зерна — сеяли ознмые. Зато в садах н у бояр н у сирот стояли яблони, словно в праздничных нарядах, густо увешаииые желтыми, белыми и алыми яблоками. Дух яблочный всюду чуялся в воздухе.

Урожай в этом году небывалый.

Илейка съездил к княжим бабкиным садам и привез яблок полиую коискую торбочку. Иван выбрал самое крупное, разломил н, показывая Илейке, крикнул весело:

— Внשь, Илейко, какое чистое, душистое, н червя в ием нет! Не то, что у твоего Степаиа-богатыря!

Илейка радостно улыбиулся н молвил:

— Ишь, памятлив ты, государь! Токмо ныие иикакой червь тобе нн яблоко, ни сердце не нсточит.

— Пошто так?

— А по то, что отболел у тобя коготок-то Гамаюи-птицы и отпал. Не иавек он к нам прнрастает!..

Курицыи слушал этот разговор, ничего ие поиимая. Иваи был доволен и, подмигнув Илейке, спросил:

— Не разумеешь, Федор Василич?

— Не разумею, государь.

— Попросн Илейку. Ои те сказку про Степана-богатыря поведает. Мудро он сне сказывает, с хитроречием великим... А яблокн снн Марьюшке сей часец повезу — спас-то яблошный давно прошел...

— Рано, государь, возвращаться-то! Часа два еще до обеда,— начал Федор Васильевич,— но Иван его уже не слышал — погнал он коня домой вскачь н думал только о своей Марьюшке, думал, как заблестят глаза у нее радостью от подарка, от того, что помнил о ией.

У красного крыльца княжих хором ои бросил Илейке поводья и, схватив торбочку с яблоками, бегом вбежал по ступеням в переднюю. Быстро пройдя сеицы, он остановился у покоев

матери и, как это у него с Марьюшкой было условлено, тяжелым и звучным шагом дважды прошел мимо дверей. Подождал немного, прошел еще раз и стал у лесенки, что ведет к башенке-смотрильне.

Дверь слегка скрипнула, и в сени легко выпорхнула стройная девушка. Они крепко схватились за руки и на цыпочках побежали вверх по лесенке к гульбищам. Пригибаясь и прячась за решетками гульбищ, прокрались они к башенке-смотрильне и присели на первую ступеньку ее крылечка, у самого пола, ниже перил.

Иван крепко обнял и прижал к себе Марьюшку, целуя ее в уста, и в щеки, и в теплую нежную шею. Закрыв глаза, Марьюшка чуть заметно улыбалась тихой, счастливой улыбкой, но вдруг повела плечами и прошептала:

— Штой-то гнетет мне спину?

Иван взглянул через плечо ее и увидел в своей правой руке конскую торбочку с яблоками. Расхохотавшись, он поставил торбочку у ног ее и воскликнул:

— Яблоки, Марьюшка! Тобе из Занеглименья привез, из бабкиных садов!..

Раскрыв мешок, Марьюшка радостно всплеснула руками.

— Какие яблоки баские!— говорила она весело, перебирая сочные плоды.— Сие вот медом, Иванушка, пахнет. Право, медом! Разломи-ка его. Яз не могу. Ишь, какое крупное да крепкое!

Смеясь, Иван без труда разжал вцепившиеся в яблоко пальчики Марьюшки, и яблоко, хрустнув в его руках, разделилось на две сочные и душистые половинки.

— Одну — тобе, другую — мне!— весело воскликнула Марьюшка. Она схватила одну половинку и, вгрызаясь в яблоко мелкими зубами, молча вскидывала на Ивана лукавые, чуть озорные глаза.

— Ах ты, мышонок мой, грызун!— со смехом молвил он и, сжав ладонями виски ее, стал целовать ей глаза, лоб и щеки.

— Ты мне есть не даешь,— шаловливо отбивалась Марьюшка и вдруг, обвив руками его шею, поцеловала в уста долгим поцелуем.

Опьянев от этой ласки, Иван зашептал ей в ухо:

— А матуньке ты сказывала, что пора тобе ко мне перейти?.. Женушка моя милая...

Марьюшка вспыхнула вся густым румянцем до корней волос и зашептала, трепеща и обрываясь:

— Духа у меня на то нет... Совестно, Иванушка!.. Язык-то не поворачивается... Ты сам скажи матуньке...

— Ин не надо сказывать,— тоже зашептал вдруг Иван, нежнее прижимая к себе Марьюшку.— Лучше тайно приди ко мне ныне... Уснут все, ты и выйди, яз тобя ждать буду...

Он обнимал, ласкал и целовал ее все горячей, жег ей щеки

и шею горячим порывистым дыханьем. Томно и душно делалось ей...

— Иване, Иване,— громко шептала Марьюшка, отстраняя его ласки,— Евстратовна за мной придет на трапезу звать!.. Как же яз за обедом-то буду сидеть... Разгорелась вся... Будя, будя!.. Враз матунька все уразумеет...

Иван овладел собой и отодвинулся от Марьюшки, а снизу по лесенке к гульбищам шаги уж слышно.

— Ну, придешь, Марьюшка?— взмолился Иван.— Приди, моя радость, приди...

Марьюшка оглянула его горячим потемневшим взглядом и выдохнула чуть слышно:

— Приду, Иванушка мой...

На лестнице показалась голова Дуняхи, величаемой ныне уж по отчеству — Евстратовной.

— Ишь, где вы хоронитесь,— с ласковой усмешкой молвила она,— идите, государыня в трапезну собирается...

Марьюшка вскочила и, передавая ей торбочку с яблоками, молвила ласково:

— Снеси-ка, Дунюшка, в наши покои яблоки, да от них половину собе и Никишке возьми. Иванушка привез мне их из Занеглименья...

В середине мая лета тысяча четыреста пятьдесят седьмого, когда Марьюшка жила уж с Иваном в отдельных покоях, ею вдруг овладело какое-то странное беспокойство. Иван заметил это только сегодня, мая шестнадцатого. Когда он проснулся, Марьюшка уже встала и, накинув летник с широкими рукавами, собиралась идти умываться в сенцах. Там ждала ее Евстратовна, которую определила Марья Ярославна на послугу полюбившейся ей юной сношеньке.

— А, и ты проснулся, ненаглядный мой?— сказала она, обернувшись, и нежно провела рукой по его щеке.

Иван крепко прижал к лицу ее теплую ладонь и, не отпуская, спросил:

— Пошто у тя тревога на сердце?

Она улыбнулась ласково и нежно, как матунька.

— А как сие ты учуял?— прошептала она и, присев на постель, обняла его за шею.

— Люба ты моя,— тихо молвил Иван,— сердце мое само сие чует...

Марьюшка приникла лицом к его лицу и быстро зашептала:

— Ванюша мой, яз понесла, видать. Как мне матунька сказывала, так со мной и есть...

Неведомым до сих пор теплом и радостью наполнилась

душа Ивана. Другой будто стала для него Марьюшка, еще более любимой и дорогой. Исчезла как-то сама собой пылкость и страсть, а всего его охватила тихая ласка и нега.

— Ты пожди малое время,— молвила Марьюшка.— Побаю яз с матунькой, умоюся вот и побегу к ней...

Взволнованный Иван ничего не мог сказать и только как-то по-особому нежно прижал Марьюшку к себе и поцеловал в уста...

Марьюшка уже плескалась в сенцах и о чем-то говорила с Евстратовной, а Иван, закинув руки за голову и закрыв глаза, все еще лежал неподвижно. Он напряженно прислушивался к тому, что происходит в нем. В душе же его все перестраивалось, и любовь его к Марьюшке становилась полней и глубже, и что-то еще совсем новое билось в нем, а что — он еще никак понять не мог...

Вдруг он услышал торопливые шаги в сенцах, и, распахнув двери, вбежала Марья Ярославна, бросилась к нему на грудь и заплакала от радости.

— Сынушка мой, сынушка,— взволнованно говорила она,— вот и до внуков дожила! Радость, радость какая! Не знамо, кто будет еще: внук ли, внучка ли? А все едино — радость нам, сынушка!..

Раскрылось само сердце Ивана, и вдруг вспомнил и оглядел он все детство свое, и юность, и всю любовь материнскую, которой овеяны они были, и понял он все. Узнал он любовь к детям, враз ее понял, но не умом, а чутьем каким-то особым...

Обнимая и целуя мать, обнимал и целовал он Марьюшку, и обе казались они одна с другой слитыми — обе матери...

— Ну, оболокайся борзо, Иванушка,— торопила его Марья Ярославна,— поспешим отца порадовать...

Этот год зима стоит лютая, старики не помнят таких морозов трескучих. Садоводы боятся, что яблони и груши вымерзнут. В Москве же беда — не все в ней обстроиться после пожара успели, а пожар-то был страшный.

В октябре месяце, в двадцатый день, на девятый час ночи, загорелось внутри града, близ церкви святого Владимира[1] у боярина Ховрина, и много погорело, до третьей части города. Натерпелось страху за этот пожар и княжое семейство, выезжать уж из Кремля собирались.

[1] В старину, для указания адреса, называли ближайшую приходскую церковь.

— Да помиловал бог,— сказал тогда Василий Васильевич, а Иван рассердился.

— Коль хоромы да избы,— молвил он резко,— наподобие костров рубить будем, то и всегда гореть будем! Каменные хоромы надобно ставить, да не лепить их кучей, почитай стеной к стене!..

— Не дело ты баишь,— перебила его Марья Ярославна,— в каменных-то хоромах зябко и сыро. Как в них жить-то? Окстись, сыночек...

— Хорошо хоромы ставить,— упрямо возразил Иван,— и жить в них хорошо будет. Придет время, попробуем. Яз о сем давно думаю, все пожары вспоминаючи, какие с детства видел. Ныне же паки костров кругом наставили и еще в безрядии великом.

— Иванушка,— вновь перебила сына Марья Ярославна,— не забудь, утре-то все мы: яз и вы, дети мои, на отпевание мамки Ульяны пойдем, царство ей небесное...— Она перекрестилась и продолжала:— А сей часец подит-ко к Марьюшке — она у меня с Дуняхой пеленки шьет. Побеседуй с ней — молодки-то по первому разу рожать зело боятся. Утре-то мы ее не возьмем, не следует ей на мертвых глядеть. Ведь ныне вот уж к концу года время идет, январь уж, а по моему счету ей к концу февраля рожать, а то и к самому новому году...

— Не пужлива Марьюшка,— с улыбкой ответил Иван,— а все же пойду к ней. Скучаю, матунька, без нее-то...

Подойдя к дверям покоев Марьи Ярославны, Иван услышал приятное пение в два голоса и сразу узнал нежный, хрупкий голосок Марьюшки и густой красивый голос Дуняхи.

Распахнув дверь, Иван увидел Марьюшку на пристенной скамье. Она обшивала края пеленки, но, увидя Ивана, отбросила шитье и кинулась навстречу мужу. Иван любовался ею, этой пышной, расцветшей сразу женщиной.

— Ладый ты мой,— воскликнула она, обнимая его,— пошто долго тя не было?..

— Будь здрав, государь,— поклонилась Дуняха и снова принялась кроить на столе детскую рубашонку...

— Здравствуй, Евстратовна,— ответил Иван,— а что вы пели тут? Баское такое пение-то...

— Княгинюшка твоя колыбельную учит...

— А ну спойте...

Марьюшка разжала руки и пошла на свое место вразвалку — тяжелая уж совсем была. Села, улыбнулась и молвила:

— Что ж, почнем, Евстратовна.

Дуняха запела, а Марьюшка потянулась за ней, как ручеек тоненький, выговаривая слова:

Баю, баю, баю —
Ва́нюшку качаю!
Сон со дремой
В сенцах ходит,
Ходит, бродит.
В темных рыщет,
Ваню ищет:
— Где б его найтить,
Там и усыпить...
Баю, баю, баю —
Ва́нюшку качаю!

Марьюшка улыбнулась и, прервав вдруг пение, молвила весело:

— Яз, Иване, ежели сын будет, хочу его Иваном, по тобе, назвать. Евстратовна сказывает, что песню сию ране тобе пели...

Голубые глаза ее засверкали яркими радостными искрами, и, схватив за руку сидящего рядом мужа, она заговорила быстро и взволнованно:

— Дивно сие все, Иване! Дивно! Не было вот ничего, и вот он живет во мне. Ворочается он, толкается. Потом родится, закричит, заплачет, сосать будет, смеяться...

Иван задумался и, обняв Марьюшку, сам заговорил, размышляя вслух:

— Да, чудо сие непонятное мне. Не было его, а есть уж и будет. Увидит свет божий глазами, услышит ушми, пойдет, заговорит, станет, как мы...

— А что о сем гадать-то,— вмешалась Дуняха,— господом богом уж так установленно. Споем лучше твоему Ва́нюшке. Ну, зачинаю я, княгинюшка:

Баю, баю, баю —
Ва́нюшку качаю...

За две недели до нового года, февраля пятнадцатого служил сам митрополит Иона обедню в соборе у Михаила-архангела.

Окончив служение, владыка Иона, не снимая облачения церковного, взошел на амвон и, обратясь к молящимся, возгласил:

— Ныне, в лето шесть тысяч девятьсот шестьдесят пятое[1], февраля в пятнадцатый день, в среду на Федоровой седьмице, егда начаша часы пети, родился великому князю Ивану Васильевичу — божию милостию — сын, дороден и здоров, и наречен бысть Иван...

Владыко истово перекрестился и продолжал:

---

[1] 1457 год

— Возблагодарим же господа Исуса Христа, его Пречистую матерь и всех святых угодников московских за милость сию и помолимся о здравии младенца Иоанна и родителей его...

Митрополит медленно обратился лицом к алтарю и торжественно начал молебен.

Глава 4

ЗНАМЕНИЯ ГРОЗНЫЕ

В тысяча четыреста пятьдесят девятом году пасха пришлась в самое благовещение, в третью встречу весны, когда птиц из клеток на волю пускают...

Хорошо и весело кончалась зима, но по всему стольному граду, по всем улицам, уличкам и переулочкам мрачно ползли от келий монастырских, от старцев и стариц, от клиров приходских церквей темные, непонятные словеса и предсказания. Тревожные толки и слухи волновали народ по случаю совпадения двух праздников, слухи о зловещих числах пасхалии, о кругах солнца и луны, о втором пришествии Христа, о страшном суде и конце мира...

На третий день пасхи по просьбе Марьи Ярославны приехал к ней на обед престарелый духовник Василия Васильевича, отец Александр, бывший уже на покое, и привез с собой пасхалию.

После трапезы отец Александр, отодвигая от себя на длину руки старую пергаментную книгу, отыскал с большим напряжением зрения то место в пасхалии, где написано о нынешнем годе...

— Вот, вот словеса сии,— заговорил он дрожащим голосом и стал читать:— «Братья! Зде страх, зде беда великая и скорбь, якоже в распятии Христове сей круг солнцу бысть двадцать третьего, луны тринадцатого, сие лето на конци явися, в онь же чаем пришествие Христа...»

Преодолев волнение свое и сотворив крестное знамение, отец Александр продолжал с усилием разбирать писание:

— «О владыко, умножися беззакония наша на земли. Пощади ны, владыко, исполни небо и землю славы своея...»

Голос отца Александра задрожал и оборвался на миг от страха и трепета. Он протянул книгу Федору Курицыну:

— Читай дале, Федор Василич, читай дале! Худо ныне мое зрение, и аз зело устрашен от пророчеств сих...

Курицын, обменявшись с Иваном понимающими взглядами, взял громоздкую толстую книгу в кожаном переплете и стал читать дальше.

— «Братия, разумейте сие: господь бог не хощет смерти грешников, ожидая покаяния,— прочитал Курицын и, взглянув на

Ивана, с нарочитым упором закончил:— Рече господь: не весте дни и часа, в онь же сын человеческий приидет...»

Иван усмехнулся, но, видя слезы в глазах матери и своей Марьюшки, сказал спокойно:

— Не ведаю яз, пошто вы все так ометежены и в слезах?

— Светопреставление приходит,— сокрушенно выдохнул отец Александр,— господь бог наш и царь небесный придет снова на землю судить живых и мертвых...

— Иване,— отерев глаза, строго сказала Марья Ярославна,— не искушай господа, читай словеса его.

— Матунька,— живо отозвался Иван,— вельми строго и грозно блюду слова господни. Токмо яз не разумею страха вашего...

Обратясь к отцу Александру, он спросил:

— Истинно самим господом сказано, что не ведает никто дня и часа, егда приидет Исус Христос судити нас?..

— «Не весте дни и часа, в онь же сын человеческий приидет»,— с убеждением повторил текст писания престарелый духовник великого князя.

— Тако и яз мыслю,— спокойно подтвердил Иван,— а посему за сей год нет у меня страху. Верую яз словам божиим, но как же можно исчислить, гадая по кругам солнца и луны, уразуметь то, что господь сам захотел схоронить от нас? Пошто же волю господню всуе без разума искушать?

— Истинно так,— живо вступил в разговор Курицын.— Истинно так яз разумею то, что здесь написано...

Он быстро подвинул к себе книгу и прочел слова:

— «Господь бог не хощет смерти грешников, ожидая покаяния». Сии слова волю божию изъявляют, дабы мы, не ведая дни и часу, всегда к смерти готовы были, каялись и греха боялись, ибо не ведаем для суда божия дни и часы...

Марья Ярославна облегченно вздохнула и сказала:

— А ведь и впрямь! Не затем господь тайны творит, дабы всяк их открыть мог...

Успокоился и отец Александр и, перекрестясь, добавил:

— Покойна государыня Софья Витовтовна такое же сему толкование дала бы...

Но больше всех обрадовалась Марьюшка, переполненная вся материнским счастьем. Она сразу ожила и просияла и, забыв все на свете, не слушая, что говорят дальше о страшном суде и конце мира, воскликнула:

— С утра еще хочу показать вам! У нашего Ванюшеньки уже десятый зубок прорезался сверху. Сей часец принесу сыночка-то моего, покажу!..

За ранней пасхой и весна пришла ранняя — апреля девятого снег сошел, и не только все пригорки, но и луга кругом зазеленели, и всякие цветы расцветать начали. С каждым днем все теплей и светлей становится, и живет Иван какой-то особой радостью, ни о чем не думая.

Сидя вот на пристенной скамье, дремлет он после трапезы. В покоях жарко натоплено — Марьюшка с Евстратовной собираются купать Ванюшеньку. Сквозь дрему Иван чует тепло и будто чье-то влажное дыхание, пахнет мокрым разогретым деревом...

Приоткрыв глаза, он видит, как Евстратовна среди клубов пара старательно моет кипятком деревянное корыто, скручивает и выжимает потом какие-то горячие тряпки. Ближе к нему сидит Марьюшка, качая Ванюшеньку и чуть слышно приговаривая:

— Купать будем Ванюшеньку, маленького нашего...

Сладостный туман окутывает мысли Ивана, и глаза невольно закрываются, но в дреме какие-то думы сами собой идут к нему, плывут, как сны,— непонятные и в то же время как-то понятные ему. Мнится ему, словно вот стеной живой отец и мать заслоняют его от тьмы кромешной и холода смертного, а Марьюшка сладостной негой и радостью бьется, как сердце, в самой груди его, и бежит вдаль от них ручейками весенними бесценный их Ванюшенька, истинно ручеек в жизнь вечную...

— Иване, Иване,— слышит он нежный голос,— да проснись же, Иване, поцелуй Ванюшеньку-то... Купать его сей часец будем.

Иван чувствует у своего лица маленькие тепленькие пальчики, шевелятся они и путаются в его бороде. Очнувшись совсем от дремоты, он с нежностью целует ручонки и ножонки, словно перетянутые ниточками, и бормочет, сам не зная, откуда приходят эти глупые, но ласковые слова:

— Медунчик мой, теплышка моя, голубеночек маленький...

Марьюшка громко смеется, стараясь отнять у отца ребенка.

— Что же вы дитем, как куклой, играете,— рассердилась Евстратовна,— отдай, государь, вода-то стынет в корыте...

Ловко выхватив ребенка, Евстратовна посадила в корыто Ванюшеньку и стала с ладони поливать его теплой водой, приговаривая ласково:

С гор водичка-вода,
С Ванюшеньки — хвороба...

Жарко в покое, а от кипятка и корыта баней пахнет...

Кто-то торопливо и тревожно постучал в дверь. Вошел Данила Константинович, молодой дворецкий.

— Будьте здравы, государь и государыня!— сказал он глухо.

— Что?— тревожно вскинув глаза, спросил Иван.

— Старый государь на думу кличет. Вестники с Оки пригнали. Татары идут...

Марьюшка побледнела, но Иван подошел к ней, обнял и, поцеловав, молвил:

— Не бойся, отгоним.

Он вышел вместе с Данилой и в сенцах на ходу спросил:

— А как отец твой, Данилушка?

— Помирает. Соборовали утресь...

Дума происходила в покоях великого князя Василия Васильевича. Поздоровавшись со всеми присутствовавшими, Иван сел рядом с отцом на пристенной скамье в красном углу.

— Сказывайте вести, воеводы,— молвил Василий Васильевич,— а ты, сыне мой, слушай! Тобе отдаю все в руци, тобе ныне Русь от агарян поганых спасать! Да благословит тя господь на сие деянье. Бают, что татары седи-ахматовой орды полонить похваляются Русь!..

— Пущай похваляются,— сухо сказал Иван,— сей же часец надобно мне все вести знать и к походу снаряжаться.

После этих слов смолкли сразу все разговоры и прения среди бояр и воевод, и тихо стало и строго, а молодой воевода московский Иван Юрьевич, родной племянник Василия Васильевича, стал докладывать о татарах. Собрав воедино все вести, что приходили из Серпухова, Коломны, Касимова-городка и от стражи из Поля, он свел речь свою к такому концу:

— Вести согласно идут о татарах: и от царевича Касима и от воевод наших — рязанского, коломенского и серпуховского. Ведомо им от степных дозоров,— а гоньба у них добро наряжена,— идут татары по Дону уж много выше Ельца, к Непрядве подходят. Мыслю, на Камаринский путь[1] они норовят...

— Ежели сие истина,— перебил его Иван,— то мне уже ведомо, куда полки наши отсылать. Токмо истинны ли вести-то?

— Истинны, государь. Из разных мест, а согласны все.

Иван поднялся со скамьи и, обратясь к отцу, молвил:

— Благослови мя, государь, на рать сию и дозволь мне войска нарядить по разумению моему...

— Иди на рать,— ответил растроганный Василий Васильевич,— иди меня вместо. Бей сыроядцев с помощью божьей и воевод наших...

Иван выпрямился во весь свой могучий рост и, опершись руками о стол, обвел глазами воевод и бояр.

— Все в мыслях моих готово,— властно сказал он,— побьем мы поганых. Но яз, воеводы и бояре, не игру ратную играть хочу,

[1] *Камаринский путь*, Камаринская дорога — так в старину назывался путь из Москвы в Орду.

а Русь спасать. Посему думать буду с вами, ибо ум хорошо, а два лучше...

Сдвинув сурово брови, он сел за стол, но собрание все еще молчало, словно ожег всех глазами Иван, и впервые бояре и воеводы со всей полнотой почуяли силу молодого государя. Даже сам Василий Васильевич не молвил более ни слова. Все ждали, что еще скажет Иван.

— Аз мыслю,— начал он деловито и сухо,— полки наши вдоль берега так поставить, дабы при всех случаях в любом месте реку перейти могли и в тыл поганым зайти. Ведомо вам, что ордынцы пуще всего страшатся, дабы от Поля их не отрезали.

— Верно, верно, государь,— заговорили кругом.— Татарин-то силен токмо наскоком, а за спину свою боле всего боится...

— Посему,— продолжал Иван,— брату моему Юрию с конниками в Серпухов гнать. Там с воеводой нашим соединиться и берег от Серпухова до Тарусы держать, высылать непрестанно дозоры, дабы через Калугу и Медынь на Москву не пошли. Сей же часец вестников отпустить к Касиму-царевичу, дабы ему с воеводой рязанским соединиться. О сем же и Рязань упредить. Не пущать рязанцам татар на Муром и Володимер. Мы же из Москвы к Коломне пойдем. Тут по берегу и по Камаринской дороге дозоры рассылать...

Военное совещание длилось около часа, и в тот же день пошли походом войска московские к берегам Оки.

Третий день уж, как Иваном все полки расставлены где надобно, а татары все еще не появляются. Чаще и чаще вестники со всех сторон в Москву приходят, и знает Иван, что ордынцы идут неуклонно к берегам Оки на Коломну, а тут вот медлить вдруг начали.

— Может, о засадах проведали?— волнуется Иван.— Может, они все мои замыслы разгадали и, полон оберегаючи, в Поле хотят уйти неприметно?.. Проспит их воевода рязанский...

Словно в горячке, мечется Иван от нетерпения, гонит вестников одного за другим к брату Юрию и царевичу Касиму,— велит им с обеих сторон в тыл заходить татарам, замкнув за ними свои полки, подобно крыльям невода, когда улов ведут уже к берегу. Ведомо ему, что полон у ордынцев велик и богат. Дрожит он от гнева, как подумает только, что уйдут из сетей татары, уведут полон с собой. Мнится ему, что воеводы его неповоротливы и тугодумы, и зол особливо на воеводу рязанского, но в узде себя держит Иван. Боится, чтобы гнев, прорвавшись случайно, не затемнил ему разума, как это у отца не раз

бывало, да не смог — заметался в яростн по всему покою, как зверь к клетке.

— Сменить половину хомяков сих жирных!— закричал он.— Заспались они в своих хоромах. Первого рязанского выгнать вон!

Иван затопал ногамн н, заметив вошедшего Илейку, разъярился еще больше:

— Рязанского, сучьего сына, сей же часец сменить! Сей же часец! Илейка, беги за Ефим Ефремычем!.. Прндет пусть...

Но не испугался старик грозных очей питомца своего н государя, смело молвил ему:

— Ты что, государь, окстнсь! Кто же коня в бою переседлывает? И конь твой и ты сам пропадешь!

Затих Иван н сказал, будто подумав вслух:

— Может, они, татары-то, и по то медлят, что полон больно велик. С полоном-то не поскачешь. А о засадах, может, и не мыслят.

— Истннно, государь,— подхватил Илейка,— опричь полона, товара у них всякого понаграблено.

— Будь здрав, государь,— крикнул, вбегая в покой Ивана, начальннк его стражи Ефнм Ефремович,— татар видать. Яртаулы нх...

— Откуда идут?— прервал его обрадовавшнйся Иван.

— По левому берегу Осетра ндут, государь, от Зарайска...

— Гонн вестников немедля к князю Юрню и к царевичу Касиму. Начинать, мол, пора, что им приказано. Татар, мол, у Коломны видать. Илейко, коня мне, да пусть воеводы нашн в трубы трубят и знамена на рать подымают!..

Окруженный стражей, Иван верхом на коне въехал на вершину холма почти у самого берега Окн. Конь о конь стоялн с ннм воеводы, среди которых был и знаменитый Басёнок, Федор Васильевнч. Лицо Ивана было неподвижно и бледно, только лнхорадочно горели глаза. Он волновался, но сдержнвал себя, н движения его от этого былн медлнтельны, как медлительна н речь его.

— Все же, Федор Василнч,— говорил он, обращаясь к Басёнку,— помянем еще раз, как войска у нас расположены, нет ли огрешки в чем-либо...

— Все исполнено, государь,— ответил Басёнок,— как тобе угодно было. От Коломны до Каширы конные дозоры наши, в Кашире полк наших воев, от Каширы до Серпухова конные дозоры, а в Серпухове воевода с заставой, а от Серпухова до Тарусы конные полкн князя Юрия, брата твоего, и дозоры до Алексина...

— Тут спокоен яз,— медленно заметил Иван,— за Юрьем да

за тобой, Федор Василич, как за каменной стеной. За Рязань страшусь, не ведаю добре яз заставы рязанской, и в воеводу веры у меня нету...

— Ништо,— вмешался воевода князь Стрига-Оболенский,— ежели воевода замешкается, то царевич Касим подоспеет...

— Касим-то везде поспеет,— подхватил Басёнок,— как птица летает...

— Опричь того,— продолжал Стрига-Оболенский,— у нас конные дозоры до Бела-омута, а там рязанские. За Рязанью же рязанские дозоры по Оке до Усть-Пары, а от Пары до Касимова-градка — касимовы татары...

— Яз, воеводы, до сего часа не сказывал вам,— снова заговорил Иван,— от брата Юрия весть мне была. Он одобряет мой замысел, а, опричь того, сам придумал манить татар на Коломну...

— Татары, татары!— увидев пыль за Окой и заглушив слова государя, закричали кругом.

Затрубили трубы, поднялись и заплескались знамена, а конные и пешие воины начали строиться.

В пыли показались конники и скачут все ближе и ближе, хотя разобрать, чьи это воины, еще нельзя.

— Дать знать полкам у переправ и бродов,— крикнул Иван,— дабы упредить от бою, ежели сии конники князя Юрия!..

Помчались разом вестники от холма во все стороны отдавать воеводам и начальникам воинским приказ государя.

Ближе и ближе конники, и видно уже, как плещут на древках их московские стяги. С полного хода пошли у переправ конники вброд и вплавь через Оку. Выходят на берег, тут же разворачиваются боевым строем и становятся плечо о плечо с другими московскими полками. Вдруг громкое «ура» загремело по всему берегу — воины узнали князя Юрия, спешившего к ставке великого князя Ивана.

Обнялись братья и облобызались, и Юрий говорит торопливо:

— Все сделано, что мной было придумано и тобой, государь, одобрено. Заманил яз татар на Коломну. Часу не пройдет, тут будут. Яртаул же их мы почти весь посекли. Отпусти меня ныне, государь, к полкам моим. Чаю, они по приказу моему уж у Каширы стоят. Велел им, как с тобой решено, от Тарусы и Алексина сюда пригнать...

— С богом, Юрьюшка, с богом,— ласково молвил Иван, не отрывая глаз от степей заокских, где далеко-далеко, еле видно, словно дым, опять заклубилась пыль...

Татары напали стремительно, и вдоль всего берега, и справа и слева от Коломны, завязались ожесточенные бои у всех переправ

через Оку. Татары прут неудержимо через броды, плывут на конях и, будучи отбиты, но подгоняемые следующей волной степной конницы, снова стремятся к речным переправам. Из степи же мчатся непрерывно конные полки с гиком и криком, с неистовыми воплями и бросаются к реке. Все же бой идет в перестрелках и кое-где только в недолгих рукопашных схватках мелких отрядов...

Снова волнуется Иван от нетерпения, ждет вестников от Юрия из Каширы и от царевича Касима из Рязани, где тот соединился с рязанским воеводой. Уж пятый час как подошли татары и бьются у переправ.

Хмуриться и волноваться начал и сам Федор Васильевич Басёнок, а князь Стрига-Оболенский не выдержал и сказал Ивану:

— Государь, не пора ли нам обход поганых начать справа от Каширы, а слева от Бела-омута? Жмут они нас в лоб у Коломны, прорвать могут...

— В обход, говоришь?— медленно ответил Иван, бледнея.— А как обходить-то — со лба или с тыла?

— С тыла бы лучше,— усмехнулся Басёнок,— да ведь мы-то с ними лоб ко лбу бьемся...

— Пождем еще половину часа, а там как бог даст и как вы, воеводы, решите...

— Вестник от князя Юрия к государю!— крикнул начальник княжой стражи Ефим Ефремович, подскакав к ставке с конником князя Юрия.

— Будь здрав, государь,— быстро и враз начал вестник,— князь Юрий повестует: «Последние полки седи-ахматовы прошли на Коломну. Съединились мы с царевичем и воеводой рязанским возле Зарайска, как ты нам указал. Полкам же своим повелел яз, перейдя реку у Каширы, правым берегом идти до Усть-Осетра и к Зарайску. Воевода же рязанский гонит с конными полками к Белу-омуту. Мы ж с царевичем Касимом прямо в тыл татарам...»

— С богом в обход, воеводы!— перекрестясь, громко крикнул Иван.— Сей часец можно и со лба начинать. Навстречу князю Юрию и рязанским...

— Будь здрав, государь!— крикнули разом оба воеводы и помчались каждый к полкам своим.

Оставшись в ставке с одним Иваном Юрьевичем, братом своим двоюродным, Иван напряженно следил за кровавой борьбой у переправ...

— Государь,— обратился к нему молодой воевода,— дозволь мне с полками своими, дабы сбить в кучу поганых теснее, в лоб им от Коломны ударить...

— Прав ты, прав,— радостно отозвался Иван, поняв его мысль.— Сие укрепит наших воев, и сим исхитрим у татар не мало: отвлечем их от обходов...

Ускакал воевода, и в ставке остался один Иван, и вдруг тревога и страх охватили его. Не за себя страх, а за то, что не все правильно им решено было с воеводами и что уйдут из сетей татары...

Но вот видит он, мчатся полки Ивана Юрьевича, слышит их крики «ура», и гуще летят русские стрелы, и теснят у переправ воины татар, вот и реку переходят на бродах...

— Ур-ра! Урра-а!— гремит всюду, но татары не сдаются. Гуще и гуще скопляются они у реки, а русские, хоть и бьются крепко, отступать кое-где начинают, татары же кричат и визжат, сверкая кривыми саблями. Отбивают их русские, снова теснят и снова отступают. Больше и яростней разгорелся бой, дрожат руки у Ивана, и словно окаменел он на коне своем, не сводит глаз с битвы. Вся душа его и вся жизнь его дрожит и бьется с каждой переменой в сражении, и все же он слышит, как рядом с ним старик Илейка, когда начинают теснить татары, громко шепчет:

— Господи, помоги! Не погуби, господи!..

Когда же гнутся татары под ударами московских воинов и бегут, он, не то плача, не то смеясь, кричит:

— Бей, православные! Бей поганых...

Этот крик и жалостливый шепот истерзали всю душу Ивану, и в гневе готов он был накричать на старого дядьку, но вдруг на реке все переменилось. Будто чудо случилось: отхлынули от реки все татары, а в степи слева и справа заклубилась пыль. Вздрогнул Иван от радости и закричал громким и звучным голосом, подобно отцу своему:

— Наша пора наступила! Вперед на поганых!..

Окруженный стражей, при кликах «ура», поскакал он к берегу, к переправам, которые уже миновали московские конники, гонясь за бегущими татарами...

С трепещущим сердцем скачет Иван по полю и видит, как наперерез татарам то справа, то слева один за другим вылетают из засад отряды русских конников и, сверкая саблями, врубаются в ряды врагов и секут их без пощады. В смятении великом мечутся татары из стороны в сторону и вдруг, словно обезумев совсем, помчались назад, но, встретив полки, которые за ними гнались из Коломны, закружились в кольце русских со всем полоном своим и с обозами...

Уже полная луна ярко озаряла окрестности, когда окончилась битва. Иван с воеводами вместе объехал поле, усеянное трупами

людей и коней, осмотрел обозы татарские с награбленным имуществом и товарами, мельком оглядел коней татарских и поехал к полону, окруженному теперь уж не татарской, а русской стражей.

Догнав его, подскакал на взмыленном коне только что вернувшийся из погони царевич Касим.

— Будь здрав, государь!— крикнул он, прикладывыя руку ко лбу, устам и груди.— Живи сто лет, государь!

— Будь здрав и ты,— приветливо ответил Иван.— Много ль ушло ордынцев-то?

— Две сотня бежал. Мой гнал и сек много. Полсот в Орду не пригонит...

— Пущай бегут, не жалей о том,— весело усмехнувшись, сказал Иван,— не своих же нам слать к хану с вестью о победе...

Среди плененных татарами были не одни только русские, но были также черкесы, мордва, камские булгары и прочие. Радостные возгласы и плач женщин услышал Иван в толпе испуганных и измученных людей, узнавших великого князя. Иван круто повернул коня и, отъехав в сторону, сказал взволнованно воеводам, сопровождавшим его:

— Челом вам бью и воям всем нашим за верную службу государям своим и Руси православной. Утре скажет сие князь Юрий от лица государей пред полками. Сей же часец яз с братом поеду в Коломну.

Иван помолчал и добавил:

— Как нарядите всё, что надобно, с Юрием в Москву все жалуйте, и ты, царевич Касим, победу праздновать...

Под гул благодарственных и напутственных слов Иван поехал с Юрием в сопровождении стражей.

Дорогой братья молчали, но обоим было хорошо и радостно, как в детстве, когда так же вот не раз ездили они вместе и в дни горя и в дни радости, и ездили с ними и Васюк и этот вот старый Илейка.

В Коломну прискакали они в одиннадцатом часу ночи, но в хоромах воеводы не спали, ожидая государя. На дворе Ивана охватил прелый и мирный дух хлевов и конюшни, а когда он слезал с коня, то ясно так почуял запах конского пота и разогретых ремней конской сбруи...

— А помнишь, Иване,— засмеявшись, спросил вдруг Юрий,— как ночью нас в селе Та́нинском сонных из возка выводили?

Иван засмеялся тоже и молвил:

— Кашу потом ели и за столом уснули...

Где-то в хлеву сонно прокричал петух, и на его крик стали откликаться один за другим петухи в соседних дворах. Особая ночная тишина и покой родной земли чуются кругом.

— Разгромили поганых мы, Юрьюшко,— говорит Иван, сладостно потягиваясь,— и нет страху. Не грозит никому уж ни смерть, ни пожар, ни полон...

Юрий смотрит на брата, улыбаясь, но глаза его сами закрываются от усталости.

— Спать хочу, Иване,— молвит он вполголоса и длительно позевывает.

Иван тоже позевывает и, вспомнив Марьюшку и Ванюшеньку, глубоко и радостно вздыхает.

— Завтра на рассвете яз в Москву еду,— говорит он,— а ты заверши тут все, что надобно, и возвращайся с полками борзо. Вези и товары. Христиан же всех на волю ослобони. Мы тобя с отцом ждать будем...

В Москве все уже было известно. С ночи еще прискакали конники к Василию Васильевичу с вестью о победе над татарами под Зарайском и о скором возвращении Ивана. Готовили москвичи торжественную встречу юному победителю. Сам митрополит Иона, невзирая на свои немощи, с утра во главе всего духовенства ожидал любимца своего.

— От детских и отроческих лет знаю государя нашего,— говорил он окружавшему его клиру в Архангельском соборе.— Божьим перстом отмечен он, и помяните слова мои, будет он великим государем. Одарен бо и силой телесной, и силой духовной, и разумом, как никто из ведомых мне государей из прежних и из нынешних. Верую аз, грешный,— начертал ему господь становить Русь великую и вольную, быть ему первым вольным государем.

Торопливо вбежал церковный служка и крикнул:

— Дозорны бают, едет!.. Из дозору признали!..

И враз загудели колокола во всех церквах. Владыка с клиром вышел из храма, направляясь к Чушковым воротам[1].

За полверсты от Кремля встретила Ивана стража Василия Васильевича во главе с начальником своим.

Скакал Иван среди кремлевских конников, и весело было у него на сердце. Слышны были отдаленные звоны церковные, и радостный, сияющий полдень в полном блеске своем стоял уж над расцветающей весенней землей.

Думал молодой государь о победе своей и о том, что славно все он измыслил и еще славнее исполнил; думал и о Марьюшке, и о Ванюшеньке, и о скорой встрече с ними и с Москвой всей. Но более всего то его радовало, что знал он, как лучше бить и преодолевать степных конников.

---

[1] *Чушковы ворота* — Тайницкие ворота.

— Обходы, обходы,— шептал он,— вот оно, главное-то. Да еще многие дозоры и вестники, непрестанно вестники...

Думал он и о том, что всегда надобно, как бабка говорила: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»...

— Ежели отрезать, то уж совсем напрочь!— сказал он вслух и рассмеялся.

У Чушковых ворот встретили Ивана клиры церковные, бояре и воеводы с полками из заставы московской, и посадские черные люди и сироты.

— Ура! Ур-ра!— не смолкали кругом крики народа, пока шел Иван рядом с владыкой, впереди клира церковного, к собору Михаила-архангела. Здесь встретил его на паперти князь великий Василий Васильевич и, заплакав от радости, всенародно обнимал и лобызал сына своего и соправителя.

Молебен благодарственный за победу и о здравии государей и воинов служил сам митрополит Иона и произнес потом слово похвальное юному государю, закончив его так:

— Удостоил мя господь дожить до славы твоей, Иване, когда ты настоящим государем становишься. Вся Русь тобе земно кланяется — и не токмо большие люди, а наипаче посадские черные люди и сироты, а святая церковь тя благословляет. Аз, многогрешный, ныне же заложу для-ради похвалы твоей церковь каменную — Похвалу Пресвятыя богородицы, приделаю к алтарю Соборныя Пречистыя, возле южных дверей...

Когда Иван, поздоровавшись с матерью, поспешно прошел в хоромы своей княгини Марьюшки, забыл он о всех делах и успехах своих. Будто сомкнулся для него весь мир в этих покоях, где Марьюшка и маленький спящий Ванюшенька теплой, сладостной лаской и негой переполнили его сердце.

— Никогда яз не вкушал такой радости,— говорил он, обнимая свою юную супругу,— не вкушал, Марьюшка, счастья подобного...

Никуда не захотел идти отсюда Иван; тут и обедал он, тут и почивал с семейством после трапезы...

Все же пробудился он ото сна в надлежащий час и пошел в свой покой, куда вызвал к себе молодого подьячего Федора Васильевича Курицына.

Сидя на любимом месте, возле самого окна, он с увлечением и жаром рассказывал другу своему о битве с татарами.

— Яз,— говорил он,— еще в Москве, как токмо весть о татарах пришла, вспомнил враз Оку-реку, что дугой к Москве у Коломны выгнулась, и все мне понятно стало...

— Она, Ока-то, словно водяной ров возле града,— подтвердил Курицын.— Коломну бережет и к Москве путь пресекает...

— Сие давно ведомо,— прервал его Иван,— токмо главного-то наши воеводы не разумели: Коломна-то у самой верхушки сей окской дуги. Вот оно что!

— Все воеводы наши тут всегда у всех переправ и бродов стояли и не пущали к ним ордынцев, а ежели...

— И сие все ведомо,— опять прервал Курицына юный государь,— а надобно было не токмо не пущать татар, а в дугу сию речную их загонять да обходами потом с тылу их бить. Когда же яз о сем с воеводами баил, усмехались они, но ослушаться не смели. Тогда вызвал яз брата Юрья, в ратных хитростях весьма скорометливого, и поведал ему все. Юрий же, хвалу мне воздав, придумал еще не токмо теснить татар к Коломне, а и хитростью манить их, якобы отступая с боем пред силой татарской. Когда же все сие свершилось, татар мы, яко рыбу в сеть, загнали, то и Басёнок и Стрига нас похвалили...

Иван помолчал, думая о военных делах, и добавил:

— Мыслю яз так: перво-наперво надобно всю окрестность знать, где бой принимаешь; засим надобно вражьи полки с боем на те места манить, где нам выгодно, и там их доржать; самим же в обход главной силы идти, где можно, дабы потом в тыл ударить...

— Велик ты, государь, в военных деяниях,— взволнованно воскликнул Курицын,— велик ты на воеводстве, как и в хитрости государствования! Несть государя нужней для Руси, чем ты!..

Иван протянул руку другу своему, а тот горячо облобызал ее.

— Прав ты в едином,— сказал Иван,— хитрость государствования и хитрость ратная схожи, ибо рать токмо частица государствования: либо защита, либо ускорение замыслов государственных...

— Верно,— пылко отозвался Федор Васильевич,— нам рати надобны, дабы отбиться навсегда от татар...

— А для сего перво-наперво всех ворогов у себя на Руси истребить, дабы силой всей русской на татар идти...

Они замолчали, каждый отдавшись своим думам.

Постучав в дверь, вошел молодой воевода Иван Юрьевич Патрикеев. Иван обрадовался двоюродному брату, которого еще более полюбил после боя под Коломной за храбрость и сметливость в ратных делах.

— Что поведаешь, брат мой,— по-семейному встретил его Иван,— садись подле меня. Как здрав?

— Бог милует, а ты как здрав?

— Ну и меня милует. Садись ближе, сказывай.

— Государь кличет тя на думу о Вятке. Своевольничает Вятка-то... Меня отсылает государь.

Иван радостно усмехнулся, подымаясь со скамьи.

— Государь и без очей все видит. Всегда он чует, где зло против нас,— молвил он и, обратясь к Курицыну, добавил:— И ты иди с нами думу думать...

В опочивальне у великого князя уже сидели за столом второй сын его, князь Юрий, и воевода князь Димитрий Иванович Ряполовский.

— Ты, Иване?— спросил Василий Васильевич.

— Да, государь, с князем Иваном и Федором Васильевичем...

— Добре, добре,— молвил великий князь,— садитесь, думати будем о Вятке. Своевольничает вельми. Воеводы-то наши Перхушков, князь Горбатов да князь Семен Ряполовский ни с чем прошлый год вернулись, норовили вятичам! Бают, посулы с них брали, сучьи дети...

— Государь, отпусти на сей раз князя Ивана Юрьича Патрикеева,— предложил Иван.— Видал яз его под Коломной,— храбр он и скорометлив. А про Перхушкова-то и князя Горбатова, может, бают напраслину. Может, просто бог им ума и сметливости не дал...

Василий Васильевич, нахмуря брови, долго молчал, потом сказал:

— Может, право ты мыслишь, Иване, не корысть тут, а немощь разума. Токмо все едино веры у меня в них нет...

— И у меня нет,— согласился Иван,— не надобны государям такие воеводы, из-за корысти ли их, воровства, или неразумия — токмо вред и зло государству, а государям бесчестье.

— Ин пусть будет по-твоему, Иване,— опять помолчав, промолвил Василий Васильевич,— отсылаю яз на Вятку Ивана Юрьича, а с ним вместе Ивана Иваныча Ряполовского, воеводу нашего...

Обратясь к другому сыну, он добавил:

— А ты, Юрий, пошто молчишь? Ратное дело добре ведаешь...

— Яз, государь,— живо откликнулся Юрий,— со всем согласен, токмо бы еще князя Димитрия Иваныча с ними отослал. Добре он те места знает...

— Разумно все сие придумано,— весело воскликнул Василий Васильевич,— с богом, воеводы, с богом все трое на Вятку. Град сей был правой рукой у Шемяки проклятого, а ныне у Новагорода... Идите, воеводы, соберите многую ратную силу и с божьей помощью руку сию у Новагорода отсеките.

Встали воеводы и, простясь со всеми, вышли из княжой опочивальни. Но Иван, сделав знак брату, остался. Васюк стал раздевать Василия Васильевича, снимая с него сапоги.

— Ко сну пора мне, дети мои. Идите. Помолюсь яз да

опочину,— сказал Василий Васильевич и, позевывая, спросил:— Скажи мне, Феденька, ведь ученый ты, верно ли, что скоро солнце и месяц гибнуть почнут? И к чему сии знамения небесные?..

— Истинно, государь, будет сие,— ответил Федор Курицын.— Писано о сем в святцах булгарских с семеричисленником, что отцу Лександру един инок булгарин со своего списал. Сказано тамо: «В лето шесть тыщ девятьсот шестьдесят восьмое[1], июня в восемнадцатый день, почнет Солнце гибнуть...»

— Попы бают, светопреставление будет,— заметил Василий Васильевич.

— В святцах тех булгарских,— возразил Курицын,— показано, что и ране сего солнце много раз затмевалось и после много раз затмеваться будет. Те же затмения, что ранее бывали, в те часы свершались, кои в святцах впредь исчислены были. О светопреставлении же ништо там не указано, ибо никто о сем не ведает и ведать не может...

— Дозволь мне, государь,— заговорил Иван,— не о небесных, а о земных знамениях тобе молвить.

— Сказывай, Иване.

— Слухи есть, что не токмо седи-ахматовы татары зло нам готовят, а и сам царь Золотой Орды Ахмат, сын Кичиахматов, на Русь подымается. У Юрья о сем спроси — он ведает...

Василий Васильевич недоверчиво усмехнулся.

— Какая сорока вам на хвосте носит?

— Мне,— горячо заговорил Юрий,— царевич Касим сказал. У него степные дозоры за последнее время часто видят, как послы и гонцы в Большую Орду снуют, из Орды — тоже. Лазутчики же его бают, что Великий Новгород руку к сему прикладывает...

— И яз так мыслю,— вмешался Иван.— Что за щитом новгородским Польша и Литва прячутся...

— Истинно сие, истинно,— подхватил Федор Курицын,— давно отцы наши духовные твердят, что папа римский в Орде своих бискупов да лыцарей у царя ордынского держит, они послы его и соглядатаи. И нас латыняне хотят погубить, ежели не унией с помощью новгородцев, то силой татарской!

Иван, сдвинув брови, сказал:

— Пока Новагорода не покорим, сия гроза висеть будет. В Новомгороде же, яз мыслю, черные людие и сироты повсеместно за нас будут — все хотят под Москву православную и латыньства не примут. Токмо бояре, купцы да князи ради корысти и господства на всякую ересь и на воровство пойдут...

Замолчали все. Василий Васильевич задумался, застыв непод-

[1] 1460 год, когда было затмение солнца.

внжно, и лицо его, как у всех слепцов, казалось окамеиевшим. Но вот губы его дрогнули усмешкой.

— Бог не выдаст, свинья не съест,— сказал он, как бы размышляя вслух.— Право все вы мыслнте, что вороги иаши гнездо свое свили в Новомгороде. В сем гнезде осином все зло против нас копится и из него на Русь ндет! Прав ты, Иване, сии знамення грозней небесных, нбо идут уж онн по земле нашей.

— Псков вот приласкать надобно,— заговорил Иван.— Теснят его немцы и Новгород. У нас токмо ему опора н защита...

— Истинно, сынок,— согласился Васнлнй Васнльевич, думая о другом, и продолжал свои мысли вслух:— Надобно мне в сем осином гнезде самому побывать, вызнать все. Ныне у нас в Новомгороде своя рука есть стараинем владыкн Ионы: ныне ведь он тезку своего, священноннока Иону, в архнепнскопы иовгородские рукоположил. Сей Иона, хоть и любнт Новгород, а стонт против Лнтвы, за Москву он. Возьму яз в помощь собе Юрья да дьяка Беду и еще Андрея большого, дабы прн мне все время вместе с Васюком был. Там же есть еще верный наш дьяк Степаи Бородатый.

— А для охраны?— спросил Иван.

— Федора Васильевича Басёнка возьму с его коиннкамн, сотнн три хватит,— мнром ведь идем. В Москве же ты, Иван, меня вместо с владыкой Ионой останешься, и Федор Курнцын с тобой для совета...

— Государь,— всклнкнул Иван,— ты токмо вестн всяк день мне шли, дабы яз готов был к тобе борзо пригнать. Мы же с Юрьем так дозоры и заставы наряднм, что враз, как надобио будет, многие полкн конные прнгоннм тобе в пóмочь.

Глава 5

В ОСИНОМ ГНЕЗДЕ

Средн зимы тысяча четыреста шестндесятого года, в первых чнслах января, велнкнй князь Василий Васильевич послал гонцов в Новгород с вестью, что он едет в вотчину свою «мнром», дабы поклониться древиим святыням новгородскнм. Выехал он вместе с сыновьямн своими Юрием и Андреем, с дьяком Бедой и Васюком. Ехали они все в большом возке, окружеииые лучшимн коиннками во главе с любимым воеводой государя, Федором Васильевнчем Басёнком.

Ехали не торопясь, оставляя в разных местах небольшие дозоры н вестников, как это было намечено князем Юрнем

вместе с Иваном. Все ж двадцатого января они были уж у Новгорода.

— А скажи, Василь Сидорыч,— обратился князь Василий к дьяку Беде,— как, по-твоему, в сем осином гнезде гудеть ныне будут?

— Гудение их все то же, государь,— ответил дьяк,— вся господа их к Литве и Польше гнет, под круля польского хотят. Особливо же зло на Москву мыслят из бояр: Борецкие, Селезневы, Сухащевы, Арзубьевы, Своеземцовы. У Своеземцовых-то, опричь иных имений, весь Важский уезд вотчина...

— Ну, а как житии люди?— перебил дьяка Василий Васильевич.— Купцы как?

— Житии, государь, и туды и сюды. Пошлые-то[1] боле с господой, а и то не все...

— А владыка?

— Сам, государь, знаешь. По церковному-то за Москву он, мерзит ему латыньство, а все ж новгородец он. Вотчин же у него и казны поболе будет, чем у Своеземцовых-то и всех прочих. Свой полк из латников имеет. Токмо яз мыслю, ежели добра его не зорить...

— Да,— молвил Василий Васильевич, обращаясь к Юрию,— прав наш Иван-то. Есть трещина у Новагорода. Пора град крамольный по сей трещине наполы разорвать и под свою руку взять...

Василий Васильевич помолчал и, задумавшись, потом молвил:

— Да. В осиное гнездо едем. Токмо на страх их надеюсь. Иван-то в Москве, а они Ивана боятся, да и митрополит с ним. Сие страшно для владыки новгородского. Все же в гневе своем и злобе безумными люди бывают, против разума идут. Ну, да поглядим, как нас встречать будут. Передовые наши, чаю, у владыки уж сей часец. Где мы теперь?

— У Юрьева монастыря, государь,— ответил дьяк.— Яз мыслю, к владыке нам ехать...

Звон колокольный заглушил слова его, а возок остановился. Подскакал к нему воевода Федор Васильевич со стражей своей и, поздоровавшись, громко сказал:

— Игумен с братией встречает тя, государь. Владыка гонцов ему из своей тысячи пригнал, сказывал игумен-то...

Василий Васильевич ничего не ответил, только усмехнулся и с помощью Васюка и Юрия вышел из возка. Отслушал он молебен и после окропления святой водой пожертвовал монастырю крест напрестольный серебряный. После этого княжой поезд во

[1] *Пошлые купцы* — наиболее богатые, платящие большую пошлину.

главе с конниками двинулся к Софийской стороне Новгорода по льду озера Мячино, монастырской зимней дорогой.

— Государь,— сказал Юрий,— мы с Федор Василичем перво-наперво «окрестность оглядим», как сказывает Иван, а затем круг нашего постоя так конников своих расставим, дабы враз можно было во всякое время поднять их всех...

— Добре, добре, сынок,— отозвался Василий Васильевич,— токмо вот, где там на постой нам стать? Как ты мыслишь, Василий Сидорыч?

— Я мыслю, государь,— почтительно ответил дьяк,— что владыка новгородский встретит тобя у Софии с господой вместе, обед будет во Владычной палате[1], где думает думу Совет господ. Вельми дивна сия палата. Потолок у ней каменный, из четырех сводов, которые на столб каменный в середине палаты опираются, а все они красно расписаны...

— Не главное сие,— перебил дьяка князь Юрий,— ты скажи, где нам постоем стать лучше, дабы вреда нам сотворить не могли.

— Мыслю,— продолжал дьяк,— наиболее добры для сего на Владычном дворе Никитские хоромы каменные в два яруса, али Великий терем с часами, али еще иные хоромы возле собора святой Софии.

Звон колоколов, справа и слева, заглушил разговоры. Поезд великого князя, проехав Людин конец и проездные ворота Спасской башни, теперь двигался уж по южной, Княжой половине Кремля.

— Едем мы, государь,— кричал в ухо Василию Васильевичу дьяк Беда,— едем промеж церквей Покрова Пречистыя и Андрея Стратилата...

В этот миг покатился вдруг такой могучий гул, густой и низкий, как будто рев громовый, а сквозь гул этот, словно смех серебряный, словно жаворонки, звенели радостным перезвоном малые колокольцы...

Умилился Василий Васильевич от красоты такой и, сняв шапку, истово перекрестился.

— Гласы райские,— воскликнул он,— истинно гласы божьи!..

— По Пискупле[2] едем, государь,— продолжал кричать ему дьяк,— к звоннице соборной подъезжаем, а оттоль свернем влево, к святой Софии и ко Владычному двору...

---

[1] *Владычня*, или Престольная палата, позднее известная под именем «Грановитой».

[2] *Пискупля* — улица, искаженное «Епископская» — главная улица новгородского кремля.

Когда князь Юрий помогал отцу выходить из возка у южной Золотой паперти святой Софии перед Васильевскими вратами, горевшими и сверкавшими золотой насечкой русской златокузнецкой работы, новгородский архиепископ Иона и клир его в парчовых ризах, остановясь на ступенях паперти, запели молитвы. Потом, продолжая петь, двинулись все в знаменитый по всей Руси храм через Васильевские дивные врата, мимо шести надгробий, над могилами похороненных здесь архиепископов новгородских.

У стены, противоположной входу, перед старинной иконой Корсунской божьей матери, владыка отслужил молебен и, благословив великого князя, спросил почтительно:

— По здорову ли ехал ты, государь?

— По благости божьей здоров,— приветливо ответил Василий Васильевич и добавил:— Здесь же усладил яз душу свою райскими звонами соборной звонницы и скорблю токмо, что лишен радости очами зрети великолепие храма сего...

По предложению владыки государь со всеми своими спутниками прошел в придел рождества богородицы и приложился к мощам новгородского князя Мстислава Храброго, а под аркой придела этого — к мощам Никиты, епископа новгородского.

Князь Юрий, изумленный красотой и богатством собора, склонился к отцу и молвил:

— Вот Ивану бы все сие видеть!

— Увидит, бог даст, все увидит,— тихо ответил Василий Васильевич.

Из храма, взяв под руку великого князя, повел его к выходу сам архиепископ Иона через западные Сигтунские врата.

Эти врата, из сорока трех бронзовых пластин с литыми изображениями событий святого писания, были не менее изумительны, чем Золотые у южной паперти. Были они взяты новгородцами из разрушенной ими шведской крепости Сигтуны в тысяча сто восемьдесят седьмом году.

Слушая эти объяснения владыки, воевода Басёнок шепнул Юрию:

— Ныне ж зажирели они для ратей-то...

— А сей часец, государь,— громко заговорил архиепископ,— молю тя и всех, кто с тобой, вкусить трапезы нашей в Престольной палате.

Выйдя на паперть через западные врата и увидев на площади бояр в богатых одеждах, многих вящих людей новгородских и человек пятьдесят латников в полном вооружении, Юрий и Басёнок невольно переглянулись. Заметив это, дьяк Беда молвил им вполголоса:

— Сии воины — почетная стража из владычного полка, а мужи

сии в драгих шубах с золотом и в златых поясах с самоцветами — сама господа новгородская: бояре Борецкие, Селезневы, Арзубьевы и прочие.

Дьяк пригнулся к уху Юрия и добавил шепотом:

— Волки все в овечьих шкурах...

После торжественного обеда у архиепископа Василий Васильевич, разместившись в покоях Никитских каменных хором, наиболее удобных, по мнению Басёнка и дьяков, позвал всех близких к себе в опочивальню думу думать. Встревожен был великий князь. На трапезе в Престольной палате много слышал он ласкательств разных, но ухо его, как у всех слепцов, к голосу человеческому чуткое, за льстивыми словами многое такое услышало, что ухо зрячего не всегда услышит.

— Голоса-то у них,— молвил он собравшимся,— больно неверные. В словах правда и верность, а в голосах-то лжа и воровство чуются. Как у нас, Юрий, со стражей? И как ты, Федор Василич, о сем мыслишь?

— Яз, государь, с нашей стражей и конниками от полка Федор Василича с тобой буду. В хоромах для всех своих воев добрые места нашел. Можем хошь в осаде сидеть, хошь напролом идти.

— Яз же, государь,— добавил воевода Басёнок,— с полком своим внизу Великого терема в разных местах стал, а с полсотни в черной избе поставил, что меж сих хором и теремом посередке стоит. Опричь того, тайну стражу, где надобно, выставил скрытно от глаз. Ни к тобе, государь, ни ко мне мышь без моего ведома не пройдет.

— К Ивану бы весточку,— сказал Василий Васильевич.

— Яз послал, государь, гонцов с вестями к Ивану,— быстро молвил Юрий,— о всем, что от дьяков наших ведаю...

— Яз,— продолжал Басёнок,— наказал всем дозорам нашим, которые по дороге мы оставляли, дабы они один за другим к Новугороду спешили, к местам, им указанным.

Василий Васильевич ободрился.

— Главное то, чтоб Иван все вовремя ведал,— сказал он уж спокойнее и, обратясь к дьяку Бородатому, спросил:— Жду от тобя, Степан Тимофеич, что ты о здешних деяниях скажешь?

— Воровство замышляет господа,— медленно и степенно ответил дьяк.— Давно за сим гляжу, княже мой. Прав молодой государь-то Иван Васильевич, сказывал мне князь Юрий, как он провидит, что за новгородской спиной круль польский и папа рымский стоят. Некуда ныне, государь, господе податься, опричь как к королю польскому. Все людие житии и молодшие, все против господы. Нет в Новомгороде миру совсем — бой идет

повсеместно меж меньших и больших, черных людей с боярами и житьими людьми, а у всех них вместе — против господы...

Дьяк задумался и смолк, хотел общий смысл всего высказать, да трудно ему это было, и, махнув рукой, воскликнул:

— Одно мне ведомо: ненавидит господа Москву, и боится пуще огня, и со злобы своей может содеять многое и против разума...

— Ништо, ништо!— воскликнул воевода Басёнок.— Будем на страже денно и нощно!..

Василий Васильевич молчал, но Степан Тимофеевич, не боясь гнева его, спросил:

— Пошто, государь, приехал сюды миром, токмо со стражей, без войска? Яз бы по зову твоему, не медля, в Москву пригнал и все тобе поведал...

Великий князь сдвинул брови.

— Пошто?— молвил он.— Зрети яз не могу, но все слышу и разумею. Ступайте, яз отдохну с пути. Будут же вести от Ивана, побудите мя сей же час...

Услышав, что все подымаются с мест своих, Василий Васильевич неожиданно ласково добавил:

— Ты, Степан Тимофеич, в тех концах трудись, где есть у тобя, как ранее ты сказывал, мужики твердые и разумные. Вызнай у них все и замолви, что сам знаешь, не мне тобя учить...

— Государь,— горячо откликнулся Бородатый,— есть у меня вельми верные мужики: среди черных людей, почитай, во всех концах новгородских, а из житьих некои, что и к господе вхожи. Покоен будь.

На другой день радостно стало в княжих покоях: с утра еще вести пришли от Ивана о посылке многих конных полков к Новугороду. Успокоился совсем великий князь и весело шутил за обедом с сыновьями и воеводой своим Федором Васильевичем.

— Ныне у нас будет столь войска,— смеясь, отвечал отцу Юрий,— что не токмо против Новагорода хватит, а еще и немцев поганых за их ругание наказать сможем...

— Токмо все сие нужно так справить,— молвил Василий Васильевич,— дабы никто не ведал. А ежели кто и проведает, сказывать, что на немцев идем, Пскову на помощь. Ведомо всем, что у псковичей от самого начала зимы распри и рати идут с немцами...

— Истинно, государь,— согласился воевода,— но яз мыслю, что несть беды великой, ежели новгородцы и о войске сведают. Смирней будут они, собаки! Хвостом почнут вилять...

Вдруг смолкли все и насторожились: за рекой часто и тревожно загудел колокол, словно забили набат при пожаре.

— В вечевой звонят!— крикнул Василий Васильевич. Вскочили из-за стола Юрий и воевода Басёнок.

— Государь,— сказал Юрий,— мы с Федор Василичем к воям своим поспешим. Ты же спокоен будь, все нарядим, как решено было...

— Вестников скорей, сынок, вестников...

— Вестников, государь,— вмешался Басёнок,— сей же часец пошлю встречать полкам московским, а своих всех дозорных, которые близ Новагорода, сюда перегоню...

Воеводы ушли, а великий князь с сыном Андреем продолжали трапезу молча, слушая, как громче все и чаще звонит и звонит вечевой колокол. Когда же совсем уж пообедали и перестал гудеть тревожный колокол, двор Владычный заполнился вдруг шумом и криком толпы.

— Эх, наказал меня господы!— воскликнул великий князь и, обратясь к сыну, горестно добавил:— Ежели бы зрети мне, как ранее, сел бы яз сам на коня и саблей бился бы с ворогом! Зло раньше бился яз с татарами! Ныне ж, яко пленник, сижу и жду, что без меня надо мной содеют...

Шумней и шумней на Владычном дворе. Время же тянется — будто не часы проходят, а целые месяцы. Истомился Василий Васильевич от неизвестности.

— Васюк,— кличет он,— Васюк! Что там деется? Где Юрий? Где Федор Василич?

— Не ведомо мене, государь,— отвечает печально Васюк,— токмо народу-то страсть сколь много на Владычном дворе, а наших воев не вижу.

Но вот быстро входит Юрий с двумя воинами. Он спокоен и сдержан.

— Государь,— говорит он,— привел яз тобе двух воев. Они вестниками будут. Отсылай ко мне, они ведают, где яз буду. Яз же тобе буду присылать своих вестников для-ради твоих приказов.

— А что, сыне, на Владычном дворе деется?

— С веча прибежал народ. Токмо те, кто за господу стоят. Господа же, сказывают, в Грановитой палате на думу собралась, а потом на вече все пойдут...

— А есть тут, на дворе-то Владычном, черные люди?..

— Нет черных. Житии есть, а и то мало. Больше тут слуг боярских да пропоиц всяких. Наши же вои все на местах, а стрелы, копья и сабли у них наготове. Бают они, что черные-то люди у вечевой башни стоят, проведали, что мы в Новомгороде, и, где стоим, ведают.

— Пошто же черные люди сюды не идут?

— Бают, архиепископа там ждут. Господа же его к собе в престольную вызвала, дабы вместе к народу на вече идти...

— Где же дьяки наши!— воскликнул с тоской Василий Васильевич.— Где же Бородатый и Беда?

В покои вбежал дьяк Бородатый.

— Будь здрав, государь,— заговорил он, отдуваясь,— во здравие все нам обернулось. Уф, насилу пробился скрозь толпуто! Встретил яз пошлого купца Ермилу Русанова, сына Микитова. Знаешь ты его, государь, он мужик разумный. Так вот келейник владыки ему сказывал: собралась-де господа в Грановитой и совещалась, дабы убить тобя и детей твоих, государь...

— Псы поганые!— воскликнул в гневе Василий Васильевич.— Потом вы мне своими головами заплатите, когда время придет!..

— Став же противу них,— продолжал Бородатый,— архиепископ Иона возопил им в гневе: «О безумные люди! Аще великого князя убьете, что приобрящете? Токмо большую язву Новугороду доспеете. Великий князь Иван сам пойдет тогда и повоюет все вотчины наши! Иван-то токмо и глядит с Москвы, как ястреб, на град наш!» Тут как вскочит старый посадник Акинф Сидорыч, как закричит истошно: «Глядит он, видал яз, как глядит! Он, как сам сатана глядит! Не тревожьте князя Василья, не тревожьте! С Васильем-то жить нам, а от Ивана гибель всем нам, гибель!» Всполошил всех криком своим, а сам без сил на скамью повалился. Смутились тут злодеи окаянные, стали мысли свои от злотворенья отвращать...

Хотел было Василий Васильевич что-то сказать, да в этот миг загудел, зазвонил опять вечевой колокол, и на Владычном дворе снова крик и шум пошел великий. Заволновались все, а Юрий крикнул:

— Будьте все тут спокойны, а яз к воям своим иду. Ежели Басёнок да Стрига восьмью сотнями пять тыщ их разбили, то у нас тут более полка воев! Опричь того, всяк час дозоры подходят, и гонят денно и нощно с Москвы конные полки нам на помочь.

— Стой, стой, княже Юрий Василич,— остановил его дьяк.— Не все яз поведал. В колокол посадские черные люди звонят. Сие есть знамение, дабы всем идти им к святой Софии, поддержать архиепископа против господы...

— Спаси бог тя, Степан Тимофеич,— сказал Василий Васильевич, протягивая руку дьяку Бородатому.— Добре порадел ты для государей своих...

Января двадцать второго, в день рождения великого князя Ивана Васильевича, псковское вече, узнав о приезде Василия Васильевича, спешно выслало послов своих в Новгород. Сильно в это время теснили псковичей ливонские рыцари с запада и с северо-запада, пустошили и грабили их земли.

Послы псковские прибыли рано утром двадцать четвертого

января. И после утренних часов пришли к великому князю в Никитские хоромы с малой, но верной стражей, как обычно купцы ездят, перевозя дорогие товары.

Василий Васильевич с сыновьями своими, встав из-за стола и выйдя в передний покой, совещался с воеводой и дьяками. Он был теперь твердо уверен в силе своей — князь Стрига-Оболенский подходил уж к Новгороду, и новгородцы об этом знали, стали еще ласковей. Василий же Васильевич и все, кто с ним был, о недавнем заговоре молчали, будто о нем и не подозревали.

— Государь,— сказал Бородатый,— утресь, как токмо врата отворили, послы псковские в град въехали. Мыслю, с часа на час к тобе будут. Как прикажешь с ними быть?

— Принимать,— немедля ответил великий князь,— пусть новгородцы ведают, что мы не токмо, как они, берем, а и подмогу даем. После беседы с ними яз на трапезу их позову. Васюк, прикажи там все слугам нашим. Сколь же их всех быть может?

— Не боле десяти,— ответил Бородатый.— Посадники да бояре по одному с конца. Концов же во Пскове шесть.

— А яз, государь,— молвил воевода Басёнок,— прикажу стражу и слуг посольских у собя в полку накормить и напоить добре!..

Вошел начальник княжой стражи Ефим Ефремович.

— Приехали послы псковские, государь,— сказал он, кланяясь.— Как прикажешь?

— Веди с почетом, а вы, дьяки, на крыльце их встречайте, и ты с ними, Федор Василич. Яз же пойду в праздничное все оболочуся...

Когда великий князь и сыновья его в нарядных, богатых кафтанах вернулись в передний покой и сели на своих местах, послов с почетом привели к ним.

Псковичи без шуб, в дорогих кафтанах степенно вошли во главе с посадником Максимом Ларионовичем в передний покой, и, отыскав глазами икону, стали истово креститься. Слуги же их, неся многие дары, остались у порога.

— Будь здрав, государь, и сыны твои,— помолившись и низко кланяясь, сказал Максим Ларионович.

Василий Васильевич и сыновья его встали.

— Будь здрав, Псков, моя вотчина, будьте здравы и вы,— ответил Василий Васильевич и, садясь, добавил:— Садитесь, бояре. По здорову ли ехали?

— Божьей милостию здравы, государь,— кланяясь и садясь, почтительно молвили послы.

Они смолкли, как требовало приличие, и заговорили снова, когда сам Василий Васильевич спросил их о цели прибытия.

— Послы мы к тобе, государь, от веца,— начал Максим Ларионович, цокая, как все псковичи, вставая и оправляя на

себе золотой пояс,— бить целом тобе, государю нашему, дабы жаловал ты нас.

Он снова поклонился, а за ним и все псковичи, и продолжал:

— Приобижены ныне мы от немцев поганых и водою, и землею, и головами, а на Желачко и на Озоличе церкви православные пожжены поганой латынью. Все сие немцы творят, мир с нами имея и крестное целование! Опричь тобя, государь, никто же нам не пособит...

Посол поклонился и, помолчав, добавил:

— Еще молим тя, государь, утверди у нас псковским князем и наместником своим князь Александра Василича Черторижского...

Опять послы низко поклонились, а посадник, поманив к себе слуг своих, продолжал:

— Еще твоя вотчина молит тя дары сии принять милостиво: пятьдесят рублев новгородских старых, сукна и бархаты немецкие и фряжские, а также кубки и чарки золотые и серебряные, вельми хитро изукрашены.

Когда передавали дары великому князю, поспешно вошел начальник стражи и доложил:

— Приехал на санях архиепископ новгородский и посадник Карп Савинич.

— Юрий,— молвил Василий Васильевич,— встреть с почетом гостей, сам помогни владыке из саней выйти... Вы же, гости дорогие, не посетуйте, ежели при беседе нашей будут архиепископ и посадник новгородский. Дары ваши принимаю. Спаси бог и помилуй град Псков и земли его. Жалую Псков, даю вам наместником своим и князем псковским князя Александра, но токмо с тем, дабы он крест целовал мне и детям моим, зла не мыслити. Крест же на том целовати по любви, без всякого извета, при послах наших московских...

Василий Васильевич замолчал, услышав шум шагов в сенцах передней. Слегка заскрипев, отворились двери; княжич Андрей, склонившись к отцу, молвил вполголоса:

— Государь, Юрий, владыка и посадник пришли...

— Будь здрав, государь,— сказал громко новгородский архиепископ Иона, перекрестившись на иконы, и благословил потом общим благословением всех присутствующих, низко пред ним склонившихся.

— Будь здрав, государь наш,— повторил за владыкой посадник Карп Савинич.

Василий Васильевич встал со своего места.

— Проводи мя, Андрей, до владыки,— сказал он сыну и, приблизясь к архиепископу, молвил:— Благослови мя, отче.

Приняв благословение, великий князь добавил, обращаясь к новгородскому посаднику:

— Будь здрав и ты, Карп Савинич. Садитесь с боярами псковскими, ближе ко мне...

Дьяки Бородатый и Беда усадили их на подобающие им места.

— Государь,— оживленно сказал один из псковских посадников,— дай слово молвити.

— Сказывай,— ответил великий князь.

— Тут, государь, есть вот посадник новгородский, Карп Савинич. Подтвердит он нашу обиду. Приходил он сей осенью с дружиной своей к нам по челобитью немецкому. Ездили тогда с ним на обидное место, на Озоличу и Желачко, князь наш и мы и, розыски там творя, решили, что земля сия псковская, земля святой Троицы. Поганые же немцы признали вину свою...

— Истинно так было, признали немчи вину свою,— подтвердил Карп Савинич, произнося вместо «ц» звук «ч», что отличало говор новгородца.

— Будем же судить по-божьи и против латыньского коварства будем ратовать за своих православных,— заговорил сурово Василий Васильевич.— Молю тя, владыко, и тобя, Карп Савинич, не сетуйте, что ране яз побеседую со псковичами, ибо ранее они ко мне пришли. Ты же, Юрий, и ты, Степан Тимофеич, примите дары и сложите их, куда надлежит.

Помолчав, Василий Васильевич продолжал, обращаясь к послам:

— Посадники и бояре псковские. Жалую вотчину свою по мольбе вашей помочью ратной. Повестуйте так на вече своем. Уже близ Новагорода воевода наш князь Иван Василич Стрига-Оболенский со многими полками, дабы бить немцев поганых, когда мольба будет от Пскова...

В этот миг взглянул владыка Иона на посадника новгородского с явной укоризной, а тот, побледнев, потупился. Заметив это, Федор Васильевич Басёнок злобно усмехнулся.

Василий же Васильевич, передохнув малость, продолжал:

— А ты, Юрий, вместе с дьяком Василием Сидорычем проведи гостей в трапезную и угости до обеда. Мы же тут, кратко перемолвясь с владыкой и Карпом Савиничем, тоже придем к столу...

В передней остались Василий Васильевич, княжич Андрей, дьяк Бородатый, воевода Федор Басёнок, да из почетной стражи княжой пять воинов с саблями и копьями, да владыка и посадники, сидевшие молча в ожидании вопроса.

Василий Васильевич, подождав некоторое время, прервал молчание.

— Жду яз слова вашего,— молвил он,— что вы мне ныне сказывать будете?

Не зная, известно или неизвестно великому князю о заговоре, архиепископ Иона осторожно спросил:

— Господа новгородская челом тобе бьет, несть ли у тя, государь, досады какой на неисправления наши...

Василий Васильевич понял и, усмехнувшись, молвил спокойно:

— Яз, отче, миром пришел поклониться святыням новгородским и наказать немцев за вред их Пскову. Зрю яз, что добре соблюдает без навета новгородская вотчина моя судную докончальную грамоту[1], на вече писанную и целованием крестным утвержденную.

— Мы, государь,— сказал Карп Савинич,— и впредь тобе верны будем. Дошли ж мы за тем к тобе, дабы звать тя на почестей пир наш в Грановитой палате в день поминовения Никиты — святителя новгородского, чудеса и при жизни творившего.

Князь великий благодарил господу за почет, ему оказываемый, и обещал быть на новгородском празднестве. Звал он владыку и посадника на обед с послами псковскими, но те уклонились. Владыка отговорился скорым служением церковным, а посадник — тем, что господа ждет его с ответом государя.

Василий Васильевич не удерживал их, проводив с большим почетом. Княжич Андрей, воевода Басёнок и дьяк Бородатый сопровождали высоких гостей до саней их, стоявших у крыльца государевых хором. Когда же они, распростившись с гостями, вернулись, Василий Васильевич спросил с усмешкой дьяка:

— Ну, что скажешь, Степан Тимофеич?

— Мыслят они,— смеясь, ответил дьяк,— что неведомы нам их злотворения...

Василий Васильевич нахмурил брови и, направляясь в трапезную, молвил сурово:

— Многое еще им неведомо, что ждет их. Подумаем думу о сем в Москве с великим князем Иваном вместе.

После пирования в новгородской Престольной палате в честь великого князя московского, в феврале уже месяце, на первой неделе великого поста, почувствовал себя плохо Василий Васильевич. Государя все время знобило и сильно одолевал его кашель, а иногда щеки его горели, и было ему трудно дышать. Сухотная болезнь[2] никогда его так не беспокоила, как теперь. Знал он, что ухудшение бывает либо от осенней, либо от весенней сырости.

Совсем больным принимал он псковских послов, приехавших опять к нему в Новгород с челобитной о новом князе. Литов-

[1] *Судная грамота* — договор о правах великого князя в Новгороде.

[2] *Сухотная болезнь* — чахотка.

ский князь Черторижский не захотел целовать крест московскому князю и отъехал в Литву.

Василий Васильевич позвал по этому поводу на думу обоих сыновей, дьяков обоих, воеводу Басёнка и воеводу князя Ивана Васильевича Стригу-Оболенского, уже стоявшего со своими полками возле Юрьева монастыря и Рюрикова городища. Думу думали в опочивальне великого князя, и Василий Васильевич часто сильно кашлял и был весь в жару, до пота.

Отдохнув от припадка кашля, он молвил:

— Мысли мои такие, сам-то яз уж на ратное дело сей часец негоден. Посему хочу отослать во Псков Юрия меня вместо, а поедет с ним воеводой князь Иван Василич и для совета из дьяков — Беда, Василь Сидорыч. Яз же тут с Андреем да с Федор Василичем и со Степан Тимофеичем остануcь. О прочем же подумайте сами, а яз послушаю токмо, уж очень недужно мне...

Дума длилась долго. Дьяки обсуждали положение в Новгороде и во Пскове и советовались с воеводами о распределении военных сил. Воеводы, принимая во внимание мнения дьяков, исчисляли, сколько надо воинов для похода против немцев и для охраны великого князя, «дабы не было против государя злотворения от господы, дабы в страхе держать бояр и посадников...»

В конце думы князь Юрий сказал, обращаясь к отцу:

— Государь, яз мыслю, что все уж нами решено. Днесь же после обеда яз отъеду с князем Иваном Стригой во Псков с теми полками, которые указали нам воеводы. С нами же поедут и псковские послы. С тобой же, как ты сам пожелал, остаются Федор Василич и Степан Тимофеич. Всяк день мы будем ссылаться вестниками. Токмо едино у нас еще не решено: кого же посадить во Пскове князем псковским и твоим наместником?

Василий Васильевич ответил не сразу.

— Дабы приласкать псковичей,— медленно заговорил он,— будь ты у них меня вместо. Помогни им против ливонцев поганых, как они молили мя от веча своего, а засим избери собе время, как лучше, сам решишь, и отъезжай домой на Москву. Князем же псковским и наместником моим оставь князя Ивана Василича Стригу. Будет у них русский князь, а не литовский...

Он слегка закашлялся и, оправившись, продолжал:

— Неча им на Литву глаза косить: помочи-то им ни Литва, ни старший их брат Новгород не дадут. Ты, Юрий, там, во Пскове-то, все сие разъясни и так содей, как дьяки тут сказывали. Василий Сидорыч тобе помогнет. Ну, с богом, Юрьюшко. Тобе во Пскове полна воля всем правити меня вместо...

Отпустнв всех, Василнй Васильевнч ослабел совсем н остался однн с Васюком, чтобы отдохнуть н подремать до обеда.

В тот же день к вечеру, когда Юрнй давно уж выступнл с войском ко Пскову, почувствовал государь еще большую слабость, лег в постель н встать уже больше не мог. Андрей, оставшнсь однн с отцом, нспугался н заплакал. Бросился потом к Васюку н приказал ему ндтн к архнепнскопу молнть его помочь велнкому князю.

Владыка в келье своей прн зажженных свечах читал священное пнсание н выпнсывал нужные ему назавтра нзречення для поучительного слова после обеднн. Узнав от Васюка о болезнн велнкого князя, он тотчас же встал н, подойдя к кннжному поставцу, выбрал «Добропрохладный вертоград»[1] н поспешил к болящему.

Княжнч Андрей так обрадовался приходу владыкн н с такой верой взнрал на него, что отец Иона был растроган.

— Отроче милый,— сказал он, благословляя княжича,— радуешь ты сердце мое столь велнкой любовью своей к роднтелю.

— Благословн мя, отче,— молвил Василнй Васильевнч,— недужен яз сухотною бо́лестью...

Благословнв государя, владыка сел возле него н сказал с убежденнем:

— Всяк недуг от человек отгоним бывает силою господней. Аз прннес с собой «Добропрохладный вертоград», в котором сказано, каким зелнем лечится таковой недуг. Из сей кннгн велю дьяку своему спнсать все о сухотныя болестн н о всяком зелнн против ее полезном...

Владыка раскрыл лечебную кннгу н, прочитав нужные ему места, продолжал:

— Как аз разумею, читанное мною в сей книге, вкушать тобе надобно молоко н масло в нзобилии н жирные мяса: гусятнну да баранину. Пред жирным же питн чарку водки — боярской алн двойной, а после трапезы — меды сладкне или внна фряжскне. Аз же, грешный, для-радн спасения жнвота твоего, государь, разрешаю тобе н в посты, нбо зело отощал н усох ты, а за грехн твон буду твонм молнтвеннком усердным...

— Спасн тя Христос за доброту твою,— сказал Василнй Васильевнч с умилением,— легче мне от беседы твоей. Благословн же мя, отче, на сон грядущий. Верую н уповаю яз на силу н милость божню...

[1] *«Добропрохладный вертоград»* — названне древней лечебной книги, дословно оно означает: «Хорошо успоканвающий сад».

— Бог даст, окрепнешь, государь!— благословив великого князя и прощаясь с ним, сказал владыка.— А ежели недуг пуще одолевать почнет, то пошлю тобе инока престарелого, есть у меня един такой в Юрьевом монастыре, который зело искусен трут на хребте у болящего сожигати от сей болезни сухотной, как о том указано в «Вертограде».

Дней через пять, когда от Юрия из Пскова прискакали вестники, Василий Васильевич уже встал с постели и чувствовал себя окрепшим, продолжая вкушать скоромную пищу: жирное мясо и всякие вина в умеренном количестве.

Вестники сообщили, что князя Юрия Васильевича встретили псковичи весьма благолепно. Как въехал он в Запсковье, зазвонили там во всех церквах, а у Богоявленского конца вышли навстречу ему оба посадника, сотники, судьи, старосты кончанские и уличанские, дьяки, воеводы, подвойские и прочие служилые люди. Впереди же них и по бокам шли и пели клиры церковные во главе с клиром собора св. Троицы, все в праздничных ризах, с крестами и хоругвями. Сзади же этих главных лиц Псковской земли шли старосты от купечества, от разных общин ремесленников и все прочие псковские мoлóдшие люди в великом множестве.

Под гул колоколов, пение клиров церковных, крики и шум толпы Юрий с воеводой, князем Оболенским, приблизились к Вечевой площади возле собора св. Троицы, где устроена высокая, вся резная и расписная стéпень[1].

Оба посадника взошли на степень и, когда шум на площади стих совсем, возгласили здравие и многолетие князю Юрию Васильевичу, и весь народ кричал ему здравие. Далее посадники объявили, что государь московский, вняв мольбам веча, прислал своей вотчине, граду Пскову, «для-ради устроения дел его, сына своего князя Юрья собя вместо...»

Отсюда князя Юрия Васильевича повели под церковные звоны и клики народные в собор св. Троицы, где возвели его на Довмонтов стол[2] и дали ему Довмонтов меч, как великому князю. Засим, отслужив молебен, проводили его всем народом до княжего двора, что в Застенье, рядом с торгом.

В хоромах княжих все уж к пиру готово было, и в трапезной столы были собраны по-праздничному, но посадники провели

---

[1] *Стéпень* — трибуна со ступенями; «степéнный посадник», то есть посадник, выступающий со степени как руководитель веча.

[2] *Довмонтов стол* — трон, принадлежащий псковскому князю Довмонту (1266—1299).

князя Юрия в один малый покой, где были приготовлены для него дары многие и богатые. Затем, сняв верхнее платье и прослушав молитву в крестовой, все перешли в трапезную...

— Пили здравицы,— продолжал вестник,— за тобя, государь, и за государя Ивана Василича, и за всех из семейства вашего. Потом пошли здравицы — конца-края нет. Притомился даже князь Юрий, усталый с пути, и, сказав о сем посадникам, ушел к собе в опочивальню, но приказал строго в конце пира побудить его, дабы проводил он гостей с честью...

Василий Васильевич весело усмехнулся и молвил:

— Достойно князя вел собя Юрий-то. Добре вел. А что пили-то и долго ль?

— Почитай до утра, государь, пили-то. За столом же, опричь водок и медов крепких, много было заморских вин: фряжских и грецких, а еще и пиво немецкое. Князь Стрига-Оболенский, на что на сие зело крепок, а и тот, на своей лавке заснув, на пол упал...

Василий Васильевич засмеялся.

— Князь-то Иван Василич,— молвил он,— токмо с устатка великого охмелел, а один хмель его не берет...

— Нет, государь,— смеясь же, вмешался Федор Васильевич Басёнок,— не только от устатка Иван Василич сомлел, а не след водку с пивом мешать. От сего и в голову и в ноги ударяет.

— А на третий день, государь, после сего,— сообщил далее вестник,— немецкие посланцы прибыли...

— Пошто?

— Князь-то Юрий на другой день после пира отпустил князь Стригу с полками на немцев поганых. Немцы же на пути его уже встретили и били челом пропустить их посольство ко князю и посадникам. Баили немцы-то, что, узнав о походе полков наших, хотят они мира с Москвой. Ныне они уж во Псков прибыли и князю Юрью били челом, а со псковичами помирились на всей воле псковской. Твоего, государь, приказа молит князь Юрий Василич.

— Вот оно что!— весело воскликнул Василий Васильевич.— Воевода-то наш хоть и с лавки упал, а немцев-то всех повалил, земно челом всех бить заставил!..

Перекрестился великий князь и добавил, обращаясь к вестнику:

— Ну, слава богу, все идет наидобрым путем. Иди отдохни, а утресь, после завтрака, дам ответ тобе для князя Юрья. Проводи его, Васюк.

Вестник поклонился и вышел. Василий Васильевич помолчал немного и сказал Бородатому и Басёнку:

— А вы пораньше к завтраку приходите. За столом думу будем думати.

В этот же вечер за беседою да за сладким заморским вином дотемна засиделся воевода Басёнок у дьяка Бородатого, который это время при великом князе жил в особом покое, возле крестовой, против трапезной. Уходя к себе в полк, отыскал воевода стремянного своего, обошел с ним все дозоры великокняжеские нз своей н княжой стражи и вышел на Владычный двор.

Ночь темная. Снег идет мокрый — днем еще с крыш капель была. Глухо и мягко в мути влажной, и еле видать кругом, но Федор Васильевич и стремянный его, Дементий Волоцкий, хорошо каждую пядь земли на дворе знают и помнят, где яма, где поворот н где их стража расставлена.

Вдруг Дементнй схватил за руку воеводу и задержал его, втянув под ворота. Тот понял, н оба у стены затаилнсь. Мимо них прошли не то четверо, не то пятеро. За воротами стали. Уднвился Федор Васильевич: ворота были из малого дворика, из которого никуда, кроме ворот этих, нн входа, ни выхода нет.

— Третий раз выходим,— послышался осторожный шепот,— а его нету. Месяц взойдет, а танться нам негде будет...

— Идем к княжому крыльцу,— зашептал кто-то другой,— тамотко он не увернется...

Неизвестные бесшумно двинулись вперед и скрылнсь в снежной мути. По нх манере говорнть воевода понял, что это новгородцы.

— Дементий,— зашептал Басёнок,— новгородцы сии злое мыслили на меня, а может, и на самого государя. Беги собирай стражу н дозорных. От снх врат надо петлей окружнть княжое крыльцо, дабы нн один из них не ушел. Одних сюда, ко мне посылай, других цепью веди, заводи́ их, как невод, одним концом ко мне, другим — к княжому крыльцу...

Дементий пропал во тьме. Обнажив саблю, Басёнок снова приник к стене н замер. Вот шаги слышно. Жутко стало. Он помнит, что злодеи ушли влево, а эти шаги справа.

— Фю-фю-фюи,— разбирает он знакомый, чуть слышный свист.

— Фю-фю-фюи,— отвечает он тоже едва слышно и ловит четкий шепот: «Кони государевы!», и сам в ответ шепчет: «Милость божия».

Тотчас же подходит к нему дозор из десяти человек, узнав своего воеводу. Еще подходят бесшумно одни за другими воины и, как указано было Дементнем, встают цепью, чтобы крайннй слева шел вплотную со стеной Ннкитских хором, а крайний справа, загибая к княжому крыльцу, искал бы ту цепь, что Дементий справа ведет.

Окружив крыльцо со всех сторон, вонны замерли и ждут, когда Дементий свистнет...

По-прежнему темно и тихо на Владычном дворе, но чуется во тьме какая-то тревога. Снег в это время перестал падать, тучи расходиться стали, и, осветив Владычный двор, выглянул из-за купола св. Софии месяц. У княжого крыльца ясно вдруг стало видно пятерых людей с ножами, блестевшими в их руках, и в этот же миг прорезал ночную тишь резкий, короткий свист Дементия.

Те, что стояли у крыльца, рванулись было бежать, но окаменели на месте, когда по приказу Басёнка со всех сторон обнажились, сверкая, сабли.

— Окружай и вяжи им руки назад,— тихо, но так ясно молвил Басёнок, что по всему двору было слышно.— Ежели в ножи пойдут, руби всех на куски!..

Но злодеи не думали обороняться. Побросав ножи, они пали на землю.

Московские воины мигом окружили их и крепко скрутили поясами им руки назад...

В подземелье Великого терема, куда привели пойманных, обыскали их при свете горящих смоляных факелов и за голенищами сапог нашли еще по одному ножу.

— Запасливы, стервы,— молвил Дементий,— на тобя готовили, Федор Васильевич...

Басёнок угрюмо и со злобой оглядел всех задержанных и вдруг, взмахнув плетью, что все конники на руке носят, дико вскрикнул:

— Бей злодеев проклятых!

Засвистели нагайки ременные, раздались стоны и вопли избиваемых.

— Стой,— крикнул воевода,— довольно! Ставь их на ноги.

Избитые, со связанными руками за спиной, заговорщики не могли сами подняться.

— Ну, сказывайте, от кого посланы меня заколоть?— спросил сурово Басёнок.— Молчите? А ну-ка, урежьте кажному нос!

Ссекли им саблями концы носов, и закричали четверо из них, указывая на пятого, похожего на боярского слугу.

— Сей вот! Обещал нам кажному по пять рублев новгородских старых! Господа, мол, хочет тобя убити.

— Чей ты?— спросил воевода.

Мужик молчал и злобно ворочал глазами.

— Ухо ему!— крикнул в ярости Федор Васильевич и, когда отрубленное ухо упало на землю, добавил:— Ну? Молчишь? Велю правую руку рубить!..

— Помилуй, господине!— возопил мужик.— Тиву́н я бояр Борецких. Тивун из подгородной деревни их. Тобя убить было велено...

— А князя великого?

— О том, господине, ништо не ведомо мне...

— Ну, милую всех вас,— сказал воевода,— выбейте-ка их нагайками вон со Владычного двора...

С рассветом уж ведали все во всех концах новгородских, что было этой ночью на Владычном дворе. Среди же господы началось смятение, ибо черные люди вече хотели сзывать, шли на Владычный двор охранять великого князя...

Узнав обо всем этом за завтраком, Василий Васильевич взволновался и весь кипел гневом, но потом, успокоясь, молвил:

— Думу станем думать. Не страшны нам боярские злотворения — все молодшие в Новомгороде за нас будут. Как ты мыслишь, Степан Тимофеич?

— Верно сие,— ответил дьяк Бородатый,— токмо лучше нам отъехать пока отсюда и в Москве с государем Иваном Васильевичем обо всем том думать.

— Добре,— сказал Василий Васильевич,— а Юрью так прикажу: «Кончай борзо со псковичами, сажай на стол псковский князя Стригу-Оболенского, немцам дай перемирье, а сам к пасхе на Москве будь».

— Право сие, государь,— согласились и дьяк и воевода,— токмо нам-то самим как быть?

— Яз совсем, почитай, здрав стал,— молвил Василий Васильевич,— и хочу на Москву возвратиться девятого марта, на сорок мучеников, когда кулик к нам прилетает воду пущать из неволья ледяного, а в небе жаворонки над полями петь зачинают...

Глава 6

В МОСКВЕ

Вот и март наступил — небо с полудня теплом и весной на Русь дохнуло, зачернели среди белых полей проталинки, вылезли из-под снега сухие прошлогодние репейники, лебеда и прочая сухосеменная снедь для птиц перелетных.

Василий Васильевич и все, кто с ним в возках на полозьях ехал, спешили добраться до Москвы еще по снегу. Время такое: даже и верхом, как развезет, плохо будет — измучаются кони грязь по колеям месить. Если весна будет дружная, совсем все дороги непроезжими и непрохожими станут.

Возле городов и деревень, что княжому поезду на пути попадаются, стоном стоит неистовый грачиный крик. Прилетели белоносые черные птицы, обсели все липы, березы, дубы и тополи — орут и дерутся за старые гнезда, а солнце слепит и греет. Весна будто торопится этот год, и на пятый день, когда к

самой Москве подъезжать стали, зазвенели над оттаявшими полями веселые жаворонки.

— Ну, вот ныне и сорок мучеников, когда день с ночью мерится,— сказал Васюк.— А глядишь, и Алексей — с гор вода, а рыба со стану, а там не приметишь, как на Матрену-то щука хвостом лед разобьет...

— Истинно, Васюк,— задумчиво промолвил Василий Васильевич,— молодеет земля заново, токмо мы вот к могиле все ближе...

— Рано тобе, государь, баить о сем,— встрепенулся Васюк,— намного я тобя старей, да и то мыслю еще годков десять прожить...

Василий Васильевич усмехнулся, но ничего не ответил. Он думал о своей болезни и о том, что духовное завещание еще не составлено и не написано...

— Неровен час,— проговорил он вполголоса,— все в руках божьих, обо всем заранее надо помыслити.

— А вот, государь,— молвил дьяк Степан Тимофеевич, угадав его мысли,— в Москву приедем и с божьей помощью составим духовную, как ты, государь, прикажешь.

Василий Васильевич ничего не ответил, сделав вид, что дремлет, но думы шли к нему со всех сторон и тревожили его сердце. Думал он, что споры с Иваном будут, а Иван-то правильно мыслит об уделах и удельных порядках. Умом-то с Иваном он, а сердце иного требует. Жаль ему равно всех сыновей. Все одно что пальцы они на руке — есть и большие и малые, сильные и слабые, а ни один не отрежешь: все одинаково больно, да и Марьюшка за деток вступаться будет.

Солнце садиться иачинало уж, когда Москва их со звоном встретила, но не было в сердце Василия Васильевича полной, светлой радости, как ранее,— покоя в душе его не было. Еще за городскими воротами обнял отца Иван, и это тронуло великого князя до слез.

— Надежа ты моя верная,— сказал он, целуя Ивана,— будет Русь за тобой, как за каменной стеной...

Потом, в Кремле уж, в хоромах княжих, обнял он сноху свою, поцеловал внука Ванюшеньку, сыновей всех и дочку Аннушку, но был молчалив, хотя и весьма ласков.

— Недужно мне что-то,— молвил он только и велел Васюку вести себя в опочивальню.

Пошла с ним под руку встревоженная и печальная Марья Ярославна. Когда остались они одни в опочивальне, Василий Васильевич крепко и нежно обнял свою жену и вдруг заплакал, как ребенок, всхлипывая и вздрагивая плечами.

Марья Ярославна оцепенела вся от страха и боли душевной.

Вспомнилось ей, как плакал он так же вот после ослепления, при первом свидании с матушкой Софьей Витовтовной. Не понимая, в чем дело, она вдруг как-то почуяла ясно, что надвигается на нее тяжелое горе.

Она обнимала и ласкала мужа, как малого сынка своего, и сама обливалась слезами. Наконец Василий Васильевич успокоился, тоска и ужас отошли от него. Он будто перешагнул через жуткую пропасть, как через неизбежное, и покорился этому неизбежному.

— Все в божьей воле, Марьюшка,— заговорил он, наконец, тихо и медленно.— Так положено роду человеческому от господа. Из жизни сей переходим мы в жизнь вечную...

Она громко заплакала и, заглушая рыдания, прижалась лицом к груди его. Он стал гладить ее волосы и, когда Марья Ярославна затихла, молвил:

— Духовную хочу яз составить, Марьюшка, отказать всем, кому что, из вотчин своих и тобе, люба моя...

Марья Ярославна сразу встрепенулась, как птица на гнезде своем.

— Меньших-то не обидь, Васенька,— торопливо заговорила она,— дабы зла у них не было против Ивана...

— Тобе, Марьюшка, откажу яз Ростов Великий, но с тем токмо, дабы князи ростовские при тобе ведали то, что и при мне, великом князе. И Нерехта — тобе. Куплю же мою, градец Романов и Усть-Шексну, тобе в полную собственность.

— Ништо без тобя, Васенька, мне не надобно. Ты о детях-то подумай, Васенька. Как решил ты?

— Ты знаешь, что Иван сказывает. Не захочет он уделы множить и смуту чрез них сеять. Ведь Иван-то не о собе думает, а гребта его о государстве, о всей Руси. Прав он, Иван-то, и наш владыка Иона так же мыслит...

— А кто из деток-то наших против Ивана может,— ласково и нежно молила Марья Ярославна.— Кто его осилит? Крепче он бабки своей...

— Слушай, Марьюшка,— перебил ее Василий Васильевич,— ведь даже брата твоего, Василья Ярославича, удел мы взяли. Ведь и он против нас зло замышлял. Посему надобно великого князя вельми укрепить. Дам яз Ивану: великокняженье с жребием моим на Москве и села Добрятинское и Васильцево. В удел же ему дам: Коломну, Володимер, Переяслав, Кострому, Галич, Устюг, Вятку, Суздаль, Нижний Новгород, Муром, Юрьев, Велику Соль, Боровск, Суходол, Калугу, Алексин и села московские...

— А другим-то что?— ахнула, всплеснув руками, Марья Ярославна.— Почитай все отдал ты Ивану!..

— Хватит и другим, Марьюшка,— продолжал Василий Василь-

евич.— Юрью дам яз: Дмитров, Можайск, Серпухов, Медынь и Хотунь...

— Андрею-то что?

— Андрею большому: Углич, Устюжну, Рожалов, Кистьму, Бежецкой Верх и Звенигород. Борису: Ржев, Волок и Рузу...

— А меньшему Андрею и давать-то более нечего...

— Ему дам. Вологду с Кубеной и Заозерьем...

— Куда ты его, Васенька, заслал? Почитай к самому Студеному морю...

— Опричь того, дам ему добрые костромские волости...

Василий Васильевич побледнел вдруг от усталости и, отерев пот с лица, тихо молвил:

— Изнемог яз, Марьюшка! Принеси-ка мне чарку водки двойной и вина фряжского да рыбы провесной жирной, а к ужину прикажи гуся или баранины жирной. Новгородский владыка на сем настоял и для-ради болестей моих от поста ослобонил...

Когда Марья Ярославна пошла к дверям, Василий Васильевич нежно добавил:

— Токмо ты сама, своими руками, принеси мне все сюда...

После трапезы заснул Василий Васильевич и отдыхал с дороги до самого вечера. Только незадолго перед ужином, не вставая с постели, позвал он к себе Ивана.

Уходя из своих покоев, сказал Иван княгине своей Марьюшке с грустью:

— Слаб и печален батюшка-то наш... Изнемог он в пути-то. Сама видела, что, когда приехал, лицом на мертвеца походил. Все сие тяжко и горестно вельми. Сиротеем мы с тобой. Бабки вот нет, мать твоя давно померла. Ныне вот и отец и митрополит вельми недужны.

Обернувшись, увидел он Марьюшку всю в слезах, нежно привлек ее к себе и ласково шепнул в самое ухо:

— Зато явился к нам новый гость на землю, наш Ванюшенька...

Марьюшка улыбнулась сквозь слезы и крепко поцеловала мужа.

— Надоть Ванюшеньку кашкой покормить,— спохватилась она и пошла поспешно в детский покой.

Иван проводил ее ласковой улыбкой и, печально вздохнув, пошел к отцу в его опочивальню.

Василий Васильевич все еще лежал в постели, но вид у него был лучше. Лицо его не было уж таким безжизненным, но и румянец, горевший теперь пятнами на щеках отца, тоже не радовал. Это сильно встревожило Ивана. Мать сидела рядом с

ним, и в больших темных глазах ее были печаль и тревога.

— Недужно мне что-то, сыночек,— сказал Василий Васильевич, пожимая ласково руки сына,— а все же хочу тобе поведати, как Новгород нас принимал...

— Не утруждай собя, государь,— возразил Иван,— при недуге своем. Наиглавное-то все от вестников твоих мне ведомо. Отдохни пока, а вот приедет Юрий из Пскова, соберем мы думу втроем да призовем Басёнка, обоих дьяков и подьячего Федора Василича.

— Ин будь по-твоему, сынок,— согласился Василий Васильевич,— токмо одно тобе поведаю. Не гадал яз и не чаял, что грызня такая в Новомгороде у всех промеж собя, а наиболее против господы. Прав ты, Иване, во всем насчет трещины-то. Токмо еще там злоба есть: вся господа против Москвы и воровство нам готовит,— с поляками, папой и с татарами они заодно.

— Верно,— подтвердил Иван,— из Казани лазутчики наши, а из Дикого Поля — касимовы сказывают, что с Польшей и с Ордой еще боле у них гоньба вестников. Но и сие мы, по приезде Юрья, рассудим все вместе. Разведаем мы, какой и куда корень Новгород пущает, а как время придет, враз все их и вырвем. Ты вот лучше повестуй, что там злодеи наши деяли, как против тобя замышляли...

Василий Васильевич рассказал сыну о торжественной встрече, о пире в Престольной палате, о двоедушии новгородцев. Когда же поведал он, как нежданно зазвонил вечевой колокол, повалили слуги и холопы бояр из господы, а с ними наймиты всякие из пропоиц и грабителей, Иван угрюмо насупил брови и молвил сурово:

— Время придет, отымем у них мы игрушку сию.

Слушая отца дальше, Иван одобрил и все предосторожности Юрия и Басёнка, особенно же уменье дьяка Бородатого влиять на черных людей в пользу Москвы. Василий Васильевич рад был этому и воскликнул:

— Порадел для-ради нас Степан Тимофеич один не хуже воевод наших с полками их. Помни, Иване, сего дьяка: добре знает он новгородские дела, а наипаче все их злотворения и пакости против Москвы...

Рассказал потом он Ивану, что разболелся он там от сухотной болезни, как раньше не болел, и как архиепископ Иона помог ему. Вспомнив о владычном списке «Добропрохладного вертограда», Василий Васильевич велел Васюку достать книгу и показать Ивану.

— Сей список,— сказал он,— приказал содеяти для меня архиепископ Иона. Он же, как тобе ведомо, и против господы восстал, в безумии укорил их о злодеянии...

Василий Васильевич вдруг рассмеялся и добавил весело:

— Тобой еще, Иване, владыка-то господу пугал. «Иван,— говорил он,— токмо и глядит, как ястреб, на град наш». А тут еще вскочил с места старой посадчик Акинф Сидорыч и кричит: «Не трожьте князь Василья, а то гибель нам всем от Ивана-то, гибель!»

Видя, что развеселился Василий Васильевич, встала с улыбкой Марья Ярославна и молвила ласково сыну:

— Может, Иване, ты поужинаешь вместе с отцом? Пойду велю принести снеди какой, да токмо ведь тобе, Васенька, скоромное можно, а Иван-то постится. Пусть уж лучше к собе идет...

Услышав, что княгиня его вышла, Василий Васильевич отыскал ощупью руки сына и, снова ласково пожимая их, молвил с тихой грустной мольбой:

— Не много уж мне в жизни сей пребывати. О духовной моей речь у нас с тобой отдельно будет, а ныне молю тя, сыне мой, об одном токмо. Будешь князем великим, не обижай, Иване, братьев своих, а наипаче матери своей не огорчай. Нету на свете любови боле, чем у матери. От бабки твоей яз сие еще испытал, а на что бабка суровая была...

Голос Василия Васильевича задрожал и оборвался. Взволнованный Иван поцеловал руку отца.

— Буду завет твой хранить. Даже и неисправления братьям прощать буду, покуда от сего государству вреда нет. Передай о сем матуньке.

В то же лето, ближе к середине июня месяца, из монастырских келий, от приходских поповок, где живут местные служители церковные, от разных келейников и келейниц, что на миру ютятся, поползли опять тревожные слухи о конце мира, о страшном суде после гибели солнца.

Смятение не зримое, а только в душах людских, охватило весь град стольный. Богомолья начались во всех церквах московских многолюдные, говения и приобщения святых тайн, а иные во искупление грехов своих жертвы давали щедрые и милостыни великие.

Всюду смущение было, и был страх даже и среди высших отцов духовных, бояр и князей. Все дела остановились повсюду, торговля на рынках и та прекратилась, зато кабаки бойко торговали...

— Попьем перед смертушкой-то всласть!— кричали пьяницы.— Пей, не спеши на тот свет, там кабаков нет!

Тут же всякие женки разгульные возле них толкались, мужелюбцы, блудодеицы.

— Пей, денег не жалей,— крнчалн мужики,— да больше женок любн напоследок! Разом за все ответ доржать будем...

— В рай-то все едино не попадем!— кричали с хохотом другне.— В аду же всем быть! Пей, веселнсь, пока черти тобя не сцапают...

Так и шел изо дня в день круговорот благочестивых молений н гульбы кабацкой нечестнвой, а то н другое на страхе держалось пред гнбелью немннучей, но вдруг все смешалось в еднную сумятнцу сплошную.

Июня в тринадцатый день началось это. В шестом часу поднялась внезапно черной горой туча, зловещая темнотой своей. Начала, крутясь вся внутрн, шнрнться н ввысь расти, страшно так клонясь то влево, то вправо.

Ужаснулнсь все людн, что на площадях н на улнцах были, от явлення невнданного н замерлн сразу, когда этот столб, крутясь, в тншине тнхой пошел прямо на Москву. Померк ясный день, н в тот же миг загудела, зашумела буря грозная. Бегут людн в страхе н отчаяннн, крнчат, не зная, куда деться во тьме кромешной. Кругом же внхрн беспрестанно кружатся, глаза песком н пылью слепят...

Только недолго все так было. Туча эта пречудная н грозная быстро пронеслась над Москвой н сгннула где-то за лесами окружнными, не разразнвшись нн дождем, ни градом, ни громом небесным. И стало вдруг так светло н тихо, что страшней бурн это показалось. Говорнть даже громко люди боялись, и никто не знал, что далее теперь последует. И на другой день та же тншнна велнкая все время стояла, даже нигде на деревьях лнсток не дрогнул, н пыль с сухой земли не подымалась, а, чуть взбившись под ногамн, тут же снова ложилась...

После же вечерни начала вдруг выползать из-за края земли новая туча, еще черней н грозней, чем вчерашняя. Как море кипящее, она на град обрушилась с бурей, дождем и внхрями водяными, затемнив совсем божий свет. От грома превеликого глушило людей, и сама земля содрогалась, а молння такая была, что церквн н хоромы будто пламенем среди грозной тьмы вдруг охватило. Бурей срывало крыши с церквей и хором, ломало верхн нх, разметывало заборы, нзбы, хлевы и сараи, а доскн н обломки, словно перья, по воздуху в разные стороны разносило. В лесах целыми десятннамн шел бурелом, обламывая верхушкн н сучья, ломая стволы пополам. Немало побило скота и птнцы в этой грозе страшной, н многих людей ушибло, а иных и насмерть убило.

До полуночн гроза продолжалась н вдруг стнхла: прекратилнсь блнстання молннн, смолк гром оглушающий, небо враз очнстилось, н звезды на нем, как лампады кроткне, засияли, и опять тишина мертвая кругом наступила...

Трое суток тишииа иепоиятиая длилась, и люди притихли совсем за это время, даже и пьяиства иигде ие стало, да и церкви совсем опустели. Забился иарод в жилища свои, как в иоры, и с трепетом ждал худшего и горшего.

Замерло все и в княжих хоромах, затаилось. Смеха нигде ие слышно, говорят тихо, с опаской, а в крестовой и во всех покоях пред икоиами лампады и свечи иеугасимо теплятся. Ждут все, что скоро затмеиие будет...

Шестиадцатого же июия, в пятиицу, сиова ужас охватил Москву. С самого утра, лишь солнце поднялось иад городом, затаились все люди и в Кремле и в посадах. Только киязь Иваи и Курицыи ежечасио выходили иа гульбища кияжих хором с кусочками закопчеииой иа свечке слюды и с тревогой взглядывали иа сияющее светило. Ждали всё, когда же солице иачиет утопать во мраке, ио до двух часов дня иичего ие заметили. Стоит деиь как деиь, жаркий и светлый, а иа иебе ии едииого облачка. Вдруг, когда оии были в покоях, как-то сразу сереть иачало, и откуда-то холодком повеяло.

Бросились Иваи, Курицыи и Юрий иа гульбища, а там еще приметией, как меркиет деиь и холодеет.

— Словио вечереет,— молвил Иваи с волиеиием,— или тучка иашла, а ведь иигде и самой малой тучки иет...

Ои жадно прииик глазами к закопчеииой слюде и воскликиул:

— Глядите, глядите! Ущербилось солице-то! Как месяц, ущербилось...

— Истииио,— отвечают враз Юрий и Курицыи,— иа глазах гибиет.

Вдруг сиизу, со двора, доиесся жалобиый старушечий голос:

— Саввушка, батюшка, ие гляди ты! Грех-то какой! Не гляди иа тайны-то божии...

Иваи оторвался от слюды и увидел среди пустого кияжого двора одиого только Саввушку, молодого коииика из кияжой стражи.

Саввушка держал в руках платок из тоикого полотиа и глядел сквозь иего иа солнце.

— Глядите, что ои придумал!— воскликиул Иваи и, перегнувшись через перила гульбищ, закричал:

— Саввушка! Иди сюда, в слюду погляди!..

Юрий, осмотрев двор, улицы и площади, с изумлеиием промолвил:

— Иваие! Федор Василич! Москва-то словио вымерла — живой души нигде ие видать!

— Схороиились все в избах да в хоромах,— сказал Курицыи, усмехаясь,— за грех ведь иа солнце-то глядеть почитают.

— А темнеет еще более,— заметил Иваи,— и холодеет!

Взгляиули опять оии иа солице сквозь закопчеиию слюду, а оно уж серпом делается.

Заскрипели виизу ступеии — вбежал иа гульбища Саввушка.

— Будь здрав, государь!— воскликнул ои, слегка запыхавшись.— Звал мя?

— Погляди иа солнышко-то сквозь копоть,— сказал Иваи, протягивая Саввушке слюду,— токмо копоти не сотри, за са́мой коиец доржи.

Саввушка быстро схватил слюду и, взгляиув иа солице, вскрикнул:

— Нача солнце гибиути! Яко полумесяц уж содеялось...

Испугался ои и торопливо возвратил слюду Иваиу.

— Страх меия берет,— тихо сказал он, ио Иваи ие слушал его и, не отрываясь, смотрел иа затмеиие.

Вот солице совсем серпиком узким стало, и серпик этот стаиовится все уже и уже, словио молодой месяц пяти дией. Но на том теиь зарубила и куда-то вбок пошла. Посветлело все, а сумерки, будто дым, собираются и тоже куда-то совсем незаметно уходят. Теплеет быстро, припекать даже иачинает...

К четвертому же часу солиышко целым кружком, как прежде, засияло, а на дворы, на улицы и площади иарод повалил, шум, крики пошли...

Иван посмотрел иа Саввушку. Тот еще стоял взволноваииый и о чем-то сосредоточенио думал. Потом взгляиул на Иваиа, радостио воскликнул:

— Вот те и коиец света! Просчитались попы-то, государь!

В самом начале августа, на медовый спас, когда только что Москва успокоилась и закончила исправлеиие разрушеиий всяких после бурь и вихрей, иовая гроза иад градом стольиым нависла.

Прибыли в иочь пред рассветом вестники из Рязанской земли с иедоброй вестью.

— К самому Переяславлю-Рязанскому[1],— доложили они государю с трепетом,— пришел со всей силой своей безбожиый Ахмат, царь Золотыя Орды. Осадил град, стоит под иим второй день, а татары его поганые жгут и грабят всю округу...

Встревожился, всполошился Василий Васильевич и отпустил враз вестников на отдых. Бледный, молча сидел и юный соправитель его. Ясно было Ивану, что тут ие обошлось без короля польского и пособников его в Новгороде, а может быть, и свои

---

[1] *Переяславль-Рязанский* — столица Рязанского княжества, г. Рязань.

удельные в тот же круг включены. Словно угадав мысли Ивана, заговорил Василий Васильевич:

— Иване, не просто сие. Ведаю яз татар-то хорошо. Ране набегали они токмо для-ради грабежа и полона. В сем главная пожива их, ибо ни Поле, ни ясак, ни даже дани-выходы им того не дают, что рати и грабежи...

Василий Васильевич вздохнул и, перекрестившись, продолжал:

— Мыслю, Ахмат-то о Москве думает, раз сам на Русь пошел и Сарай[1] свой за спиной оставил с эмирами. Не боится, знать, что те могут его скинуть с царства-то. Окреп, знать, он вельми...

Слова эти, словно светом, осветили Ивана.

— Государь,— воскликнул он радостно,— уразумел яз, как Орду нам погубить! Улусы ее друг на друга подымать надобно. Но сие враз не содеешь. Диесь же надобно и пути все на Москву поганым пресекать.

— Добре,— согласился Василий Васильевич.— Разумен ты, Иване. Не мыслил яз об улусах, а ныне, после слов твоих, мнится мне, сам сие придумал — так все ясно и просто стало...

Помолчав немного, он заговорил снова:

— Верно, надобно нам не токмо татар с татарами бить на ратном поле, а и эмиров в Орде, как собак, стрелять! Ну, Иване, созывай думу думати воевод и бояр, сам уж ты все суди и ряди...

Военный совет длился долго, и, как всегда, молодой государь Иван больше молчал и слушал, задавая иногда вопросы. Иногда он просил подробных разъяснений. Любил он военные споры, но и тут только задавал вопросы той и другой стороне, не высказывая своих мнений, дабы не соглашались воеводы с ним лишь в угоду ему, а делу во вред.

Долго шли прения, а под конец надвое разбились голоса воевод. Одни за то стояли, чтобы слать все силы в рязанскую землю, а другие — только оборону держать на Оке-реке. На этом и спор прекратился, но Иван все еще молчал.

— А как наши дозоры бают,— спросил Иван,— какая сила у царя, где стоит? Скажи-ка мне о сем, Юрий. Ты ведаешь, что мне надобно. Собрал ты воедино все вести?

— Да, государь,— ответил Юрий.— Сам Ахмат с главной силой своей стоит на Рязьском поле, а к Переяславлю подошли Юсуф и Темир...

— И дозоры у них, чаю, есть?— спросил Иван.— И засады где надобно? И гонцы меж Ахматом и яртаулами?

[1] *Сарай* — столица Золотой Орды.

— Все сие есть, государь.

— Добре!— похвалил Иван н, обратясь к сторонннкам наступления, продолжал:— А как нам быть, ежелн Ахмат-то, сведав, что мы все силы иа него шлем, оставит под Переяславским градом токмо Юсуфа н Темира, а сам со всей силой на иас пойдет? Ведь идти-то иам иа него сей вот часец надобно, а где ж нам полков борзо набрать? Где же силы нужиой взять, дабы в лоб татар бить?

Воеводы молчали. Иван усмехнулся, обратился к сторонникам обороны с вопросом:

— А ежели будем державть токмо оборону по обычаю в Серпухове, Кашнре, Коломне н в Касимовом городке, то как иам с Переяславлем-то быть? Отдать его на дым н поток, а горожаи его иа смерть н полои? Нет, таков поход на поганых плох, а такая оборона и того хуже...

Поразмыслив малое время, молвил ои сурово:

— Спешите вы зря, воеводы. Надо, дух укрепив, со спокойным сердцем все деять. Вот яз так мыслю: надо иам враз н обороняться н нападать. Главиое же не спешить — дать плоду созреть для руки нашей. Сил своих не расточать, а врага утруждать н томить непрестанно, дабы телом изнемог н духом ослаб. Для сего мыслю яз полкн так отсылать на рать, дабы н с меньшимн силами содеять больше, чем враг наш.

Помолчал иемиого н, сдвннув брови, приказал:

— Посему сей же часец шлите вестников царевичу Касиму, дабы он, не медля, в тыл Ахмату гнал полки по Оке-реке вверх. Токмо силы своей не показывать. Ты же, Юрнй, с главной силой иа Коломну пойди и стаиь там, вышли к Переяславлю передовых, два-трн полка. В сие же время пусть воеводы нз Серпухова и Каширы, оставив заставы в градах сих, идут на реку Осетр, к Зарайску, тоже в обход, подобно Касиму...

— Верно, государь,— восторжеино воскликнули воеводы, вскакивая с мест,— мудро сие! Разумеем ясно все, как ты деять хочешь!..

— Токмо не спешнте,— весело молвил Иван.— Всяко деяиие лншь в свое время пользу дает, а на войне нанпаче.

Он усмехнулся озорной улыбкой н добавил:

— Помните, дорого яичко в Христов день!

— Да мы поганым таких яичек, государь, надарнм, что и век не забудут.

Узнали рязаицы через лазутчиков своих, что Москва полки собирает против Ахмата, и духом воспрялн. Каждый деиь с превеликой отвагой выбегали оин из стеи своих, делая вылазки, и

много татар избивали и ранили. Когда же враг шел на приступ, еще злей бились горожане и гнали татар от стен своих.

Татары же, зная от яртаульных о полках московских, с каждым днем становились тревожней. Сведав же, что Москва шлет полки свои на рубежи московские, еще более всполошились, ибо уразуметь не могли, где главные силы московские и откуда удар грозит: от Коломны, от Зарайска или от Касимова городка, с низовий Оки.

Воеводы же московские под твердой рукой Ивана хотя издалека и прячась, но отовсюду грозили войску Ахмата: каждый день гонцы со всех сторон приносили вести в ханскую ставку о московских конниках, виденных то в одном, то в другом месте.

Пугало Ахмата и то, что из Сарая вестей нет и что в Сарай от него вести не доходят. Татары, догадываясь, что русские перехватывают гонцов их, а может, и в обход идут, не выдержали...

На другой день после яблочного спаса прискакал в Москву к Ивану вестник от полков брата Юрия из Коломны.

— Государь,— сообщил вестник,— князь Юрий повестует тобе: «Татарове, ништо же не успев пред Переяславским градом, отступили от него со срамом, ушли в Поле. Мы же, воеводы, все по приказу твоему, нигде с ними не бились, дабы они не сведали о малости сил наших и не напали бы снова на нас».

В тысяча четыреста шестьдесят первом году, в самом конце зимы, февраля одиннадцатого прибыли из Твери гонцы с вестью, что десятого февраля скончался великий князь тверской Борис Александрович.

Когда Иван и Марья Ярославна с осторожностью объявили об этом Марьюшке, она, всплеснув руками, обняла крепко свекровь и навзрыд горько заплакала. Иван переглянулся с матерью и молвил ласково:

— А ты, Марьюшка, съезди на похороны-то, простись с батюшкой...

— И то правда,— подхватила Марья Ярославна, целуя и лаская сноху,— поеду-ка и яз с тобой, и Ванюшеньку возьмем. Возок-то у нас теплый, а внуку-то уж третий годок. Не будет ему вреда, Марьюшка.

— Яз, матунька,— продолжал Иван,— гонцов пошлю в Тверь и прикажу через них во всех попутных градах и селах коней для вас доржать наготове. Крепкую стражу дам и отпущу с вами Илейку. Дороден еще старик-то и во всем услужить может. Нам же тут с отцом и Данилушка и Васюк все, что будет надобно, то содеют...

— А мы борзо домой возвратимся,— успокаивала Марья

Ярославна сына,— ведь мы на третий день в Твери будем. Дороги же, бают, сию зиму добрые. Мы через Клин поедем на Шошу, а там по Волге-то до Твери рукой подать...

— Прикажу яз начальнику стражи,— заметил Иван,— дабы всех коней наших в Черном оставил, а на свежих гнал бы до Пешкова. Там ночевать будете. Со светом поедете на свежих конях чрез Клин в Шорнов и там заночуйте, а с рассветом — до Шоши. Потом по Волге до Лисич, а к вечеру и в Твери будете...

Марьюшка, слушая все эти расчеты, успокоилась и сидела рядом с Марьей Ярославной, положив ей голову на плечо и закрыв глаза.

— Так вот, матунька,— продолжал Иван, обменявшись улыбками с матерью,— утре и отъезжайте поране, Ванюшеньку токмо берегите.

Он поцеловал Марьюшку, чуть улыбнувшуюся сквозь слезы, и вышел. Его волновало и трогало горе Марьюшки, глубокое и острое, но в чем-то детское, и он нарочно напомнил ей о Ванюшеньке, чтобы к новому в жизни направить, новой радостью скорбь утешить...

Войдя к себе в опочивальню, застал он тут Илейку, прибиравшего покои его. Старик, заметив печаль в лице государя, вопросительно поглядел на него. Иван молвил ему вполголоса:

— Преставился великий князь тверской Борис Лександрыч.

Илейка перекрестился.

— Царство небесное,— сказал он и быстро добавил с тревогой:— Княгиня-то твоя знает?

— Знает,— ласково ответил Иван,— утре с государыней в Тверь отъедут. И ты с ними, Илейка. Как меня и Юрья с Васюком вы хранили, когда детьми мы были, так ные, молю тя, храни моего Ванюшеньку...

Прослезился старик, бросился целовать руки Ивана и радостно забормотал:

— Иване, мой Иване. Да сын-то твой милей мне внука родного...

Иван улыбнулся и, прервав излияния старика, продолжал:

— Тобя ж, Илейка, да Васюка яз сам за родных почитаю. Но будя о сем. Иди к старой государыне, а наперед того пришли ко мне Федора Василича...

Курицын пришел незамедлительно и со многими вестями. Он сообщил Ивану, что от лазутчиков и от купцов русских есть из Казани вести, что между мурзами и биками распри идут, даже и среди карачиев разногласие. Сам сеид замешан в этой смуте...

— Одни хотят мира с Москвой против Золотой Орды, а

другие за союз с Ордой и Польшей против Москвы,— сказал Федор Васильевич.

— Кулак им показать надобно,— проговорил Иван,— но ране вызнать точней, кто за нас и кого еще можно там купить, а кого остерегаться. Идем с государем о сем думу думать. Государь все повадки их ведает, как истинный татарин,— закончил Иван.— У меня же думы наиглавно о Новомгороде. Нельзя на рубеже с ворогами иноземными двери отворенными држать. Тщусь все яз, как бы те двери на замок запереть покрепче, дабы всякое зло на Русь не проходило ни от круля польского, ни от папы римского, ни от магистра ливонского...

— Да, государь,— воскликнул дьяк Курицын,— идут через Новгород всякие злоумышления да хитросплетения от ворогов иноземных и в Золотую Орду, и в Казань, и к ногаям, и к нашим удельным. Все зло через дверь сию окаянную...

Иван сурово сдвинул брови и сказал:

— Чирей для нас сей град, Федор Василич,— от него все тело болит...

На восьмой день после отъезда Марьюшки со свекровью в Тверь к самому концу обеда к Ивану вбежал Данилушка.

— Едут,— радостно восклицал он,— едут государыни наши!..

Иван наскоро оделся и, сопровождаемый всеми дворскими слугами, поспешно вышел из хором, спустившись с красного крыльца.

Возок с княгинями, медленно проезжая двором, приближался к княжим хоромам. Вот он уж у красного крыльца. Иван сам отворил дверки возка и помог матери выйти.

— Ну, сыночек, слава богу, доехали мы подобру-поздорову,— сказала она, перекрестившись, и поцеловала Ивана.— Как здравы отец и детки мои?

— Здравы все. Почивать легли после обеда...

— Слава те, господи,— облегченно вздохнув, молвила Марья Ярославна.— Ну, пущай их спят. Яз у тобя обедать буду.

Следом за свекровью легко выскочила из возка Марьюшка, повисла на шее мужа и, целуя его, радостно восклицала:

— Вот яз и дома, Иванушка! Вот и дома!..

Согнувшись, вылез из возка рослый Илейка. На руках его был спящий Ванюшенька.

— Будь здрав, государь,— молвил старик и, обернувшись к Марьюшке, спросил:— Дите-то прямо к тобе в опочивальню нести прикажешь, государыня?

— Мамке отдай. Токмо не разбудили бы его! Пусть тихохонько разденет и в постелю уложит...

Живо оборотясь к Ивану, она, в ответ на вопрошающий взгляд его, добавила:

— Здоров он, Иванушка, токмо последнюю ночь плохо спал. Ночью мы ехали, домой спешили...

Иван весело улыбнулся и под руку повел мать вверх по лестнице...

Прошли прямо к столу в трапезную Ивана. Утомленная Марья Ярославна молчала, но, поглядывая на сияющее личико Марьюшки, иногда ласково улыбалась.

Марьюшка радостно щебетала без перерыва,— как весенний ручей, журчала.

— Не то все в Твери-то, что было,— говорила она.— Будто в хоромах там все враз малым стало. Даже окна будто ниже стали в моем детском покое. Ране-то чудилось мне не знай как высоко они...

— Яз тя помню,— сказал Иван с улыбкой,— какой сама ты была. Чай, тогда тобе и скамьи и лавки высокими казались?

Засмеялась и Марья Ярославна.

— Вот какой сама ты была,— промолвила она, показывая рукой высоту наравне со столом...

Настроение Марьюшки вдруг переменилось, на ресницах повисли слезы.

— Ты что?— спросил ее Иван.

— Ба-атюшку жа-алко,— проговорила она и заплакала.

Иван передвинулся на скамье ближе к Марьюшке и обнял ее. Она прижалась лицом к его груди и затихла. Марья Ярославна, встав из-за стола, перекрестилась и, зевнув, сказала:

— Ну, сынок, притомилась яз с пути-то. Пойду деток погляжу да посплю малое время...

Когда свекровь вышла, Марьюшка обняла Ивана и прошептала ему в ухо:

— А яз к тобе отдыхать в опочивальню пойду. Без нас Ванюшенька крепче поспит. Мамка за ним пригля...

Иван оборвал речь ее, поцеловав в уста...

Послеобеденный сон их был недолог. Марьюшка проснулась первой. Она долго смотрела на мужа и все удивлялась, как это произошло, что дом в Твери чужим стал, а тут все свое и родное...

Она горячо поцеловала Ивана. Тот открыл глаза и обнял ее, такую теплую, полную еще сонной неги...

— Тут у меня ты, Иване,— продолжала вслух свои мысли Марьюшка, обнимая его шею голыми руками,— матушка родная, Ванюшенька мой маленький! Там же токмо братец сводный, несмышленыш еще осьми лет. Все одно что чужой он мне...

Закрыв глаза, она еще крепче обняла Ивана.

Двадцать пятого марта, в среду, пришли в Москву тревож-

ные вести сразу из Новгорода и из Казани. Решили государи, что пора татарам кулак показать да подумать, как бы и Новгород ударить покрепче.

В тот же вечер созвал Иван думу по указу Василия Васильевича, совсем уж оправившегося и окрепшего. В покои великого князя позваны были: дьяк Бородатый, Степан Тимофеевич, воевода Басёнок, Федор Васильевич Курицын, которого на днях только молодой государь из подьячих в дьяки пожаловал.

Думать надо было, как лучше и татарские и новгородские козни пресечь единым ударом.

— А ты помнишь, отец,— шутил Юрий, поблескивая глазами, с золотой искрой, такими же, какие когда-то сияли и на лице Василия Васильевича,— помнишь, как потешно слушать нам было, когда псковичи с новгородцами меж собой баили? Одни, как гуси, гогочут: «чо-чо-чо, ча-ча-ча!», а другие, как утята: «цо-цо-цо, ци-ци-ци!»

— Верно!— смеялся Василий Васильевич и все, что с ним были в Новгороде.— Зацикали да зачокали они нас совсем. А топерь вот их чокнуть так надобно, чтоб и про татар забыли...

— Псковичей-то,— смеясь, добавил Бородатый,— ершеедами дразнят, а новгородцев-то — гущеедами. Гущу боле пирогов любят...

— Пущай их, что хотят, то и любят,— с улыбкой молвил Иван.— Нам то важней, что и те и другие Москву не любят и татар мутят. Посему обскажите нам — ты, Юрий, и ты, Федор Василич,— об укреплении градов их, а ты, Степан Тимофеич, о том, какие у нас настроения есть и за что они, как государь наш мне баил, друг друга грызут и в той и в этой земле, и пошто обе земли, Новгородская и Псковская, меж собой немирно живут?

— Мы сперва о ратных делах поведаем,— начал Юрий,— какие силы у них, а также где и какая опора есть...

— Ин будь так,— согласился Василий Васильевич,— сказывай, сынок.

— Яз о Пскове сказывать буду,— продолжал Юрий,— а о Новомгороде пущай Федор Василич поведает. Псковичи при строении града своего хитро все придумали и содеяли. Кремль они, по-ихнему — Кром, в самом Усть-Псковы на горе воздвигнули, где Пскова-то в Великую впадает. Клином тут земля лежит меж рек. Берега высоки и вдоль Псковы и вдоль Великой. С двух сторон вода глубока, с третьей же — ров выкопан, а круг града, Запсковья всего — вал, стены и башни. Зело крепок град не токмо летом, а и зимой...

— Похоже сие,— молвил Иван,— на Галич. Помнишь, государь, как нам воевода князь Стрига из-под Галича прислал

чертежи ратные, где все овраги, кручи, стены, вода и прочее было указано...

— Помню, сынок,— отозвался Василий Васильевич.— Думу тогда с иами думал большой воевода. Умеи и прозорлив князь-то Иваи Оболенский. Яз не зря избрал его большим воеводой. Вот и ты, Юрий, так же нам, подобно воеводам сим, все доложи: и тобе и нам от сего польза...

— А пищали у них есть?— спросил Иваи.

— Есть,— ответил Юрий,— поменее, чем в Новомгороде, а хватит. У немцев ими куплены...

Рассказал далее Юрий, что в Завеличье, по ту сторону Великой, стоят два монастыря за крепкими стеиами с башиями: против южного конца города — Мирожский, а против северного, чуть повыше Крома,— Ивановский. Далее же на север, версты с четыре от Пскова, ближе к Псковскому озеру,— Снетогорский монастырь.

— Сей самый дальний,— продолжал Юрий,— наиболее важен в ратях. Первые удары при набегах немцев, как мне князь Стрига сказывал, иа него падают, и уж после другие два моиастыря ворогов на меч принимают...

Неожиданно вошел молодой дворецкий Данила Константинович.

— Государи,— говорил он тревожно,— от митрополита... Пущать?..

— Зови его, сей часец зови ко мие,— взволновался Василий Васильевич и, перекрестясь, добавил с тоской:— Не допусти, ие дай, господи!..

Иван побледиел и сжал руки, сцепив пальцы. Пред ним мгиовеиио промелькнули все его детские скитания и ужасы и могучий строгий старик с проиицающими глазами и такой добрый и ласковый к иему...

Вошел как-то незаметно сутулый седобородый монашек в чериой скуфейке. Помолился на образа, поклонился всем помоиастырски в пояс, рукой земли касаясь.

— Сказывай,— тихо обратился к монаху Иван Васильевич.

Монашек вздрогнул и сразу заговорил ровным голосом, будто спокойио, ио на волосатые щеки его текли слезы:

— Худо святителю нашему. Не смеет он тя, государь Василий Васильевич, недужиого утруждать. Молит он тя, государь Иван Васильевич, к нему приехати, пока в памяти он...

Монашек помолчал, вспоминая наказ владыки, и продолжал:

— «Не вем,— сказывает святитель наш,— как по воле божией будет. Кто знает,— баит он,— может, господь-то лишит мя разумения преже, чем призовет к собе...»

Молчали все. Суровые глаза Ивана наполнились слезами —

владыка и на смертном одре был такой же, как всегда: светел умом и крепок волею.

— Данилушка,— с трудом вымолвил Иван,— коня мне вели. Токмо борзо...

Во дворе владычных хором ждали молодого великого князя. У самых въездных ворот встретили Ивана: громогласный дьякон Ферапонт, ныне протодьякон Архангельского собора, протопоп Алексий и другие духовные чины из ближнего окружения митрополита. Среди них Иван заметил и седобородого сутулого монашка, келейника владыки Ионы.

Все они, после обычных приветствий, с почтительным и печальным молчанием проводили юного государя, медленно ехавшего в сопровождении стражи, до красного крыльца, где Иван спешился и, окруженный духовенством, поднялся в горницы. Сняв с себя шубу, он направился прямо в покой владыки. Мельком, при свете восковых свечей, он признал в протопопе Алексии того молодого дьякона, который вместе с владыкой шестнадцать лет назад отвозил его и Юрия к родителям, заточенным в Угличе. Теперь Алексий огруз и отяжелел, в густой бороде его уже пробивалось серебро. А громогласный дьякон Ферапонт совсем состарился. Из-под седых его бровей смотрели все те же наивные глаза, но теперь взгляд их был как-то беспомощен и грустен.

При входе Ивана владыка слегка приподнялся, а бледное, осунувшееся лицо его осветилось радостной улыбкой.

— Иване, Иване,— с нежностью заговорил он,— сыне мой духовный...

Иван молча принял благословение митрополита и дважды почтительно поцеловал его дрожавшую от волнения руку.

— Время мое пришло, государь,— продолжал владыка,— не вем лишь часа, когда господь призовет мя...

Иван крепко стиснул зубы и сел на указанное владыкой место возле постели.

Иона лежал молча, устремив свои светлые, прозрачные глаза на образ Спасителя. Пальцы его перебирали край одеяла, а губы чуть вздрагивали. Он, видимо, о чем-то напряженно думал.

— Ты духовными очами своими,— начал он, переводя взгляд на Ивана,— далее отца своего видишь. Отец-то твой и бабка уразумели для себя лишь вред от удельных распрей и неисправлений. Разорением же земель и народа от усобиц Русь зело ослаблялась на радость татарам, ляхам, Литве, немцам и прочим. Мыслили они, что государство есть вотчина государя и его семейства. Государь же на государстве своем подобен патриарху, а сей не токмо глава, но и слуга святой церкви...

Утомившись, владыка смолк.

— Так и ты, Иване,— передохнув, продолжал он,— будь главой и слугой государства. Сим победишь и в сем же и опора твоя в борьбе с погаными: с татарами, с латыньством и с ересями. Храни веру истинную — ею только и победит русский государь, ибо он содеет Москву Третьим Рымом...

Владыка побледнел и закрыл глаза. Иван обмер весь, думая, что кончается уже митрополит, хотел было встать, позвать отца Алексия, но Иона как-то почуял тревогу государя и, полуоткрыв глаза, тихо молвил:

— Не зови никого, Иване... малость отдохну и беседу свою продолжу...

— Отче, учителю мой!— воскликнул Иван.— Сколь хощешь, столь и буду ждать, дабы слушать поучение твое...

Ресницы владыки дрогнули, а на губах чуть обозначилась ласковая улыбка, знакомая Ивану с самого детства.

Прошло некоторое время, и митрополит снова открыл глаза.

— Слушай, Иване, последние слова мои. Может, седни, может, утре, а может, и через седьмицу умру аз. Может и так случиться, что прежде телесной смерти, разумения буду лишен. Да и у тобя батюшка твой, как и аз, на краю уж могилы. Много у тобя дел, не время тобе мертвых провожать. На то воля и закон божий...

Владыка перекрестился и заговорил вдруг твердо:

— Богом тя заклинаю, Иване, прими к сердцу советы мои, разумей государствование свое, как служение. Цель собе возьми, дальнюю цель, когда Москва Третьим Рымом должна стать, когда государство русское другими царствами повелевать будет. Ежели и не доживешь до сего, все же о сем мысли, дабы правым путем идти. А путь сей таков: перво-наперво — державу свою укрепи; власть татарскую скинь; соседей своих — одних к рукам прибери, да будут тобе слугами, других обессиль, а от третьих оборону так наряди, дабы сунуть рыла не смели, а ежели и сунут, на ежовые бы иглы напоролись!..

Владыка помолчал и продолжал тише и спокойнее:

— С разумом делай все, а не по велению сердца, подобно отцу твоему, князь Василью: ныне одно, а утре — совсем иное. Ты же меть на годы вперед. Уразуметь тщись, куда все дела идут у тобя и у соседей твоих. Коли будешь так поступать, поведешь, яко кормчий, корабль свой и по ветру и против ветра. Наиглавное же на сирот и черных людей оглядывайся, народ — опора наша крепкая и для церкви святой и для государства. За кого народ — тот спасен и силен будет...

Владыка опять ослаб, но, передохнув малое время, благословил Ивана и молвил с печалью:

— Ну, прощай, сыне мой любимый, прими мое последнее благословение...

Рука его задрожала, и крупные слезы застыли в уголках глаз.

Иваи иеожиданио всхлипнул, но, сдержав себя, прошептал:

— Прощай, отец мой...

На другой день, неожиданно для всех, Василий Васильевич вместе с воеводой Басёнком выступил в поход на Казань.

— Ты баил, Иване,— сказал он на прощанье сыну,— что кулак-то показать татарам надобно. Верио сие, а опричь того, яз мыслю, что из Казаии-то и Новугороду кулак сей виден будет.

— Истинно,— весело усмехнувшись, согласился Иван,— а как здравие-то твое?

— Добре. Здрав яз. Юрья с собой беру — вельми в ратях хитер он стал. К святой-то иеделе, мыслю, успеем на Москву вернуться. Не ждут татары-то иас: «Празднуют, мол, христиане пасху», а мы им, как сиег иа голову. Ужо в Володимер послов своих ко мие пришлют, помяни мое слово, Иване...

— Пришлют, государь,— подтвердил воевода Басёнок,— не терпят оии, когда опередит их кто: либо лгут, либо мира просят...

— А более всего оии обхода боятся,— добавил Юрий.— Помнишь, Иваие, у Коломны-то, когда ты кольцом обвел полки седи-ахматовы?

Иван, проводив отца и оставшись одии, молча, ни к кому ни с чем ие обращаясь, прошел прямо в свои покои. Домашиие давно уже привыкли к таким молчаливым и внезапным уходам Ивана и знали, что мешать ему иельзя. Не первый раз «находило» на иего, как ои сам иазывал это, когда вставали вдруг перед ним все трудиости государствования, а он один должен грудью прииимать их. Сегодия Иван более, чем когда-либо, охватил умом все, что предстоит ему сделать, чтобы исполнить заветы митрополита Ионы.

Думал ои о татарах, думал о Новгороде, Пскове, о Твери и Рязаии и о своих удельиых, из которых миогие рады не только Москву, а всю Русь ослабить, лишь бы себе куски пожирией захватить...

— Волки!— воскликнул он вполголоса.— Далее рук своих жадных иичего узрить ие могут...

Нет у Иваиа едииомышлеииков ии среди бояр, ни тем паче среди князей. Да и братья-то родные поймут ли, чего он хочет? Может быть, и оии к старому потянут, к уделам? Духовиые не все поимают, как иадобио создавать и хранить государство. Такие, как владыка Иоиа, Авраамий, они помогали своими сове-

тами и руководством. Умрет же вот владыка Иона, кто его труды продолжит, кто государю помощь окажет? Надобно теперь же думать о новом митрополите. С болью душевной вспомнил Иван покойного владыку Авраамия суздальского. Умен был и книжен. Силы только у него Иониной не было, а разум был...

Прошелся Иван по покою своему, остановился возле окна и долго смотрел в синеву неба, а потом сказал вслух:

— Ежели не будет умного, то такого избрать надобно, дабы перечить мне не смел!..

Он снова заходил из угла в угол, и мысли обратились к Курицыну, Федору Васильевичу. С ним только и можно обо всем беседовать, он все разумеет и совет даст.

В дверь осторожно постучали.

— Можно!— резко молвил Иван.

Нерешительно вошел Курицын.

— Прости, государь, может, помешал тобе?

— Нет, Федор Василич, ко времени дошел, ко времени. Сам звать тобя хотел...

— Вести, государь, недобрые. Пока, может, сие токмо брехня, а может, что и на деле есть. Сказывают, будто дети боярские князя Василья Боровского замышляют из заточенья его вывести...

Лицо Ивана внезапно исказилось от ярого гнева.

— Следи, очей с них не спускай!— вскричал он.— А пымаем их, буду лютыми казнями казнить, какие еще неведомы были! И смерти предавать буду! Задрожат все от казней сих...

Суровые глаза Ивана совсем почернели и остановились, а взгляд их столь непереносен и беспощаден сделался, что молодой дьяк, взглянув в лицо государя, побледнел и словно застыл весь от страха. В первый раз Федор Васильевич видел таким Ивана и, ослабев духом, не мог слова выговорить.

Но Иван, по привычке взяв себя в руки, пересилил гнев свой.

— Деды и прадеды наши по горсточке Русь собирали, а они родную землю токмо зорить хотят,— продолжал он сурово и сел возле окна на свое любимое место.— Они мыслят, чтобы ныне все, как прежде было. Нет, при мне того не будет. Яз не княжить, а государствовать буду.

Наступило молчание. Страшный, угнетающий взгляд Ивана потеплел и прояснился.

— Ты, Федор Василич, один из всех разумеешь меня, как надобно. Садись, яз тобе молвлю кое о чем.

Иван молчал некоторое время, потом заговорил с печалью:

— Ведаешь ты, что владыка на смертном одре. У отца же моего сухотная болесть, и должны мы ко всему готовыми быти... Братья? Не ведаю, что из них еще будет. Един у меня брат

любимый — Юрий. Да ведь он токмо полки водить умеет. Воевода он, а на государствование нет у него разумения нужного. Князья Ряполовские? Верные они нам слуги, но и они тоже удельные, и мысли и ухватки у них те же, что и у прочих удельных, которые из-за деревьев леса не видят. Может случиться, и они против меня пойдут...

Иван смолк и задумался. Федор Васильевич осмелел, оправился от смятения, вызванного гневной речью государя, и молвил с горячностью:

— Государь, яз ради пользы твоего государствования собя не пощажу! Будем же заветы владыки Ионы хранить, о которых ты мне сказывал...

— Добре,— молвил Иван и, нахмуря брови, встал.— Ты зорко за ворогами следи, глаз имей и в Боровском княжестве...

— Денно и нощно буду следить,— ответил дьяк, понимая, что государь отпускает его,— отныне сие — главная моя гребта будет.

В дверях Федор Васильевич остановился и добавил:

— Прости, государь, сразу не смог тобе обо всем поведать. Может, помысля ныне, утре прикажешь мне, как сноситься с Тверью? Как духовную покойного принять и скрепить?

— Подумай, Федор Василич, и ты... Нам с Тверью надобно содеять то же, что с Рязанью мы сотворили. Оба сии княжества должны стать под нашу руку. Тверь, бают, в Москву дверь, а мы через сию дверь к Новугороду пойдем.

Глава 7

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ

Вернулся Василий Васильевич из Владимира, как и обещал, к самой пасхе, в страстную субботу. Приехал больным немного. О том, что тридцать первого марта умер митрополит Иона, и о похоронах его, он уже знал.

— Богомольца-то моего господь призвал к собе,— молвил он печально, когда Иван вошел к нему в опочивальню.

— Такова уж воля божья, ветх телом был владыка не по годам, болести его одолели,— сказал со вздохом Иван и, поцеловав руку отца, спросил:— Поздорову ли доехал, государь?

— Доехал по милости божией добре, токмо малость недужится мне что-то.

Василий Васильевич лежал на постели, его знобило. Он кутался в соболье одеяло, а возле него, ближе к окну, сидел дьяк Степан Тимофеевич Бородатый.

— Сам вот, по вине своей, заиемог,— возразил отцу Иван.— Сказывал яз тобе, что Юрий и один все управит. Молил тобя, не садись сам иа коия.

— Да ведал яз, что рати ие будет, а мир-то, мыслил, без меия трудно для Юрия.

Веселая усмешка, заигравшая было иа устах старого великого киязя, вдруг потухла.

— Где ж в Успенском-то,— спросил ои,— положили владыку?

— За левым клиросом, против митрополитов Киприаиа и Фотия,— ответил Иваи и добавил с упреком:— Не бережешься ты, государь. Поехал ты, а вот холода вдруг, дожди, сырость. Отослал бы с Юрьем Степаи Тимофеича, а ты...

— Иваие мой,— перебил кротко сына Василий Васильевич, словио оправдываясь,— хотел яз сам войско вести. Может, в последиий раз...

Голос его осекся, ои всхлипнул, а Иваи сразу все поиял и сжал руку отца.

Василий Васильевич судорожио вздохнул и добавил с тоской совсем тихо, почти шепотом:

— Как одии яз, Иваие, да без дела, так думы ко мие идут всё о коичине моей. Чую, смерть-то уж возле меня ходит, а тут, в Москве-то, погребеиья, паиихиды...

Взволноваииый Иваи крепко обнял отца и поцеловал.

— Ты — мой государь, а ие только родитель мой,— сказал ои,— и как лучше тобе, так и поступай по желаиию своему.

Василий Васильевич перекрестился и воскликиул:

— Господи, укрепи дух мой!

Успокоившись, он заговорил виовь:

— А ты прав был, когда о кулаке-то баил и о Новомгороде. Ужо дьяк Степан Тимофеич тобе поведает...

— Кулак-то иаш уже увидели в Новомгороде. Пошло там смятение,— иачал Степан Тимофеевич,— круль польский ведь с Золотой Ордой через Новгород и Казаиь ссылался. Ныне же господа иовгородская совсем всполошилась, сведав, что мы иа Казаиь ходили, что татары смирились и что они в Володимере челом били государю иашему о мире. Страшатся узрить московские полки возле града своего...

— Узрят еще, узрят,— сурово сказал Иван, хмуря брови.— Двери сии зловредные запрем мы от ляхов, Литвы и иемцев навек.

— В Новомгороде, государь,— воскликиул Степаи Тимофеевич,— все меньшие за иас пойдут против господы! Так будет, как при Лександре Невском. Даже сей славный киязь, против которого поднялись тогда все меньшие, и тот отрешен был иа вече.

— Ну, сему два ста лет будет,— молвил Василий Васильевич,— да и Лександр-то потом силой на стол новгородский сел...

— А ныне князь московский сядет,— смеясь, молвил Иван.— Только бы нам еще митрополита нового избрать...

— А нам и избирать-то его не надобно,— перебил сына Василий Васильевич,— в бозе почивший святитель Иона сказывал мне, что избрал себе заместником отца Феодосия, архиепископа ростовского. Отцы наши духовные о сем ведают и собор без Царьграда, мыслю, созовут вборзе...

— Ныне нам Царьграду челом более не бить,— добавил Иван.— Сама церковь наша своего русского митрополита рукополагать будет...

Взглянув сбоку на отца, Иван увидел, что великий князь побледнел от усталости, и промолвил:

— Довольно о делах нам говорить. Притомился ты. Отдохнуть тобе надобно. Мыслил яз о Твери да о духовной тестя своего днесь с тобой совет доржать, но лучше о сем подумаем утре, с боярами ближними...

Весна этот год на редкость дружная. К девятнадцатому апреля, на третью неделю после пасхи, от снега и следов не осталось даже в оврагах. Кругом зеленеет трава светлой молодой зеленью, а с ясного голубого неба чаще доносятся звонкие крики гусей и красивое трубное курлыканье журавлей.

Московские сады и рощицы, спешно распуская сережки берез и ольхи, пушась серебристыми шариками вербы и развертывая первые клейкие листочки, радостно звенят птичьими голосами. Погода все эти дни стоит такая ясная, а воздух такой легкий и свежий, что Василий Васильевич как-то сразу окреп и повеселел.

Сегодня, после праздничного завтрака, захотел он погреться в горячих лучах весеннего солнышка. По его приказу дворецкий велел расставить с южной стороны на гульбищах скамьи для всего его семейства.

Великий князь был весел и оживлен.

— От тополей-то дух какой, а?— говорил он радостно.— Дух-то такой легкий, а ты, Иване, сношеньку да внука моего взаперти доржишь! Поезжай-ка с ними для-ради праздника в Красное село либо в Занеглименье в рощах погулять, да и братьев молодших с собой возьми...

— И яз с тобой, сыночек!— воскликнула Марья Ярославна и, обратясь к дворецкому, добавила:— Ну-ка, Данилушка, собери все борзо да вели снарядить две колымаги, что поболее, а коней впряги смирных, с детьми ведь поедем.

— Слушаю, государыня,— кланяясь, сказал Данила Константинович и спросил нерешительно:— Можно моей Луше прн тобе, государыня, в поезде быть?

— Пусть, пусть едет,— живо откликнулась Марьюшка, обнимая свекровь.— Мы с ней из одуванчиков венкн плестн будем для Ванюшеньки. Он ведь цветов-то никогда еще не видел...

Поезд вышел большой: за колымагами ехали еще три телеги с челядью дворской, груженные снедью всякой н питьем. Была еще и стража конная.

Ехать было решено в Занеглименье, в березовую рощу, что недалеко от бабкиной подмосковной.

Иван же с Юрием н Курнцыным ехалн верхами. С ними были стремянные, из которых выделялся Саввушка, рослый, плечистый парень, новый стремянный Ивана, взятый вместо состарившегося Илейки. Он, как н сам молодой государь, может гнуть толстые железные прутья н рвать пополам утиральники.

Почти от самого красного крыльца Иван сразу погнал вперед к Боровицким воротам.

— Мы токмо новую церкву осмотрнм,— крикнул он матери,— догоним потом!..

Это была каменная церковь Рождества Ивана Предтечи у самых Боровнцких ворот, которую этим летом заложил Василий Васильевич вместо деревянной, совсем обветшалой...

— Сказывают, государь,— заметил Ивану дьяк Федор Васильевич,— что сия церква на Москве построена: на сем месте бор был, и та церква в том бору была. Соборной она была при Петре митрополите. Тут же н двор митрополичий был, где ныне двор князя Ивана Юрьича...

Они внимательно осмотрели постройку. Стены были до конца уж доведены, и каменщикн клалн перекрытня. Ивану не понравился этот храм, хотя н была соблюдена в нем соразмерность частей...

— Нет, Федор Василнч,— сказывал он Курнцыну,— не то сне, что вндал яз в Ростове Великом н в Володнмире. Нету в церкви сей того величия и лепоты, как умеют созидать в камне ростовские н суздальские зодчии.

Онн выехали в Занеглименье молча и, проехав версты две, пустилн лошадей легкой рысцой.

В полях пелн жаворонки, а мужикн, покрикивая и понукая лошадей, кое-где разворачивали сохами-косулямн прошлогоднюю щетнну жнивья под овес, чтобы успеть до мая посеять. Грачи, важно переваливаясь на ходу, следовалн за пахарем, выклевывая червей и лнчинок. Меж этих важных птнц сновалн юркне скворцы, ловко перехватывая добычу и на свою долю.

— Вот так и мы за каждым пахарем ходнм,— усмехнув-

шись, сказал Иваи.— Недаром народ-то баит: «Один с сошкой, а семеро с ложкой...»

— Ну вот и иадо бы всех пахать заставить!— воскликнул Юрий.— Всяк бы собя сам кормил...

Иван громко рассмеялся.

— А кто бы горшки делал?— спросил он весело.— Кто бы серпы да косы ковал, сохи бы ладил? Кто бы в коииках был и от татар Русь ограждал?

Все смеялись в ответ иа эти вопросы, и Юрий, тоже смеясь, спросил брата:

— Что ж тогда прочим-то деять надобно, дабы сирот ие обижать?!

Иван перестал смеяться, сказал твердо:

— Всякому надобно свое деять, что ои ведает и умеет. Тогда иикому обиды ие будет, а всем польза...

— Вон там, государь,— крикнул Саввушка,— и поезд государыиь иаших видать! Вишь, там, к роще-то поближе, колымаги ихиие едут, а коло их — коииая стража...

— А иу-ка, кто скорей к иим догоиит?— воскликиул Иваи и погнал коня.

Месяца мая в третий деиь иазиачеио было открытие Священного собора для избрания нового митрополита всея Руси.

Иван поехал в колымаге, сопровождая иедомогавшего отца. По дороге к каменным митрополичьим покоям Иван снова заговорил с отцом о выборах.

— Отец,— молвил ои сурово,— ты сказал, что покойный владыка сам собе избрал заместиика. Без тобя сие иаметил митрополит?

— Нет, сыночек, нет,— торопливо ответил Василий Васильевич,— как можно сие деять без государя! Ои меия просил о Феодосии, и я его мольбу приия, и владыки о сем ведают.

Иваи успокоился и сказал с улыбкой:

— Помню яз, бабка мне, отроку еще, иаказывала: «Богу молись, а попам ие верь». Не все ведь такие доброхоты иам, как был святитель Иона. Надобно, чтобы церковь во всем послушна была государю московскому и могли бы мы государствовать властно для пользы всей Руси. Ворогов иаших иадобно смирять ие токмо мечом, а и крестом. Митрополит же силу имеет целое княжество от церкви отлучить, прекратить в ием все требы церковные и даже звон колокольиый...

— Истиино сие, сыиок, истииио,— подтвердил Василий Васильевич,— князю и митрополиту иадо заедии быти. Для всякого князя тяжко роптание народное, а народ ие токмо возропщет, а и

князя своего покииет, коли у иего ие будет едииомыслия с митрополитом или когда иегде будет ии детей крестить, ни мертвецов отпевать. Не может христиаиии-то без покаяиия и приобщения святых тайи жить, ие может милости божьей лишиться в жизии земиой и иебесной...

Колымага остаиовилась у митрополичьих хором. Иваи, помогая выйти отцу, шепиул ему:

— На соборе-то яз глаза и уши иасторожу...

Владыки, почтительио ожидавшие государей иа дворе возле самого красиого крыльца, окружили их с приветствиями и повели во Владычную палату...

Тотчас же иачался торжествеиный молебеи, после которого все воссели иа скамьи полукругом возле княжих столов, поставлениых у стеиы против главиых входиых дверей.

На передних местах сидели архиепископы и епископы русские: Филипп суздальский, Ефросин рязаиский, Героитий коломеиский и Вассиаи сарайский[1]. Все они были владыки Московской земли, ие было только никого от Новгорода Великого и от Тверского великого княжества.

Это встревожило Иваиа. Ои сидел молча и иеподвижю, и лицо его было спокойио, казалось, что смотрит ои на все безучастио и холодно. Но вот поднялись два протопопа и объявили, что прибыли с грамотами: одии — от архиепископа иовгородского, другой — от епископа тверского.

Иваи вздохнул легче, ио все же с беспокойством думал, как владыки этих двух от Москвы ие зависимых земель отиесутся к выбору Феодосия и к великому князю московскому.

Одии из протопопов развернул и стал читать грамоту за подписью обоих владык. После молитв и приветствеииых обращеиий к собору Иваи услышал об избраиии митрополита всея Руси такие слова:

— «Кого восхощет господь бог и пречистыя матерь его и великие чудотворцы и господии наш киязь великий Василий Васильевич и братия иаша, епископы русские, и иже с иими Свящеииый собор, тот и будет иаш митрополит...»

Едва заметиая улыбка мелькнула иа устах Иваиа, и ие слушает ои далее, ясио ему, что власть московского князя в делах церкви непоколебима.

— После бога-то оии государя своего иа второе место ставят,— с удовлетвореиием прошептал он иа ухо отцу, когда председательствующий иа соборе епископ обратил слово свое ко всем присутствующим.

---

[1] *Епископ сарайский* (сарский) — глава русской православной епархии, существовавшей в Сарае до 1460 года.

В лето тысяча четыреста шестьдесят второе весна выдалась поздняя, студеная, а марта первого, на самый новый год, мороз ударил такой, какого и в январе не бывало. Да и ныне холода стоят, а ведь пятый уж день после «сорока мучеников», но не только жаворонков не слыхать, а и грачей не видать. Лежит кругом еще снег крепко, и лед на Москве-реке нигде не двинулся.

Такая погода на пользу Василию Васильевичу, не страдает он от сырости весенней, но душа у него неспокойна: только что схвачены были за злоумышление дети боярские князя Боровского и привезены в Москву.

Это так взволновало великого князя, что занемог он и слег в постель.

Думу о делах этих думали в опочивальне великого князя, где собрались Иван и Юрий, а их ближних бояр только князья Патрикеевы и Ряполовские, да дьяки Федор Васильевич Курицын и Степан Тимофеевич Бородатый.

О «поимании» боярских детей князя Василия Ярославича докладывал Курицын, которому Иван еще в прошлом году розыск вести по этому делу повелел. Иван все уже знал о заговоре и не слушал теперь дьяка. Он думал о том, что вот опять готова была начаться новая смута в случае побега дяди его Василия Ярославича в Литву или к татарам...

Перед глазами его, как видения сна, прошла вся борьба с Шемякой, увидел он снова все сожженные и ограбленные деревни, беженцев, от смерти лютой бегущих и от полона, который еще горше, чем сама смерть.

— Будто от татар, бегал народ от своих князей русских,— беззвучно прошептал он,— и яз там, на Кокшенге-реке, градки и села жег и полон брал...

И враз вспомнилось ему, как среди лесов гонит полон стража его. Маленькие лохматые лошаденки по льду реки волокут дровни со всяким харчем и жалким именьишком. За обозом понуро идут мужики и парни, женки и девки.

«Кому радость, а им слезы,— слышит он слова Илейки,— наигорше всего ведь с родной землей расставаться...»

Вот женка причитать начала, а мужики и парни молчат, только потемнели от злобы. Уследил Илейка, что глядит Иван на полон, и молвил, словно железом каленым прижег: «Глянь, государь, как вон та, молодка, убивается. Может, по ласке мужней, а может, по дитю малому...»

Вздрогнул Иван, очнулся от дум и слышит, как дьяк Курицын говорит:

— А пойманы в сем воровстве и злодействе боярские дети, человек двадцать семь, а наиглавные злодеи из них: Володя Давыдов, Парфен Бреин, Лука Посиньев, Назар Симкин, Иван

Хабар, Петр Маслов, Семен Беспалов и Лександр Овчинников. Прочие же подручные их, кои...

Дьяк оборвал свою речь, взглянув на Ивана. Тот тяжело дышал, задыхаясь от гнева, брови его резко сошлись, глаза совсем почернели и остановились.

Ивану хотелось кричать от гнева и топать ногами, но он молчал, стискивая зубы и угашая огонь, полыхавший в груди его.

Но бояре все, видя Курицына бледным и не отводящим глаз от молодого государя, тоже обратили на него свои взоры. Непонятный страх и смятение входили в душу всем от непереносного, леденящего взгляда юного государя.

От внезапного страшного молчания и Василия Васильевича охватила какая-то тревога.

— Пошто молчите все?— спросил он в волнении, приподнимаясь на ложе.

Иван оглядел присутствующих и неожиданно для всех внятно отчеканил:

— Казнить злодеев немилостиво. На лубке липовом волочите их по льду Москвы-реки, привязав коням к хвосту. Всех бить кнутьем всенародно. Иным из них отсечь руки или ноги, иным носы урезать, а наибольшим ворам — головы ссечь!..

Он замолчал. Слова его были так тверды, что никто не осмелился ничего возразить. Страшные же глаза Ивана медленно и строго оглядывали всех в жуткой тишине, будто желая прочесть в душе каждого.

Молчал и Василий Васильевич, но, пересилив волнение свое, он спросил сына:

— А не вельми ли тяжко сие наказание?

— Государь,— тем же твердым голосом сказал Иван,— а ты забыл про Шемяку. Пошто злодеев, врагов своих поощрять на кровь и разоренье народное? Ведь бежал бы в Литву князь Василий Ярославич, как надумали его дети боярские, али к татарам и пришел бы с ними вместе Русь зорить и грабить, полоны имать! Да и другие удельные тоже сему рады были бы, помогли бы дяде моему...

Снова тишина и молчание настали в опочивальне великого князя. Ждали все, что скажет Василий Васильевич. Великий князь, сдвинув брови, напряженно думал и, видимо, волновался.

— Господи, прости грехи мои,— наконец заговорил он, крестясь,— не для-ради злобы сие согрешение...

Василий Васильевич смолк от волнения, но, овладев собой, громко заключил:

— Ин будь, сынок, по-твоему, коли сие для-ради пользы государству, для-ради его крепости...

Великий князь запотел от усталости и, отерев лоб, бессильно откинулся на подушки.

Двадцать третьего марта ужаснулся народ на Москве от казней невиданных, которые на льду Москвы-реки происходили. Содрогнулись все от воплей и криков истязуемых, от крови людской, что лилась в изобилии, алея страшными пятнами на снегу и на льду реки. Пошло в народе роптание, что-де грешное дело государи свершают в кануи благовещенья,— людей казнят, да казнят казнями, на Москве невиданными.

Дошел этот ропот и до хором княжих, до княгинь дошел через слуг дворских, и замерли все в страхе и ужасе, а Марьюшка бросилась к Ивану в покои его, но у дверей оробела вдруг и остановилась. Потом отворила двери неслышно и вошла.

Видит, Иван на коленях стоит перед кивотом и шепчет громко, истово крестясь:

— Прости мя, господи, грешного! Прости мя, господи, за муки их! Не для-ради злобы и гнева сие, а для-ради блага всея Руси, господи...

Кланяется земно Иван, ниц на полу простираясь, встает опять на колени и снова шепчет то же самое с болью душевной...

Страшно вдруг стало Марьюшке, страшней рассказов дворских о казнях, и, не выдержав, крикнула она громко:

— Иване!..

Вздрогнул Иван, вскочил на ноги и огляиулся. Марьюшка бросилась к мужу, протянув руки, но, взглянув в глаза ему, обмерла вдруг и упала у ног его.

Взволнованный и встревоженный, Иван поднял ее, как перышко, и посадил осторожно на пристенную лавку рядом с собой, обнимая и лаская ее. Но у Марьюшки, словно у мертвой, падали руки, не держался стан и свисала голова то в одну, то в другую сторону. Ужас охватил Ивана.

— Марьюшка, Марьюшка,— в отчаянии повторял Иван, нежно прижимая ее к себе,— неужто сие за грехи мои?! Господи, прости мя...

Но вот Марьюшка оживать стала и, не открывая глаз, но слушая ласковые слова, доверчиво, по-детски прижалась к мужу.

— Марьюшка, жива ты!— радостно воскликнул Иван.— Цвет ты мой благоуханный, радость моя! Пошто так с тобой содеялось?

Губы Марьюшки задрожали, и она прошептала, вздрогнув всем телом:

— Очей твоих испужалась...

— Очей моих?— с удивлением и недоверием спросил Иван.— Пошто ж ране ты не пужалась? Ну, погляди ж на меня...

Марьюшка нерешительно взгляиула на Иваиа сквозь ресницы и, вдруг широко раскрыв глаза, улыбнулась ясиой, веселой улыбкой.

— Ты такой, Иванушка, каким всегда со мной,— молвила оиа ласково и прижалась щекой к бородатому лицу его.

На другой день, после утреиних часов, еще до завтрака, призвал к себе Иваиа Василий Васильевич.

Войдя в опочивальню, Иваи увидел, что отец совсем ослаб. Лицо его осунулось и потемнело, а волосы как-то необычио прилегли, словно прилипли к голове.

— Будь здрав, государь,— тихо сказал Иван.

— А, сыночек,— слабым голосом ответил Василий Васильевич,— садись подле меня...

Замолчав, он задумался и двигал бровями, словно что-то вспоминал.

— В одной святой обители,— заговорил ои тихо,— в какой — запамятовал уж, иекий старец жил, имя его Христофор было. Беседу ои имел со миой о государствовании. Из бояр он, а из каких — не помню, Иваие, и постригся ои еще ие старым...

Василий Васильевич стал кашлять, содрогаясь всем телом. Отдохнув и отерев обильный пот, покрывший крупными каплями его лицо, продолжал:

— В давиие времена сие было — еще свет божий ие померк в очах моих. Токмо забыл яз совсем про слова его и ни едииого разу не вспоминал их. Ночесь же, сна не имея, как бы сквозь дрему, монастырь оный и старца увидел и беседу с ним враз вспомнил. Господь на разум вложил мне беседу сию, дабы тобе довести о ней...

Великий князь слегка забылся.

— Что же старец-то сказывал?— спросил Иван.

Василий Васильевич вздрогнул и очнулся.

— Старец-то Христофор?— заговорил ои сиова.— А вот что: «Помни,— сказал ои,— государство-то, что конь. Спереди пойдешь — затопчет, сзади — залягает, а можно идти токмо вровеиь с коием... Умело им править...» Яз же завет сей иарушал, Иваие. И вот оио, государство-то, и топтало и лягало меня, покуда яз вровень с ним ие пошел...

Василий Васильевич смолк, продолжая о чем-то думать.

— А яз мыслю,— сказал твердо Иваи,— ие токмо вровень с конем идти надобно, а верхом сесть на иего и управлять им твердой рукой.

Василий Васильевич слабо усмехнулся.

— Легко, Иване, сказать сие,— молвил он,— а как сесть?

Сей конь-то с норовом: не захочет в узде ходить и сбросить может...

— Яз в седле крепко сижу,— живо отозвался Иван,— меня не сбросит! Уразумел яз, как на стремена ноги опирать и как поводьями править.

— Дай тобе бог,— ласково произнес Василий Васильевич и, перекрестившись, добавил:— Ослаб яз зело, Иване. Хочу трут жечь у собя на хребте. Может, господь поможет, поправлюсь... Яз Васюка за трутом уж отослал. Знает он в Чудовом старца, который хитростям врачевания научен...

Уже несколько дней, как совсем разболелся старый великий князь. Пошли по всему телу его гниющие раны там, где язвы были от сжигания трута. Мечется он в огневице и задыхается от жестокого кашля, в мокроте кровь показалась, иной раз совсем алая...

Соборовался уж Василий Васильевич, молебны служили о его здравии с зелеными свечами от гроба господня и возлагали на него частицу камня от горы Голгофы, но ничто не помогает.

В тревоге и тоске все семейство великого князя, сумрачен и молчалив молодой государь, и только возле Марьюшки своей скорбит он и жалуется.

— Тяжко мне с батюшкой моим расставаться,— шепчет он горестно.— Тяжело мне, Марьюшка, а сие неизбежно...

Но тяжелей ему глядеть на мать. Не отходит она день и ночь от болящего. Онемела будто и слезы только утирает беспрестанно. Марьюшка, глядя на свекровь, горько убивается...

Вдруг на пятые сутки повеселела нежданно Марья Ярославна, а по всем хоромам зашептали радостно, но с опаской, чтобы не сглазить:

— Полегчало, бают, государю-то!..

В субботу попросил Василий Васильевич на ужин баранины жирной, водки и медов. Ел он, хотя и мало, но с удовольствием и водки выпил и заморского вина. Заснул после трапезы спокойно, от этого покой настал всюду в княжих хоромах.

Легче сразу стало Ивану — поверил он в выздоровление отца. Весело шутили, смеялись они с Марьюшкой, укладывая спать Ванюшеньку, а вскоре и сами заснули без тревоги и боли душевной впервые за всю эту неделю...

Вдруг во втором часу пополуночи шум какой-то пошел... Чудится Ивану сквозь сон, что ходят люди по всем покоям и по сенцам, а иной раз не то какой-то хрип, не то храп, как из трубы длинной татарской каркает или блеет...

Открыл глаза — тьма еще темная стоит, только лампады перед иконами теплются, и видно сквозь сумрак, как рядом спит Марьюшка. В хоромах же не смолкает кругом шелест, шептание

и легкий топот. Вдруг страх охватил Ивана, и зубы его лязгнули, стало холодно, руки дрожат. В сей же миг проснулась и Марьюшка и круглыми испуганными глазами глядит на Ивана, сказать ничего не может...

Вот кто-то затопал в сенцах, вот, скрипнув, отворилась дверь, и в сером полумраке узнал Иван седую лохматую голову с курчавой бородой, и знакомый с детства голос Васюка всхлипнул во тьме:

— Иванушка, отходит государь наш...

Вскочил Иван, накинул наскоро кафтан на себя, натянул ноговицы сафьяновые и так побежал за Васюком.

— Марьюшка,— крикнул он из дверей,— буди мамку, оболокайся и приходи...

Вся семья Василия Васильевича была уж в его опочивальне, когда вошел Иван, и тотчас же он услышал истомный голос отца:

— Иде же Иван? Иде же Иван мой?

— Тут яз, государь, тут,— глухим голосом откликнулся Иван, и Василий Васильевич успокоился, перестал метаться.

Все стоят вокруг него молча, бледные, в страхе и печали. Он же крепко держит руки Марьи Ярославны, словно утопающий, ищет в них опоры и спасения...

— Боже мой, боже мой,— говорит он тихо и жалостливо,— хошь бы в последний-то смертный час лик твой, Марьюшка, увидать?..

Кривятся губы его от сдержанного рыдания, но продолжает он, напрягая все силы:

— И тобя увидать бы, Иване мой, великий князь московский после меня. И вас всех, детки мои...

Плачет он и вдруг громко и молитвенно взывает:

— Господи, господи! Покарал ты мя люто за грехи мои, но яз не ропщу, а токмо молю тя: прости мя, господи.

Смолк внезапно и затих государь, а на лицо его сразу легла смертная тень. В тот же миг вздрогнули все от непереносного горестного вопля.

— Васенька, Васенька мой!— вскричала Марья Ярославна и упала без чувств возле постели...

В конце марта того же года протопоп Архангельского собора отец Алексий, служивший еще при митрополите Ионе, а ныне при митрополите Феодосии, записал в церковной книге:

«На Федоровой неделе князь великий, чая собе облегчения

от сухотные болести, повелел себя жещи, яко же есть обычай болящим сухоткою. И, зажигая трут, ставили его ему на многих местах тела. Раны же его от сожжения разгнишася, и бысть ему болезнь тяжка. И от болезни той преставися, марта в двадцать седьмой день, в субботу, в третий час нощи.

В утрий же день, в неделю, погребен бысть в церкви святого архангела Михаила на Москве, идé же вси велиции князи, род их, лежат.

И сéде по нем на великое княжение по его благословению сын его старейший, князь великий Иван».

Глава 8

НОВОЕ КНЯЖЕНИЕ

Почти уж полгода прошло со дня торжественного вступления Ивана Васильевича на московский великокняжий стол, а все еще не освоился он со своим новым положением. Чем больше вникает он во все дела, тем больше видит государственного неустройства, тем грозней кажутся ему и свои внутренние и чужеземные враги.

Каждый день от завтрака до обеда назначается у него особый час тому или иному из бояр, воевод и дьяков, которые должны с вестями приходить в княжой покой.

Выслушав, он одних отсылает, а других оставляет при себе. Ныне у него ранее всех дьяк Курицын.

— Микола-угодник всем правит у нас,— говорит он Курицыну,— а не мы.

— Истинно, государь,— отвечает молодой дьяк,— и у нас и круг нас, как в котле кипит, а что варится, неведомо...

— Яз же все пробую, да пока токмо рот обжигаю сим варевом. Удоржал бы господь татар-то хошь годика на два, дабы успеть оглядеться да силы скопить. Полгода вот в тишине прожили. Сентябрь ныне уж, а к зиме татары вряд ли подымутся, а все же нет покоя мне...

В дверь постучали. Вошел дьяк Бородатый, Степан Тимофеевич, и стал креститься.

— Будь здрав, государь,— молвил он, кланяясь Ивану, а потом и Курицыну.

— Будь здрав и ты. Садись. Какие вести?

— Из Пскова худые вести. Князю своему Володимеру Андреичу путь указали[1]. А на вече, бают, со степени его спихнули. Забыли, что покойный государь ростовского князя им на стол

[1] *Указали путь* — выгнали.

посадил, что сей князь наместником был государя московского. Озоровать иачинают псковичи-то...

— А причина какая,— сдвигая брови, спросил Иван Васильевич,— не из озорства же сие псковичи содеяли?

— Не по старине он, сказывают: приехал-де не зваи, а иа иарод ие благ...

Глаза Ивана потемнели.

— Ни воеводы, ни наместники на кормлеиье меры не ведают,— молвил он гневно,— приедет князь, сам его исповедаю...

Иван Васильевич задумался и спустя некоторое время сказал:

— Нам на первых порах иадобио ласкать Псков, а в Новомгороде — архиепископа Иону. Псков-то нужен, как заслои от немцев и от Новагорода, а владыка новгородской — как наш доброхот в Совете господы. Верно яз мыслю, Степан Тимофеич? Ты вельми ведь сведущ в делах сих градов.

— Верно, верно, государь,— весело усмехаясь, ответил Бородатый.

— Вот вы оба,— продолжал государь, обращаясь к дьякам,— и сведайте всё, что мне может быть надобно, дабы у меня какой огрешки не вышло потом с послами-то. Чаю, пришлют псковичи послов для-ради своего оправдания. Одно крепко иа уме держите: мир мне пока надобен...

В начале зимы этого же года, когда санный путь устаиовился, прибыли в Москву послы псковские просить себе нового князя. Иван Васильевич не пустил их к себе на очи. Три дня послы, как угорелые, метались по Москве с подарками и поклоиами: и у митрополита были, и у старой государыни, и у князя Юрия, и у бояр, и у воевод, и у дьяков даже...

На четвертый день государь смилостивился, допустил псковичей пред очи свои, но принял сурово, сидел молча и долго не отвечал на прнветствия, только в упор глядел на послов, а у тех от взгляда его мурашки по спинам бегали. Оробели совсем послы, поклонились низко и опять молвили:

— Будь здрав, государь. Челом бьем от псковской твоей вотчины...

Тут только спросил их великий киязь вежливо, но так, что холодно стало от вежливости этой.

— Поздорову ли доехали?— сказал ои и усмехнулся.

— По милости божьей поздорову,— ответили послы, а какое там здоровье — взглянуть на государя не смеют, вину свою знают.

Не посадил их Иван Васильевич, а только молвил сухо:

— Сказывайте.

Начали было псковичи оправдываться, на вины князя Владимира Андреевича указывать, на старину ссылаться...

— Ведаю все,— оборвал их государь.— В чем мне челом бьете?

— По старине, государь, дай нам князя на вече самим избрать...

— Ладно,— мягче молвил Иван Васильевич,— не ворог яз своей вотчине. Не хочу яз старины рушить. Когда же изберете князя собе, то от веча своего пришлите челобитную грамоту мне, со всеми подписями и печатями. Яз же сие избрание утвержу и, опричь того, пришлю вам своего наместника. Князь же ваш крест мне поцелует на полную мою волю. Во Псков поедет с вами дьяк мой Бородатый...

Приняв подарки, отпустил государь псковских послов и повелел боярам угостить их в княжих хоромах. Сам же, взяв с собой Бородатого и Курицына, пошел в свои покои.

Здесь, не садясь, он сказал Курицыну:

— Поди, Федор Василич, распорядись, дабы князь Володимер Андреич отъезжал пока в свою вотчину. Так-де надобно...

Обернувшись к Бородатому, добавил:

— А ты, Степан Тимофеич, о сем как бы к слову, а не нарочито послам проговорись, об отъезде князя-то. Да гляди там, во Пскове-то, как грамоту составлять будут, и разведай, что у них с Новымгородом и с владыкой Ионой. Поболе для меня старины всякой сведай. Ну, иди к гостям, прими их поласковей...

Целый год уж и два с лишним месяца, до половины вот тысяча четыреста шестьдесят третьего лета, живет Московская земля тихо, без войн и смут. Спокойно ныне, и мужики косы да серпы ладят к Петрову дню, последние дни кукушки кукуют, кричат в хлебах по вечерам перепела, а днем над полями звенят жаворонки, да кружат ястребы да коршуны, высматривая сусликов...

Жары стоят томные — чуется по всему, что уж макушка лета через прясла глядит. В покоях государя из-за духоты все окна отворены, а сам Иван Васильевич и дума его — брат Юрий, дьяки Федор Курицын и Степан Бородатый — сидят в одних рубахах с расстегнутыми воротами. В Москве же и на княжом дворе от жары будто все вымерло — даже петухи не поют и голуби не воркуют. Только сонно гудит возле окон черный шмель и тыкается головой в стены, да так же сонно плывет откуда-то из подклетей печальная девичья песня:

Ка-а-ак по-о-о реченьке-е-е
Лебеду-ушка-а плыве-ет...

Песня то почти стихает, то снова медленно льется в воздухе. Видимо, девка, что-то делая, отходит от своего окна и снова приближается к нему.

Иван Васильевич молчал, заглядевшись на яркое белое облачко, одиноко плывущее в синеве неба, слушая невольно пение и думая свои думы. Советники его тоже молчат.

Сжа-а-алься, ма-а-тушка-а,
Над го-о-рюшком мо-оим!..

неожиданно громко всплеснулась вдруг песня.

Иван Васильевич чуть дрогнул и, усмехнувшись, сказал:

— Тишина-то какая. Упади сей часец на дворе доска, пушечным громом покажется...

Но брови его быстро сдвинулись, и он заговорил, продолжая прерванную незадолго пред тем беседу:

— Вот яз и сказываю. Тишина у нас второй год. Даст бог, удержим злобу, может, еще на год-два. Затишье сие пред грозой. Зрю яз всю Московскую землю, яко на ладони, и вижу: круг земли нашей тучи черны ходят-плавают да грозой внутри кипят, и неведомо, из которой ране гром грянет...

— Истинно, государь,— живо отозвался дьяк Курицын.— Кругом нас иноземные вороги: под самым боком Казань зубы точит, а с Дикого Поля всякая татарва грозит: и Большая Орда, и Ногайская из-за Волги, и сибирские татары.

— А с запада,— продолжал дьяк Бородатый,— Литва, а за спиной ее круль польский, тамо же и немцы ливонские, а за спиной их свеи[1].

— И все они,— молвил сурово Иван Васильевич,— как волки лютые, Русь растерзать хотят, по кускам растащить! Мы захотим татар бить — нам в спину ударят ляхи, литовцы и немцы. Будем бить латынян поганых — татары нам в спину ударят...

Великий князь замолчал, а дьяк Курицын поспешно горестно вопросил:

— Как же нам быть, государь? Ведь есть у нас еще вороги и в Новомгороде, и во Пскове, и в Твери...

Наступило молчание. Иван Васильевич хмурил брови, но был спокоен.

— Яз так мыслю,— заговорил, наконец, он медленно,— два года, а то и более нигде старины не рушить. Содеем хитрые докончания со всеми удельными, а с Михайлой тверским утвердим крестоцелованием все, как при отцах наших было. То же учиним и с Новымгородом и со Псковом. Ты, Степан Тимофеич,

---

[1] *Свеи* — шведы.

сими градами займись, с глаз их не спущай, а Федор Василич глядеть будет за удельными и за̀ татарамн. Обое же вместе и латынян из виду не упущайте...

Иван Васильевич злобно ухмыльнулся и, помолчав малое время, продолжал:

— О Рязани яз прежде со старой государыней подумаю и с нашим митрополитом.

Великий князь встал и, когда дьяки стали прощаться, молвил им:

— При отце мы били татар татарами, а ныне попытаем н латынян татарами бить. Да и у латынян меж собой рознь есть. Разумеете сие?

— Разумеем, государь,— ответили оба дьяка.

— Новгород и Псков покуда по старине доржать, а потом их сей же самой стариной бить начнем...

— Как же так?— с недоумением заявили дьяки.

— Уразумеете после,— коротко ответил государь.

Дьяки вышли.

Иван ласково положил руки на плечи Юрия.

— Все слышал, брат мой?— сказал он, посмеиваясь.— Все сие того ради дею, дабы успеть полки снарядить. Будешь ты войско по-новому строить. Садись, слушай...

Глаза у Юрия радостно засияли, поблескивая искорками.

— Очи-то у тобя, как у отца были, помню,— неожиданно молвил Иван.— Слушай же, о каком яз порядке для боя думаю. Разум у тобя скорометлив на военные хитрости. Ты поймешь меня враз. На поле у нас всегда было пять полков. Ставили мы их так: за дозорами — «передовой» полк да конный с луками; за ним «большой» полк, а по бокам «большого» «правый» и «левый» полки, да из лучших воев —«сторожевой» полк, дабы всегда в засаде сила была. Ныне же, когда у нас есть судовая пешая рать и могут быть, как у псковичей, свои пушечники, надобно многое в построенье полков изменить. А как?— ты уж сам с воеводами подумай. Наиглавное же надобно все войско из копейщиков, лучников, топорннков, сабельников конных и пеших, пушечников и нашу судовую рать нам твердо в руках доржать. Для сего же яз решил всех детей боярских во всех полках под начало наших людей, наиболее хитрых в ратном деле и верных, поставить, выбрать из людей от двора нашего, московского сиречь, у кажного полку — наш воевода будет, как и воевода «большого» полку — на́больший, который всем воеводам приказывает...

— Разумею все, Иване!— весело воскликнул Юрий.— Так мы не одних татар побьем, а и латыньство одолеем...

— В тайне сие храни до времени, и воеводы пусть языки не распускают,— добавил великий князь.

— Яз самых верных нам возьму: Стригу, Басёнка, Плещеева, Беззубцева...

— Сие ты лучше меня ведаешь,— перебил его Иван,— токмо не допущай среди них спору о старшинстве и худородии. На места сажай по уму, а не по знатности рода,— яз сие скреплю. Да о кормах подумай, о жаловании, а за непослушание нещадно казни: темницей, кнутом, батогами и даже смертью. Ну, иди, Юрий, притомился яз. Потрудись в сем деле — ты ведь десница моя...

Когда Юрий вышел, Иван Васильевич ослаб неожиданно и лег на пристенную скамью, вытянувшись во весь свой могучий рост. Его охватила тревога, и вспомнил он предсмертные слова отца, что государство-то, как конь: не захочет в узде ходить — и сбросит...

— Лягаться вдруг начнет конь-то,— хрипло произнес он вслух,— а яз еще не готов...

Дверь в его покой быстро отворилась, и вошла к нему Марьюшка с пятилетним Ванюшенькой и юной золовкой своей Аннушкой.

— Иванушка,— обнимая мужа, весело заговорила Марьюшка,— а мы хотим по ягоды. Земляники, бают, страсть сколько! Мы с матушкой, с Аннушкой и со всеми сенными девками поедем в заповедную рощу...

В дверях показалась Марья Ярославна.

— Будь здрав, сыночек.

Иван Васильевич встал навстречу матери и поцеловал ее.

— Будь здрава, матушка!

Марья Ярославна и в темном вдовьем наряде, несмотря на сорок пять лет, казалась моложе и была еще красива, только темные глаза ее застыли в печали и даже улыбка не оживляла лица, а сама становилась печальной.

— Вот молодые-то закружили меня, старуху, и яз с ними еду...

Она помолчала, внимательно посмотрев на сына, и добавила:

— Ну, Марьюшка, иди собирай все! Спеши,— к ужину воротиться надобно. Отпущает муж-то?

— Поезжайте, матушка, поезжайте,— молвил Иван Васильевич ласково,— а яз малость един тут побуду...

Марьюшка порывисто обняла и поцеловала мужа, а он, схватив на руки Ванюшеньку, стал целовать сына...

— Тату,— отбивался тот,— хочу по ягоды, пусти, тату...

Когда все вышли, поднялась и Марья Ярославна. Подойдя к сыну, она нежно положила руку на его голову:

— Что с тобой, Иванушка?..

Иван крепко прижал ее руку к лицу своему.

— Тяжко мне, матушка, тяжко! Один яз остался против всех

ворогов, и своих и чужеземных. Как волки, все круг меня зубами щелкают, хошь и по кустам прячутся...

— Ништо, сыночек милой, ништо. Бог-то, как бабка нам баила, за Москву постоит. Да и рука у тобя, сыночек, жильная, железная рука, и разумом господь не обидел...

Иван глубоко и облегченно вздохнул от ласки матери и вдруг улыбнулся:

— Истинно, истинно, матушка. Вывезу, бог даст, воз сей тяжкий, вывезу на самую высокую гору!..

Он горячо поцеловал руку матери и стал ходить по горнице.

— Матушка, а сколь годков сестре Аннушке? — спросил он, останавливаясь.— Яз о Рязани мыслю... Пятнадцатый, ей уж пора из княжон и в княгини. Отец еще о сем мысли имел. Утре зайди-ка ко мне в покой после обеда. Подумаем о свадьбе-то...

Как-то, недели через две, во время завтрака, когда великий князь беседу вел с Юрием об устроении полков, постучав в дверь покоев, вошел дьяк Бородатый, только что вернувшийся из Пскова.

— Будь здрав, государь, и ты, княже Юрий Василич,— молвил он весело, кланяясь обоим братьям.

— Вижу, вижу уж,— улыбнулся Иван Васильевич,— добрые вести привез...

Он приблизился к дьяку, обнял его и поцеловал.

— Ну, будь здрав и ты. Садись и сказывай...

— Добрые вести, государь,— ответил Бородатый,— совсем смирились псковичи. Немцы нам в сем помогли: воюют исады[1] псковские, жгут избы и полон берут, а новгородцы не шлют Пскову никакой помочи.

— Добрé, добрé,— усмехнулся Иван Васильевич.— Москва им поможет, а новгородцы-то локти потом кусать будут. К нашей выгоде сие складывается!..

Великий князь рассмеялся и спросил весело:

— А как с грамотой челобитной?

— Грамота при мне, государь,— ответил Бородатый,— и боярин их Офросим Максимыч со мной прибыл. Написали, как яз им сказывал — всё по воле твоей. В передней твоей боярин ждет с дьяками и слугами. Выдешь ты к ним, государь, сей часец или в иное время позовешь?

— Зови его сюды с дьяками, но без слуг,— распорядился Иван Васильевич.

Бородатый вышел, а государь сказал брату:

[1] *Исады* — районы рыбных промыслов.

— Видишь, Юрий, как яз время веду, все мир оберегаю, дабы ты с подготовкой похода управился.

— Иване, стал яз разуметь,— сказал Юрий, улыбаясь,— что на государствовании, как и на поле, воевать приходится...

Низко кланяясь, вошел в горницу крепкий бородатый старик, боярин Офросим Максимович, с двумя дьяками. Помолившись и поздоровавшись с государем, который принял послов ласково, боярин велел своему дьяку читать челобитную грамоту.

Просили псковичи утвердить на псковском столе князя Ивана Александровича Звенигородского, «который князь Пскову люб» и который уж, после избрания его на вече, прибыл апреля десятого во Псков.

Иван Васильевич челобитье принял и князя утвердил.

Земным поклоном поблагодарил Офросим Максимович великого князя от лица всей псковской его вотчины и потом добавил:

— Еще, государь, бьет челом тобе псковска твоя вотчина: помоги нам немцев побороть,— пустошат и жгут, окаянные, многие исады наши, полон берут. Новгородцы же на мольбы наши не дают нам помочи...

Опять усмехнулся чуть заметно Иван Васильевич и, перебив речь посла, молвил:

— Ведаю о сем и, радея вотчине моей, отослал яз июня восьмого в помочь вам воеводу своего, князя Федора Юрьича Шуйского. Чаю, уж пригнал он с полком своим ко Пскову...

Поклонились низко послы псковские и, позвав слуг своих, стали дары подносить великому князю. Иван Васильевич принял милостиво подарки псковские и, обратясь к брату, молвил:

— Юрий, и ты, Степан Тимофеич, ведите гостей в трапезную, угостите их с честию. Яз же погодя немного приду. Извести меня ближе к концу обеда.

В дверях мелькнул стремянный великого князя Саввушка. Иван Васильевич поманил его пальцем и, когда все вышли, приказал ему:

— Никого ко мне не допущать, а ежели вести какие, доложи дьяку Курицыну. У меня дума со старой государыней после обеда, сейчас иду к ней...

В лето тысяча четыреста шестьдесят четвертое пошел княжичу рязанскому Василию Ивановичу семнадцатый год. С восьми лет рос он в Москве, в семье великого князя московского, и за все это время правил Рязанской землей сам государь московский, посадив в Переяславле-Рязанском, в стольном граде этого княжества, наместника своего и воеводу. Во главе же рязанской

епархии поставлен был епископ Давид, бывший казначей митрополита московского и всея Руси. В силу этого крепко связались оба великие княжества, но государь Иван Васильевич и государыня старая Марья Ярославна хотели большего и решили теперь скрепить дружбу эту еще и кровным союзом: зимой было намечено и свадьбу играть, выдав за князя Василия сестру государя Аннушку, и отослать обоих на великое княжение, на отчий стол в Переяславль-Рязанский.

Юный князь Василий был весьма этим доволен, ибо привязался за детские годы к семейству московского князя, а подруга его детства, ласковая Аннушка, уже второй год волновала ему сердце. Обручившись с княжной, счастливый и радостный, уехал князь Василий в свою вотчину. В Москве же начались у Марьи Ярославны заботы и хлопоты. Собирали и шили приданое для Аннушки.

— Наделок-то доченьке таков надобен,— говорила сыну старая государыня,— чтобы семейству нашему сраму от людей не было. Ведь из Московского княжества отдаем девку.

Сама Аннушка, на мать очень похожая, красивая и вальяжная, была спокойна, зная Васеньку с самого детства. Только не могла она пересилить смущения девичьего от слова «невеста» и зорькой алой пылало лицо ее, глаза опускала в землю, а пышная грудь волновалась под шелковой занавеской сарафана, как только услышит это слово.

Приходилось и государю Ивану Васильевичу думать с матерью о делах свадебных: о деревеньках и селах, о собольих, лисьих, бобровых и беличьих мехах и обо всем, что дать надобно в приданое Аннушке. Марья Ярославна вымаливала побольше всего, дабы честь свою поддержать, а Иван не перечил, усмехался лишь весело.

— Не жалей, матушка,— приговаривал он,— не жалей наделка-то для Рязани, сама Рязань вборзе Москве в наделок пойдет!..

Марья Ярославна смеялась в ответ и радостно говорила:

— Уж так ладно все, сыночек, так уж ладно с тобой мы все решили...

Стук в дверь прервал их беседу. Вошел дворецкий и доложил, что прибыл посол от псковичей.

— Государь, посольство-то вельми малолюдно,— добавил дворецкий,— и не из знатных людей...

Иван Васильевич нахмурился.

— Пусть пождет малость в передней, а ты пошли за Федором Васильичем. Скажи: «Велю, мол, ему ко мне прийти».

Данила Константинович ушел, заторопилась и государыня.

— Ин и яз пойду,— молвила она ласково,— тобе и своих делов хватит, а и мне со свадьбой хлопот по самое горлушко...

Дьяк Курицын вошел в покой государя со смущением. Странно было ему, что псковичи, которым и князь утверждеи и воевода с полком против немцев послаи, отправили послом иа Москву с двумя грамотами от веча ие посадиика или бояриия, а какого-то шестника[1] Исака.

— Сие есть неуважение к государю московскому,— сказал ои Иваиу Васильевичу.

— Надо вызнать,— возразил государь,— вольио сие или невольно содеяно. Призови сюды шестника. Яз сам с ним потолкую. А грамоты как писаны?

— Подобающе писаиы. Обращение к тобе, государь, вельми почтительиое...

— Ну, зови сюды посла-то.

Шестник вошел робко и, помолясь, преклоиил колена и молвил:

— Буди здрав, государь наш. Челобитная тобе от Пскова.

— Встань. Будь здрав и ты. Прими, Федор Василич, грамоты.

Курицын прочел первой ту грамоту, где псковичи весьма почтительно шлют великому князю благодарность от всей Псковской земли за помощь «против немцев поганых» и неожидaнно добавляют, прося прощения, что отправили с грамотой не посадника и бояр, а шестника, ибо «страх имели, что новгородцы не пустят иа Москву послов псковских».

Услышав это, Иван Васильевич повел бровями и спросил с удивлением:

— Как же вотчина моя посмела так содеять?

— Новгородцы, государь, вельми злы иа иас за земли и воды владыки своего Ионы,— ответил шестник,— поимали мы имеиья и все оброки владычии. Хотим своими попами управитися, о сем в другой грамоте писано. Челобитна тобе, государь, от всего Пскова...

— Читай, Федор Василич,— сказал великий киязь Курицыну, развернувшему другую грамоту.

В грамоте челобитной псковичи просили великого князя, чтобы «пожаловал он свою вотчину Псков: повелел бы богомольцу своему митрополиту Феодосию поставить во Псков епископа отдельно от Новгорода и родом псковича...»

Выслушав грамоту до коица, Иваи Васильевич задумался.

— Дело сие великое есть,— молвил он, наконец,— хотим о том с отцом иашим митрополитом гораздо помыслити. Пусть вотчина моя псковская, обсудив все со тщанием, пришлет ко мие своих посадников и бояр для думы.

---

[1] *Шестник* — посыльный, чиновник для поручений по судебным и государствеииым делам.

Отпустив шестника, повелел Иван Васильевич своему дворецкому Даниле Константиновичу угостить посла с честию.

Когда шестник вышел, великий князь усмехнулся и молвил Курицыну:

— Вот оно — начало, как старину стариной бить. Сие новый клин, который будет меж Псковом и Новгородом, «московский клин». Те и другие от Москвы теперь управы друг на друга просить будут, а не вместе, как ранее было, на Москву огрызаться...

В ту же зиму в день рождения Ивана Васильевича приехал на Москву юный князь рязанский Василий Иванович к невесте своей Аннушке.

В самый разгар свадебных празднеств, к концу января, снова прибыли в Москву послы от Пскова «по слову великого князя», но уж из знатных бояр и бывших посадников во главе со степенным посадником Максимом Ларионовичем. Пятьдесят рублей новгородских старых вручили они в дар государю от псковской его вотчины.

Из-за тесноты в хоромах от гостей и свадебных пиршеств Иван Васильевич принимал послов в трапезной своей. Еще раз благодарили псковичи государя за помощь против немцев, а воевода государев, князь Федор Юрьич Шуйский, сказал великому князю:

— Государь, немцы с великим стыдом бежали от наших передовых полков, не дерзая битися с московским войском. Псковичи же с малым числом пушек град Нейгаузен осадили и через посредство магистра Ливонского ордена заключили перемирие на девять лет с условием, что епископ дерптский заплатит тобе дань по старине и не будет утеснять в Дерпте ни людей русских, ни церквей православных наших...

Посадник Максим Ларионович говорил после воеводы от псковского веча:

— Государь! Воевода твой люб нам за дерзость ратну и за услуги великие Псковской земле. Дали мы ему тридцать рублев, а всем боярам ратным при нем — пятьдесят рублев. Ныне же челом тобе бьем, государь, отпусти к нам князь Федора наместником своим...

Иван Васильевич просьбу псковичей благосклонно принял и пожаловал князя Шуйского наместником и воеводой во Псков, но на просьбу об устроении особой псковской епархии хотя и ласково, но решительно отказал.

— Ни яз, ни богомолец наш митрополит не можем сего сотворить, не можем старину рушить. Вы и старшие братии ваши новгородцы, тоже моя вотчина, жалуетесь друг на друга, но яз справедлив. Просил Новгород от меня воеводу, дабы сми-

рить вас, яз отказал им, запретил и мыслить о сем межусобии, повелел им тоже никогда не задерживать послов ваших ко мне. Хочу тишины и мира, а в распрях ваших судьей вам сам буду.

Повелел государь псковичам с миром возвратиться домой и, собрав вече, уничтожить судную грамоту, которую попы их составили об изъятии имений владыки новгородского, и приказал по старине все оставить.

— Во Пскове никогда своего владыки не было,— закончил строго Иван Васильевич,— а посему грехи свои исправьте и все земли, воды и оброки, которые неправедно от владыки поимали, возвратите ему немедля...

После приема у государя угощали псковских послов с большим почетом и лаской, дарили подарки, а главному послу, посаднику Максиму Ларионовичу, пожаловал великий князь двугорбого верблюда из приволжских степей, огромного и длинношерстного.

Несмотря на свадебные дни, приезды послов и разных вестников из разных концов Московской земли, государь Иван Васильевич не прекращал своих ежедневных встреч с боярами, воеводами и дьяками, которым, проверяя совместно с ними те или иные вести, давал поручения по разным государственным делам.

Ныне он с дьяком Федором Васильевичем Курицыным обсуждал вопрос, как влиять на Рязанское княжество, вернее — на юного князя его, через владыку рязанского Давида.

Князь, хмуря брови и поблескивая глазами, красивыми, но почему-то страшными для всех, говорил медленно:

— Не рука, не помощник мне отец митрополит. Сие яз постиг, когда еще беседу с ним вел о псковской епархии. Слаб он в делах государствования, слаб и мал против покойного святителя Ионы. Яз ему о Новомгороде и о Пскове, а он все о церковных делах, о том, что псковичи правы, а владыка новогородский Иона и впрямь корыстолюбив и вельми своеволен...

Юный государь насмешливо улыбнулся и добавил с досадой:

— Того же и в мыслях у него нет, что Новгород-то грозней нам Пскова, что в Новомгороде опору нам иметь надо против господы, что задавить ее надобно!..

Крупными шагами прошел Иван Васильевич по своему покою и, утишив разгоравшийся гнев, молвил спокойно:

— Чую, плоха мне подмога от владыки Феодосия. Ладно, что послушлив во всем. Погляжу пока, а то и скинуть его придется, хоть и благочестив вельми и дар слова у него велик. Скажи ему, что яз челом бью о послании к Давиду рязанскому,

дабы тот поучал князя, как тля точил бы его страхом божиим и проповедью с Москвой быть заедино. Ты, Федор Василич, все укажи: и как вороги везде круг нас, и как наши нестроения и межусобия отдают все земли русские на поток и разграбление, и как татар скинуть, и прочее, о чем ведаешь сам...

— Все содею, государь,— радостно подхватил Курицын,— а митрополит-то составит послание, яко проповедь. Истнино, на сие у него дар божий. Токмо еще одно тобе посоветую...

Иван Васильевич нахмурил брови, но Курицын продолжал с убеждением:

— Не гневись, государь, а выслушай. Сам ты сей вот часец баил, дабы словом владыка Давид точил князя, а где ему на то время и место? Токмо в церкви с амвона, тут же надобно всяк день творить увещание и неприметно и к слову. Вот яз и мыслю, духовника надо послать в Рязань с княгиней Анной Васильевной, дабы духовник тот стал...

Иван Васильевич угадал мысли Курицына и, засмеявшись, подсказал ему:

— Стал и духовником великого князя! Люблю тя, Федор Василич, за то, что мыслям моим навстречу разумно творишь. Истинно баишь, и встречу твою примаю. Спасибо тобе за совет...

Иван Васильевич обнял и поцеловал дьяка и добавил:

— Духовником же пошлю отца Алексия, помощником был он митрополиту Ионе и ведом мне сыздетства моего...

На той же неделе, тридцатого января, отъезжали в Рязань молодые — великий князь Василий со княгиней своей Анной. Поезд их и стража на княжом дворе уж стояли в полной готовности. Множество в нем было подвод, груженных всякими драгоценными шубами, кафтанами и мехами, узорочьем, утварью золотой и серебряной и прочим, что в приданое шло за княжной московской.

Сейчас же после обеда ехать должны молодые, и столы уж, по указанию дворецкого, собирали слуги в княжой передней. Ставили чарки, блюда, солоницы, перечницы, горчичницы, сулеи, достаканы и прочее все из хрусталя, золота и серебра.

Иван Васильевич, одетый в нарядный кафтан, в ожидании обеда прощального, подорожного, сидел в покоях княгини своей Марьюшки, богато разряженной, набеленной и нарумяненной, возле постели заснувшего после еды Ванюшеньки. Отец нежно глядел на кудрявого краснощекого мальчика, очень похожего на мать.

— Марьюшка,— сказал он, привлекая к себе княгиню,— а как учение у Ванюшеньки? Умеет ли он хорошо читать и писать?..

Марьюшка смутилась и, словно оправдываясь за сына, робко и быстро заговорила:

— Млад еще сыночек-то наш. Читать уж начинает, хвалит его учитель, а писать не может...

Лицо великого князя затуманилось.

— Седьмой уж год ему,— сказал он, вздохнув.— Яз в его время борзо читал и писал, петь уж стихиры учился, на коне скакал с младшим братом Юрьем...

— Ты вон какой был,— горячо заговорила Марьюшка, защищая свое дитя,— помню тя под венцом-то! Яз едва отроковицей была, а ты уж мужик мужиком, бородатый. Ванюшенька же растет плохо совсем. Тяжко ему ученье-то, слаб он. Ты ж, бают, в его-то годы лет на пять старше казался...

Князь Иван, чуя в жене взволнованную мать, поцеловал ее, грустно усмехнувшись, и молвил медленно, будто вспоминая вслух:

— В такие же годы мои часто обымал меня отец мой и баил: «Надежа ты моя...»

Авдотья Евстратовна, мамка Ванюшеньки, одетая по-праздничному, запыхавшись, вбежала в покой.

— Государь, государыня,— заговорила она торопливо,— молодые-то и старая государыня к столу пошли, и все гости...

Все уж были в передней около богато накрытых столов, когда вошел Иван Васильевич со своей княгиней. Все ждали его и не садились. Ответив на общий поклон, государь приблизился к митрополиту и принял от него благословение. Владыка, прочитав краткую молитву, благословил трапезу, и все заняли места за столом, как кому по чину положено. Государь Иван Васильевич, вся семья его и митрополит с отцом Алексием сидели возле молодых.

Владыка Феодосий, сухой старик, невысокого роста, повел беседу о положении православных святителей в иноверных землях. Продолговатое темное лицо его, обрамленное длинными седыми волосами и такой же длинной жидкой бородкой, зарумянилось. Говорит он истово, как проповедник, и глаза его то вспыхивают, то гаснут. Только верой живет он и ради правды божьей, как ее сам себе установил.

— Горестно мне,— говорит он громко,— за Царьград. Покарал его господь за ереси, и вельми радостно за Москву нашу, ныне — Третий Рым. Ныне вот все патриархи православные, что у басурман живут, на поклонение в Москву идут, яко к оплоту своему и спасению. Вера у всех, что токмо Москва агарян нечестивых сокрушит и церкви Христовы из поганых рук вырвет. Вот намедни вести пришли о патриархе иерусалимском. Истому терпя от салтана египетского, пошел было он на Москву мило-

стыни ради и, ие дошед, преставнся во граде Кафе. Еднно мие утешенне, что епископ Иосиф, брат патриарха сего, будучн на Москве, поставлен в митрополиты Кесарии Филипповой от нас н от всех епнскопом земли Русския и, миого собрав милостыии, отъехал в Иерусалнм. Сильна стала церковь наша, да святнтся она во нмя отца н сыиа н святого духа ныне н прнсио н во веки веков.

— Амииь!— радостио подтвердилн все сидевшие за трапезой.

Мнтрополнт замолчал, но, вспомнив разговор свой с дьяком Курицыиым, строго добавил:

— Как патрнархи н митрополиты православные всех земель хотят Москву главной имети, так надобно для-ради пользы всея Руси, чтобы и князн все православные главой собе Москву нмелн.

Иван Васильевнч поморщился от такого чересчур прямого н иеуклюжего подсказывання, но молодой князь рязаискнй улыбиулся и искренне воскликнул:

— Истиино. Без Москвы мы ие скинем иго татар поганых. Рад яз сему и люблю Москву не мене, чем свою рязаискую вотчину!..

Иван Васильевнч встал нз-за стола н, обняв и поцеловав зятя своего, ласково молвил:

— Разумные, золотые слова сказываешь, брат мой Василей. Так уж волей божией сложилось, дабы Москве быть во главе Руси православной.

После трапезы перешли все в крестовую, где сам мнтрополит отслужил молебеи о добром здравии молодых н о добром пути им в Рязаискую землю. Аннушка расплакалась, а с ней плакали н Марья Ярославна н киягиня Марьюшка.

Окоичив молебен и дав всем поцеловать крест, владыка Феодосий передал отцу Алексню грамоту для епископа рязанского.

— Возьми, отче, сие послаиие,— сказал он, благословив протопопа,— передай владыке Давиду...

Потом перешли все обратио в передиюю, дабы проводить оттуда молодых через красное крыльцо до поезда их. Молодые и ближине спутиики нх оделись тут в шубы дорожиые, надели валенки, платкн и треухи, подвязалнсь туго кушаками. Молча все помолились н селн все на скамьн и лавки. Посидев немного, все встали н опять перекрестились иесколько раз на нкоиы.

— Ну, с богом,— сквозь плач выдохнула Марья Ярославиа и, шатаясь, пошла за молодыми. Марьюшка и Авдотья Евстратовиа поддержнвалн ее. Старая государыня совсем ослабла и только повторяла:

— Марьюшка, каково мне, Марьюшка!..

И, обращаясь к Евстратовне, шептала:

— Дуняшка, помнишь ее младенцем-то, помнишь... О господи!.. И куды все ушло время-то?.. И где все они, мои радости?..

Когда, сойдя с красного крыльца, молодые стали садиться в возок, громко, голосно заплакали и Аннушка, и Марьюшка, и Евстратовна, и горчей всех Марья Ярославна. Все более и более одинокой она становилась, да и жизнь почти прожита, а радости светлые — так те уж навеки потеряны, только сердце ее, как под ножом, все кровью обливается.

Судорожно обняла, охватила она жадно в последний раз свою доченьку, словно юность свою, и, прощаясь с обеими, только и могла вымолвить сквозь рыдания:

— Аннушка... Дитятко мое...

Глава 9

В БОЛЬШОЙ ОРДЕ

Весна тысяча четыреста шестьдесят пятого года была поздняя, и только в конце июня сошли вешние воды в низовья Волги. Огромное многорукавное устье обсохло, и от Сарая до самого Каспия, меж коренным руслом великой реки и левым ее рукавом Ак-Тюбэ, обозначилось буйно заросшее Займище...

Блещут на южном солнце воды его бесчисленных болот, озер, ильменей, протоков и ериков, окружая множество больших и малых островов, поросших дубом, вязом, ивой и осокорем. Берега их густо окаймлены кустами тальника и лоха, камышом, тростником и осокой.

Теплый, парной воздух пахнет цветущими травами, влагой, тиной болотной и особым лесным духом, пьянит буйным плодородием. Непрерывно взлетая или опускаясь с небесной выси, хороводами кружатся здесь над водой крикливые чайки и утки. Красиво изогнув шею, пролетают цапли, розоватым облаком проносятся фламинго, мелькают ко́лпицы и карава́йки, важно отдыхают на островках пеликаны. Распластав в небе могучие крылья, величаво плавают красавцы орланы, зорко высматривая птиц, крупных щук, лещей, судаков и сазанов...

Здесь кипит жизнь, будто не посмели коснуться ее ни июльские, ни августовские жгучие дни, но там, дальше от Ахтубы, к востоку, давно царит уже зной, иссушающий травы, а у людей спекающий жаждой губы и гортань. Над всей степью тонкая легкая пыль висит сухим раскаленным туманом, и сквозь нее кажется солнце багровым.

Весенние зеленые травы сожгло здесь еще в первые дни

.июля, н степь горячо дышит в лнцо острым н пряным духом густой серебрнсто-серой полынн.

Красно-бурыми островкамн средн иеобозримых полынных степей темнеют кое-где неуклюжне соля́нки: то торчат онн редкнми травами и мяснстымн лнстьямн, то стелются густым кустарннком по земле, то образуют чахлые рощицы карлнковых безлнстных деревьев.

Но н в этнх солончаковых н полусолончаковых степях плывет непрерывный гул жизни: жужжанье, стрекотанье, тонкий писк н свнст.

Ястребы н коршуны неустанно кружат над полынной степью, выслеживая полевых мышей, ящериц, беспечно посвнстывающих суслнков н неведомых птичек, безмолвно снующих меж стеблей пустынных порослей. Порой в гуще промелькнет, гоняясь за добычей, золотнсто-рыжий корса́к.

Средн степных просторов кочуют здесь несчетные табуны коней, отары овец, сопровождаемые стаями сторожевых собак. То тут, то там на ровных просторах степей медленно передвнгаются громоздкие темношерстные верблюды, одинаково равнодушно срывая н пережевывая сухую горькую полынь, и сухне колючне репейннки, н сочные лнстья солянок, еще не успевшие высохнуть.

Слепнн, оводы, мухн-жнгалкн н ржаво-красные, твердые, как жуки, «благне мухн», еще более других жадные до кровн, тучами вьются иад нзнывающим от зиоя скотом. Но голодные животные, забыв о травах поймы, неотрывно едят горькую жесткую полынь н красно-бурые солянки, пропнтанные солью.

Кое-где около стад белеют кнбнткн пастухов; от ннх нногда с гиком н криком мчатся бешено всадннки, размахивая длинными плетьмн, н, разгоняя дерущихся жеребцов илн быков, иаводят нужный порядок среди скота.

Потом идут часы за часами в безмолвной степи, а кругом инчто не изменяется в сонном теченин временн,— все остается, как было, будто совсем замирает от зноя...

Но вот нежданно из восточных ворот Сарая с гулким, четкнм топотом вылетает на полном скаку сотня вооруженных конников и, взбнвая пыль, гоннт в глубь степей. Проскакав версты две, конникн, не останавливаясь, делятся на два отряда н мчатся к востоку, туда, где желтеют Рын-пескн. Пастухн, заслоняясь от солнца широкнмн полямн белых войлочных шляп, долго следят за конннкамн, а те, всё уменьшаясь н уменьшаясь, становятся темнымн точкамн н, наконец, совсем пропадают нз глаз.

Это промчалнсь загонщикн для ханской охоты с ловчнмн птнцами.

Царь Большой Орды, хан Ахмат, с полной рыси взлетел верхом иа высокий курган и стал на нем неподвижно. Аргамак его замер на месте, будто вкопанный, и только иежные иоздри коня играют и ширятся от степного полынного духа, да прядет слегка он ушами при всяком шорохе.

На руке хана, вцепившись кривыми когтями в длинную кожаиую рукавицу, сидит могучий беркут в шитом шелками и золотом колпачке. Тяжести этой огромной птицы долго не выдержать, и хан опирается рукой на серебряную сошку, прикреплениую к седлу. По обе стороны от Ахмата, у подножья кургана, так же неподвижно и безмолвно стоят скакавшие вслед за ним телохраиители, ловчие и молодой стремяиный Нургали́.

Хан Ахмат выехал этот раз не на охоту, а только на испытаиие Ука, недавно выношенного его ловчим Файзуллой-оглы-Шаки́ром. В это время еще плохой мех у корсаков и караганок[1]. Выехал хаи одии, без придвориых, в простой охотничьей одежде. Он хотел отдохнуть, забыть о всех делах, своих и чужих. Жадные эмиры всё нетерпеливее глядят в руки ему злыми глазами, ожидая подачек, а он и сам сидит без казны: третий год великий князь Иван не платит ему никаких даней.

Ярость охватывает Ахмата.

— Забыли хяуры,— гневно бормочет он вполголоса,— что Москва — мой улус. Пора им напомнить...

Телохранители и ловчие, услышав невнятные слова повелителя, иасторожились и замерли в седлах, ожидая приказаний.

Но Ахмат молчит. Охваченный пылом войны, он уже видит полки свои. Отягчеииые добычей, медленно едут по тучным южнорусским степям татарские конники с одним и даже двумя вьючиыми коиями иа поводу. Впереди себя оии гонят в Орду огромиый полон парней и девок, а вдоль всего пути их еще дымятся пожарнща недавно сожженных сел и городов...

Неожидаиио мысли его изменяются, и, повернув голову к своей столице, хан легко и радостно улыбается. Огромный город лежит перед иим вдоль берега Ак-Тюбэ, окруженный светлыми каменными стенами, из-за которых видиеется множество крыш и балкоиов белых и серых домов и караваи-сараев. То там, то сям между ними стрелами взлетают в небесиую высь стройные белые минареты мечетей, а в самой середине Сарая горит и сияет золотой купол хаиского дворца —«Аттука́-Таша́». Гарем его и двор еще с иаступлеиием первых зиойиых дней переехали в Большой дворец Гюлистана[2]. Но здесь, под этим золотым

[1] *Караганка* — степная лисица.

[2] *Гюлистан* — розовый сад, местность на берегу Ахтубы (Ак-Тюбэ — Белая река), где были летние дворцы хана.

куполом, вчера он один тайно принимал свою возлюбленную, свою Адикэ́. Она и теперь пред глазами его, какой была вчера, когда с бубном в руках пела и плясала на ковре пред ним — прекрасная и цветущая, с глазами газели, гибкая, как лоза...

Опять улыбнулся Ахмат и прошептал:

— О моя нежная Кадыбо́ль-бан.

Но улыбка быстро исчезла, и брови хана сурово сдвинулись. Он вспомнил о двух своих женах: Гюльчахрэ́ и Хадичэ́. Обе — матери его сыновей,— они вдруг стали подозрительно дружны, и страх за юную Адикэ охватил Ахмата...

— Повелитель,— почтительно воскликнул Файзулла-оглы-Шакир, старший ловчий,— уже появились загонщики! Ин ш'алла́х[1], охота сейчас начнется.

Хан вздрогнул и острым взглядом из-под широких полей белой войлочной шляпы быстро обшарил полуиссохшие степи. Но вот глаза его обратились на восток, где желтели, как мелкие волны, далекие барханы Рын-песков. Там, на светлой желтизне их, как мушки, мелькают теперь редкие темные точки. Вот они мчатся широкой дугой, обращенной концами к кургану, и постепенно увеличиваются в размерах.

Хан узнал своих конников и громко произнес:

— Во имя аллаха милостивого и милосердного приступим!

Ближе и ближе крики загонщиков и топот коней. Вот среди полынных зарослей неожиданно мелькнул золотисто-рыжий мех корсака и скрылся, а по степи, качая полынные стебли, зазмеился след невидимого зверя. Ахмат сорвал коня с места и поскакал во всю прыть по живому бегущему следу.

— Ля хавла́[2],— крикнул он на полном скаку и, отцепив до́лжик и ослабив путы беркута, сорвал с него колпачок.

Произнеся бесмелэ́, он слегка подбросил Ука вверх, и огромный беркут, шелестя перьями, сразу встал на могучие крылья. Описав над степью два небольших круга, камнем он пал в косом полете с выставленными вперед когтями.

Ахмат, сделав несколько скачков, увидел, как его Ук ударил добычу, вонзив когти ей в спину, около хвоста. Корсак, ловко извернувшись, обернул оскаленную морду, чтобы нанести смертельный укус, но беркут мгновенно взмыл в воздух и, вея крыльями, снова летит над самой спиной своей жертвы. Хан и его ловчие мчатся по следу, криком и гиком подбодряя Ука.

---

[1] Если будет угодно богу.
[2] Будь что будет — изречение из Корана.

Вот разъяренная птица ударяет лису в голову, вонзая когти в длинную морду у самых глаз.

Хитрый корсак, стремясь освободиться, с разбега бросается на спину, катается по земле, но подмятый беркут снова взлетает на воздух и с прежней яростью преследует добычу...

Корсак заметно слабеет, начинает метаться и вдруг, совсем неожиданно и сразу, теряет все силы. Чуя это, беркут в последний раз налетает на зверя и вонзает когти ему в голову. Как подкошенный, падает корсак и не оказывает более никакого сопротивления.

С радостными криками и ликующим гиканьем охотники окружают место последней борьбы, любуясь птицей. Беркут сидит на лисе, выпрямив ноги и глубоко запустив в нее когти. Голова его с перьями, ставшими дыбом, слегка откинута назад. Налитые кровью глаза сверкают яростью, из раскрытого клюва вылетает хриплый клекот, а могучие полуразвернутые крылья, чуть вздрагивая, покрывают почти все тело корсака.

— За такую птицу и четырех коней не жаль!— восклицает хан.

Файзулла-оглы-Шакир привычным движением схватил дóлжик и, стянув путы на ногах Ука, ловким ударом пáлицы убил наповал лису и снял беркута, но молодой его помощник Ибрагим, приняв добычу и снимая шкуру, замешкался, не успел вовремя бросить кусок мяса разъяренному беркуту.

— Юáш адэ́м булганчы́,— гневно закричал Ахмат,— юккá чыккáн булганчы́![1]

Плеть свистнула в его руках и обвила спину Ибрагима, а конец ее, мелькнув из подмышки, рассек ему нижнюю губу. Ибрагим, бледный, вскочил, вытянувшись перед ханом неподвижно, чтобы мог утолить свой гнев повелитель. Кровь заливала ему еще голый подбородок, а руки его судорожно вцепились в обе полы верблюжьей абы. Хан снова взмахнул нагайкой, но Ибрагим почувствовал по второму удару, что гнев хана остыл, и радостно простерся ниц перед Ахматом. Поднявшись, хотел он снова приняться за свежеванье добычи, но друг его, стремянный Нургали, содрал уже шкуру, а злобная птица жадно доедала брошенный ей кусок еще теплого мяса.

Хан, успокоясь, любовался беркутом и ждал, когда снова наденут на него колпачок и пристегнут к его рукавице.

Нургали же, привязывая рыжую шкурку к седлу, говорил с сожалением:

— Если б такого зверя затравить вовремя! Его бы шкуру у нас на базаре китайские купцы с руками оторвали!..

---

[1] Лучше не родиться, чем родиться никчемным!

Затравив двух корсаков и одну караганку, Ахмат возвращался во дворец за час до вечерней молитвы магрш, что совершается тотчас же после заката солнца.

Он поспешил омыться в беломраморном бассейне, скрытом в саду за высокими стенами, у фонтана, бьющего среди кустов цветущих роз, нардов и лилий. Одевшись в чистые нарядные одежды и отдохнув немного на коврах, хан благоговейно совершил магрш.

Возлегши опять на коврах после молитвы, он приказал позвать к себе кизля́р-агази[1], уже седого совсем старика по имени Рахмет-оглы-Али.

— Раб твой пред очами твоими, повелитель,— сказал старый евнух, простираясь ниц.

— Встань, Рахмет,— милостиво молвил Ахмат.— Сегодня, как угасит заря, я свершу четвертую молитву. Не хочу беспокоить себя ночью. Войду к супруге своей Хадичэ. Ты проведешь меня в гарем. Гюльчахрэ пусть узнает об этом, когда замкнутся за мной двери.

— Слушаю и повинуюсь,— сказал черный Рахмет, кланяясь до земли и постепенно продвигаясь к выходу из сада, пятясь назад, чтобы не повернуться спиной к повелителю.

— Вели призвать сюда ко мне,— крикнул вслед ему хан,— уле́ма хазрэта Абайдуллу.

Оставшись один, Ахмат весело усмехнулся. Он обдумывал план, как поссорить своих жен, вызвать у них злобу и ревность друг к другу. Он знал, что старшая, Гюльчахрэ, ревнива и властолюбива, а младшая, Хадичэ, тщеславна и завистлива.

— Теперь одна будет грызть другую,— сказал он весело, и план действий сразу созрел в его мыслях.

Отодвинув длинные ветки с алыми розами, протянувшиеся над усыпанной песком дорожкой, появился почтенный улем.

Он остановился перед ханом и, почтительно приложив руки к груди, поглаживая длинную седую бороду, произнес:

— Ассалям галяйкю́м, государь.

— Вагаляйкю́м ассаля́м,— ответил хан, приподнявшись с ковра, и, садясь на подушку, добавил:— Сядь рядом со мной, хазрэт Абайдулла. Мне нужны твои советы.

Когда старец сел рядом, хан в знак доверия и дружбы прислонился плечом к его плечу.

— Ты наставник мне с моих детских лет,— продолжал Ахмат,— и твои советы всегда были верны, а прошло ведь много времени, и мне уж за тридцать...

---

[1] *Кизля́р-агази* — старший евнух гарема.

Ахмат замолчал и задумался, а Абайдулла, охваченный мыслями о времени, медленно проговорил:

— Время, великий хан и мой повелитель, есть чудовище, пожирающее волей аллаха все сущее на земле, кроме души. Душу же губит только сам человек, отступая от велений святого Корана, да святится вечно имя аллаха и пророка его Мухаммэда...

Помолчав некое время, хан сказал своему воспитателю:

— После молитвы ишá хочу идти к супруге своей. До молитвы же хочу усладить сердце и душу твоей беседой и наставить ум свой твоими советами...

Хан рассказал ему о планах похода на Москву.

— Не даст Иван дани за все три года, полон возьмем многочисленный! Напомним ему времена Тохтамыша. Города же и села отдам на разграбление эмирам.

— Верно, государь, брось им по жирной кости, как собакам. Хотел сегодня сам упредить тебя: точат они уж кончáры, мыслят о смуте. Когда собакам не дашь поступить по-собачьи, у них внутренности перевернутся от злобы, загрызут и хозяина. Бросай же им жирные кости, и можешь бить их палкой: они будут только лизать твои руки...

— Пусть так,— согласился Ахмат,— а казны у меня теперь нет. Добывать надо. Только опасаюсь крымского хана. Отпал он от нас из зависти. Сделает Хаджи-Гирей зло и вред нам...

— Неведомо будущее, государь, не только нам, но и ангелам. «Аллах ответил ангелам:— я знаю то, чего не знаете вы»[1]. Будем во всех мечетях молить господа, дабы послал тебе в помощь ангелов своих, ибо сказано: «Аллах поможет тому, кто полагает на него упование; аллах ведет свои определения к доброму концу...»[2] Во время же битвы читай священные стихи. Сам джехангúр[3] Аксáк-Темúр[4] читал их семьдесят раз подряд во время боя и одержал победу над румами. Запомни эти волшебные стихи — они пригодятся тебе.

Старый Абайдулла откашлялся и прочел на память:

О могущий ночь в деиь превратить,
А землю в цветник,—
Мне все трудиое легким содей
И помощь пошли!..

Ахмат тотчас же заучил четверостишие, поблагодарил ученого

[1] и [2] Изречения из Кораиа.
[3] *Джехангúр* — завоеватель мира.
[4] *Аксáк-Темúр* — Тимур (1336—1405), известный средневековый полководец и завоеватель.

старца и предложил ему вместе совершить четвертую молитву, так как заря совсем уж погасла.

Приближаясь к покоям Хадичэ, хан Ахмат ощутил запах сладостно-душиых курений. Он усмехнулся, зиая, что предстоит поединок в хитростях с умиой и образоваиной женщиной, ио тщеславной и завистливой. Последиее давало Ахмату много преимуществ.

В покое уже горели в розовых и голубых сосудах светильники и свечи, разливая мягкий обмаичивый свет. Полуодетая в легкие прозрачные ткани, встретила Хадичэ хаиа. Даже после юной его Адикэ она казалась еще молодой и прекрасиой. Склоияясь перед мужем, оиа произиесла нежным голосом ласковые слова:

— Угасая, исчезла для мира вечерияя заря, и ушло за ией Солнце, а мие эта заря была утренней, и вот Солице входит в мои покои...

Ахмат иежио взял ее за подбородок. Она прижалась к его руке губами и, поцеловав руку, поцеловала в плечо своего повелителя. Он обиимает ее, и они садятся на мягкие подушки перед низеиькими столиками, уставленными блюдами с халвой, баклавой[1], сосудами с освежающими напитками и с шербетом. Хан заметил еще блюдо, где дымился горячий плов с шафраиом, и, взяв его, стал есть. Насытившись, он посадил Хадичэ к себе на колеии, лаская и обиимая ее иежиое тело.

— Ты прекрасна,— шептал ои,— как гурия рая, и аромат из уст твоих, как аромат только что открывшейся розы...

Но Хадичэ, уклоияясь от его поцелуев, произиесла такие стихи:

Когда ты сам творншь в любвн обман н ложь,
В глаза возлюбленной, как в зеркало, глядн,—
Ты в ннх обман ее н хнтрости поймешь,
Что под чадрою пьяных ласк она в грудн
Таит, как яд, с холодной трезвостью змен.

Ахмат поиял, что это попытка подорвать его веру в Адикэ, и чуть заметио усмехиулся.

— О моя Хадичэ, любимая больше других,— заговорил ои ласково,— зачем говоришь ты о коварствах и лжи, когда мое сердце полио тобою? Я задумал великое дело и одиой тебе доверяю его сегодня. Другие же только после ухода войск из Сарая узиают о нем. Ты умна и оценишь это.

---

[1] *Баклава* — слоеное пнрожное, залитое медом, варенным с пряностямн.

Глаза Хадичэ загорелись любопытством, и она насторожилась. Нежио прижимаясь к хаиу, оиа отдает ему томно свои полуоткрытые губы, и оба оии, как пчела мед, нежно сосут сладость поцелуя...

Всю ночь среди ласк и поцелуев выспрашивала Хадичэ мужа о походе на Русь и радостио смеялась, когда обещал он ей самоцветиые камни, соболей, шелка и парчу русских князей и бояр, золотую и серебряную утварь...

— Оии богаты, ио жадиы, эти хяуры,— говорил он,— я и мои эмиры раскроем их сундуки. Я привезу тебе иовых служаиок, не из девок деревенских, а из княжон и боярышень. Гюльчахрэ — ии слова! Оиа жадиа и захочет все захватить, а я тайио, нарушив закон, дам тебе вдвое больше, чем ей...

Взгляиув иечаяиио в глаза Хадичэ, хан увидел в них хищную радость и в то же время иедоверчивую тревогу. Он понял ее.

— А что ты дашь...— сорвалось иевольио с ее уст, ио она сейчас же замела след своих мыслей, добавив:— Что ты привезешь нашему сыиу?..

— Драгоценное оружие,— молвил хаи, закрывая глаза, чтобы она ие догадалась, что он поиял, о ком она хотела спросить...

Он притворился усталым и продолжал:

— Смотри, уж светает, и я не хочу, чтобы аза́н застал меня здесь иеготовым к утреиией молитве...

Но оиа не отпустила его, пока он снова не испил ее ласк, выведывая у иего, когда выступают войска. Он понял и это и иарочно удлииил срок иа месяц.

Выходя из покоя Хадичэ, Ахмат вдруг опять почувствовал тревогу за Адикэ и, вспомиив стихи, беззвучио прошептал:

— О трезвая, холодная змея!..

Когда в деревие Русский Карамыш узиали, что хан Ахмат замыслил поход иа Русь и созывает в Сарае совет эмиров, все русские сабанчи́[1] заволиовались.

Хотя сабанчи состоят из разных поколеиий, но любовь к далекой родине и вера христиаиская живут в сердцах и у старых и у молодых. Татары ордыиские — ие то что казаиские: ие притесияют их, позволяют им молиться по-своему в русской молениой избе и совершать там все таинства, которые совершать без попов можио, ибо с отъездом в Москву епископа Вассиаиа и в самом Сарае русских попов лишь два-три осталось.

---

[1] *Сабанчи́* — плужники, пахари, крепостные крестьяне у татар из захваченных в рабство пленников. *Сабан* — плуг.

В карамышской молельне старец Евфимий после молитвы обратился к единоверцам своим.

— Братия,— заговорил он с волнением,— гневом божиим от родной земли и церкви мы отторгнуты. Но можем ли мы Русь святую не помнить? Те же, что тут родились, в рабстве родителей своих, могут ли сердцем и душой не чуять того, что мы к Руси питаем?..

Говорил старец со слезами, и все плакали, боясь новых разорений, новых полонов и лютых мук и смерти братий родных на Руси. Вспомнил Евфимий, как семья его и сам он в полон попали татарский...

— Мы — люди малые,— продолжал он,— но и мы можем помочь родной земле, родным братиям православным. Упредим Москву о грозе грядущей!..

Старец помолчал и тихо добавил:

— Может, кто из нас, кой телом силен и сердцем тверд, свершит дело божие, погонит вестником ко князю московскому, дабы успел он силы набрать ратной, дабы защитил святую Русь...

Пал на колени старец, и все за ним, и плакали пред иконами о спасении родной земли...

Когда поднялись все с колен, выступил вперед молодой парень Захар, сын Иванов, прозвищем Силован, поклонился старцу и тихо молвил:

— Достаньте мне двух сменных коней, погоню я мимо Дона, через Дикое Поле до русских степных дозоров. Коли коней загоню, так пешой пойду, а в Москве буду...

Благословил старец Захара и сказал:

— Соберем, православные, все нужное. Угоним тайно из степных табунов коней добрых, пшена, лепешек и другие подорожники изготовим и бога молить будем о добром пути Силовану...

— Спаси бог вас, православны,— ответил Захар Силован,— токмо тут о стариках моих позаботьтесь, а сам я, ежели надобно, и голову за Русь положу...

— Дай тобе, боже, живу быть,— говорили кругом мужики и женки,— прими на собя, Захарушка, испытание за всех. Смилостивится господь, поможет государю московскому. Разобьет он мучителей наших и нас и детей наших от рабства и муки непереносныя ослобонит...

Эту ночь русские сабанчи провели тревожно: прокрадывались в степь, хоронясь с раннего вечера в балках и буераках, дабы захватить неслышно и незаметно двух коней из табунов своего эмира. Это было опасно, как на войне,— малейший промах грозил лютой мукой. Даже если все сойдет благополучно, нужно сохранить строжайшую тайну, ибо, по законам ордынским, вся-

кий, кто поможет бежавшему рабу конем, одеждой или пищей, подлежит смертной казни...

На следующий день, к полудню, когда Захар Силован, давно переплыв с конями Волгу и пересаживаясь с одного коня на другого, дабы меньше притомить их, гнал к Дикому Полю, его хватились в Карамыше. Пропажи коней татары не заметили, но исчезновение такого богатыря, как Силован, бросилось сразу в глаза. Карамышские власти рвали и метали от злобы, перестегав кнутами половину русских сабанчей. Просвирепствовав еще два дня и ничего не узнав, татары махнули рукой на Захара и прекратили всякие розыски. Опыт давно показал, что если не схватить беглеца в первые два дня, то после ловить его тщетно.

Совет эмиров происходит в зимнем дворце «Аттука́-Таша́», подальше от гарема и длинных ушей его служанок. Все двери дворца охраняют ханские нукеры и его личные телохранители. Кроме того, в ближайшем покое расположено на всякий случай полсотни отборных воинов.

Эмиры сидят на коврах полукругом перед троном Ахмата. Они тихи и смирны, как овечки, но хан видит, как они, бросая взгляды из-под опущенных ресниц, переглядываются друг с другом. Они понимают, что сидят в ловушке, окруженные верной Ахмату стражей: злоба и страх смешались в их душах и горьким напитком поят их сердца.

Ахмат усмехнулся и сказал, ядовито щуря глаза:

— Верные и преданные мне слуги и помощники! Знаю, всегда готовы мои эмиры служить хану, не щадя жизни. Так вот, хочу наказать врагов своих и ваших...

Хан замолчал, разглядывая пристально своих советников, и те, не понимая, в чем дело, стали робеть и беспокоиться. Они знали свирепость и беспощадность Ахмата.

— Эмиры,— продолжал хан, усмехаясь и играя с эмирами, как кошка с мышью,— так вот, хочу я жестоко наказать врагов своих. Враги же — хяуры!..

Невольный вздох облегчения вырвался у всех эмиров.

— Смерть проклятым хяурам!— с торопливой радостью восклицали они на разные голоса.— Да поможет аллах нашему оружию! Да ниспошлет он победу великому светлому хану Ахмату!..

Ахмат, прищуря один глаз, посмотрел на старого улема хазрэт Абайдуллу. Тот понял его, и чуть заметная улыбка мелькнула под его седыми усами.

Хан слегка кашлянул, и сразу все стихли и замерли в раболепном молчании, с застывшими подобострастными лицами.

Ахмат обвел их острым взглядом и, заметив злые глаза эмира Али-ата, подумал: «Этот должен погибнуть первым...»

Хан еще раз кашлянул и произнес:

— Третий год князь Иван не дает выходов. Мы пойдем на него, как ходил Тохтамыш, и соберем весь жир с его земель. Все города и села его отдаю вам в добычу...

— Да поможет аллах и ангелы его великому нашему хану и повелителю!— закричали восторженно эмиры.

Снова все сразу стихли, когда заговорил Ахмат.

— Эмиры и богаду́ры[1],— начал он,— мы жестоко накажем врагов своих. Сказано: «Сам аллах примиряется с теми, что согрешили по неведению и тотчас же раскаиваются». Сказано также: «Для тех нет спасения, что умирают неверующими; мы приуготовили им жестокое наказанье...»[2].

Эмир Али-ата при этих словах опустил глаза и побледнел. Это была угроза лично ему, но Ахмат тотчас же скрыл жало и яд против Али-ата, добавив гневно:

— Так мы накажем Ивана, если нам не покорится наш улусник. И будет с землей его, как в день Последнего суда, «когда звезды упадут, когда горы придут в движение, когда дикие звери соберутся стадами, когда моря закипят, когда лист книги развернется, когда пламень ада помешают кочергою, чтобы лучше горел»[3].

Успокоившись, хан помолчал, произнес бесмелэ и продолжал:

— Наузу́ би лляхи́[4], и аллах поможет нам.

— Счастливы все, возлагающие упование на господа, да почие́т над ними обильная милость аллаха!— воскликнул старый улем Абайдулла.

— Благодарение аллаху,— заговорили все кругом,— хвала господу милостивому и всещедрому... Слава аллаху во веки веков!

Приступая к обсуждению похода на Москву, Ахмат обратился к своему бакау́лу[5], богадуру Хаджи-Качули:

— Доложи совету о военных силах нашего ханства подробно; скажи, какие войска и когда выступать могут, как они снаряжены оружием и пищей. Эмиры и богадуры будут спрашивать, ты же отвечай им, как мне самому...

Беседа тянулась долго, и только при первой звезде, когда шейхи[6] и улемы одобрили план похода на Русь, начался торжественный и богатый пир. Хан Ахмат был ласков со всеми, осо-

---

[1] *Богаду́ры* — рыцари-воеводы.

[2] и [3] Изречения из Корана.

[4] Мы прибегаем к заступничеству аллаха.

[5] *Бакау́л* — министр обороны.

[6] *Шейх* — старец, духовный руководитель.

бенно милость его проявилась к эмиру Али-ата, и не раз получал он лакомые куски и напитки с ханского стола...

На другой день, как с прискорбием объявил Великий дива́н[1], эмир Али-ата внезапно захворал и после утренней молитвы скончался от внутренних колик.

Прошла уже неделя, как конники ордынских эмиров, полки за полками, непрерывно тянулись к Сараю и разбивали свои становища в степях к северу и северо-западу от столицы. Ахмат, окруженный десятью тысячами своих конников, проводил последнюю ночь под стенами родного города в роскошной кибитке. Хан уж был как бы в походе и с рассветом уходил от Сарая.

После четвертой молитвы ишá он вошел к себе в кибитку, но тотчас же вышел оттуда в простом желто-сером верблюжьем плаще и, сопровождаемый двумя телохранителями, незаметно двинулся вдоль крепостной стены в тьму наступившей ночи. Сердце его билось радостью, и, словно на крыльях, летел он к своей Адикэ.

Кругом казалось все пусто и безлюдно среди мрака, но хан привычно чувствовал, что повсюду таится охрана из его верных воинов.

Вот и кибитка Адикэ — в ней повезет он свое счастье по всем дорогам войны, и никто и ничто не помешает ему пить сладость жизни. Дрожащей, нетерпеливой рукой отодвинул хан кошму над резной деревянной дверкой и сразу застыл и оцепенел: в кибитке было темно и необычно тихо...

— Факелы сюда!— крикнул хан.— Факелы!..

Мигом запылали факелы, и Ахмат увидел лежащих неподвижно Адикэ и ее служанку. Между ними на столике стояло блюдо с недоеденной баклавóй...

Хан пошатнулся, у него потемнело в глазах, но тотчас же бешеный гнев охватил его.

— Кто принес им это блюдо?— спросил он.

— Абд[2] из дворца,— дрожащим голосом ответил юный воин,— он был с блюдом...

— Ты пропустил его?

— Да, повелитель...

Яростно вырвав из ножен саблю, хан убил воина. Потом, обернувшись с искаженным от гнева лицом к начальнику стражи, воскликнул:

— Ищи убийц, ищи! Не найдешь — переломлю хребет тебе! Ищи — ат аунага́н жирдэ́ тэкк, алы́р![3].

[1] *Великий дива́н* — государственная канцелярия хана.
[2] *Абд* — черный раб.
[3] Где конь валялся, его шерсть останется! *(Пословица.)*

— Слушаю и повинуюсь,— с трудом выговорил бледный и дрожащий начальник караула.

Ахмат вдруг затих: взглянув на блюдо, он вспомнил, что где-то видел его. И гнев его перешел в жажду мести.

— Позови кизлáр-агази,— сказал он, вытирая о кошму кибитки окровавленную саблю.— Возьми это блюдо и так, как есть, принеси в мою кибитку.

У себя хан опустился на ковры и лег ниц, зарывши лицо в пуховые подушки. Сердце его болело, и слезы вдруг потекли по его щекам на шелковые наволочки...

Легкий шорох заставил Ахмата оглянуться. Тотчас же старший евнух, черный Рахмет, простерся перед ханом...

— Живи сто лет, светлейший мой повелитель...

Хан вскочил на ноги.

— Рахмет, чье это блюдо?

Евнух поглядел на блюдо.

— Госпожи моей Хадичэ.

Ахмат вздрогнул и побледнел. Он не мог ничего сказать. Язык его не слушался. Молча достал он из-за пояса кошелек с деньгами и протянул его евнуху.

— Возьми тело моей Адикэ, отравленной этим ядом,— сказал он, указывая на блюдо,— позови ее родителей и похорони ее вместе со служанкой...

Ахмат побледнел еще больше и, помолчав, добавил:

— Я тоже мог отравиться из этого блюда.

Хан опять помолчал и молвил:

— Так вот: брось Хадичэ в Ак-Тюбэ, завязавши в мешок. Сына отдай старшей жене Гюльчахрэ. За его жизнь и здоровье она головой отвечает. Скажи обо всем улему хазрэт Абайдулле...

Глава 10

ДЕЛА МОСКОВСКИЕ

В лето тысяча четыреста шестьдесят пятое, сентября в тринадцатый день, оставил митрополит Феодосий митрополию свою. Принудить захотел попов и дьяков «идти путем божиим», и начал он их на всякую неделю созывать и учить, как надобно жить праведно. Овдовевшим попам и дьяконам повелел он постригаться в монахи, а тех из них, у которых будут наложницы, наказывать без милости: снимая звание священства, расстригать и продавать в рабство. Попы же и дьяконы того времени в большинстве своем мыслили только о пьянстве и блуде, были малограмотные бездельники. Но и этих пьяниц бездельных не хватало;

ибо весьма много церквей на Руси поставлено было. После же расстрижения многих попов и дьяконов немало осталось церквей совсем без службы, и затужили люди и начали проклинать и ругать митрополита Феодосия.

— Лишил нас владыка,— вопияли кругом,— закону божьего! Нельзя ныне нам ни свадьбы справлять, ни младенцев крестить, ни мертвецов погребать. Прибрал бы господь от нас митрополита такого...

Начались среди сирот смуты и волнения. Сведав об этом, великий князь Иван поехал сам к митрополиту, взяв с собой только дьяка Курицына. Хотел государь иметь с владыкой беседу сугубо тайную. Сидя в колымаге, на пути к митрополиту, он долго молчал, но потом, обратясь к любимому дьяку, молвил:

— Помнишь, в самом начале чуял яз, Федор Василич, сие. Скинуть владыку придется. Не разумеет инчего он, опричь канона церковного.

— Помню, государь,— живо отозвался Курицын,— прав ты был. Дивлюсь яз прозорливости твоей. Сам же токмо ныне, когда смуты начались, узрил воочию правоту твою. Попы-то уж о Филиппе, владыке суздальском, бают...

— Сей, мыслю,— медленно продолжал Иван,— не по-церковному править будет, а как наместник мой и воевода. Первее всего государству служить будет...

Когда великий князь подъехал к крыльцу митрополичьих палат, владыка Феодосий успел выйти ему навстречу. Он был ласков, но печален и задумчив. Благословив государя и пригласив к столу, владыка сам начал речь о делах и смутах церковных.

— Государь,— сказал он,— в тяжких грехах Русь наша, церковь же в сетях соблазна...

— А среди сирот смуты и волнения,— сурово сказал Иван.

— Ведаю, государь!— воскликнул Феодосий.— Невежество губит церковь нашу. Призову вот аз, грешный, попа сельского, дам ему евангелие читать, а он, деревенщина, этого не может вовсе, а токмо через пятое-десятое на память знает без всякого разумения! И все почти такие в невежестве, а пьянством и блудом все одинаковы. Как же таких не расстригать?! Христос-то бичом гнал из храма менял и торгашей, а сии боле еще скверны...

Митрополит горько поник головой и замолчал. Иван Васильевич тоже долго молчал, но вдруг заговорил тихо, с теплотой душевной:

— Отче святой, верю яз тобе. Добро ты хотел содеять, а содеял зло и христианам и государству. Христиан оставил без церквей, все едино что отлучил их, предав анафеме. От смут же — ущерб государству. Ты бы, отче, ране хороших попов и

дьяконов подобрал, а потом бы мало-помалу ими худых заменял.

Феодосий обернул к великому князю изумленное лицо и, вдруг зарыдав, воскликнул горестно:

— Истинно, государь, истинно! Лишил аз по неразумию паству свою благодати божией. Казня злых пастырей, христиан отлучил от службы церковной!.. Сниду аз в келию к Михайлову Чуду в монастырь! И, приняв старца болящего, буду служити ему и омывати струпы его, ибо недостоин святительства...

Сентябрь со старым бабьим летом пришел незаметно, будто продолжение последних дней августа, прохладных, но светозарных. Тишина кругом осенняя. Во дворцовых садах звенят синицы, летают по Москве серебряные паутинки. Невысокое уж солнце светит золотисто-янтарным светом, а в древесной листве видать кое-где золото и пурпур.

Иван Васильевич любит это время и, когда есть свободный часок, проводит его перед завтраком или обедом на гульбищах своих хором со всем семейством, сидя на скамьях возле башенки-смотрильни.

Сегодня же, сентября второго, день особенно светлый и радостный. На гульбищах даже чуть пригревает от осеннего солнышка. Ванюшенька, уже семилетний мальчик, играет на полу, строя из чурочек крепость и расставляя вокруг нее деревянных конников. Марьюшка сидит рядом с Иваном Васильевичем, положив голову ему на плечо, и, ни о чем не думая, глядит на расстилающийся внизу город неподвижными, широко открытыми глазами и, слегка улыбнувшись, произносит лениво:

— Гляди, Иванушка, скворцов-то сколь в саду у Ряполовских. Вон какой тучей поднялись. Вспугнули, верно. Хорошо, что в садах все ягоды давным-давно сняты...

Вдруг внизу заскрипели ступени лестницы — кто-то быстро взбегал к гульбищам. Взглянув на запыхавшегося Курицына, государь взволновался, руки его похолодели. Он, зная хорошо своего дьяка, понимал, что в эти часы Федор Васильевич не будет зря беспокоить своего государя.

— Что?— спросил он кратко, предупредительно указав глазами на свою княгиню.

Курицын понял и ответил спокойно и ровно:

— Вестники прибыли, государь, с Дикого Поля, и беглец русский с ними из Орды бежал. Хочешь ли сам его видеть?

— Где они?— спросил князь Иван.

— В сенцах ждут, возле покоев твоих, с начальником стражи.

— Добре,— продолжал государь и, обратясь к княгине,

ласково молвил:— Яз те, Марьюшка, расскажу потом про Орду-то...

На лестнице внизу Иван Васильевич тронул Курицына за плечо, спросил опять так же кратко:

— Что у татар-то?

— Орда двинулась,— тихо ответил Курицын.

У себя в покоях Иван сел за стол и задумался, вспоминая все, что связано у него с Ордой.

— Федор Василич,— обратился он к своему дьяку,— чаю, злы они на нас, татары-то! На престол яз сел, их не спросясь, даней им не плачу... Токмо бы Юрий успел полки нарядить по-новому, как яз ему указывал...

Иван Васильевич глубоко вздохнул и продолжал:

— Токмо бы господь хошь на годок один отвел от нас руку ордынцев! Ну, да зови беглеца-то...

В покои вошел ражий парень, богатырь видом, светлокудрый, с курчавой бородой, с голубыми глазами. Одет он потатарски в истертые и грязные с дороги одежды.

Увидав грозные глаза Ивана Васильевича, упал он ниц и, заплакав от радости, заговорил на чистом русском языке:

— Довел господь быть мне на Руси святой... Довел тобя, государя нашего православного, видеть...

— Встань,— сказал Иван Васильевич и, обращаясь к другим, спросил:— Кто тут из дозорных с Дикого Поля?

— Мы, государь,— ответил высокий старик,— мы вот трое. Мы парня сего к тобе сопроводили. Говорит, что из Орды вести везет, а скажет токмо тобе. Вот мы у него нож да ослоп и коней двух взяли и сюды привезли...

Великий князь острым взглядом посмотрел на беглеца, но тот был радостен и весел.

— Как звать?— резко спросил государь.

— Захар,— быстро ответил парень,— а прозвищем Силован. Потому, государь... дороден я зело...

— Что же мне ты поведаешь?

Силован недоверчиво оглядел Курицына, дозорных и начальника княжой стражи Ефима Ефремовича.

— Говори,— молвил Иван Васильевич,— тут токмо слуги мои верные.

— Государь,— заволновался Захар Силован,— из сабанчей я, из села Карамыш. Еще родителев моих при отце хана Ахмата татары в полон угнали из деревни возле Каширы, мальцом я совсем был. Потом на землю с другими православными, как рабов, посадили. В Карамыше я и возрос...

— Ну, а ко мне прибыл зачем?

— От православных своих к тобе с вестью. Собрали по-

ганые войско великое. Созвал хан всех эмиров своих. Старики наши вызнали, совет в Сарае был — на тобя идут поганые. Сам хан идет со всеми эмирами города наши грабить, полон брать. Снарядили меня старики тобя о сем упредить, дабы готов ты был Русь святую оборонить. Чаю, идут уж татары...

— Когда вышли?

— Мыслю, государь, я на седьмицу ране их пригнал. Верно, уже они у края Дикого Поля...

Иван Васильевич вдруг нахмурил брови, и страшные глаза его вонзились в лицо Силована. Тот смутился и оробел.

— А ежели изолгал ты?— тихо спросил государь.

— Грех, государь, сие мыслить!— горестно воскликнул он и, обратясь к иконам, крестясь истово, продолжал с волнением:— Клянусь тобе Христом богом, истинно все так, истинно так...

Потом, опять обратясь к великому князю, рассказал, как было в моленной, как все за Русь там молились и плакали, как старец вызвал охотника упредить государя московского, как коней ночью у эмира своего они украли, как скакал он день и ночь до первых дозоров...

Ласково усмехнулся Иван Васильевич.

— Верю тобе, Захар,— сказал он и, обернувшись к начальнику стражи своей, добавил:— Позови, Ефим Ефремыч, брата моего Юрья, скажи, в поход немедля выступать надо против поганых на Оку и слать мне вестников. Созовет пусть воевод нужных и придет сюды с ними. Да Касиму вестника, Касиму-царевичу...

В этот миг, постучав в дверь, поспешно вошел в покой государя дворецкий и ввел за собой вестника, молодого татарского конника.

— От царевича Касима, государь, весть тобе,— сказал дворецкий.

— Живи сто лет, государь,— заговорил татарин по-русски, земно кланяясь.— Царевич тобе повестует: «Пришел хан Ахмат из Большой Орды с силой великой к Дону, идя на Москву. Тут же вот напал на Ахмата с войском своим могучий воин Хаджи-Гирей, хан крымский. Второй день у них сеча идет великая. Мною же вестник Хаджи-Гирею послан, что-де в тылу Ахмата стою, что, ежели Ахмат одолевать почнет, в тыл ему ударю. Извести, мя, государь, борзо, право ли мною для пользы твоей содеяно...»

Просиял Иван Васильевич и, радостно перекрестясь, молвил весело:

— Услышал господь мольбу мою, отвел от Руси грозу татарскую.

Обратясь к вестнику, добавил:

— Скажи царевичу Касиму слово мое: «Спаси тобя бог за верную службу, разумение твое право и содеяно все так, как бы и яз сам содеял. Шлю селям свой тобе».

— Внимание и повиновение, великий государь,— сказал, кланяясь земно, татарин и, поняв, что разговор кончен, стал пятиться к выходу.

— Данила Костянтиныч,— молвил дворецкому великий князь,— накорми вестника и напои его, пусть отдохнет и борзо гонит к царевичу...

Пройдясь несколько раз вдоль покоя своего, Иван Васильевич с улыбкой остановился против Силована и спросил:

— А кто твои отец и мать?

— Холопы были боярина Собакина. Отца, как я сказывал, татары в полон угнали и меня...

— За побег твой из полона и за раденье твое государю жалую тя и родителей твоих вольной волей. Сымаю с вас холопство.

Несмотря на добрые вести с Дикого Поля от царевича Касима, великий князь не отменил совета своего с Юрием и воеводами.

По зову князя Юрия Васильевича собрались в покоях великого князя воеводы: из князей Ряполовских — Семен, прозвищем Хрипун; из князей Патрикеевых — тезка государя, Иван Юрьевич, брат ему двоюродный; князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский; боярин Беззубцев, Константин Александрович; Федор Васильевич Басёнок, Иван Димитриевич Руно и другие из детей боярских, что в Москве в то время случились.

Первым говорил брат государя, князь Юрий Васильевич. Поведал он подробно, какие перемены в полках учинены. У каждого полка ныне свой воевода, из самых верных и хитрых в ратном деле людей государева двора. Если же при войске сам государь, то он при сторожевом полку, где только отборные воины. На поле же: передовому полку — разведка и первый удар; прочим трем полкам — обходы врага и самый бой; последний удар по врагу от сторожевого полка. Гнать же бегущих всей коннице...

Говорил князь Юрий и о том, какие и как грады усилить, согласно воле государевой, и огненной стрельбой и заставами, и как по Оке весь путь оградить на Москву с Дикого Поля, как все строить, дабы обходы вражьих полков легче делать или держать их на месте, когда и где надобно...

— Государь,— говорил князь Юрий,— яз с воеводами по твоему указанию все исчислил и все нарядил. Токмо надобно пищали, зелье и ядры на места доставить в довольном числе.

Да тобе самому глазами своими все узрить, дабы огрешки где не вышло...

Когда начались подробные разговоры о числе воинов, о времени передвижений больших и малых полков, пеших и конных, дворецкий прервал совещание, введя двух вестников от Касима-царевича.

— Живи сто лет, великий государь!— воскликнули татары, простираясь ниц.

— Встаньте и сказывайте,— молвил Иван Васильевич.

— Царевич Касим повестует,— начал вестник постарше.— «Челом бью тобе, государь, и целую руку твою, живи, мой повелитель, множество лет. Аллах помог Хаджи-Гирею крымскому. Гонит он Ахмата к Сараю. Мыслю, войны сей на год хватит. Селям государю от слуги его...»

Вести эти вызвали общее ликование, и радостный гул молитвенных восклицаний и громких разговоров наполнил покои великого князя.

Иван Васильевич, подозвав дворецкого, приказал угостить вестников, которым сказал:

— Повестуйте царевичу: «Мой селям тобе и всем твоим храбрым воинам, верной страже моей».

Когда вестники вышли, раздались голоса:

— Ныне нам спешить некуда. Отвел господь татар от нас...

Иван Васильевич поморщился.

— Неразумны речи сии,— сказал он,— ибо береженого и бог бережет. Ныне же, пока татары грызутся, наипаче спешить надобно...

Странное молчание, наставшее после этих слов, удивило государя, и, обведя всех глазами, он спросил глухо:

— Что смущает вас?

— Государь,— начал неуверенно Хрипун-Ряполовский,— в народе да и в полках паки смущение. Да и попы некии о сем бают...

— О чем?— сурово спросил Иван Васильевич.— Опять басни старцев и стариц о конце мира?..

— Истекает седьмая тысяча от сотворения мира, государь. О сем из книг грецких читано попами,— продолжал смелее Семен-Хрипун,— а от греков мы ведь и веру Христову приняли.

Все замолчали, подавленные неоспоримостью ссылки на вероучителей, но Иван Васильевич только досадливо усмехнулся.

— Не подобает нам чужеземным разумом жить,— молвил он строго.— Ежели грекам во всем безоглядно верить, то и ересь их папистскую принять мы должны, как еретик Исидор. Церковь же наша, со владыкой Ионой во главе, не токмо ересь сию

осудила, но и от патриархов грецких отошла, а господь сокрушил грецкую державу...

— Истинно так, государь,— радостно воскликнул Курицын.— Разумно ты, государь, суеверие сие рассудил и отверг.

— Ты, Федор Василич, как мы кончим совет наш,— продолжал Иван,— поедешь к владыке. Утре пусть после часов ударят в церквах во все колоколы и везде пусть попы поют молебны об избавлении от агарян. Владыка же пусть слово скажет во храме о конце мира, как яз о сем сказывал и как святитель наш Иона нас наставлял. Будем мы у него в соборе со всем двором нашим. После же молебной скажи, зову его с причтом на обед к собе: избавление от злой рати праздновать...

Государь помолчал и, обратясь к присутствующим, добавил:

— И вам всем челом бью, прошу хлеба и соли у нас утре откушать.

Все встали и низко поклонились великому князю, благодаря за честь и ласку, а воевода Семен-Хрипун заявил:

— Прав ты, государь, и разум твой укрепил мне сердце. Ведь и меня духовник мой попутал...

Иван Васильевич весело рассмеялся и воскликнул:

— Так лучше! Господь не забывает нас своей милостью, а мы, носы повеся, грецки сказки сказываем, как старые бабы.

Государь встал, давая знать, что совещание окончено, и все встали пред ним, ожидая, что он еще прикажет.

— Утре мы все пировать будем,— продолжал государь,— а дни через три ты, Юрий, со всем советом своим отъезжай на Оку-реку: в Коломну, Каширу, Серпухов и прочие крепости, дабы все проверить там и нарядить. О сем же подумайте и на Угре-реке и на Москве-реке. Когда же всё нарядите, яз приеду к вам...

Иван Васильевич поклонился всем, отпуская своих советников.

Как только избавилась Русь от грозы татарской, стал великий князь добиваться дружбы крымского хана Хаджи-Гирея. Более года посылает он в Крым подарки через Касима-царевича и ведет переговоры с ханом Гиреем о союзе против хана Ахмата.

— Ежели сие нам господь поможет содеять,— говорит он дьяку Курицыну,— то мы, Федор Василич, и от Польши его оторвем. Сядет тогда Гирей и Казимиру и Ахмату на спину, будут они назад оглядываться. Нам же сие руки развяжет.

— Верно, государь,— согласился Курицын.— Мыслю яз, Гирею-то Ахмат еще грозен, хошь и побил он его. Мы же ему подмога поболе, чем Казимир. У Казимира-то у самого немцы на шее висят...

— Люблю тя слушать, Федор Василич,— ласково усмехнулся

государь,— добре разумеешь ты думы мои. Токмо то печалит. что, бают, стар и немощен стал Гирей-то...

Великий князь задумался, прикрыв глаза, но через малое время заговорил снова:

— Сыновей его надобно к собе приручить загодя. А кто из них престол займет, не угадаешь. У них ведь при многоженстве-то сыновей много, и у всех вражда друг с другом.

— Истинно, государь,— молвил Курицын,— надобно нам пока более через Касима-царевича с Крымом ссылаться. Свой своего лучше познает. Касиму Гирей более, чем нам, поверит, а Касим-то больше вызнает у них, чем мы, государь...

— Разумно баишь,— задумчиво произнес Иван Васильевич,— разумно. Бог даст, Москва и Бахчэ-Сарай заедин будут...

Но неспокоен великий князь: беды одна за другой идут на русскую землю. В это тысяча четыреста шестьдесят шестое лето был мор во Пскове и в Новгороде весьма велик и длился с самой пасхи, а униматься начал только с Филиппова заговенья. Да и весна была худая — много вреда принесли поздние морозы: четырнадцатого мая снег выпал глубокий и лежал два дня, а двадцать шестого мая — опять мороз, и снег лежал сутки.

Осенью же весьма рано настали морозы, в августе еще, и всю ярь побили...

— Голод будет, Федор Василич,— сказал вслух государь.— Обессилит народ-то, и скотине гибель...

— Да, государь,— вздохнув, тихо отозвался дьяк Курицын,— тяжкие времена ныне.

— Нам бы токмо полки нарядить да грады ко времю укрепить,— раздумчиво продолжал великий князь.— Для сего нам и союз с Крымом вборзе надобен.

Постучав в дверь, вошел дворецкий Данила Константинович.

— Государь,— сказал он,— царевич Касим пригнал со слугами своими.

— Где он?

— Провел его в переднюю твою с почетом, как гостя и друга твоего, государь.

— Добре. Приготовь ему лучший покой в моих хоромах, а в трапезной моей собери почетный стол.

Обратясь к дьяку, Иван Васильевич добавил:

— А ты, Федор Василич, гостя ко мне сюды приведи. Что-то с ним нам господь посылает...

Когда в сопровождении Курицына вошел царевич Касим, Иван Васильевич быстро встал ему навстречу и дружески протянул руки.

— Будь здрав, государь, многие годы,— сказал Касим, целуя руку великого князя.

— Будь здрав и ты, царевич,— ответил Иван Васильевич и посадил рядом с собой Касима, плечо к плечу, как верного друга.

— Сказывай,— молвил он, но уже по лицу Касима видел, что вести дурные.

— Умер Хаджи-Гирей,— сказал тот печально,— да простит аллах его прегрешения...

Иван Васильевич переглянулся со своим дьяком.

— Что в Бахчэ-Сарае?— спросил глухо великий князь.

— В Бахчэ-Сарай?— продолжал Касим.— На тот свет шайтан с ангел дерется за душа Гирей. В Бахчэ-Сарай сыны Гирей за престол дерется. Все. Пропал наш дело...

Касим опустил голову. Иван Васильевич встал и начал молча ходить вдоль своего покоя. Потом снова сел рядом с Касимом.

— Скажи, Касим,— спросил он,— а кто и кому из сыновей Гирея помогает?

— Много сынов,— ответил Касим,— восемь сынов. Дерутся два: Нур-Даулет и Менглы-Гирей. Хан Ахмат — за Нур-Даулет. Турки, султан Мухамед — за Менглы-Гирей. Долго драться будет...

Великий князь вдруг усмехнулся и молвил весело:

— Мы поможем Менглы-Гирею. Турки ближе к Бахчэ-Сараю, турки победят...

В лето тысяча четыреста шестьдесят седьмое зима тоже была лютая и с такими морозами, что множество людей померзло насмерть по дорогам в Москву и к иным градам и на всех путях по волостям меж селами и деревнями.

Весна же наступила очень поздно. Ненастье затянулось до начала июня: то распутица с дождями и снегом, то среди непогоды летние дни со зноем солнечным. Даже конникам и то проезду почти не было.

В непогодь и на грязи пасху в Москве праздновали двадцать девятого марта. Не празднично было в эти ненастные дни, и даже пасхальный трезвон гудел невесело.

Иван Васильевич в тревоге постоянной был, боясь нового неурожая и беспокоясь смутой крымской, которая продолжала расти.

— Как там все содеется,— говорил он Курицыну,— богу единому ведомо. Мы же знаем токмо одно, что силы свои копить надобно, какие сможем...

Поэтому государь уж на третьей неделе после пасхи, невзирая на бездорожье, поехал с Юрием на Оку и Угру грады проверять и заставы.

Прощальный обед был у старой государыни, у Марьи Ярос-

лавны. За столом были, кроме княжой семьи, брат государя, князь Юрий, и дьяк Курицын.

Речь зашла о новом митрополите Филиппе, и Марья Ярославна одобрила его, сказав:

— Новый-то владыка по мне хорош. Не ведаю токмо, как ты его, сыночек, почитаешь?

— И яз так разумею, государыня-матушка,— ответил Иван Васильевич,— помощник он мне в Новомгороде. Против папистов там борется. Они новгородцев к Литве и Польше всякой лестию манят. Разумеет он дела государствования. Яз же вот поеду с Юрьем против татар грады крепить, а тобя, государыня, собя вместо оставляю. Будь ты на Москве государыней, а владыка Филипп да вот Федор Василич тобе в помощь. Да с Ряполовскими и Патрикеевыми советы держи, дабы обид у них не было. Про Федор Василича лучше пред ними умолчи, да и владыке не сказывай о нем. Он у меня тут после тебя — вторые глаза. Юрий же, матушка,— десница моя во всех ратных делах. Вот и весь мой тесный совет, да еще душа моя, княгинюшка Марьюшка...

— Токмо вот внучек мой не в тобя, Иванушка,— молвила Марья Ярославна,— помню, на десятом-то годике ты вельми скорометлив был, даже и на советах бывал боярских, да полки ты...

Старая княгиня, увидев, как потемнело веселое лицо сына, спохватилась и перевела разговор на другое.

— Зато Марьюшке, моей доченьке,— продолжала она,— покойней ныне, чем мне тогда было. Не забыть век мне, Иванушка, твоего первого походу. Сколь тогда я слез пролила...

Иван ласково улыбнулся матери и молвил:

— Успеет еще Ванюшенька. Время ныне иное, да и верно, не хочу яз сердце тревожить Марьюшке моей...

— А ты ведаешь, Иване,— заговорила опять Марья Ярославна,— Дарьюшка-то, Костянтина Иваныча, овдовела. Бездетной осталась. Продала, бают, все именье свое. В Москву хочет, постригаться в монастырь...

Иван, не показывая виду, вдруг взволновался, сам не понимая отчего, и ясно ему привиделось прощанье последнее с Дарьюшкой. Будто вчера это было...

— Что ж,— сказал он вслух спокойно,— ее дело. Видать, зело мужа любила, свет ей после него не мил...

— Что ты, сыночек,— живо откликнулась старая княгиня,— бают, глаз от горя до самой его смерти не осушала...

Иван Васильевич дрогнул весь, но усмехнулся и сказал:

— Трапеза кончена, государыня-матушка. Нам с Юрьем спешить надобно, дабы к ночлегу засветло доехать. Дорога-то ведь совсем, бают, непроезжая.

Он встал из-за стола, и все встали за ним, крестясь на иконы.

— Матушка, благослови нас с Юрьем родительским благословением...

Потом сам он благословил Ванюшеньку и долго прощался с Марьюшкой, обнимая и целуя ее с нежностью.

Из детства вспомнилось ему многое, и было грустно, неведомо почему...

В Коломну Иван Васильевич приехал с братом своим, когда начала погода устанавливаться.

В обед они по улицам коломенским со стражей ехали к Соборной площади, где наместник и воевода живет. Молчали оба брата. День хоть совсем уж весенний был, теплый и солнечный, но грусть почему-то томила Ивана. Может быть, потому, что опять ему юность его вспомнилась, и от грусти этой с болью слушал он похоронный церковный звон.

— Покойника несут,— сказал князь Юрий и снял шапку.

Остановился Иван Васильевич, тоже снимая шапку и крестясь, а за ним остановилась и вся стража, поснимав шапки и давая дорогу похоронному шествию.

Впереди несли крышку от гроба, потом шли священник в ризе, дьякон в стихаре и с дымящимся кадилом. В богатом гробу, обитом парчой, несли на шитых полотенцах молодую женщину.

— Купецкие похороны,— сказал Юрий брату, но тот не ответил, только молча кивнул головой.

За гробом теснилась родня со слезами и плачем, а плакальщицы, покрывая всех голосами своими, громко причитали, но из общего гула время от времени выделялся звонкий и чистый голос, и тогда Иван Васильевич разбирал слова.

Приходила скора смертушка,
Крадучись шла, душегубица,—

прозвенел рыдающий голос и потонул в общих причитаниях, но потом опять вырвался, и снова услышал Иван Васильевич:

Провожат он женку милую,
Молоду свою княгинюшку,
Свет Матрену Радивоновну...

Вдруг голос этот серебряный окреп страшной силой горестной, словами тоски нестерпимой в сердце впивается:

Не забудь мои ты слезы неуимчивы,
Хоть с подкустыщка явись да серой заюшкой,
Хоть с погоста прилети да черной галочкой...

Шествне завернуло за угол, н голос сразу на словах этих оборвался.

Все наделн шапки, и снова зачокали копытамн кони княжой стражи, но Иван Васильевнч ехал молча с шнроко открытыми глазами, а в душе его н в ушах все еще плакал рыдающий голос:

Хоть с подкустышка явись да серой заюшкой,
Хоть с погоста прилети да черной галочкой...

В субботу, апреля двадцать пятого, на четвертой неделе после пасхи, вернулся с братом Иван Васильевнч в Коломну с Угры-рекн, осмотрев там все места для ратных дел, объехав нанглавные крепостн, и вдруг словно нзо дня в ночь сошел.

С тишиной его страшной все встретилн, смотреть на него все боятся, глаза долу у всех опущены...

Встревожился велнкнй князь.

— Что такое тут? — спросил он тнхо.

Князь Юрий, которому все уже нзвестно было, обнял брата н молвил:

— Вестннк из Москвы прнбыл. Потом на Угру к нам поскакал, да размнnулнсь мы с ним в пути...

— Какой вестннк? — хрнпло спросил Иван Васильевнч.

— Тут я, государь, — кланяясь до земли, молвил печально Герасим нз дворскнх слуг, — вторым мя старая государыня шлет. Повестует она: «Сыне мой, в пятый час нощи протнву четверга преставнся радость наша Марьюшка. В четыре днн от горячкн сгорела...»

Потемнело в глазах Ивана Васильевнча, побелело лнцо как снег. Захотел он кричать от болн душевной, грохнуться на пол, биться о землю, но сдержал себя. Вечностью всем показались этн мгновенья, когда омертвел государь на руках брата.

Вот шнроко открылнсь его страшные глаза н медленно обвели покой. Вздохнул государь судорожно, будто дышать ему нечем, перекрестился на образа и молвил хрнпло:

— Царство тобе небес...

Оборвался, закрыл лнцо руками. Снова осилил горе свое государь.

— Юрнй, — молвил он тнхо, — будь тут меня вместо, все оглядн до конца...

Помолчав, Иван Васильевнч добавил:

— Яз в Москву еду. Дай мне полсотнн стражн да прншли ко мне Саввушку...

Государь, не оглядываясь н не прощаясь нн с кем, пошел к своему покою.

Распутица все еще не кончалась. В лесах лежал снег и медленно таял, разводя болота и грязь. Вперемежку с ясными днями шли дожди или снег. Туго распускались почки на деревьях, но птицы уже прилетели, и звонкие голоса их звенели повсюду...

Иван Васильевич ехал медленно. Перед самой Коломной он встретил еще одного вестника и узнал, что старая государыня и митрополит уже погребли Марьюшку в монастыре, в церкви святого Вознесения. Спешить было некуда, а в Москве будто не стало ничего, будто вся Москва вымерла. Да и сам Иван Васильевич будто пустой внутри, и ничего нет у него на этом свете.

Дышит он влажным весенним воздухом, а в ушах чуть звенит знакомый плачущий голос, что опять ему вспомнился, звенит он одно и то же:

Хоть с погоста прилети да черной галочкой...

И кажется Ивану, что сон какой-то он видит, а жизни уж нет никакой. Не может он Марьюшку мертвой представить — живой только помнит, как прощался недавно с ней. И щеки нежные, теплые помнит, и глаза, что глядели так ласково из густых ресниц...

Как во сне, он и в Москву приехал, и в Москве все, как во сне, было. Марья Ярославна со слезами его встретила, панихиду служил митрополит Филипп у могилы Марьюшки, но все это казалось Ивану Васильевичу странным и ненужным ему. Застыл он весь, был ровен и равнодушен ко всему, и страшны были для всех этот холод и бесстрастие государя. Даже Ванюшеньку не замечал он, казалось...

На сороковой день панихида была по Марьюшке в княжих хоромах и поминальный обед с митрополитом, который сам служил панихиду; родня вся княжая съехалась, а также князья служилые, бояре и воеводы...

Иван Васильевич говорил о государствовании и с митрополитом, и с боярами, и с воеводами, как всегда, деловито и обстоятельно, но самого его будто за беседой и не было. После трапезы ушел он в свою опочивальню, но один, без советников, как это обычно бывало при тайных совещаниях о делах военных и прочих. Не мог он с малым числом людей быть: или на многолюдстве, или совсем один.

В опочивальне сел он на постель свою пред отворенным окном. Майское небо синеет, облака плывут белые, и вдруг, мелькнув легкой тенью, села на подоконник галка.

Вздрогнул Иван, а в мыслях простодушно, по-детски мелькнуло, что, может, это душенька Марьюшки. Замер он, а галка, повернув к нему голову, пристально поглядела на него неприятным серебристо-белым глазом...

— Злая птица,— прошептал Иван Васильевич и быстро перекрестился.

Галка, испугавшись движенья руки, взмахнула крыльями и исчезла за окном. Почему-то все это потрясло Ивана, и ясно стало ему, до острой боли, что нет уже Марьюшки, нет и никогда, никогда уж не будет.

— Сказками сердце тешу,— прошептал он и, уткнувшись в подушки, впервые зарыдал, как ребенок...

Целый месяц прошел с этого дня, и стал Иван Васильевич ласковей, хоть и весь переполнен был тихой печали. Подолгу сидел он с Ванюшенькой, но говорил мало. Слышал он случайно, что Дарьюшка в Москву уж приехала и здесь вот в княжих хоромах у брата своего Данилы живет, в монастырь собирается. Ныне же увидал ее в окно из своих покоев и даже вздрогнул с испуга. Шла она по двору княжому, будто Марьюшка его, только ростом повыше и станом пышней...

— Марьюшка моя!— сорвалось невольно с уст его, а она, словно услышав, взглянула на окна его покоев.

И вот все спуталось в нем сразу — и то, что было в его детстве и юности, и то, что теперь есть, будто сон какой продолжается. Давно, давно вот была Дарьюшка — первая сердца его невинная любовь. И росла эта любовь, и, когда расцветать стала нежно и сладостно, отняли у него Дарьюшку, а она к нему возвратилась Марьюшкой, и не токмо телом с ней схожей, но и душой своей ласковой и чистой, и полюбил он ее больше, чем в детстве, как жену свою ненаглядную...

— Вот бог взял ее опять,— шепчет словно в забытьи Иван Васильевич,— помрачил господь мне свет свой божий, но вот она живой предо мной, Марьюшка-то, прошла...

Голова его кружится, и не может понять он, две ли их было, или одна в двух лицах, только сердце чует их за одну...

Постучав в дверь, вошел дворецкий Данила Константинович и нерешительно остановился. Иван Васильевич, взглянув на него, заволновался. Вспомнилось ему далекое: так вот вдруг, как сейчас, робко вошел к нему еще совсем молодой тогда парень Данилка с поклоном от сестры своей. Увозили тогда Дарьюшку в Коломну к жениху.

— Что, Данилушка?— спросил Иван Васильевич хриплым от волнения голосом и, поколебавшись, добавил:— Как Дарьюшка? Подь поближе, сядь тут...

— В монастырь уходит, государь,— вполголоса ответил Данила Константинович, садясь возле государя.— Проститься навек с тобой хочет. Увидать хоть раз молит...

Голос Данилушки задрожал и оборвался.

— Все одно, Иванушка, как в могилу живой идет...

— Куда спешить ей,— тихо молвил Иван Васильевич,— не уйдет от нее черная ряса. Отымал ее от меня господь, чую, и снова отымет...

Государь положил руку на плечо друга детства и сказал:

— Пусть придет ко мне Дарьюшка-то. Токмо, опричь нас с тобой да ее, не ведать о сем никому...

— Верь, Иванушка, сам тобе стражей буду наикрепкой...

— Нету, Данилушка, мне счастья долговечного,— с горечью произнес великий князь,— испытует мя господь...

Закрыл он глаза руками, а Данила Константинович тихо вышел из покоев. Опять все смешалось в мыслях и чувствах Ивана Васильевича, и не услышал он, как кто-то вошел к нему, только волнение охватило его вдруг.

Вскочил он на ноги и видит, стоит пред ним будто Марьюшка.

Глаза опустила, и видно даже из-под белил, как стыдом и волнением пылает лицо ее. Дрожащими пальцами перебирает она платочек свой с жемчужной обнизью...

Смотрит Иван Васильевич в лицо ей, и вдруг видит в ушах знакомые с детства сережки из трех серебряных шариков, и вспомнился ему Переяславль Залесский, златокузня у Кузнецких ворот, и девочка в саду при княжих хоромах, чижи и щеглы в большой клетке...

В этот миг глянула Дарьюшка в лицо государя и, уловив взгляд его, сказала, улыбнувшись и засияв глазами:

— Серьги сии ты подарил...

В сердечном порыве обнял Иван ее и, прижимая к груди своей, молвил радостно и грустно:

— Отрочество и юность свою обымаю с тобой. Все то с годами минуло, но в душе моей век жить будет...

Дарьюшка смутно понимала значение слов государя, но сердцем чуяла, что дорога ему, и виделся ей осенний сад с опавшими листьями, рдеющий гроздьями багровой рябины, и целующий ее княжич Иван.

— Иванушка,— прошептала она, и от этого шепота забыл Иван сразу, что государь он, а видел только себя мальчиком и милую, милую девочку...

Он отодвинул ее от себя, чтобы снова встретить дорогой лучистый взгляд, но глаза ее, вдруг потемневшие, словно ослепли, а губы, все еще будто детские, доверчиво полуоткрылись для поцелуя...

— Марьюшка, счастье мое,— прошептал он бессознательно и приник устами к ее устам...

Глава 11

ЗЛО КАЗАНСКОЕ

Летом тысяча четыреста шестьдесят седьмого года умер бездетным хан казанский Халиль, старший сын Мангутека. Среди карачиев, биков и мурз начались разногласия при выборе нового хана. Одни хотели младшего брата Халиля, хитрого и ловкого Ибрагима; другие, с карачием Абдул-Мумином во главе, хотели царевича Касима, женатого на молодой еще Нур-Султан, вдове брата его Мангутека, матери Ибрагима.

Сеид же, боясь Москвы, склонил ухо к сторонникам Ибрагима и провозгласил его ханом казанским. Так обстояло дело, но Абдул-Мумин не сдавался. Мог он бороться и с самим сеидом. Богаче всех он в Казани, и все купцы и вся знать чтут его, как старшего, а уланы глядят ему в руку, получая хороший бакшиш за всякие услуги.

Чтимее Абдул-Мумина только один сеид. Сеиду сам царь выходит навстречу из хором своих, преклоняет пред ним главу и, стоя, касается почтительно руки его, когда тот еще сидит на коне своем у красного крыльца. Но Абдул-Мумин глядит не на Большую Орду хана Ахмата, а на Москву надеется, поддержку которой обещает ему царевич Касим, любимец великого князя Ивана Васильевича. Союз с богатой Московией считает он более выгодным для торговой Казани, чем союз с Ахматом...

Как будто тишина в Казани, а за тишиной этой смута затаилась во всех углах: идет борьба за престол внутри Казани, а со стороны к ней тянется железная и цепкая рука молодого, но уже грозного князя московского. Из всех карачиев один лишь Абдул-Мумин через друга своего, Касима-царевича, знает истинную цену тому, что делает и замышляет Иван Васильевич, и каких сил ратных, казны и богатств накопила Москва.

Но все духовенство, из ненависти к хяурам и по указке сеида, сеет страх среди правоверных, пугая их вмешательством Москвы.

— Нам страшней всего,— проповедуют одни из них,— Москва-хяур! Пусти змею за пазуху — она ужалит тебя в сердце.

— Если мир у нас будет с Русью,— внушают другие,— где мы полоны брать будем, где рабов достанем для всяких работ, для рукоделия всякого: крестьянского, кузнечного, плотничьего, для литья разного, для дела тележного и санного...

— Где девок красных полонить будем, дабы торговать ими с прибылью высокою на базарах шемахинских, персидских, сарайских, индийских и турецких?— говорят третьи.

Разжигают они жадность и алчность у всех, призывая к на-

бегам на земли хяуров, соблазняя грабежами и захватом полона...

— Бойтесь московского князя!— восклицают они.— Ибо он опасней, чем был лжепророк Мосейлимá, погубивший шестьсот асхабов пророка, да святится имя его! Москва же погубит и Казань и всех правоверных!..

Но сторонники Абдул-Мумина действуют незаметно и тайно. Осторожно сносятся они с Касимом-царевичем, рассчитывая более всего на него и на помощь ему от Москвы, и на вопросы Касима-царевича: «Готово ли все для моего воцаренья?»— отвечают уклончиво пословицей:

— Ат тармаса, арба бармас[1].

В лето тысяча четыреста шестьдесят восьмое, сентября двенадцатого, когда змеи в лесах в норы под корнями дерев уже залегать начинают, приехал в Москву к великому князю царевич Касим со всей своей конницей татарской. Как всегда, Иван Васильевич принял царевича с почетом и лаской. За беседой говорил царевич государю своему:

— Слуга твой челом бьет — дай Казан мне брать. Отец мой, хан Улу-Махмет, первый хан Казан был. Челом бью, государь, помоги отцов стол брать...

— А все ли у них удумано,— спросил Иван Васильевич,— нет ли огрешек в разумении дел? Может, дела-то не доспели еще?

— Все удумано, государь,— горячо отвечал царевич Касим.— Повестил меня Абдул-Мумин, все есть готово. Арба готов, товар весь в арба. Нада тащить арба, конь нада. Сам иду Казан с конники. Не ведат о сем Ибрагим-то, ворог мой...

— А лести не будет? Гляди, изолгут тя, Касим!..

— Йок, йок[2], государь,— так же горячо продолжал царевич,— ведам свой татар, знай — якши карош Абдул-Мумин! Карачий он. Был отцу слуга верный Абдул...

Иван Васильевич задумался и вдруг неожиданно спросил:

— А скажи мне, царевич, кто татар казанских кормит?

Касим не понял вопроса, а присутствующий при беседе Федор Васильевич Курицын с недоумением поглядел на Ивана Васильевича.

Великий князь нетерпеливо повел бровями и пояснил свой вопрос:

— У нас на Руси сироты наши всех кормят. Дают они хлеб,

---

[1] Если лошадь арбу (телегу) не будет тянуть, арба сама не пойдет.

[2] Нет, нет.

мясо, мед, масло, рыбу и все, что для пропитания нужно. А в казанской земле кто татар кормит?

Касим понял, оживился и ответил поспешно:

— В Казан кормит татар сабанчи разные: булгар, башкир, чуваш, мордва, вотяк. Больше всех хлеб, мясо черемис дает. Князь черемисски Казан кормит...[1]

Иван Васильевич усмехнулся, кинул быстрый взгляд на дьяка Курицына и, обращаясь к Касиму, сказал:

— Служил ты нам, царевич, верой и правдой всегда, послужу ныне и яз тобе. Дам тобе двух воевод в помочь: князь Иван Юрьича Патрикеева и князь Иван Васильевича Стригу-Оболенского. Утре будут они думу думать с тобой, а сей часец иди в покои свои, отдыхай...

Касим быстро вскочил на ноги, поцеловал протянутую руку великого князя и, поклонившись ему в пояс, произнес радостно:

— Слушаю и повинуюсь, государь!

Поклонясь еще раз князю, вышел царевич с дьяком Курицыным, провожавшим Касима с почетом до отведенных ему покоев.

Когда Курицын вернулся, Иван Васильевич весело встретил его словами:

— Слышал? Уразумел?

— Слышал, государь,— улыбаясь, ответил дьяк,— и все уразумел.

— Казань для нас такая же язва,— заговорил оживленно государь,— что и Новгород Великий, а то и хуже. С корнем выжигать их надобно, а для сего надоть Казань, как и Новгород, изнутри и снаружи терзать, по их трещинам разрывать...

— Истинно, государь,— согласился Федор Васильевич,— у них нет своего хлеба и всякого иного пропитания...

— Чужими руками кормятся,— вставил Иван,— от сабанчей иноплеменных, а меж собой у них споры за власть и богатство: и сами грызутся и сирот да черных людей грызут... Про Черемису-то уразумел? Ведаешь ныне, пошто яз о Черемисе и прочих спрашивал? Случай будет, так отрывать, отсекать сии корни надобно от древа казанского, дабы иссохло оно...

Иван Васильевич прошелся в волнении несколько раз вдоль своего покоя и сказал:

— Не мыслю яз, дабы татары казанские Касима хотели, из Москвы царевича служилого. Как твое разумение, Федор Васильевич?

— Возможно сие,— ответил Курицын.— Может, татары-то,

---

[1] *Черемиса* — черемисская земля, управлявшаяся своими князьями, вассалами царя казанского, занимала области Казанскую и Вятскую.

ведая, что мы их бить хотим, западню нам строят. Может, у них сговор есть с Ахматом и Казимиром...

— Может, Абдул-Мумин и против Ибрагима,— прерывая дьяка, продолжал государь,— а без нашего войска ни он, ни Касим со своими конниками ничего не могут против карачиев, биков и мурз. Разумеют те, что миру у Казани с Москвой никогда не быть...

— Сеид их против Москвы,— заметил Курицын.

— Не в сеиде суть,— перебил снова государь дьяка,— суть в том, что Казань без грабежа и полона жить не может. Казани иноплеменные рабы и сабанчи нужны...

Иван Васильевич замолчал и прикрыл глаза рукой. Он думал о том, что поход на Казань надобен. В случае успеха Касима удастся ослабить Казань ныне же, а при неудаче надобно будет все вокруг Казани разорить, дабы некому было кормить татар...

— Слушай, Федор Василич,— сказал он, обращаясь к дьяку,— дело ратное хорошо или плохо деется не токмо от уменья, но бывает и от случая. После обеда позови ко мне обоих воевод: и Патрикеева и Стригу. Поход-то походом, а первей всего надобно нам заставы усилить и воев добрых послать в Муром, и в Новгород-Нижний, и на Кострому, и в Галич, дабы им крепко в осаде сидеть и от Казани стеречься.

Сдвинув брови, он добавил:

— На все воля божья. Может, придется не Казань полонить, а свои грады оборонять...

На праздник воздвиженья, на четвертый день после беседы с государем, пошел царевич Касим на Казань, а с ним великого князя воеводы Патрикеев и Стрига-Оболенский со многой силой.

Думал Касим внезапно явиться под стены казанские вместе с воеводами московскими, да осень непомерно ненастная перепутала все расчеты и замыслы. Дни и ночи лили дожди студеные, и среди дремучих лесов тонули полки в разлившихся болотах и топях, а гати и переправы везде были размыты. Но терпели все это воины русские и татарские, мысля о добыче великой в граде Казани.

Когда же русские полки вместе с касимовскими конниками после многих мук и трудов достигли берегов Волги и, став у широкого раздолья могучей реки, начали спешно искать бродов и перевозов, дабы скорей перейти на тот берег, то везде уже встречали их засады царя Ибрагима. Неведомо кем, но был хан вовремя упрежден и стоял на противной стороне Волги крепко с великою ратью.

Ратники же московские и кони их были совсем истомлены

бездорожьем лесным и голодом. Много коней их вьючных, со снаряжением разным и харчем воинским, увязая в грязи, не могли ни туда, ни сюда двинуться и отстали в пути. Всё же татары не смели напасть на русских, и несколько дней простояли оба войска, не решаясь начать военных действий. Наконец воевода Оболенский позвал на думу Патрикеева и Касима-царевича.

— Как и что нам, воеводы, деять?— обратился он к своим товарищам.— Вьючные кони наши по дороге в болотах завязли. Токмо малая часть их сюда дошла. Нет у нас вдосталь харча для воев, а коням и вовсе кормов нет. Истомлены люди грязью, холодом и голодом. Татары же во всей бодрости и силе, да и стоят у себя под Казанью, а мы среди топей лесных, в чужой земле...

Долго молчали все трое после речи этой, а потом молвил с печалью князь Патрикеев, Иван Юрьевич:

— Мыслю, надобно ворочаться, токмо не ведаю, какой дорогой, дабы татары в обход нам не ударили...

— Мне йок кысме́т[1],— еще печальней сказал Касим.— Назад нада. Верно. Токмо иди нада старый дорога. Круг лес нет обход. В тыл не пойдет Ибрагим. Грабить ему нет тут, а грязь много, кони губить не захочет...

— Истинно,— проговорил князь Оболенский,— но как прозорлив и разумен государь наш, повелевши градам в осаде сидеть, заставы их укрепивши загодя...

Снова замолчали воеводы, понимая ясно, что дело их проиграно.

— Да простит нас господь бог и государь наш Иван Васильевич,— крестясь, проговорил Оболенский,— а яз велю вам ныне же ночью, в саму темень, пойти с полками назад...

Когда забрезжил серый осенний рассвет, с трудом проникая сквозь дождливые тучи, полки московские далеко уж отошли от Волги. Вновь они ехали той же дорогой, разъезженной ими самими донельзя. Отощавшие от голода кони еле-еле вытаскивали ноги из липкой глинистой грязи, а иные из них покорно вязли и беспомощно клали головы на грязь. Ни крики, ни побои не могли их поднять.

То и дело попадались в пути московским полкам обглоданные волками костяки вьючных коней, завязших ранее, когда еще шли они на Казань. Тревожно и жутко было в осеннем лесу. Как только темнело, кони начинали храпеть и вздрагивать, чуя крадущихся за кустами волков. Люди же, усталые, истомленные, еще засветло, свалив десятка два берез и сосен, всю ночь подбрасывали сырую щепу и сучья в костры и ближе сби-

[1] Нет удачи.

вались друг к другу. Харчей уже давно не было, и ратннки, несмотря на постные дни, каждый ночлег резалн совсем ослабевших коней и варили в котлах коннну, пожнрая мясо полусырым, без хлеба и соли.

Почти треть всего войска, кннув доспехн, шла пешком, а коней становилось все меньше и меньше. После каждого ночлега, покннутого войском, оставались вокруг костров кости и шкуры от зарезанных коней и трупы издохших от голода. Вонны, стараясь спастн хотя бы верховых лошадей, напрасно собиралн для них опавшне листья и резалн веннкн нз тонких ветвей березняка: измученные животные плохо елн эту грубую пищу и не были от нее сыты. Голод, холод, почтн бессонные ночн и отчаяние терзали души воннов. Но, чем ближе подходилн они к московской земле, силы их, казалось, возрастали.

— Спас господь,— говорили кругом радостно,— довел до родной земли! Даст бог, и по семьям своим разойдемся живы и здравы!

Когда Иван Васильевнч кончал вечернюю трапезу в покоях у матери, с которой теперь жил осиротевший Ванюшенька, Данила Константинович доложил о прнбытин воевод из-под Казани.

— Как глядят-то онн, Данилушка?— спросил государь, хмуря брови.— Что-то не жду добра...

— Темны и хмуры лнцом,— отвечал печально дворецкий.— Видать, прямо с походу, сапоги у них и кафтаны в грязи...

— А Каснм с ннми?

— И он, государь, с ннми...

— Проведн их в покои, что Касиму отводнм. Пусть оботрутся от грязн, да колн прямо с коня, накормн, напои перед беседойто. После-то некогда будет... Проведешь потом ко мне в переднюю, а яз тут пока с государыней-матушкой да сыночком побуду...

— Слушаю, государь. Борзо все нарядим.

Дворецкий вышел, а Иван Васильевич молвил старой государыне:

— Зла будет война с Казанью. Надоть, пока Ахмат в стороне, Казань смнрить на всю волю нашу...

— А как Казнмнр?-- заметила Марья Ярославна.— Как бы и он к Казанн не прнстал?

— Не посмеет.

— Пошто не посмеет-то, сыночек?

— Веры в Крым у него ныне нет, матунька. Распря в Крыму-то, н неведомо королю, друзьями аль врагами ему Гиреи будут. Ежели победят те, что с турками заодно,— враги, а с Ахматом — друзья Казимиру. Успеем мы Казань смнрить...

— Дай бог,— молвила Марья Ярославна,— ты сам в поход-то пойдешь?

— Видать там будет,— ответил Иван Васильевич и весело добавил:— Ежели сам пойду, и Ванюшеньку с собой возьму!

Мальчик просиял и, обняв отца, радостно воскликнул:

— И доспехи мне дашь, тату?

— Свои детские велю тебе приспособить. В твои-то годы яз много крупней тя был...

— Воеводы, государь,— сказал Данила Константинович,— ждут в передней...

— Идем, Данилушка,— молвил Иван Васильевич и, вспомнив о сыне, живо добавил:— Вели-ка ты утре старые детские мои доспехи на Ванюшеньку уменьшить. Пусть приучается носить их. В поход со мной пойдет...

Государь вдруг оборвал речь и, сурово сдвинув брови, вышел в сенцы.

При входе Ивана Васильевича в приемную воеводы быстро встали и поклонились государю, желая здравия и благодаря за внимание и ласку.

Великий князь отдал им поклоны и молча сел на свой престол. Прием был строгий, без теплоты, холодный прием. Взглянув на воевод огромными черными глазами, он сухо молвил:

— Вижу все, разумею. Что яз тобе, царевич, баил? Где твой Абдул-Мумин?..

Касим схватил себя за полы кафтана и горестно воскликнул:

— Изолгали меня, государь! Изолгали татары!

Зажав лицо руками и затем быстро открыв его, Касим поклонился до земли великому князю и глухо произнес:

— По смерть мой я твой слуга...

— Будь все по-старому,— сказал Иван Васильевич, протягивая руку Касиму.— Садитесь, воеводы...

Касим горячо поцеловал руку государя и сел по татарскому обычаю на ковер у его ног.

— Сказывайте,— кратко молвил великий князь и снова нахмурился.

Воеводы заробели, но старший из них, князь Иван Васильевич Стрига-Оболенский, встал пред государем.

— Все виновати мы, государь,— проговорил он.— Касим-царевич на неготовую Казань ехал, а Казань-то нас неготовыми встретила. Упрежден Ибрагим во всем был. На всех бродах и переправах у него уже засады были крепкие...

— Где же отряды ваши были? Казанские-то лазутчики, мыслю, по всему лесу прятались да вас высматривали...

— Может, и были лазутчики, государь,— ответил князь

Стрига,— да мы-то двинуться никуды не могли. Непогода все гати размыла, болота да топи разлились по всем дорогам. Кони по брюхо вязли, еле двигались. Вьючные-то совсем топли, а многие так в топях и остались, волкам на растерзанье...

Шаг за шагом описывал воевода все бедствия и муки полков московских и касимовых, а бедствия их с каждым днем увеличивались, становились тяжелей...

— Что же вы не вернулись?— грозно сверкнув глазами, спросил Иван Васильевич.

Воеводы побелели лицом, а Оболенский хриплым голосом проговорил:

— Волю твою, государь, исполнить хотели, дабы...

— Волю мою?— сердито воскликнул великий князь.— Волю мою ко времю и к месту исполнять надобно, а не зря ума! Не переть на рожон. Три головы вас там было!..

Воеводы все поднялись на ноги и замерли в страхе, но государь взял себя в руки и особенно страшным, глуховатым своим голосом тихо спросил:

— А людей сколь погубили?

Воеводы вдруг ожили и радостно все заговорили сразу:

— Миловал бог нас...

— Многие доспехи метали от глада и с истомы, но живы...

— Как могли, о воях пеклись...

— Все здоровы пришли, кажный восвояси...

Иван Васильевич успокоился и, перекрестившись, молвил с облегчением:

— Слава богу. Добро и то, что воев своих сохранили от смерти и полона. Помните, воеводы, вои наши — наиглавное для нас, воев берегите, как самих собя...

Государь опустил голову, но, будто стряхнув с себя тяжкие думы, стал расспрашивать подробно о походе, дорогах, обо всем, что с полками было в пути туда и обратно.

— На всякой беде учиться нам надобно,— сказал он, отпуская воевод.— Будет и сей поход нам на пользу...

На пятый день после возвращения Касима-царевича из-под Казани государь вместе с княгиней Марьей Ярославной, с братьями, которые в Москве были, и с двором своим осматривал церковь Вознесения, обновленную старой государыней и ныне освящаемую митрополитом.

Церковь эта заложена была еще великою княгинею Евдокией, супругой Димитрия Донского. Много лет ее достраивала потом бабка Ивана Васильевича — Софья Витовтовна, но, стены возведя, сводов свести она так и не успела. Храм закончила

уж мать государя, княгиня Марья Ярославна. Сначала она, видя, что после многих пожаров московских церковь эта вся обгорела, а своды ее грозят обвалом, повелела все разобрать и построить новую церковь из того же камня и кирпича. Узнав об этом, зодчий Василий, Димитрия Ермолина сын[1], домыслил вместе с каменщиками своими церкви всей не рушить, а только обломить на церковном подворье обгорелый камень и своды шатающиеся разобрать.

Внутри же церкви все твердо было, и зодчий Василий, рассчитав, как и чем укрепить обгорелый храм, не руша его, упросил государыню обновить церковь эту по расчетам его...

Иван Васильевич, осматривая обновленную церковь, дивился и радовался уменью и знаниям русского зодчего.

— Матушка-государыня,— говорил он с гордостью,— много слыхал яз, что иноземцы зело искусны в строении сводов, а наши зодчие на сие неумелы. Василий же так искусно, мудро и красно все изделал, что иноземцы-то не все так могут. Дивно сие строение!..

Государь, восхищенный искусством русского зодчего, слушал со вниманием его объяснения и расчеты.

— Как же ты за сие взялся с толикой смелостью?— спросил он Василия.— Ведь могли своды-то упасть и народ загубить?..

— Государь,— отвечал зодчий,— исчислить для сего было надобно тяжесть сводов сих точно и домыслить точно же, какую опору в стенах им содеять и как для опоры сей стены укрепить. Стены я с каменщиками моими укрепил, как видишь, крупным белым камнем новым и кирпичом, твердо ожиганным пожарами, а от сего и твердость опоры сводам. Будут они без железных тяг и оковок век стоять!..

За это пожаловал государь строителю и каменщикам в награду целую деньгу золотую и молвил милостиво:

— Ты, Василий, отныне с каменщиками своими служи и мне, но не токмо в церковном, а и в крепостном строительстве. Брат вот мой, князь Юрий Василич, укажет тобе, что надобно...

В это время Иван Васильевич заметил, что стремянный его Саввушка доложить ему о чем-то хочет.

— Сказывай, Саввушка,— приказал он.

— Государь,— волнуясь, ответил стремянный,— прислал Данила Костянтиныч брата моего Сергея; гонцы, баит, прискакали из Галича...

---

[1] *Василий Ермолин* — известный русский зодчий и скульптор XV в. Часть его большой деревянной скульптуры «Георгий Победоносец» находится в Государственной Третьяковской галерее.

Иваи Васильевич, круто повериувшись к Марье Ярославие, молвил:

— Прости мя, государыия, уеду яз, ие дождавшись молебиой и освящения храма: гонцы из Галича...

В покоях государя собрались воеводы московских полков, были среди иих зиатиейшие: киязь Иваи Юрьевич Патрикеев, киязь Семен Ромаиович Стародубский, киязь Иваи Васильевич Стрига-Оболеиский, киязь Даиил Димитриевич Холмский и другие из киязей служилых, из бояр и детей боярских.

Думу приказаио было думать в кияжой передией, куда все и собрались. Государь вошел быстрыми шагами в сопровождеиии брата Юрия и, ответив иа приветствия вставших ему иавстречу воевод и бояр, сел иа великокияжий стол и тотчас же приказал позвать гонцов из Галича.

Перекрестившись иа икоиы, поклоиившись государю, а потом всем остальным иа две стороиы, гоицы молвили:

— Здравствуй, государь, иа миогие лета! Везли вести мы иа Москву деино-иощно.

— Здравствуйте и вы,— прервал их Иваи Васильевич.— Сказывайте вести.

— Государь, иаместиик и воевода твой галицкий,— продолжали вестиики,— повестует: «Великий государь, да храиит тя бог на миогие лета. Татары казаиские, лишь токмо ушли воеводы твои из Казани, изгоиом бросились к Галичу. Взяша полоиу совсем мало. Граду же и волостям повредить ие могли и ушли восвояси ии с чем, ибо все люди были в осаде во граде, как ты иам повелел...»

Иван Васильевич улыбиулся и, зиаком отпуская гоицов, сказал воеводам:

— Разумейте, как сугуба осторожиость во спасеиие служит...

— Истииио, государь, так!— воскликнул киязь Иваи Юрьевич Патрикеев.— Мы с киязь Иваи Стригой и с болящим иыие Касимом-царевичем о твоей прозорливости еще под Казаиью баили.

Иваи Васильевич улыбиулся и бросил колкие слова:

— Лучше бы о сем вы до Казаии баили.

Помолчав, ои продолжал:

— Ну, да то уж прошло, того ие воротишь, а Казаиь смирить иадобно.

Окииув всех суровым взглядом, государь продолжал:

— Посему повелеваю,— сказал он, обращаясь к князю Стародубскому,— иаиперво тобе, Семеи Ромаиыч. Иди с полками иашими иа Черемису. Жечь и зорить сию землю и полои брать.

Из Черемисы татарам идет весь корм: хлеб и скот. Оттуда ж белки, бобры и прочее. Пусть всяк добычу, какую может, берет, дабы корни Казани подрубить. Полки свои собирай у Галича с тем, дабы в начале декабря, до Миколы-чудотворца, на Черемису пасть нечаянно-негаданно, яко рысь с дерева...

Великий князь замолчал.

— Да будет так, государь,— горячо отозвался воевода князь Семен Романович,— блазнить сие будет воев, не убоятся они ни холода, ни леса дремучего! Пойдем мы без пути по дебрям лесным, по снегам глубоким, падем на поганых с огнем и мечом! Труден сей поход, государь, но, мыслю, дойдем мы до Черемисы от Галича за один месяц, не боле...

— Добре,— молвил государь и, обратясь к воеводе, князю Стриге-Оболенскому, продолжал:— А ты, Иван Василич, в Кострому иди с полками своими, гони басурман с христианской земли, пустоши земли казанские, бей поганых с другой стороны.

— А мне, государь,— молвил князь Данила Холмский,— повели на Волгу и Оку иттить. Яз поведу свои полки, да и нижегородцев и муромцев подыму.

Глаза Ивана Васильевича блеснули.

— Добре!— воскликнул он.— Право удумал Данила Димитрич! Клич кликни, дабы, кто похощет, своей волей в дружины вольные сбирались, пустошили бы с атаманами земли казанские, купцов бы татарских били и грабили. Народ-то наивелику пользу на войне приносит. Без бога, бают, ни до порога, так и без народа никуда не денешься.

Иван Васильевич встал со своего места и, поклонившись всем, добавил:

— Иду яз, а вы, воеводы и бояре, подумайте здесь о походах с братом моим, князем Юрием Василичем. Вельми искусен он в ратных делах, а мне он потом все доложит.

После совещания с Юрием за вечерней трапезой ушел Иван Васильевич один в покои свои. Только Данила Константинович провожал его со свечой по сенцам хором.

У дверей в покой свой великий князь, склонясь к дворецкому, молвил вполголоса:

— На рассвете, Данилушка, пока спят все, постучи нам в опочивальню...

— Не бойсь, Иванушка, как и в те разы...

Как только затворил за собой дверь Иван Васильевич, ласковые руки обвили его шею.

— Милый ты мой,— шептала ему Дарьюшка,— будто век тя не видела! Ненасытно к тобе сердце мое...

Иван Васильевич жадно прижал ее к груди своей и, целуя, заговорил прерывисто и вполголоса:

— Как один яз с тобой, Дарьюшка, так от мира всего ухожу. Будто и нету у меня государствования, будто нет у меня никаких забот и горестей. Будто яз да ты одни токмо во всем свете!.. В душе ангелы божьи в радости крылами трепещут, а в сердце токмо радость любовная...

Когда Дарьюшка села на пристенную лавку, лег он вдоль стены, положив голову на колени своей возлюбленной. Чувствует он, как перебирает она теплыми пальцами его густые кудри, смотрит снизу на милое лицо ее. Сладко ему от ее нежного тела и от особой, словно материнской ласки. Видит он красиво закругленный подбородок и пушистые ресницы вокруг сияющих глаз. Склонилась над ним та самая Дарьюшка, что ведома ему с тех пор, как только он помнит себя, с самого раннего детства...

Думая о Дарьюшке, думает он иногда и о делах государственных, но эти думы его идут, как два потока, рядом, то соединяясь в один, то опять разделяясь надвое.

— Ныне вот, Дарьюшка,— говорит он, ласково обнимая гибкий и податливый стан ее,— будем мы бить казанцев, удар за ударом, пока совсем не разорим гнездо сие поганое, разбойничье.

— Помоги тобе господь, Иванушка, в сих трудах великих. Добром тя все христианство помянет. Особливо сироты и все черные люди. Народ-то боле всех страдает от поганых. Ведь князи, бояре, купцы и даже монахи святых обителей теснят и зорят их, а опричь того, и от татар им наигорше всех. Ежели от богатого отнять, то ведь токмо избыток умалить, а у бедного отнять, все едино что шкуру с живого содрать...

— Верно, Дарьюшка,— воскликнул Иван Васильевич,— верно, родимушка моя! Душа твоя чистая да жалость сердечная легко правду постигают.

Иван приподнялся и, обняв ее, поцеловал долгим поцелуем.

— Вот и яз, люба моя,— заговорил он тихо и задушевно,— хочу с отроческих лет моих первее всего иго татарское с Руси снять, а там уж всем легче жить будет...

Иван вдруг замолчал и взволнованно стал ходить вдоль покоя. Дарьюшка с восторженной улыбкой на разгоревшемся лице следила за ним блестящими глазами.

— Дай бог, дай бог,— говорила она радостно.

— Послал яз, Дарьюшка,— продолжал государь,— послал воевод, дабы бить по Казанскому царству. Удумано мною, Дарьюшка, как, откуда и чем бить Казань! Не люблю яз войны, Дарьюшка, но сие неминуемо. Вот князь Семен Романыч бить будет и пустошить уделы казанские, особливо же Черемису, дабы отнять у казанцев все, для пропитания им нужное, а

Холмскнй да Стрига, нижегородцы да муромцы с земель своих гнать будут разбойников, бнть н в полон брать. Крепко почнем шатать мы поганых!..

— Вот хорошо-то!— восклнкнула Дарьюшка и, улыбаясь, добавила:— Помню я, Иване, как в детскне еще годы наши Илейка кол на дворе от колеса для катанья на санках по весне нз земли вымал.

Иван ласково улыбнулся н спросил:

— Не от тех ли санок, на которых катал яз тобя?

— От ннх самых,— улыбаясь, продолжала Дарьюшка.— Снег-то, помню, уж весь сошел, а земля в глубнне еще мерзлая была. Вот Илейка снял колесо-то с кола да как по нему другим колом хватит нзо всей силы с одной стороны. Обошел да ударил с другой, а потом с третьей н четвертой стороны. Земля круг кола отошла, а Илейка ухватил кол, качнул его из стороны в сторону н сразу, как репку, нз земли выхватил...

Иван Васильевнч рассмеялся веселым смехом.

— Так и яз, Дарьюшка,— восклнкнул он,— расшатаю вот и враз вырву с корнем все зло казанское!..

Дарьюшка всем телом прннннкла к нему н зашептала:

— Иванушка, солнышко мое! Помогн те бог в добрых делах...

— Радость моя сладка,— так же тнхо н взволнованно шептал ей в ответ Иван,— первая и последняя любовь моя...

Глава 12

НА ПОХОДЕ

Недель уж пять прошло с тех пор, как воеводы московскне в поход на Казань выступилн. Вот и знма в половнне — трннадцатое января настало, а гонцо: от ннх нет. Иван Васильевнч стал нетерпелнвей н тревожней ждать вестей нз Черемнсы от князя Семена Романо"ича Стародубского. Как-то у матерн своей, княгинн Марьн Яро.лавны, за завтраком молвил он брату Юрню:

— Без тобя, Юрьюшка, воеводы нашн мало борзости кажут. Скорометлнвостн воинской у них не хватает...

— Вельми уж ты прыток, Иванушка,— заметила старая княгння,— сам ведаешь, как бездорожно там, в лесных дебрях, да н зима-то ныне вельмн вьюжна и студена...

— Истннно сне, матушка,— заметил Юрнй,— все же мыслю яз, будь Федор Василнч Басёнок али Каснм-царевич, прытче дела-то пошлн бы. Уметь надобно воям силы прнбавнть. На Нколу ведь от Галнча пошел князь-то Семен Романыч...

— А вон вижу в окно,— перебила его Марья Ярославна,—

вестник на двор пригнал. К хоромам его Ефим Ефремыч ведет. Глянь, сыночек.

Князь Юрий поспешно подошел к окну.

— Верно, вестник,— сказал он,— токмо не русский, а татарин...

— Ордынский?— спросила княгиня с тревогой.

— Нет,— разглядывая гонца, продолжал Юрий,— по обличью будто из наших татар, а все же неведом мне...

— Не от Касима ли?— заволновался Иван Васильевич.

Прошло несколько времени. В трапезную торопливо вошел дворецкий Данила Константинович.

— Вестник, государь и государыня. От Даниар-царевича. Как прикажете?..

— Можно, государыня, в твои покои позвать?— спросил Иван Васильевич.

— Веди сюда, Данилушка, веди,— молвила старая княгиня.

Иван Васильевич, взглянув на сидящего за столом сына, тихо сказал брату:

— Молодше Ванюшеньки моего, Юрий, мы с тобой были, когда впервой Касима в Ярославле встретили...

Он замолчал, видя прошлое, словно вчера оно было. Обрадовался тогда царевичу слепой отец, говорил с ним по-татарски, и слезы текли у него по щекам, слезы были на глазах и у царевичей...

— Помнишь, Юрий,— снова обратился великий князь к брату,— как похож был тогда Касим на Юшку Драницу?..

Отворилась дверь, и вестник-татарин пал ниц перед государями, касаясь пола своим подбородком.

— Живите тьму лет, государь и государыня,— заговорил он довольно чисто по-русски.

— Встань,— молвил Иван Васильевич,— сказывай.

— Слушаю и повинуюсь,— проговорил вестник почтительно и, встав перед государем, продолжал:— Царевич Даниар, да будет к нему милостив аллах, повестует: «Целую руку твою, государь мой, да пошлет господь тобе многи лета. Сердце мое в тоске, и душа моя в печали — умер отец мой, царевич Касим, да возьмет его аллах многомилостивый в сады Джанят...[1]»

Иван Васильевич в горести закрыл лицо руками. Успокоившись, он набожно перекрестился.

— Хошь и татарин он был, а много добра христианам на Руси содеял,— сказал он с волнением и, снова крестясь, добавил:— Помилуй его, господи, прости его заблуждения...

Повернувшись лицом к вестнику, государь сказал:

---

[1] В райские сады.

— Повестуй царевичу: «Скорблю яз о верном друге моем Касиме. Тобя ж, Даниар, жалую вотчиной Касима, служи нам честно, как отец твой...»

Недели через две после смерти Касима-царевича прибыли и от князя Семена Романовича Стародубского первые гонцы. Воевода Стародубский доводил до государя, что рать его в самое крещение пришла в землю черемисскую и много зла учинила земле той: множество людей убили, а иных в плен увели. Много сожгли сел и деревень, скот весь забрали, коней и всякую животину. Что же взять не могли, на мясо перерезали. Так и с имуществом поступали: что могли — брали, остальное жгли...

— Испустошили так,— закончили вестники,— всю землю черемисскую, до Казани не дойдя токмо на един день пути...

Пришли вести и от Мурома и от Новгорода-Нижнего, что русские воины и вольные дружины, идя вдоль Волги, повоевали по обе стороны реки все земли казанские.

Рад был этим вестям великий князь и сказал дьяку своему Курицыну:

— Бить татар надо и зорить еще боле, не давать им отдыху, дабы не могли оправиться. Юрий Василич о сем сам знает и меры принимает. Ты ж, Федор Василич, со всеми удельными сносись: пусть народ подымают на вольные дружины, где сопредельны с Казанью-то. Зорят пусть, что могут, и жгут, а купцов казанских грабят и бьют на всех путях...

Иван Васильевич ходил по покою своему крупным шагом, как обычно, когда волновался.

— «Казан»,— продолжал он,— по-ихнему «котел» значит. Пусть кипит весь, а казанцы в нем варятся. Мы же, пока кипенье сие бурлит, новую рать посильней против них соберем. Яз сам в сей рати великой с полками поеду...

— А нужно ль тобе, государь, самому идти?— возразил дьяк Курицын.— Сам ты верно говоришь, что государю подобает более государствовать, а не на коне скакать. Видеть все с высоты своей и токмо повелевать боярами, воеводами и дьяками, что надобно им творить...

— Верно, Федор Василич,— усмехаясь, перебил его государь,— но бывает, что надобно и самому государю лик свой пред воями показать. В некоторых случаях и ратное дело в государствование входит, а пошто — сам, чай, разумеешь...

Иван Васильевич опять молча стал ходить вдоль покоя своего и, вдруг обернувшись к дьяку, заговорил оживленно:

— Землю всю русскую против Казани поднять надобно! Сирот и черных людей поднять наиглавно... Токмо бы еще

Новгород Великий сломить да Ганзу[1] немецкую и князя тверского к рукам прибрать, а там и Большую Орду скинем...

Иван Васильевич подошел к окну и стал глядеть на ясное зимнее небо сквозь верхние незамерзшие листочки слюды.

Вспомнился Ивану покойный митрополит Иона, заветы его о Москве — Третьем Риме, и брови его резко сдвинулись, образовав глубокую складку на лбу.

— Будет Русь вольной державой!— громко и твердо произнес он.

— Аминь!— воскликнул Курицын.— Истинно так...

Наступило молчание.

— Государь, ходят по Москве слухи промеж наших гостей, а особливо средь иноземных,— заговорил Курицын и вдруг смолк в нерешительности.

— Какие слухи?— спросил государь, не оборачиваясь.— Коль начал, доканчивай...

— Бают фрязины, которые с Рымом сносятся, будто папа и кардиналы невесту тобе ищут...

— Пошто ж у их такая гребта о сем?— насмешливо спросил Иван Васильевич.

— Неведомо. Токмо мыслю яз, не зря сие деют, прибытка собе ищут. В Польше и Литве о сем тоже слух есть...

Государь, вспомнив свою нежную, ласковую Дарьюшку, весело улыбнулся и шутливо молвил:

— Пусть их ищут, а нам спешить некуда. Наследник у нас есть, растет, а даст бог, и вырастет! Нам же ныне первей всего надобно Казань смирить. Буду с Юрьем новый поход готовить, а ты, Федор Василич, с господы новгородской глаз не спущай. Яз те в помочь отмолю у старой государыни дьяка Бородатого...

Той же зимой Иван Васильевич, за три недели до великого заговения, пошел ко Владимиру, взяв с собой братьев, князя Юрия и князя Бориса, сына своего Ванюшеньку, десятилетнего княжича, да еще взял князя верейского, Василия Михайловича, и придворных их со всеми людьми. На Москве же великий князь оставил вместо себя двух других братьев своих — Андрея большого и Андрея меньшого...

Время было уже к концу зимы, февраля третьего, когда сироты летнюю сбрую чинить начинают и для езды и для пахоты, когда и дни уж заметно прибавляются да как будто и теплей становится.

Вчера вот валил густо снег, сырой и липкий, а сегодня ясно, безоблачно, но сосны и ели все стоят еще под белыми лохма-

---

[1] *Ганза* — торговый и политический союз северонемецких городов (XIV—XVII вв.).

тыми шапками. В полдень шапки эти, где солнце грело сильнее, съехали уж набекрень, а местами просто попадали вниз, засыпав кусты подлеска возле опушки дороги. Порой среди лесной тишины раздается резкий треск, и вдруг огромная ветвь хрупкой сосны, ломаясь под тяжестью снега, шумя хвоей и глухо ударяясь, падает в сугроб.

Снова все затихает в вековом бору, и слышится только где-то далеко раскатистое сорочье стрекотанье. Теплой влагой тянет уже в воздухе, но все же поляны лесные да просеки, как зимой, белы от сугробов снега, и кажется, они никогда не растают, да и дороги совсем еще крепкие...

Иван Васильевич едет позади своего полка верхом, задумчивый и молчаливый. Дорога эта знакома ему с детства и с тех пор запомнилась крепко. Рядом с ним молодцевато рысит на добром татарском бегуне Ванюшенька. Иван Васильевич весело поглядывает на возбужденного, сияющего от радости сына и невольно вспоминает, как восемнадцать лет тому назад, таким же вот мальцом, ехал он тут сам в первый поход, но не с отцом своим, а только со старым Илейкой да с грозным воеводой князем Стригой-Оболенским. Понятно ему, что на душе у Ванюшеньки светло и радостно, но отцовское довольство его меркнет, когда в памяти встают безлюдные деревни и села, мерещится, будто вчера только тянулись здесь убогие обозы бегущих сирот...

— Впервой таким вот, как Ванюшенька, шел яз по сим местам против казанских татар,— с горечью говорил он брату Юрию,— а казанцы-то и ныне все еще горе и страх творят христианству.

— Недолго ждать, Иване,— бодро воскликнул Юрий,— ежели все сбудется по твоему замыслу, то вборзе разорим сие проклятое гнездо!

— Ежели до Ахмата поспеем,— проговорил Иван Васильевич,— ежели токмо поспеем...

— Упредим и Ахмата и Казимира!— уверенно воскликнул князь Юрий.

Государь усмехнулся.

— Дай бог, Юрьюшка, дай бог,— сказал он и, обратясь к сыну, спросил ласково:— Видишь ли, Ванюшенька, вот там, над самым лесом, кресты? То уж храмы божьи видать во Владимире...

Во Владимире остановился государь в старинных великокняжих хоромах вместе с братьями и со всем двором своим. Тут же была и ставка воеводы, а посему во всех сенцах княжих хором, в подклетях и даже во дворе — день и ночь толчея и суета несусветная от ратных людей. Среди толчеи этой ходят наряды княжой стражи и то и дело мелькают гонцы и вестники из разных

мест. Град Владимир назначен по повелению великого князя главным сборным местом для всех московских и удельных войск. Военный совет непрерывно заседает в передней государя во главе с князем Юрием Васильевичем.

Ванюшенька, по желанию отца, бывает на военных советах, но теряется во многолюдстве и робко держится все время вблизи отца. Иван Васильевич недоволен его поведением.

— Сын-то не в отца,— услышал он случайно чьи-то слова, и с тех пор горечь вошла в его сердце.

Он как-то хочет помочь сыну, поучить, но ратные дела увлекают мысли его в другую сторону. Часто забывает он совсем о Ванюшеньке, а тот скучает о Москве и бабке Марье Ярославне, к которой больше привязан, чем к отцу; в ратных же делах и беседах бояр и воевод ничего он не разумеет...

К концу первой недели великого поста, когда было большое совещание у государя, прибыли из Москвы гонцы от Андрея большого с вестью, что на самое заговенье приехал на Москву к великому князю посол от короля Казимира — Якуб-писарь[1].

— «Зачем ты ему, государь, нужен,— заканчивалась грамота князя Андрея,— нам не сказывает, в тайне держит. А где ты, мы ему тоже не сказываем, а Яков-то пытает, где ты и как к тобе ехать. Отпиши нам, как с послом нам быть...»

Иван Васильевич заволновался и повелел призвать дьяка Василия Беду, который вместе со двором государя во Владимир поехал.

— Слушайте, бояре и воеводы,— сказал Иван Васильевич,— видать, мне не избыть встречи с послом. Да надобно нам скрыть от литовцев и ляхов ратные наши сборы на Казань. Посему оставлю тут князя Юрия, а сам поеду в Переяславль Залесский...

В это время вошел дьяк Василий Беда и, поклонившись государю, поспешно достал бумагу и чернильницу.

— Пиши,— молвил государь и, помолчав, продолжал:— «Любезные братья! Посла того Якова вдали от всех дел наших держите, а пуще от рати казанской. Сказывайте ему, князь-де великий во граде Переяславле Залесском с сыном своим отдыхает от дел своих. Узнав же о прибытии посла от круля, государь допустит его пред очи свои во граде Переяславльском. Пусть дьяк Федор Курицын провожает его ко мне с почетом, но под крепкой стражей. Утре сам еду в Переяславль».

Когда дьяк Беда кончил писать, Иван Васильевич подписал грамоту и обратился ко всем:

---

[1] В Польше *писарь* в средние века — придворное должностное лицо, а также секретарь посольства. В данном случае Якуб Андреевич Ивашенцев — известный политический деятель Польши.

— Видать, пронюхали ляхи про наши рати казанские. Шлет круль соглядатая. Зная о сем, будьте на страже, ибо могут и тут лазутчики быть разные: и казанские, и ордынские, и новгородские, сиречь ляшские слуги...

Иван Васильевич поклонился всем и добавил:

— Князя Юрья Василича оставлю тут собя вместо, а вборзе, кончив все дела с послом Казимировым, сам сюды ворочусь...

Показались Ивану Васильевичу в Переяславле Залесском хоромы великокняжеские малыми и тесными, а сад совсем бедным: торчали только из-под снега кусты малины да смородины, вдоль заборов по-прежнему буйно росла рябина и стала еще выше и гуще. Когда же вышел он с Ванюшенькой из сада на черный двор и увидел там ощетинившиеся над снегом кусты бурьяна, сердце его сжалось от приятной грусти.

— Здесь же вот, Ванюшенька,— молвил он сыну,— снегирей, щеглов было видимо-невидимо. Мы с Данилой Костянтинычем тогда совсем еще мальцами были и много же тут ловили птиц и сетями и петлями...

Иван Васильевич задумался, весь уйдя в прошлое и не слушая, что говорит ему Ванюшенька. Он вздрогнул от неожиданности, когда быстро подошел к нему дьяк Курицын и радостно воскликнул:

— Будь здрав, государь, на многие лета! Сейчас привез яз посла королевского и к воеводе в хоромы его на постой поставил.

— Будь здрав и ты, Федор Василич,— приветливо молвил великий князь,— яз тут уж третий день жду.

— Прости, государь,— с живостью заговорил дьяк,— не спешил яз, мысля лучше поздней приехать, чем ране тобя...

— Добре, добре. Право ты мыслишь,— сказал Иван Васильевич,— а пошто Яков-то к нам присунулся?

— Вьюном, госуд.рь, он вьется, круг дела ходит, а про дело не говорит.

— А почетно примали его в Москве-то?

— Чего боле. Будто наиверного друга своего...

Курицын тихо, из уважения к государю, рассмеялся и добавил:

— Вызнать, мыслю, хочет что-либо для круля...

Иван Васильевич ходил взад и вперед по протоптанной в снегу дорожке и спокойно беседовал: ни души не было на черном дворе.

— Не без того,— проговорил он с усмешкой,— а нам главное — отослать его борзо ко крулю назад, дабы о рати нашей и о полках много не вызнал. Да спешить надобно к войску.

— Когда ж, государь, ему предстать пред тобой повелишь?

— Утре, пред обедом. Яз его иа обед оставлю. После того иа постой отвезешь к воеводе...— Иваи Васильевич рассмеялся.— Так угостить иадобио медами крепкими да водками, дабы одии-то он домой иикак ие дошел. На другой же день, перед завтраком, иа прощанье ко мие приведешь, и в тот же деиь отъехать ему, а проводи его до рубежей иаших. Разумеет ои по-русски? Умеи ли?

— Хитер и умеи, видать, и по-латыиьски разумеет добре. Разумеет и по-русски, токмо таит сие. Ласков вельми...

— Так и мы с иим будем,— смеясь, продолжал Иваи Васильевич,— токмо до рубежей самых крепко доржи его за стражей, дабы ии от него, ни к иему лазутчикам ходу ие было. А теперь иди, ие оставляй его одного да вели обед нарядить иа утре, как иа сей случай подобает. Яз же еще тут по снежку поброжу с сыиочком...

Великий киязь Иван Васильевич, окруженный немиогими боярами, воеводами и дьяками двора своего, прииял посольство короля Казимира с Якубом-писарем во главе.

Якуб был впервые иа Руси, где все ие так, как в Польше, ио очеиь во миогом схоже с Литвой. Это особеиио бросилось ему в глаза за время пребывания в Москве.

— Теперь мие ясио!— еще дорогой в Переяславль говорил ои своему духовнику, отцу Витольду.— Ясио, почему Литва тянет к Москве: Similis simili gaudet[1]. Все же за поездку я миогое узиал, хотя москали хитры и скрытны.

— Experientia est optima rerum magistra[2],— вздохиув, подтвердил ксендз Витольд.— Так еще говорили древиие римляие.

Якуб самодовольио покрутил длииные седеющие усы и добавил:

— Найдется у меия кое-что к докладу его величеству...

И теперь вот, представ пред великим князем московским со всей свитой и духовииком, ои силился разгадать молодого государя. Его поразили огромиый рост и могучее сложеиие Ивана Васильевича, его длиниая курчавая борода, а главиое — глаза. Встретившись раза два со взором государя, он сразу перестал изучать и иаблюдать, а только старался скрыть свои мысли и чувства от проиизывающего взгляда этих страииых и страшиых глаз...

Ивану Васильевичу, в свою очередь, показался посол Казимира иеобычайиым по обличью, поведению и по одежде своей. На

[1] Подобный радуется подобному (свой своему рад) *(лат.)*.
[2] Опыт — лучший учитель *(лат.)*.

Якубе был легкий польский кафтан с оторочкой из собольего меха, без воротника и пуговиц, лишь с застежкой у горла из самоцветных камней. Сняв бархатную шапку с собольей опушкой и с пышным белым пером, он низко поклонился великому князю.

Посол, уже немолодой, был сановит и учтив. Все его повадки отличались большей ловкостью в сравнении с повадками татарских и русских послов, а его нарядная, но простая одежда была красивее, чем у немецких купцов.

Подойдя ближе к государю, Якуб еще раз поклонился, встав на одно колено. За ним также преклонилась и вся свита его, кроме ксендза. Затем, легко поднявшись, посол вручил письмо от короля Казимира, писанное по-латыни. Приветствие же от короля и от себя сказал он по-польски.

Когда весь порядок взаимных приветствий закончился, Иван Васильевич милостиво спросил Якуба:

— Поздорову ли доехал?

Получив почтительный ответ с благодарностями и добрыми пожеланиями в переводе дьяка Курицына, великий князь приказал прочесть письмо короля.

Курицын, отметив, что письмо писано без умаления княжого достоинства, перевел следующее:

— «Пишем мы, Казимир, король Польский и великий князь Литовский, Вашей светлости, Великому князю Володимерьскому и Московскому и иных земель, приятельски и ласково. Посылаем до твоей светлости посла нашего Якова-писаря, слугу своего верного, с нашими речами. Что будет от нас сказывати, твоя светлость ему пусть верит, ибо речи сии суть наши...»

Далее следовали подпись, титулы короля и государственная печать. Иван Васильевич помолчал некоторое время и, обратясь к послу, молвил:

— Ну, сказывай речи государя своего.

Якуб-писарь стал на одно колено, а великий князь поднялся со своего места.

— Его величество,— переводил слова Якуба дьяк Курицын,— узнав недавно о кончине твоей благоверной супруги, великой княгини Марии Борисовны, огорчен зело и шлет тобе свое соболезнование и молит господа о царствии ей небесном...

Иван Васильевич омрачился при воспоминании о княгине своей и тихим голосом ответствовал:

— Скажи, Федор Василич, что яз благодарю короля и брата моего за сие внимание к моей горести. Дай бог ему боле счастия в делах семейных, нежели мне, грешному.

Иван Васильевич поклонился и сел, а посол встал с колен, но,

видимо, желал еще что-то сказать. Государь заметил это и, кивнув дьяку Курицыну, молвил:

— Пусть говорит.

Посол заволновался и начал нерешительно:

— Сказав все,— переводил опять дьяк,— что надобно эксоффицио, по должности своей яз прошу разрешить сказать мне нечто моту проприо, своей охотой...

— Пусть говорит,— молвил Иван Васильевич и насторожился.

Великий князь понял, что вся суть дела именно в том, о чем хочет посол сказать «своей охотой»...

Якуб воодушевился и много говорил о падении Царьграда, о захвате турками гроба господня в Иерусалиме, о Третьем Риме и о будущем величии Москвы в деле защиты христианской веры от басурман.

Слушая это, Иван Васильевич усмехнулся и вспомнил о тайном союзе Казимира с ханом Ахматом против Москвы.

Воодушевляясь своим красноречием, пан посол заговорил горячо о его святейшестве папе Павле[1], при дворе которого живет молодая деспина, дочь деспота морейского[2] Фомы Палеолога, родного брата императора Константина...[3]

Иван Васильевич значительно переглянулся с дьяком Курицыным.

— Деспина красива,— продолжал переводить дьяк речи Якуба-писаря,— правда, она дебела немного, но на Руси любят полных женщин. Умна она зело. Его святейшество папа римский, как о сем известно вашему архиепископу в Кракове, хочет ее выдать замуж, ибо девица давно уже в поре...

— Мы чтим святого отца и молитвенника за всех нас, грешных,— прервал посла Иван Васильевич,— да ниспошлет господь успех его деяниям, ежели такая гребта у него о сей девице есть. Мы же, пан посол, покончив дела наши, лучше за столом побаим о всяких вестях и баснях. Прошу тя нашего хлеба-соли откушать.

Иван Васильевич встал и направился к своему месту за главным столом в красном углу передней, где было собрано к обеду и блестело все серебром и золотом чарок, кубков, солониц, перечниц и горчичниц. Около мисок лежали серебряные ложки, а кругом скамей стояли в нарядных кафтанах дворские слуги великого князя.

Якуб-писарь, оправившись от мгновенного смущения и поняв,

---

[1] *Павел* — Павел II, папа с 1464 по 1471 год.

[2] *Морея* — полуостров на юге Греции; *деспот* — властнтель, неограннченный самодержец.

[3] *Константин* — Константнн XI, последний византийский нмператор.

что его выступление «своей охотой» успеха не имеет, ловко поклонившись, пошел к княжому столу вместе с ксендзом и русским толмачом, на сей случай к нему приставленным. Свиту его рассадил за другими столами дьяк Курицын, сообразно достоинству каждого из них.

Было уж в полпира, и пьяно все кругом становилось, много уж было съедено разных кушаний и более того выпито водок, вин и медов всяких, когда подали послу серебряный вызолоченный кубок с дорогим фряжским вином.

— Государь тобя жалует,— быстро сказал ему толмач по-польски,— встань, пей за его здравие.

Якуб тотчас же вскочил на ноги, хотя был уже пьян. Взяв кубок, он с глубоким поклоном поблагодарил государя за честь и, пожелав ему здравствовать многие лета, выпил все за единый дух. Потом, держа еще пред собой кубок, весело подмигнул и добавил:

— Гаудэамус игитур, ювенэс дум сумус!

Все поляки из его свиты почтительно заулыбались, не позволяя себе смеяться в присутствии сурового государя. Но Иван Васильевич сам с улыбкой спросил у Курицына:

— Что он сказал таково складно?

— Стих по-латыни,— ответил дьяк,— из школьной песни, сие значит: «Будем мы веселиться, пока еще юны!»

Государю понравилась эта шутка и веселость уже немолодого посла. Смеясь, он молвил:

— Жалую тя сим кубком!

Достаточно уж подвыпивший посол забыл о своем непонимании русского языка и, не дожидаясь перевода, воскликнул, прижав кубок к сердцу:

— Бардзо дзенькую и падам до ног светлейшего государя!

Поцеловав кубок, он поставил его на стол возле своего прибора.

Великий князь переглянулся с Курицыным, усмехнувшись одними глазами.

Снова все зашумело кругом разговорами, звоном чарок и достаканов. Иван Васильевич знаком подозвал к себе Курицына и сказал вполголоса:

— Утре наряди все, как тобе сказывал, к отъезду посла. Приведи его до завтраку проститься и отъезжай с богом. Да гляди, а зачем, сам ведаешь. Яз пойду на малое время отдохнуть к собе, а ты еще пои их да слушай, что бают...

Встав из-за стола, улыбнулся он и шепнул дьяку:

— А папа-то рукой Казимира нас щупает...

Из Переяславля Залесского выехал Якуб-писарь в возке, в котором были с ним только духовник его да двое слуг. Курицын ехал отдельно, следом за посольским возком. Дальше тянулся поезд свиты посольской, окруженный русской стражей.

Посол Якуб и ксендз Витольд долгое время ехали молча. Якуб был совсем трезв и мрачен и от времени до времени посасывал из походной фляги дорогое заморское вино — подарок московского князя на дорогу. Он вспоминал все, что было, что слышал от других, что знал и видел сам, и, медленно обдумывая, подводил итоги своего посольства.

— Умен князь московский,— заговорил он, наконец, со своим духовником,— и силен духом. Многих знал я государей и послов, вертел ими, как мне надо было. А этот зараз непонятным образом меня самого в руки взял, словно на коня узду надел. Н-да!

Якуб досадливо крякнул и, потянув из фляги, добавил:

— Oleum et operam perdidi[1]. Впрочем, одно узнал: князь жениться на деспине не хочет, а сие значит, что папа не будет навязывать нам дружбу с Москвой...

— Обращая мысли свои к богу, могу на сие сказать только словами молитвы господней: Fiat voluntas tua[2],— проговорил ксендз и набожно перекрестился.

Наступило долгое молчание, и, только закусив дорожными снедями, снова заговорил ксендз Витольд.

— Опасаюсь лишь я,— начал он,— бородатого кардинала, грека Виссариона, и упрямства папы насчет крестового похода против турок. Виссарион же, служа папе и радея об освобождении родной земли, сможет уговорить князя Ивана на брак...

Якуб вдруг весело засмеялся:

— Ты, отец, мыслишь, что и тут «си́милис си́мили га́удэт» — и борода бороду убедит!..

Ксендз слегка обиделся и сказал сухо:

— Пан забыл, что обе сии бороды у таких умных голов, каких и среди безбородых очень мало...

В тот же день после обеда выехал Иван Васильевич с сыном во Владимир. На этот раз ехал он в теплом возке вместе с Ванюшей, но сына будто не видел и отвечал ему только на его вопросы, а всю дорогу молчал и много думал о нежданном посольстве короля Казимира. Казалось ему посольство это двойным: папа римский, может быть, хотел узнать через Польшу

---

[1] Потерял масло и труд (не достиг никакой цели) *(лат.)*.
[2] Да будет воля твоя *(лат.)*.

о возможности заключения брака его с цареградской царевной, а Казимир этим воспользовался. Он подослал соглядатая, дабы узнать, как с турками дела у Москвы, а значит, и с крымским ханом Менглы-Гиреем, которого турки хотят в ханы поставить.

«У папы корысть в том,— думал он,— дабы, приманив родством с царями грецкими, ополчить нас на турок. Желая сего, он Польшу и Литву в мире с нами держать будет...»

Иван Васильевич усмехнулся и продолжал свои мысли: «Сих-то, может, он и удоржит, а кто Ахмата удоржит? Боле того, раз война за веру пойдет, тем самым всех татар папа супротив Руси подымет. Поляки же токмо с виду покорятся папе и будут с нами в мире, а тайно не престанут смуту сеять в Новомгороде Великом против нас и с Ганзой будут в союзе...»

— Тату,— перебил его мысли Ванюшенька,— мы в Москву с тобой едем?

— Нет, сынок, во Владимир,— ответил он с легкой досадой.

— Лучше в Москву поедем...

Иван Васильевич больше не слушал, но напоминание о Москве изменило ход его размышлений.

«Может, папа-то,— неожиданно мелькнуло в его мыслях,— ничего и не наказывал Казимиру насчет сватовства? Может, он сам послов в Москву пришлет? Турки же не сей день, то завтра Крым захватят. В Москву мне спешить надобно, опору крепить против Ахмата, а все сии дела заморские — пока только журавли в небе. С Казанью же брат мой Юрьюшка милый и без меня управится...»

На другой день по прибытии во Владимир приказал великий князь собраться всем князьям своим, боярам и воеводам у себя в передней, чтобы думу думать о всех делах ратных и государственных. Но, прежде чем пойти на думу, задержался Иван Васильевич у себя в покое с братом Юрием один на один.

Одевали его тут и Ванюшеньку в шубы дорожные стремянный его Саввушка да престарелый Илейка, который при княжиче дядькой был, пока еще сил хватало.

— Трудные времена, Юрьюшка,— молвил государь брату.— Посольство Казимирово на многое мне глаза открыло. Кончать нам с Казанью скорей надобно, Польша хочет нас с Крымом и с турками поссорить, а тут еще Новгород Великий мутит и с Ганзой заодно. Ахмат же нож на нас непрестанно точит, а удельные не разумеют дел моих, токмо об уделах своих пекутся, о государстве же и не мыслят. Бают еще у нас фрязины, и посол о сем баил, будто папа рымский царевну цареградскую за меня сватать хочет. О сем ты молчи, тобе токмо пока сказываю. Посольство может в Москву быть...

— Какая царевна цареградская? — спросил с удивлением Юрий Васильевич.

— Родная племянница последнего царя грецкого.

— Важно сие,— сказал Юрий,— тетка наша царицей грецкой была, а ежели и ты женишься на царевне грецкой, то сие вельми на пользу роду нашему.

— Верно,— проговорил медленно Иван Васильевич и задумался, но потом, прервав свои мысли, сказал брату: — О сем после. Так вот, разумеешь ты ныне, пошто в Москву мне надобно. Ты тут останешься. Ну, идем к боярам. Им сие все по-иному баить буду. Умолчу, о чем им знать не надобно, а после — прямо в сани...

Братья замолчали и быстро пошли к передней великого князя.

Иван Васильевич задумчиво шел по длинным сенцам, чувствуя, как сердце его почему-то усиленно бьется, а потом вдруг Москва вспомнилась и все, что в Москве есть...

— Дарьюшка,— беззвучно прошептал он.

Дрогнул весь — испугался, что слова его Юрий услышал. Тайну сию крепко берег Иван Васильевич, но как только понял он чувства свои, словно плотина в груди его прорвалась, и заторопился он, заметался душой.

— Да, в Москву, непременно сей же день ехать надобно,— сказал он вслух.

— Спеши, Иванушка, спеши,— молвил Юрий Васильевич,— без тобя там никто ничего не сделает. А яз тут смирю Ибрагима, верь мне, Иванушка. Яз уже о воде некое вызнал и придумал, как ее у града отнять. О сем никто из воевод не ведает. Токмо бы нам Казань осадой обложить...

Когда великий князь с братом вошел в переднюю, смолк сразу шум разговоров, и все встали, приветствуя государя.

— Князья, бояре, воеводы,— отдав поклон, заговорил Иван Васильевич,— принимая посла Казимирова, вызнал яз, что король хочет вражду посеять у нас с турками и крымцами. Ради освобождения Царьграда на войну подымает нас против султана. Сам же, как мне ведомо, заодно с Ахматом поход на нас готовит. Турок тоже мутит. Стравить хочет нас с султаном, а сам потом с запада, а Орда с востока на нас ударят. Хитры вельми, а и мы на Москве не лыком шиты. Повисла вот токмо у нас на кафтане казанская собака — первей отогнать ее надобно да прибить так, чтобы не смела потом в пятки нас укусить сзади...

Помните токмо, как ни мала Казань пред Большой Ордой и Польшей, но руки и ноги нам связывает. На сей день потому наиглавно Казань так смирить, дабы пикнуть не смела, когда другие ворогн на нас пойдут. Сие князь Юрий Василич сумеет

учинить. Мне ж надобно на Москве быть, с Менглы-Гиреем и султаном турецким немедля сноситься, дабы козни Казимировы пресечь. Собя вместо брата моего Юрья вам оставляю. Приказываю слушать его в ратных делах, как меня. Еду яз сей часец, и кони ждут меня у крыльца.

На миг оборвалась речь государя: увидев среди бояр воевод Ивана Горбатова и Григория Перхушкова, вспомнил он об измене их. Брови великого князя сурово сдвинулись. Глаза его остановились на воеводах, и все, следя за взглядом государя, стали смотреть на Горбатова и Перхушкова, помертвевших от страха.

— Слушать князь Юрья Васильевича,— четко повторил государь,— как меня! За ослушание же, а пуще того, ежели кто, как при отце моем бывало...

Великий князь опять смолк на один миг, гневно поглядев на тех же воевод.

— Ежели кто,— продолжал он медленно, особым своим хриплым голосом, не менее страшным, чем глаза его,— ежели кто норовить ворогам за посулы будет, всем тем едина казнь — головы сымать с плеч велю без милости!..

Последние слова государь сказал громко, почти выкрикнул, и смолк сразу, как отрубил.

Тишина мертвая стала в передней, будто окаменели все от ужаса. Слышно даже, как дышат кругом громко от страха и волнения.

Иван Васильевич обвел всех грозным взглядом и, не сказав ни слова, вышел из передней.

Опамятовавшись от страха, князья и бояре засуетились вдруг и робкой толпой двинулись к красному крыльцу провожать государя.

Глава 13

РАТЬ КАЗАНСКАЯ

Приехал Иван Васильевич в Москву на страстной неделе, апреля пятнадцатого, в самую великую пятницу вечером, и поспел в Архангельский собор к торжественному выносу плащаницы из алтаря на середину храма.

Стоя вблизи плащаницы вместе с Ванюшенькой, Иван Васильевич увидел нечаянно с правой стороны среди молящихся женщин Дарьюшку. Он угадал ее сразу по стану и движениям. Сердце его забилось толчками, а встретившись с ней взглядом, когда она украдкой покосилась на него, загорелся пьянящей радостью, но тотчас же сдержал себя. Помнил он, что в пятницу и

субботу нельзя думать ни о любе, ни о жене своей, особенно же в страстную неделю.

Через силу стал слушать он чтение «царских часов», читать которые положено в этот день. Если же терял смысл молитв, то старался думать о делах казанских. Все это отвлекало его, и забыл он как будто о Дарьюшке. Выходя же с матерью из собора, он совсем смирил в себе греховные волнения и мысли.

За ужином в трапезной у матери он был кроток и ласков, исполненный особого семейно-радостного чувства, которое с детства испытывал в дни великого праздника. Жаль ему было только, что нет с ним брата Юрия, друга детских дней. Вспоминались и отец и Марьюшка, и от всего этого становилось на душе непонятным образом и печальней и чище.

Встретившись глазами с матерью, он понял по взгляду ее и улыбке, что и она чувствует то же, и сам улыбнулся в ответ ей печально и ласково.

Марья Ярославна вздохнула и тихо проговорила:

— А тут без тобя, сыночек, опять Москве горюшко было великое. Половина посада, почитай, выгорела да товару разного много. Две церкви сгорели. Видал, чай, когда подъезжал-то? Теперь строить надоть.

— Видал,— мрачно ответил Иван Васильевич и досадливо добавил:— Деревянное-то сколь ни строй, красный петух все склюет! Вот, матунька, бог даст, Казань да Новгород одолеем да Орду согоним, из камня на Москве все строить будем...

— Дорого станет, чай, каменное-то?

— Дешевле, матунька, будет один-то раз каменное построить,— резко заметил Иван Васильевич.— Ведь деревянное-то чуть не кажный год заново строим. А что строим? Костры токмо!

— А не зябко в покоях-то каменных?— уж не совсем уверенно спросила сына Марья Ярославна.

— Живут люди,— ласково усмехнулся тот,— бают, тепло, а топят не боле, чем в рубленых. У митрополита вот в каменных хоромах жарче мыльни бывает. Париться можно. Любит старик тепло...

— Яз и сама люблю. Пар костей не ломит. А скажи, сыночек, с Казанью-то как?

— За казанские дела яз покоен: Юрий там. Яз велел ему послать токмо малую дружину на Кичменгу. Казанцы там села грабят и жгут. Хватит и сего, дабы отогнать поганых. Татарове, матушка, токмо в чужие земли впадать привычны, своей же земли боронить не горазды.

— А дале-то как будет?— спросила старая государыня.

— Не ведаю еще, матушка,— вставая из-за трапезы и крес-

тясь, тихо молвил Иван Васильевич.— После вот пасхи помыслю о сем и с воеводами подумаю.

На третий день пасхи, апреля двадцатого, государь созвал думу в своих покоях. Он в этот день особенно хорошо себя чувствовал. Вешнее веселое солнышко и скорое свидание с Дарьюшкой после долгой, казалось ему, разлуки радовали душу его.

Чуял он в себе силу и здоровье, а мысли у него стали вдруг острые и так ясны, что все сразу понимал, о чем бы ни подумал...

Когда собрались все нужные Ивану Васильевичу бояре и воеводы, он заговорил легко и просто, словно читал по карте и видел будто даже очертания на ней земель русских и татарских.

Выслушав потом указания, мнения и вопросы воевод, он безо всякого труда тут же нашел решения всех ратных дел и нарядил, кому из воевод откуда и куда идти с полками.

— Надобно нам,— сказал он,— первей всего непрестанно татар со всех сторон пугать и мутить, изгоном в разных местах нападать, дабы неверные не ведали, куды им метнуться, где наиглавный урон собе ждать! Везде охочих людей подымать, чтобы от них полкам нашим подмога была, а татарским — страх! Князь-то Юрий Василич с войском своим против Казани в лоб идет, а вам, опричь того, Казань со всех сторон теребить надобно: грады и села жечь и зорить во всех местах. Купцов же казанских бейте, суда их на Волге и Каме полоните и в Москву с товарами шлите.

Государь помолчал, как всегда это делал, и через малое время строго приказал:

— Воеводе Руно утре же идти к Галичу с детьми боярскими и казаками. Из Галича же взять с собой Семеновых детей: Филимонова Глеба, Ивана Шуста и Василия Губу, с воями их. Затем к вологжанам идти, а от Вологды с ними к Устюгу с приказом моим, дабы князь устюжский Иван Звенец шел со своими устюжанами. Ивану же Игнатичу Глухому от городка Кичменги идти с кичменжанами, как и всем, на Вятку-реку, и там, соединясь, почните все вместе пустошить грады, деревни и села по всей казанской земле...

Закончив речь свою, великий князь пригласил всех к обеденной трапезе за праздничный стол.

Ужинал этот вечер великий князь у матери своей, государыни Марьи Ярославны. Плохо слушал он всех, молчал больше, а сердце трепетало и сладко и тревожно и вдруг сжималось от боли, когда вспоминал он о слухах из Рима.

— Дарьюшка моя,— беззвучно шевелились его губы,— Дарьюшка...

Чуял он, что опять переломится жизнь его, и пил больше крепкого меда стоялого и заморских вин, а в мыслях само собой слагалось: «Перехожу яз за новую межу. Оставлю, пожалуй, за межой сей все радости жизни. Пришли последние деньки моего счастья...»

Казалось ему, что трапеза тянется бесконечно долго, и не хватало уж у него терпения. Наконец все вставать из-за стола начали и креститься, и государь, простившись с матерью и Ванюшенькой, с трудом сдерживая быстроту шагов своих, вышел в сенцы, и дыханье у него захватило и от тоски и от радости.

Видит он Данилушку, который ждет его, а слова вымолвить не может, и руки у него дрожат...

Пошли они молча. Остановился на миг Иван Васильевич у покоев своих — ноги будто отнялись и отяжелели, но вдруг рванул дверь и вошел к себе. Данилушка торопливо подбежал к распахнутой настежь двери и плотно притворил ее.

Все сразу забыл Иван Васильевич, как увидел сияющие глаза Дарьюшки. Подбежал к ней и, подняв на руки, стал носить ее, как малое дитя, по покоям своим, целуя в уста и в глаза. А она молчала, но лицо ее все светилось как-то изнутри несказанным счастьем.

До рассвета не спали они среди ласк и объятий и почти не говорили, а называли только друг друга нежными именами...

В пятом часу чуть светать стало. И вдруг среди радостей всех тоска снова холодом охватила сердце Ивана Васильевича.

«Сказать ей аль нет?— мелькало в его мыслях.— А пошто радость ей отравлять, голубке моей? Да и будет ли так? Приедут ли послы-то? А ежели приедут?»

Иван Васильевич перестал думать,— он знал, что и он и все вокруг него решат против его счастья, в пользу Московского княжества. Замер в неподвижности и без мыслей и без чувств всяких смотрел на светлеющие от рассвета окна.

Дарьюшка сразу душой учуяла страшное и горькое сердцу своему. Глядя на Ивана, лежащего рядом с открытыми, будто ослепшими глазами, вдруг побелела лицом и сникла, как обмершая. Потом тихим, покорным голосом промолвила:

— Иване мой, ежели ты оставишь меня, и то не возропщу. Ведаю, не твоя будет в сем воля, Иване, а государева...

— Ничего не ведаю, Дарьюшка,— глухо ответил он и с болью добавил:— Может, минует меня горечь сия, а может, яз сам из собя сердце и душу выну, погашу свое солнце навеки.

Он обнял ее крепко, и замерли оба в тоске, как в предсмертный час.

Не прошло и недели после пожара московского, как сгорел посад возле Николо-Угрешского монастыря, что в пятнадцати

верстах от Москвы. Основан был монастырь этот знаменитым прадедом Ивана Васильевича — Димитрием Донским по возвращении с Куликовой битвы. Памятуя об этом, игумен монастыря просил помощи у великого князя, говоря в челобитной: «Горело круг самых стен монастырских, и огонь таково велик бысть, что вельми истомно было даже внутри двора монастырского. Много раз и соборный храм загорался, но божиим заступничеством обережен и токмо истлел в некоих местах. Будь милостив, государь, помоги обновити собор, прадедом твоим воздвигнутый...»

Далее говорилось в челобитной подробно о повреждениях храма и исчислялось все, что надобно для его обновления.

Иван Васильевич принимал монастырского вестника в трапезной своей за ранним завтраком. День стоит погожий и теплый, и от садов уж весенней свежей зеленью веет, в покое все окна отворены настежь. Взглянул великий князь на синее небо, по которому только два-три облака белоснежных тянется, и захотелось ему вдруг поскакать на коне под этим небом по зеленым лугам и полям, жаворонков звонких послушать...

— Скажи игумну,— обернулся он к молодому монаху, привезшему челобитную из монастыря,— сего же дня приеду к нему на обед. Поспеши посему обратно, дабы к моему приезду игумен-то все успел. Пусть соберет точно все исчисления по обновлению храма.

Иван Васильевич метнул взглядом на монаха и добавил:

— Есть среди братии строители, рубленики, каменщики и прочие?

— Есть, государь,— отдавая по-монастырски низкий поклон, живо ответил монах.

— Как приехал-то?

— Верхом, государь.

— Пусть игумен и строителей своих соберет. Погляжу на них да побаю и с ними.

Государь усмехнулся и молвил:

— Ну, с богом! Гони в монастырь, а яз к обеду буду...

Монах вышел, а великий князь, обратясь к Даниле Константиновичу, сказал весело:

— Хочу вешним духом подышать, да и самому у них увидать все. Вели-ка Саввушке снарядить коней да взять у Ефим Ефремыча стражи, сколь надобно...

У монастырских стен Ивана Васильевича встретили со звоном колокольным. В воротах ждали его, с игумном и архимандритом во главе, весь клир и вся братия монастырская с хоругвями, крестом и святой водой.

После краткой молитвы и пенья «Христос воскресе», как в пасхальные дни полагается, игумен предложил государю оказать честь разделить с ним монастырскую трапезу.

Иван Васильевич, поцеловав крест и приняв благословение, ответил:

— После сие, отче. Сей часец вот храм оглядим со строителями. Жди меня в покоях своих...

Великий князь быстро пошел к собору, окруженный монахами и спешившейся стражей. Храм был сильно поврежден: прогоревший купол его осел, оголившийся крест покривился и торчал на железном шесте, а у подножья его вздыбились покоробившиеся листы железа. Обгорела кое-где и крыша, особенно на южном приделе.

Строители монастырские оживленно говорили между собой, вперебой указывали государю разные повреждения от огня, и хотя все были в рясах, но теперь совсем не походили на монахов ни голосами, ни повадками.

— Нам, государь,— говорил один из монахов, крепкий мужик с седеющей бородой,— нам не только дерево и камень понадобятся. Нам гвоздей надобно, железа плющеного, рам свинцовых для окон и, ежели твоя милость будет, слюды светлой, большим листом...

— А коли и мелка будет и не очень светла,— словно испугавшись слишком большого запроса, прервал говорившего седобородый монах,— то нам и сие добро, хоша бы токмо храм-то малость посветлить...

— Еще, государь,— скромно обратился к великому князю молоденький монашек с умным, светлым лицом,— огнем-то роспись сожгло и дымом зачернило. Надоть нам краски купить, ништо же есть у нас красильного-то...

Иван Васильевич всех выслушал и осмотрел все. Заходил он и во храм: и внутри было много попорчено росписи от копоти и жара огненного.

— Краски-то, государь,— скромно, но настойчиво твердил юный монах,— вельми трудно купить. Их ведь из Кафы купцы привозят, а продают токмо за серебряные рубли...

В конце трапезы у игумна подали сладкого грецкого вина в серебряной сулее. Из этой же сулеи, наполнив ранее золотую чарку государя, налили себе и святые отцы — игумен и архимандрит. Выпили за здравие Ивана Васильевича, продолжая потом беседу насчет обновления храма и денежных средств монастыря. Игумен пригласил для этой беседы и келаря и казначея.

— Пошто,— шутливо спросил великий князь,— милости моей

просите? Мало ли у вас угодий монастырских, да и серебреца, поди, достаточно?..

Игумен покачал головой и молвил:

— И... и, государь, кто теперича не вступается в наши волости и селы монастырские! Нам ныне же много землицы надобно, дабы больше холопов на пашню сажать; дабы они как сироты были, дабы из них поболе стало в селах полных людей, сиречь страдников[1]. Сии хлеб нам дают не токмо для прокорма, а и на продажу ради денег серебряных...

Иван Васильевич усмехнулся и молвил:

— Вот, отче, из сих денег и возьмите на обновленье-то. Тут вот, у собора, инок один все на краски молил...

— Иде же деньги у нас, государь,— воскликнул отец казначей,— иде же деньги? Нет, почитай, у нас серебряников[2]. Сребро мы добрым людям ссужаем, а сребром-то и они не все рост платят!..

— Норовят они серебрецо-то боле у собя доржать,— вмешался отец келарь,— нам же норовят токмо церкви наряжати, монастырь и двор тыном обносить, хоромы ставить, пахать, сады оплетать плетнем, на невод ходити, пруды прудити, на бобры в осеннее время идти да бортничать...

— А пешеходцам[3] что у вас деять положено? — спросил он, забавляясь жадным стяжанием людей божиих.

— От сих, почитай, нету прибытка совсем,— загорячился отец келарь.— Токмо к празднику рожь мелют и хлебы пекут, пиво варят и на семя рожь молотят, а лен даст игумен в селы, и они сети плетут и неводы наряжают, таково и все их изделие!..

Великий князь перестал смеяться и сурово поглядел на монахов.

— Жаднущи вы, отцы святые,— сказал он,— с одного вола все шкуры драть хотите. Мало вам, что хлебом берете — и в поле стоячим и в житницах, баранами, гусями и курами, яйцами, сырами да маслом и рыбою всякой! Вы и оброк еще берете, помногу рублей серебро монастырское в рост даете. Куда вам денег столь?

Иван Васильевич помолчал и добавил:

— Поперек пути государству стаёте. Все токмо в свои руки взять хотите, а у государства есть и вольные слуги: ратные люди княжие и боярские и дети боярские. Не разумеете того, что татары еще ходят круг Руси, как волки круг стада. Побьют

---

[1] *Полные люди, страдники* — наиболее зажиточные из крестьян, имеющие лошадь.

[2] *Серебряники* — те из зажиточных «добрых крестьян», которые в состоянии были выплачивать рост (проценты) с полученной ссуды.

[3] *Пешеходцы* — бедняки, безлошадные крестьяне.

они нас, и храмы божии и святые обители на дым пустят. Митрополит Иона, богом от нас призванный, разумел сие...

За столом все замолчали. Государь медленно пил заморское вино, и было на душе его беспокойно. Не все было так просто, как сам он думал. Монахи переглянулись между собой, и это заметил Иван Васильевич и понял, что они будут обороняться.

— Государь,— заговорил тихо и покорно игумен, но глаза его хитро сверкнули,— прав ты в добром своем помысле. Токмо аз, грешный, скажу: вотчинники и набольшие — князи и бояре, и наимелкие — дети боярские, боле нас берут. Одни хлебом и прочим берут наполовину, а другую половину — сребром. Иные же берут токмо оброки со всех сирот и токмо деньгами...

— Истинно так, истинно,— дружно подхватили отцы духовные.

Иван Васильевич ничего не сказал на это, только глаза его поочередно остановились на каждом из собеседников, сразу смутившихся и оробевших.

— О сем яз думать буду,— проговорил он глухо,— и содею потом, как надобно.

Резко поднялся он из-за стола и, перекрестившись, сказал:

— Пришлю вам своего зодчего Василия, Димитрия Ермолина сына, с нужным припасом, которого у вас нет. Дивно возобновил он по воле матери моей церковь, что заложена княгиней прадеда моего, князь Димитрия...

Всю дорогу от Николо-Угрешского монастыря до самой Москвы думал Иван Васильевич о разговоре, случайно возникшем за столом у игумна. Впервые так ясно почуял он, как много противоречий между людьми разных сословий. Это ошеломило его и лишило ясности мысли.

Близ самой Москвы увидел Иван Васильевич небольшое село подмосковное и, подозвав стремянного своего Саввушку, спросил:

— Чья сия вотчина?

— Бают, государь, Трофим Гаврилыча Леваша-Некрасова, из боярских детей...

— Гони во двор, извести, что князь великий едет к нему...

Ивану Васильевичу не терпелось самому увидеть, как мелкие вотчинники живут, каково у них сиротам и прочим черным людям.

Когда он подъехал ко двору, у ворот стоял уж дворский со всеми людьми дворовыми. Все были без шапок и земно кланялись.

— Кто из вас дворской?— спросил государь, нахмурив брови.

— Я, государь. Пров, сын Семенов...

— Где ж господин твой? Как его звать и как он смел не почтить государя своего?..

Оробев совсем, кинулся Пров Семенов на колени.

— Не гневись, государь,— заговорил он.— Господин наш, Трофим Гаврилыч Леваш-Некрасов, на рати казанской с конниками своими.

— Встаньте,— сказал Иван Васильевич.

Дворский и все слуги встали.

— Ну, сказывай, Пров,— продолжал государь,— какая у вас вотчина и как живете.

Дворский нерешительно огляну лся на прочих слуг, но, ободрившись, отвечал великому князю:

— Вотчина господина нашего не велика, государь. Сие село Никольцы, иде вот хоромы его и двор, да две деревеньки недалече отсель: Старая Глинна да Новая Глинна. Я же у господина моего слугами ведаю и поселением, что за двором его числим. Опричь того, и крестьянами ведаю в деревнях. Там есть у меня помощники — ключники и тивуны...

— Сколь всего четей-то[1] в вотчине?— перебил дворского Иван Васильевич.

— Всего, государь, двадцать восемь четей с половиной. Из них девятнадцать четей — за крестьянами, шесть — за слугами, а три чети — хозяйские...

— Кто пашни-то пашет?

— Свои люди, государь, господские...

— Оброк платят!..

— Всякое, государь, и работу иную деют, а боле оброк, ибо ныне без денег-то ништо купить не можно. Господин же наш, слуга твой, как с Казанью вот рать зачалась, воев нарядил. Без серебра-то и нарядить нельзя было бы...

— И серебро в рост даете?

— Добрые люди берут и рост платят, как и в твоих вотчинах, государь...

Иван Васильевич потемнел лицом и, махнув рукой, молча поехал вон со двора.

Невеселые думы он думал, вспоминая непрерывные тяжбы меж монастырями, вотчинниками и сиротами. Все ныне друг с другом грызутся на Руси.

— Как же с татарами биться и прочими ворогами?— шептал он беззвучно.— На кого более опереться можно?

Вечереть уж начинало, когда прибыл Иван Васильевич в

---

[1] *Четь* — мера земли под пашню, обозначающая земельную площадь примерно в 0,5 гектара.

хоромы свои и хотел было идти к матери, но встретил в сенцах дьяка Курицына. Обрадовался ему государь и воскликнул:

— Будь здрав, Федор Васильевич! Когда прибыл?

— Живи многи лета, государь,— ответил Курицын.— Вборзе прибыл яз после того, как отъехал ты в монастырь Угрешский...

— Иди скажи Данилушке, что яз у собя с тобой буду ужинать, в своей трапезной...

Сидя за ужином, Иван Васильевич, проголодавшись от прогулки, ел молча, слушая донесения дьяка.

— Посол-то Яков,— говорил, посмеиваясь, Курицын,— ехал в возке своем, яко в тесном заключении. Не то чтоб неволей, а пил все, под конец уж и ксендз его стал с ним пить. Не беспокоил их яз. Мыслю токмо, прав ты, государь,— про татарские дела Казимир вызнать хотел. Не для папы посла-то слал, а для хана Ахмата...

— Может, и так,— усмехнулся великий князь,— токмо все же у папы, видать, есть помысел сватовство начать. Сие и Казимира и Ахмата тревожит. Пождем, но чую, послов к нам и папа пришлет...

Великий князь задумался и, вспомнив разговоры свои с игумном и с дворским Леваша-Некрасова, заговорил с досадой:

— А яз тут новые дела узнал нечаянно. О том, о чем мы доселе и подумать не удосужились!..

Иван Васильевич рассказал дьяку о новых переменах в вотчинах монастырских, боярских и прочих, о тяжбах за землю, о том, что хлеб ныне не столь на кормленье идет, сколь на продажу за деньги, про денежные оброки и про выдачу на тяжелых условиях денежных ссуд крестьянам ростовщиками-землевладельцами.

— Вишь, как круг нас сталось, а мы на сие сквозь пальцы смотрели!— воскликнул государь.— Без нас сие идет, мимо государства идет, будто река меж берегов сама по собе...

— Так оно и есть, государь,— сказал Курицын,— все по воле божьей деется...

Иван Васильевич усмехнулся и резко промолвил:

— Река-то течет по волей божьей, о том спору нету, а люди-то, где нужно, могут чрез нее мост построить, а где плотиной запрудить, рукава отвести, дабы не брега зорила, а зерно на мельницах молола...

Федор Васильевич с изумлением взглянул на великого князя и радостно воскликнул:

— Как ты, государь, мудро обо всем мыслишь!

— На сей же вот часец,— хмуро отозвался Иван Васильевич,— не нахожу яз пути правого. Ведаю, нельзя реку на ее токмо волю пущать, а что содеяти, не ведаю. Монастыри без меры тягчат

сирот, а сами чернецы токмо чревоугодием и пьянством живут. Много захватили монахи земли-то и токмо сами корыстятся, а какая от сего польза государству? Вотчинники все вот — крупные и мелкие — тоже за землю друг друга грызут, яко волки лютые, а какие грамоты измыслить — не ведаю. Надобно же такие уложить правила, дабы богатые и сильные не сожрали друг друга из-за корысти своей, а из сирот и черных людей коней бы токмо пашенных не изделали!..

Государь злобно усмехнулся и добавил:

— Эдак они и от государя своего всех людишек под свою руку возьмут и воев мне не оставят, обессилят государство-то не хуже удельных. Можно ли им волю такую дать?

Государь замолчал, молчал и Курицын. Волнение Ивана Васильевича постепенно улеглось, и молвил он раздумчиво:

— Ежели грамоты судные собрать все и княжие грамоты? Может, там на сие разрешение есть? Может, и уставные грамоты к наместникам помогут нам...

— Верно, государь,— обрадовался опять Курицын.— Ты вот токмо что сказывал об уложенье правил. Вот и мыслю яз, повели дьякам нужные тобе правила сыскать в грамотах, о которых ты поминал. Добре же было поставить над ними дьяка Андрея Ивановича Жука: человек сей сметлив и хитер в разумении грамот...

Государь развеселился и сказал:

— Верно сие! Как решено нами, так и сотвори от моего имени. Дело сие долгое, но государству без сего быти нельзя...

Обернувшись к вошедшему дворецкому, он, смеясь, добавил:

— Дай-кось нам, Данилушка, фряжского малость, за дело доброе с Федор Василичем выпить надобно...

Когда Данила Константинович вышел, великий князь сказал дьяку вполголоса:

— Опричь того, есть у меня дело, которое немедля сотворить надобно. Утре же найди человека верного и пошли к Даниару-царевичу, дабы ссылался царевич с Менглы-Гиреем от твоего имени, но токмо устно, без грамот. Пусть обещает ему помочь от нас против братьев, которые с Ахматом. Ежели бог не даст удачи ему, приму к собе, как брата, а ежели бог даст ему на отчий стол сесть, то и тогда ему помочь наша против Ахмата надобна будет. Сотворим союз вечный, а все вороги его — наши вороги, а наши вороги — его вороги, и други наши едины...

Вошел Данила Константинович с двумя кубками заморского вина.

— За благополучие дел наших!— сказал Иван Васильевич, чокаясь с дьяком.

— За здравие государя моего,— ответил тот.

К концу уж приблизился май, когда дошли до Москвы первые вести о войске московском — от воеводы Ивана Руно. Обедал в этот день государь у матери своей. Все были весьма рады вестнику, сопровождавшему с воинами караван торговых судов, захваченных у купцов татарских. Суда эти стояли уж на Москве-реке возле Кремля, у самых Чушковых ворот.

— Как тя нменем величать?— спросил государь боярского сына, когда тот отмолился и сказал здравицы государю и государыне.

— Зовут мя, слугу твоего, Трофимом, а по прозвищу — Леваш-Некрасов...

Иван Васильевич лукаво усмехнулся и молвил:

— Ведаю о тобе, Трофим Гаврилыч...

Леваш изумился и проговорил растерянно:

— Истинно, государь, Гаврилычем величают по батюшке-то...

— Ну, сказывай, Гаврилыч, сказывай, что воевода-то повестует,— ласково молвил велнкий князь.

— Повестует он так: «Будь здрав, государь, на многие лета! Право ты сказывал, не умеет татарин землю свою оборонять. Везде татар мы бьем. Мы все, сойдясь вместе под градом Котельничем, повоевали всю черемису по Вятке-реке. Пошли засим по Каме-реке на низ да там воевали до Тамлуги и много гостей татарских побили, товару у них великое множество взяли и суда их со всем добром тобе шлем на Москву с боярским сыном Трофимом Левашом. До перевозу татарского ходили мы по Каме н вверх воротились подобру-поздорову. И в Белу Воложку ходили и там вызнали: были тут казанские татары, двести конников, да, коней пометав возле Воложки у черемис, пошли они на судах вверх по Каме-реке. Тут воеводы, подумав, набрали из своих людей семь насадов[1] и отпустили с ними меня, Ивана Руно. Догнали мы поганых, а те, увидевши нас, выметались на брег. Яз же повелел своим н на суше их гнать. Забежали поганые за речку некую малую. Засев у речки, стали с нами биться. Одолели мы их и тоже, забежав за речку ту, перебили всех, поймали живыми токмо воеводу их Иш-Тулазия, сына князя Тархана, да другого бердышника[2]. А наших на том бою поганые убили токмо

[1] *Насад* — речное судно (большая лодка) с наставленными бортамн для большей нх высоты. От этих наставок (насадов) получило свое название н само судно.

[2] *Бердышник* — воин, вооруженный бердышом, то есть широким топором, нногда с гвоздевым обухом н копьем. Надет бердыш на длинное древко н напоминает алебарду. Это оружие, видимо, служило отличием начальннка от рядовых воинов.

двух человек, а раиеных у иас шестьдесят, и милостью божьей все живы. Оттоль пошли иа Великую Пермь, ыыие же идем к Устюгу. Полои татарский ведем тобе, государь, в обход Казани, а Леваш-то раиее меня придет иа Москву...»

— Ну, слава богу,— весело сказал Иваи Васильевич и добавил:— Садись-ка за стол с иами, Трофим Гаврилыч, выпей вот чарку водки двойной да закуси.

— Данилушка,— молвила старая государыия, обращаясь к дворецкому,— иалей-ка гостю-то дорогому, а ты кушай во здравие да скажи, какие товары иа судах у тобя?

— За здравие государя моего и государыни,— вставая со скамьи, провозгласил Леваш и выпил стоя.

Затем сиова сел на кончик лавки и заговорил:

— Всякие товары есть, государыия, ковры шемахиискые и кизилбашские.

— Да ты закуси раие, Гаврилыч,— перебила его Марья Ярославиа, а дворецкий по ее указаиию подал гостю на малом блюде кусок жириой бужеиииы копчеиой и хлеба.

Леваш съел предложеииое ему очеиь быстро, чтоб не заставлять государыию долго ожидать рассказа. Встал, перекрестился и, поблагодарив государей, продолжал говорить стоя.

— Опричь ковров, государыня,— рассказывал ои,— есть сабли дамасские с золотыми насечками, каменья самоцветиые, шелка китайские, а из гаизейских товаров: сукиа цветные и бархаты разиые, посуда всякая — золотая, серебряиая, кубки и чаши хрустальиые. Серьги с самоцветами, золотой и серебряиой казны много. Ножи есть, топоры, серпы, иголки, гвозди, слюды миого окоииой...

— Сие мие иадобио для церкви в Угрешской обители,— перебил его Иваи Васильевич и спросил:— А краски есть?

— Есть, государь, и еще миого всего, ие упомнишь сразу-то.

Старая государыня весело улыбнулась и молвила:

— Пойдем, сыиочек, поглядим суда татарские?

— Пойдем,— ответил государь.— А ты, Даиилушка, собери кого иадобио, дабы товары сии прииимать, опись всему добру изделать и в казие иашей схороиить. Да стражу иашу кремлевскую у лодок поставь, скажи о сем Ефим Ефремычу...

Вот и двадцать седьмое мая, когда, говорят, последние цветы весеииие в садах доцветают, а вскоре и рожь иачиет колоситься. С этих дней все по-летиему: хоть и цвету еще много, да уж дух в полях и лугах ие тот — свежести вешией ие чуется, солице сухим жаром печет. Но звоико еще бьют иа зорях перепела, во ржах скрипят коростели, а с болот и речиых камышовых

кре́пей бугай-птица ревет низким голосом, словно бык в стаде. По ночам и земля в зное томится, словно пьянясь буйным своим плодородием.

Веселые, добрые дни стоят, лучшее время в году, но нерадостно на Руси — продолжается рать казанская. В тоске и тревоге душа у великого князя.

Сидя в покоях своих, на любимом месте у открытого окна, думает он, как развязать все узлы, как разрешить неразрешимое. Словно кольцом, опоясана Русь вражьими силами: на западе — литовцы, ливонцы, поляки, немцы, а с северо-востока, с востока и юга — татары казанские, сибирские, ногайские, Большой Орды и прочие и еще народы языческие разные — черемисы, мордва, башкиры и другие...

— И не токмо иноверцы грозят, а и свои православные,— шепчет он задумчиво,— и Новгород Великий, да Псков, и Тверь, а Вятка вот и к Казани пристала. Га́нза же немецкая корни давно пустила в Новомгороде и в Казани. Многие из православных ради корысти своей, как Иуда, продадут Русь за тридцать сребреников...

Думает он об удельных вотчинниках, о князьях и боярах, и у него веры нет им. Думает о монастырских вотчинах, и духовным не совсем верит.

Усмехнулся, вспомнив юродивого из Чудова монастыря, которого бабка велела батогами бить. Вспомнил и слова бабки: «Богу молись, а попам не верь...»

Вспомнил и возразил покойной княгине вслух:

— Нет, бабунька, попам яз в одном верю. Они русскую землю иноверцам не отдадут. Сии не Иуды, а токмо жаднущие, но и сим погубить могут. Обратят сирот всех в своих коней пашенных!..

Иван Васильевич порывисто встал со скамьи и заходил вдоль покоя своего, бормоча в гневе:

— У кого ж мне опору сыскать? У кого?!

Думал он о судных грамотах, о законах...

— Сие — долга песня!

Вдруг в мыслях его просветлело, будто огонек среди тьмы замигал.

— Токмо на детей боярских и на воев надо опираться,— воскликнул он,— токмо ими державу свою крепить!

И ясно ему стало, как это сделать...

В дверь постучал и вошел Федор Васильевич Курицын, веселый и радостный.

— Какие вести?— быстро спросил его Иван Васильевич.

— Князь Федор Хрипун-Ряполовский ходил от Нижнего до Казани, где возле Звенича бора побил он наголову царский двор. Полон захватил, а среди полонян воевода их, наиславный

князь казанский Хозюм Бердей. Хочешь, государь, князя сего зреть? Токмо что привели его с полоном...

— Утре,— отмахиулся великий князь.— Пусть отдохнет. Заложником будет. Ты с ним после поговори, а потом и мне скажешь. Сей же часец передай полон Ефим Ефремычу и укажи по чину, кого и где в затворе держать. Да кто полон-то привел?

— Емельян Парфенов, сын боярский, из дружины московской князя Федора...

— Пусть утре, после завтрака, у меня будет. Благодарить буду воеводу и дружин его. А сам воротись, скажу тобе кое-что...

Когда дьяк Курицын вышел, Иван Васильевич грустно поглядел на Данилу Константиновича и, положив руку на плечо его, тихо промолвил:

— Скорбь ко мне подступает, Данилушка. Нет власти мне над счастьем своим и в горечи своей хочу видети ныне Дарьюшку мою кроткую и так же, как и яз сам, злополучливую...

Голос его задрожал, и отошел он к окну, а дворецкий, опустив голову и уходя, глухо промолвил:

— На все воля божия и твоя, государь...

— Токмо не моя!— горестно воскликнул великий князь.— Не моя воля, Данилушка...

Не оборачиваясь, он сжал руками подоконник и смотрел в окно широко открытыми глазами, но ничего не видел и ни о чем не мог думать...

Так застал его и возвратившийся Курицын.

— Государь,— сказал дьяк громко,— исполнил яз волю твою.

Иван Васильевич вздохнул и обернулся. Лицо его было спокойно и даже сурово. Медленно отойдя от окна, сел он на скамью. Помолчав некоторое время, сказал глухо:

— Садись, Федор Василич, и слушай. Вникай глубже в речи мои. Ведаю, что уразумеешь все. Последнее, что яз тобе сказывал о вотчинах и что мы решили об уложении правил из судных грамот, будем о сем говорить. Токмо на сей часец нам сие подспорья не даст. Надо еще и другое. Надо род московских князей, род Ивана Калиты и Димитрия Донского еще выше на Руси поставить над всеми не токмо удельными, но и над великими князьями. Тетка моя родная царицей была цареградской. Яз могу быть по родной племяннице последнего царя грецкого к царскому роду сему причастен, также и дети мои... Разумеешь?

— Разумею, государь,— ответил дьяк.

— Сие важно и для-ради сговора с прочими государями христианскими,— продолжал Иван Васильевич.— Легче будет нам сноситься с ними и слободней торговать с их земляками, а может, и докончания иметь против татар... И во многом от сего польза государству. Но наиглавно-то что?

— Москва-то будет Третьим Рымом...

Великий князь досадливо махнул рукой.

— Наиглавное, Федор Василич, что для всей Руси православной станет великий князь московский единодержавным государем русским. Все сироты пойдут за Москвой тогда еще более, а мы, силой их укрепясь, татар скинем. Князей же всех под нози своя покорим! И в государстве нашем всем легче жить будет...

Великий князь, слегка побледнев и помолчав немного, сказал тихо:

— Иди, Федор Василич, притомился яз...

Глава 14

СМИРЕНИЕ ЦАРЯ ИБРАГИМА

В тысяча четыреста шестьдесят девятом году, февраля одиннадцатого, прибыло на Москву к великому князю посольство необычное и для всех нежданное. Прибыли из Рима от кардинала Виссарнона Георгий Траханиот, по-русски его звали Юрий Грек, а с ним Антон Джислярди, родной племянник Ивана Фрязина, который издавна был денежником у великого князя московского.

Послы привезли государю лист, а что в нем писано кардиналом было, все с ведома самого папы римского.

Узнав о содержании грамоты Виссариона, Иван Васильевич принял послов итальянских келейно у себя в покоях. При нем был только дьяк Курицын да малая стража.

Одежды у послов кардинала показались великому князю по краскам и покрою своему скоморошьими и предосудительными. Юрий Грек был с бородой, и одеяние его было степеннее: широкий кафтан, весь в складках, с двумя поясами — один, узкий, на обычном месте, другой, широкий, на животе. На широком поясе висел кожаный мешочек с деньгами, туго перевязанный шнурком.

Самый кафтан у Юрия Грека был двухцветный: правая половина желтая, а левая красная. Кафтан короткий, только до колен, а ноги в одних длинных чулках: на правой ноге — красный, а на левой — желтый. Красная нога была обута в желтый длинноносый башмак, а желтая нога — в таком же башмаке красного цвета. Голова же у него повязана была широким синим поясом, короткий конец которого лежал на спине, а длинный спускался на грудь и, перекинутый через руку, висел до колен.

Вглядевшись в это странное одеяние, Иван Васильевич заметил еще, что в разрез желтой половины кафтана высовывалась

рука в красном рукаве, а в разрез красной половины — в желтом рукаве.

Еще неприличнее показалось государю одеяние молодого бритого итальянца Джислярди. Он даже переглянулся с Федором Васильевичем, а стража княжая еле сдерживала улыбки.

У молодого итальянского дворянина на голове был навернут такой же пояс, как и у Юрия Грека, но ярко-кровяного цвета. На плечи накинута короткая безрукавка из леопардовой шкуры, лежавшей на спине, как широкий плащ. Безрукавка была очень короткая, чуть пониже бедер. Из-под нее высовывались руки в рукавах кровяного цвета, а в вырез у шеи виден был такого же цвета ворот, а под ним — белый ворот исподней рубахи.

Ноги же молодого итальянца видом были непристойны: можно было бы подумать, что он совсем без портов, если бы порты его, обтягивающие обе ноги, как длинные тонкие чулки, не были бы из цветных тканей. Правая нога от бедра до самого носка спереди синяя, а другая половина ее, сзади, желтая; левая же нога от бедра до носка спереди желтая, а сзади от бедра до колена синяя, а от колена до пятки — белая.

— Словно чиж со щеглом,— беззвучно шевельнул губами Иван Васильевич и, чтобы скрыть усмешку, сказал ласково:

— Слушаю вас.

Послы поклонились, став на одно колено, и, поднявшись, поклонились опять, но уж только в пояс.

Заговорил Грек, сильно сюсюкая и не выговаривая звуков «ч», «ц», «з» и «ж». Дьяк Федор Васильевич с трудом разбирал его речь и медленно переводил:

— Архиепископ грецкий Виссарион, ныне кардинал его святейшества, молит господа бога, государь, о твоем здравии на многие лета. После грозной и скорбной гибели Царьграда отец Виссарион с рвением печется о царском роде Палеологов. Наставник он и попечитель царевичей и юной сестры их. На сем яз кончаю и передаю тобе сей лист...

Юрий Грек отдал лист дьяку Курицыну и, опять поклонившись великому князю, отступил подальше от него, как этого требует на Западе порядок почитания государей.

— Погляди, Федор Василич, как писано, и читай,— молвил Иван Васильевич.

— Писано, государь, как подобает к тобе писать,— сказал Курицын.

— Читай мне токмо наиглавное. Какой речью сей лист писан?

— По-латыньски, государь,— промолвил дьяк и стал читать: «Есть в Рыме деспота морейского, Фомы Ветховсловца от царства Константинограда, дочь его, именем Зоя, православная христи-

анка. Восхочешь взять ее собе супругой, яз сие сотворю и пришлю ее в твое государство. За ней уже присылались[1] король французский и герцог великий меделянский[2], но она не хочет в латыньство...»

Федор Васильевич поклонился государю и добавил:

— Все, государь. Как прикажешь?

Иван Васильевич невольно закрыл глаза, но пересилил себя и тотчас же открыл их.

— Прими подобающе послов кардиналовых,— сказал он своим обычным голосом,— наряди корм, покои и все прочее. После придешь, когда позову! Теперь же идите все...

На другой день утром, после завтрака, с разрешения великого князя допущены были в покои его для беседы итальянцы-братья: Карло, приехавший из Рима, и Иван Фрязин вместе с племянником их обоих, Антоном Джислярди.

Иван Васильевич хотел поболее вызнать о Риме, а главное о папе, дабы ведать, какие наказы давать послам своим и какие подарки отправить папе, чтобы не было у того худого мнения о Москве и о нем, государе московском...

Великий князь сидел за столом, а подле него стояли справа дьяк Федор Курицын, а слева дворецкий Данила Константинович.

— Федор Василич,— обратщася государь к дьяку,— яз токмо приму сих фрязинов и отъеду к митрополиту. Ты же тут один угостишь их, а Данила Костянтиныч в сем поможет тобе. Помни токмо, что яз тобе сказывал, и все вызнай об их обычаях рымских и на что у папы-то задор есть, дабы знать, какие подарки ему давать. Пои, не жалей. Иван Фрязин пьяница и во хмелю хошь много и наврет, но и правду по хвастовству своему скажет. Да ты и сам, Федор Василич, разумеешь сие. Яков-то писарь хитрей был, а спьяну забыл, что по-русски не разумеет. Не забудь и про турок вызнать, о какой рати против них папа мыслит.

Ефим Ефремович доложил о приходе итальянцев.

— Пусти их, Ефимушка,— молвил Иван Васильевич и, улыбнувшись, добавил:— Да скажи страже-то, не фыркали бы собе в бороды и рукава, глядя на щеглов сих рымских.

Все рассмеялись, государь же, остановив их, приказал:

— Ну, веди послов-то, Ефим Ефремыч. Да повели там, возок бы мне подали. К отцу митрополиту поеду.

Начальник княжой стражи вышел, а великий князь добавил, обращаясь к дьяку:

---

[1] *Присылаться* — посылать послов с какой-либо особой просьбой, в данном случае — свататься.

[2] *Герцог меделянский* — герцог миланский.

— При мне за стол их не сажай. Дам им испить здравицу, а отыду, тогда сажай и пируй с ними. После дойдешь ко мне. Буду яз, как ворочусь от митрополита, в хоромах у старой государыни. Обедать у ней буду...

Итальянцы и племянник их Антон вошли с низкими поклонами и, остановясь шагах в пяти от великого князя, встали перед ним на одно колено, а Иван Фрязин сказал ото всех по-русски:

— Челом бьем тобе, государь, живи многая лета.

— И вы здравствуйте,— молвил Иван Васильевич, сделав знак, чтобы они встали с колен.

Затем дворецкий Данила Константинович подал послам на подносе три серебряных кубка с заморским вином. Иван Фрязин взял кубок первым и, держа его перед собой, опять за всех провозгласил здравицу государю.

Иван Васильевич поблагодарил и, встав из-за стола, молвил:

— О том, что мне довести хотите, скажите дьяку моему, а сей мне передаст. Яз же сей часец еду к митрополиту...

Кивнув головой, он вышел из трапезной, сопровождаемый низкими поклонами.

Этот день государь обедал, как обычно, когда тайные беседы вел, у матери своей. Да и Ванюшеньку повидать хотел он: отрок уж совсем возрастал и стал лицом походить на свою покойную мать. Недоволен был Иван Васильевич сыном, что мало еще вникает он в дела государства, но, видя у него прилежание к наукам разным и к военному искусству, любил его нежно.

От митрополита государь приехал прямо к столу, а к концу обеда пришел и дьяк Курицын.

— Ну, как отец-то Филипп мыслит?— спросила Марья Ярославна у сына.

— Так же, как и яз,— глухо ответил Иван Васильевич,— спешить некуда, вызнать все надобно...

— Истинно, сыночек, истинно,— одобрительно кивая, заговорила княгиня.— Жена-то не сапог, с ноги не скинешь. Жениться ведь недолго, да жить-то ведь долго, а то и весь век...

Иван Васильевич стиснул зубы, но, притворно позевнув, продолжал ровно и спокойно:

— Митрополит Филипп баит, может, папа-то рымской опять нас к унии понуждать будет? А может, царевна-то сама унию приняла в Рыме? Может, она, став княгиней московской, латыньство сеять будет среди православных?..

Великий князь замолк вдруг, поймав подозрительный, тревожный и недоброжелательный взгляд Ванюшеньки...

«Разумеет, что ему мачеху берут»,— подумал он, но вслух продолжал тем же ровным голосом:

— Митрополит хочет Юрия Грека повыпытать. К собе позовет на беседу и трапезу, а у него есть некий книжник, именем Никита Попович, зело хитер он во святом писании и разумеет по-грецки. Сей Никита будет вызнавать все про Виссариона и папу. Митрополит баит: «Пусть поживет Юрий Грек на Москве подоле...»

Иван Васильевич немного подумал и, обратясь к матери, спросил:

— Поманить, может, сего Грека к собе на службу, вотчину пожаловать?

— А пошто не поманить?— ответила старая княгиня.— Отец твой вотчины давал и татарам, ежели польза от сего была. Грек же Юрий не татарской веры, а единой с нами, христианской.

Иван Васильевич вопросительно взглянул на дьяка Курицына.

— И яз так мыслю, государь,— быстро ответил дьяк.— Надобен нам такой человек на службе, а слугой он, мыслю, будет верней Ивана Фрязина, денежника, а как за сие награждать, ты сам, государь, лучше меня разумеешь...

— Подумаем еще о сих делах вместе со всей родней нашей, с митрополитом и боярами. Ласкать же сего Юрья надобно: от него много вызнать можно о Рыме, о папе, и о Виссарионе, и о прочем, Ивану-денежнику мало яз верю: сей за деньгами на всякое воровство пойдет. Токмо и такой нам иужен. Митрополит сказывал мне, что Фрязины все такие же, все на един лад. Яз и мыслю, денежник наш будет под стать рымлянам, но у нас ему прибыльней. У него тут и хоромы, и деревенька есть, и жена, и дети, и жалованье не малое, а там, чай, он и не надобен, без него хватит...

Иван Васильевич оборвал свою речь и спросил Курицына:

— Ну, а ты что скажешь, Федор Василич, о сем?

— Вызнал яз, государь, что все сии фрязины,— заговорил Курицын,— родня нашему Ивану-денежнику и все они венециаицы, как и наш денежник. Бают они, что и папа Павел Второй из одного с ними государства, из знаменитого рода веиецианских купцов Барбо. Хвастались, что их и родню их папа знает и верит им. Мыслю, они и ране ссылались меж собой.

— За сим гляди, Федор Василич,— перебил дьяка великий князь,— людей для сего верных найди.

— Есть такие, государь,— продолжал Курицын.— После разорения турками Крыма многие фряжские купцы, как тобе ведомо, на Москву приехали. Все они хотят прибытка друг перед другом, а наибольшая вражда и ревность у них меж венецианцами и генуэзцами. Вот яз и иайду меж генуэзцев нужных нам людей...

— Льготы некие дадим им,— снова перебил дьяка великий

князь.— Разумею замыслы твои. Твори, как мыслишь, а к совету нашему собери все, что сможешь. Ныне же о папе скажи, какие подарки ему надобны, на что у него задор?

— На все, государь,— усмехнувшись, молвил дьяк.— Фрязины прямо так и говорят: «Все любит, что цену добрую имеет, а наиболе всего самоцветные каменья, сребро и злато...»

Все засмеялись, а Марья Ярославна молвила:

— У него, у папы-то, губа не дура, а язык не лопата...

— И о Цареграде баяли?— улыбаясь, спросил Иван Васильевич.— И о турках? Что деять-то хотят?

— Просто у них все, государь,— шутливо ответил Курицын.— Фрязины хвастают так: «Оженим, мол, московского государя на грецкой царевне, а она его и заставит на турок идти...»

Великий государь насмешливо улыбнулся, хотел было сказать грубую колкость о «ночной кукушке», но удержался, встретившись с тревожным и враждебным взглядом сына.

«О мачехе мыслит»,— опять подумал он, и ему стало досадно и горько.

Быстро встав из-за стола, он перекрестился и поклонился матери.

— Прости, матушка,— молвил он,— днесь зело притомился яз. Пойду к собе...

С казанской войны приходили разные вести. Московские полки били казанцев, но и татары местами христиан били, а земли друг друга опустошали взаимно.

— Так не может быть доле,— говорил Иван Васильевич.— Губим зря православных. Надо обмыслить все и так ударить, дабы сразу пришибить Ибрагима...

Великий князь торопился покончить дела с посольством папы и уже обдумывал новый, дополнительный поход на Казань. Он спешно вызвал из-под Казани к себе брата князя Юрия Васильевича на думу о войне, а заодно и на семейный совет, который назначен был им на десятое марта, в субботу на второй неделе великого поста.

Князь Юрий прибыл вовремя. Он сам спешил к брату, ибо многим недоволен был в ведении войны с татарами. Пуще всего не по нраву были ему разнобой и случайность действий воевод, не было в войске единого воинского управления. Братья часами беседовали с глазу на глаз, а Юрий даже чертил на бумаге, как и где ратные силы размещать...

Семейный совет отвлек их от военных совещаний. Утром десятого марта, после завтрака, собрались в трапезной государыни Марьи Ярославны сыновья ее с государем во главе, князья Патрикеевы, князья Ряполовские, бояре Плещеевы и другие пред-

ставители от знатных родов. Ждали митрополита, и когда тот подъехал к красному крыльцу княжих хором, его встретил там князь Юрий Васильевич с боярами, а при входе в переднюю — сам государь и старая государыня.

Пройдя в трапезную Марьи Ярославны и прослушав краткую молитву, произнесенную митрополитом, государь и государыня сели за стол в красном углу, возле митрополита, а все прочие по старшинству сели вокруг них. Длинный стол накрыт был шитой белой скатертью, а на нем по случаю поста великого стояли сулеи только с медом пресным и жбаны с квасом житным без хмеля, а меж них на блюдах лежали ломти хлеба ситного, репа пареная, грузди соленые, капуста квашеная, яблоки моченые с брусникой и прочая зеляньица из разных овощей.

Владыка, прочитав молитву, благословил трапезу, и, когда все закусили и стали пить квас и мед, великий князь молвил:

— Отче, государыня, и братья мои, и все князи, и бояре мои! Яз молю вас думу со мной подумать о грамоте кардинала рымского Виссариона. Оный, как всем уже ведомо, за меня царевну сватает, родную племянницу последнего царя грецкого Костянтина. Надобно ныне ответ дать и Виссариону и папе рымскому, ибо без воли папы не может в сих делах один кардинал решать...

Иван Васильевич помолчал и вопросил митрополита Филиппа:

— Отче и учителю мой! Первое слово твое, ибо дело тут не токмо в пользе государства Московского, а и в пользе и вреде для веры православной...

Владыка Филипп, подумав малое время, заговорил ясно и отчетливо:

— Государь мой и сыне духовный! Аз, грешный, мыслю, сам господь посылает тобе столь знаменитую невесту, отрасль царственного древа, которого сень покоила некогда все христианство православное, когда оно неразделимо еще было папскими ересями с Рымом. Сей благословенный союз с племянницей царя Константина будет подобен союзу святого Володимера киевского с грецкой царевной Анной...

Митрополит поднялся со скамьи и, перекрестившись широким крестом, торжественно провозгласил:

— Ниспосли, господи, сему делу успех, да будет Москва новым Константиноградом, сиречь Третьим Рымом, дабы оплотом стать всему христианству православному...

Старая государыня прослезилась и молвила громко, крестясь:

— Дай, господи, дай сие народу моему православному...

Говорили потом князья Патрикеевы, и князья Ряполовские, и брат государя, князь Юрий Васильевич, и Плещеевы, и прочие

бояре. И говорили все в согласии с митрополитом, добавляя только об осторожности, не попасть чтобы в сети латынян. Говорили о согласии всех удельных князей и бояр, дабы в содружестве крепком общими силами скинуть иго татарское...

Когда все сказали, что думали, великий князь только поблагодарил присутствовавших за советы, но своих мнений не высказал.

Отпуская же всех, добавил:

— Руководствуясь наставлениями вашими, так все содею, дабы не впасть в сети латыньства, а добыть для Москвы токмо выгоды...

Иван Васильевич встал и поклонился всем.

Марта двадцатого, после приема у великого князя в присутствии всего двора его, послы кардинала отбыли в Рим с грамотой о согласии государя на брак с царевной и с его подарками. С ними, по поручению государя московского, поехал Иван-денежник, которому приказано было повидать царевну и лик ее, на кипарисовой доске писанный, привезти...

С этого же дня Иван Васильевич, вызвав к себе воеводу Беззубцева, Константина Александровича, с ним и братом своим, князем Юрием, весь пост обдумывал поход на Казань, а воевода чертил на бумаге и отмечал, что надобно. К концу же марта был уже беспримерный поход на судах по всем рекам, ведущим к столице Казанского царства. Наибольшим воеводой назначен был Константин Александрович Беззубцев. Ему приказано было к Фоминой неделе, что приходилась в этот год в первые числа мая, заготовить ладьи и прочие суда для похода. Но и после этого не прекращались обсуждения и военные совещания у великого князя...

Все же, когда зазвонили, загудели кремлевские колокола в светлое воскресенье, не смог пересилить себя Иван Васильевич: с радостью и болью душевной встретил он у себя в покоях Дарьюшку. Никогда он так не любил ее, как теперь, чуя скорую разлуку с ней навсегда. Все горести и все дела свои забыл он, когда снова, как дитя малое, носил ее на руках, целуя и в уста и в очи...

В ласках и нежностях уходила короткая весенняя ночь, и ранняя заря молочно-розовым светом стала уж по небу разливаться, когда Иван Васильевич, взглянув в лицо Дарьюшки, увидел — затосковали глаза ее...

— Ты что, Дарьюшка?

Улыбнулась она, но не вышла улыбка.

— Так, Иване,— молвила она тихо.— Не хочу я ни о чем мыслить. Дума у меня одна — еще часец малый, а с тобой побыть,

Иванушка. Что мне ныне горевать-то, хватнт вборзе мне горюшка до гробовой доски...

И видит Иван Васильевич, опять веселеет она. Ласкает его, и глаза сияют снова, н шепчет ему:

— Ведаю, токмо за малое время счастья моего не едину, а две жизни отдам, Иване мой...

Он тоже шепчет, сжимая ее в объятиях:

— Доколе возможно, радость моя, не отойду от тобя, души моей неувядаемый цвет...

В конце Фоминой недели по указу государя выступил нз Москвы воевода Беззубцев в поход на татар. Хотел он поспеть в казанские земли ко времени, не пропустить половодья на мелких речках, по которым надобно плыть до Оки и Волги. Под началом его шел на рать не только весь двор великокняжий с детьми боярскими ото всех городов н уделов, но и сурожане и суконники с Москвы, и московские купцы вместе с черными людьмн всякого рукомесла и занятия. Воеводой у москвичей был князь Петр Васильевич Оболенский-Нагой. Другне же подначальные Беззубцеву воеводы с полками своими в те же дни тронулись нз разных городов к месту соединення с главным воеводой, к Новгороду-Нижнему, Старому.

Полкн садились на суда в Москве, Коломне, Владнмире, Суздале, Муроме, Димитрове, Можайске, Угличе, Ростове, Ярославле, Костроме н в иных местах. Насáды, лодки и другие суда с воинами и снаряжением воинским со всех сторон стремились к Оке и Волге и плыли потом по этим знаменнтым рекам до их слияния у Нижнего Новгорода. Всполошил поход такой на пути своем все деревни и села, и быстрые вести о нем, одна за другой, непрерывно приходили в Москву отовсюду, сообщая с волнением и тревогой о грозном н небывалом судовом ополчении.

Государь и князь Юрий Васильевич внималн всем слухам народным и радовались.

— Ныне, государь,— говорил князь Юрий старшему брату,— вся чудь белоглазая, мещера и прочие язычники почуют силу руки московской, под которой живут!..

— Истинно так,— соглашался Иван Васильевич,— но мыслю, не токмо страхом надо нам силу свою крепить, а и по-иному...

Он помолчал н, обратясь к вошедшему дьяку Курицыну, неожиданно спросил:

— Помнишь. Федор Василич, о реке-то что мы баили? Куда от нее и на какие мельницы воду отводить, дабы она впустую али во вред нам не работала? Сиречь на кого надо опираться нам, на ком нам силу свою государеву крепить?

— Помню, государь,— ответил дьяк.

— Ныне яз покоен,— продолжал с усмешкой Иван Васильевич.— Опора нам во всем дети боярские, дворяне, помещики малые. У сих сироты перво-наперво — вон государевой службы, а не токмо пашенные кони, как у иных. Сами же дети боярские и подобные им — слуги нам верные, ибо будем мы сильны и богаты, и они с нами сильны и богаты станут. Бояре же и князи добре ведают: чем государи сильней и богаче, тем они, бояре и князи, слабей да бедней, а посему — они идут противъ нас. Они, как и новгородская господа, мыслят о том, дабы изделать из нас угодников и слуг своих...

— Ну, государь,— возразил Курицын,— сил у них нет таких, как у господы новгородской...

Иван Васильевич рассмеялся.

— Ведаю, что сил-то у них нет,— произнес он резко,— но ведаю, Федор Василич, что в кажном из них сидит или Шемяка, до власти охочий, или вотчинник, жаднущий до земли, до холопов и до денег...

Иван Васильевич сжал кулаки и положил их на стол.

— Яз же,— воскликнул он, сверкнув глазами,— так их зажму, что и дохнуть не смогут! Всякие льготы и опричнины боярским детям дам, из крепких сирот и холопов дворян изделаю. Мелкие-то у меня крупных съедят...

Помолчав некоторое время, он успокоился и продолжал:

— Постоянное войско нам крепить надобно. Будут ежели у нас полки многие и верные, будут добре снаряжены, то Москва возьмет все в свои руки и скинет иго татарское...

Весна была в полном разгаре. Травы кругом цвели и деревья, в тальниках же и кустарниках на берегах волжских затонов пели соловьи по ночам, громко щелкая и рассыпаясь серебром от зари до зари, а днем комары, немолчно жужжа и звеня, тучами носились над берегом. Крякали утки в камышовых зарослях, пищали чайки, непрерывно мелькая в воздухе, и тонко посвистывали на песчаных отмелях большие и малые кулики...

Караван за караваном из лодок подплывал по широкой полой воде к Нижнему, а воевода Константин Александрович еле терпел сам и еле сдерживал полки свои, чтобы раньше времени не ринулись вниз по Волге-реке к ненавистной Казани. Гонца за гонцом слал он к великому князю на Москву, сообщая о прибытии новых полков и указывая примерный срок, когда можно будет ударить на Казань с разных сторон, окружить, осадить, разорить и сжечь дотла это разбойничье гнездо. Такая гоньба не зря была — почуял воевода Беззубцев что-то иное на Москве. Не стало уж на запросы его ясных и твердых ответов государя, как ранее...

На Москве же меж братьями не было согласия из-за молений вдовы покойного царевича Касима, приехавшей в стольный град бить челом великому князю. Просила она отпустить ее в Казань к сыну родному Ибрагиму, царю казанскому. С клятвами и лестью обещала она государю московскому миром добиться полной покорности сына, безо всякой войны.

— Муж и господин мой,— говорила она,— до конца живота своего служил Москве верой и правдой. Так и яз послужу тобе, государь.

По обычаю своему татарскому была она вся окутана широкими одеждами, а сверху на голову ее накинут был широкий красивый халат из темно-зеленого шелка, и среди всех этих одеяний видны были только глаза, мягкие и нежные, как дорогой черный бархат. В глазах этих, меж густых ресниц, блестели слезы...

Иван Васильевич колебался. По великой осторожности своей не хотел он вверяться случайностям войны и берег войско свое, боясь и Ахмата и польского короля. Мирное решение распри влекло его сердце, но боялся он вверяться и вдове Касима, по слухам, женщине коварной и хитрой.

— Государь,— горячился к тому же князь Юрий Васильевич,— послали мы к Устюгу, как решено было, воеводу своего князь Данилу Васильевича Ярославского. Пришел к нему из Вологды и воевода Семен Пешак-Сабуров с вологжанами, а каким воровством вятчане их изолгали? Стала Вятка за Ибрагима! Не приходится своим православным верить, как же верить басурманке?!

Но не послушал брата государь московский. Дал он подарки вдове Касима и опасные грамоты до самой Казани, веря, что мир и для Ибрагима нужен.

— Брате мой Юрий,— мягко сказал Иван Васильвич,— не басурманке яз верю, а делам сего времени. Разумеют, чаю, татары, что у Москвы сил-то поболе ихних, и потому захотят мира на таком случае. Мы же войска своего не тронем, палку будем доржать над Казанью...

Созвал всех воевод своих набольший воевода Константин Александрович.

— Утре,— молвил он радостно,— будем служить после обеда молебен перед войском, а вслед за сим воссядем на суда свои: изгоном поплывем на Казань, как сие еще на Москве решено было.

— Живи, Москва!— радостно кричали воеводы.— Дай бог нам помочи, а государю здравия!..

Веселый и радостный, распорядился Константин Александрович:

— Идите приказы давайте полкам своим о походе наутре.

На вечернюю же трапезу прошу всех ко мне! Пир пировать будем...

С шумом, смехом и говором разошлись воеводы, а вечером, когда вновь собрались все за столами Константина Александровича и выпили уж по первому кубку за начало похода, прибыл гонец из Москвы и привез грамоту государя для главного воеводы.

Все затихли за столами, не ведая, чего ожидать от приказа великого князя, и молчали все князья и воеводы. Воевода же набольший, возвратясь из покоя своего, печален был и молвил:

— По-иному решил государь наш. Повелел он всем вам, князи и воеводы, кто захочет, идти воевать казанские места по обе стороны Волги. Мне ж велел здесь, в Новомгороде-Нижнем, быть. Вам же идти, но токмо к самому граду Казани не ходить...

И пошел шум и разговоры,— спорили все, как выполнить сказанное и что лучше: старое московское замышление или это новое...

— А не все ль едино,— воскликнул один из воевод,— по какому замыслу бить татар и добро их имать! Спросим вот еще воев наших, кто из них в охочие люди пойдет...

— Утре после молебной,— молвил на это Константин Александрович,— сам яз из княжой грамоты воям прочту...

— Истинно, истинно,— весело закричали кругом,— утро вечера мудреней!..

— Сей же часец пировать будем! Будем пить, пока еще живы, а после — что бог даст...

Зазвенели чарки и кубки, и закружился колесом веселый пир.

Утром на другой день, лишь зазвонили к ранней обедне, все полки московские были в движении, и вести о новом повелении государя передавались из уст в уста. Весь берег был усеян воинами под Нижним Новгородом, ждали здесь, когда выйдет сам набольший воевода, ибо во граде не было места для такого множества людей.

Вот отзвонили и отпели уж во всех церквах, разошлись по домам православные, и набольший воевода Беззубцев пришел к берегу, стал на высоком краю и крикнул затихшему сборищу:

— Слово вам государево читать буду!..

И понеслась вдоль всего берега, переливаясь волнами и замирая вдали:

— Да здравствует государь наш!

— Многие лета великому князю...

Но стихло снова все многолюдство, и слышно даже стало в тишине великой, как в посаде петухи перекликаются...

— Пишет мне государь наш,— начал снова зычным своим голосом Беззубцев, держа в руках грамоту,— оставаться-де

всей силе его ратной здесь, в Нижнем Новомгороде, а воевать токмо охочим людям. Пишет он...

Воевода приблизил к глазам грамоту и прочел:

— Пишет он, государь-то: «Восхощете идти воевати казанские места, идите по обе стороны Волги, токмо к граду Казани не ходите!»

— Многие лета государю! Сла-ава!— снова волнами покатилось по всему берегу.

Замахал воевода шапкой, и снова все стихло и замерло.

— Кто охотники,— закричал опять Константин Александрович,— выступай вперед!..

Сразу, будто в бурю волны морские, закипел весь народ, и все войско передвинулось вперед, а из многолюдства ревели наиболее сильные голоса:

— Все хотим на татар окаянных!..

— За церкви святые!..

— За государя своего, великого князя Ивана!..

— За все христианство православное!..

Бросились все к судам своим, укладывать стали в них весь скарб свой и ратное снаряжение. Не прошло и двух часов, как ладьи и насады с воинами потянулись вниз по Оке к Волге-матушке, под Новгород под Старый, и стали там под Николою на Бечеве.

Вышли тут из судов своих, пошли все в молчании и чинно к церкви Преображения господня и повелели бывшим там попам молебен служить за великого князя и за воинов его. Вернулись к берегу и тут, у святого Николы, тоже отпеть повелели молебен никольским попам, а потом всем клирам церковным и нищей братии милостыню роздали, каждый по достатку своему.

После того собрались все воедино у берега, и воины и воеводы, которые с ними пошли, и начали думать, кого себе воеводой главным поставить, дабы для порядка в войске единого начальника всем слушать. Сперва начался кругом шум и крики, до драки почти доходило, но после, утихомирясь и хорошенько пораздумав, избрали себе вольной волей Ивана Руно...

В тот же день под началом Ивана Руно отплыла вся сила охочих на шестьдесят верст от Новгорода вниз по Волге-реке, и на берегу ночевали все по-походному. На другой же день обедали они уж на Розneже, а ночевали на Чебоксаре, а от Чебоксар день весь да ночь шли на веслах, и приплыли под самый град Казань на ранней заре, двадцать второго мая.

Туман еще молоком разливался над гладью речной и заливными лугами казанскими. Тишь стояла мертвая, и едва-едва

розовело небо. Но вот и туман подыматься стал над водой и землей, превращаясь вверху в легкие розоватые тучки.

Тихо, без всякого шума и говора, строились полки московские и один за другим, только по знаку воевод своих, двинулись, окружая посады казанские все теснее и тесней. Во многих местах воины московские уж огни высекали из огнива на трут и поджигали солому и всякую горючую сушь, дабы посады зажечь, когда надобно будет.

В миг этот грянули вдруг все набаты разом, затрубили трубы звонкие боевые, ворвались в посады с криком и воплем воины московские, секут саблями, грабят и в полон имают, а что в плену у поганых тут христиан было московских, рязанских, литовских, вятских, устюжских, пермских и иных — всех на свободу пускают, под свою защиту берут. Зажгли посады казанские со всех сторон. Многие татары, не хотевшие попасть в руки христиан и хороня богатства свои, запирались в хоромах вместе с женами и детьми и сгорали там семьями со всем достоянием своим...

Сгорели дотла все посады казанские, а рать московская отступила от града, ибо притомилась от боя с неверными среди истомы огненной. С добычей многой и полоном татарским сели они в насады и лодки свои и отплыли на остров Коровнич. Делили тут промеж себя полонян и полонянок и всякое добро, что в посадах награбили. Средь шума, ссор и драки, не имея от воеводы своего Ивана Руно никаких приказаний, проводили время в ратном бездействии...

Только на восьмой день спохватилась рать московская, устрашась грозных вестей из Казани. Выбежал тайно от татар один пленник их, приплыл ночью вплавь на Коровнич остров и, собрав криком воинов, сказывал им в тревоге великой:

— Пошто, склав руки, сидите? Царь же Ибрагим дополна собрался на вас! Со всей землей своей, с Камской и Сыплинской, с Костяцкой и Беловолжской, с Воцкой и Башкирской! И быть ему на вас, православные, ныне на ранней заре и с судовою ратью и с конной!..

Собрались воеводы великого князя наспех, думали думу наскоро. Отобрали они молодых воинов, послали их на больших судах к Ирихову острову и стать велели там, а в узкое место Волги им не выходить. Сами же воеводы с прочими воинами на малых ладьях остались у берега, дабы первый удар принять от татар, которые, как видно уж было, выходили из града казанского.

В это время молодые воины московские, то ли ошибкою, то ли дерзостью, зашли на больших судах, вопреки приказанию, в узкую протоку. Видя это, татарские конники прискакали к самому берегу, зачали стрелы пускать тучами, дабы побить их всех, но

русские отбились от конников казанских и, отогнав их от берега, ушли потом из узкой протоки в безопасное место.

Судовая и конная татарская рать, видя воевод только в малых лодках и в небольшом числе, окружила их со всех сторон. Воеводы же московские и воины их не испугались, что татар много, а грозно и с мужеством сами ударили на них, били, и топили, и гнали их до самого берега, да и на суше еще били их, пока не побежали татары ко граду Казани.

После боя этого славного пошли на ладьях воеводы к Ирихову острову и, став там, соединились с большими судами, на которых были молодые воины.

Вскоре прибыл сюда спешно из Нижнего главный воевода Беззубцев, сведав, что воеводы охочих людей, вопреки воле государевой, подступили к Казани. Уразумев дело и видя угрозу от силы татарской, послал он немедля гонцов к другим воеводам: к князю Даниле Ярославскому с москвичами и устюжанами и к Сабурову с вологжанами. Приказал им плыть к Вятке и, захватив вятскую рать, спешно идти на Казань «изгоном». Не знал еще тогда воевода о воровстве вятчан, которые, не желая под рукой Москвы быть, тайно договорились с царем Ибрагимом. После же этого призвал он к себе воеводу Руно на беседу с глазу на глаз. Константину Александровичу, старому воеводе, понятно все было, что и почему под Казанью случилось. Захотелось подручным его пограбить татар. Удачно посады сожгли, награбили, но мало им этого — запугать казанцев думали, выкуп с самой Казани взять...

Сурово встретил он воеводу Руно. Молча поглядел на него исподлобья и молвил:

— Ну, что скажешь, Иван Митрич? Пошто на Казань ты замахнулся вопреки воле государевой? Пошто потом, склав руки, случай утерял?

Беззубцев прищурился насмешливо и едко намекнул:

— Чего ж ты ждал-то? От кого и какого добра? Забыл слова государевы в Володимере-то? Его ведь умолить не можно — сего не простит. При нем ведь головы-то не крепко на плечах сидят...

Испугался Руно и, побелев, молвил:

— То вороги мои бают! Со зла на мя брешут...

Вспылил Беззубцев, закричал:

— С лету хотел сорвать? Казань, мол, все одно не взять, а сорвать с нее, может, мол, и удастся! Да ведь и татары-то не дураки! Ведают, и без посула уйдешь: сил у тобя мало...

— Не погуби, Костянтин Лександрыч, сам ведь ведаешь ратные дела. Случай-то легкий блазнит...

Старый воевода молчал.

— Одно тобе во спасение,— наконец проговорил он,—

что посула еще не имал, токмо блазнился на сие. За ослушание же воле государевой тоже тобе снисхождение есть: из полона много православных отнял, бились вы с погаными знатно...

Вздохнул свободно Иван Димитриевич, а Константин Александрович, помолчав, добавил:

— Днесь же пошлю гонцов к государю о делах казанских. Сказывай мне все, что и как у вас под Казанью было, что о силах татарских тобе ведомо. Сказывай токмо честно...

Более шести недель воевода Беззубцев ожидал прихода воевод великого князя из Устюга и Вятки и стоял со своими полками перед Казанью в бездействии, укрепившись на Ирихове острове. Ясно видел он, что для полного окружения Казани и взятия приступом крепости не хватает ему ратных сил.

Предвидел он все трудности осады и потери в людях во время приступов. Только московские и устюжские полки князя Ярославского, да вологжане воеводы Сабурова совместно с вятичами могли дать ему нужную силу для удара по Ибрагиму. Не смел он ошибаться пред такими воеводами, как сам государь и брат его Юрий, а из Москвы тоже никаких вестей не было по непонятным причинам.

Между тем стало уж в войске его не хватать корма коням и продовольствия людям. Подумав думу с подручными своими, рассудил Константин Александрович за благо вернуться, пока еще сила у войска не иссякла. Ведь к Нижнему Новгороду идти вверх по Волге-реке и на веслах, а где и бечевой на конской тяге...

Ранним утром тронулась скрытно вся рать русская и до рассвета уж далеко была от Казани. До вечера шла на веслах без отдыха, а ночью ладьи небольшими караванами бечевой кони тянули вдоль берега. На другой день, ближе уж к полудню, заметили они ладью большую, богатую, с навесом из белой кошмы, расшитой цветами, как для князей и бояр это делают. Много слуг на ладье той было, а вокруг нее плыли лодки со стражей татарской. Окружили встречных передовые лодки русской рати, а к ним вышел старый седобородый мулла и прокричал по-русски:

— Вдова Касима-царевича, Нур-Султан, едет. Вот опасные грамоты великого князя...

Подъехал сам главный воевода Беззубцев и по приглашению царицы татарской взошел в ладью. Она приняла его в глубине шатра, сидя на коврах и подушках.

Воевода поклонился ей, а мулла подал ему опасную грамоту государя московского. Хотел уж идти воевода, разрешив царице ехать дальше, но та пригласила его отведать шербету и, блестя только глазами из-под накинутого на голову халата, заговорила:

— Князь великий отпустил меия к сыиу моему Ибрагиму, царю казаискому, со всем добром и с честию. Не будет уж боле никоего лиха меж них, ио все добре будет!..

Поиял только тут Коистаитии Александрович, почему государь ие велел ему в Казань идти.

— Может, бог даст, так и будет,— молвил ои вслух и, поблагодарив царицу, вышел из шатра и сел в ладью свою, повелев воииам своим сиова вверх идти иа веслах, а царица поплыла вниз к Казаии. Не поиравилось только одио воеводе: две лодки из стражи татарской, вырвавшись вперед других своих лодок, погиали иа веслах вниз по реке и скоро ушли из глаз.

— С вестью послаиы,— сказал Иваи Димитриевич Руио.

— И яз сие мыслю,— согласился Коистаитии Александрович.— Токмо иам о сем мало гребты: мать ведь царица-то, и сыиа упредить хочет...

Подумав малость, ои добавил:

— Ныие, Иваи Митрич, мие ясио стало, пошто государь Казаиь воевать ие велел, а ты вот все посады пожег, ограбил, полон татарский захватил...

— Зато, Костяитии Лександрыч, сколь своих православиых из полоиа освободил...

— Ныие суббота, Иваи Митрич,— перебил его Беззубцев,— мы вот дойдем днесь до острова Звеиича, отдохием, иочевать там будем, а утре, в иеделю, обедню отслужим, пообедаем и поспим еще малость. После же, ие спеша, поплывем к Нижиему...

Спали все долго, и уж в пол-утра только повелел воевода свящеииикам, бывшим при войске, обедни служить по полкам, а кашеварам обед стряпать. Одии уж, обедню отслушав, садились за столы, у других же, при походиых церквах, еще служба шла, как вдруг показались татары казаиские: судовой ратью по воде и коиной — по берегу.

Видя это, все воеводы и все воииы войска великого киязя кинулись к лодкам и иасадам и, подияв паруса и выгребаясь изо всех сил, бросились стремительио против судовой рати татарской.

— Москва! Москва!— кричали русские, врезаясь в татарский караваи и иаиося удары во все стороиы.— Москва!

Не выдержали такого иапора казаицы и, бросив бой, погнали в страхе лодки свои к берегу, где была их коииая рать...

— Москва! Москва!— кричали русские и, преследуя, били татар, топили их с лодками вместе.

Татарские коиники тучи стрел стали пускать в русских, и иельзя было этого выдержать. Повериули москвичи к своему

берегу, а лодки татарские, воротясь, погнались за ними. Видя это, православные обернули ладьи назад и опять на татар ударили, а те снова к своему берегу бросились под защиту конных стрелков своих...

Так бились весь день, до самой ночи, а с темнотой разошлись ночевать, каждый на свой берег.

Наутро же, когда солнце всходить стало, повелел Константин Александрович на своем берегу строиться коннице, идти потом берегом к Нижнему Новгороду. Рати же судовой повелел, распустив паруса, ибо ветер попутный подул, и помогая веслами, плыть вверх по Волге-реке следом за конницей.

Татары же хоть и видели это, но не посмели выплыть на Волгу, дали русским уйти беспрепятственно...

В эти же дни воеводы князь Данила Васильевич Ярославский и Сабуров с москвичами и устюжанами, догадавшись об измене вятичей, с малой ратью своей одни пошли на Казань по зову гонцов воеводы Беззубцева. С конницей и судовой ратью спустились они по Вятке к Каме. Ходко шли вниз по течению рек до самой Волги, подгоняя ладьи и насады веслами, а при попутном ветре подымали и паруса.

В самом начале августа, через день только после первого спаса медового, вышли они уж в устье Камы и спешно пошли вверх по Волге, с трудом выгребаясь на веслах. Надеялись вскоре встретить своих, какие-либо отряды из войск главного воеводы Беззубцева.

Подымаясь к Казани уж и поставив паруса, вдруг увидели они втрое большую судовую рать, которая, преградив Волгу всю поперек течения, устремилась на них с криком и гиком татарским, поминая аллаха и пророка его Магомета...

Ужаснулись русские, да делать нечего, деваться уж некуда — надо и бой принимать и грести против течения. Дали знак воеводы и перекрестились, и все сразу поняли, что им делать надобно.

— Москва! Москва! — закричали русские воины, и запели стрелы с обеих сторон из луков и самострелов.

Сшиблись вражьи ладьи, попарно связанные, с ладьями московскими, и заблистали сабли, полетели копья, рогатины кололи, бердыши рубили. Вскакивали русские в лодки татарские, били по головам татар ослопами, резали ножами и кончарами, топили в реке. На берегу же конные рати бились, и там русские, хоть и дорогой ценой, а путь себе тоже пролагали к Новгороду-Нижнему...

Не час и не два уже бьются рати князя московского с казанцами и, вопреки их множеству, храбростью татар подав-

ляют. Кипит, не переставая, на воде и на суше рукопашный бой. Много падает русских, но еще больше татар. Вдруг будто слабеть стала судовая рать русских, но с криком тут как выскочит вперед всех князь Василий Иванович Ухтомский...

— Да живет Москва!— кричит.— Да живет великий князь Иван!

Побежал он с ослопом по связанным лодкам неверных — и топит в реке татар. Бросились все воины за ним и разметали всю татарскую рать судовую. Понеслись лодки неверных к тому и другому берегу в бегстве, а русские, прорвавшись и собравшись воедино, на веслах и под парусами устремились вверх по Волге, открыв себе путь к Новгороду-Нижнему. Пробилась еще в меньшем числе и конная рать московская, которая, к счастию своему, шла по берегу правому, против левого, казанского...

Казанцы, измученные беспримерной битвой и мужество в сердце утратив, не смели гнаться за храбрыми устюжанами и вологжанами ни по воде, ни по суше...

В Москве же и государь и князь Юрий Васильевич были в великой тревоге и смятении, вестей никаких не имея из-под Казани, а было это уж после успенья, шестнадцатого августа. Все же оба они средь беспокойства своего уже о новом судовом походе думали.

— Главное,— говорил Иван Васильевич,— отдыху татарам давать не надобно. Они могут быть сильней нас в кратком бою. На долгое же время у них сил не хватит, и мы всегда побьем их...

— Верно, государь,— соглашался Юрий Васильевич.— У меня только гребта за воев наших и воевод, во зло не попали бы. Татар же, верю, побьем и Казань разорим...

— Ну, зорить-то не надо,— возразил государь,— пригодится еще! Нам бы токмо под свою руку взять, да, как в железы, всю данями опутать, рабов у нее поотымать и полонян наших всех отбить. Нам, Юрьюшка, силы-то беречь надобно, на Ахмата да на Казимира...

Стук в дверь прервал слова государя, вбежал дворецкий Данила Константинович.

— Государь,— воскликнул он,— гонцы и вестники от воеводы Костянтина Лександрыча, а следом за ними от князя Ухтомского!..

— Зови ране от Беззубцева, сии важнее нам...

Вестником был расторопный боярский сын из Владимира, Кузьма Коновяз, сын Ивана Овчинника. После моленья пред иконами и здравицы он перво-наперво, по наущению воеводы Беззубцева, повествовал:

— Полон большой христиан у поганых отбили, к Новугороду-Нижнему с собой привели: московских, рязанских и даже ли-

товцев православных, вяцких, устюжан, пермяков и прочих. Все за то Москву славят...

Государь усмехнулся и взглянул на брата. Тот был, видимо, тоже доволен.

Потом рассказал Кузьма Коновяз о встрече со вдовой Касима.

— Изолгала нас царица-то,— молвил он,— будто у тя, государь, добро во всем с царем Ибрагимом казанским, с сыном ее. Уразумел тут воевода, пошто ты на Казань идти не велел. Но все сие ложь татарская была. Токмо волей божьей да мужеством спаслись мы от воровства ее, когда рать судовая татарская и конная на нас напала нежданно-негаданно...

Иван Васильевич опять взглянул на брата и, увидев укор в глазах его, сказал с досадой:

— Яз почитал Ибрагима за разумного. Не мыслил никак, что сотворит он себе худшее, а не лучшее...

Долго потом расспрашивали оба брата вестников о всех боях и стычках с татарами как в конном строю, так и в судовой рати и в пешем бою.

Отпуская же вестников воеводы Беззубцева, повелели дать им все для пития и прокормления и ждать приказа государева.

Затем были призваны вестники от князя Василия Ухтомского. Эти вести о мужестве русских воинов еще более усладили сердце государя, но и более опечалили потерями в той битве славной. Государь дал устюжанам жалованье разное и золотую деньгу, сказав:

— Ежели что будет надобно, бейте челом мне, государю вашему...

Когда же братья остались одни, то, обсудив все с пристрастием и великим тщанием, решили слать немедля на Казань новую судовую рать.

Во главе нового похода этого поставил великий князь братьев своих — Юрия Васильевича и Андрея большого да князя верейского Василия Михайловича.

Юрий же Васильевич, как главный воевода, брал с собой воевод, которых ценил наиболее: князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Данилу Димитриевича Холмского и князя Федора Давыдовича Пестрого...

Эта рать шла к Казани много скорее, чем первые две. Все пути уж были разведаны, а нижегородская рать воеводы Беззубцева и все повадки казанских татар на деле проверила и в речных и в сухопутных боях, да и устюжане тут были, а главное — дух был иной. Много значило, что во главе войска были братья государевы, особенно князь Юрий Васильевич — гроза

татар, как его уж все звали, да и воевод знаменитых много было.

Князь Юрий, согласно воле великого князя, в первую очередь нарядил гоньбу вестников таким образом, чтобы государь всякий день получал вести с казанского ратного поля.

Видеть мог государь по этим донесениям, будто с горы высокой, весь поход. Видел он, как князь Юрий, наступая день за днем на Казань, отрезал от нее то пути к ногайским татарам, то пути к подручным князькам из язычников. Сами же рати московские, конные и судовые, словно грозные тучи, наползали со всех сторон на Казань неуклонно, гоня пред собой отряды татарские.

— Возьмет он Казань-то,— говорил Иван Васильевич дьяку Курицыну,— походка у него твердая, а головушка ясная.

Многочисленная конная рать шла сухим путем. Князь Данила Холмский вел Передовой полк, а с Большим полком ехал сам князь Юрий Васильевич. Князь Андрей Васильевич с судовой ратью плыл по Волге-реке.

К сентябрю уж близилось время, и в Москве с нетерпением ждали, когда Казань окружена будет.

— Юрьюшка-то знает,— говорил матери тайно Иван Васильевич,— как воду отнять у поганых. Токмо бы осадить град их крепко. Пока же гонит Юрьюшка татарские полки к Казани, Андреюшка уж немало лодок у поганых отбил, и от него тоже казанцы бегут...

Сентября первого, на Семена-летопроводца, когда осталась от лета только одна рябина-ягода, да и та горькая, подошли московские конные и судовые рати к Казани. Встретили их на суше полки татарские, выйдя из стен крепости. Со стен же пищали немецкие били, когда русские полки на татар пошли. Первым вышел в бой князь Данила Холмский с Передовым полком, стал стеной перед Казанью, а татарские конники с визгом и воплем бросились на него со всех сторон, но, как об стену ударясь, отскочили прочь, а следом за ними погнал весь полк ровным строем, но перед пешими полками казанскими разделился надвое и врубился в пехоту с правого и левого крыла, а в лоб пехоте татарской конники Большого полка ударили, а за конниками шла пехота московская, вся судовая рать. Гремели пищали со стен Казани, но толку для татар от этого не было. Русские же пешие воины, за спиной своих конников, бежали в обход татар, чтобы обойти их и к воротам если не ранее их, то в одно время поспеть и в град казанский вместе с ними вбежать.

Увидели это со стен воеводы казанские, дали знак,— затрубили трубы отбой, и татары в страхе, спеша и давя друг друга, назад кинулись к воротам. Гнали их полки московские, кололи копьями, и саблями секли, и многих побили прежде, чем в град

татары вбежали, и ворота за собой затворили, да на засовы железные заперлись. Все же не успели некоторые, остались за стенами городскими и были побиты все, а из князей и воевод казанских троих москвичи живыми взяли в полон.

После этого, по приказу князя Юрия Васильевича, воеводы московские объехали вокруг всей Казани, поставили полки конные и пешие кольцом, приказав особенно крепко стеречь у всех ворот, чтобы ни войти в Казань, ни выйти из нее нельзя было. Обложили, осадили град казанский полностью.

Собрав воевод, сказал им Юрий Васильевич:

— Сами, чай, видели — духу ратного нет уж у казанцев. Надо еще боле страшить их с вечера, дабы ночь была тревожна, а на самой заре, когда воям их отдых надобен, якобы на приступы идти в разных местах, дабы до самого рассвета не спали...

Сам же князь Юрий с землекопами и плотниками поехал тайно кругом града казанского искать, где вода от реки Казанки под стенами проходит. Говорили, что рукав есть подземный, от реки Казанки отведен, ибо в самом граде нигде никакой воды нету, даже в колодцах. На каменных холмах град поставлен, и стены его тоже на высоте построены, только с полунощной стороны на низину одна стена сходит, ближе к реке. Под стену эту, как мыслил князь Юрий, мог быть и рукав отведен тайный, скрытый от глаз совсем либо кустарником, либо помостом каким, и землею засыпан сверху.

В одном месте против стены, где узкий залив клином в берег реки врезается, показалось Юрию Васильевичу, что не природный он, а руками людскими выкопан...

— Княже Юрий Васильевич!— закричал вдруг один воин из стражи, сопровождавшей князя Юрия.— Гляди, на стене-то пищаль наряжают...

Юрий Васильевич, взглянув на стену, понял сразу, что стрелять в них хотят.

— Гони в разные стороны!— крикнул он и сам поскакал прочь от реки.

Грянул выстрел, и ядро угодило в то место, где только что он стоял со своей стражей. Взрыло землю возле заливчика, и с края берега обнажилась еле заметно часть бревна. Князь Юрий весело усмехнулся и поскакал прочь от берега, словно ничего и не приметил. Отъехав же с полверсты, собрал он землекопов и плотников, что с ним были, и приказал:

— Нынче же ночью, ближе к утру, подведите сюда на лодках тихо заплоты и колья. Заплоты же подогнать, как клепку у бочки, дабы и малой щелки не было. Там, у заливчика, куда палили татары, рукав подземный от реки есть. Бревна увидите

сверху. Вот заливчик сей заплотами наглухо загородите, отымите у поганых всю воду...

Седьмого сентября прибыли гонцы на Москву с грамоткой к государю от князя Юрия.

«Брат и государь мой,— писал он великому князю,— пятый день, как отнял яз воду у поганых. Трижды они из стен выбегали с великой дерзостью и яростью, воды хотяще, но биты были и во град свой с уроном великим затворялись трижды.

Ныне же, чаю, мира просить будут. Каков мир-то давать? Яз мыслю токмо на полную волю твою, Иване. Приказывай, что просить...»

Выслушав чтение грамоты, Иван Васильевич взволновался. Приказал дьяку Курицыну приготовить бумагу и чернила, прошелся молча несколько раз вдоль покоя своего, велел писать, говоря, будто беседуя:

— Любимый брате мой Юрьюшка, спаси бог тя за великий подвиг твой для-ради Руси православной. Обымаю тя, брата любимого, и лобызаю. От Ибрагима же проси токмо на полную волю мою, а воля моя такова...

Иван Васильевич прервал свое письмо и обратился к дьяку:

— Постой, Федор Василич, яз хочу тобе мысли свои сказать. Перво-наперво надо нам всех христиан из полона татарского ослобонить. Пойдут они: рязанцы — в рязанскую землю, тверичи — в Тверь, новгородцы разойдутся по всей великой земле своей, псковичи — по своей, вятичи — в Вятку, наши московские и все удельные — в княжество наше...

Государь усмехнулся и добавил радостно:

— Слово же у всех будет едино: «Никто, а токмо Москва за всех христиан против поганых! Токмо Москва защита от татар!» Вот, Федор Василич, что главное в докончании, ибо в сем токмо Москве слава. Черный народ со всех земель за нами пойдет, ибо разумеет он, народ-то, что Москва не токмо вотчина, а и государство для всех, как для бояр, так и для холопов. У всех государь един будет — токмо государь московский. У Москвы они правды искать будут, а князей великих и удельных, господу и бояр их сокрушим. Стану яз государь и единодержец всея Руси... Иван Васильевич вдруг рассмеялся.

— Что ты, Федор Василич, на мя так глядишь, словно яз разума лишился?

— Дивлюсь, государь,— молвил дьяк Курицын,— не безумию твоему, а разуму! Все ты хитростью своей проницаешь и все на пользу государства своего обратить можешь! И всяк час и всяк часец малый о пользе сей токмо и мыслишь...

— Разумеешь ты думы мои,— молвил государь.— Ну, пиши

Юрью-то. Перво: отпустить всех рабов и пленных христиан православных, взятых татарами за сорок лет до нонешнего дни, дабы нигде во всей казанской земле не осталось ни единого православного полонянина, ни единой православной полонянки. Другое: дабы впредь татары не зорили земель наших и полону не брали. Купцов же наших не грабили бы, а купцам нашим торговать бы везде было слободно. Третье: ни с кем — ни с Казимиром, ни с Ахматом, ни с прочими — на Москву зла не мыслить. Мы же Ибрагима оставляем на царстве Казанском, ежели в сказанном нами клянется он на Коране и в докончании своеручно подпишет...

Оборвав на этом, Иван Васильевич сказал:

— Дай грамотку-то митрополиту подписать. А ты сам, Федор Василич, скачи с ней в Казань. Помоги Юрию докончание с Казанью покрепче составить. На месте-то ты лучше увидишь. Ежели надобно будет, впиши и о купцах казанских. Дадим, мол, и мы им слободу торговать и ездить в землях наших...

Сентябрьские дни стоят тихие и солнечные, а земля будто дремлет, греясь в теплоте осенней. Летит, золотясь в воздухе, паутина, деревья стоят еще в зеленых уборах, но в высоте небесной, еще синей и ясной, уже курлыкают журавли, а завтра-послезавтра потянут на юг и гуси.

Тишина и перед Казанью. Стоят кругом стен ее плотным кольцом русские конные и пешие воины в полной боевой готовности и ждут. Сдается на полную волю государя московского царь Ибрагим казанский.

Еще тише в Казани. Будто вымер весь город. Тяжко там, ослабели все люди до крайности — нет воды у них. Выпили всё, что можно: все запасы воды, кумыса, съели все сырые овощи и фрукты, пили кровь коней и баранов, и нечего больше пить, а небо ясно, и ни одной капли не упало с голубой высоты...

Но сегодня вся Казань будет пить: люди, кони, бараны, собаки, кошки, гуси и куры, и тихая радость освещает все лица людские. Слышно в тишине, как стучат топоры и ломы русских воинов; ломают они заплоты, которыми была отнята вода у города... Солнце же печет с полуденной высоты и чуть уж начинает клониться к закату.

— Ля илляхе иль алла, Мухаммэд расул алла!

Это призыв к полуденной молитве зухр. Еще больше замерла Казань на молитве. В русских же полках было хотя и тихо, но весело. С радостным подъемом и нетерпением ждали все, когда начнут отворяться ворота городские и царь Ибрагим покорно примет мир на всей воле государевой.

Долго, казалось, тянется молитва зухр, но вот и она, видно,

кончилась,— дрогнули, заскрипели ворота в стенах и одни за другими медленно стали отворяться. Из них поспешно выскакивали мужчины, женщины, дети и бежали к реке с кувшинами и деревянными ведрами. За людьми мчались к воде собаки и кони, но не было ни криков, ни шума — все живое так истомилось, и ни у людей, ни у животных не было сил делать что-либо, не нужное для утоления жажды...

Вот отворились главные ворота, и выехал из них царь Ибрагим с телохранителями, в сопровождении знатных биков и мурз, одетых в дорогие одежды. Следом за ними на прекрасном, пышно изукрашенном коне ехал сеид.

Князь Юрий Васильевич с братом Андреем, окруженный князьями и воеводами, выдвинулся немного вперед на своем коне. Царь Ибрагим, приблизясь к Юрию Васильевичу, первый сошел с коня и, коснувшись его стремени, произнес:

— Ассалям галяйкюм!

— Вагаляйкюм ассалям!— ответил Юрий Васильевич и тогда только сошел с коня и протянул руку царю Ибрагиму.

Тут же подошел спешившийся сеид, а за ним шли муллы, хакимы и имамы со священными книгами. Сюда же сошлись и толмачи с обеих сторон.

Царь Ибрагим заявил, что отдается на всю волю великого князя московского, и в подтверждение этого, положив руку на Коран, воскликнул:

— Клянусь в сем святым Кораном! Аллах велик, благодарение и хвала ему, милостивому и всещедрому...

Когда кончились священные клятвы, царь Ибрагим, обратясь к князю Юрию, сказал:

— Почтенный князь Юрий,— перевел толмач его слова.— Среди всех возможностей не может быть ничего иного, кроме того, что уже произошло.

Выслушав перевод, князь Юрий Васильевич ответил:

— У нас же в евангелии сказано: «Ни един волос не упадет с головы без воли божией».

Окружив своей стражей царя и духовенство мусульманское во главе с сеидом, Юрий Васильевич приказал своим полкам вступать в град казанский и занимать все его укрепления...

Конец третьей книги

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЛЕРИЙ ЯЗВИЦКИЙ

ИВАН III — ГОСУДАРЬ ВСЕЯ РУСИ

Книги первая, вторая, третья

Редакторы
С. Кадырова, О. Бреусова
Художник
А. Тленшиев
Художественный редактор
Л. Тетенко
Технический редактор
Н. Галицкая
Корректор
Т. Сажина

ИБ № 4568

Сдано в набор 28.01.88. Подписано в печать 19.06.88. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага книжно-журнальная № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. п. л. 34,44. Усл. кр.-отт. 34,44. Уч.-изд. л. 42,00. Тираж 400 000 (1-й завод 1—100 000 экз.). Заказ № 1199. Цена 3 р. 70 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480002, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 41.

3р 70к